МОЛДАВСКИЕ ПОВЕСТИ

12.8/5

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

МОЛДАВСКИЕ ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1981

Составитель Н. РОМАНЕНКО

Художник В. СЕЛИВАНОВ

М $\frac{70302-041}{074(02)-81}$ 438—81 подписное



БЕШЛЯГЭ Владимир, прозаик. Родился в 1931 году в селе Малаешты Молдавской ССР. В 1955 году окончил Кишиневский государственный университет. Более 20 лет работает в редакциях республиканских журналов. В настоящее время является заместителем ответственного редактора органа Союза писателей Молдавии журнала «Нистру». Начал свою литературную деятельность как автор рассказов для взрослых и для детей. Первые сборники его рассказов появились в 1956, 1959, 1963 и 1964 годах. Всесоюзную известность принес Бешлягэ роман «Крик стрижа», выпущенный издательством «Советский писатель» в переводе на русский язык в 1969 году. В 1976 году Бешлягэ была присуждена Государственная премия Молдавской ССР по литературе и искусству за его второй роман «До́ма», выпущенный на русском языке издательством «Советский писатель».

Много внимания уделяет В. Бешлягэ и художественному переводу. В его переводе вышли на молдавском языке произведения Льва Толстого, Тургенева, Бичер Стоу, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского и др.

ВЛАДИМИР БЕШЛЯГЭ

ИГНАТ И АННА

1

С некоторых пор, с год примерно, не сиделось Иосубу Чунту дома, хоть привязывай. Спозаранку выезжал в поле, приходил поздно и частенько заваливался спать возле своих коней на старой двухпоставной мельнице, ныне переименованной в конюшню. Так что дома он, скорее, гостил, как в сердцах выражалась его старуха. После уборки винограда и кукурузы начиналась осенняя распутица, и у него не было других дел, кроме как забросить в коровник дюжину мешков комбикорма, подвезти кому-то на двор пшеницы или дровец — куда пошлет бригадир,— словом, об эту пору мог бы он посидеть на завалинке перед домом, потешить старые косточки. Но поди посиди сложа руки, когда за лето набралось столько забот: поправить забор, залатать крышу, потому как весенний циклон разворошил камыш с правого боку, да не мешало бы привезти свежего камышу... только где его взять? Свое болото посохло, мальчишки, балуясь спичками, спалили все тростники, чудом дом не сгорел... Да не худо бы замочить рассохшуюся бочку — авось и на будущий год хороший виноград уродится. Степенный усердный хозяин всегда отыщет работу на свою голову, а Иосуб Чунту был не из тех людей, кого смерть застает в постели. Большую часть жизни он проводил на дворе: то стучал молотком под навесом, то перекраивал кроличью клетушку — больно уж расплодились ушастые,— то сухие ветки обрезал про запас... Но как бы он ни крутился: в загоне ли за домом, где у него хоронились коза и овечки, в ограде ли по хозяйству, случись ему чуток присесть на завалинку, размять и понежить больную правую ногу — у него там с войны осколок засел и крепенько-таки донимал иногда,— неподвижно глядя в пространство, позадумавшись неспешно о том да о сем, о девках своих — недоделке Параскице, многодетной Ардженти-

не, востроглазой Еуфимии,— о сыне Игнате и — оф! — безвременно погибшем рабе божии Ионе-витии, словно какая-то неугомонная сила поднимала его с покойного места: «Чего расселся? Вставай и давай!» Он вздрагивал, озирался — чего, мол, тебе еще? — но мог и огрызнуться — думаешь, я тебя не знаю, старый ты хрыч? Иосубу Чунту не проведешь! — лыбился из-под усов, кряхтя, поднимался с крылечка, с колоды, с завалинки — на чем в этот раз угнездился — и брел себе потихохоньку, еще сам не зная куда. По большей части ноги его прямиком выносили к забору; тут они останавливались, и это называлось, что он не сидит без дела... Любил он постоять у плетня, поглазеть на село. Чаще всего взгляд его упирался в заболоченную низину, куда и впадал ручей, извивавшийся перед его домом,— когда-то, давным-давно, когда его отец заложил эту теперешнюю развалюху, ручей был чист и прозрачен, теперь же его замутило илом, он зарос частым, как лес, лягушечьим луком-рогозом,— старик качал головой и, может быть, говорил себе, поглаживая сивую бороду: ушла жизнь... И, еще постояв чуточку, добавлял, теперь уже в полный голос: «Мать ее за ногу!» После чего чесал прямо к воротам, шагал споро и широко, словно бы у него никогда не ныла нога. Здесь, у ворот, останавливался и долго смотрел на дорогу, направо, налево: не пошлет ли мир доброго человека? И если кто-то и впрямь шел в его сторону, ждал терпеливо, стараясь загодя вычислить: кто это, чей? И пока прохожий к нему приближался, Иосуб уже мысленно вел с ним беседу: откуда идешь, мил человек? Что делал? Где был? Что прячешь в сумке? А больше всего ему хотелось знать, что слышно в селе, какие на свете новости. «А то я с этими бабами в болоте по ноздри угряз...» И, вспомнив о них, с опаской оглядывался на окна: на посту ли, следят ли? Бабы его, то есть жена и старшая дочка, и точно очей не сводили с бродяги, как они величали его в мирные дни. А случись старухе засечь его за воротами, пулей на крыльцо вылетала и, приставив ко лбу ладонь, начинала вопить: «Мэй, Рупь Двадцать, куда же ты?!» Тут Иосуб притворялся, будто что-то выронил под забором, где росли одни бурьяны, да еще и руками разводил: прикол-де поросячий запропастился... «Да ты же его вчера за стреху сунул!» «И то правда»,— соглашался Иосуб... А если его на этом деле ловила дочь Параскица, то всплескивала руками, бросая все, что бы она ни дер-

жала — ведро ли, горшок ли, вязку хвороста,— и с криком бежала в дом: «Ратуйте, мама! Отец за воротами! Сейчас и вовсе ушкандыбачит!»

В эту субботу Иосубу Чунту на его конюшне спалось неспокойно. Под утро затарабанили в дверь. Старик с матерком отворил — это был Петр Николаевич, инженерок. Он с места в карьер вздрючил старика за пожарную безопасность — в конюшне-де накурено, хоть вешай топор,— и тем же злым голосом велел заложить Мургу в пролетку, а жеребенка убрать, чтобы не путался под копытами: путь предстоял немалый, в райцентр и обратно. Некурящий сроду Иосуб молча вытерпел втык за куряку Цугуя, но, выведя на улицу сонную кобылу и сунув инженерку вожжи, оскорбленно отвернулся по малой нужде, за что ему, не сходя с места, опять перепало. Заправляя мотню, он зацепил краем глаза любопытную штуку: Петря подсаживал в пролетку завернутую в тулуп бабу. Понятное дело, теперь уж Иосубу спать не пришлось, все мозги надсадил, прикидывая так и этак, кто же эта залетка.

Дома старик начал суетиться еще спозаранку, готовясь к побегу. Наскоро покончил с делами и забрался в укладку, а прежде еще пришлось ключ добывать, что тоже вещь не простая. Он разворошил все шмотья, сложенные наверху, и достал со дна почти новую пару сапог. Вынул, обтер рукавом, чертыхаясь, полез по углам и под лавку в поисках баночки с ваксой. Бабы увидели, к чему оно клонится,— старик сел на скамеечку и принялся сапоги свои лощить,— они сразу смекнули, страх как догадливы были и мама, и доченька! — забились в угол, стали шептаться. Иосуб знал, о чем его домашний комбед шушукается. Накануне вечером, когда он вернулся домой, старуха завела издали: «Когда ты думаешь слупить с Игната пять сотельных?» «А ты без них помираешь?» — огрызнулся он, вешая кнут в сенях. «Помираю»,— процедила старуха, поджав тонкие губы и выставив указующий перст в сторону дочери, стоявшей поодаль с опущенными долу глазами. «Ради бога. Мне и так ладно»,— буркнул он, думая о своем. Тут разом обе вскипели: «Ага! Тебе ладно! У тебя пять тысяч в заначке! Все село знает... А мы сиди на бобах! А кто тебя кормит? Кто твои обноски стирает? Вот эта душа голубиная, ей завтра-послезавтра, бог даст, замуж идти... так, доченька? Не кривая и не хромая, как ты:

тьфу-тьфу... так, доченька? Ей бы еще твои тысячки!..»

При этих словах дылда Параскица разревелась, как телка, и умотала за дом — там стояла копешка сена, где можно было проплакаться всласть и маленько остыть... И теперь, видя, как они в обнимку секретничают в углу, Иосуб понимал, что бабы его раскулачили и делят все те же тысячи. Он черной тучей ходил по дому, но мало-помалу от сердца отлегло, и он сказал себе: «А почему бы, в конце-то концов, мне не иметь этих тысяч? Я их сорок лет зашибал геройски горбом... нет, я их получил по трехпроцентному займу... нет, в лотерею выиграл...» После этого он и держать себя стал соответственно, как будто все тысяч двадцать у него угрелись в кармане штанов. Бабы насквозь извертелись в поисках сберегательной книжки, и на почту ходили, и всяко его подначивали, пока не увидели, что второго такого сквалыжного старика белый свет не рожал, и решили обождать, пока он расколется сам.

Выбравшись на дорогу, Иосуб встал. На сей раз он не боялся, что его воротят домой: бабам хватало своих расчетов и переборов. А остановился он потому, что грязь была на дороге, а на нем — сиявшие, как молодая луна, сапоги.

«Ох, деньги-денежки, нелегко расставаться с вами»,— отфыркивается старик, высматривая, куда бы поставить ногу. Он сворачивает к мосту, налево — разве что навестить молодух? — но, сделав несколько шагов, запинается: не грех бы разжиться конфетками, а то как эти внуки облепят... Сует руку в карман, тот самый, где лежат его тысяч тридцать, ах, в других брюках остались! — нашаривает пару юбилейных лобанчиков: кину по рублику, и пусть сами харчатся.

Странное дело, теперь он шагает легко и упруго, и не гнут его к земле годы, словно ему новую ногу выдали в божьей каптерке. Что бы это с Иосубом сталось? Неужто обул новые сапоги — и орлом смотрится? Радостен и хорош Иосуб Чунту — в центр идет! Если быть искренним, его всю жизнь только туда и тянуло. Для того и сапоги из укладки достал — гуляй, живая душа! Не сиди подле юбок, чтобы тебе выгрызали печенку. Правильно сделал Игнат, что вылез из болота и дом на шоссе поставил. Жаль только, что с женой у него не того... «Но,— качает головой Иосуб, переступив канаву и выбравшись

на асфальт,— знать бы, где падать, соломки бы подостлал». К подобному заключению он обычно приходит в одиночестве, после самых жестоких ссор с бабами, которые не одобряют Игната: чем с такой женой, лучше холостым жить. «Холостым! — мысленно орет Иосуб, набычившись и глядя на них исподлобья.— Что же вы-то по всему селу за женишками охотитесь? Сидели бы холостые... Не можете? Чешется? И находятся дураки вроде меня, жалеют вас...» И вернувшись мыслью к Игнату: «Очень уж мягок, долбонос мой задумчивый, размазня толстогубая! На кого же он похож, к чертовой матери?» Иосуб стоит посреди улицы, задумчиво глядя себе под ноги, и словно наяву видит комнату с окошком, занавешенным от жары, с настеленной на пол душистой травой и лампадкой, теплящейся под образком. Старуха возвела руку над головами коленопреклоненных молодых Игната и Анны и, словно робея, произнесла: «Примите наше родительское благословение! — И, обернувшись к нему: — А ты чего застыл, как истукан в огороде? Не твое ли это дитя? — и дернула его за рукав.— Повторяй слово в слово: бласловен будь час...»

— Вот те и бласловен час! — горько ворчит Иосуб Чунту.

— Что ты сказал, дедушка? — слышит он детский голос из-за спины.

Иосуб оборачивается. Смазливый пацан тащит за рога измазанный в грязи велик.

— Говорю, асфальт не пачкай!

— А ты что, купил эту улицу? — огрызается оголец, влазит в седло и нажимает на все педали так лихо, что грязь от колес веером летит по сторонам.

— Чтоб у тебя пупок развязался, фулиган! — костерит Иосуб пацана: здоровенный шмот грязи шмякнулся прямо на носок его нащиченного сапога.— Рожаешь их в муках, потом еще возишься до свадьбы, а он же тебя и уделает с головы и до ножек!

Он находит в кармане обрывок суровой нитки, нагибается и, ловко натянув ее, срезает грязь с сапога. И, хотя ему удалось вернуть обувке давешний блеск, выйдя на середину дороги, Иосуб чувствует, что вся его радость пошла прахом. Ух, народец! Намости ему золотую улицу, в алмазную оправу встать, а он все одно влезет грязными сапожищами, прости, господи, и помилуй нас. Аргумент — вот он, уже навстречу катит. Под гору мчится

подвода, стреляя комьями грязи из-под колес и копыт. Иосуб не успел даже крикнуть: «Эй, малый, посторонись!» — как она пронеслась мимо. Только потом сообразил старик, что это дружок Цугуй проскакал, возница детского садика.

Воздав и этому полновесными словесами, рачительный наш хозяин полегоньку двинулся дальше.

До центра было всего ничего, и тут уж было ему в охотку медленно, неторопливо прогуливаться, приветливо кивнуть одному, с другим парой мудрых слов перекинуться, а заодно и поразведать, что слышно в селе. «Что слышно? А ничего, дядя Иосуб. Все новости по радио объявляют».— «Ну, у них одни великие новости, а на селе-то как наши делишки?» — «Народ зимы дожидается. Старики уходят в землю, младенцы на свет, как мошки, летят...» «Мэй, Гулица, мэй! — мысленно обращается Иосуб Чунту к дробненькому рябому конопатому человечку, выглядывающему из-за частокола,— руки он положил на колья забора, а подбородок на руки, и все это накрыто огромной косматой кушмой.— Что же ты не отвечаешь, я тебя спрашиваю: что слышно здесь, в вашей махале, на шоссе?» «Ага,— наконец соображает Гулица, чего добивается от него этот ладный бравый старик с таким гладким и не по годам звонким румянцем.— Нет, нет ее, съехала от бабы Иоаны». «Когда?» — коротко спрашивает Иосуб. «Месяца два как...» — «Мэй, Гулица, вы же махаляне, соседи, не можешь ты не знать, если у них черт те что, у докторши с сыном... Ты мне лучше признайся, слышь...» «Слышу, слышу»,— кивает головой человечек, провожая глазами Иосуба Чунту, уходящего по шоссе туда, где виднеется задранная в небо балясина шлагбаума, позабытого здесь со времен карантина. Примерно такой разговор состоялся неделю тому назад у Иосуба Чунту с Гулицей, многодетным соседом Игната, когда старик приходил проведать сына и опять же не застал его. Возникал этот разговор и прежде и после, только всякий раз протекал он так, да не так: о Рите Семеновне, конечно, старик и не заикался. Лучше всего было бы расколоть самого Игната, потолковать по душам, порасспросить его, что делает и как дальше думает меж двумя бабами изворачиваться. Вчера Иосуб почти было причастился к истине. Выследив Игната и докторшу у Виторицы, где частенько старик пировал с корешами и куда, кстати сказать, Рита Семеновна перебралась от

бабы Иоаны, Иосуб вприпрыжку помчался к Игнату в дом и таки застал его лопатящим цемент на дворе в костюме с иголочки. Ясное дело, через четверть часа пожаловала прелестная докторша, и, чтобы его парочка наконец-то угодила в капкан, он их на минутку оставил. Притворившись, что уходит, Иосуб выбрался на дорогу и, пройдя вдоль забора вниз, внезапно пересек улицу, заглянул на ходу во двор бабы Иоаны, так, на всякий случай, но там было пусто, и, перебежав шоссе, он снова ворвался в Игнатову калитку и прямо к двери, пригнувшись... на ней висел замок! И все же не верилось, что ошибся, и он сунулся под окно и, приложив к стеклу ладони, стал заглядывать внутрь: может, они как-нибудь в комнатах, черт их знает, забрались — и концы в воду. Убедившись в наследственной Игнатовой ловкости, старик отступил, бежал с поля боя...

Иосуб замедляет шаг. Вот и высокое цементное крыльцо сельсовета, а на улице люди. Старик щурится, ему кажется, что один из них — его сват Симион Негарэ. А другой кто? Никак, Петря-инженерок, Симион шепчется с Петрей! Вот бы сейчас подкатить к свату этакой павой, распустить хвостище и впервые в жизни хлопнуть его по плечу: «Бре, Симион, бре! Спроси своего прозванного зятюшку, какую залетку он сажает в пролетку. А еще и Мургу ему по ночам запрягай, как брандмейстеру на пожар...»

Он отворачивается, прячет лицо в ладонях. Со стороны могло бы показаться, что человек крошки вытряхивает из бороды, или мошкару отгоняет, или молится, на худой конец. На самом же деле он прикрывает лицо от людей, стоящих у сельсовета. Сейчас узнают и поднимут крик: «Гля, кто идет!» — «Неужто чертяка Иосуб из своего болота повылез?» — «Ах, что за сапожки на нем! Голову про заклад, жениться надумал!» — «Как пасхальные яички надраил!..»

— Эй, стой! — словно за соломинку ухватившись, кричит он, отчаянно голосуя грузовику, с надрывным воем ползущему в гору. Шофер тормозит, высовывается из кабины:

— Чего тебе, дядя Иосуб?

Старик не стал объясняться, обошел радиатор и мгновенно очутился в кабине. Водитель в кепаре, сдвинутом на нос, аж глаза выпучил:

— Я не в город!
— И я не в город.
— А куда тебе?
— А тебе куда?
— Мне в гараж.
— Вот и езжай в свой гараж, а мне по пути...

Поравнявшись с сельсоветом, старик втянул голову в плечи и все же не утерпел, выглянул из-за спины шофера: да, это сватушка Симион задом повернулся. Шофер вежливо сбавил ход, но Иосуб обеими руками на него замахал: жми, мол, на всю катушку! Вот злодейка судьба: вышел вздохнуть, покалякать с народом — и надо ж... кого не чаял, того встречаю. Что правда, то правда, он не держит зла на Негарэ. Даже в те молодые годы, когда село кипело и жизнь перевернулась вверх дном, а Симион, понятное дело, был спереду, а он, Иосуб, тянулся в хвосте со всеми остальными людьми,— даже тогда он ни капельки ему не завидовал: дескать, если уж такой выродился человек, что сердце его в красный угол ведет, ну и на здоровье ему, а мы побредем не спеша. Теперь, рядом с шофером, разглядывая свои костлявые ноги в занавоженных сапогах, раскачиваясь от скачков и толчков жесткого сиденья машины, Иосуб хмурится, вспоминая пересуды старухи своей, которая как-то между прочим ляпнула — а она умела уязвить в самое сердце,— что будто бы на днях в магазине встретила сватью и та на всю очередь объявила: «Что это я слышу, милая сватьюшка? Говорят, твой Игнат пустился во все тяжкие!» — «Бог с тобой, сватьюшка, ты на что намекаешь?» — «Сама знаешь, на что, я им с Анной дом подарила, а он и рад, что она, бедная, попала в больницу,— по разврачихам ударился!» — «Ах, чтоб ему! Как же это он ударился?» — «Село горит, а баба чешется! Ты глаза обуй и прислушайся, о чем не молчит общественность!..» Иосуб раздосадованно стучит кулаком по колену: «Как же это, бре, язык у людей поворачивается буровить такое про моего мальчика? Ведь он такой мягкий, такой чистый. Тысячу лет проживет один в этом доме и не только не пошалит — на сторону не глянет ни разу. Я б на его месте не устоял, например. В кого же он уродился, если не в меня, черт ее побери!» Мысли его скачут, прыгают, рвутся под стать машинной болтанке — этот шалый так гонит, словно они по ухабам летят, а не по гладкому, как ремень, асфальту. Вот они, нынешние! Дай

им машину хорошую да еще ровное шоссе настели, а вот доведись ему подвезти тебя отсюда досюда — всю душу к дьяволу вытрясут... Он хотел крикнуть: «Стой!», выскочить на дорогу, вернуться домой, тряхнуть жену за подол: «Что там тебе нагородила сватьинька про Игната?» А может, прямо заявиться к Негарэ и бросить с порога: «Зачем губить детей, разводить Игната и Анну?» И словно слышит ответ: «А я в бабьей баланде не плаваю». Тут Иосуб ему отвечает: «Спроси-ка свою толстомясую, это она звоны по селу распускает. Недалекая женщина. Я б лично свою за такое... хе-хе!» Следует заметить, что Иосуб Чунту просто куражится. Он герой, но герой только в мыслях своих. А на деле, когда жизнь подопрет, как это часто случается дома в последнее время,— великий он мастер красиво намыливаться! Так что чья бы корова мычала...

— Ишь, халда старая! — негодует Иосуб.— Ее девку и пальцем не тронь, а моего хоть с головой в дерьмо окунай...

— Чего-чего? — поворачивается к нему шофер.— Хочешь слезать? Или еще маленько проветримся?

И прежде чем Иосуб нашел что ответить этому ухарю в кепаре, машина рванула влево под арку, украшенную высохшими ореховыми ветками, и покатила к стреляющему в тучи шлагбауму, забытому здесь со времен ящура. Там же стоит женщина с черной блестящей сумочкой в одной руке и с зонтиком в другой. Увидев машину, она машет зонтиком и, кажется, что-то кричит. Машина вдруг тормозит, да так резко, что Иосуб въезжает носом в лобовое стекло.

— Всё, приехали!

Глядит Иосуб на этого ошалевшего от скоростей молодца и думает: с катушек мир валится, ей-богу! Сам он, к примеру, если кто к нему в телегу попросится — мужчина, женщина, ребенок, старуха с козой, кто угодно,— разговором попотчует, поднесет новости местного радио, и все это мягко, красиво, по-человечески. Боже упаси останавливать так: выметайтесь, пожалуйста! Нет, он еще и коней понукал, а проще говоря, давал им идти своим ходом. Случалось порой, за разговорами не замечали, как вкатывали в конюшню. Когда пассажирка с козой видела, куда ее занесло, поневоле кручинилась — ведь полсела пехом топать обратно к месту посадки! А Иосуб утешал: «Не печалься, дай я тебя подвезу. Только спер-

ва конюшню осмотрим». А если умные кони привозили домой, он кричал жизнерадостно еще от ворот: «Вылетай, баба, в колокола бей, принимай гостью!»

Иосуб трясет головой, потирает ушибленный нос: дуреет мир, ужас что делается. Подергав ручку, наконец открывает дверцу, слезает кряхтя.

— Гудбай, аривидерчик рома! — двумя пальцами козыряет шофер. Машина срывается с места и, лихо развернувшись, мчится назад. Иосуб поглядывает издали на женщину с зонтиком, оставшуюся при пиковом интересе,— интересно, чья она, к кому едет? Старик осматривается — интересно, куда это меня прикатил шоферюга? И вдруг соображает, что его ссадили как раз у дома Игната. «Глянь-ка,— удивляется он,— больно шустры эти нынешние: лучше тебя знают, куда тебе надо».

— Мэй, Игнат, мэй! — кричит он с дороги, но на дворе никто не отзывается: опять его дома нет. Иосуб смотрит по сторонам, махалян просто совестно — и точно, за оградой бабы Иоаны мелькнул черный платок.

Сколько бы раз ни приходил Иосуб Чунту к сыну, всегда, бывало, остановится на шоссе, уперев руки в боки, и давай рассматривать дом: оранжевую праздничную черепичную крышу, фронтон красного кирпича с двумя рядами зубцов понизу — крест-накрест выведенные кирпичи торчат уголками наружу,— выше, почти под самой стрехой, два узких окошечка, чтобы свет светлил чердак, а под ними — три магических знака: Ч. И. И. и год — 1971. «Да!» — прищелкивает языком старый Иосуб, гордясь этим домом, как своим собственным, потому уж хотя бы, что все три инициала втройне трогают стариковское сердце, когда после двух девок народился мальчик, Иосуб сказал злыдне: «Игнатом назовем. Как отца моего окликали». И стал Игнат Игнатом. Второе дело — Ч. И. И. можно прочесть как Чунту Иосуб Игнатович, то есть он сам собственной персоной, слуга ваш покорный. И, наконец, третье, потаенное и больное: погибший мизинчик Иосубов прозывался, как сказано, Ионом-витией, а это те же самые Ч. И. И., которые теперь звучали плачем, гекзаметром... Так что кто бы ныне ни проходил по шоссе, односельчанин ли, заезжий ли, буквы эти издалека бросались в глаза, и горько и радостно было слышать Иосубу, как прохожий с изумлением спрашивал: «И кто

же это такую красотулю отгрохал?» Да, Иосуб и руки свои сюда приложил, и пот, и нервы... Потому как если бы слушались баб, и поныне бы Игнат сидел в халабуде среди болота и маялся бы — не дай бог. А то — вон какие палаты воздвигнул!

Забыв о любознательных глазах махалян, Иосуб все так же, руки в боки, отступает на несколько шагов и окидывает взглядом лицевую стену. Она прекрасна — в четыре венецианских окна, дверь, стало быть, посередке, и просторная веранда в полфасада, главная изюминка дома, правда, еще не доведенная до кондиции. Честно говоря, есть еще нарядные дома в селе, иные даже похлестче, но ведь это берлога Игната, главного сына, то есть, считай, собственный дом Иосуба. Когда он, поругавшись со злыдней, покушался уйти, она, как по писаному бубнила: «Скатертью дорожка! Иди к своему малахольному на шоссе и трубите там в пустом доме, как два упыря!» И Иосуб тащился привычной дорогой, только не к Игнату, а в конюшню свою. Эхма, и тяжело же становилось у него на сердце, как вспоминал про Игната, кукующего в этих чертогах. Парень в соку, и кто уж, как не он, заслужил, чтобы и для него наконец распахнулись райские кущи. Тут стоило бы раскумекать маленько, что же означали «райские кущи» в понимании Иосуба. Это отнюдь не была праздная беспардонная жизнь, исполненная плотских утех; нет, что-то не верится, чтобы старик так некрасиво представлял себе рай на земле,— сам-то он рос в беспросветном убожестве и ничего, кроме печалей и тягот, не видел. Но все, что он недобрал в юности, он желал детям, для которых пришли другие, добрые времена. «Лишь бы мир у мире был,— говаривал он, подмигивая забубенным своим корешкам.— Теперь бы только жить!» Ибо, по мере того как рос его сын, отец воскресал как бы заново — светло и любя, и в этом была лучшая радость старика Иосуба. Он держался Игната, как ни одного из своих деток, и переживал, и плакал в конюшне, когда жизнь у Игната зигзагом пошла. А еще как подумаешь, что он бросил работу в колхозе и подался в карьер — все ради крыши над головой... Иосуб осматривается: хоть бы кто-нибудь из махалян меня сейчас видел! Еще раз озирает дом, окно, фронтон с тремя волшебными буквами и датой строительства и важным размеренным шагом шествует к воротам.

Но во двор не идет, кричит от калитки:

— Мэй, Игнат, мэй!

И, не дожидаясь ответа, поспешно уходит.

Куда же идет, куда бежит Иосуб Чунту? Уж не думает ли настичь машину, которая его сюда привезла? А может, просто он вспомнил, что сегодня его черед кормить лошадей, и вот подхватился домой, чтобы, скинув опостылевшие сапоги, поспеть в родную конюшню? Нет, и это не то. Смотрите, как он чешет по левой обочине, прямиком к поднятому шлагбауму, наперехват женщине с черной сумочкой и зонтом.

— Здрастя, Рита Семеновна! — говорит он, подходя как-то бочком и глядя мимо нее, словно стесняясь своей же приветливости.

— А, дядюшка Иосуб! — удивляется симпатичная докторша.

«Ага, не глядит на меня,— примечает Иосуб,— глаза прячет. Чует, стало быть, кошка, чье мясо слопала!» И смотрит туда же, вдоль шоссе, куда нетерпеливо поглядывает женщина.

— В город наладились?

— Наладилась бы...— усмехается Рита Семеновна, круто повернувшись к Иосубу и в упор уставившись, как ему кажется, на его сапоги.— Целый час жду, ни одна собака не останавливается. А вы что, гостите в здешних палестинах?

— Я-то? — покашливает в кулак Иосуб, прикидывая, с какой бы стороны к ней ловчее подъехать.— Я, Рита Семеновна, не могу больше жить в этом селе. Вышел из дому — пошел по дороге куда глаза глядят... Шестьдесят лет прожил здесь, попотел, потрудился, вдоль и поперек истоптал эти холмы и долины, а в конце-то концов, эх, на чью грудь седую голову приклоню?..

Иосуб чувствует, как его прошибает непрошеная слеза. Он шмыгает носом, он всхлипывает, он поднимает руки и прикрывает глаза.

— То есть как это, дедушка? — хмурится молодая докторша.— Зачем вы это мне говорите? Может, вы больны, вам плохо?

И то сказать, думает Иосуб, может, даже и болен. Раз она говорит — все-таки докторша, ей виднее... Уставившись ей в лицо круглыми немигающими гляделками вещего филина под кустистыми седыми бровями, он надвигается на нее: ты! ты обворожила моего сына! Докторша среднего роста, он возвышается над ней, как гора.

Ей становится не по себе. На ум невольно приходят клинические примеры из учебников медицины — в жизни ничего не читала страшней! — господи, что с этим стариком? Неужели взбесился? Она нервно озирается — не спасет ли кто? — но вокруг ни души. Лицо ее покрывается смертельной бледностью. Ага, выходит, правда, решает Иосуб, отрывает от нее взгляд, словно намереваясь уйти, но вдруг резко поворачивается, склоняется и, грубо схватив ее руку обеими руками, раз... два... три... четыре раза целует.

— Благодарю! От души благодарствую, Рита Семеновна!

— Но... за что, дядюшка Иосуб? Что с вами? У вас жар?

— Да, да, я смертельно болен! Но это пустяки! Благодарю за Игната, сына моего единоутробного. Вы ему помогли, поддержали и вот теперь с ним в самую точку попали, потому что он... как спутался с этой сельсоветовской Анной, не знал светлой минуточки... а теперь ее нет, и он живет с нами, согласитесь, по-царски. Спасибо, что вы надоумили Анну свернуть с его большака!

— Как это я надоумила? Она сама ушла. Я только сказала, что хорошо бы ей полечиться несколько месяцев. Хоть попробовать... И порекомендовала знающего специалиста.

— Вот именно! — дурея от радости, восклицает Иосуб и мысленно поздравляет себя с первой победой: «Вот ты и попалась! Сама признаешь, что соперницу убрала. Посмотрим, что там еще у тебя за душой».— Вот именно, говорю, да, еще раз спасибо, что вы ей подсказали подобру-поздорову...— он приникает к самому уху докторши и лихорадочно шепчет, как бы великую тайну ей сообщая: — Я уж давно его подговаривал, чтобы он оставил ее. Они не пара друг другу!

Рита Семеновна в замешательстве — что мог разузнать старичище? Еще хорошо, если пьян...

— Вы с ума сошли, дядюшка Иосуб! — она поднимает сумочку, словно загораживаясь от него.— Они жить друг без друга не могут, они любят!

— Говоришь, любят? — с сомнением качает головой Иосуб Чунту.— Сказала б лучше, любили до недавнего времени. А теперь баста, сгорела дотла их любовь. Посмотри на Игната, на себя не похож, на глазах чахнет...

Сказать ли тебе? Хе-хе-хе! — лукаво улыбается старик из-под усов.— Думаешь, я не знаю про ваш уговор с Анной? И еще дурочку валяешь передо мной, стариком! Меня на мякине не подкуешь, нет...— он укоризненно машет заскорузлым согнутым пальцем перед носом молодой докторши, отечески заглядывая ей в очи, отчего она, как маков цвет, заливается краской.

— Вы все с намеками, дядюшка Иосуб. Оставим лучше этот разговор. Я действительно люблю Игната и...

— Во! Вот именно! — встревает Иосуб.— Этого я и ждал от тебя!

— Да постойте же! — чуть не плачет Рита Семеновна.— Я не кончила!..

— И не надо, и никогда не кончай! И так все ясно.

— Я люблю Игната и Анну — обоих! — почти кричит Рита Семеновна.— Их дом, их семью...

— Хе-хе-хе,— раскашлялся Иосуб, снова грозя ей пальцем.— Я тебя уже давно раскусил, еще когда ты поселилась у Иоаны, а у Игната дневала и ночевала...

— Ну и что? Я же ни с кем больше не знаюсь в вашем селе.

— А знаете что? — Иосуб бережно берет ее под руку и отводит в сторонку, словно посекретничать хочет, хотя на шоссе по-прежнему пусто.— Позвольте признаться: мне наплевать! Хотят — пусть живут, не желают — не надо. Они уже сами с усами. А я для них с открытой душой сделал что мог. Теперь и мне пожить хочется. Понимаете меня? Хорошенько пожить! — и он снова жарко ей шепчет в ухо: — Из дому ухожу!..— И, видя, что она на сей раз верит ему, решительно продолжает: — Уже ушел! Вот здесь,— он хлопает себя по карману штанов,— пятьдесят тысяч как одна копеечка. В город с вами поеду, куплю себе дом...

Рита Семеновна пытается высвободить локоть из его цепких пальцев. Ей послышалась машина из-за холма.

— Знаете, о чем я вас попрошу? Помогите мне,— таинственно говорит Иосуб.

— Чем я вам помогу? — удивляется Рита Семеновна.

— Подыщите в городе комнатушечку...

— Но... как это? Не понимаю...

Действительно, с холма спускается грузовик. Доктор-

ша тянется на шоссе с поднятой рукой. Иосуб тащится за ней следом.

— Умоляю! Вот сто тысяч... купите мне дом! Я колхозник-миллионер... я очень старый! Я вам его завещаю. Зачем нам мотаться туда-сюда по дорогам? Что вам здесь делать в глуши?.. Заклинаю, оставьте Игната! Навеки... как дочь!..

— Ха-ха-ха! — с облегчением смеется Рита Семеновна, забравшись в кабину.— Вы не сумасшедший, вы симулянт! Ловко придуриваетесь, старый вы прохиндей. Думаете, я не вижу?..

— Увы, увы, я не хотел вас обидеть...

Грузовик отъезжает. Иосуб Чунту семенит за ним, пытаясь словить руку, свешивающуюся из кабины, хоть пожать ее, если не покрыть поцелуями.

Но не успевает.

И остается один на дороге.

2

Через час Игнат дома.

Истерпевшийся от одиночества двор встречает его молчанием. Он так долго дожидался Игната, его размеренной хозяйской поступи, что теперь и радоваться нет сил. Бывало, выйдя к воротам, хозяин прежде всего рассматривал крышу — не сдвинулась ли где черепичина? — а там уж фронтон — не поистерлась ли краска на буквах и цифрах? не проседают ли стены? — но милее всего было ему глядеть на молодые фруктовые деревца в палисадничке перед окнами, десяток яблонь и груш, тоненьких, беззащитных, с гладкими светящимися прутиками-стволами, словно это души его неродившихся деток, которых сказочная черная сила превратила в растения,— не обидел ли их ветер холодный? не обломал ли кто веточку?.. Он мог часами любоваться на них — это все были отборные коллекционные корни, он за ними нарочно ездил километров за тридцать вверх в соседнее село к крестному отцу матери, знаменитому на весь свет садоводу, и старик выбрал для него по своему разумению, а потом еще сюда приезжал прививал их, и саженцы поднялись и пошли в рост не по дням, а по часам и вот-вот плодоносить обещают... А тут — еще весной было дело — приходит Игнат в воскресенье под мухой домой и кричит от самой калитки:

— Мэй, ты! Мэй! А ну геть с яблони! Выдеру!

Анна как раз сняла с летней плиты горячие плацынды. Услышала — обомлела.

— Кому грозишь, человече?

— Да вон тому неслуху, младшему! — отозвался Игнат.— Эй, кому говорю! Не рви зеленые груши — живот разболится как раз...

— Какие груши? Какой неслух? — Анна остолбенела вконец.

— Какой? Мальчишка наш. Не видишь? Вон он, тянется, как козленок, за листиком...

Анна выронила тарелку, опустила глаза. Закрыв руками лицо, быстро ушла в дом.

И теперь, войдя во двор, боится Игнат даже глаза поднять. Глядя себе под ноги, идет прямо к калиточке, выводящей на огород. И всего-то она до колен, и мог бы ее с ходу перешагнуть, но нет, он ее старательно открывает и закрывает за собой и идет огородом между оголенных кустов винограда — за домом у него какой ни на есть виноградник — по узкой тропинке и останавливается на краю обрыва.

Внизу величаво раскинулась глубокая, широкая долина Днестра.

Куда ни глянешь, куда ни посмотришь, куда ни бросишь взгляд свой, и туда, до самых дальних лесистых холмов, едва угадываемых в фиалковой дымке, всходящей над водами прямо перед лицом Игната — хоть рукой ее трогай,— всюду долина. Эта безграничность, этот необъятный простор наполнял грудь растерянного, истерзанного одиночеством человека изумлением и каким-то особенным трепетом вечности, сколько бы раз он ни выходил сюда. Игнат глядел прямо перед собой — то ли на желтеющий клочок жнивья на том берегу, оставшийся до сих пор нераспаханным, то ли на раздетые сады на этой стороне, то ли на матово блещущую колею реки, сползающую, змеясь, с верховьев, прячущуюся за голыми верхушками деревьев и снова блещущую сквозь стынущую дымку тумана, чтобы тут же резко свернуть и скрыться за мысом, заросшим ивняком. Небо низкое, хмурое. Справа, где-то вдали, чуть золотится горб лысой горушки — верно, солнце туда укатилось,— а внизу, под берегом, слышно, сигналит кому-то трижды коротко и один раз долго сирена невидимого суденышка, сходящего по Днестру.

Будни как будни, с работой уходят и забываются. А наступает суббота, да как задумаешься, что впереди вечер свободный, а за ним еще целое воскресенье, а между ними долгая одинокая ночь, и всего тебя с головой грусть-тоска затопляет. Черная подколодная тоска, которая повязала его вот уже четыре месяца, с тех пор как ушла Анна и он остался один. Порой ему кажется, что он одолевает тоску. Но это только ему кажется. С некоторых пор она его и на работе хватает. Сегодня, к примеру, подходит Василе-бригадир: «Слышь, Игнат, что это ты камни ломаешь? Мало у нас браку?» «А он с левой ноги нынче встал»,— подает голос моторист, молокосос в беретке, его недавно вместо бади Филимона поставили, а того перекинули на другую камнерезку, чтобы впредь не грызся с начальством. Игнат поглядел исподлобья: помалкивай, мол, а то и тебя в брак пущу,— отвернулся и принялся за свое. Его руки с саженными разбуханными ладонями в толстых брезентовых рукавицах, настоящие медвежьи лапищи, как говаривала Анна, двигались споро, подхватывая исподнизу каменный блок, вскидывая над головой и укладывая в ближний штабель, а то и прямо в кузов машины... А если уж совсем становилось невмоготу, он вытягивал из торбы графин — каждое утро приходилось его доливать,— и посасывали помаленьку в очередь с бадей Филимоном, вот ведь душа человек, и того извели... И теперь, когда его поддел этот салажонок в беретке, Игнат вытащил из графина затычку — обломок кукурузного початка, обернутый чистым лоскутом, принял хороший глоток — фу, отрава! — скривился и протянул графин бригадиру — тоже мужик ничего себе, иногда подкидывает Игнату от щедрот своих банку говяжьей тушенки. Им нечего было делить: норму Игнат выгонял, а попроси его — и сверх того выдаст. Чем больше Игнат камни ворочал, тем сильней уставал, и вроде бы тоска отпускала...

После долгого дня в карьере, в его склизких галереях и штреках, где, казалось, вот-вот придавит тебя потолок,— Игнат невольно напрягал спину, ожидая обвала,— его всегда тянуло сюда вздохнуть полной грудью, свободно. В доме он задыхался. И вот он шел садом к обрыву, и его дух и взор отдыхали, впитывая беспредельность простора. Ветер трогал его за плечо, и эта осторожная ласка мало-помалу освобождала его от себя, от всех дрязг и невзгод, которыми его опутывали будни.

Это был самый высокий праздник его души, и он так вот стоял над обрывом, и глаза его были светлы и пусты, и это значило, что он отдыхает в эти минуты.

Неожиданно в глубине его зрачков затеплился слабый свет.

Он слышит шелест каменной осыпи и, наклонившись над краем провала, видит мальчонку, изо всех сил волочащего за собой на веревке блеющую козу. Он тянет ее по косогору на крутизну, а коза упирается, трясет отчаянно хипповой бородкой, обрушивая из-под копыт мелкие камни, и пастушок едва не выпускает веревку из рук. Игнат улыбается: мэй, малый, держись! — и вспоминает, что именно отсюда брал первые камни для своего дома. Ах, нет! Все было не так, об этом он только мечтал, а на самом деле самосвал прикатил из карьера — для того молодой Чунту и устроился в Стынке,— и первый свой котелец сложил на берегу Бахны. Они там рассчитывали ставить дом, на этом настаивала его мать. Но однажды, забежав с работы, Анна отозвала его под навес и сообщила, что правление отдает молодоженам целую улицу. И у него сразу стал перед глазами этот клочок земли между шоссе и обрывом над Днестром.

— Там будем строиться? — обрадовался он.— На берегу?

— Да. И я так просила. Но утвердят ли?

Они без слов поняли друг друга. Здесь, на этом берегу, они впервые поцеловались, еще девятиклассниками. Большая ватага мальчишек и девчат жгла костры у воды; до рассвета пели и танцевали. Когда расходились по домам, Игнату привелось взбираться этим обрывом следом за Анной, и ее стройные загорелые икры все время мелькали у него перед глазами. Весь остаток ночи они снились ему. Наутро решил: нет жизни без Анны. Он ловил ее взгляд в школьных коридорах, на улице, в клубе. Вечерами слонялся у ее дома, ожидая неведомо чего. И только через год сбылись его мечты. Они убирали в садах яблоки и, как водится, допоздна задержались. Возвращались лунным вечером, той же дорогой. Игнат помогал Анне подниматься на крутизну, где нужно — тянул ее за руку, и так получилось, что они раньше всех взобрались... Стоят на краю обрыва, а где-то далеко внизу слышны голоса отставших. И он впервые в жизни близко, нос к носу, увидел ее лицо, ее глаза, горящие потаенным огнем. Тут уж с ними невесть что вышло: небо

упало, луна раскололась в Днестре, звезды пошли хороводом, а эти двое затаились, как рыбоньки в черном омуте, и вдруг ударились ввысь, растворились друг в друге. Это был первый его поцелуй...

Он отворачивается от обрыва, делает несколько шагов, по-прежнему не поднимая глаз, и чувствует на щеке теплое дыхание своего нарядного дома, который глядит светлыми глазами окон и словно дружески упрекает его; эти упреки даже приятны и как будто снимают долю тяжести с его души. «Что ж ты так потерялся, дружище? Уткнулся в землю и не глядишь на меня. Разве я в чем провинился и не твои добрые руки меня сотворили, и не слабые усердные руки жены твоей, и не сильные умелые руки всех, кто приходил на помощь к тебе? Или не жаль тебе красоты моей? А вспомни свои мечты, вспомни вечера с Анной, когда, падая от усталости и изнеможения, вы с ней засыпали сладким сном на широкой кровати, сбитой из досок, положенных на кирпичи прямо здесь, под окном моим, чтобы глупые лягушки не запрыгали к вам в постель из бурьяна...» Игнат ничуть не удивляется шепоту дома и ждет продолжения, потому что, по всем прикидкам, голос Анны он сейчас слышал с крыльца, и она, очень может быть, ждет его за порогом? Он согласно кивает головой и думает: «Вот уже ты и болтаешь сам с собой, как выживший из ума старик. Ох, не к добру, Игнат! Чем-то все это кончится?..»

Игнат выходит на угол дома, глядит вдоль шоссе. На холме из глубины села возникает зигзагом мчащийся грузовик, проносится с воем мимо Игната — вот-вот прострижет по ограде Гулицы, а не то шлагбаум снесет в драбадан пьяный шофер. Но судьба хранит алкашей-дураков. Соскочив с асфальта и лихо подпрыгнув на пологом отвале кювета, машина заюзила по утоптанной полянке малого махалянского жока возле старого колодца с распятым Христом под дуплистым орехом — везунчик, и этот орех обошел и заглох, уткнувшись в обложенное камнями кострище, возжигаемое махалой по святым вечерам.

Не стоило так рано удирать из карьера, устало думает Игнат. Лучше б еще на одну смену остался; они, верно, запустили-таки камнерезку...

Смотрит на соседский двор — там пусто. У двери выставлено в ряд множество всякой обувки, взрослой и

детской. Игнат вспоминает простодушные отцовы россказни: у того в детстве на всю семью была одна только пара ботинок. Кто раньше встает и захватит — кум королю, а остальные бегай босые и сирые, хоть снег по колено.

— Гулица, мэй, Гулица! — кричит Игнат, наконец-то решившись спросить, кто его искал накануне. Сосед не отзывается. Зато к оконному стеклу прижимается орава сопливых носишек. Через миг они исчезают, как стертые тряпкой. Видать, кто-то из взрослых шуганул.

Игнат ждет-пождет, в дверях никого. Он машет рукой и бредет к крыльцу.

Перед дверью, порывшись в карманах, Игнат отпирает ключом замок и кладет его сверху на притолоку — переоденусь, а там... посмотрим, что делать. Поскорее бы скинуть этот пропыленный ватник, изъеденный каменной крошкой. Летом он его обычно снимал еще на дворе и швырял под навес, а теперь... Игнат вспоминает, что уже неделю не разводил огня в доме и там сыро и холодно. Чешет в затылке: надо бы собрать щепочек под верстаком, принести хворосту, натопить как следует печь, но лень, да и не для кого. Нажав на щеколду, толкает дверь и перешагивает через порог в сени. Вытаскивает из-за пазухи торбу и — эх, когда ж я ее залатаю? — бросает через плечо в угол. Ощупью нашаривает дорогу в кухню — там переоденусь...

Поднимает глаза и застывает на месте.

Перед ним на крюке висит, не касаясь полами земли, красное, почти нереальное в сумерках, но такое знакомое пальто Анны. Из-под него еще на ладонь виднеется край ситцевого, в полоску, платья, а на плечиках, под пальто, белый пуховый платок. На полу — аккуратная пара туфелек, хоть сейчас надевай. В первое мгновение Игнату кажется, что перед ним стоит Анна, как живая. Она ждет его, склонив голову к плечу и привстав на цыпочки: скоро ли он вернется? отчего так задержался, если ушел из карьера до срока? с какими думами переступил порог? Он стоит, пристально глядя на одежду жены, потом опускает глаза. «Прости меня... Не было сил сразу войти в дом. Но ты не упрекай меня за это. Если б ты знала, как я устал, как мне тяжело...» — «Знаю, родной мой, знаю. Но терпи, ты должен быть сильным, ты мужчина. Я слабая женщина, и то терпела, пока могла. Не поддавайся...» — «Я не поддаюсь, нет. Но

очень уж худо мне».— «Переоденься. Принеси дров. Растопи. Приготовь ужин».— «Ужин? Я не голоден». «Ай-я-яй! — стыдит она его.— Куда же это годится? Такому здоровому мужику надо есть. Живи, покуда живется. В другую влюбился? Люби, покуда любится...» «Влюбился? Не шути так, женщина!» — Игнат кладет руку на крюк: дай-ка перевешу все в гардероб. «Нет, не тронь, оставь меня здесь. Я буду каждый день ждать тебя и встречать с работы, и спрашивать, что у тебя на сердце, хорошо ли тебе, не устал ли, здоров ли...»— «Ладно, не трону. Но знай: мне так печально, так больно видеть здесь платье твое...»

Игнат спускается с крыльца, подходит к забору. Еще одна машина скатывается с холма и со свистом проносится мимо — волна холодного ветра обжигает щеки Игната. Странная штука, Игнату вдруг чудится, что случайная эта/машина вихрем закружила и унесла вдаль частицу его души... Что ж это потянуло его сорваться с места и вприпрыжку бежать куда глаза глядят по шоссе? Может быть, прекрасный лик, чьи-то манящие глаза в долю секунды скользнули по нему из кабины и поманили на край света, одинокого, сгорбленного, вцепившегося руками в забор? В самом ли деле он видел кого или ему померещилось? А может, это он сам равнодушно взглянул на себя из кабины? И теперь, приняв правила недетской игры, стремится душой вслед за каждой новой машиной... «Стоп! Дошел до ручки с этими мыслями! — думает Игнат.— Еще чуток, и, кажется, доиграюсь».

— Здорово! — кивает Игнат дымящему мимо Цугую, возчику детского садика. Навстречу его телеге выползает из-за холма машина с зажженными фарами. Но не то удивляет Игната, что придурок водитель среди бела дня включил фары, а сама побежка машины: она то чуточку съедет юзом под гору, то неожиданно станет, а то и вроде назад дернется. Знал бы Игнат, что это сама судьба его сидит за холмом и с ним в игрушки играет: попустит машину к нему на веревочке и оттащит обратно. Вот еще малость потравила конец — как спиннинг распустила и ждет: клюнет ли Игнат на живца? Машина кое-как докатилась до шлагбаума, оставшегося после весеннего падежа, и здесь, видать, стала в сухой док. Фары погасли, дверца хлопнула, вылез озадаченный задрыга водитель с заводной ручкой в руках.

— Нашел он тебя?..

Игнат оборачивается на голос и видит за оградой Гулицу в неизменной кушме и с топоришком в руках.

— Кто?.. Ах да, Петр Николаевич?.. Нашел.

— Чего ему? Все насчет твоего дома?

— Не только моего, Гулица, всей нашей улицы...— Игнат чертит в воздухе крест.

— Ну? И меня тоже на снос? — не верит Гулица, роняя топор, и, нагнувшись, сообщает некстати: — Вот хочу рукоятку для вил выстрогать. Копать пора.

— Думаешь, пора?

— Самое время.

Гулица говорит громко, хотя, собственно, чего кричать — дворы у них рядом. Они каждый день видятся и никогда не встречаются. Очень редко заходил Гулица к Игнату на двор, да и Игнат не охотник гостевать по гулицам.

— Где будешь вскапывать?

— Тут, перед домом,— показывает Гулица.

— Надо бы и мне взяться,— вздыхает Игнат.

Ржавый скрип железа отвлекает его от тягостных мыслей. Прячущаяся за горушкой судьба вернула злополучную машину от шлагбаума и поставила ее прямо перед воротами Игната. В доску ошалевший шофер бегал как заводной вокруг поднятого капота. То он вскакивал на крыло и совался в мотор, то спрыгивал на землю к кабине. И как только хлопал дверцей машины, странное дело, автоматически, со страшным грохотом соскакивал и защелкивался капот. Но герой не сдавался и остервенело вертел заводную ручку.

«Плохи твои дела, друг»,— сочувственно бормочет Игнат и уходит от своей судьбы в дом. Но на месте ему не сидится. Торопливо скинув ботинки, он остается в носках. Их по два на каждой ноге, зато и дыры в разных местах. Как солдат перед боем, он решает умыться и надеть чистое. На кухне находит таз, моет руки, лицо, ноги. Чистые шерстяные носки лежат под подушкой — эх, жизнь бобыляцкая! — он надевает выходной костюм, ищет сапоги — не ехать же в грязных ботинках...

Он торопится, он безумно спешит, торопится обуться, одеться, выйти из дому. Но куда ему спешить? Некуда ему спешить. Может, у него дела какие-нибудь? Нет у него никаких дел. Может, его ждет где-то кто-то? Никто

нигде его не ждет. Да. Хочет поскорей выбраться из дому? Да. К забору своему тянется, спешит выбежать на шоссе? Да. Торопится навстречу судьбе...

Игнат медленно переступает порог. Машина здесь, куда ж ей деться? Водитель почти целиком забрался в мотор, только задница наружу торчит.

Снежинка опускается на ресницу Игната и мгновенно тает. Он трет глаза, смотрит на небо, оглядывает темнеющие дали днестровской излучины.

— Показалось...

Присел на корточки, тронул землю.

— Рановато вроде для снега...

Души его неродившихся деток — тонкие озябшие деревца палисадника машут голенькими веточками, подзывая его: «Вот и суббота пришла. Что ж ты нейдешь? Хоть постой, помолчи с нами. Спроси, как мы себя чувствуем».— «Как себя чувствуете, ребятки?» — «Да вот холодно. Зима идет». «Да, идет,— отвечает Игнат.— Надо бы вас соломкой укрыть, а то, не ровен час, зайцы обгложут...»

Ближняя дверца машины щелкнула.

Игнат глядит... из кабины появляется ножка в капроновом тонком чулке, в черной туфельке. Она спускается на ступеньку, чуть медлит в ожидании напарницы, своей зеркальной пары в том же наряде. Посовещавшись между собой, они не приходят к согласию, и первая на свой страх и риск пускается дальше, сходит с подножки, неуверенно нащупывая почву. Став прочно на асфальт, она зовет вторую, замешкавшуюся на ступеньке. И вот владелица божественных ножек стоит на шоссе... Такая нежданная, между машиной и канавой с дождевой водой, такая беззащитная, в легких черных туфельках, в плюшевом зеленом пальтишке, повязанная желтым платком, похожая на расцветший подсолнух, невесть каким чудом занесенный на асфальт в эту слякотную осеннюю пору. Как не хватает солнца этому удивительному цветку!.. Через несколько часов, когда кончится суббота и канет в прошлое ночь на воскресенье, когда эта чужая женщина, не простившись, покинет его дом и он попытается осознать все происшедшее, ему представится, что она возникла перед ним, как в безветрии легкий дымок над крышей... Он уже видел ее — но где же? На окраине города, несколько лет назад. Добираясь домой на побывку, он стоял на шоссе рядом с женщиной в желтом

платке, похожей на эту. Скорее даже не похожей — ведь годы прошли с тех пор! — но он помнит, что и та женщина была печальна и сказала ему — или это сердце шепнуло? — что у нее горе в семье. Но все это позже узналось, а поначалу он был весел, разговорчив, даже болтлив — домой же ехал, в отпуск! — молодцевато расхаживал по краю шоссе, голосовал каждой машине, но они проносились мимо. Пошучивал и, чтобы развеселить понурую молодку, все нахлобучивал ей на платок свою белоснежную бескозырку: сама-де голосуй! Потом, когда узнал, что дома ее ждет мертвый ребенок, шутки кончились, и он, раскинув руки, вышел на дорогу перед первой же легковушкой. Частник обругал его, но женщину посадил. Закрывая дверцу, она бросила на Игната такой пронзительный взгляд, что он вспоминал о ней весь остаток дороги. И он будет вспоминать о ней всю ночь с субботы на воскресенье, скорчившись на лавке под окном, в смятенном полусне, смешавшем воедино пережитое накануне, горести последних месяцев одиночества, потаенные желания, сладко мучившие его с детских лет,— он уснет одетый, скинув только сапоги,— а эта чужая незваная женщина, с которой он вернется из города и проговорит далеко за полночь, будет лежать в его постели... Глядит Игнат на машину, на диковинный цветок подсолнуха, выросший перед ним из асфальта и медленно поводящий желтой головкой в поисках солнца, затерявшегося среди серых набухших туч, и думает: «Какого дьявола я на нее пялюсь? Делать мне больше нечего?» Отворачивается и начинает искать глазами вилы: надо бы пошарить за домом, Гулица вроде бы там их оставил. Взять и отнести в сарай, а то как раз кто-нибудь позаимствует. Идет к огороду и слышит, будто бы кто-то окликает его из-за спины. Молча. Беззвучно...

Игнат резко оглядывается.

Женщина в желтом платке стоит у забора.

«Перепрыгнула через канаву? Но вряд ли ей это под силу, такой маленькой. Может, повыше перешла, через мосток? Да нет, не успела бы. Удивительно, ей-богу. Ну... и чего же она от меня хочет? Небось скучно в кабине...»

Теперь он может разглядеть ее лучше. Лицо у нее бледное — может быть, желтый платок съел румянец,— щеки округлые, нежные,— невольно подавшись навстречу ей, Игнат замечает дымку печали в ее глазах. И чего



навязалась на мою голову, думает Игнат, забыв, что еще минуту назад сам упрекал себя за то, что глазеет на незнакомку. Надо бы эти чертовы грабли отыскать... тьфу, то есть вилы! Неизвестно чем эта женщина здорово его зацепила. Нет, на жену шофера она не похожа. А то сидела бы в кабине и не высовывалась. Или костерила бы почем зря своего мужа-задрыгу. Нарядная... Видно, парень подобрал ее на дороге. Отчего же она не остановит другую машину? Чего ждет терпеливо? Чего мешкает здесь?..

— Добрый человек, не дашь ли напиться?

Игнат так растерялся, что ни слова не понял. Смотрит на нее чуть ли не с ужасом, как на чудо-юдо заморское. Переспросил бы: что, мол, ты сказала? — да неловко, еще примет за дурака. И, в сущности, о чем может спрашивать путница, незнакомка, если не о самых обыкновенных вещах: о времени, о дороге, о... По запекшимся губам женщины он наконец догадывается:

— Водицы подать?

Она кивает и смотрит на кран во дворе, из которого звучные капли падают на дощечку и растекаются лужицей вокруг молодой яблони. Перехватив ее взгляд, Игнат почти умоляет:

— Нет... то есть нет! Не годится из крана — ржавчиной отдает и холодная. Я из дому принесу, сейчас, погоди!..

Опрометью, как подросток, кидается к дому, словно бы не ворочал всю неделю камни, словно бы не месил нынче грязь по всему селу, словно бы не было нынешней мучительной ночи. Влетает в сени, тычется по углам; куда же я задевал кружку? Бежит на кухню, там ее нет, ищет в комнате — на столе не видать. Останавливается запыхавшись: да где же она? Пот его прошибает — вот незадача, человеку напиться, а посуда как провалилась. Это называется хозяин. Называется — в доме порядок. А человек ждет, губы у него обметало от жажды. Кто знает, откуда она, бедная, едет? Как же это она хорошо по-женски сказала: «Добрый человек, не дашь ли напиться?» Напиться... Человеку напиться... Кружка стоит, как ей и положено, на фанерной крышке ведра, в углу сеней, на табурете. Что он, ослеп или совсем обалдел? Но кружка ему не нравится, нельзя в такой посудине подать человеку воду. Он опять бежит в комнату, падает на колени перед буфетом и с самого низу достает чашку — одну из двух заветных, с золотыми цветочками,— ополаскивает ее в сенях, наполняет, выносит.

Подает чашку через забор, а когда женщина подносит ее к губам, отводит взгляд в сторону: пусть пьет спокойно, видно, истомилась. Сквозь колья ограды видит ножки ее. Холодно, наверно, в капроне... Да и туфельки не по сезону. Игнат густо краснеет. Как это я так потерялся: и кружку найти не мог, и вообще как сопливый мальчишка! А теперь сквозь забор на ножки уставился...

Он с достоинством поднимает глаза и привычно опускает руки на верхушки кольев.

Женщина пьет, чуть от него отвернувшись, так что Игнат видит за желтым краем платка только край чашки — она держит ее за ручку двумя пальцами, сжав их так сильно, что кровь отливает из-под ногтей. Рука ее слегка дрожит.

— Готово! — слышен голос шофера. Из-под капота сперва появляются его тощие, торчащие врозь лопатки, потом все остальное.— Хоп! — он спрыгивает вниз и спешит к дверце кабины.

Незнакомка не может оторваться от чашки, а Игнат ее успокаивает:

— Пей, не спеши, когда еще он заведется...

И точно, мотор дрожит, кашляет, не заводится. Изрыгая проклятия, водитель снова нырнул под капот. Женщина, через плечо на него покосившись, допивает воду и, вытряхнув последние капли из чашки, возвращает ее Игнату.

— Спасибо, добрый человек.

С легким поклоном она взглядывает ему прямо в глаза, бесстрашно, впервые. И как-то удивленно, словно только его увидела. Поворачивается, идет к машине. Игнат стоит с чашкой в руке, глядя, как она удаляется неслышными медленными шагами. И вдруг, как молния, догадка пронзает его: уходит! навсегда из его жизни уходит! Он изо всех сил сжимает колья забора — болен я, что ли? Женщина эта прямо в глаза посмотрела... какие глаза, какой взгляд у нее... А она уже остановилась перед канавой — не перейдет, ни за что, нипочем! — радуется Игнат. Он очень надеется, что она все же к нему повернется, слово хоть скажет, попросит помощи у него. Но она перешла на ту сторону свободно, точно на крыльях. Вот поднимает руку, открывает дверцу, забирается на ступеньку — ножки ее одна за другой исчезают в кабине,— дверца захлопывается.

Игнат хмурится — чем она опоила меня, что я потерял голову, как пацан? — пристально разглядывает чашку, стараясь, чтобы женщина в машине этого не заметила. Ему кажется, что ручка чашки еще сохранила тепло ее пальцев, он даже угадывает следы ее губ на фарфоре, как красиво она ее держала, как долго пила...

Мотор ошалело затрепыхался. Шофер рванул ручку из-под радиатора.

Игнат еще стоит несколько мгновений, поворачивается, идет к дому. Посреди двора запинается: уезжает! Словно его в грудь кто толкнул: как, ты с ней даже не простишься? Оборачивается — конечно, она на него смотрит. Он машет ей чашкой:

— Счастливой дороги!

Желтый платок склоняется в легком поклоне, совсем как в тот раз, когда благодарила за воду. Игнат решительно направляется к дому: если слушаться сердца, оно далеко заведет. Ступает тяжело, сильно вонзая каблуки в размякшую глину. Глубокие следы остаются за ним. Рука с чашкой ходит широко, вперед-назад, вперед-назад, в такт его тяжелому шагу. Глаза сужены, почти закрыты, он старается занять себя мыслями о самых земных вещах — о потерявшихся вилах, которые Гулица наверняка не принес — забыл на конюшне, их втоптали в навоз, и какой-нибудь трактор вывалит навоз в поле, а весной попрут из земли молодые железные вилы... Но как ни крути, ни верти, а все перед глазами Игната маячит желтый платок незнакомки и ее глаза... какие они? хотя бы цвета какого? Игнат входит в сени, толчком распахивает дверь направо, в чистую каса маре, налево, в детскую, где и пол еще не настелен,— там стоят бочки с вином, картошка — погреб еще не закончен,— мешки с кукурузной мукой и всякая домашняя рухлядь. И снова он разглядывает чашку — по щербинке на донышке узнает свою из той пары заветной с золотыми цветочками. Иногда, пусть редко, но случалось им гонять чаи зимними вечерами, и Анна шептала: «Отдай мне твою чашку, давай поменяемся, а я тебе мою дам, чтобы ты обо мне помнил всегда. И завтра тоже, когда будешь камни свои бить».— «Я не бью, радость моя, я их складываю».— «Ну, как станешь кидать их там, знай, если обо мне вспомнишь, у тебя сил прибавится...» — «Хочешь, возьму ее с собой на работу?» — «Нет, нельзя, разобьешь — может, мою взять?» — «Упаси тебя боже!» — «Почему?» — «Не хочу, чтобы из нее пили другие, другая. Я знаю, у вас там в карьере работают женщины, а я одна хочу пить из твоей чашки...» «Ты одна,— повторяет Игнат и виновато ставит чашку на фанерную крышку ведра, рядом с кружкой.— Прости, Анна. Чужую женщину так мучила жажда, прости меня...» В глаза ему бросается красное пальто жены, висящее на крюке, подол платья, платок и пара туфелек на полу. В глубине комнаты белеет на кровати

горка подушек — именно так их всегда складывала Анна, а теперь и он выкладывает каждое утро. Ноги Игната слабеют, и он опускается на порог, прислонившись спиной к косяку...

Совсем новые, прозрачные, сильные, четкие мысли одолевают его: вот так встречаются люди на этом свете. Прежде никогда не видались, не разговаривали... встречаются, разговаривают, смотрят один на другого с улыбкой, с удивлением, с недоумением, потом расстаются, разлучаются, расходятся в разные стороны, так друг другу толком и не сказав, чему улыбались, отчего удивлялись, почему недоумевали... А потом, когда уже думаешь, что позабыл этого человека и сам образ его давно растворился в дымке минувших дней, в черной дыре отжитого,— он вдруг восходит перед тобой во сне или въяве, приходит и спрашивает: а чего ты тогда улыбался? чему радовался? над чем насмехался? или нашел что смешное в моем лице, в моей душе, в повадке моей? скажи! ты слышишь, скажи!.. А ты молчишь, ни словом не отзываешься, ведь ты понимаешь, что он — твоя греза, дымок над крышей в безветрии, он далек от тебя, живет в чужом мире, и кто знает — может, и нет его на земле... И тогда к горлу подкатывает ком, впору кричать, выть, биться головой о косяк: почему? почему я его так отпустил? Надо было спросить: зачем хмурился, отчего грустил, о чем печалился?.. Как же так я ее потерял?!

Шофер лихо крутит головку крана, но вода все так же течет слабой струйкой на косо поставленную дощечку. Наконец он легко подхватывает полное ведро и, виляя тощим задом, во весь дух несется к калитке.

— Прощенья просим! — кричит он Игнату, хлопнув калиткой.— Водички у вас позаимствовали...

— Ради бога,— отвечает Игнат с крыльца, просовывая руку в рукав синей суконной куртки с цигейковым воротником. На ногах у него — новые юфтевые сапоги в пятнах домашней пыли, которую он впопыхах не удосужился смахнуть.

За калиткой шофер замер, уставившись на хозяина дома. Сам он в своем удивлении нелеп и смешон, настоящий вопросительный знак с широкими сутулыми плечами и узкими спортивными бедрами. Он отметил про себя, что Игнат переменил платье и теперь, стоя на крыльце, ведет себя непонятно, как-то потешно похлопывает себя по груди, по ляжкам, суетливо шарит за пазу-

хой, по карманам, недоуменно рассматривает пустые ладони. Деньги, что ли, выронил? — догадывается шофер и вспоминает недавно купленного на рынке дергунчика — акробата на крученых ниточках, он так же забавно дергает всеми суставами. Присмотрел его для сынишки, да отдать забыл, так и валяется под сиденьем в кабине.

— Ух, голова садовая! — хлопает по лбу шофер, перешагивает через кювет и, забравшись на бампер, заливает воду в радиатор. Мотор тарахтит ритмично и ровно — хорошо промыл карбюратор,— водитель фыркает: два часа ушли псу под хвост. Вода, булькая, льется в утробу машины, даже непонятно, куда столько влезает. Он поднимает глаза на пассажирку за лобовым стеклом. Она сидит, понуро уставясь в пол кабины. Сидит как прибитая. Огромные ее глаза, может быть, слишком большие для этого лица, глядят не мигая. Сычиха, сука, ворожея... С тех пор как села в машину в том дальнем селе... да нет, уже в поле она остановила его, на развилке,— с тех самых пор и словечка не проронила, хоть он трещал, как сорока, всю дорогу, порываясь ее расспросить, куда собралась, что у нее за дела в городе, и не отважился. А здесь, под холмом, неподалеку от шлагбаума, где мотор расклеился окончательно, наш водитель разобиделся на судьбу, выславшую ему эту ведьму на перекресток дорог. Он был малость суеверен, этот бравый шофер, и, копошась под капотом, долго бормотал себе под нос дедовские заклятия от сглаза, что должно было означать: шла бы ты своею дорогой, другого останови дурака и морочь ему памороки! Но она все сидела, неподвижно, терпеливо, словно закаменев на своем месте... Просто удивительно, что она соизволила спуститься к этому долговязому за оградой. Интересно, о чем она там с ним судачила? Ведь казалось, она и вовсе языком шевелить не умеет.

Забросив пустое ведро в кузов, он усаживается за баранку.

— Мэй, шофер, мэй! Обожди меня, друг!..

Водитель вопросительно смотрит на пассажирку: кажется, кричал кто-то? Она молча кивает на Игната, бегущего от ворот к машине.

— Обожди, я тоже еду! — Игнат дергает ручку дверцы.— Найдется местечко?

— Да уж полезай,— разрешает шофер.— В кузове холодно.

Женщина сторонится, вся подобравшись, хотя и так занимает немного места. Игнат садится неловко, чуть боком, и закрывает за собой дверцу.

Машина плавно катится по шоссе: судьба сделала свое пока еще непонятное дело. За холмом открылся участок ровной дороги между голым виноградником и опустелым сливовым садом. Дальше побежали озимые; напоенная осенними дождями пшеница до горизонта раскинула свой ярко-зеленый густого ворса ковер.

Но что это? К ветровому стеклу приникло несколько белых снежинок.

— К хорошему снегу,— говорит шофер, не поворачивая головы.

— Рановато бы,— отзывается Игнат, поглядывая на спутницу, сжавшуюся в комочек между ним и шофером: а ты что молчишь? Но она только плечами повела, ей холодно при виде этих первых вестников зимней стужи.

— Как-никак конец ноября,— бубнит шофер.— В иные годы выпадал и раньше...

Женщина чуть наклоняется вперед, напряженно вглядываясь в дорогу сквозь грязное стекло.

— Да,— качает она головой, не объясняя, что именно означает ее «да»: то ли и впрямь рановато для снега, то ли это ответ ее собственным затаенным тревогам и мыслям.

Где-то через полчаса за верхушками деревьев на обочине шоссе является вдали бело-сизая хмарь, она разрастается, клубясь как живая,— это не туча, это валит дым из полосатых каменных труб — машина приближается к городу. Завеса мокрых деревьев резко разрывается, и под прямым углом слева открывается широкая магистраль с разделительной полосой, за ней ряд белых недостроенных корпусов — механический завод из центра города перебазируется на окраину. Где-то вдалеке свистит тепловоз, и ему отзывается эхо в долине Днестра; река здесь гигантской петлей огибает город.

Переехали железнодорожное полотно, шофер газанул и успел проскочить под опускающимся шлагбаумом. По обе стороны дороги тянутся трех- и пятиэтажные коробки недавно заложенного микрорайона. Машина сворачивает влево на узкую улочку с низенькими, будто старосельскими домиками и, проехав еще немного, останавливается.

Порывшись в карманах, Игнат достает несколько мо-

нет, кладет их на протянутую ладонь шофера и выбирается из машины. Водитель что-то ему еще вдогонку кричит, но Игнат отмахивается: ладно, дескать, благодарю, пешком доберусь. Он идет по квадратным плитам старинного запущенного тротуара, кое-где и плит нет — вместо них свинцово мерцают грязные квадратные лужицы. Пройдя с полквартала, незнамо зачем оглядывается — точно, машина свернула к вокзалу, а его спутница — вот она, идет следом.

«Куда она торопится?» — думает Игнат, радуясь неизвестно чему. В это время женщина останавливает прохожего каким-то вопросом. Выслушав ее, он пожимает плечами:

— Не знаю.

«О чем она могла спрашивать?» — думает дальше Игнат, и необъяснимое любопытство вдруг разбирает его. Пока ехали, на ухабах машина дважды бросала их друг к другу, и он невольно касался ногой ее ноги. Женщина неизменно отстранялась, ни разу не взглянув на него. Он даже не разглядел ее толком.

— Вы куда направляетесь, не во гнев будь спрошено? — задает он вопрос, когда она обгоняет его.

— Что? — пугается она.— Ах, это вы? Я, видите ли...— и теряется окончательно.

— Я видел, вы узнавали что-то у того человека...

— Видели? — как эхо, повторяет она.— Я только хотела спросить, где здесь мебельная фабрика. Мне надо заглянуть туда, понимаете...

Игнат не слышит. Он смотрит ей прямо в лицо, сейчас такое близкое, и впервые понимает, как она молода и красива. Он невольно улыбается ей.

— За углом твоя фабрика. Свернешь налево и в железные ворота упрешься. Там так и написано наверху: «Мебельная фабрика».

— Спасибо,— в ответ ему улыбается женщина.— Так я побежала, скоро начнет темнеть...

Игнат провожает ее взглядом и идет своей дорогой, прямо к больнице.

3

Анна услышала легкий скрип двери. Почувствовала на себе чей-то взгляд, но головы не повернула. Она стоит, облокотившись на подоконник, обняв ладонями щеки, и задумчиво глядит на деревья во дворе.

Там, на вершине клена, еще остается несколько листьев. «Как они держатся? — думает она.— Ведь вершины ходуном ходят от ветра». И ждет мгновения, когда лист оторвется и начнет свой полет среди веток. Вот оторвался, тихо плывет вниз, минуя оголенные сучья. Вот исчез. Верно, в дупло завалился. Теперь там истлеет, сгниет, зарубцевав шрам на теле родимого дерева.

Сделав спозаранку укол у процедурной сестры, Анна вернулась в палату и пристроилась надолго у подоконника. Дверь за ее спиной отворялась время от времени, кто-то входил, кто-то выходил. Она слышала, как нянечка с грохотом выносила плевательницы и судна, но даже не шелохнулась. Изредка она поднимала руку и усердно чертила круги на стекле. Но от этого стекло не становилось яснее. А до второй рамы добраться она не могла: с утра пришел завхоз и забил ее наглухо. Мир за окном по-прежнему оставался мутным, может быть, поэтому Анна изо всех сил терла глаза, так же терпеливо и старательно, пока слезы не выступали, и не разобрать было, то ли запотело стекло, то ли тоска застит ей очи.

Соседки по палате дивились, глядя на Анну: чего она стоит у окна, как приклеенная? Вышла бы, погуляла по коридору, поглядела бы цветной телевизор. А то и того хуже: растянется на койке и часами глядит в потолок. Женщина с перевязанной грудью, старожилка здесь, утешала ее поначалу:

— Не тоскуй, девонька. Не сто же лет тебе! Встань, походи, выйди к людям. Думаешь, в больницу помирать приходят? Я сюда во второй раз попадаю. По первому разу совсем молоденькая была. Поругались с мужем и так психанула, что ровно оборвалось что-то внутри. Вот вроде тебя, недели на две окаменела. Потом отошла мало-помалу... Поглядела на одного, на другого. А как вышла однажды во двор, подсел ко мне паренек... Как сейчас его вижу, у него еще был рубец на щеке. Посидели, покалякали, пошутили. Оказалось, он давно уже сохнет по мне. Больная, худющая, я ему по сердцу пришлась. А была тоньше тростиночки, не такая, как теперь, разбухшая бочка...

Женщина вздохнула, поморгала глазами и все же удержалась, не заплакала.

Анну позабавило признание этой старой распухшей женщины, которая когда-то была тоненькой, как тростиночка. Она пыталась представить себе того робкого пар-

нишку со шрамом, их любовь ненадежную — кто знает, может, надежной-то и вообще не бывает? — и душу Анны разбирала такая печаль, что она вновь с постели срывалась, спешила к окну и часами смотрела сквозь мутные стекла на асфальтированные аллеи, по которым важно прогуливались больные в линялых халатах, на старые, рассаженные как придется деревья — это был настоящий лесок: березы с невыразимо белой корой, пепельные акации с шуршащими по ветру искривленными стручьями, рыжие сосны, тянущие свои иглистые лапища в сизое небо... А вон идут парень с девушкой: он в полосатой арестантской пижаме, она в красном халатике, явно домашнем — больничные все уныло бежевые, а этот веселенький. Они идут, переглядываясь и тихо смеясь. «Влюбленные! — узнает их Анна.— За руку ходят...»

Дверь снова скрипит. Кто же это все хочет войти, да не решается? Неужто Петря по мою душу? И никакой его карантин не берет! Каждый день заглядывает хоть на минутку в палату, передаст апельсины или хоть помнется в дверях. Он уже здесь всем примелькался, а главврач шутит: «Бросай-ка ты, красавица, мужа! Видишь, сам Петр Николаевич у нас все пороги обил! Очень перспективный товарищ. Со всех сторон слышу: в Кишинев его сманивает «Молдсельхозтехника»!..»

Последний огненно-золотой лист сорвался с голой верхушки. Трепещет меж голых ветвей: язычок пламени на ветру повисает на остроконечном сучке — Анна затаила дыхание — и, словно набравшись храбрости, опять бросается вниз, вниз... Анна загадывает: приземлится ли он далече от родного ствола, так что никто никогда не узнает, откуда он родом, или ляжет в подножье взрастившего и взлелеявшего его дерева? — и, не дождавшись решения своей загадки, отводит глаза — тяжело быть очевидцем последних минут птицы, листа, любви...

Анна спешит к своей койке, ей хочется зарыться в подушку, закрыть глаза и уши, забыть обо всем. Но на подушке лежит узелок — гостинец от мамы. В больнице карантин, ее не пустили в палату. Пришлось поговорить у окна. Но что же она принесла? Анна устраивает узелок на коленях и разворачивает нетерпеливыми пальцами: баночка сметаны, завернутая в полиэтиленовый мешочек, хрустящие румяные коржики, такие, какие только мама умеет печь, кусок домашней ветчины, овечья брынза... о, да здесь на неделю хватит! А это что, завя-

занное в отдельный лоскуток? Анна распутывает узел и видит два клубка шерсти, один голубой, другой красный. Она стыдливо оглядывается — не видел ли кто? — и быстро прячет их под кровать, в картонную коробку, где у нее припасено еще кое-что...

Она спросила маму:

— Вы заходили к Игнату? Что он делает?

Мать прикусила губу и, приложив ладонь к уху, привстала на цыпочки.

— Игнат, говорю! Что с Игнатом?

— Отец? — кивала мама в ответ.— День и ночь на своей маслобойке...

Анна поняла, что мать не виделась с Игнатом и не хочет о нем вспоминать. Так они поговорили еще какое-то время, разбирая из десяти слов одно, а перед самым уходом мама спросила:

— Скоро выпишут?

Анна пожала плечами: когда-нибудь этот карантин кончится...

— Прямо к нам приезжай. А твой опять куролесит. По селу чего только не болтают о нем...

В палату неслышно входят две санитарки и доктор. Они перекладывают стонущую женщину на каталку и увозят ее. Анна провожает землячку до двери и хочет идти дальше, но доктор останавливает ее резким жестом. А санитарка притворяет дверь перед самым ее носом. «Куда? На операцию?» Нянечка по секрету рассказывала, что собираются Марию снова под нож положить, извлечь осколки теменной кости из мозга. Это будет вторая операция, хорошо бы последняя...

Судьба, судьба! Бедная Мария, бедные ее девочки! Вот теперь ее в горячечном бреду отправили в операционную, а еще вчера она сделала для Анны святое, доброе дело. Утром прикатили на машине Петря и Симион. Договорились с лечащим врачом и забрали ее в село до обеда. Там, за празднично накрытым столом, ее сговорили. Анна для храбрости чуток выпила. За обедом была весела и даже развязна, но, вернувшись в больницу, загрустила. К вечеру совсем сделалось тошно. Вот тогда-то Мария подозвала ее к себе и шепнула: «Знаешь, где я живу? Девочки тебе дадут платье». Только робко предупредила: не попадись смотри на глаза кому-нибудь из начальства — шуму не оберешься, а меня с работы погонят... Анна с трудом разыскала полуподвал недале-

ко от Дома культуры. Ближе к полуночи словно неведомая сила подняла ее с больничной койки и помогла спуститься через окно в сад, облитый луной. Ветер рвал и метал; Анна теснее запахнула на груди халат и, прокравшись к каменному забору, нашла знакомый пролом. Старшая девочка провела ее в тесную комнатушку, где на пружинной кровати спали еще четыре малышки, дала ей сорок копеек мелочи и старое пальто Марии. Анне везло. На окраине ее подхватила случайная машина и доставила до самого места: водителю было по пути. Когда она толкнула калитку и подошла к окну своего дома, сердце ее так бешено колотилось, точно она всю дорогу бежала. Да не случись этой счастливой машины, она бы хоть ползком сюда добралась. Сердце кричало ей, что происходит что-то роковое в ее жизни, в ее доме, с ее мужем. Но как ей быть, она сама еще не решила... В окно Анна не стала заглядывать: все равно ничего не увидишь, внутри темно. И на дворе ни души. На пороге застыла: не лучше ли постучать? Как-то он встретит меня? И когда она вообразила себе, как он, ее Игнат, с чужой женщиной спит в той же постели, в которой спал с ней, она почувствовала, что силы ее покидают, ноги слабеют и подгибаются; еще миг, и она упадет. Зажмурившись, она нащупала щеколду и прислушалась. Тишина. Вдруг ей померещилось дыхание и тревожный шепот. Она отпрянула, спустилась на леденящий цемент крыльца. Где-то в голых садах, внизу, прокричала ночная птица. И тут же в подол Анны ударилось что-то живое. Лягушонок. Он уставился на нее выпученными глазками, горлышко его так и ходило. Анна обрадовалась ему, как другу, погрела в ладони и сунула в карман жакетки. Улыбнулась: вот напугаю Игната! Решительно поднялась: неужто на двери замок? Нет, замка не было. Щеколда легко подалась — даже двери не запер! Анна скользнула в сени, а затем в комнату... Тишина, полутьма. Дома ли он? Неужели не слышит? Нет, вот и его дыхание доносится справа, с широченной двуспальной кровати, которую они долго выбирали в городе до переезда в новый дом. Луна била в окошко, озаряя голый подоконник с двумя цветочными горшками. Анна коснулась холодной печки. Не слышит! А может, затаился в темноте и следит... Она опустила лягушонка на пол: авось Игнат увидит, засмеется и выдаст себя. Лягушонок запрыгал и исчез под столом. Она подошла к крова-

ти, протянула в темноте руки: «Игнат, ты здесь? Отзовись!» Игнат не отозвался. Она присела на край постели, погладила простыню кончиками пальцев... И вот он рядом, дышит, здесь, на этой кровати, уткнувшись в стенку лицом, беспомощный, как ребенок. Ноги у Анны гудят, руки не слушаются. Обида и счастье переполняют ее до краев, она зарывается лицом в подушку...

Дверь отворяется с бесконечным жалобным скрипом, и в щель заглядывают два большущих блестящих глаза. Принадлежат они девчушке, которая частенько захаживает в палаты с дощечкой и щепочкой в руках — это ее тетрадь и карандаш. Она важно обходит больных, спрашивает, у кого что болит, берет на заметку, прописывает лекарства, назначает на процедуры, кого похвалит, кого разбранит, вызывая смех и принося облегчение страдальцам. Но к Анне она как-то по-особому тянется.

— Что такое? — спрашивает Анна.— Что там случилось?

Девочка испуганно глядит на нее.

— Тетенька Анна, ее увезли!..— Голос у нее прерывается, глазами она показывает на пустую постель. Анне дорога эта девочка, которую никто не навещает, кроме бабки, изможденной суровой старухи.

— Что ты болтаешь, глупышка? — Анна обхватывает ее голову руками.— Доктора взяли ее на операцию.

Она слышит, как сердечко колотится в маленькой груди.

— Операционная на замке. Я видела сама, как ее спрятали за ширмочкой в соседней палате...

— Знаешь что? — говорит Анна веселым голосом.— Давай-ка полюбуемся на наши носочки. Они почти готовы.

И ведет девочку за плечи к своей койке. Усаживает ее поудобнее, садится рядом сама. Вытаскивает из-под кровати вязанье, раскладывает на коленях.

— Ой, тетенька Анна, какие хорошенькие! И фасончик какой милый! — говорит девчушка солидно, совсем как взрослая женщина.— А они мальчуковые или девчуковые? Вот я тоже скоро маленького рожу. Так уж вы меня, пожалуйста, научите...

— Подрасти сперва, баловница! — Анна грозит ей пальцем.

— Слышите, слышите? — девочка вскидывает голову и бледнеет.

За стеной — шум беспорядочной беготни и душераздирающий стон. Девочка спрыгивает с кровати.

— Это она... тетя Мария кончается... Как же теперь, тетенька Анна?!

Анна притягивает ее к себе, изо всех сил прижимает к груди, закрывает ей уши ладонями:

— Ты не слушай... ты не должна этого знать, не должна!..

А Игнат уже под окном, метрах в десяти. Окно большое, двустворчатое, пожалуй, побольше теперешних сельских окон, и довольно высоко от земли. Он задирает голову, пытаясь заглянуть внутрь, и видит верхнюю часть стены и двери, потолок, да и то как в тумане — стекла запотевшие, пыльные. В них, как в мутном зеркале, отражаются облетевшие клены, дыбом стоящий кусок асфальта, длинная Игнатова тень.

Хочет он поднять руку, постучать в окошко и не решается. Едва добрел до угла здания. Его трясет, бьет мелкий озноб. Ощущение такое же, как он испытал однажды, попав под ток высокого напряжения. Дело было так. Нынешней весной в карьере бадя Филимон напоролся на оголившийся провод в триста восемьдесят вольт напряжением. Его заколотило, он взвизгнул каким-то мальчишеским дискантом; Игнат рванул старика за ногу, оба упали; затрясло и Игната. Спасибо молокососу в беретке, догадался вырубить ток. Долго еще за верным графином вина у них зуб на зуб не попадал — парень сидел третьим, сам не пил, подливал,— они тупо опрокидывали стакан за стаканом и понимали: могли ведь обуглиться...

И вот так сегодня Игната колотит весь день, с утра, спозаранку. Нет, не спозаранку и не с утра, а, пожалуй что, с явления той злополучной машины, которая довезла его в город. Нет, не с машины — с ножек, с подсолнуха на асфальте, с дымка над крышей в безветрии...

Вот сидит он за углом больничного корпуса, привалившись плечом к сосновой поленнице, пахнущей эфиром и ладаном. Теперь он твердо уверен в том, что это их третья встреча. А первая была в детстве, когда его родители только еще обстраивались на болоте после войны, а Игната отправили погостить за тридцать верст вверх по Днестру к бабушке по крестной матери. Была страст-



ная неделя. В четверг вечером пошли на всенощную. Бабка его крепко держала за руку, а он и не упирался: все ему нравилось в храме — горящие свечи, строгие лики святителей на иконах, благолепный волосатый дьякон с паникадилом, поп, распростерший руки в медленно отворяющихся царских вратах. Но когда хор разошелся на десятиполосицу и дошло до «Разбойника благочестивого», и костлявая, очень высокая девушка в белом взяла выше всех и повела аж до радужных херувимов на своде, Игнат захлебнулся слезами, вырвал руку из пот-

ных пальцев бабки и, яростно работая локтями, полез к выходу. С паперти ктитор проводил его подзатыльником. После надышанного толпой воздуха, пропитанного вонью жженого воска и дьяконовых ароматизированных угольков, эта скромно пахнущая белой сиренью, бедная звездами первомайская ночь показалась мальчику сущим раем... Он невольно вздохнул и побежал вприпрыжку по улице. Оглянулся — за ним поспешает незнакомая девочка. Подождал. «Ты убежал, потому что жарко стало?» — «Я вообще-то бабушку крестную жду...» Она была костлявая высокая девочка его возраста, может, самую чуточку старше. «Я тебя видела в церкви. Я и стояла рядом с тобой».— «Чего ж ушла?» — «За тобой»,— и настолько смутила его этим беспощадным ответом, что он тут же нашел лицемерное оправдание ее выходке: «Да, уж очень у них пахнет ладаном. Как на погосте». Она усмехнулась: «Если мы будем стоять, нас разлучат. Пойдем погуляем». «Куда бы мне тебя повести? Жаль, я не здешний». «Я знаю,— просто сказала она.— Там, на холме над Днестром, на Вороньем Яру, есть высокий ракитовый куст. Пойдем покажу. Только по дороге живет злая собака, так ты возьми камень, а я возьму палку — она и отстанет...» Подходя к опасному месту, они еще на всякий случай прижались друг к дружке и взялись за руки, но собака не тронула их, будто спала. И в молодом сиянии месяца, под редкими бледными звездами они весело взбежали на гору, к обрыву над Днестром, и до венчального ракитова куста уже было рукой подать, да трижды его обойти им бог не судил. С огромного присадистого валуна на тропинке слетела Цыганка с трубкой в зубах, махая своими разноцветными юбками. И была она не в меру пьяна, потому как все пыталась и не могла сорвать с шеи душившее ее монисто. «Вы чьи такие хорошие? — грозно нахмурясь, спросила она.— Чего ищете на моем обрыве в такой поздний час?» «Мы...— мальчик вышел вперед.— Из святой церкви идем!» «Из святой церкви? Ха-ха-ха! — закатилась Цыганка.— С палкой и камнем? — и поманила их черным крючковатым пальцем.— Бросьте ваши цацки, я вам понадежнее дам». Конечно, они тут же выронили и камень, и палку и, белее извести, трепещущие, приблизились к женщине с дымящейся трубкой в уголке рта и черными волосами как смоль, струившимися из-под желтой, с розами, шали. «Вы послушные детки, вы к попу ходите, не

то что мои вороненки...— И тут словно из-под земли выросла орава цыганят, галдящих, каркающих, кривляющихся.— Цыц, байстрюки! Геть в шатер! А вы, мои миленькие, не забудьте эту ночь. Вот вырастите большие, я уже в земле затворюсь... будет чем вспомянуть Цыганку...»— И она одарила девочку и мальчика нежным поцелуем слюнявых, пахнущих махрой губ. Потом, будто бы и пьяна не была, а зачем-то лишь притворялась, точным ясным движением отцепила от мониста два детских колечка из красной меди и надела их детям на пальцы. Колечки пришлись впору. А они, бедные, вспыхнули от смущения. Положив руки детям на плечи и отстранив их от себя, Цыганка восхищенно прицокнула языком и сказала: «Хорошей парой будете. Поскорей вырастайте!» Она ожесточенно сплюнула через плечо и поплелась следом за цыганятами к Днестру, попыхивая трубкой и бормоча что-то на своем цыганском наречии, не то песню, не то заклятье. Юбки ее еще долго шелестели в траве, будто кто-то косил... Запоздалый животный страх напал на Игната, он принялся лихорадочно дергать кольцо... оно никак не снималось. «А ты иди домой, с мылом попробуй»,— сказала девочка. Он опрометью, не разбирая дороги, ударился по тропинке в село. Прибежал весь в поту, зубы стучали. Крестная мать матери долго не могла его успокоить: сглазили мальчонку, ох, Иосуб не простит! А крестный отец матери попятнал ему лоб сажей, святой водой окропил и спокойно сказал: «К утру оклемается...» А колечко свое красной меди Игнат потерял по дороге, видимо, само соскочило...

С чего начался семейный разлад? Вернувшись однажды с работы, он застал ее в доме у печки, а было это в жаркий летний денек. Она стояла оцепенелая, уставясь недвижным взглядом в окно, а когда он хотел повернуть ее лицо к себе, вырвалась из его рук, выбежала из дома, ушла навсегда... И опять же это проклятое, идиотское слово! Оно, как стена, стало меж Игнатом и Анной. Анна во всем винила его, а он во всем винил Параскицу. Наивная лукавая дурында, она пришла как-то к ним за цементом, надо было обмазать крыльцо во дворе Иосуба. Ну, взяла бы и шла бы дорогой своей, так нет, она принялась донимать Анну, возьми да и ляпни: «А что это говорят по селу, Анна, фа, будто бы люди опять вас с Петрей встречают?» Анна аж поперхнулась от ненависти: «Почему же опять? Разве у нас мало дел в сельсове-

те?» — «Какие ваши дела, тебе лучше знать. Только вроде бы ты идти за него собиралась».— «Он собирался. Я не хотела. Захотела — пошла бы». «Вот оно как,— простодушно и широко улыбнулась Параскица, которая только что прошла по селу с подоткнутым подолом, сверкая перезрелыми голяшками, и сама того не заметила.— А теперь, стало быть, захотела?» Игнат как раз под навесом опробовал новый рубанок — подарок Анны... Когда она еще жила у стариков Игната, однажды горько над собой подшутила: «Вот было бы здорово — приезжает Игнат, а у меня на руках лялька. Эх, видать, пустоцветом я уродилась на свет, порченая я...» Знать бы ей, что пройдут месяцы и годы, и слово это станет ее проклятьем. Сказала — забыла. А вот Параскица запомнила. Принесла в подоле маменьке, а та — куме. И пошел звон по селу, пока не дошло до ушей Симионовой язвы. А та подняла тарарам: «Так? Доченька моя — порченая? Сегодня же забираю обратно! Я ей мигом мужа сыщу. И даже с детьми. А этот Иосубов недоделок долговязый, петух щипаный, пусть кукует один!» Так Параскица разожгла великий пожар, ровно паклю бросила в бочку с бензином...

А вчера вечером пришлепал к сыну старый Иосуб. Еще от ворот закричал: «Мэй, Игнат, мэй! Дома ты или нет?» А он, Игнат, хвать лопату и давай ковырять в корыте стылый раствор — все равно собирался выстелить вокруг дома предохранительный пояс от сырости. «И чего старика принесло? Верно, с бабьем перессорился снова...» Но нет, больно уж ухарски выглядел старый Иосуб. У калитки устроил целую пантомиму, будто приглашал кого-то войти и просил извинения, что поперек батьки в пекло полез: «Пардон, извиняюсь, мурсю!..» Таким он бывал после второго примерно стаканчика, непременно разыгрывал этакий маленький кавардачок. А то и вовсе, ни капельки не приняв, мог куролесить вовсю. У Иосуба бывали минуточки, когда он просто так, от жизни пьянел — сделает ближнему доброе дело или нападет на чертовски интересную собеседницу, и пошло, и поехало... Игнат что было силы лопатил раствор. Подлил воды из ведра, показалось мало, направился к крану. «Бог в помощь, работничек еров! Что, руки чешутся? Даже выходной костюм не сменил...» — «Обноски донашиваю...— мрачно отозвался Игнат.— А ты, чем ерничать, лучше бы помог человеку».— «Э, нет! — замахал

обеими руками Иосуб.— Я парадный костюм берегу. Вот если б ты упредил меня загодя...— Он подмигнул Игнату сразу двумя глазами.— Знал бы ты, с кем я сейчас имел честь дело иметь! А ну угадай! Вовек не угадаешь... Выхожу я, как говорится, в село. Дорога налево, дорога направо, дорога в середке: и туда, и сюда, и обратно. А люди, слышь, везде люди: каждый себе на уме, а мне куда подеваться? Счетуация, брат, ох, счетуация! Я ведь толком тебе говорю: для того только вышел, чтоб выйти, а не чтобы идти. Но раз уж на распутье стою, делать нечего — налево свернул. Там, кстати, самое буфетное место. Слыханное ли дело? Дойдя уже до прилавка, сообразил я, куда судьба закинула. Чтоб у меня ноги отсохли, если я туда думал идти! Но ведь пришел. Но врать не буду, корешей своих старых встретил: кума Калистрата, Иосуба Мону, тоже тезка мой закадычный, и... Да ведь мы тебе не буфетные завсегдатели! Кабы не седые бороды наши — глядишь, залили бы за воротник... Посовещались мы у прилавка и решили: пусть их молодые резвятся. А у нас свое заведение — шалман кумы Виторицы. Тут разуваются Иосуб с Калистратом, у них в портянках по рубчику — от злыдень схоронили на черный денек, на святую минуточку. «Все! — говорят разом, и глаза у них разгораются, как у чертей.— Похиляли к Виторице!» Посмотрел бы ты на них — павлины лесные, да и только... это которые были народные мстители туркам. Во двор влетают орлами, что твоя свита Стефана Великого, ну а за Стефана вроде бы я. Дома застали куму. Она нас, конечно, приветила, под навес усадила, выставила кувшинчик, за парой головок лука и брынзы полуголовкой сгоняла сожителя, самоеда безгласного, ногами забитого, богом забытого Ванюшку своего Чудного — заметь, и брынзы для нас раздобыла овечьей, домашней, не магазинной какой-нибудь... Да что я тебе расписываю! Посидели как следует быть. Однако... я не о том начал и не с тем пришел. Нахожусь, стало быть, со стаканом в руке и, откуда ни возьмись, смотрю, выходит из дома кумы... как думаешь, кто? Лучше не гадай, сто лет не прознаешь!..

Игнат опустил наземь полное ведро — дужка врезалась в ладонь.

— Да не мотай ты душу, говори наконец!

— Ха! Легко сказать: говори. Сидел бы ты на моем месте, а я выходил...— старый Иосуб оглянулся, не слы-

шит ли кто, подошел к Игнату и прошептал что-то на ухо.

— Вот даже как? — притворился Игнат удивленным.— Интересно, что она там потеряла?

— Лучше спроси: кого потеряла? А я как знал, что встречу ее. Только не у Виторицы, прости меня господи! Думал, прошвырнусь мимо садика, погляжу в дырку заветную — там как раз в заборе хороший сучок вынимается — и на красулю мою полюбуюсь в окошечке, на лужаечке меж деток. Я уже не раз ее так застигал... Тьфу, язык окаянный! — Он ударил себя ладонями по губам.— Выдал-таки грех стариковский! — и зубасто заухмылялся.— Но чтобы она вертелась в нашем вертепе — это уж ни в какие ворота!.. Сижу я, поднявши стакан, и речь у меня зудит в зубах, уже помалу жужжать начинаю в честь Виторицы, а тут — ба! такая природа с крыльца! Дай, думаю, барышню искромтом побалую. Завожусь с полоборота. Открыл рот и вижу... из двери, которую только что прикрыла она за собой, мужик прет! Расшиби меня паралик, если не лез! То есть сунулся лезть, вот как я тебя вижу и ты меня уважаешь, а как на мою гвардию напоролся — шмыг в кусты, обратно, стало быть, за дверь. Вишь, общественности, прощелыга, струхнул. Малый рослый, красивый, как ты у меня, и в костюме столичном... а там черт его знает, может, обноски донашивает. Крест на все пузо, если вру, химическим карандашом помусоля... Я уже было крикнул: «Игнат, мэй, Игнат! Что ты здесь делаешь? Запил?» Уж ты прости дурь стариковскую, глазами ослабился, идти им в пузырь! В дверь втемяшился левым оком, правое на корешей выкосил и на Риту Семеновну оба таращу, а в душе-то об тебе думку держу: поял-таки мой стрепет голубоньку! Браво, мыслю, так ей и надо: от бабы Иоаны ушла — у кумы Виторицы достиг... Одно только скверно: бояре мои тебя усмотрели, уж больно хитро сидели, борода к бороде...

— Кончай, отец, а то ведро на голову вылью,— взмолился Игнат.

— А чего ты взъелся? — удивился Иосуб.— Что тут такого? Старичок глазами прослабился... Вот и говорю своим корешам: вы тут укоротайте часок, а я обернусь за очами, ох, не у тебя ли забыл на рояли? А ты, бедный, лопатишь стылый цемент. Как же так? Ты там — и ты здесь! Как говорит наша Семеновна: раздавление око-

личности. То ли я симулянт, то ли ты прохиндей... Счетуация!

Игнат опрокинул в корыто воду, вздохнул. Любит заковыристое русское словцо старый Иосуб. А вот руку к лопате приложить — этого он не любит. Между тем Иосуб любовно поглядел на сына исподтишка: «До ядрышка я тебя раскусил, брат Игнат. И всю вашу интрижку на три метра под землей разобрал!» Есть у старика за душой великая тайна. Никто на селе этой великой тайны не ведает, он один распрочуял ее, а как и где — тем более никому не известно. Был будто бы некий сговор между Анной и докторшей. И сказала ей наша докторша: праздно пожила ты со своим мужем ровно три дня и три года. Итак, дорогая сестрица Анна, я согласна тебе помочь, только если ты на это с чистым сердцем пойдешь». И Анна будто бы отозвалась ей: «Пойду, Рита Семеновна!» И они бросились друг дружке на шею и зарыдали согласно, и заворковали, как две белые горлицы: одна белее дня, другая чернее ночи. Это было, когда докторша с черными, как у черта, глазами и телом, полным истомы, как у змеи, еще квартировала у бабы Иоаны... И будто бы докторша, качая Анну у млечной груди, яко младенца же, адскую с нее клятву взяла: «Трижды через плечо плюнь, что из моей воли не выступишь, и будет тебе хорошо». «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» — молвила Анна, а чем свою клятву скрепила, никому не известно, даже всезнающему Иосубу. И будто бы дальше лукавая докторша ей сказала: «Отвезу я тебя в женскую клинику к сведущему врачевателю. И он тебе ребеночка в колбочке сотворит. А если у него за два месяца не получится — на себя пеняй: придется мне взяться за Игната». «Как?!» — отпрянула от нее Анна. А у той бесы из глаз так и прыщут. «Я женщина видная, вальяжная телом, да и он парень не промах. Стало быть, будет у меня ребеночек от него, понимаешь?..» «Ребеночек? У моего Игната будет ребеночек! — радостно воскликнула Анна.— И ты его нам подаришь? Запишешь на меня в сельсовете? И всем скажешь, что я его родила!» И тут воцарилось молчание. Глубокое-глубокое, долгое-долгое. В этом месте рассказа у бабы Иоаны кончались слова. При всем честном магазине она закатывала глаза, как слепая, и, безбожница, тихо осеняла иссохшую грудь крестным знамением, после чего продолжала: «Нет, никогда! — вскричала коварная докторша.— Я сама его вы-

ращу, сама воспитаю! А если посмеешь препятствовать двум любящим сердцам, так я таки да пойду на аборт!» Дойдя до этих слов, Иосуб сильно конфузился: уж больно смахивала его история на двухсерийную индийскую картину, которую недавно вертели по телику...

— Видал, как тебя облапошили? — хлопнул по плечу старый Иосуб своего сына Игната.— Правда это или бабские враки, тебе лучше знать. А я просто хотел взглянуть своими глазами, лишний раз убедиться... Ведь, признайся, ты был у нее? Пусть не сегодня, когда-нибудь раньше?..

— Это у кого еще? — Игнат поднял глаза от корыта с цементом.

— Ясно, у Виторицы.

— А чего мне искать у нее?

— Нет, вы только послушайте! — возмутился Иосуб.— Битый квартал терпит без бабы мужик, а эта гладкая кобылица по нему пропадает. И он еще допытывается у родного отца, чего там искать!..

— Ну, был, был я у нее,— озлился Игнат, взглядывая отцу прямо в очи.— Дальше что?

Тут старый Иосуб покраснел, побледнел, опять покраснел, да так и остался. Раскашлялся, нашарил платок, долго утирал слезы: так все-таки это Игнат был у Виторицы! Когда же он, пащенок, успел вернуться домой и схватиться за лопату?.. Так думал вконец растерявшийся Иосуб, но мысли его не вязались, разве что... раздавление околичности?

— Слышь, мальчик мой, если ты и вправду с евреечкой этой спознался, хана рулю, кранты тебе... Ты их еще не знаешь, а я их сколько хочешь имел. Знавал я одну в молодости, когда батрачил в городе на маслобойке, на свадьбу себе заколачивал. И, как водится, сошелся с одной... Говорили, что тоже в прислугах живет. А кой там в прислугах! Однажды в публичном саду встречаю ее: разодета, как барыня, и под ручку с приказчиком от писчебумажной лавочки с дамским конфекционом. Кузмен, говорит, мой, не то кузнец... воотще навроде брательника. И говорит мне этот козел, братаня ее, значит: или ты отвяжешься от моей козлины, или я тебе обломаю рога. А она хиханьки-хаханьки, бородой трясет, копытом гремит: «Иосуб, душечка, бери меня замуж, как обещал. Лавочку нам уступает кузмен. Кинемся в ножки твоему папашке, пусть на обзаведение отвалит!» Каково мне

было это слышать, когда меня твоя девушка-мать жениться ждала?.. Но хороша, ужас как хороша была эта немочка или кто ее разберет — по-нашему ни бельмеса не знала, одно слово — городская душа! Имей в виду, мальчуган, такая в свой омут утащит и присосется. Они ж как пиявки — оторви да брось или кровушку выпьет. Уже так и быть, я тебя заслоню, сам за докторшу примусь, а старый конь борозды не испортит...

...Окно довольно высокое, так что даже долговязый Игнат, только привстав на цыпочки, может в него заглянуть. Перед ним, в излюбленной позе Анны, опершись локтями на подоконник и обняв личико ладонями, стоит махонькая старушка в черной косыночке, вперив в него неподвижный скорбный взор... Бывало, когда Анна думала, что ее не видит никто, на ее лице появлялось такое же скорбное старушечье выражение. В эти минуты у Игната сердце сжималось от жалости к ней. Он спешил заговорить ее, спрашивал что попало, даже пугал легонько. И лицо ее освещалось весельем, и она снова становилась задорной девчонкой, и даже носик ее озорно задирался...

Игнат прижимается лбом к мутному, плохо вытертому стеклу и видит вместо старушки в черном платочке совсем маленькую миленькую девочку со вздернутым, как у Анны, носишкой. У нее выпуклый, гладкий, как изваянный из мрамора лобик, обрамленный тощими рыжими кудерьками.

— Тетенька Анна подойти не может...

— Не хочет подойти? — кивает Игнат.— Ладно, я обожду.

Ничего не слышно из-за двойных рам. Они понимают друг друга по движению губ. Подоконник слишком высок для девочки, и она, чтобы сохранить свою позу, привстала на носочки. Теперь она совсем близко, оба приплюснули носы к стеклам, оба на цыпочках.

— Что делаешь? — кричит Игнат.

— Что ты говоришь? — переспрашивает девочка.

— Я спрашиваю: как поживаешь? Как себя чувствуешь?

— Уколы уже не болят,— отвечает она и заголяет ручку. На сгибе локтя, рядом с огромным, величиной с пятак, желтеющим синяком видны несколько красных точек — комариных укусов.— Здесь молоденькая сестра уколола, а это уже старая вернулась из отпуска...

Игнат протягивает руку и как бы гладит через стекло эту бедную тощенькую ручку.

Девочка совсем как взрослая улыбается.

— Я бы пригласила тебя, да у нас карантин. Знаешь, как ругаются нянечки! А ты там не замерз в этой курточке?

— Снега жду. Как минимум три снежинки упало с неба,— отвечает Игнат, растопырив три пальца.

— В три часа передавали прогноз,— утвердительно кивает она.— Ожидается резкое похолодание... А куклу ты мне привез? Тетенька Анна обещала, что привезешь...— и, видя, что он совсем не понимает ее, сворачивает из подола халатика подобие куклы и качает его в руках.

— Ах, куклу! — догадывается Игнат.— Уже заказал в магазине!

— И чтоб глаза у нее закрывались! — девочка несколько раз сжимает и разжимает кулачок.

— Да, обязательно будет говорить: «Ма-ма! ма-ма!»

Глаза девочки мгновенно наполняются слезами, она отворачивает голову и стряхивает их быстрым движением ресниц. Потом как ни в чем не бывало обращает к Игнату свое бледное личико:

— Ты ходишь к маме? Не голодаешь один? Что ты ешь?.. Тетенька за тебя переживает кошмарно и все время видит страшные сны...

Игнат качает головой.

— Что придется. Борщ варю иногда. А большей частью на работе, в столовке.

— Устаешь на работе? Домой поздно приходишь?

— Как придется. Вот сегодня суббота, да и камнерезка сломалась.

— А георгины ты прикопал? Не забыл?

— Прикопал. Не забыл.

И действительно, не забыл, прикопал.

— Теперь не замерзнут, им тепло.

— А тебе? Печку хоть топишь?

— Чем придется. Топил пару раз. Да ты не волнуйся. Я хорошо укрываюсь. В три одеяла. Да еще одетый сплю.

— Бедный ты мой... некому тебя пожалеть...— и вдруг застеснявшись: — Ой да подожди! Устала все время на цыпочках. Пойду подушку возьму, а ты подставь кирпичи.

Через минуту устроились.

— Хочешь, расскажу сказку? Только теперь тебе все слышать надо...

Она изо всех сил тянет на себя раму. Окно тяжело растворяется. А вот наружную раму не может осилить никак.

— Не старайся,— говорит Игнат.— Прибито гвоздями. Но ты ничего, начинай, а я понимать буду.

— Жили-были Игнат и Анна. А детей у них не было. Вот даже такусенького, и того не было. Тошно им стало вдвоем в пустом доме, не утерпела жена, говорит: «Мэй, Игнат, мэй. Делай что хочешь, хоть на край света иди, а чтоб маленький у меня был». Испугался муж, говорит: «Как же это, фа? Нешто чужого украсть? Людей совестно, да и отнимут...» «Ладно уж,— жена говорит,— хоть какое живое дыхание, да только в дом приведи: котеночка, щеночка, ежика, комарика...»

Девочка прижимает ковшик ладони к стеклу, словно сейчас, на глазах у Игната, комарика изловила. И он своей огромной заскорузлой пятерней с вечными мозолями и въевшейся в ссадины каменной пылью накрывает сударика с другой стороны. Она чувствует суровость и тепло этой мужской руки и кончиками пальцев хочет легонько пощекотать ее. Игнат невольно переставил ладонь. Она ловит ее. Он убирает — она ловит. Она убирает — он ловит. И тут, сам не зная зачем, он приникает губами к мутному грязному стеклу и целует ее белые тоненькие хрустальные пальчики.

— Ну будет тебе, не балуйся, лучше сказку дослушай!.. И вот идет Игнат по дороге, а навстречу ему хорошенький мальчик годочков шести. В зеленых штанишках, в красном пальто, а шапочка желтая. Испугался Игнат: «Как же ты ночью один на дороге?» «А вот так,— говорит.— Ищу сиротский дом. Меня судьба без доли оставила, и я теперь бездомный хожу. Никогошеньки у меня нету на свете!» И ты знаешь, Игнат, что дальше-то приключилось? Он думал, что это мальчик. Приводит домой, стал купать, а это, оказывается, девочка, и зовут ее Анна...

— Тебя-то как зовут? — пересохшими вдруг губами шепчет Игнат.

— Меня зовут Машенькой.

Машенька оборачивается. В дверях, с серым измy-

ченным лицом, привалившись к притолоке спиной, стоит Анна. Оторвавшись от стены, она тяжелыми шагами подходит к окну, поднимает с полу подушку, долго ее отряхивает.

«Что с ней? — с тревогой думает Игнат.— Что-то случилось... Или я уж так опостылел, или приступ опять».

— Ох, совсем забыл! — хлопает он себя по лбу.— Я же яблочек вам принес!

— Ну, давай твои яблоки,— говорит Анна и, придерживая полу халата, взбирается на подоконник. Открывает форточку.— Бросай! — высовывает руку наружу, потом с усилием протискивает голову и другую руку.— Бросай, что стоишь?

Игнат бросает. Сомкнув ладони, она ловко ловит румяное пышное яблоко и передает его девочке. Машенька тут же захрумкала. Игнат бросает второе, но теперь Анна промахивается, и яблоко с чваком разбивается об асфальт.

Игнат достает третье, но Анна жестом останавливает его.

— Это тебе.

Ноги Анны, обутые в больничные шлепанцы, совсем близко, на уровне его глаз. Он смотрит. Она чувствует его взгляд и зажимает халат коленями. Глядит на него сверху вниз, строго, трезво впервые в жизни. Какой же он сгорбленный, маленький, этот ее медведь-великан! А тогда, на жоке, рядом с Петрей, казалось, когда она бежала к нему сквозь толпу, нет никого на свете стройнее и краше ее Игната...

— Когда же домой? — спрашивает Игнат, не поднимая глаз.

— Не знаю.

— К Новому году будешь?

— Не знаю... Родители приходили. Домой меня забирают.

— Понятно,— говорит Игнат помолчав.— Может, оно и к лучшему. Сегодня был инженер. Говорит, сносить будут всю махалу.

— Кто-кто?

— Ну, инженер-инженер... сама знаешь кто.

— Откуда такие красивые? — спрашивает она, глядя на разбитое яблоко на асфальте.

— Из нашего сада.

— Из нашего? — удивленно повторяет Анна.— С какого дерева? Что-то я не помню таких...

— С нашего берега, там, в левом углу...

— А-а...— говорит Анна, кивая головой, и ударяется затылком о форточку.— Ты пореже ходи ко мне. Устаешь, верно... да и незачем, милый.

Игнат видит через окно, как мимо дверного проема проходит лохматый приземистый сторож, его всегда вызывают из будки, когда надо отпереть мертвецкую,— за ним поверху, на уровне плеч, долго плывут носилки, покрытые белой простыней; с другого конца носилки держат на плечах шесть санитарок.

— Отмучилась, бедная! — подает со своей койки голос женщина с перевязанной грудью.

— Тетенька Мария! — истошно кричит Машенька, топая ногами.— А-а-а!..

Анна успевает ее схватить, поворачивает к себе и крепко прижимает к груди.

— Ты не должна на это смотреть, ты не должна это слышать, ты не должна, не должна...

4

Игнат у пролома. Он уже пару раз пролазил здесь, сокращая дорогу. В ушах звенит истошный вопль Машеньки. Нет, кто-то его окликнул по имени. Оглянуться разве? Незачем. Некому его звать. И правда, что некому...

Все тот же крик:

— А-а-а!

С гребня кирпичной ограды Игнат еще раз всматривается в окно Анны. В чернеющем провале померещилась ему белая машущая ручка. Померещилось — это ветки колючим ветром качает.

Тяжело, обдирая колени, Игнат сползает на ту сторону стены, на пустырь. Отряхнувшись, как мокрый пес, бредет не разбирая пути вдоль бесконечной ограды. Где-то справа или слева должны быть ворота; от ворот надо плясать. Что это там за толпа впереди? Поворачивает назад. Прет напролом бурыми бурьянами по горлам битых бутылок, по консервным скрюченным банкам. Еще не стемнело. Люди кругом. Спешить некуда.

Пустырь кончился. Огородами, задами дворов, меж скособоченных сараюшек, крепких амбаров, погребов,

складов, дранковых нужников, сторонясь гремящих цепями собак, он все-таки выходит на улицу. Сворачивает за угол, за второй, третий... И перед ним, словно его одного ожидая,— настежь распахнутые врата облетевшего райсада. Неведомые деревья темнеют вдоль теряющихся в перспективе аллей. Где-то там, за голым строем стволов, за багровеющими лапами елок, угадывается рассеянное свечение города. Игнат минует ворота, и сумеречная тишь замыкает его в себе. Он замедляет шаг. Аллея, кажется, уже слева. Под ногами — мягкий чахлый газон. Колючки кустов цепляются за одежду. Лбом втемяшился в шершавый ствол дерева. Ощупью обошел. Дальше куда? Вываливается на другую аллею, усыпанную ржавыми хрусткими листьями — их сорвал ледяной ветер минувшей ночи.

— Аккуратнее, молодой человек, не сомните меня...

Игнат видит перед собой, чуть поодаль, беловолосого человека с палкой в руке, в котором готов с ужасом признать своего брата Иона, семь лет назад, еще юношей, разбившегося вместо него на Вороньем Яру, совершенно неуместного здесь, среди пустынного рая, с головой, задранной к небу, в черном пальто с посеченными полами, в ботинках с калошами...

— Еще не поздно. И солнце должно греть, да не греет. С которой же оно стороны?

Откуда быть солнцу, думает Игнат. Тучи с утра.

— Закатилось, судя по времени,— отвечает он.

— А завтрашняя заря озарит нежную голубую порошу...

Игнат стоит в нерешительности: надо ли что-то еще говорить или можно бежать? А тот, мягко положив руку ему на плечо, горячо зашептал в рифму:

Порадуйся со мной листве за грязной рамой,
Улыбке в темноте и звездочке сквозной.
Я сделаю сейчас, чтоб музыка играла.
Порадуйся со мной...

И опять — в самом конце нашей истории об Игнате и Анне или опять же почти в самом ее начале — в днестровской излучине сигналит кому-то трижды долго и один раз коротко сирена невидимого суденышка, сходящего по реке, того самого, что пробежало часа три назад мимо Игнатова дома, а теперь, словно за нами вдогонку, спешит мимо райцентра в родной затон отдохнуть до весны.

Аллея ведет наискось, обходя киоск «Пиво — воды»,— теперь он закрыт на зиму, засов заперт на пудовый замок, обернутый вощеной бумагой и обмотанный бечевкой, окна заставлены изнутри тяжелыми железными ящиками,— и возвращается, свершая невидимый круг, к отправной своей точке — киоску под исполинским тополем, невесть когда и кем — едва ли не самим великим Стефаном Великим — посаженным здесь задолго до основания парка; зеленовато-серебристая кора тополя изрезана бесчисленными знаками, именами с плюсами и минусами, сердцами, пронзенными стрелами... иные из шрамов уже затянуло оплывшее время.

Вокруг мертвая тишина. Игнат движется напрямик, послушный ее зову. За киоском, привалившись к древнему древу, на ворохе багряной листвы, сметенной в этот тихий закуток все тем же свирепым полуночником, лежит больничная парочка: он — в полосатой арестантской пижаме, она — в домашнем красном халатике. Девушка лежит, запрокинув голову и обхватив шею парня тонкими руками. Склонясь над ней, он тянется к ее губам, а она, зажмурив глаза, озорно дует ему в лицо и смеется. Игнат резко сворачивает и валит зарослями, ломая кусты. Перед глазами его стоит белое, с трепещущей голубой прожилкой колено девушки над откинувшейся полой халата, а в ушах — ее чуть хрипловатый, ломкий хохот пацанки. «И не холодно им,— думает Игнат,— и ничего им не страшно. Они сами себе и светлое солнышко, и соловьи».

Яркая зелень открывшейся перед ним поляны ударяет его по глазам. Он трет веки костяшками пальцев и идет дальше, туда, где видятся ему сквозь зыбкую завесу слез мать и дитя на изумрудной лужайке. Склонившись над малышом и придерживая его на весу за ручки, юная женщина учит младенца ходить. Сейчас он сделает первый шаг в своей жизни: уже приподнял ножку, но не донес до земли — вот-вот упадет. Мальчуган повернул лицо к маме, смеется, но занесенная ножка тянет его вперед, он рвется из рук... у него свое самолюбие! Игната вовсе не удивляет ядовитая зелень поляны — и среди зимы, случается, разгребешь сугроб, а оттуда полыхнет свежим и чистым маем; и не удивляет его нагота женщины и ребенка — ведь они только что вышли на берег и идут к месту, где сброшено платье; но до глубины души потрясает его мгновенное пронзительное прозрение, что

это его женщина, зыбкая, как дымок над крышей в безветрии, ведет к нему по траве его, Игнатова, мальчугана. Он жадно разглядывает это впервые ему представшее въяве зрелое нежное тело, ноги с удлиненными икрами, бедра и грудь, длинные деликатные руки и пухлое ядреное тельце ребенка. Конечно, Игнат понимает, что перед ним дешевая парковая скульптура — замшелый потрескавшийся цемент местами раскрошен, обнажив ржавую арматуру; зияющая трещина разрывает тело матери от плеча и до лона, да и локоть отбит. Все так... но в душе его развязалась буря — она только ждала малейшего толчка извне, чтобы грянуть и перевернуть вверх тормашками мир,— его сомнительное равновесие Игнат изо всех сил старался не расплескать. Он знает, боится, что если сейчас подойдет к этой изувеченной статуе, ощутит кончиками пальцев ее мертвенный холод и промозглую ноябрьскую слизь, то не вынесет своего сиротства — разревется, начнет клясть все на свете. Но и отвести взгляд от этой каменной бабы он тоже не в силах. И чтобы хоть как-то самого себя ободрить и обмануть, Игнат говорит: «Видишь, Анна, вот такой я тебя представлял в своих снах».— «Ладно, брось... Уже смеркается, торопись. Не поспеешь домой, заночуешь в дороге. Что ты засмотрелся на эту бесстыжую? Она ведь голая вся!» — «Еще капельку посмотрю и пойду. Честное слово, пойду...»

Игнат пятится назад. Он хочет прощальным взором обнять ее вместе с лужайкой, запечатлеть и с собой унести. Нет, еще близко, нужно отойти чуть подальше. Продирается спиной сквозь цепкий терновник. Что-то ухватило его сзади за куртку и держит. Заведя руку за спину, нащупывает ветвь, отдирает ее от себя, отводит не поворачиваясь, поворачивается. Вырвавшаяся лапа звезданула его по глазам... кровью умылся. От боли присел. Хватается за лицо: оно все изъязвлено шипами, липкое от влаги, сочащейся между пальцами. Глаза не видят, и, кажется, навсегда. Смеясь встал, поймал, нашарив в воздухе, ослепившую его ветку акации — это была мощная разлапистая ветвь с гремучими стручьями и иглами величиною с ладонь,— с веселым бешенством рванул ее на себя и с хрустом выворотил из ствола. Обдирая ладони, очистил от стручьев и посторонних отростков, ударил о землю — звенит! Отменный выдался посох. Игнат выставил его вперед на всю длину руки и шагнул следом.

И снова выбросил, и снова шагнул. Теперь ему совсем хорошо — он не один, он с этим посохом весь мир обойдет, только бы выбраться на дорогу. Не успел подумать, мимо с бешеной скоростью проносится грузовик: в ноздри шибает горячий бензинный дух. А за ним и второй, чиркнув Игната бортом по плечу. Он слышит отчаянный визг тормозов. Чья-то грубая шершавая ладонь ложится на его руку, сжимающую посох...

— Добрый человек, да ты весь в крови! Дай переведу через улицу...

Сквозь кровавую пелену перед Игнатом брезжут огни. Всю мостовую запрудили машины, они сигналят, гудят. Кто-то, тень человека, выводит его на тротуар. Наскоро потрепав Игната по плечу, милосердный водитель растаял. Машины потекли своей чередой, улица пустеет. Одинокий Игнат стоит на краю тротуара, сжимая свою верную кушму... и как она у него в руке оказалась, ума не приложит. Оббил ее о колено, водружает на место. Слава богу, что-то он еще видит. «Комедия, ей-богу, комедия!» — уперев руки в боки, хохочет Игнат. И, пока огни города не погрузились во тьму, спешит свернуть с сияющей магистрали на тихую улочку, а там еще вбок, в переулочек. Теперь, без посоха, в стремительно сходящихся сумерках, уходя все далее на окраины, в глушь, Игнат снова бредет на ощупь. Он уже привычно жмется к краю пешеходной дорожки, подальше от людских глаз, от справных хозяйских заборов, от монументальной дощатой ограды с гирляндой лампочек под плоскими жестяными козырьками, тянущейся вокруг недостроенных корпусов механзавода, гудящих на ветру пустыми проемами окон. С трудом перешагивает через черные кучи прелой листвы, поочередно притрагиваясь к хрупким саженцам, выстроившимся вдоль дороги взамен вывороченных с корнями и еще не увезенных отсюда стволов вековых акаций. То ему кажется, что он слишком забрал вправо, то ноги сами уводят его еще правее.

За новостройкой его ждет и вовсе тихая улочка, незнакомая, но, похоже, искомая.

Куда теперь поворотить ему?

Над перекрестком пляшет фонарь, раскачивая в окрестной тьме два старых саманных домишка. Первый из них, жилой, совсем в землю врос, так что окна его с наружными ставнями стоят на тротуаре, сложенном из плиток с мерцающими кое-где квадратными блюдечками

льда; второй, двухэтажный, вроде бы и есть легендарная Иосубова лавчонка... стены ее вспучились и облупились от времени, кровля прогнила и давно провалилась, ветер свищет в провалах развороченных рам. А ведь когда-то была она украшением здешней мастеровой слободы. Видать, красовались в ее витринах роскошные дары колониальных товаров, как-то: керосин, спички, сало, свечи, пышные восточные сладости — рахат-лукум, щербет, на палочках петушки, веселенький креп-жоржет, контрабандные умытые брильянты в сотни карат, турецкий душистый табак, ученические тетради в клетку и косую линейку, ластики, бенгальские огни, стопки узорчатой черепицы «Руа-фрер», косы и топоры, книжки, синька, лифчики и прочий немыслимый дамский конфекцион здешних бедных красавиц — словом, все то, чем рассчитывала торговать Иосубова немочка или кто ее там разберет...

Постоял Игнат у давно остывшего пепелища убогой Иосубовой юности, припомнил пылкие отцовы россказни, освещавшие все его детство, хмыкнул, снял кушму и вытер ею окровавленное лицо. Внутренний голос молчит. «Теперь налево, пожалуй»,— думает Игнат и опять поворачивает вправо.

Входит в коротенький тупичок, кончающийся в полусотне шагов высокими железными воротами, осиянными мощным светом прожекторов. Игнат собрался было вернуться назад, но у ворот, ухватившись рукой за прут решетки, стоит женщина в плюшевом зеленом пальтишке, в желтом платке. Носком легкой туфельки она что-то сосредоточенно чертит на земле, словно сложную теорему решает. Голова ее низко опущена. За воротами справа — будка вахтера. Наверху, на металлической сетке, блестят алюминиевой краской крупные буквы фирмы — не то заводишко, не то мастерская. Впрочем, Игнат на них и не смотрит. Душа его полна женщиной, горестной, раздавленной: она не надеется, чтобы ей отворили, она не просит, чтобы к ней сюда вышли, она держится за ворота, чтобы ее не прогнали.

«А то как же, у нее сердце схватило»,— думает Игнат.

В то же мгновение он видит по ту сторону, за решеткой, мужчину в засаленном ватнике, который этой женщине машет рукой: вали, мол, отсюда!..

«Вахтер, сволочь!» — догадывается Игнат.

Женщина резко поднимает голову и что-то страстное, умоляющее кричит в лицо мужчине, вцепившись обеими руками в прутья.

Слова ее проходят мимо сознания Игната — сам жест жестоко красноречив.

«Нет, сволочь, не вахтер!» — опять заключает Игнат.

Старик, заросший серебристо-рыжей щетиной, вылез из будки, отпер ворота, выпустил грузовик с роялями, запер ворота и скрылся в будке.

Все остальное произошло очень быстро.

Женщина посторонилась и, пропустив грузовик, бросилась в ворота. Мужчина в ватнике, опережая вахтера, начал сводить тяжелые створы. Она пронзительно вскрикнула и, схватив его руку, стала покрывать ее частыми исступленными поцелуями. И тогда, чуть выступя из ворот, мужчина мгновенным ударом колена разбил ей лицо...

Женщина в сбившемся желтом платке лежит навзничь у закрытых ворот мебельной фабрики. В пятидесяти шагах от нее, проломив задом корочку льда, в лужу садится Игнат. К нему с легким небесным звоном катится под уклон обручальное золотое колечко — оно, видимо, соскочило с безымянного пальца женщины и, описав круг, устраивается у Игнатовых ног. «И что мне далась эта падаль? И кто она мне? Что связывает нас? Чашка воды? Эта дурацкая дорога сюда, когда она меня ненавидела, битая харя, каждую рытвину ставила мне в вину, как будто я ее нарочно касался?.. Надо ее поднять на ноги, хотя бы стереть кровь с лица, утешить, на руки взять... До чего же гнусно на этом сволочном свете! Сам себя ненавижу... Отчего только о ней целый день вспоминаю? Видать, она работала в городе, сошлась с этим, в ватнике, а он другую завел. Ай да суженую мне бог судил!.. Ничего, я сам себе голова: стащил кольцо и ушел. В гробу я ее видал! Живучая... утрется и встанет...»

Выйдя из тупика, Игнат еще и за угол завернул. «Я тоже хорош... как птенец желторотый... от живой жены налево смотрю...»,— думать думает, а у самого губы трясутся.

Ускоряет шаг и минут через двадцать выходит на шоссе.

Уже совсем темно, город в огнях. Отсюда, со взгорка, как на ладони видна раздольная днестровская излучина:

бетонная набережная, стылая аспидная вода, рассеченная на равные отрезки отраженьями неоновых радуг.

Поглядел Игнат, вздохнул и стал взбираться на холм; там, где в шоссе вливается ветка от элеватора, проще сесть на попутку.

Дошел — стал столбом у столба. С севера дохнул пронзительный ветер. В воздухе запахло снегом.

В ее селе, наверно, уже метет, думает Игнат и вспоминает три снежинки, прилипшие у них к ветровому стеклу. И снова я о ней думаю, упрекает он себя и твердо решает не думать. То есть думать-то можно, но о другом, о своем. А то вот опять вспомнил о ней, и на душе потеплело. И не то чтобы как-то особенно жалел ее, просто сердце рвется на части.

«Так все же она, не она?.. Или не было этой майской ночи на чистую пятницу, а есть только морок одинокого человека?»

«Морок мороком, но когда ты увидел, что она села в кабину и машина уходит, ты выскочил на крыльцо и попросил, чтобы тебя обождали. Почему?»

«Почему-почему? Потому, что я сказал себе, что тоже в город поеду. Все равно ведь машина остановилась у самого дома, а еще и этот задрыга вломился во двор...»

«Допустим. Но что это тебя сорвало в город, вот так, сразу?»

«В больницу поехал. Проведать жену».

«Долбонос ты задумчивый, толстогубая размазня! А раньше ты ни о чем не догадывался?»

«Надо же было ей передать...»

«Что передать-то? Яблочки? Что ее суженый дом у тебя отнимает?»

Игнат пожимает плечами.

«Стало быть, ты побежал к Анне жаловаться на Петра Николаевича?»

«Выходит, что так...», — беспомощно разводит руками Игнат.

«Во-первых, она все знала раньше тебя. Чего ж поехал?»

«Не знаю...»

«Знаешь. Но давай по порядку. Итак, ты выходишь во двор, окликаешь шофера просто так, без цели, без смысла?»

«Как-то так...»

«Зачем же ты перед этим одежду Анны убрал из сеней?»

«Так мне все опостылело, оф... Души не стало во мне...»

«И если бы ты не вышел, не завопил, если бы опять остался один в этом проклятом доме... что бы ты сделал?»

«На том же самом крюке... где ее платье висело...»

«Хорошо. И тут ты бреешься, умываешься, переобуваешься, надеваешь новую куртку... и даже яблочек прихватил. Для кого ты их взял?»

«Для Анны, конечно».

«Точно? Ты уверен, что для нее?»

«Для кого же еще? Я же их довез и честно ей отдал».

«А ну... сунь руку в карман».

Игнат достает яблоко.

«Какой же ты слабак и мерзавец! Ты бы и его не довез, улыбнись тебе разок случайная женщина на дороге. Ты и теперь для нее его держишь».

«А вот выкуси!.. Я его сейчас на твоих глазах съем!»

«Это мы еще поглядим».

«Ну так гляди!» — схоронившись от ветра за столб, Игнат жадно хрупает яблоком.

И тут случилось несчастье, он умер. Огрызок яблока попал ему в дыхательное горло. Он почернел, пытался откашляться, хоть чуточку схватить воздуху в грудь и — не мог. Он сполз по столбу на землю; дыхание его пресеклось.

После смерти он вспомнил то, чего при жизни никогда, ни при каких обстоятельствах не вспоминал да и позволить себе вспомнить не мог бы, потому что все это было с ним в другой жизни.

...Долго еще доносилось молчанье, пока уходил он.
Лишь вечные звезды отважно сияли над лесом,
Краснел кизил в предрассветной дремоте,
И первые птицы трогали крыльями воздух.
Она поднялась навстречу ему так плавно,
Словно огромная птица влетала в дом из тумана.
Она поднялась навстречу ему так нежно,
Что он подумал о ней, как о смерти, и остановился.
Они лежали обнявшись, оба нагие,
И слушали, как сердца их тихо смеялись.
Он гладил ей волосы, солнце вставало над лесом.
«Пора, мой любимый!» Он молча кивнул головою
И словно с разочарованьем в нее погрузился.
Она поплыла под ним, как долина, как поле под плугом,
И длилась, и длилась, и длилась. Потом протяженность исчезла.

«Пора, мой любимый...» Земля задрожала. Колени
Ослабли. И это был миг отчужденья. И все продолжалось,
Лишь ритм изменился. Он вышел, как сабля из ножен,
Свободный, как слабость, и губы его запеклись от скрытого зноя.

Ему было лет тринадцать-четырнадцать, когда они снова встретились. Всем классом убирали виноград в соседнем колхозе. Кончался срок; приехали новенькие, и она среди них. На винограднике, в сумерках, накануне его отъезда из лагеря, она взяла его за руку и отвела в лесополосу. И вот то, что там было и что в той своей жизни он помнил: ее глаза, почерневшие от предчувствия ужаса, его трясущиеся руки на ее ледяных, узких, покрывшихся гусиной кожей плечиках, твердые соски, царапавшие ему грудь,— боль и радость познания. Не было поцелуев, потому что этого они еще не умели, не было азарта борьбы, сюда это ни в какую не шло, не было смущения, потому что стыда тоже не было и оба еще были чисты, не было обещаний и клятв, потому что впереди их целая жизнь ожидала, не было упоения, потому что тело, которого тоже не было, все же мешало, и раскаяния потом не было, потому что им очень понравилось, и они, отдышавшись, все повторили сначала. Исколотые шипами акаций, изъязвленные мошкарой, они лежали на муравьиной куче, и она говорила: «Семь лет тебя жду. А ты бы завтра уехал, если бы я не подошла первая. Теперь я твоя, и запомни, предатель, если ты снова спрячешься и забудешь меня, я за постылого выйду, а ты будешь всю жизнь каяться...» И он, отвернувшись, горько заплакал, потому что знал, что предаст, потому что больше всего на свете боялся навеки связать себя с нею и знал, что связан с нею навеки еще с того ракитова куста на Вороньем Яру. И она поняла его и, пальцем проведя по его замурзанной, в потеках, щеке, вынула из кармана кофточки припасенное яблоко. И он откусил от яблока плача, и поперхнулся, и умер. И она пожалела — отдышала его.

...Скрип-скрип, скрип-скрип.
Слышен скрип каруцы.
Каруца? Откуда здесь каруца?

Игнат напрягает глаза и видит, как что-то черное медленно надвигается на него из долины: скрип-скрип... Да, похоже, что каруца. Но почему она так велика? Чем нагружена с верхом? Минут через пять ее колеса поскрипели перед лицом Игната, и он, задрав голову, сообра-

зил, она камышом завалена. И не каруца это, а огромнейший воз камыша. Он медленно плывет мимо; стебли шуршат, острые листья и мягкие камышовые головки скребут по асфальту, кони часто, низко кланяются дороге, с натугой волоча в гору. Где же возница? Как это где? Должно быть, наверху, на возу. Игнат встает с земли и смотрит наверх. Нет его на возу. Должно быть, на той стороне помогает коням, ведет под уздцы... И только когда каруца немного отошла от Игната, он замечает смутную тень, ползущую следом за ней. «Ишь, какой мастер,— дивится Игнат,— коням дал волю, а сам от ветра хоронится, чтобы не сдуло. Удобно устроился, еще и покуривает...— улыбается он красному тлеющему огоньку за каруцей.— Попросить, что ли, сорок, затянуться дымком — оно бы и теплей стало...»

Вдруг снизу, от города, стреляют в небо по тучам два ярких столба света. Это фары машины, еще далекой. Вот они, чуть опустившись, пронзают дорогу от подошвы холма до самой его вершины. В свете прожекторов посреди шоссе нелепо застыла долгая тень Игната: он уже было побежал за возом — как знать, может, возница из его села и довезет до дому? И пусть бы хоть до утра ползти пришлось... А тут машина. Свет ее то кажется совсем близким, то вроде отдаляется — верно, водитель, поубавил огни у закрытого переезда. Игнат прислушивается... нет, поезда как будто не слышно... И снова загораются яркие фары, теперь уже точно машина его догоняет.

— Стой! Остановись, мэй!

Водитель видит его издали и, несмотря на то, что уже разогнал на подъеме своего «жигуленка», притормаживает: узнал знакомого.

— Мэй, Игнат, мэй! Что ты делаешь ночью один на дороге?

— Домой еду.

— Ну так давай садись! Как раз место свободное...

Игнат всматривается: машина пуста. Открывает дверцу: все заднее сиденье аккуратно завалено коробками с тушенкой. Штук двадцать банок лежит и на переднем сиденье рядом с водителем.

— Сдвигай и садись. В тесноте — не в обиде.

Это Василе Лефтер, бригадир из карьера. Опять у своей буфетчицы погостил, равнодушно отмечает Игнат.

— Ты прости,— извиняется он,— я не один... с человеком.

— Ладно,— по-бабьи вздыхает Лефтер,— авось ГАИ дрыхнет... Человека на колени посадишь.

— Нельзя ее на колени,— говорит Игнат.— Неудобно, чужая.

— Полезайте, там разберемся...— бригадир включает скорость, нетерпеливо похлопывает кулаком по клаксону.

— А, может, полчасика подождешь?

— Ты что? Делать мне нечего, что ли? Дома жена, дети... Да где она, твоя баба?

— Тогда поезжай,— виновато говорит Игнат и закрывает дверцу.

— С утра голову морочишь,— злится Лефтер.— Ушел с работы, камней невпроворот нагорожено... Будь здоров, чудак человек!

Машина с визгом срывается с места и исчезает во тьме. Скрип каруцы меркнет, удаляясь к вершине. Еще мгновение — и все звуки и свет поглощаются тьмой. Игнат в пустыне. Только ветер легонько посвистывает в верхушках акаций, и каруцы уже почти не слыхать.

Прокашлялся: может, кто-то услышит, может, этот кто-то поблизости, уже подошел или еще на подходе...

— Эй, есть здесь кто?

Молчание.

Он поворачивается, идет к своему столбу.

Теперь ему немножко жаль, что не сел в «жигуленок» — стрелой домчал бы. «Кто знает, не осталась ли она ночевать в городе? А не то помирилась со своим мордобойцем... оно после ссоры получается слаще...»

И слышит шаги. Легкие, не то детские, не то женские. Бездомный мальчик годочков шести в зеленом пальтишке, в желтой шапочке взбирается к нему на гору. Подошла и остановилась поодаль. Руки зябко спрятаны в рукава. Спиной повернулась, смотрит в сторону города. «Не видит меня...» Игнат вежливо кашлянул, пошаркал ногой. Она все не глядит. Еще потоптался, вздохнул, опять укрылся за столб: там, по крайней мере, не дует...

Наконец, через четверть часа отчужденного ожидания она подходит к нему и, пробормотав «добрый вечер», спрашивает:

— Давно ждешь?

— Давненько,— поспешно отвечает Игнат, радуясь ее обращению, как ласке.— С час, а то и больше.

— И нет машин?

— Была одна, да я передумал... вас дожидался...— он

делает к ней решительный шаг, взяв ее руку, с усилием разжимает пальцы и кладет на ладошку золотое колечко.— Вот, обронили...

Она отдергивает руку, будто обжегшись, так что кольцо со звоном катится в темень.

— Я ничего не роняла! — опускается на колени, шарит по асфальту и, как-то сразу нащупав кольцо, возвращает его Игнату.— Вы обознались.

Женщина встает с колен и отходит на свое прежнее место у обочины, снова укрыв в рукавах руки от ветра.

Что за черт, думает Игнат. Не хочет признаться. Может, обиделась на меня? За что? Не может быть, чтобы это была не она... Теперь он сам к ней подходит, берет за плечи, поворачивает к себе, заглядывает в лицо — на нем должны быть следы удара,— но в темноте не видать...

— Извини, ты куда едешь?

Она недовольно высвобождается из его рук, пожимает плечами.

— Неужели ты забыла меня?

Но она опять упрямо и тупо повторяет:

— Вы обознались...

Раздосадованный Игнат отворачивается: «Что за женщина! Ее спрашиваешь, а она, как немая, молчит. Или к ней подходишь, а она в сторону, словно я ее съем. Боится, что ли, меня? Нет, все же она — не она. Чужая какая-то баба попалась...» Он идет в темноту — пускай постоит одна, если хочется. Оглянувшись, видит, что она потянулась за ним. «Во! Выходит, она,— говорит себе Игнат и на радостях опять ее атакует, но уже издалека, с трезвой оглядкой:

— Не знаю, почему... или мне кажется... что я с вами знаком, то есть видел вас когда-то прежде...

Женщина отвечает отчетливо:

— Отчего же когда-то? Сегодня, здесь, на этой дороге. Ты мне еще попить вынес, когда остановилась машина возле твоего дома.

Игнат стоит ошалело, точно его по затылку трахнуло молнией: «Значит, она меня сразу признала, а подходить не хотела. И голос... Значит, она — это она, та моя девочка...» Мысли его путаются, он заливается краской, но, слава богу, темно, и она не видит его. Она стоит вполоборота, чуть отвернувшись, словно не хочет, чтобы он и дальше бесцеремонно рассматривал ее, и вообще хочет,

3*

чтобы он знал и видел все только до определенной черты. А он на радостях пускается во все тяжкие:

— Я уж было испугался, что ты горожанка, а вовсе не ты...

Она в который раз пожимает плечами и хмыкает. А его без удержу несет и несет.

— Ты в этих туфельках, наверно, совсем замерзаешь?

— Замерзаю совсем,— неожиданно признается она и добавляет: — Да что за печаль, если и вовсе замерзну?

— Зачем же такие слова говорить? — теряется Игнат.— Походи лучше, разомнись... А то давай потанцуем.

И она ни секунды не раздумывая, соглашается:

— А без музыки как же?

— А вот так,— говорит Игнат и крепко ее обнимает. Они медленно притоптывают ногами в такт своему тяжелому дыханию.

— Теперь теплее? — спрашивает он минут через пять.

— Спасибо, согрелась.

— Я как увидел тебя в этих туфельках, сразу подумал: холодно ей в капроне...

— Весь день мерзну сегодня, с той самой минуты, как вышла из дому. Эту машину полтора часа ждала на дороге. Кому ни голосну — все мимо. Я уж было пешком отчаялась. И, думаю, не стану голосовать, хоть становитесь вы на колени. А он, откуда ни возьмись: за рупь, гражданочка, прокачу с ветерком! Да так разогнался, что я еле затормозила перед твоим домом: жиклер, или как его там в карбюраторе, сглазить пришлось...— В тепле Игнатовых рук, Игнатова дыхания она раскраснелась, разболталась, как девочка.— Ой, я так соскучилась по зиме, по чистому снегу!..

— Это не в карбюраторе сглазило,— авторитетно заявляет Игнат.— Это вода в радиаторе закипела... Слушай, кроме шуток, возьми кольцо свое. Куда мне с ним? Ты же призналась, что мы вместе ехали. И про фабрику меня спрашивала. А я тебя там приметил. И кольцо твое подобрал...

Она, разом оторвав от себя его руки и застыв на месте, спрашивает с неприязнью:

— Кто это тебе все щеки исцарапал?

Игнат Иосубовым жестом упирает руки в боки:

— А он тебе губы разбил!

А она ему:

— На, смотри! Не видишь, так спичку зажги...

— Я не курю...— Игнат растерянно хлопает себя по карманам и спрашивает: — А нет ли у тебя огоньку?

— Ничего! И так поймешь! — женщина вдруг привстала на цыпочки и, обхватив его шею, прижала губы к его щеке. Он задохнулся. И едва разобрал ее жаркий шепот: — Сказано тебе — обознался! Я совсем не та женщина. И будь добр обращаться со мной, как с чужой...

Тут Игнат смертельно обиделся. Бросает ее к чертовой матери и идет на четыре стороны, вслед за каруцей. Под ногами шуршат мелкие камешки. «Бедный, бедный задрыга! Иногда вот такую посадишь и сам не знаешь, что на свою голову взял. А этот мордобоец несчастный в заплатанном ватнике! Ведь лихо как развернулся и как вмазал жалеючи... довела, видать, горемыку. И она как, бедная, лежала у ворот и кровью горючей умывалась, собака такая... И я, упырь горемычный, пустопляс еров, это я за всех виноват перед богом: в который раз встречаю ее на дороге и одну оставляю...»

— Эй ты! Идешь?

Ждет-пождет, когда отзовется она. Да слышит ли? Слышит, не слышит — молчит. Молчит? Пусть молчит, лишь бы шла.

Она идет, и легкие ее шаги мягко шуршат по камешкам, чуть в отдалении. Серебристо поблескивает дорога.

— Я вот думаю: разве нынче кто-нибудь камышом кроет? А на что он еще годен, этот камыш?..

Снова прислушивается — нет ответа. Порывистый ветер доносит с вершины холма далекий скрип колес и фырканье лошадей.

— Стало быть, говорю, купил у кого-то, благо что болота еще не замерзли. У человека купил. Только ночью зачем везти, вот в чем вопрос. Не украл ведь, ясное дело...

Она все молчит, и это Игнату в досаду. Как-никак он сюда, к своему столбу, первый пришел и стал — старожил в некотором роде и даже хозяин. Она же — гостья не очень любезная. А вести себя не умеешь — ступай к переезду и там голосуй...

— Вот у моего отца Иосуба Чунту — не слыхала такого? Он у нас все лето на Доске почета висел,— тоже камышом крыша крыта. Но ты сообрази сперва, когда крыли! Лет, может, восемьдесят тому, при покойном Игнате, его отце, будь ему земля пухом... Но крыть камышом теперь, в космическом веке,— не лезет ни в какие ворота...

Игнат неожиданно для себя останавливается и говорит другим тоном, как бы за собеседницу:

— Но, может, тому человеку уголок только заделать... все равно одного воза на целую крышу мало. И то надо принять во внимание, что в любую и всякую эру шифер выпускают дерьмо, а камыш великая штука — он тебе и стоит дольше, и на чердаке держит тепло, и вообще глядеть любо-дорого. Вот у отца моего, к примеру, у Иосуба Чунту... не слыхала о нем?..

Нет, она решительно не слушает или не слышит! И, махнув рукой во тьму, Игнат окончательно с ней порывает.

— Ну, ты как знаешь, а я его догоню... то есть воз...— и тут с ужасом понимает, что ее шаги уже давно в тишине совсем смолкли, еще когда он сошел с шоссе на обочину и пустился вдоль ряда голых деревьев, смутно чернеющих на пепельном небе, как скелеты каких-то фантастических змеев-горынычей. Самого себя он обманывает тем, что сейчас остановился и ловит во мраке скрипение каруцы и шелест камыша. Но где же она? Неужели снова разлука?

— Эй-эй! Женщина! Милая! Дорогая! Откликнись! — Он уже готов обратно, на огни города, за ней вдогонку лететь.

— Добрый человек,— отзывается она у него за спиной запыхавшись,— обожди, я с тобой...

Ага, мысленно говорит себе Игнат, куда она от меня денется? Небось страшно ночью одной на дороге. Да и мне, признаться, скучновато впотьмах топать. Вдвоем веселее...

— Ну, значит, так! — говорит он бодрым голосом.— Стоять нечего — окоченеем. А машина нас как догонит, так и возьмет...

И опять они идут, он впереди, она сзади, хотя обочина здесь достаточно широка — в сухую погоду по ней гоняют трактора и телеги,— и она свободно могла бы пристроиться рядышком. А он, того и гляди, мог бы ненароком прикоснуться локтем — вот было бы здорово! Что же она, как назло, тянется сзади? Может, не поспевает за ним? Так он обождет... Игнат еле плетется.

И она свои шаги замедляет. Ее туфельки легко постукивают позади.

— Давай догоним каруцу,— предлагает он.

— Какую каруцу? — с интересом спрашивает женщина.

— Как какую? — Игнат звереет.— Я же тебе битый час толкую о камыше.

— О каком камыше? — еще больше удивляется она.

— Тьфу! — Игнат плюет на дорогу. Вот и поговори с ней! — Каруца с камышом... Чему же ты удивляешься?

— Вот и удивляюсь я...— бормочет она и добавляет еще несколько слов, из которых Игнат разбирает лишь сочетание «приснилось-пригрезилось». Что приснилось-пригрезилось? Кому? Ей или мне? О чем, о ком она грезит? Или вообще не было никакой каруцы — просто я задумался об отце и его привидел с этим камышовым возом в ночи...

— Идешь ты, наконец? Чего стала? Боишься меня, что ли?

— Ну вот еще! Чего мне бояться? Я не девчонка.

— Вот и я говорю: бояться нам нечего. А ну давай рядом со мной! — говорит с таким видом, будто давно имеет право приказывать. В конце концов он ее не звал. Сама напросилась, так изволь слушаться.— Кому сказано, рядом! А то не догоним каруцу...

— Да уж догнали,— спокойно говорит она.

И правда, шагах в двадцати впереди еле-еле тащится по обочине, уже почти на самом гребне холма, воз с камышом. И теперь слышен не один только скрип колес, но и мерный цокот копыт и шуршанье мягких камышовых головок по камешкам.

— Тронь — камыш или не камыш? — манит ее Игнат к возу.

Женщина подходит, протягивает руку, ласково касается остроконечных листьев, отрывает бархатный початок и подносит к лицу, словно забыла, чем пахнет камыш.

— Плесенью пахнет... илом, живой рыбой пахнет...— чуть слышно произносит она.— Интересно, кто же теперь кроет дома камышом?

— А я тебе о чем толковал? — смеется Игнат.— Куда же хозяин делся? Он сзади шел, еще и курил, и я у него хотел табачком поживиться...

— А ты разве куришь?

— Да я так, от скуки погреться...

— У нас тоже камышовая крыша была,— задумчиво говорит женщина,— да муж променял на шифер.

— Шифер — дерьмо,— машинально соглашается Игнат.— А хозяин на верхотуру забрался...

— Эй, хозяин! — зовет женщина.— Не возьмешь ли с собой?

— Отчего ж не взять? — подает голос возница с воза, как будто с неба.— Горячая молодка никогда не повредит старику. А ты случаем не бесхозная будешь? Как насчет этого дела? Дедушку приголубишь маленько?.. Возьму, возьму, дай только дорога пойдет под уклон...

Теперь оба, Игнат и женщина, плечом в плечо,— но где ж Игнатово плечо, а где ее! — идут за каруцей, чуть слева. Деревья кончились, пошло чистое поле, и ветер с силой ударил в лицо и заставил звенеть на возу каждую камышинку. Игнат думает свою думу — и мог бы он сейчас по голосу признать старика, да все его мысли — о ней. И она тоже молчит, думает о своем: «Напрасно, напрасно я все это снова затеяла. Увидела, что не везет с самого начала,— надо было вернуться домой. Когда теперь доберусь?..» Она отстает на шаг, глядит на широкую Игнатову спину, упрямо склоненную против ветра, мерно и грузно движущуюся рядом с каруцей, и в ужас приходит: «Куда я? Что я делаю? С кем иду?.. Лучше б меня убили, раздели, ограбили... В какой раз я его нахожу, хороню, воскрешаю, мордой о него тычусь, как в решетку железную... и снова он меня бросит, как бросает всю жизнь. Ни стыда, ни смерти, ни старости — ничего не боится тупой, слабый, бедный мужик мой... Знать тебя не хочу! Глаза бы на тебя не смотрели! Вот нарочно отстану — уже на два шага отошла. Повернусь — и останусь одна. Лучше сейчас это сделать, чем после. А он и не заметит, и не почует... вот я уже в пяти шагах... в десяти... прощай, моя радость!..» Она останавливается, отворачивается от Игната — они уже перевалили вершину холма и дорога пошла под уклон. Огни города скрылись за гребнем, и только зарево высвечивает краешек неба — там был, есть и навсегда останется город.

— Ты что здесь делаешь? — слышит она насмерть перепуганный шепот.— Ты чего отстаешь?

Игнат крепко берет ее за руку — так будет вернее — и говорит:

— Очень уж ты нерешительная. Хочешь — за возом пойдем, хочешь — в город вернемся, хочешь — так останемся. Только, пожалуйста, вместе...

— Мне машина послышалась,— говорит она.
— Да это же от элеватора на товарную станцию. Ну, хочешь — побежим и, может, еще остановим!
— Не хочу!
— Тогда поспешим за каруцей.— И он мягко тянет ее за собой. Все правильно делает, думает она. И груб и нежен — все в меру. Вот только не хватает его каждый раз — боится судьбы...
— Тпрру, мальчики, тпрру... А ну, подсажу, красотка! И покатим с нашим романцем под горку... Ну, что же ты мешкаешь?
— Я, дяденька, не одна.
— С кем же ты?
— С мужем.
— Только мне твоего мужика не хватало! А чего не слышно его? Немой, что ли?
— Отчего же немой? Подай голос, Игнат!..

5

Иосуб закуривает. Долго, занемевшими от холода негнущимися пальцами сыплет махру из кисета на газетный клочок, пытается завернуть козью ножку, а выходит свиное ухо. Загородив свой снаряд спиной от ветра, одну за другой ломает спички о коробок — спасибо другу Цугую, позабыл кисет на конюшне вместе со спичками. Как-то он теперь по селу матерится без курева! Верно, забрел на огонек к бабе Иоане, и она, порывшись в укладке, вынула заветный покойного мужа кисет с душистым табачком истамбульским, его прадедовскую чумацкую люльку, еще сбегала к куме Виторице за зеленым винцом и брынзой овечьей, не какой-нибудь там магазинной, и сидит, разиня рот от блаженства и глаз не сводя с любезного своего, с которым ее роднят не только сладкие грехи детства, а и семеро деток, принесенных в подоле ее лопуху-турку. А может быть, и так, что не стал Цугуй бередить старую рану, а пустился по дорожке попроще, к самой Виторице, и теперь посасывает «беломорчик», который она держит для сельской элиты. А вполне мог бы седатый кобель и вовсе удариться во все тяжкие — оккупировал магазин, где немало сходится прежних его зазнобушек, и пробавляется в этом случае «Ляной», снисходительно повествуя о всеобщих внуках и правнуках, об их садиковых успехах и промахах. И то сказать, добрая половина

малышей из его детской конки — его собственное полынное семя. Почему полынное? Потому что кукушечье, пролитое в чужое гнездо, своего лица не имеющее, а списанное на Иосубову безгрешную душеньку. По секрету признаться, курилка Цугуй вообще смолоду отличался хваткой шкодливостью за счет пустобреха Иосуба, а однажды и сам с парнями подковал своего дружка на мякине, и крепко его отбузовали тогда, а там всем гамузом сговорили за злыдню.

Отчего же по идее некурящий Иосуб закурил? Начнем с более легкого повода. Он здорово продрог нынче, хлюпает носом, раненая нога едва поспевает за возом в гору, и он уже разок засмолил цыгарку, чтобы себя взвинтить для вздутия чувств; вот Игнат и не признал в камышовом вознице родимого батюшку. А теперь сам бог велит задымить, как всякому уважающему себя мужику в минуту волнения: чужая баба-заблуда середь темной ночи на большой дороге величает собственное твое отродье мужем! С одной стороны, старика это тешит — каков бес Игнат, весь в Цугуя! Вон Петря-инженерок по ночам возит баб из села, а этот из города. Но, с другой стороны, не жирно ли будет: тут тебе и Анна в больнице, и Рита Семеновна в садике, и на возу горожанка. А они и впрямь уже забрались на камыш и чем там занимаются... проклятая неизвестность, оф! А посему Иосуб свое инкогнито попридержал от Игната, схоронил за конями, взяв их в темноте под уздцы. Вон, вишь, угрелись на верхотуре и верещат, что твои вешние жаворонки. И все больше щебечет она...

— Этой весной, уже с полгода, как он пропал. Я и не знала, где он и что с ним. Вот так, в один прекрасный день взял и исчез. Утром когда я уходила на виноградник, дома сидел: что-то он заскучал, зажурился. «Если тебе нездоровится, говорю, надо лечиться, а то еще хуже раскиснешь». А он: «Видал я этих друзей в белых халатах! В лагере и то не бегал в медпункт, хоть и ходил в доходягах».— «Тогда, говорю, полежи дома, может, само обойдется». Соберусь, бывало, в бригаду, только скажу: «Ты хоть не тоскуй, по дому займись чем-нибудь, вот цветы поливай». Вернусь — лежит в сапогах на кровати, глядит в потолок, и цветы сохнут. Заговорю — молчит. Зову поесть — не идет, даже покушать не хочет. Только все чихирь кипятит в кружке. И так все три года желтел и слабел день ото дня. Я и с поля каждый вечер старалась

пораньше вернуться, и все мне казалось: войду во двор, прислоню сапку к завалинке — а в доме пусто... И однажды так и вышло по-моему. Исчез. Нет его день, нет другой, нет третий. Я было думала, он подался к отцу, у него отец в Шерпенах... Ну да что я тебе забиваю голову своими бедами! Я, если хочешь знать, вообще-то молчунья. Уже и не знаю, что на меня накатило...

Дорога ровная, кони пошли вольнее. Иосуб все сторонит их от ленты шоссе: мало ли какой дурной самосвал выскочит из-за поворота, а он без огней... того и гляди, отдашь богу душеньку и с конями, и с сыном, и с этой его жалостной брошенкой. Старик вдруг замечает, что ноги уже не вязнут, как днем; грунт прихватило морозцем. Шагнул смелее и тут же по лодыжку поплыл в жидкой грязи, в сапоге захлюпало, как в носу,— старый, каши желает. Тогда, отбросив так и не закуренную, расползшуюся в руке самокрутку, Иосуб вытягивает из внутреннего кармана старого пальто с посеченными полами — он уж его сколько лет донашивает после Иона — алюминиевую армейскую фляжку в брезентовом заскорузлом чехольчике и, скрутив с нее головку, закладывает за воротник добрый глоток сливовицы, которую по большим праздникам гонит в конюшне Гулица, скинув свою лохматую кушму и заботливо обтирая ею слезящийся кончик змеевика. Теперь Иосубу и гланды нипочем, море по колено. А что сапог шмыгает, так он и за голенище каплю зальет: не жалко, всех угощаю! Дал бы и Игнату хлебнуть для храбрости, да ведь он фляжку узнает. А может, бабенку эту слегка подпоить? С другой точки зрения, другая от этого еще в драку полезет, смажет по уху. А он-то у меня губошлеп ласковый, неумелый — и сдачи не даст. И что она тут про лагерь плела? Небось из бандюг в невестки ко мне возмечтала? Нет, это мужик у ней бесшабашный урка, а сама чиста, как снег, и вся в репьях, как дворняжка бесхвостая. Испугалась давеча моей ласки крутой, как я хвостом плеснул в камыше, ровно короб пудовый, поняла, что не вытянет, и запела лазаря — к Игнату давай шипиться. А он, милая душа, сызмалу был дурак обязательный. Вот, помнится, ему годочков шесть стукнуло, беру я его за хворостом в лес — паскудные были годы, нуждные. А тут еще пурга закрутила, а в доме, на грех, ни полешка. Сховались в потемки от лесников, насекли трофейным штыком акаций по хорошему бремени, взвалили на спи-

ны... тянем. А буря себе мглою небо кроет, вихры смежные крутясь. Все, мыслю, табачок наше дело, заметает по брюхо, а Игнату по маковку. Бросай, кричу, бремя, я свое уже давно бросил, ползем! Так до света рачком домой добирались. Вот и болото родное, и злыдня выставилась в окошко... глядь, а сынок волочит оба бремени, побелел весь. Потом полгода отходил, кашлял и чахнул. Потому-то и вымахал такой дуб могучий и праведный! Вот и тянутся к нему люди прислониться. А он всех жалеет, всех балует, и эту сиромашку тоже пригрел на возу... Конечно, им бы сейчас не на мне, а на Петриной Мурге милее было бы закатиться с бубенчиком...

Где-то вдали, за долами и за холмами, на пригородной птицеферме ударили в рельсу — по «Маяку» часы отбивают. Раз, два, три, четыре... девять ударов насчитал, а они дальше звонят. Стало быть, никак не меньше половины одиннадцатого. Ох, вздыхает старик, разговорился я не ко времени, не ровен час пропущу самую последнюю жуть!..

Наверху, на камыше, в угретой Иосубом промятине, касаясь головами быстро бегущих туч, сидят Игнат и женщина в желтом платке. Они привалились спина к спине: с одной стороны, так теплее, а с другой — легче ей исповедоваться, можно не прятать глаза, расслабить тело, распутать узел платка. Ей тепло, даже жарко от его надежной спины, словно горячие волны в крови, и в ушах легкий звон, и сердце, проваливаясь, прожигает камыш и летит в бездну. Скажи ей теперь, что всего час назад она готова была отстать, остаться в одиночестве на дороге, бежать куда глаза глядят от этого человека,— она ни за что не поверит. Столько лет таившиеся в ее душе думы сейчас легко и просто обрастают словами, складываются в свободно текущую речь.

— Нет тебя день, нет тебя месяц, нет тебя годы. Я думала, ты школу кончаешь, на работу устроился, в армии служишь. И однажды ночью, вот так ворочаясь, вдруг понимаю, что все, не будет тебя, никогда ко мне не придешь. Так и встал ты перед глазами у меня, уходящий, быстро-быстро спешишь, чуть не бежишь по дороге. Я за тобой, спросить хочу: почему бежишь? зачем оставляешь меня? А ты и слышать не хочешь, думаешь, не узнаю тебя, если ты ко мне спиной повернулся. Да я тебя в кромешной тьме из тысячи спин отличу! Бегу к ворожейкам, гадалкам, прошу у них травы приворотной,

тяну руку, как нищенка, чтобы на судьбу погадали, а все мне в один голос твердят: не ищи его в живых, умер, зашло твое солнышко... Тут-то и подкосило меня. На Вороньем Яру нашли мертвеца. Побежали бабы, дети смотреть. Обрыв там отвесный, страшный, внизу круговерть. Выловили из омута тело, трактор выволокли тросами три трактора. Место такое злосчастное: я еще девочкой была, там конокрад с ворованым конем утонул, бросился от погони с обрыва — и конец. Бегут, а я впереди всех лечу. Милиция там уже, доктора, место оцеплено, вокруг люди толпятся. Пробилась я все же, заглянула тебе в лицо...

— Ионикэ, сыночек мой бедный,—шепчет внизу Иосуб.

— ...а лица-то и нету, разбито все, распухло все, растеклось. Следователи по земле ползают, сличают следы. Кто говорит, драка была, шестеро одного били, убили и разбежались; кто говорит, к залетке спьяна переправлялся; кто говорит, руки на себя наложил от любви роковой.

— Он у меня задумывался... ехал ночью и стихи говорил...— Иосуб обнял вороного за шею, еле ногу волочит.

— А тут люди твой трактор признали, говорят, молодой Чунту разбился. И больше я ничего не узнала об этом. Только через полгода очнулась и потом сама была не своя...

— Это братишка мой меньший! — доносится с воза глухой возглас Игната.

— Теперь-то я знаю,— бесстрастным, ровным голосом отвечает она.

— Едва шестнадцать сравнялось, а ростом уже меня обошел и отца догонял. Стихи в районной газете печатали. Добрый был, умный. Я на «Беларуси», а он у меня прицепщиком. Послали нас в соседний район на уборку, и мне туда повестка: завтра к военкому спозаранку в ноль-ноль. И оставил я сдуру Иона вместо себя. А когда обратно перегоняли колонну, он отстал от ребят, что-то у него там зажигание испортилось, и ночью сам поехал вдогонку. И как его на Вороний Яр занесло? Эксперты решили, по пьяному делу. Но он ехал на ракитов куст поглядеть, это факт. Потому что я ему рассказал про нашу пасхальную ночь...

И умолкли, задумались каждый о своем: она об Игнате, он — об Ионе, Иосуб обо всех.

— Ты прости,— просит Игнат,— я ему рассказал обо всем, я не мог удержаться. Ведь он писал только о нас, у него не было своей жизни, а жизнь его была больше нашей. Послушай...

Дожди,
миллионы дождинок.
Небо рябое, как холст.
А где-то вдали синева
нетронутая мерцает,
чуть брезжит вдали.
Небо рябое умрет
в биенье ресниц учащенном,
и перестанут дожди,
бесконечные эти дожди.
В кругу вероломства людского
нас к счастью не принуждают.
Мы бесконечно свободны
на расстоянии шага от радости.
Но как далеко мы ушли от себя,
такие безмолвные,
что уже не вздрогнем,
заслышав собственный голос,
и больше не станем уже
счеты сводить с этим миром.
Мы уснули в ясной воде нашего неба.
Нас уже нет.
Наша глупость
и наша запоздалая мудрость
это одно и то же...[1]

— Еще,— просит снизу Иосуб.
— Какой же он был? — спрашивает женщина.
— Вот все, что он о себе сочинил:

Там, где не станет меня,
пусть взойдут цветы
с горьким запахом,
отпугивающим даже самых красивых бабочек.
И когда не станет меня,
помните, что моя тень
обретается в одиночестве.
Не гоните ее.
Эта одинокая тень
была не слишком счастливой
даже на майских лугах,
где резвились заводные лошадки
и стеклянные куклы.
И если не станет меня,
я непрошеный к вам заявлюсь,
и вы не просите, чтобы я вам пел.

---

[1] Это и следующее стихотворение принадлежат молдавскому поэту Леонарду Тукилату (1951—1975).

Это сделают за меня другие
под крылом последней осенней ночи
рядом с тобой.

Сплошная пелена туч внезапно разорвалась. Сверху, с востока, из-за холма, скрывающего теперь город, вымахнул месяц и поскакал следом за возом — вот-вот нагонит! — высвечивая белесым с медным оттенком лучом огромные, распахнутые в глубину себя, в черную бездну глаза женщины под желтым платком, застывший, сурово окаменевший Игнатов лик и горько всхлипывающего на шее лошади Иосуба. Бледно блеснула в высоте неба случайная звездочка и тут же померкла: между нею и бурыми, низко нависшими тучами виден другой, беспредельно далекий пласт ослепительно-белых облаков, стремительно уносящихся вспять, навстречу месяцу. Вот они заволокли его млечной кисеей, а за ними грозно, беззвучно сомкнулась нижняя пепельная завеса.

— Как же это у нас началось? Когда мы встретились в первый раз? — спрашивает женщина.

— Вспомнила все же кольцо?

— Раньше, гораздо раньше, за два года до этого. Ты тогда впервые гостил у родных. Ну постарайся, ну вспомни...

— Ну, гостил, помню. И что? Наши все болели, и крестный дед забрал меня.

— Ты вышел на улицу поиграть в «казаки-разбойники»...

— Да, я был Григорий Иванович Котовский. А мою ватагу всю повязали. Я стал отбиваться камнями.

— И проломил голову мне.

— А как ты в казаки записалась?

— Я с бандитизмом вышла покончить. Родителей моих убили бандеровцы.

— Бабка твоя нажаловалась моей бабке по крестной...

— А та ей: может, и иной кто, не Игнат. Все они байстрюки, и поделом твоей пулеметчице Анке...

— Какой пулеметчице? — перебивает Игнат.

— Ну, мне. У нас «Чапаева» третий год напролет крутили, и меня так прозвали мальчишки.

— Тебя тоже Анной зовут?

Она смеется.

— Меня-то Анной, а кого же еще?

— Жену мою Анну... а то ты не знаешь?

— Знаю,— говорит Анна и все смеется.— Что же ты за столько-то лет даже имени моего не спросил?

— Зачем? — нелепо спрашивает Игнат.

— Не мешало бы все-таки,— отстраняется от него Анна и продолжает рассказ: — Выхожу на другой день с перевязанной головой, тебя среди мальчишек ищу: очень уж ты храбро дрался. Как последний гайдук. «Здравствуй, говорю, Игнат...» — «Здравствуй, Анна! Прости, что пробил голову. Я не хотел тебе зла. И вообще не знал, что ты девочка». — «Спасибо, узнал. Теперь не забудешь?» — «Три раза забуду, чтобы потом вовек не забыть». — «Ну да ничего, у меня уже голова не болит. Так мне и надо — не лезь в мальчишеские игры!» — «Нет, не надо так, все же неловко вышло...» — «Так мне и надо — не вяжись первой к мальчишке!» — «Знал бы — в ножки тебе бросился...» — «Так мне и надо...»

Меж тем Иосуб внизу, подле коней, заедая вино и слезы ядреным орехом, говорит себе: «Эге-ге! Никакая она ему не баба-заблуда. Вон от коих пор у них тянется... едва ли не ее Игнату сулила судьба...»

И вспоминается Иосубу староветхая история, происшедшая с Игнатом, когда ему было годика два. Он только начал ходить — в голодуху зачинали, и очень поздно пошел долбонос! Как-то вечером случись Иосуб один у себя во дворе. Вдруг скрипнула калитка, и его очам явилась цыганка с младенцем, сосущим грудь. Иосуб испугался, хотел бежать за соседями — время было худое. А тут, на счастье, Игнат ковыляет до ветру. Цыганка походя погладила его по головке и, выпростав голубую грудь из зубастого ротика заоравшей девчонки, мощной струей молока, как из брандспойта, с ног до головы окатила Игната. Осмелевший Иосуб затеял тары-бары с незваной гостьей и, совсем раскуражившись, выторговал за блюдечко пшена гаданье о судьбе сына. Она тут же сказала, как Игната зовут, назвала старших сестер Арджентину с Еуфимией и, плюнув от сглаза на писюльку голопузого мальчугана, предрекла ему невесту красивую, но печальную. Иосуб поворотил напрямую: а будет ли сын счастлив в сей жизни? Цыганка замялась, ссыпала пшено вместе с блюдечком в бездонный карман юбки и тогда только резанула: доля-де лишь покажется ему, как мираж, но вечно будет бежать от него... «Вот итти твою сорок,— думает Иосуб.— Как бы эта жалостная бабенка моему Игнату боком не вылезла. Видать, еще ходить ему

и ходить за ней по дорогам. Бедный он со всеми его бабами на земле!»

— И вот потеряла я надежду жить, как все люди на земле, иметь мужа, дом, семью, и подкинула мне проезжая дорога моего Сеню. Пошла я как-то в село, в магазин или на почту, не помню. И приметила его на остановке автобуса. Привалился к столбу и, никого не видя вокруг, бубнит про себя свою тюремную песенку. Там народ, свои и чужие, приезжают, уезжают, все спешат куда-то. А он стоит в стороночке, и торба из оленьей шкуры у ног. Век не забуду его торбу, лиловую, с рыжими плешинами. Все эти годы, что мы с ним прожили вместе, она висела на крюке в сенях. Однажды сняла, в чулан сунуть хотела, а Сеня как рявкнет: «Положь! Эта котомка всюду со мной побывала, огонь и воду прошла, выручала не раз... Положь! Придет час, и она мне сгодится». Вот я и отвезла сегодня его торбу: с чем пришел, с тем пускай и уходит... Ну, прошла я мимо в первый раз и вроде как не приметила. Иду вечером домой, а он у того же столба, с торбой у ног, и песенка та же. Здесь уж я разглядела его: на меня смотрит, глаза белые у самого, и, хоть убей, не видит в упор. И не слепой вроде бы, и не больной, а все нелюдь какая-то! Я своим путем иду, слышу — топает. Обернулась — и он шагах в пяти встал. Жду — постоял и пошел. Мимо проходит — плечом резанул по лицу. Отшатнулась я, за щеку схватилась, и осеняет меня: все же незрячий он, не может человек так идти и бить плечом по лицу. Он мне потом рассказал, ему в лагере карбидом глаза обожгло... Вот прошел, и как-то случилось, что не он за мной, а я за ним поспешаю. Догнала — а он вдруг как присядет, рукой гребет, думает, забоюсь. «Скажи, говорит, матуха-ягодка, где ночь коротать будем?» — «А что, спрашиваю, издалека идешь? Далеко ли идти?» — «Очень, говорит, издалека, считай, что пришел. Вот только голову приклонить негде: не примут меня дома...» Была у нас там одна вдова не вдова, держала вино, командированных привечала, борща наварит когда-никогда. Отвела его, на ворота показываю. Он вошел, я домой. А на закате в окошко мое стучит. Выхожу: «Чего ждешь? Чего сторожишь здесь?» И дверь на крючок. И свет погасила. Смотрю через штору — стоит, не уходит. И так три дня и три ночи кряду. Открываю фортку: «Я, кричу, людей позову!» А он в ответ: «Хоть прокурора! Я урка, амнистированный по ука-

зу, и мне сам черт не указчик!» Поняла я, что он меня живую не выпустит, и отворила ему. Вошел, поел и спать завалился — что тебе сказать, человек человеком. Дернуло меня за язык спросить, как он в тюрьму угодил. И до утра он рассказывал мне... Не скучно тебе, Игнат?

— Да что уж там, говори...

— Рос мой Сеня в Шерпенах с отцом. Матери не помнил, а бабам, что отец в дом приводил, и счету не знал. Настала пора Сене жениться, и привел он к отцу молодую деваху-невесту. И заметил, говорит, в тот же вечер, как отец ее в хлеву мнет. И стали втроем поживать. Она со стариком спит, а Сеня в сенях. Подходит зима, застыл Сеня, просится в дом. Пошептался старик с молодой, собрал сыну мешок и говорит: «Уходи». Проводил до ворот, вывел на дорогу и заперся на засов. Постоял Сеня ночь, постоял другую, постоял третью. А на зорьке выходит отец, спрашивает: «Ты уйдешь или не уйдешь?» «Некуда мне идти,— отвечает Сеня.— Здесь я родился, и здесь я помру, в этом доме». «Хорошо»,— говорит старик, вынимает кол из забора — и по голове его. Упал Сеня, он его ногами топтать. И пока топтал, молодая жена шерстяными отрезами набила мешок, меж них пять тысяч сунула и свидетелей позвала. Сдали Сеню участковому, кругом овиноватили, и суд его упек на три года... Ну что, рассказывать дальше?

— Хватит,— просит Иосуб.

— Продолжай,— позволяет Игнат.

— Так мы и зажили с моим Сеней. Свадьбы не играли — не дети уже, да и не на что было. Позвали соседей, вина выпили, Сеня наловил рыбы, картошки нажарили... Послали, как водится, известие отцу. Он, конечно, даже привета не передал, а перевел сыну на обзаведение пять сотен по почте... тем и свою вину, и дом окупил.

Иосуб слушает, как молитву, рассказ, от которого в этой ночи запахло вдруг нафталином, время от времени понимающе кивает головой: сейчас нам в диковинку, а встарь всяко бывало. И отцы сыновей, и сыновья отцов нередко-таки ногами топтали... скудное, скучное время было. А все через что? Через кого? Через бабу. Взять ту же докторшу, которая охомутала Игната, к его жене Анне в подруги, в сестры молочные присосалась. А на что бы ей Анна сдалась? Игната брала, с разговорчиком, с хиханьки-хаханьки подбиралась. И, признаться тебе, растравила парнюгу. Любовь, скажешь? А дышло вам

с маслом! Эта махдалила на меня поставила глаз. Но не мог же я к ней с Игнатом одним разом питать! А теперь ты меня пытаешь, как маленький: где она мне силки расставила? Эх, вороной, вороной! В собственный мой шалман заползла. А зачем, спросишь, залегла она под Витрицей? А затем, что я там завсегда заседаю с диваном. И ведь до чего распетушила хитрого старика! На руках ее носил, медовые целовал, провертел дырку в заборе... подкачу к садику, тебя с савраской оставлю, как утлый челнок на произвол житейского моря, и оченьки на нее пялю до глубокого почесуя. Вот еще бы чуточку — и поднял бы кол на Игната, на душевное отродье мое...

Холодный пот прошибает Иосуба. Он снова берется за фляжку, сворачивает колпачок, но не пьет, слушает страшную повесть о Сене-уркагане и его жестокосердом родителе, о тех трижды проклятых тысячах, о доме с воротами на запоре, о молодой дуре — девахе, вставшей поперек отца с сыном. Вороной не спорит, согласно мотает башкой, а савраска и ухом не поведет — знай тянет общее бремя.

Да, видать, такова наша планида людская, с вожделениями и страстями. До седой собаки почитаешь себя царем сущей природы, родному дитя готов кадык перервать... Я, к примеру, женился еще с материным молоком на губах, и нельзя сказать, чтобы по какой-то райской причине. Хотелось, наоборот, еще погулять, порезвиться жеребенком-трехлеткой. Но вот уж женился, впрягся в ярмо. Мой черед пришел отделяться: дом с многолюдья, как с гороху, трещал — как в стрючке, жались в нем. И все равно, не накрой меня Цугуй на племяшке со всей махалой, жил бы я бирюком и доныне. Только стой, ох, тпрр... как же бы я был без Игната? Как бы он теперь ерзал во мне и ногами сучил — такой сурьезный мальчонка! Нет, точно подобрал бы я для зачатия любезную злыдню. Да и с этой тоже ведь бывало по-всякому: почуял-таки на себе бабий дых. Год или два тешился ею — и порвалась ниточка. А все денежки причина всему. Прознала злыдня, пронюхала про мою евреяночку Раю, про лавочку нашу конфекциальных товаров — ведь мы ее почитай что купили, если бы не накузьмил нам кузмен, — и с тех пор тысячи из меня вынимает. А что, в самом-то деле! Я еще сколько-то поиграю на свете, наскребу двести... двести тысяч рупьёв, набью полную наволочку и под голову себе положу. А помирать захочу — всех выгоню и

призову единоутробного сына Игната. Закроет он мне один глаз, а я скажу: «Погоди! Подними мою голову, пошарь в изголовье!» — «Ой, скажет, да тут ужасти какое богатство!» — «Все, скажу, твое. Завещаю тебе позаботиться только о непокрытке-сестре. Пожалей Параскицу, купи ей доброго мужика покраснее...» А второй уж глаз сам захлопнулся, и шепчу я во всю последнюю прыть: «А те пять желтеньких, что ты мне до сих пор не вернул, потрать на заводных лошадок и кукол хрустальных Иосубу, внучку моему ненаглядному...»

— Я вот думаю: что это — наша крестьянская доля? Сегодня живешь, до седьмого пота трубишь, бегаешь, собираешь, громоздишь в кучу, маешься, тащишь откуда ни попадя, как муравей, весь в хлопотах и заботах, вечно всего не хватает, отсюда отпорешь, надставишь сюда, и когда наконец кажется, что ты связал концы, что отстрадал то, что задумал, вдруг видишь, как все рассыпается прахом и напрасны были труды и усталость твоя. Да, да, это не слова, которые только что взбрели мне на ум. Я их от предсельсовета Максима принял в самое сердце, и ты не подумай, что мне дома моего жалко. Да будь он проклят, провались в тартарары!.. Вот слушал я про твоего Сеню и его кровососа папашу. А ведь черт его, старика, разберет! Может, кристальной души человек был бы, если его кровного угла не коснулось. А чем я лучше его? Этот одного сына ногами топтал, а я, считай, десятерых кровинок своих уложил в холодный фундамент, не говоря о жене...

— Да как же так?

— А вот так же, как мастер Маноле. Только он людям храм строил, а я своему кривому богу, Мамоне мужицкому. Поверишь ты мне или нет, но знаешь, Анна...— и когда Игнат произносит это имя, закрыв глаза, чтобы лучше представить себе томительную череду дней и ночей,— как долго тянулись они, сколько мыслей смешали, сколько боли ему причинили,— так вот, когда он произносит теперь это имя и думает о жене, об Анне своей, какой он ее оставил в больнице, какая жалкая, горькая стояла она на подоконнике над ним, зажимая коленями полы халатика, и с какой прощальной грустью глядела на него из форточки, протянув руку за яблоком,— и не поймала, разбилось оно, как их жизнь в новом гнезде,— сердце у него сжимается от тоски и жалости к ней, к своей загубленной доле,— поверишь ты мне или нет, но

знаешь, Анна, ведь она предупреждала меня, чем все это обернется и чем обернулось. Словно бес какой-то морочил — ничего, кроме дома, знать не хотел. И она то же самое. Ведь все три года, что мы прожили вместе, ни разу не разошлись в своих помыслах. Да и откуда? Разве было у нас время для сварок? Я как вернулся с флота, сразу в карьер — не сел на трактор после Иона. Только она мне, голубушка, говорит: «Бросай свою каторгу, вернись в колхоз, примут с руками, с ногами». А как я пойду? Дом надо кончать, в долги влезли, а там худо-бедно иной раз и по две нормы давал. Знаешь, силушка есть — ума нету... Прилечу, бывало, вечером из карьера, схвачу кусок и трублю себе за полночь. Стены, крыша или там внутри штукатурю. Погреб вырыл, камнями обил, и все сам, своими руками, с женой. Другие жалеют себя, нанимают людей, платят им, а мы — обошлись. Поставили этот дом, как ласточки гнездо свое лепят, только не слюной скрепил я его, а кровью Анны, да еще жилочками ее перетянул...

— Что ж, она так ни разу и не понесла? — просто, без тени стеснения спрашивает Анна, словно знает его Анну тысячу лет.

— Пару раз что-то бластилось, вроде намекала она. А потом как-то там... а что, я толком не знаю...

— Ага, поняла.— Женщина в желтом платке согласно кивает.

— Да, и я так думаю. Маленькая, дробненькая была, ну вот вроде как ты. Я ее в пору нашей любви носил на плече... А теперь представь ее с двумя ведрами глины, да еще велит с верхом насыпать. И котелец тоже ворочала...

— Котелец?

— Да! Я ей говорю: оставь, женщина, не надрывайся, ведь не безмужняя какая-нибудь. А она ни в какую, минутки без дела не постоит. И так до самого того дня... Вижу, сидит на земле, и лицо такое светлое, ясное. Однако вся потом покрыта, как лаковая, и на губах улыбка. Что, говорит, здорово разыграла тебя? — «Анна, кричу, что с тобой? Упала? Убилась?» — «Нет, говорит». У меня аж холод пробежал по спине. Беру ее на руки, несу в постель, отпаиваю горячим вином, она, как маленькая, прижимается ко мне, пересказывает свои страхи.

Ненавижу свой дом! Вот, бог даст, доберемся, увидишь сама. Сыро там, холодно, ветер гудит, как в мед-

вежьей берлоге. Анна велела переложить печь. Понимаешь, топка у нас в жилой комнате. Ну, я дверцу выворотил, а там, искренно тебе признаться, бросил и совсем не топлю. Ее-то, правда, обманул, что даже себе чорбу с мамалыгой готовлю. А какой там варить? Я и сплю одетый, что в Антарктиде твой китобой. Завалюсь с сапогами на лавку, ватником укроюсь и кантуюсь до утра. А уж горячее дома ел — не помню когда... Постой, что у нас сейчас на дворе? Ноябрь месяц? Загни один палец, будет октябрь. Загни второй — сентябрь. Три — август. Выходит, в июле она ушла, с июля фугую. За четыре месяца мохом оброс. Прости за грубость, ни разу постирать не собрался. Из рук все валится. Мать давно донимает: пришли с Параскицей белье, постираю. Озлился я и три недели назад все, что ни подвернись, замочил. В сарае в бочке стоит. Провонялось все, заквасилось, киселем пошло... ой, сегодня, верно, замерзнет и придется вырубать топором. Уж лучше я ночью эту бочку с обрыва спущу... Веришь мне, в доме хоть шаром покати: ни тряпочки, ни лоскута, ни черствой краюшки. Может, и стекла побиты, и буфет вынесли... я, кажется, как собрался с тобой, так и дверь запереть позабыл. Я вообще в последнее время задумчивый стал. Работаю вот так, хоть на дворе, хоть на крыше, остановлюсь дух перевести и стою, и тру себе лоб. А почему? Потому, что мне кажется, что я вижу его...

— Кого?

— Малыша...

— Ах, прости,— просит прощения Анна за свою непонятливость.

Игнат умолкает. А ей и сказать нечего. А может, и есть что сказать, да не приспела пора. И медленно катится в ночи камышовый воз, шуршат по щебенке мягкие початки, царапают заиндевелую землю острые листья, протявкал в озими мышкующий лис, с хрустом чавкнул под колесом орех, оброненный Иосубом. Старик глотнул из манерки и завинтил наконец крышечку. «Взять хоть орехи... Все одинакие, а ты под фонарем рассмотри: у каждого свое личико — один светленький, продолговатенький, другой потемнее, пузатый крепыш, третьему острый кончик на причинном месте достался, где некогда трепыхался цветок,— не упасешься, ладонь раскроишь. Четвертый — как стыдливая девка, вся про себя, человечьего зуба стесняется. А ведь это только снаружи, а рас-

коли — и чего-чего не отведаешь там! Эта знай себе колется, только двумя пальчиками надавишь и раз! и на две половинки, и лежит на ладони распахнуто молодое ядро. Другая что камень, все руки об нее обобьешь, а вскрыл — все равно не дается нутром, только отмахнешься и несолоно хлебавши бредешь. Орехи как люди, мэй, Игнат, мэй. Так ты, выходит, любишь свою жену? К чему ж этот романец крутить на возу? Хоть бы имена у них были разные, а то что эта Анна, что та... С чего ты взял, что это судьба? Ну, пощупал в детстве хорошую девочку — так все они хороши, пока молоды. А потом в старой бывалой бабе разве сыщешь ее? Так чего ж менять шило на мыло?

Давай-ка лучше я тебе обскажу, как немочка Грета меня от лютой смерти спасла. Ну, значит, держит меня за грудки жестокий кузмен, хрипит: «Отвали!» А я уже никуда отвалить не могу — вконец распылился. Отрываю от сердца заветный платок и ей отдаю. Она своими розовыми коготками узелки растрясла, все три червонца пересчитала и бросила кузмену в лицо. И он дважды пересчитал, у бумажник вложил и сквозь зубы капитулировал: теперь, дескать, можешь. Тут сажаю я Грету в челнок, везу на Остров Любви, известный во всю слободу... но малость не довез. Разохотился, весла бросил, стал туфли снимать. Она смеялась, смеялась, да и пожалела меня. И говорит мне вполне человеческим голосом: «Дрянь твои дела, Иосуб-царевич! Отведай-ка водицы от левого борта...» Я обомлел, пью из горсти и думаю: «Может, такой положен обряд — сперва воду пить, потом ножки мыть...» — «А теперь, говорит, справа испробуй...» Я что, я испил. А она еще больше хохочет: «Что, спрашивает, разница есть?» Я отплевываюсь, киваю: нет, мол, слаще водопроводной воды, не считая нашей родниковой-колодезной. «Вот так, говорит, и мы, бабы, что я, что твоя невеста-жена. Так что дуй-ка ты за борт и греби к ней, покуда цел. А на острове поджидает Кузьма и семь кузменов за ним, и утопят тебя беспременно...» Плюхнулся я с кормы и едва до дому доплыл, без денег, без доли, попусту на маслобойке год отбоярив. Вот так и ты, мэй, Игнат, мэй, слушай старого дурня и на ус намотай. Есть у тебя дом с волшебными буквами Ч.И.И., и ты ему радуйся, не спеши отрекаться, не плюй у колодец, из которого всю потом жизнь пьешь. Пускай он пуст пока, и холодно в нем — ничего, я послал Параскицу, натопит и

прокисшую баланду расхлебает твою, а там, глядишь, и Анна деток тебе наплодит полон дом, и щебетом он весь укроется,— не дураки ведь врачи зазря ее в больнице кормить. Ты зря загораешься: поздно к тебе пришла она, твоя индейка-судьба...»

— А после того как помер ребеночек...

— Ах, мальчик! Ведь у тебя тоже был мальчик!

— Да. Родился семимесячным и пожил только четыре недельки. Так вот, говорю, после того как помер ребеночек, Сеня переменился, себя потерял. Если б ты видел, как он на похоронах голосил по Игнату. Словно с ним всю жизнь прожил и теперь взрослого земле отдавал. Я о таких мужских слезах и не знала — плакал горше, чем плачея...

— А какой он был, твой Игнат?

— А?..— словно проснувшись, переспрашивает Анна.

«Ах ты голубица несчастная, забалдерка святая!» — растроганно бормочет на ухо вороному Иосуб...

— Почти что еще никакой: маленький, лысенький, недоношенный.

— И долго он потом горевал?

— Кто?

— Семен твой.

— Сеня? Долго. Три года, пока не расстались.

— Но вы же могли еще иметь детей?

— Так и я обещала ему: Сеня, мы молоды, у нас еще будут дети. Он только посмотрел на меня и ничего не ответил. И день за днем, три долгих года он удалялся, уходил от меня...

— И ты не искала его?

— Не искала.

Игнат вздыхает, мнется и снова заводит издалека:

— Вот и мы маялись те же три года, пока она не ушла от меня. И поверь, без всякой причины. Наговорила каких-то слов в горячке и убежала. Я думал, побудет у матери, остынет и явится через день, через два. Ну, знаешь, как все люди делают. А она не вернулась.

— Как, совсем не вернулась?

— Да. И четыре месяца ее нет.

— Как странно,— пожимает плечами женщина.— Постой... а когда же мой Сеня ушел? — и начинает загибать пальцы.— В феврале? Нет. Может, в апреле? В июне... Нет, конечно в июле.

— Июль, август, сентябрь и октябрь о ней не было

ни слуху ни духу...— Игнат молчит несколько минут, совсем как в тот раз, когда они с Анной сидели вдвоем в больничном саду и вдруг оказалось, что не о чем говорить.— Сказать тебе правду, я до сих пор не пойму: как это получается на земле? Прожили два человека целую жизнь — и в одночасье друг другу чужие...

— Ой, как похоже! А я стою у ворот, и мне вахтер говорит: «Не желает видеть тебя». Но я-то чувствую, он где-то здесь, глаз с меня не спускает. Час или больше вот так прождала. Тогда и сам вышел ко мне: чего, мол, пришла? чего еще надо? Торбу охраннику отдала — и вали...

— Так он тебе и сказал?

— Так и сказал.

— Так и Анна меня спросила: чего, мол, пришел? чего хочешь еще?

— Так и сказала?

— Так и сказала...

— Ай-я-яй! Ты смотри, как все сходится одно к одному... Господи боже мой, до чего же судьбы людские выпадают рядом, как в картах! Да что судьбы — даже слова... чудеса в решете!..

Игнату становится не по себе. Он уже принял и готов и впредь принимать любые совпадения своей судьбы с судьбой этой женщины. «Но моя Анна и этот урка — почему они, такие чужие друг другу, никогда в лицо не встречавшиеся... кто их подучил говорить на одном языке моими словами?..» И, воспользовавшись тем, что месяц опять на секундочку мигнул из-за тучи, Игнат резко приподнимается и, взяв Анну за плечи, поворачивает ее лицом к себе. Она не противится, глядит бесстрастно, бесстрашно, голова отрешенно запрокинута к небу, и весь ее облик дышит достоинством и свободой. Почти незаметным движением высвобождает плечи из его рук и молвит спокойно, отчетливо:

«Как мог ты, говорю, так уйти, не сказав ни слова?»

«А чего еще говорить было!» — отвечает Семен.

«Но как-то это не по-людски. Хотя бы простись».

«Сделал как сделал».

«Разве я не слушалась тебя? Хоть раз вышла из твоей воли? Мало любила?.. Я... и сейчас люблю тебя. И по ночам ты мне снишься...»

«Не надо снов. Не мучай себя. Что между нами было — то кончено».

«Милый, что я сделала? Скажи мне, за что?»

«Я сам не знаю. И уходи. Подобру уходи. Больше меня не ищи».

Так он мне дал от ворот поворот. А я, по своему женскому скудоумию, еще спрашиваю:

«Может, у тебя другая любовь? Ты любишь другую?»

«Не то что другую, я уж себя не люблю».

— Так и сказал: «себя не люблю?» — вздрагивает Игнат.

— Ага, значит, и тебе жена так сказала?..

— Этими же словами. Тебе сегодня, мне — неделю назад.

— Ты знаешь, Игнат,— таинственно говорит она, приблизив к нему лицо,— мы с тобой спим.

— Как спим?

— Крепко спим. И видим одинаковый сон. Разве ты сам не заметил? Все, что происходит со мной, происходит с тобой. И все, что с тобой случается, со мной повторяется.

— Да,— беспомощно сознается Игнат,— что-то такое общее вижу...

Иосуб внизу от ярости обеими ногами на сына затопал, манеркой грозит, расплескивая сивуху: «Мондигомон ты Ястребиный Коган, братец Игнат! Не в ту кондицию выпал. Баба тебя зовет, любит, дразнит, она тебе головку кружит... Чем друг дружку терзать, поговорили бы, обнялись, и все бы у вас само и пошло и поехало...»

— Да нет, ты пойми,— Анна ему строго пальцем грозит.— Человек, с которым ты хлеб-соль делил, и горе, и радости, вдруг признается, что ты ему не нужна, что даже собственные душа и тело в тягость ему... Что же это такое, Игнат? Не значит ли это, Игнат, что ты теперь свободен совсем, свободен, как ветер над камышовой крышей?..

И вдруг она своими шалыми, дивными, дико опустевшими очами, слишком большими для этого детского лица, ему прямо в глаза заглянула. И видит он в этом бесовском взоре наваждение, погибель свою. И, господи, неужто ему подмигнула? Или это он сам со страху моргнул? Он чувствует въяве, как густое теплое липкое молоко стекает по его глазам, щекам, подбородку, голому пузу. Ему щекотно, стыдно и сладко. Струхнул Игнат, остолбенел, потерялся, как монах перед диаволом, горький пьяница перед женкой, лягушонок перед Змеем Горынычем.

— Скажи, маруха премудрая: отчего дети бывают?

«Связался черт с дитятей?!» — Иосуб аж выронил баклажку и не приметил, где потерял.

И хоть сразу стало темно и он не может видеть ее, женщина в желтом платке на этот лепет покраснела, отвернулась, закрыла рукой лицо. А Игнат продолжает:

— Я почему спрашиваю? Ведь ты со своим Сеней еще три года жила после смерти Игната. Как же у вас детей не было? Что же, они по любви рождаются, по желанию или как?.. Признаюсь тебе: я боюсь, что Анна просто не хотела родить. Знаешь, какие слова она сказала мне, когда уходила: я порченая, я пустоцвет. Ну, допустим, не хотела, и тогда — пустоцвет. А порченая — это что? И вообще, можно ли человека испортить?.. Вот, скажу, такая история: например, женщина там или девушка, все равно кто, спозналась с другим мужчиной до тебя или после. Может ли из-за этого выйти, чтобы она не рожала?

Женщина молчит, хмуро слушает. А его как с катушек снесло и уже остановиться не может.

— Это с ее стороны. А теперь с моей, если уж совсем по душам. Рассказывал я тебе про докторшу нашу Риту Семеновну, подругу жены? Так скажи, может, теперь и я порченый? Пойми меня, не сердись, сущую правду открой...

— ... маруха премудрая,— скучным голосом добавляет Анна.

— Ну, мудрая, ну, святая! Ведь столько страдала, столько повидала, столько прошла. Понимаешь, у меня от мыслей болит голова. И я, наверное, с ума соскочу, если ты не остановишь меня. Я сегодня с утра никак понять не могу, а спросить совестно... Что за люди эти женщины! Когда я сейчас о них думаю, просто сил никаких. Правда, может быть, я их не слишком хорошо знаю. Кого я видал, сама посуди! Анну мою, сестру Параскицу, маму, свекровь да вот еще совсем немножечко эту Риту Семеновну. Но я все время слышу от всех: женщины злы и распутны, пьют кровь из мужей, ковы строят им по ночам. Но все же мне кажется, ты не такая. Вот с первой же минуточки, как увидел тебя, вынес тебе чашку воды — навек отличил, понял, что ты моя, а я твой...

— Теперь дай-ка я тебе объясню, какая я мудрая и святая маруха. Я просто бессовестная. Тебя твои вонючие козлы правильно в курс дела ввели: женщины злы. А я, может, хуже других. Что я тебе плела? Так вот, учти:

все это бесстыжая ложь. Как только он передо мной встал, все во мне задрожало. Поняла: это мой. Каких уж там два раза я прошла мимо него! Я там вертелась весь день. Мигала ему, вот так, как тебе только что. Но нет, ох, нет, он был сильный мужик. И когда он от меня отвернулся, я первая подошла и заговорила с ним. И не к соседке-вдове я его увела, а прямо к себе. И не пришлось ему ждать ни секундочки... а ты и поверил про эти три дня. Зато я три ночи проплакала, потому что не знала, что мне делать с собой. И мы были счастливы почти целый год, пока я Игната ждала. И мне не верилось — понятно тебе, Игнат! — не верилось, что я сподобилась такой благодати. Каждую ночь, как он только уснет, вставала с постели и ворожила над ним, след его брала — разведу в чашке и пью с заговором. Кланялась ему, спящему, лбом билась о пол голая, а потом на звезды глядела с крыльца и подвывала потихонечку, как бы он не проснулся. А он услышит и окликнет, как суку: «Марш у койку, маруха». И как я смеялась дрожа, и как он был зол... и мы засыпали, как враги в одной братской могиле. Потом, уже утром...

— Пожалуйста, перестань,— просит Игнат, и они долго молчат. Он о своем, она о своем, Иосуб о своем.

— А теперь скажи,— умоляет Игнат.— Тогда, как встретились на дороге, когда у тебя ребеночек умер, еще любила Семена или снова меня?

— А зачем тебе знать?

— Ну, хотя бы уже знала, что на Вороньем Яру разбился не я?

— Вот. Не нужна тебе оказалась старуха.

«Н-но!.. Тпрру! — хватается за вожжи Иосуб.— Веселей, стой, родные!»

Смиренные добрые кони послушно встают. «Влип! — теряется Иосуб.— Сейчас Игнат опознает меня. Раскудахтался, старый хрыч, оглобля мне в глотку!» И тут же соображает, что в этом их сиюминутном разрыве, в больной остервенелости разминувшихся судеб им сейчас просто ни до чего. Ударь молния, грянь гром, разверзнись под возом тверди земные, пролейся вся небесная хлябь — они не вздрогнут, не охнут, не догадаются. Вот так одна живая душа убивает другую, казнит лютой ненавистью, а там и сама прочь с катушек летит. Старик долго и с ужасом прислушивается к их молчанию: о чем они теперь разбезмолвствовались? «Упаси вас, мать, от обоюд-

ной обиды!» — и крестит их в темноте кнутовищем, а лошади, приняв этот знак за команду, трогают с места.

Скрип-скрип, скрип-скрип.

— В тот год я ровно ослепла, лишилась ума. А когда умер Игнацел, очнулась я от дурмана и увидала себя... как бы тебе сказать... среди бела дня в чем мать родила на остановке автобуса. И так мне стало страшно... так страшно! А Сеня не виноват, что он мог? Вот я и сказала сегодня: «Будь счастлив. И, пожалуйста, прости за обман...»

— Послушай! Ведь это ты его бросила? — внезапно озаряет Игната.

— Да,— просто отвечает Анна,— я.

— В тот самый день, как встретила меня на дороге?.. А я сколько раз хотел от Анны уйти! Куда глаза глядят из этой махалы ненавистной, хоть на Курилы!..

— Вот ведь какая недоля: не всем дано идти за судьбой.

— Значит, ты можешь, а я не могу?

— И я, оказывается, не могу.

— Что же ты глядишь на меня, словно сквозь меня... не на тень же мою? И тогда, на дороге, так же глядела...

— Такие мы, женщины: проклинаем, ненавидим и — любим.

— Ночью, стоит погасить свет, они тут... Все эти годы...

— Кто они?

— Глаза твои.

— А годы какие?

— С тех пор как помню себя. Я не знаю твоего лица. Да я никогда и не видел его. Все женщины — с твоими глазами. Страсть, жалость, ненависть в них... они проливаются на меня... Ты вот молчишь. Ох, что же ты молчишь? Не молчи теперь, хоть слово скажи!.. И рот ладонью прикрыла... Молчишь, как моя Анна, как все вы всегда, когда уже нас заграбастали, скрутили по рукам и ногам, опутали путами, чтобы и дышать не могли... Умел бы человек забывать!..

— Совсем плохо было бы,— качает головой женщина.

— В чем же я виноват? Не взял тебя три года назад, не отвез в дом к Иосубу на Бахну, не сказал родителю: «Вот моя красивая и печальная, и она будет вам послушной невесткой, а мне честной женой, нарожает полный дом деток...» Что ж ты мотаешь башкой, моя премудрая?

Что ж мне — век теперь кланяться? Лучше б тогда одним разом головушку положил...

— И все равно бы я с тобой не пошла...

— Ох, врешь!

— Ох, не вру!

— Почему же тебе не пойти?

— От отчаяния!

— И я бы вот так вот, вот так вот тебя отпустил?

— Отпустил-отпустил!

— Неужели навек?

— Неужели?

— Да знаешь ли ты, дура-мудреха, что словом можно убить?

— Захочешь — убьешь.

— Чего же я еще не сделал с тобой? Чего не было между нами?.. А, опять прикрыла рот и молчишь! Ох, ты права, теперь я понял твой взгляд: я сам виноват...

И она снова качает головой, не то соглашаясь, не то возражая.

— Да! — восклицает Игнат.— И сегодня еще было не поздно! Упасть к твоим ногам у машины... к ножкам твоим, сразу же, как они явились ко мне на ступеньке, одна за другой... к твоим родненьким, ослепительным, чтобы они уже не ушли от меня никогда... в моем доме, при свете луны, среди неоштукатуренных стен, на детской кроватке... Они сегодня весь день были со мной, уберегли меня в райсаду... ох, не могу больше, сил никаких...

— Успокойся, малыш... Нельзя, не убивайся так...

— А! — машет рукой Игнат.— Я сегодня уже столько раз помирал...

И вдруг — тут уже не отличишь смерти от чуда — ее нежные руки обхватили его лицо, прикрыли глаза и бережно притянули его голову к ней на колени. И он покорно повалился во весь свой медвежий рост, затаился мышонком, даже дышать перестал и только один глаз приоткрыл самую чуточку.

Теперь Игнат не знает, что и думать об этой женщине. Добился своего — на колени его пустили, все заботы сняли, развеяли бремя усталости, и только оставалось запеленать, как грудного. Не спугнуть бы этот покой, эту светлую немоту, когда ни рукой, ни ногой, и не о чем думать и говорить, и только полоска неба подрагивает меж ресниц, и прядь ее волос выбилась из-под платка — можно дотянуться рукой, но опять же нельзя. Она такая

большая, а он такой маленький. Она бесконечная, и неба уже не остается за ней. Легкий светящийся пар обволакивает и облачком возносит ее все выше над ним, и это ли туман, ползущий от стынущей в ночи озими, или пар дыхания от ее лукаво изогнутых уст. Прислушался... да-да, он не ошибся: она чуть слышно поет ему отходную ко сну, тюремную колыбельную своего урки. Сеня старательно мурлыкал ее Игнацелу, в те четыре недели блаженства, что им были оставлены злодейкой-судьбой. Далекая чудна̀я русская тягомотинка.

Заходит милый в усыпаленку,
Накручивает усы.
Потом снимает он фуражечку,
Сам смотрит на часы.

Скажи, скажи, скажи, мой миленький,
Скажи, который час.
Еще скажи, скажи, мой миленький,
Когда разлука в нас.

Разлуки не предвидится,
Пока еще люблю.
Но горько ты наплачешься,
Когда я разлюблю...

Ее длинные белые пальцы, теплые, как молочные струи, с ласковым усилием смыкают Игнатово дреманное око, текут по щеке и усыпляют его.

Иосуб внизу чувствует, как у него слипаются очи. При всей своей хитроумной любви к певучим русским реченьям он все же с детства не терпел понуканий, баюканий и вообще когда его отправляли спать. Но чу!.. наверху затихли, затаились. И здесь уже, в понятиях Иосуба, никакие присутствующие очевидцы в ворота не лезли, тем более родные отцы не держали горящей свечи. Он пошел было на цыпочках прочь с дороги, но тут заявила о себе больная нога: я, дескать, и так всю ночь ходьбу коротаю, не довольно ль с тебя? Иосуб как подкошенный садится на землю. Сел, посидел и задумался. «Везет моему огольцу! Такую священную бабу прохлопал, а она ему обратно нашлась, сама положилась в карман и там сидит на крючке, как Анна-великомученица, кроткая змея-искусительница. Как она ему впечатала классно: всех надо простить вопреки! Я, говорит, прощу мужа, а ты, Игнат, прощайся с женой. Виноваты, говорит, мы с тобой горько: Семен остался без семени, а Рита Семеновна с Анной обе в положении риз при пиковом интересе... И я, старый

одноногий Иосуб, всем им воздам». Тут он со стыдом вспоминает гнусные Игнатовы речи про то, что вся их сестра ну просто подлянка, а куда же тогда отнесешь на руках и в какой вставишь кивот вновь обретенную Анну? Старик всякого насмотрелся, но здесь спасанул: либо эта баба — одна игра растревоженных чувств и такое в природе заказано, либо мордоворот, подобного которому тоже в натуре отказ. Ах, хоть бы не рассветало — страшно и посмотреть на нее! Ведь если ко всему она сама красота — это сразу третий инфаркт или, на худой конец, гипертонический криз, от которого Максим каждый день помирает. От Максима, который, дай ему бог здоровья, так и не помер и никогда не помрет, мысли старика обращаются в глубь себя. Он сам себе кажется ничтожным, вонюченьким, скрюченным, мелким и злым. За один только нынешний день сколько раз он в исподнем на себя нагляделся: поносил свою злыдню, мальчонке у бога просил о разверзении пупка, кровного сына Игната мысленными сапогами топтал, вокруг юной докторши мелким бисером вился, девок в набедренных юбках вожделенно ошельмовал, потому что очень вдруг захотелось, а как он казнил курилку Цугуя — противно смотреть. «Нет, шабаш, встромляюсь в новую светлую жизнь...» — дрожащими руками Иосуб достает из-за пазухи ветхозаветный Цугуев кисет и огрызок районной газеты со стихами Иона под названием «Весенний этюд»; два раза за эти семь лет, что прошли, он отрывал от нее. В первый раз ненужную половину истратил на обертку тех пяти сотельных, что навечно отдал Игнату взаймы, и второй раз — внучке-пятикласснице по кличке Мегера Милосская оторвал верхнюю часть, четвертушку листа с красивой картинкой цветущей Молдовы для школьного стенда «Люби и знай родной край». И вот ныне еще можно попользовать неровно оторванный клок. Самокрутка завернулась неожиданно ловко. Закурил, поперхнулся зловонным дымком самосада и возговорил во весь голос:

— Спасибо тебе, товарищ верный Цугуй, и прости за табачок, траченный мной. И прости меня, сын Игнат, за то, что я тебя породил, а счастья тебе не припас. Анна и Анна, не знаю за что, а простите. Смилуйся, господи, над рабами твоими Семеном и Симионом. А также великодушно прощаю слабых мира сего, властвующих над нами в красных уголках и фуражках, сильных мира сего за их безымянные несказанные добродетели. Помяни, господи,

сыновей и дочерей, павших в войну, прости безумных и сирых, погибающих ныне... на водах, в космосе и в каменоломне труждающихся, плавающих и путешествующих интуристов, предсельсовета Максима голубиную душу, завидующую серую душку Петри-инженерка, властей придержащих и зла на меня не держащих, злодеев, халдеев и иудеев — о, прости меня, Грета! — господи, перемножь и зачти всех ее кузменов и измену с Кузьмой. Риту Семеновну туда же за ее хамское противостояние между мной и Игнатом... Ну, кого еще не послал? Теперь только злыдню с ее красной телочкой Параскицей, хотя честно надо ей воздать по делам — подарила мне и взрастила Игната, счастливчика сукина сына,— мне бы сейчас по годам с ней катить на возу, а ему заместо вороного с савраской тянуть... И воотще она вам никакая не злыдня — самое христиальное сердце: девки наши в стороне нарожали и нету внука старой бабе руки занять, вот и выгрызает мужу печенку... А уж эту толстомясую стерву, жену Симионову, и не проси! ни в какую не желаю прощать, ни за какие сортификаты горних юдолей — опять же извини меня, Грета, гурочка рая!..

И вдруг — уже не отличишь чуда от смерти — ее ручки с розовыми коготками обхватили его лицо и легонько повалили набок на стылую землю. И он покорно упал во весь своей недюжинный рост — не зря его злыдня за величину величавую величала Рупь Двадцать, имея в голове своей каждого смертного по рублю за душу,— затаился мышонком, даже дышать трудно стало ему, а тут и ветер-полуночник над ним маленько понагличал — выхватил окурок из немеющих пальцев и рассыпал на искры длинной, змеящейся, уводящей в темень дорожкой. И вот уже старику чудится, что он шкандыбает за возом. Молодые спят, лошади тянут ровно, понуро, и скучно Иосубу, и хочется с кем-нибудь поговорить по душам, а более всего — разгадать, о чем они теперь спят.

«...и воркует она ему: три года живу не живя, а он что ни ночь достает ножик из голенища, на мелкие, говорит, кусочки зарежу и крови напьюсь — марш у койку, марюха Анна! — Нетушки, отвечаю ему, злодей, я одному своему Игнату подвластная и ему останусь чиста... А долбонос в ответ протрубит: как жил, так и живу с нелюбезной женой и с постылой Ритой Семеновной по своему малодушенству. И где моя свобода, воля, судьба? Нет их и не было, когда нету тебя. Всякий раз жена моя Анна

выбирала меня и понуждала меня. По первому разу прямо на жоке середь косяка салажат от сговоренного жениха Петри метнулась и повисла прямо на шею ко мне. Потому что неженатый парень не волен в себе — его кто хочешь, как хочешь и сколько хочешь имей. Да и совестно мне стало, потому как люди кругом, а девка — голова на всяком гулянье. Ну, окрутила, куда теперь денешься? Тогда стал я ее потихоньку работушкой тяжелой глушить: сегодня одну лишнюю лопатку цемента надброшу, завтра один котелец приложу к ее бремени, и так, покуда не порвалась у ней становая жила в одно прекрасное утро. Вот и вся какая была свобода моя. И четыре месяца кряду маюсь свободой, а ты все не шла...»

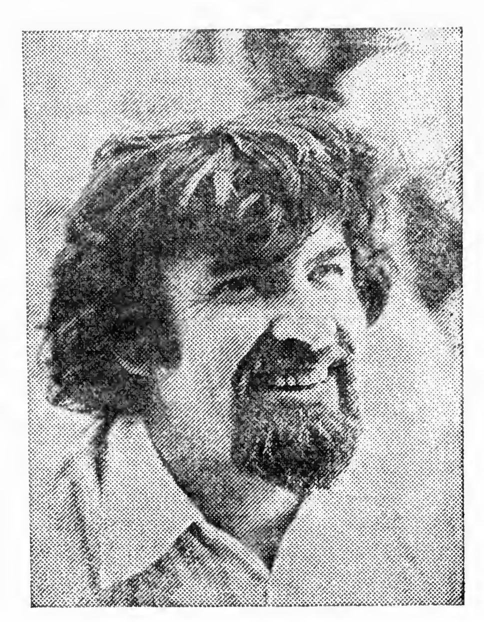
Теперь бы в самую пору пришелся огненный глоток сливовицы, что оставался в потерянной фляжке. Да уж ладно, и так все теплей, только руки в подмышки упрятать. Не спугнуть бы этот покой, эту светлую немоту двух радеющих душ, когда ни рукой, ни ногой, и уже незачем думать и говорить, только знай слушай себя и на ус наматывай...

«Скажи мне, святая сестрица, что есть воля людская?»

«Отвечу тебе, брат Игнат мой. Твоя воля — это мое желание, это то, чего я хочу от тебя, каким тебя вижу, каким ты мне люб, каким тебя, младенца, ращу я, жена и матерь твоя...»

Иосуб лежит боком, скорчившись в озими, схваченной у корней жесткой морозной коркой, и только один глаз у него приоткрыт самую чуточку. И сквозь тоненькую щелку заиндевелых ресниц в сердце его заглянула не то бледная случайная звездочка из-за туч, не то смерть-невеста в белом подвенечном наряде. И прядь ее волос выбилась из-под фаты — можно дотянуться рукой, но опять же не стоит спешить. Она такая большая, а он такой маленький. Она бесконечная, и неба уж нисколечко не остается за ней. Легкий светящийся пар обволакивает и облачком возносит ее все выше над ним, и это ли туман, ползущий от коснеющей в ночи озими, или еще пар дыхания от его светло усмехнувшихся уст, или уже душа, улетающая к горным юдолям. Прости и прощай, никогда не бывшая немка Раюха, неба краюха... Однако что ж такое судьба, и то если повезло? Это когда в бабу уходишь, как в землю, и высшего не дано. Благословен час...

Перевод *А. БРОДСКОГО* и *В. РОЖКОВСКОГО*



БУРГИУ Якоб, прозаик, кинодраматург. Родился в 1940 году в селе Зайканы Молдавской ССР. В 1967 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Первые книги его рассказов вышли в 1966 и 1970 годах. Русские читатели познакомились с прозой Бургиу по его книге «Солнце на костылях», выпущенной кишиневским издательством «Картя Молдовеняскэ» в 1969 году. По повести «За тридевять земель...» написан сценарий для художественного кинофильма.

ЯКОБ БУРГИУ

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ...

Уже после той новогодней ночи, когда впервые прозвучали под соседскими окнами в общем хоре наши голоса, а пожалуй, и до нее приметили в сельской слободе мою сестру Тамару и меня, Костэкела. Все знали, что, окончив школу, мы перевалим через холм, отделяющий наше село от большого мира, и уйдем далеко-далеко, куда никому еще из наших земляков не случалось забираться.

Из-за этой самой колядки, из-за бойкого ее стиха на селе то и дело перемывали нам косточки. И ладно, если бы это касалось только нас, детей, а то ведь все валилось на маму. Что ни день ясный взор ее завороженно замирал на наших лицах, и она начинала грезить с открытыми глазами. Грезила зимой, сидя с долгой пряжей на лавке у печи, а веретено, подхватив ее мысли, вырывалось из рук и, катаясь по полу, норовило выпрыгнуть за порог. Грезила летом, на холме, выпалывая осот и репейник со своих рядков, а попутно и с наших, потому что хоть мы пока умели только баловаться, но уже и за нами, малолетками, числилось по рядку свеклы, кукурузы или подсолнуха вдобавок к маминой и отцовской норме. Была у мамы такая надежда, что она избавит нас от тягот земного труда, от маревого летнего зноя, зато мы вырастем быстро-быстро, и она еще увидит нас большими, быть может, даже великими артистами, странствующими, как водится, с колядным плужком[1] по мировым столицам и радующими ее своей легкой беззаботной жизнью. А если уж не даст бог легкой, так хотя бы красивой.

---

[1] **Плужок** и упоминаемые ниже **колокольчики**, **«бугай»** (самодельный музыкальный инструмент наподобие волынки), **бич** — в молдавских селах непременные принадлежности обряда колядования накануне Нового года или под рождество. (*Прим. переводчика.*)

— Ласточки мои милые! — говаривала она от полноты души и охлаждала свое пылкое сердце протяжным вздохом.

Отец, бывало, тоже насвистывал от радости, глядя на нас: ведь мы продолжали род Чубáрэ со всем что ни есть в нем красивого и высокого. Отец носил шляпу гордо, на самой макушке, молодецки сдвигая тулью набекрень. Он хотел, чтобы его глаза, а значит, и душа были видны каждому и чтобы каждый мог прочитать в них, что это от него, от отца, взялась вся наша детская слава, что это он, а не кто другой, научил нас словам и звонким напевам колядок. Но когда он услышал мамины вздохи и понял, какие ворота колядки открывают нам, в какие дали зовут со двора, вся его радость угасла. Он посуровел, даже лицом потемнел и, не поднимаясь с присбы, на которой правил в то утро сапы, заговорил с мамой так горячо, что шляпа свалилась с его головы.

— О земле учи их заботиться! О земле!.. Слышишь, женщина?! — Тут его тяжелый взгляд остановился на нас.— Дурь эту выбросьте из головы, не то ремнем ее из вас выбью! Коли все в скоморохи подадутся, кто ходить будет за землей, которую бог и государство на совесть нам выдали? Кто, если не я, и не мой сын, и не внук мой?.. Плохо дело, женщина! Скудеет племя плугарей! Все бегут учиться, а возвращаются немногие. Да и те, что возвращаются, тоже не засидятся в селе, и попробуй не предложи им тут же портфель и кресло. Вы что же хотите? Чтобы земля сорняками заросла, запустела, а?!

Гнев отца смутил нас. Вроде был он по-своему прав, и мама тоже по-своему права. И мы не знали, что сказать. Если взять его сторону, обидится мама. Если станем защищать мамину мечту, отец еще больше рассердится. Мы чуть не заплакали от неумения свести небо с землей. К счастью, мама сумела найти слова мира.

— Не бранись, отец: они еще малы, ты напугаешь их. Пусть дети растут в покое, с песней и шуткой, а там уж мы сумеем найти им место. Как-нибудь рассудим... Да и что кипятиться без толку? Знаешь ведь, так заведено на земле от начала дней: одни сеют и пашут, другие поют и пляшут... Ведь и тебя твой отец посылал в город учиться музыке!

— Посылать-то посылал, а потом... велел вернуться домой.

— Эй, припомни-ка! Ничего он тебе не велел. Ты сам

удрал, по своей воле! — Тут мама торжествующе засмеялась и подмигнула нам: все равно, дескать, выходит стрижено, а не брито.

Злосчастное бегство отца прочь от городского ученья ведомо было всему селу, даже и мы знали о том понаслышке. А лучше всех помнил, как было дело, сам отец, потому как ему крепко досталось тогда от деда. Старик исполосовал его вожжами, хотел вернуть к книжкам. Но отец как вцепился ногтями и сердцем в борозду, да так и терпел, пока дед не выбился из сил и плюнул на это дело. Земля помогла отцу снести боль и с годами залечила раны, но и поныне, если придет кому на память тот случай, отец смущается: не оттого, что получил выволочку, а оттого, что так крепко любит землю.

— Будь по-твоему, жена,— говорит он вполголоса.— Пусть еще подрастут... пусть их...— И, подобрав из пыли шляпу, со вздохом надвигает ее на глаза.

Годы летели, как праздники,— мы и оглянуться не успевали. Летом отец и мама отрабатывали нормы на холме, а осенью гуляли на свадьбах и крестинах; без них ни одно празднество не обходилось. Люди говорили: позовешь Якоба Чубарэ — музыки не надо. Есть у отца такой дар — заговорит, запоет и уведет тебя песней или сказкой за тридевять земель, в тридесятое царство... И еще есть у него божественное умение — вовремя оборвать речь. Он припрятывает свой рассказ на лесной опушке или в складке борозды, а на следующую осень собирает новый урожай небылиц и напевов для других крестин и веселий.

На этих-то отцовских торжествах подросли и мы, его дети. Осенью он возил зерно на мельницу, и мука убеляла его волосы. А для нас и осень была весной: мы надевали друг на дружку венки из цветов, величали себя королем и королевой и, глядь, в самом деле обращались в могучих властелинов всего двора, окрестных долин и холмов, а там уж и всех морей и государств, какие только ни бывают на свете. С королевской бесцеремонностью сбирали мы отцовы песни и шутки и разносили их по селу. Над песнями царила сестра, а я был королем проказ. Не успевал отец пропеть или вымолвить словцо, как мы уже без разбору додумывали еще не спетое и не сказанное и пускали в оборот на зеленом выгоне, куда сходились сельские мальчишки и девчонки похваляться богатством — хоть подчас и не своим, родительским. И вы-

шло так, что, хвалясь да рядясь друг с другом, сладили мы хор из таких певцов и певуний, каких и в районе не слыхивали, а вдобавок и театр с двумя спектаклями: один — «Камень в доме» нашего классика Василе Александри, другой — современная бытописательная комедия местного учителя географии Иона Себастиана, в которой я играл главную роль, в охотку прибавляя к тексту все, что, услышав, выносил из дому.

Того-то и надо было отцу, чтобы почувствовать себя униженным и обделенным. Он замкнулся в себе и за целых три дня, что прошли после Первомайского праздника, не вымолвил ни словечка. Обида таилась в нем до той самой минуты, пока не вспыхнула от папиросного окурка, забытого мною в портфеле. Она возгорелась от папиросы, загашенной второпях еще месяц назад, но заполыхавшей потом так, что отца не удавалось успокоить ни маме, ни сестре, ни даже мне, Костэкелу, который — образ, подобие, плоть и кровь отца. Он выпроводил маму во двор, а меня и Тамару со зловещей ласковостью пригласил присесть на лавку у печи и развлечь его, старика, беседой. Задвинув за мамой засов и хлопая себя по ладони сложенным вдвое ремнем, отец стал выспрашивать нас, чьи мы, откуда взялись и чего ищем в его доме.

— Да ведь...— проговорила Тамара сквозь подступившие слезы.

— Что «да ведь»? — вопросил отец, щелкнув ремнем табуретку.

— Да ведь... мы твои дети... И мамины...

— Откуда? У меня таких детей нет.

— Да ведь... Может, мама забыла, а я помню, она говорила мне... Меня вы с ней нашли в Валя Адынкэ, недалеко от ручья. И Костэкела тоже где-то там подобрали.

Хоть Тамара и была старше меня на два года, но тогда она еще верила в родительские басни, будто мир людей умножается и произрастает из травы и капусты. Зажилась в нашем доме красивая сказка о том, как мать и отец, поженившись, наткнулись на нас в Валя Адынкэ — Глубокой Долине. Слушая сестру, я решился украсить эту побасенку такими подробностями, чтобы даже отец поверил в нее.

— Не знаю, как Тамару, а меня вы поймали в пруду вместе с рыбой. Я — от водяного племени, правда?

Отец медленно перевел глаза на меня.



— Коли ты рыбье семя, так помолчи.

— Я не рыбье! Я — от водяного цветка. А у цветов, когда они оборачиваются людьми, появляется голос.

— Складно врешь, да с чужой напевки. Откуда взял?

— Оттуда же, откуда вы с мамой взяли все остальные.

— Так откуда?

— Из головы.

— Выходит, что и я вру?

— Нет, ты не обманщик, но в твоей голове полно небылиц.

— И твои тоже из моей головы взяты?

— Тоже,— с улыбкой подтвердил я, надеясь умаслить отца.

— А как же ты их оттуда берешь? — нежно пропел он, и я понял, что попался на крючок. Просто он давал мне еще немножко побаловать на воле, к тому же, сказать по правде, хотелось ему поразмять язык после трехдневного молчания.

— Гляжу на тебя и беру,— нашелся я.

— Как все же? Лопатой, что ли?

— Нет... Иголкой. Потому что все твои небылицы — это занозы в мозгу.

— Какие еще занозы? В каком мозгу?

— В твоем! А занозы ты загнал туда в молодости, когда убирал с мамой сено. Перед венчанием мама отхлестала тебя колючками по лицу, по глазам, по затылку... Вспомни, в Валя Адынкэ одни колючки вместо травы росли...

— Да нет, и трава попадалась...— отец кашлянул в кулак и отвел глаза.— Ладно. А иголка твоя где?

— Не видишь?

— Нет.

— Посмотри-ка в мои глаза.

— А-а, да... Есть.— Отец подыграл мне, хотел узнать, сколько еще бесенят прячется в моей болтовне, и далеко ли я уйду на леске из толстого ремня, и скоро ли потону в слезах.— Кто же дал ее тебе, иглу-то?

— Кто? Мама, когда принесла меня из Валя Адынкэ. Протягивает иголку и просит: «Сынок, а сынок, вытащи у отца из головы занозы, излечи от краснобайства и напевок, не то сглазят его вдовы сельские: привяжут борзого коня к чужой коновязи. Не доведет его баловство до добра. Кто нынче смеется, тому завтра плакать черед».

Отец снова кашлянул в кулак.

— Как же ты иголку в глаза уронил?

— Смешно мне стало от маминых слов. Я ведь знаю: ты человек дельный и не бросишь жену и детей. Куда бы ни завели песни и сказки, все равно тебя домой потянет. Знаю — потому и изломал иголку на мелкие кусочки. Хотел их в окно выбросить, а ветер как дунет — и запорошил мне глаза. Теперь никто не вытащит этих кусочков: ни доктор, ни даже твой ремень...

Мама тем временем собрала у нас во дворе всю слободу, всех наших родичей. Стремглав обежала их и умоляла, превозмогая слезы:

— Бегите, бегите скорей! Зашла дурь в голову мужику, убьет он моих деточек!

Я бросил взгляд за отцовскую спину. В окнах теснились лица, глаза, губы... театр, да и только. Слободские и родня — в зале, а мы с отцом — на сцене. Все глядели с любопытством и ждали, чем обернется комедия. Завязка была известна, конец тоже: рано или поздно отец успокоится, и одно только не известно, кто его укротит,— актеры или зрители.

Отец молча глядел на стену с фотографиями времен его молодости. Снимки висели на ковре за моей спиной. Наш разговор увел его думы далеко в прошлое, на зеленое, полное цветов ковровое поле, он скакал на белом коне, подаренном дедом, чтобы было чем гордиться перед земляками,— скакал по краю вышитого полотенца, по заиндевелым холодным травам, время от времени осаживая скакуна и оглядываясь на холмы и долины, на старинные деревья, на лица людей с фотографий, надеясь встретиться с давно миновавшей юностью. Его глаза кричали, но стена отмалчивалась.

Бабушка Анна, услыхав, что в доме тихо, стала спроваживать людей со двора:

— Ступайте, ступайте, спасибо вам. Я сама разберусь...

Отец, услыхав за спиной шушуканье, спешился с фотографического коня и обернулся к окну.

— Отвори, Якобаш! — замахала ему бабушка.— Отвори! Что ты там от людей закрылся?

— Погодите маленько: у меня разговор с моим сыном.

— А чего годить? Ты председатель, что ли, чтобы годить? — вспылила бабушка.

— В своем доме я и председатель.

— Отвори, посоветуемся! Послушай материнского слова!

— Мама, я вас почитаю, как богом велено, и отворил бы с охотой, да вот внучек ваш не велит: он так много хочет мне сказать... Ну давай, Костэкел, выкладывай, недосуг мне.

— А что выкладывать?

— Отвечай, кто разрешил тебе морочить людей? Кто подучил над отцом глумиться? Может, ваш географ, а?..

Или у тебя рога прорезались и ты хочешь меня забодать?.. А ты, Тамарочка?..

Сестра подняла полные слез глаза, словно моля о помощи.

— Никто меня не учил, кроме как ты сам,— ответил я, стараясь не выдать страх.

— Как так?

— А так вот! На свадьбах я от тебя довольно наслушался.

— Я — одно дело, а ты — другое.

— Ничего не другое! Не все ли равно, где плести небылицы: на свадьбе или в клубе? Один бес и один бог смешит людей.

— То-то и оно, что не один. Я смешу своих друзей, а ты потешаешь все село. Я забавляюсь, а ты из этого делаешь ремесло. Разве для того я растил тебя, для того грамоте выучил, чтобы ты на сцене паясничал? Отвечай! — Тут он до того возвысил голос, что стены покачнулись и задребезжали стекла в рамах.— Ну? Что молчишь?!

И он протянул меня ремнем по плечу.

Вскрикнуть я не успел: за меня завопила Тамара. Люди из ворот кинулись к дому. Дверь треснула и слетела с петель.

Первыми через порог посыпались родичи. Бабушка заслонила меня. Мама укрыла собой Тамару. Отцовы братья — Григоре, дядя Захария и дядя Костаке — бросились к нему и усадили на лавку, пытаясь вырвать ремень.

— Срам! — покрыл суматоху звучный голос бабушки Анны.— Срам! Срам и позор убивать такого бесценного мальчугана!

— Да кто его убивать-то собрался?! — возмущенно вскричал отец, бросая гневные взгляды на маму.

Мама, обычно такая маленькая, такая покорная, на этот раз смело встретилась с ним глазами, распрямилась, стала словно выше и моложе и сказала напрямик, не тая боль, столько лет терзавшую ее:

— Ты! Ты их убиваешь, потому что они похожи на тебя. Потому что они переняли все твои байки и песни. Думаешь, я не знаю, что ты замыслил? Три дня рта не раскрывал, зато во сне все высказал. Ты сквозь зубы скрежетал, что убьешь их, да! С досады бесился, потому что не дались тебе книги в твое время, а теперь дети тебя

обошли, так зло и берет, зачем родил их со мной. Обидно тебе, что состарился, что ушла и уже не вернется назад твоя молодость, что не судьба уж тебе гулять, как гуливал когда-то... Да за чем дело стало? Если снова приспичило шалопутничать — скатертью дорога! Ступай вон из дома, срамник, носи свою глупость по ветру, пусть радуются люди, что они умнее тебя, пусть видят, что ты за птица! Будь добр, уходи! Я не позволю тебе сделать детей несчастными...

И, сказав все это, мама заплакала.

Тень сожаления упала на лицо отца. Горько улыбнулся он маме: мол, не поняла она его и вовек не поймет. Улыбнулся, словно прощаясь с ней, улыбнулся с болью и любовью, надвинул шляпу, поднялся с лавки, шагнул к дверному проему, но не смог переступить порог. Ему как будто стало неловко, и не столько людских глаз, сколько самого себя, потому что не по-доброму расставался он с нашим домом. Он обернулся и, верно, хотел сказать что-то, но слова не шли. По его сосредоточенному лицу было видно, что он ищет шутку, хочет осушить мамины слезы и снова стать хозяином, но шутка никак не выговаривалась. Похоже было, что я обобрал его догола. Увлажнившимися глазами посмотрел он на родичей. Все это были трудовые, жадные до работы люди, и лукавая мысль осенила отца: значит, вот что, дорогие, родные мои плугари, коли в этот весенний день не сыскали вы работы дома, так найдет вам Якоб работу на своем дворе. Отец чуть не рассмеялся от удовольствия, однако успел овладеть собой. Он потянулся к кружке. Но в порожнем ведре даже дно высохло, и отец совсем затуманился. Он болезненно скривился, позеленел, как человек, много лет носящий в себе неодолимый недуг, и мягким, полным горечи голосом сказал, то ли плача, то ли жалуясь, то ли молясь невидимому богу:

— Ведра воды некому принести в этом доме. Огород вскопать некому... Картошку посадить некому тоже... Все в артисты подались...

— Не тужи, брат, мы тебе поможем, затем и пришли. Если кому тяжело, надо плечо подставить,— успокоил его дядя Захария и, подхватив ведра, затрусил к колодцу.

Работа — дело такое, что если один возьмется, так и другим не стоится на месте. Не успел дядя Захария переступить порог, а уже бабуня спрашивала маму, где семенной картофель, и, пока отец выволакивал из погреба

тяжелый мешок, чтобы перебрать его на свету, соседи сбегали по домам за лопатами и присоединились к тем, кто уже начал копать. Солнце еще не спустилось с полуденного неба, спеша к нам на помощь, а уже вода была в сенях и картофель в земле. Нашлись и другие дела. Дядя Костаке починил забор, который мы давным-давно сломали играя, потом со смехом прицепил к калитке колокольчик: пусть, дескать, оповестит отца, если мы соберемся задать стрекача из дому. Дядя Григоре подмел двор, чтобы вольно было нам с сестрой бегать и прыгать. Нéлу, мой взрослый двоюродный брат, наткнулся под навесом на мешок с остатками цемента и заделал щербины на крыльце: теперь отцу будет удобно, сидя на нем ночи напролет, сторожить нас. Надо ли, не надо было обмазывать глиной присбу, но тетя Оля воспользовалась случаем и освежила ее: как знать, может, человеку наскучит сидеть по-сиротски на крыльце и придет ему в голову прогуляться вокруг дома по приступке. Даже Маричика, кроткая жена Нелу, создание столь тихое и пугливое, что, бывало, даже разозлишься, не слыша, что она отвечает на твое «здрасте», теперь разошлась и вызвала подавленные смешки, растолковывая всем, зачем протирает окна и моет полы в комнатах.

Не позови мама людей к столу, пожалуй, шутки на отцов счет, как и труды по дому, нипочем бы не кончились. Так уж ведется в нашем селе: работа, которую подгоняет добрый смех, спорится. Особенно когда принимается за нее целый род ради спасения от смертных побоев неразумных и непочтительных детей, до срока выносящих из дому веселые тайны, которые, впрочем, не сегодня-завтра послужат к вящей славе рода Чубарэ, и не только в селе, но и во всей нашей необъятной стране.

Да, успех превзошел ожидания отца. Заставив гостей притворными жалобами взяться за дело, он хотел единым духом погасить две свечи, от которых по его вине начались неурядицы в доме. Во-первых, успокоить маму и показать ей, что, несмотря ни на что, он был и остается хозяином, главой семьи, что это именно он, а не она, рожден носить кушму на голове; во-вторых, и родичей, коль уж они такие шустрые и задушевные, приструнить маленько, чтобы не переступали меру и не совали носа в чужое просо. Но не удалось, не вышло у отца, потому что, вспыхнув раз, эти огни поддерживали друг друга. Мама перестала плакать, зато воспылала гневом. Она

смотреть на отца не могла. Пережитого стыда хватило бы ей на много лет. Мало того, что из-за отцовского буйства все село сбежалось к нам во двор, так он же еще и принудил гостей, как лодырей каких, наводить порядок в его доме. Вместо того чтобы по-хорошему приказать детям вскопать огород и посадить картошку, он их запирает в комнате и морочит людям головы. Как же после этого не выглядеть шутом в глазах детей? И кому же следовало задать трепку, им или ему?

Да и с родичами разговор выходил не так короток. Поначалу казалось, они будут смирными и покорными; потом, когда дела подошли к концу, они как-то нежданно-негаданно вышли из повиновения. Ладно, кувшин, шути, пока ручка цела, да только шутка их перешла меру, и, того гляди, будущее детей могло решиться без участия отца. Такие-то мысли терзали его, и он не знал, что предпринять, какую бы штуку выкинуть, чтобы снова все сделалось по его воле. Он опять приумолк и молчал даже за столом, только курил папиросы одну за другой да пил пиво долгими глотками врастяжку, словно погреб его опустел и он пьет последний в жизни стакан. Со стороны могло показаться, что он сломлен, на самом же деле отец ждал только часа, когда люди разойдутся и он сможет остаться наедине с собственными мыслями, затвориться в каса маре и не выходить оттуда, пока на душе не полегчает. Так поступал он всегда, когда сталкивался с чем-нибудь чуждым и незнакомым. Он запирался порой на ночь, а то и на две, и не являлся к нам без ясных, десятки раз продуманных планов. Год назад, перед тем как взять слово на собрании, когда скинули с председательского кресла Иона Хапужку за то, что зарился на общественное добро, отец не спал три ночи подряд. Не так уж легко было ему сложить свою речь. К тому же этот злополучный Ион приходился маме двоюродным братом...

В те дни отец победил. Одним дельным словом сумел вернуть Иона к давно забытому трактору. Сумел, потому что на его стороне было все село, вся родня. А теперь он один-одинешенек, и эта чертовская история с детьми — совсем не то, что случай с Хапужкой. Отец и сам удивился бы, если б сумел без хлопот развязаться с ней. Нужно найти единомышленников, людей вроде него, которые смогли бы понять, чего он хочет. Но как и с кем завести беседу, если теперь пойдет о нем слава еще по-

хуже, чем о попе-расстриге? Может, выждать, пока затихнет молва? Но ждать некогда: дети вот-вот кончат школу — и поминай как звали! Нет, если начинать, то сейчас. Пока саженцы не зацвели, их еще можно высадить в своем саду... Пожаловаться председателю? Пусть поговорит с ними по-государственному, пусть растолкует, что земля, сколько бы техники на ней ни копошилось, нуждается и будет нуждаться в человечьих руках... Да разве этих мазуриков проймешь высокой речью? Яйца-то нынче умнее кур, брать их следует деликатно, осторожно, и не на стороне, а в своем доме. Танцевать от порога, от плиты, от теплого лоскутного одеяла, от печи, на которой можно держать военный совет с женой. Она — квочка и поведет цыплят, куда захочет. Какими теперь охами и ахами, какими песнями улестить ее? Упрямая. Скажет «но» — так никакого «тпру» не будет, пока сама не уразумеет, что тянет в трясину.

Весенние праздники, раз начавшись, идут один за другим. Первые полевые работы подходят к концу, и у отца снова появилось время для раздумий. Теперь он удаляется в добровольное заточение на четыре дня и четыре ночи. Не ест, не пьет, сидит молчком. Скулы его заострились и, кажется, вот-вот прорвут желтую, как воск, кожу. В синих кругах вокруг глаз тускло поблескивают зрачки. И хотя на дворе весна, а не поздняя осень, белый иней оседает на волосах отца. Вытянувшись, лежит он навзничь, на голой лавке, со сложенными на груди руками, будто покойник. Мама вместе с нами подглядывает в дверную щель, все в ней замирает от жалости, она забывает о ссоре, о своей и нашей мечте и умоляет отца отворить, выйти, поесть чего-нибудь. При звуках ее голоса морщины на его лице разглаживаются, он облегченно вздыхает и словно хочет подняться с лавки; даже покрываются радостным румянцем щеки, но он не поддается и, глядя в одну точку, продолжает наматывать мысли на невидимое веретено.

Не отворяет он и на пятый день, и на шестой не хочет открыть. Мама заливается слезами, не находит себе места, слова ее не утешают, все валится из рук. Ни жива ни мертва, бродит она вокруг дома, останавливаясь у всех окон и дверей и пеняя небу, что из-за проклятой актерской школы, вскружившей нам головы, она теряет мужа. Мама кается так страстно, словно это не она вместе с отцом своими колядками и песнями пробудила мечту в на-

ших душах; словно они чужды тем сказкам, на которых мы выросли и которые начинаются одними и теми же волшебными словами: «За тридевять земель, за тридевять морей...»

Видать, таковы с годами все родители. К той поре, как увидят детей взрослыми, забывают они свои сказки и напевы. Остается одна-единственная сказка — о любви, связавшей их зеленой травяной нитью.

— Господи, лучше б уж вы просились в другое какое ученье! На агрономов там или докторов... Тут мое слово помогло бы. Потому что все равно вернулись бы тогда в село, были бы при нас, при земле. А потом, агроном или доктор, если даже и водится с песнями или побасенками, с дороги не собьется, а коли человека только песня держит на земле, по ветру идет вся его жизнь... Что же вы сидите? Идите к нему, просите прощения, не то... Боже мой, боже, мы останемся без отца на этом свете. Разве не видите: он уйти задумал, хочет покинуть нас! Крошки хлеба, капли воды в рот не берет. В землю ляжет, а грех будет на мне и на вас...

В голосе мамы было столько печали и горя, что Тамара не стерпела. Она оторвалась от меня и шагнула к двери каса маре. Я, однако, помедлил. Что-то подсказывало мне, что отец только и ждал, чтобы мы упали перед ним на колени, что к этому и вел он с той самой минуты, как заперся в каса маре и начал свой изнурительный подвиг. Я читал его мысли. После того вздоха облегчения, вздоха радости, а не мук, торжествующего, я бы сказал, вздоха, тут же погашенного в груди, вздоха, разгладившего морщины отца и осветившего его лицо, у меня были все основания полагать, что никакие черные мысли его ни чуточки не терзают. Но голос мамы, отозвавшийся и в моей душе, поднял меня с места. Я встал, сам не зная, куда хочу идти и что делать. К счастью, не успела Тамара коснуться щеколды, как дверь распахнулась и на пороге появился отец.

— Ошибаешься, женщина,— кротко проговорил он и шагнул вперед, не глядя на нас. Он приблизился к маме, обнял ее и продолжал смиренно: — Неужто ты думаешь, что я так глуп, что сложу руки на груди и дам могильщикам унести меня из этого дома? Уйти — и на том свете мучиться от стыда? Уйти — и оставить тебя одну, покинуть на неблагодарных детей? Чтобы они и над тобой насмеялись, а? Чтобы выгнали тебя вон? Эх, Одокúя,

Одокия! Мы ведь целую жизнь с тобой прожили, так вот назло же им еще одну проживем. Оставь им ихнее баловство, не грызи себя. Только отныне заведем уговор: расходы пусть по-прежнему лежат на нашем горбу, зато они, музыканты эти, будут играть то, что мы им закажем. Не угодно? Долой уговор — пусть идут на все четыре стороны. Вольному воля, а карман наш...

Если отец есть отец, то, каким бы ты ни слыл ловкачом, как ни старался бы превзойти его, в конце концов и сам не заметишь, как это случилось, что ты услужливо по его хотению отворяешь или затворяешь ворота. Долгая жизнь плугаря научила отца с достоинством носить кушму на голове и, что бы ни было, оставаться хозяином в доме. Какие бы ветра ни силились скинуть с него шапку, ему всегда удавалось ее удержать...

Стало быть, остался я сам-друг со своей незадачей. И было мне еще обиднее, чем отцу после набега родичей. Даже рыжий петух, который вчера, трепыхая крыльями, взлетал на забор и оглашал криком дорогу, словно призывая меня в путь, уже не пел по утрам. Мама, разомлевшая от тепла отцовых речей, живо изловила петуха и до вечера варила из него суп, желая вернуть отцу силу.

И еще — с того дня потянулись дожди. Посевы всходили на глазах, вырастали, заслоняя собой дорогу, что вела из нашего дома в большой мир. Боясь потерять ее, боясь, что не сыщу ее будущей весной, я выкинул белый флаг. Я обещал отцу ежедневно выполнять свою норму на холме, лишь бы можно было каждое утро, выходя из дому, встречаться с моей доро́гой и радоваться, что через год я накоплю денег и смогу уйти по ней куда захочу.

Но нет дорог без колдобин. Вместе с посевами взошла и трава в Валя Адынкэ, высокая, как никогда в другие годы. И была она такая душистая и мягкая, что попутал нашу Тамару грех, повела ее доля на сенокос с другими девками и парнями, и нашла она там свою первую любовь, так что к весне у моих родителей объявился внук по имени Славик, как и мы, сысканный в Валя Адынкэ, у источника среди тростников... Замужество Тамары и крестины Славика не только поглотили мои «дорожные» деньги, но еще и заронили в отцовскую голову мысль стреножить меня — женить не мешкая, чтобы родился у него внучок и от сына,— я ведь был совсем взрослый, даже мама это замечала,— а уж тогда можно было бы спокойно послать меня учиться на агронома, не опасаясь,

что забуду обратный путь к дому, к земле. На попятный не пойдешь; пришлось дать слово, что я готов и на это, лишь бы невеста была не совсем уродина, а самому, дескать, мне ее искать недосуг — на носу выпускные экзамены. Так я спрятался в отцовский замысел, как заяц в придорожные кусты, выжидая минуты, чтобы ошарашить его какой-нибудь совсем уж несуразной выходкой и дождаться заветных слов: «Уходи, уходи от меня прочь, бога ради...»

Отец догадывался, что я хожу у него перед самым носом кривыми путями, и гнул свое. Он послал маму искать мне суженую по селу, а сам залег в кустах на той стороне дороги и стерег зайца, чтобы свалить его одним прыжком при помощи данного некогда обещания. Порой встречались наши глаза, но мы тут же отводили их в сторону, лишь бы не читать в душах до конца и не спугнуть друг друга до времени.

А мама, бедная, совсем забегалась на запутанных тропинках сватовства. И, хоть согласных на такое дело в нашем селе найти было не так просто, на дворе у нас появлялась одна невеста за другой. И у каждой находил я нестерпимый для меня изъян: у одной ноги коротки, у другой руки долги, третья золотушная, у четвертой зуб со свистом, пятая глазом косит... Невест же совсем дурного пошиба мама сама распознавала с ходу: одни были слишком бестолковы и тут же попадали впросак, другие до того ленивы, что по неделям не смывали своих румян.

Но в один прекрасный день все мои отговорки пошли прахом: мама привела на двор чудо-девушку, с глазами такими черными, что хотелось тут же зажечь в них свет. Коса у нее доходила до пят, была она высокая, стройная, статная, и в каждом ее движении отзывалась повадка горной козочки.

— Она, Костэкел! — радостно шепнула мама.— Хочешь не хочешь, а я ее со двора не отпущу. А если кто попробует увести, отец застрелит...

Тут и отец вышел из комнат. Кашлянул в кулак и остановился на крыльце.

«Ну, что теперь скажешь?» — пронзил меня его торжествующий взгляд.

Что я мог сказать! Девушка походила на сказочную фею. Не будь у меня сердца вообще, и то влюбился бы. «Все, Костэкел, снова попался ты в сеть,— сказал мне, как бы успокаивая, внутренний голос.— Это предначер-

тано в Книге Судеб, и роптать не приходится. Забудь про актерство, про учение. Чего ждать? Бери ее за руку и веди под благословение». Не чуя ног, я шагнул было к девушке, но она подняла глаза и пригвоздила меня к месту. Потом застенчиво улыбнулась, и я понял, что мама снова ошиблась: только на этот раз серебряная невеста, а жених деревянный. Мы, пожалуй, были однолетки, но она уже расцвела. Видать, ее мама, зачиная дочку, от солнца и луны отломила по кусочку, от ночного цветка, от дневного лепестка, окунала в небесные лучи да в целебные ручьи, а косу заплела из лесного руна... А я? Где был зачат я? На стоге колючего сена в Валя Адынкэ. Что оно могло подарить мне? Худобу, шипы, да горечь, да полынное сердце без капельки солнца.

— Ладно, мама... А свадьбу когда сыграем? — спросил я, с шуткой вступая на уготованный мне путь.

— В воскресенье,— как ни в чем не бывало ответила мама и повернулась к девушке: — Иди, голубка, в дом, отдохни, устала, верно, с дороги...

— Какая свадьба? — изумленно спросила девушка, берясь за чемодан.

— Наша,— объяснил я.— Разве мама ничего не сказала тебе, когда вела сюда?

— Ничего.

— Как же так?

— Так,— с укоризной отвечала мама.— Спешила показать тебе невесту.

— Извините, пожалуйста, но мне не жених нужен, а квартира. Я приехала на практику и хочу снять комнату, если у вас есть свободная.. — Девушка говорила отчетливо, как с глухими, стараясь, чтобы ее поняли.— Разве мы не так договаривались?

— Так, так! — подтвердила мама, подхватывая чемодан и устремляясь к крыльцу.— Да что комната! Весь дом тебя ждет! И сад вам после свадьбы оставим. Мы, старики, не станем стеснять вас — к дочке переберемся!

Девушка растерялась. Поглядела на меня, на отца: может, в нашем селе так нескладно шутят? Но мы были серьезны, почти суровы, и она еще больше смешалась. Сделала движение к воротам, словно хотела выйти, но вспомнила о чемодане. Шагнула за мамой, но она уже скрылась в доме. Шевельнула губами — сказать что-то, должно быть, снова извиниться и еще разок объяснить, зачем приехала, но, верно, засомневалась, не поднимут

ли ее на смех; мол, шуток не понимает. Она все еще надеялась, что мы разыгрываем ее, и терялась в догадках. Кто знает? Молдова — крохотный уголок на карте страны, но каждое село и каждый дом на свой, подчас удивительный лад встречают гостей.

— Да, да! — встрепенулся я и, пытаясь с честью вывести себя и гостью из нелепого положения, послал ей самую дурацкую из своих улыбок, а затем, набрав в грудь воздуха, стал, загибая пальцы, исчислять свое жениховское богатство, этот великолепный скарб: — Дом с огородом, корова, десять овец, семь мешков пшеничной муки, семь — кукурузной, четыре ковра, пять подушек пуховых, одеяло, две скатерти, сотня тарелок, двадцать позолоченных ложек и посеребренных вилок двадцать же, телевизор, радио, две собаки, гуси, утки, куры... и жених в придачу. Хорош молодец — нос с огурец, маленько тугоух, да зато кривой, зуба не хватает, на костыле шкандыбает. Пожалуй, государыня невеста, в наши хоромы, не изволь кручиниться!..

Настороженность и растерянность девушки растопились в звонком заливистом смехе, который побудил ее вступить в предложенную игру. С серьезной миной она протянула мне руку. Что за рука! Белая, мягкая, нежная... Лебединое горячее крыло, крыло любви... Мы не шли, а летели рядом. Парили над цветущим черешневым садом, над холмами, долинами, водами. Мир благоухал чабрецом и васильками, всей своей зеленой листвой. На ветвях лесов и небес разливались соловьи. Было солнечно, но вот и луна взошла и вспыхнули обручальные свечи звезд. Издали сквозь мерцающий огонь созвездий чудился мне наш двор, полный гостей. Музыканты под орехом обрывали струны в неистовой сырбе. Танцоры уже не могли плясать, они замерли в изнеможении, и земля подо мной разверзла борозды пашен. Изнемог и я от долгого полета, изнемогло само небо. Оно заколебалось, пытаясь стряхнуть меня наземь, соединить с пашней. Хорошо еще, отец догадался поддержать меня за плечо и подтолкнуть к крыльцу. Не будь его, я бы непременно врезался лбом в притолоку. Он заботливо подхватил меня, чтобы я не опозорился в глазах невесты, не расстроил свадьбу, а безопасно сошел с небес в каса маре, где ему, отцу, останется только сесть на лавку у печи и смотреть на меня, как он один умеет,— с невинной хитрецой. Удивляться, спрашивать: с чего это я перешаг-

нул порог, ведя за руку девушку? Уж не жениться ли задумал? А если так, почему молчу, пенек этакий? Разве не знаю, что железо куют, пока горячо? Разве я не кровь от крови его?.. Эх-хе-хе, старость не радость! На моем месте он сразу нашел бы слово, предлог, что угодно, а уж на всю жизнь приковал бы ее к себе — не увернулась бы! Да, жаль, жаль... Девушку такой редкой красоты вряд ли встретишь снова. Счастье только раз стучится в наши двери, и если мы отворачиваемся от него или не замечаем вовремя, оно уходит и больше не возвращается.

Мама, усталая от беготни, с упавшими руками, с раскрасневшимися щеками,— нашлась мне все же голубка под стать! — сидела рядом с отцом и не сводила глаз с жениха и невесты. Она уже мысленно видела дом, полный внуков и внучек. Пусть, пусть у нас будет много детей, и, быть может, когда они подрастут, найдется среди них один побойчее других — сумеет переступить холм, отделяющий наше село от большого мира, и уйдет далеко-далеко, куда еще никому из наших земляков не случалось забираться. А у нее самой только двое — Тамара и я, и жаль терять нас в суете жизни.

Стоя посреди комнаты рядом с милой гостьей, погрузился в мечты и я. Неужели человеку нужно множество детей, чтобы он мог расстаться хотя бы с одним из них? Да ведь и ждать нужно столько времени! Когда еще подрастут внуки! Когда еще найдется среди них смельчак!.. Неужели, мама, вы поставили крест на мне? Если да, то вы жестоко ошиблись! Я и женатый уйду, куда суждено мне уйти. Актерская школа откроет двери нам обоим — мне и жене. С женой даже легче. По всему видать, и она не сробеет. Может, она почище меня актриса и к тому же красивее тех, что мелькают на экранах... А о внуках пусть мама не волнуется. Не знаю, как насчет полного дома, но двух-трех мы ей подарим непременно: пусть нянчится, пусть валандается с ними. Так ведь делают почти все, кто остается после учебы в городе. Житье там тесное, садиков мало. А у бабушек в селе дети растут как грибы, на свежем воздухе, на просторе. Они жадно впитывают родной язык, да и спелые черешни не пропадают на дереве...

Мечтал я. Мечтала мама. Мечтал и отец. Все о своем.

— Сын ваш хорошим женихом был бы, да только...— девушка внезапно пробудила нас от мыслей.

— Что?! — вскинулись мы разом.

— ...замужем я.— Она неловко улыбнулась и повертела на пальце обручальное кольцо.

Маму как громом поразило. Она сразу съежилась, как воздушный шарик, стала маленькой-маленькой. Радость вспорхнула с ее лица. Сдерживая прихлынувшие слезы, она опустила глаза на ладони и, споткнувшись взглядом о кольцо, забытое на пальце еще со дня свадьбы, начала ожесточенно вертеть его, словно хотела сорвать, сбросить, стереть, словно оно было виновато, что она не догадалась взглянуть на руку гостьи, прежде чем пригласить к нам.

Отец тяжело вздохнул, будто взбежал на три холма кряду, а надо было одолеть еще сотню.

Резкий порыв ветра стряхнул лепестки с черешни, что росла у дома.

Девушка не замешкалась. Она подняла чемодан и, тихо простившись с мамой, вышла. Никто из нас не догадался проводить ее. Мы молча уставились в пол, нам стыдно было смотреть друг на друга. Родители стыдились, что не для счастья произвели меня на свет: очень уж по сердцу пришлась им девушка. А у меня щеки горели, потому что отец и мать видели меня влюбленным и одураченным. Ладно, родители промахнулись, на то они и старики. Но где был мой разум, мои глаза? Надо было тут же придраться к чему-нибудь и отказаться от нее. Надо было найти у нее какой-нибудь изъян... даже если она совершенство! Такова моя жениховская роль. Я ее сам выбрал и не должен ни на шаг отклоняться... Что станешь делать, Костэкел, если завтра тебе приведут другую невесту, еще прекраснее этой и — без обручальной цепи на шее? Снова воспаришь к звездам и будешь радоваться, что возьмешь ее с собой в ученье? Еще слава богу, что в селах такие феи рождаются не каждый день, но гляди в оба: весной они стаями налетают из городов на практику. Покидают свой пыльный рай, истосковавшись по зелени, чистому воздуху полей, по любви. Спускаются с неба на горячих лебединых крыльях и зачаровывают тебя, и тут же, у твоих ворот, сбивают с пути, крадут мечты и все запутывают так, что потом до старости не распутаешь.

А сердце мое, пометавшись по телу в поисках выхода, понемногу успокоилось и вернулось на место. Мне даже как-то радостно стало. Зря грешат на себя старики: видит бог, я счастливчик, спасся и на этот раз. Чудом, прав-

да, но спасся. И наши старые ворота снова заскрипели, открывая мне заветную дорогу.

А отец взглянул, и побагровел, и сказал гневно:

— Что, сынок, загнал телегу в болото и рад? Иляну-Косынзяну, волшебницу лесную, ищешь? На меньшее не согласен? На себя сперва посмотри! Хватит тебе и нашей сельчанки, такой же, как ты.

— Будто ты, отец, двадцать лет назад обошелся такой же! — возразил я.— Бабушка Анна сказывала, немало ты терпел из-за мамы. Били тебя ее братья, и от парней, что ее сватали, тоже немало колотушек схлопотал. А ведь не угомонился, пока не взял маму под свое крыло. Ее хотели выдать замуж в другое село, а ты вышел на дорогу с ружьем и увел ее. Целый месяц вы прятались в Валя Адынкэ, помнишь?

— Может, и ты умыкнешь эту, Костэкел? — улыбнулась мама сквозь слезы.

— С кольцом-то? Чтобы чью-то семью поломать? Нет, мама. На такие дела меня не толкайте. Мир велик, найдете мне еще невесту. А если устали бегать, отца пошлите, он сумеет...

Отец вскочил на ноги.

— Видала, Одокия? Мамалыга-то наша затвердела! До того уж заврался, что мелет, как мельница. Да еще хочет, чтоб мы свои надежды под его жернов сыпали. Беритесь, мол, дорогие родители, за руки и ступайте за тридевять земель да пригоните ему под нос табун невест, а его величество будет кривляться да задом вертеть, выбирая. Пока гвозди в наш гроб не заколотят!.. Нет, братец, зря ты воображаешь, будто твои извороты скрыты от нас. Ты у меня как на ладони. За нос меня водишь, ждешь, чтобы вера и закон в моем сердце истребились. Смотри, парень! Брось хитрить! Не то, боюсь, лопнет мое терпенье, найду другие слова для тебя. Видит бог, боюсь. Грех с дуростью рядом ходит. Ведь выйду из себя да ненароком топор в руки возьму. Худа бы не было...

Отец не шутил. Видя, что я ускользаю из рук, он пытался удержать меня грозными и жестокими речами. Я знал, до топора дело не дойдет, но все же его слова испугали меня. Человек, живущий без смеха, озлобляется и чует мир зубами, как волк. Он не видит ни радости, ни боли ближнего. Надругается над святынями, и закон ему не писан.

Мама со страху втянула голову в плечи. Она стра-

дальчески глядела то на отца, то на меня, мучительно ища слова примирения. И еще она думала, чью сторону взять — отцовскую или мою.

— Костэкел,— вымолвила она наконец после долгого молчания, впившись в меня цепким затуманенным взором, каким глядел иногда отец.— Костэкел, я тебя доконаю, как бог свят, вот на этой же неделе. Хитри не хитри, доконаю. Будет тебе невеста — не чета нынешней. Ты ведь не только отца разгневал, и меня тоже. Что́ я буду делать — моя забота, но помни: к концу недели стоять тебе под благословением!

— Не по силам заботу берешь, Одокия,— криво усмехнулся отец, отирая широкой ладонью пот, выступивший на мамином лбу.— Сорвалась щука с крючка — в другой раз не зацепится. Полно бегать впустую по дорогам, сиди дома. Ишь как похудела! Пусть он сам на себе петлю затянет. Он еще захочет жениться, да мы не позволим. Молить будет, на коленях за нами ползать по двору, а — поздно! Кто плюет в колодец, тому нет прощения во веки вечные. Полезет в карман за счастьем-долей, а там кукушка кукует...

После этого происшествия несколько недель кряду голова моя раскалывалась от мыслей. Все горело во мне, и этим пламенем я мог в любую минуту дня и ночи зажечь на небе солнце или луну, пытаясь осветить темные тропинки последних слов, сказанных отцом. Что скрывалось за ними? Я был тише воды, ниже травы, вертелся вокруг отца, помогал ему по дому и в поле. Я надеялся поймать хоть вздох его, хоть улыбку, хоть обрывок песни или слова, которые помогли бы мне осмыслить его угрозу. Но отец молчал. Говорили только его глаза, и я чувствовал, он сплел новую сеть, нашел новый порог, о который мне предстояло запнуться. Он явно замыслил что-то, иначе не отказался бы так легко от намерения женить меня.

Как-то утром мама отправила его в Кишинев за стиральной машиной. К вечеру он вернулся без покупки, но с какой-то бесовской радостью в глазах. Он приветливо заговорил со мной, спросил, как я сдал последний экзамен, и, услыхав, что и по истории получил я крепкую четверку, выпил со мной, как с равным, по стакану вина, потом со смехом перебрал десяток городских новостей и, как никогда веселый и умиротворенный, полез на печь.

Уже давно миновала полночь, а он все шептался с

мамой, что-то бормотал ей на ухо и нетерпеливо выслушивал ее тихие ответы. Сколько я мог разобрать, он втолковывал ей, что затеял в Кишиневе важное дело, мама же ворчала и корила его: все же, мол, лучше было купить стиральную машину.

— Умеют городские вытягивать из нас денежки,— вздыхала она.

— Стыдись, Одокия! Деньги для нас же истрачены,— урезонивал ее отец.— А мы еще заработаем.

Их шепот заставил меня затрепетать от страха. Мне показалось, мышеловка готова была захлопнуться. С отца сталось бы зайти в ту самую актерскую школу и дать взятку главному профессору, чтобы меня безжалостно срезали на приемных экзаменах. Ведь бывает гораздо легче настроить человека на злое дело, чем уговорить его помочь твоему сыну попасть в институт. На пахоте или прополке места покуда с лихвой хватает, зато поступить в институт совсем не просто: желающих много, даже слишком, и знакомства кое-что пока значат. Рука руку моет, глядишь — и все устроено. Доберешься до конца экзаменов, а там вдруг окажется, что сухой орех весит больше настоящего таланта. И ничего не попишешь. Так создан мир: для одних добрый, для других злой. Нужны еще многие годы, чтобы у всех людей стала чистой совесть. Может, мир потому и называется миром, что добро и зло примиряются в нем. Сегодня зло повержено и его место заступает добро, а завтра добро становится хуже самого злого зла. Это люди завели, что дороги идут и в гору, и под гору, потому-то за все приходится бороться. Я борюсь с отцом, отец со мной. И оба мы хотим добра. Оба ищем веры и любви. И у подлости, надо полагать, тоже есть своя вера и своя любовь. Отец любит землю, а я люблю свет небесный. А свет хочет мира между нами и помогает то мне, то отцу, ища единения с землей.

Шепот на печи сильно растревожил меня, и я не мог уснуть. Мозг, затуманенный бессонницей, лениво перемалывал скучные злобные мысли.

Да заройся отец в землю, я все равно не мог бы расстаться со своими надеждами. Говорили, что в следующую субботу к нам собирается со спектаклем театр из Бельц, и, живой или мертвый, я должен пробиться к кому-нибудь из актеров. Может, мне повезет, и я увижу самого Михаила Волонтира и расскажу ему обо всем, и

он защитит меня. Волонтира отец послушается: он любит его, каждый раз, когда тот появляется на экране телевизора, отец смеется и плачет вместе с ним. Крестьянский парень, говорит отец, от плуга, понимаешь ли, а ведь дал бог талант царствовать в человеческих душах! А не сумеет Волонтир убедить отца, все равно должны быть у него знакомые в Кишиневе. Напишет кому-нибудь записочку, и все отцовские козни разрушатся. Лишь бы только приехал Михаил Ермолаевич, лишь бы приехал...

И, умученный собственной низостью, я наконец заснул.

На другой день у ворот задребезжал колокольчик. Я бросился открывать.

— Здесь живет Якоб Чубарэ? — вежливо спросил незнакомец, окинув меня с головы до ног испытующим взглядом.

— Здесь, здесь! — крикнул с крыльца отец, но, приметив меня рядом с гостем, как-то потускнел и быстро надвинул шляпу на глаза.

Кругленький незнакомец, видя неожиданную холодность отца, растерялся и как будто не знал, с чего начать разговор. Он стушевался, его черные глаза перебегали с моего лица на отцовскую шляпу и обратно. Лоб его покрылся испариной, будто он пришел воровать и ненароком попал в капкан.

— День добрый! — воскликнул наконец отец и, протянув руку, вытянул гостя из омута на берег.

— Да, да... добрый день и простите за беспокойство,— с облегчением, встрепенувшись, пробормотал незнакомец, потом откашлялся и, протягивая отцу красную книжечку, сказал глубоким звучным голосом: — Разрешите представиться. Оборóк Василий Андреевич, драматический актер. Дошло до нашего театра, что есть у вас здесь способный мальчик, и главный режиссер вызвал меня вчера после обеда и велел спозаранку ехать сюда, чтобы устроить вашему сыну испытание тут же, на месте. Разумеется, с его и вашего согласия.

Все это толстячок выпалил единым духом, как молитву, но, честно говоря, я не слышал, что он тараторил дальше. Во мне загорелся лес — лес мыслей и мечтаний. Они кричали как птицы. На крыльях, обожженных языками пламени, взмывали они из черных клубов дыма к чистому голубому небу и — кричали. Страшно кричали, потому что отец опередил меня. Он нашел человека, ко-

торый выставит меня на посмешище перед всей слободой, перед всем селом, и тут уж никто на свете мне не поможет. Даже Михаил Ермолаевич Волонтир. Стыд пригвоздит меня к дому, стыд не позволит приблизиться к нему... стыд. Худо, когда нет в человеке стыда, но еще хуже, когда он обкладывает тебя, как волка, и замыкает душу.

Отец подождал, пока Оборок допоет свой монолог до конца, а потом протянул мне удостоверение, чтобы я мог убедиться, что этот человек и впрямь артист, а не какое-нибудь ботало коровье. Затем, по-прежнему не поднимая глаз, он проворчал:

— И хватило у тебя ума писать туда, а? Так вот почему ты передо мной мелким бесом рассыпаешься! Ну постой же, я с тобой поговорю...

— Поговорить и сейчас можно,— сказал я, глядя на него в упор,— только я никуда не писал. Я не как другие: не жалуюсь, не хитрю, не зову на помощь. И денег у меня нет, чтобы платить за это... Ладно! Рано или поздно мы с тобой разочтемся.

Оборок побледнел и, отвернувшись от нас, стал с интересом разглядывать дорогу, по которой пришел. Отец тоже замолк. А простодушная моя мама, уже давно слушавшая наш разговор, вскинулась как разбуженная:

— Кому же было писать, как не тебе!

— Понятия не имею... Может, Тамара расплатилась с вами за старое. Может, кто-то из однородцев. А может... сам отец как-то по ошибке написал. Разве угадаешь?!

— Ты еще издеваешься, щенок! — вскипел отец, выкатывая глаза и словно нацеливаясь сглотнуть меня.

— Что вы, что вы, товарищ Чубарэ! Как вам не стыдно! — вмешался Оборок. Ему, видно, пришлась по душе моя дерзость, и он как будто хотел защитить меня. Но, по правде, он просто воду мутил. Я по хитрым глазам его видел, что он подпевает отцу, да ведь за сто даровых рублей иной и черту вторить возьмется.— Вы уж извините, что я, человек посторонний, лезу не в свое дело,— продолжал он задушевным, хорошо поставленным голосом,— но черт бы побрал нас, молдаван, с нашим вечным здравым смыслом. Мы закоснели, мы только и держимся за плуг да за сапу. А между тем, почтенный, не забывайте: живем в двадцатом веке, и грешно зарывать таланты в землю. Цвет земли нашей не должен пропадать втуне!

Вроде никого, кроме своих, не было на дворе и соседние усадьбы казались пустыми, а вот поди ж ты, весть о

том, что приехал знаменитый артист Оборок подрубить отцовские ворота и забрать меня с собой в Кишинев, пробежала из дома в дом, как огонек по соломе, встревожила поля, всколыхнула дороги и тропинки, растворила калитки. Не прошло и получаса, как наша родня и друзья заполнили двор. У каждого нашлось неотложное дело к отцу, каждому не терпелось пожать руку самому Обороку, а кстати похвалить и меня, потому как все мы — одна кровь и, не будь их, вряд ли дожил бы я до такой чести.

Оборок, ободренный таким благорасположением гостей, без оглядки вошел в свою роль и громогласно объявил, что будет экзаменовать меня на глазах у всех... Да и как знать, может, парнишка и впрямь родился со звездой во лбу. Не приметить ее — чести мало, а если нечаянно погасишь ее поспешным словом, все равно ее угнетенный свет до конца жизни будет отягощать твою душу. А коли тебя еще проклянет за это целый род, так, пожалуй, и земля после смерти не примет.

Думаю, мой отец и не подозревал об этих мыслях Оборока. Ведь они сговорились: что бы я ни пел, что бы ни говорил — виду не подавать, ничего не слышать, ни на что не обращать внимания. И теперь отец втайне радовался своей поездке в столицу. Дело сделано. Он заткнет рот не только мне, но и соседям и родичам. Он воздаст им по заслугам за давешние насмешки. Целый год с лишком не было покоя в доме. А прислушались бы к нему тогда, все кончилось бы пустяком и у мамы была бы стиральная машина.

Он вынес из комнат стулья и усадил стариков, братьев, сестру, бабушку. Любуйтесь на здоровье! Таращьтесь на ваше сокровище, пяльте глаза на этого изверга рода человеческого, заедающего отцовскую жизнь! Глядите, глядите, пока не поздно, потому что потом вам самим опостылеет на него смотреть!

С сердитым, обиженным видом отошел он в сторонку от почтенного собрания и уселся на камне под навесом, рядом с плугом и бороной, сбереженными еще с той поры, когда числилось за ним три гектара земли. Случалась у колхоза нужда — отдавал их в бригаду. Теперь, когда кругом одни трактора, отец держит плуг с бороной дома и бдительно следит, чтобы они не заржавели. Иные, поглощенные новизной жизни, слишком легко расстаются с прошлым, а новизна порой сама поворачивает людей к

старому. Спохватятся — а за плечами пустыня: все развеяно по ветру, сожжено и поругано. Отец не из таких. Он не в силах забыть свое детство и молодость, пусть даже они были горьки и суровы. С ними он стал человеком, с ними пел и собирал песни, слушал и складывал сказки, шутил, мечтал и много пролил пота и крови, пока дожил до нынешнего дня.

— Ну-с, маэстро, Константин Яковлевич, пожалуйте на сцену!

Оборок повелительно указывал на крыльцо.

— Начинай, люди ждут. Сначала стихотворение...

Я поднялся на ступеньки, но у меня было такое чувство, что это не я, а кто-то чужой. Не овладев еще собой, не дав ни одному лучу поэзии пробиться сквозь тучи горячечной тревоги, я начал призывать с безжалостно палящего желтого неба, и не столько призывать, сколько выкрикивать, суетливо и беспомощно, как на пожаре, нетленное имя вечерней звезды — Лучафэра.

Жила в былые времена,
Как молвит сказ правдиво,
И благородна, и знатна,
Красавица на диво... [1]

Мой голос звучал грубо, однообразно, то пискливо, то срываясь на хрип, словно я читал доклад на общем собрании. Точно так же в свое время позорился на трибуне наш Ион Хапужка, только перед ним стоял еще стакан с водой. Он кричал что-то о свиньях и коровах, о посевах и планах, натужно кашляя и останавливаясь перевести дух. Смачивал горло и кричал снова. А если пропускал невзначай какую-нибудь страницу, то переворачивал несколько листов назад и читал их сызнова. Передо мной не было стакана с водой. Зато отец наполнил кружку вином и сунул ее в руку Обороку. Ничто не могло остановить меня хоть на мгновение и заставить опомниться. Я словно катился под гору на несмазанной телеге, дребезжавшей всеми своими железными и деревянными сочленениями. Я перескакивал через строки, через целые строфы, глотал запятые и точки. Одна мысль поглощала меня и гнала все дальше и дальше в бездну: пусть скорее начнут смеяться!

— Провалился! Провалился! — слышались мне голоса со всех сторон. Хохот, свист, гулкое эхо, раздававшее-

[1] Костэкел читает первые строки поэмы Михаила Эминеску «Лучафэр».

ся то далеко-далеко, то совсем рядом.— Провалился, и родные стены не помогли ему!

— Довольно! — с брезгливой гримасой крикнул Оборок. Он, казалось, задумался.

Родичи и соседи украдкой, жалостливо поглядывали на меня. Им было стыдно встречаться со мной глазами. Такого позора они не ждали. Они знали меня бойким, задорным парнишкой, а я оказался рыхлым, как мамалыга. Вот ведь как нескладно вышло: аукнулось там, а откликнулось здесь...

Я думал, что они все разом поднимутся и уйдут, но, видно, их что-то удерживало. Только Хапужка, сидевший где-то в последнем ряду, вдруг вспомнил, что ему надо кончать ремонт трактора. Он неуклюже поднялся и, не простившись ни со мной, ни с отцом, ни с родными, осторожно пошел к воротам.

У калитки он вдруг прыснул в кулак.

— Не вижу, чем твой сын лучше прочих,— негромко сказал он отцу и удалился, насвистывая от радости: отныне, как он хорошо понимал, над ним не будут смеяться — есть более свежий повод для шуток. Он как-то сразу выпрямился и обнаглел: от всего сердца радовался моей беде. Что ж, Хапужка и есть Хапужка — сухая ветвь на дереве нашего рода. Добрые слова людей не заставили его зазеленеть. Поздно сбросили его с трона, слишком поздно. Пустынное солнце начальствования иссушило его до самого нутра. И, хотя он выходил в поле вместе со всеми, хотя работал от зари до зари, хотя выгонял порой по две нормы в день, словно теперь проливал пот и за те годы, когда был председателем,— все равно мысли о старом не покидали его. И не было вечера, чтобы не заглянул он в буфет, пытаясь стаканом вина проложить себе путь в души людей. Званый и незваный, он втирался в любую компанию. Сам напрашивался в крестные или дру́жки. Искал себе родственников понадежнее, а от нас, однородцев, отстал. Уже сейчас, летом, считал голоса, которые помогут ему осенью снова залезть в председательское кресло. Хоть на час, да царь! Рассчитаться с нами, с родом Чубарэ, а потом, всем назло, самому написать заявление об уходе...

— Звезда моя не закатилась... Она еще в небе! За тучку схоронилась и стережет... Всех стережет! — грозил он, бывало, во хмелю, оглашая бранью и свистом дорогу из буфета домой.

Но, как он ни бился, люди приобвыкли к его гонору. Он угощал — ему возвращали сполна, до капли. И каждый стакан был полон вином и насмешками. Размолотое зерно не прорастет. Но порой, слыша на улице его ругань и крики, иные просыпались, вздрогнув, в своих постелях и крепко задумывались. Во многих сердцах царит поныне вчерашний и позавчерашний день, когда властительного хапужкиного карандаша боялись даже колхозные куры, со страху терявшие яйца в бурьяне.

Он исчез где-то по дороге в тракторную бригаду, но его насмешливый свист все еще отдавался в ушах людей. Хочешь не хочешь, а была в нем и затаенная боль, и какая-то свежая мысль. Сегодняшний день тоже нашел в нем свой отзвук. Он напоминал о весне, о зеленой траве, которая дружно тянется из земли, чтобы тысячами шелковых нитей взбежать по солнечным лучам и связать свет неба со светом земли, как был связан и я со всем нашим родом плугарей.

Колокольчик на калитке без конца звякал: люди расходились. Во дворах, в поле их ждали дела. Да и зачем было им оставаться здесь, на что глядеть? Стало ясно, сегодня я не уеду из дому. Не так это просто — оторваться от своего корня. А наглядеться на меня, наслушаться между делом они еще успеют: не зря ведь выстроил колхоз новый клуб.

Поредели и родственники. Остались только самые близкие, те, кому неловко было уходить, не ободрив меня добрым словом или шуткой. У отца сердце прыгало от радости, но он и виду не подавал. По-прежнему сидел на камне, поглаживая рукоятку плуга. Лишь незаметно, из-под шляпы, встречался со мной глазами, как будто спрашивал: «Что теперь запоешь, петушок?» Тяжелые ветви ореха низко склонялись над его лицом и, казалось, негромко хлопали в ладоши. Временами становилось совсем тихо, тихо и тоскливо, и только чуть слышно вздыхала рядом с Обороком бедная мама. Трудно было понять, от чего она вздыхает: от огорчения или от радости. Вместе с ней вздыхало все село, то высоко, до самого неба вздымая соседний холм, то опуская его низко, совсем низко, ниже крыш, ниже маминых плеч. Словно боясь, что холм обрушится на него, Оборок укрыл лицо ладонями и забыл свою роль. Сам того не замечая, он сидел в позе мыслителя и просто ждал: или мама успокоится, или отец заговорит. Если хочешь добиться чего-то

от людей, не пытайся играть первую скрипку. Выжди время, чтобы мелодия ушла вперед, тем более что ты выучил ее не до конца, а деньги уже уплачены.

А я? Я сгорал от стыда и гнева. Сердце билось в груди, как пойманная птица. Мысли мешались, меня бросало то в жар, то в холод. Руки и ноги свело судорогой, а хотелось ветром сорваться с крыльца, перемахнуть через забор и улететь. Улететь... убежать куда глаза глядят, подальше от села, от отцовских полей, от людских глаз, далеко-далеко, за тридевять земель, куда-нибудь, где я мог бы спрятаться, забиться в нору и забыть обо всем, что произошло сегодня у нас во дворе... Убежать и спрятаться мне хотелось от самого себя.

И я поднял глаза, готовый броситься прочь, но встретился с взглядом отца, счастливым, влажно мерцающим. Этот взгляд приковал меня к месту.

А отец, не сводя с меня взора, поднялся и подошел к Обороку. Он придвинул к нему стакан с вином и негромко попросил:

— Вы не спешите, пожалуйста. Попейте еще наших слез, отведайте еще нашего горя... Мой сын умеет долго говорить. Целые книжки наизусть знает...

Словно легкий ветерок вырвался из его уст и охладил мою горящую душу. Родительское сердце, подумал я, как бы оно ни было ожесточено, видя дитя в беде, сразу отходит и летит на помощь. Родовую гордость еще не сожрали волки. Течет еще в жилах красная отцовская кровь.

— Дослушайте его до конца. Может, хоть что-нибудь он знает толком... хоть что-нибудь. Порадуйте нас великодушно, вам разуменье дано, а мы народ темный...— продолжал отец умоляющим голосом, и я, озаренный ледяным блеском догадки, вдруг понял, что отец вовсе не сжалился надо мной. Он и не отступался ни на миг от своей мысли. Просто увидел, что я готовлюсь задать лататы, вот и ухватил меня за уши, длинные заячьи уши. Остановил, чтобы я увидел себя во всей глубине падения. Битым. Битым насмерть, раз и навсегда. Вколоченным мордой глубоко в душную борозду. Таков мой отец. Хозяин земли. Хозяин. Уж если он берется за дело, так делает его добротно, до конца, не откладывая на будущее.

Но Оборок, видать, втянулся в другую игру, не в ту, к которой понуждал его мой отец, и теперь не знал, как им спеться. После нескольких стаканов вина и нескольких стихотворений, прочитанных мною вразнобой, без

лада и толка, его потянуло к поучениям. Он удобно откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и стал снисходительно втолковывать мне, что для сцены у меня нет никаких данных и что, стало быть, в агрономии я непременно стану кладезем премудрости. Стараясь угодить отцу, он произносил правильные, заученные слова с таким видом, будто мы с ним на одном заборе рубашки сушили.

— Нет, ты вникни, слышь, Костэкел! Агроному лучше, чем простому актеру. Что только не плывет через его руки? Все! И помидоры, и арбузы, и пчелиный мед. И зарплата у него такая, что впору министру нос утереть. Время он проводит на свежем воздухе и помаленьку шкандыбает себе в будущее. А если скачет, так на коне, или в бричке, или в машине... Теперь давай актера взвесим на этих весах. Скажем, такого, как я... Ну? Ну? Сам видишь, не тянет моя гирька. Аплодисменты? А что с ними делать? В карман не положишь. Рецензии? На грудь их прицепить, что ли? Да-а... ни тебе свежего воздуха, ни зеленых полян, ни даже «Запорожца» подержанного. Круглый месяц маешься на спектаклях, на репетициях, на концертах, а зарабатываешь копейки — только на рубашку, покрыть грешное тело... Агроном в колхозе — видная фигура, а артистов в театрах — что сельдей в бочке. Да еще эти бесконечные интриги, грызня из-за ролей... В коридорах, на собраниях жалят друг друга до крови, до инфаркта, и так тебя подмывает схватить шапку в охапку и — назад, домой, на это крыльцо, откуда сорвал и унес тебя в город роковой ветер искусства. Нет, бежать, бежать! Снова стать маленьким ребенком при отце-матери, слушаться любого их слова, ни в чем не выходить из повиновения...— Здесь Оборок сделал паузу, вздохнул и, не поднимая глаз, продолжал уже мягче, словно сдерживая слезы: — Да вот хоть меня возьми! Сколько раз я собирал чемоданы и готов был бросить все! Но куда бежать? Где искать убежища, да и кто приютит? Крыльца у меня давно нет, как, впрочем, и дома. Мать и отец приказали долго жить. Умерли, бессовестные... ни брата, ни сестрички мне не оставили. Да и разве можно убежать от себя?! Теперь я сам отец, сам пустил корни в городской асфальт, сам прикипел к этой жизни. И рад бы в рай, да грехи не пускают. Вот и пью свою чашу до дна. Выпьем, поворотим да в донышко поколотим, так, что ли?..

Его голос угас в наступивших сумерках, как огонек свечи, и жалость объяла слушателей, в том числе и меня. В самом деле, какая обидная доля, какая ничтожная роль — пахарь, живущий на пятом этаже, император без империи! И его боль затмила мое страдание. Затмила на короткое время, пока я опять не встретил светящихся радостью глаз отца и гнев сызнова не обуял меня. Хотелось кричать, взбунтоваться, выставить напоказ всем его низкую сделку с Обороком. Но это было выше моих сил. Да и к чему чинить ограду, если волк уже унес овцу? После драки кулаками не машут. Надо было вовремя вбить гвоздь истины в их души — до того, как люди разошлись со двора,— и все увидели бы, что мой отец и этот Оборок не кто иные, как вурдалаки... А теперь что же? Съели меня и мною же закусили. Раньше надо было, раньше...

Обрывки стихов, мелодий, смеха и плача звучали в моей голове, как надтреснутые колокольчики, склоняя меня к смирению, к покою, к земле...

— Ну? Что ж ты, сынок, расселся, а? — раздался голос мамы.— Беги в погреб, неси еще вина да скажи человеку спасибо: наставил тебя на путь истинный.

...Вот и все, брат Костэкел, конец. Доныне мама держала меня у самого сердца, никогда не гоняла по пустякам, а теперь, вижу, и она взяла меня в оборот. Что поделаешь! Упавшее дерево идет на дрова.

Отец, услыхав, как мама уязвила меня, усмехнулся краешком губ, но не захотел делиться с ней своим торжеством. Теперь, после целого года долготерпения, он снова стал хозяином. Куда спешить? Все идет, как он хотел. Пришел час расплаты со мной, пришло время расплаты с родичами. Дурную траву с поля вон!

— Что это с тобой, Одокия? — укоризненно сказал он, и мама поняла, что он снова выбил почву у нее из-под ног.— Нашла время гонять парня с поручениями. Оставь его, пусть отдышится, придет в себя. Может, он нам еще что-нибудь почитает...— Тут он обернулся ко мне.— Ты подумай, пока я за вином схожу. Хорошенько подумай и попробуй еще разок. Смотри не говори потом, будто я тебе ставил палки в колеса и не дал развернуться во всей красе. Не плачь, что я бил в барабан, и потому ты не поймал зайца. Глотай, сколько можешь заглотнуть, раз уж дошла о тебе слава до самого Кишинева и счастье на дом явилось... бесплатно...— Разделавшись со мной, он напустился на родичей: — А вы, дорогие мои, чего

ждете? Спешите на помощь! Бегите! Толкайте его в гору, а то ненароком скатится в канаву и не выйдет из него ничего путного... Ну! Говорите, делайте что-нибудь! Пойте! Пойте вместо него! Пойте, как пели тогда в моем доме!.. Начинай, Захария! Подставь плечо там, где тяжко! А вы, мама, прикройте внучка подолом, чтобы люди не видели нашего позора!.. Ты, Костаке, что́ воды в рот набрал? Беги, дерни за колокольчик на калитке, пожелай племянничку счастливого пути на сцену. Слышишь? Колокольчик плачет. Он плачет с тех пор, как ты его здесь повесил. И душа моя плачет с ним... Кровью исходит, потому что нет у меня родных, не было и вряд ли будут! Вряд ли!..

Отец тяжело вздохнул, а потом заговорил снова, страдальчески всхлипывая:

— Вроде вышли мы все из одной печи, ели из одной миски, пели одни песни, в одном законе росли. А теперь? Теперь мы чужие. Чужие у нас мысли, чужие беды, чужая вера. Каждый свою птицу за хвост норовит ухватить. Да, не видим и не слышим друг друга. Не слышим старшего брата, землю, нашу кормилицу, не слышим. Задрали носы в небо и, сами того не желая, сами того не понимая, убиваем смехом, как бичо́м, все живое, что ни попадется нам на пути. И мысль убиваем, великую чистую мысль, завещанную предками, мысль о том, что это от нас, от плугарей, от хлеба нашего насущного берет начало любой свет на этом свете... Бесу мы предались, братья! Родную кровь в грязь затопчем, лишь бы не открывала нам глаза, не обращала лицом к борозде, не показывала нам наши корни, не сводила душу с душой!..

Что бы ни делал отец, он и работе, и речам отдается весь, без остатка. Это в нем говорит род Чубарэ, род плугарей. И даже словом он пашет глубоко. Высказывает то, что у него болит. И если ошибается, то ошибается от души. Окажись над ним какой-нибудь сказочный император, тут же пришлось бы выбирать одно из двух: либо рубить отцу голову, либо сделать его министром, чтобы замолчал.

Но и смех — это часто смех сквозь слезы. Отныне отец сам — и бог, и царь, и император, и я могу хоть головой об стенку биться, хоть поклоны класть ему с утра до ночи, все равно луну зубами не ухватишь, все равно отец не смилостивится надо мной, не откроет ворота, не сдвинет холм...

5*

Много дней после истории с Обороком не мог я найти покоя. Порой мне становилось до слез жаль себя, потому что отец привязал меня к себе невидимой нитью, а дед не дожил до того, чтобы эту нить оборвать.

Иногда я сам себе удивлялся. Как вышло, что я не смог прочесть толком несколько стихотворений, спеть несколько песен? Как вышло, что я, столько раз выступавший на людях, смело глядевший им в глаза, не сумел взять себя в руки и разрубить завязанный отцом узелок? Если бы я тогда не смешался, если бы посмел высказать свою правду, все село поняло бы, наверно, что за человек мой отец, да и сам Оборок запел бы по-другому. Ведь тогда, вначале, когда родичи облепили его со всех сторон, как мухи, он едва не принял мою сторону, едва не стал судить по справедливости.

Потом в мою душу стали закрадываться страхи. Кто знает, может, я и в самом деле не тяну на этих весах? Таких молодцов, как я, с фонарем искать не приходится: ими полнится белый свет. А что, если отцу взбредет в голову послать меня на взаправдашний экзамен в Кишинев, и там на меня опять нападет дурман, и будет мне так же стыдно, как и здесь, дома?

И все же я тешил себя надеждой. Попробовать еще раз... еще разочек. А коли снова мне счастье не улыбнется, что ж... котомку через плечо и пойду в агрономы.

Как заставить отца отпустить меня? Обманывать его нельзя: он отец мне. Только правдой и честностью можно осветить тьму, лежащую между нами, обратить его в мою веру. Но какая правда и честность одолеет его правоту?

Каждое утро он видел, как я задумчиво смотрю на дорогу, но не произносил ни слова. Кашлял в кулак и шел на работу. И я отмалчивался. Я так изменился, что потерял охоту к еде. Что бы ни готовила мама, как ни старалась угодить, все мне претило. Только орехи грыз да еще купаться ходил. Целыми днями загорал на пруду и по вечерам домой не спешил, а отправлялся прямиком в клуб и смотрел фильмы из окошка кинобудки, а не то, когда затевали ребята танцы, присаживался поближе к музыкантам и глядел, как веселятся мои сверстники. Случалось, какая-нибудь добросердечная девушка приглашала меня на белый вальс. Потом нужно было провожать ее домой, чтобы собаки не напали или какой-нибудь призрак не напугал.

Бывало, стоя с девушкой у ворот, я срывал с ее све-

жих губ поцелуй, и на сердце становилось легче. Но, сказать по правде, обычно я получал в благодарность лишь вежливое спасибо и небо со звездами в придачу. Звезды можно было считать на обратном пути.

Девушки в нашем селе пугливы и осмотрительны. Честью своей они дорожат и вовсе не желают невзначай потерять ее. И если парни распускают руки, они немедля уклоняются от объятий и заводят разговор о родителях, о доме и об осенних свадьбах. Они держатся той же веры, какой держались их матери, и матери их матерей, и сама праматерь наша — земля. Старая вера, может, даже устарелая — вера крепкой хозяйки... Вот почему наши девушки сразу чувствовали, что мое сердце не в их ворота стучит.

По дороге домой я задерживался у деда Фэнéла Кябу́ру, магазинного сторожа, и после полуночи мы еще долго коптили луну дымом папирос и окутывали туманом речей. Говорил большей частью он, а я помалкивал. Дед нанизывал одну историю за другой, черпая материал для них из собственной жизни. И все с какими-то закавыками, с изюминками. Когда я слушал его, мне казалось, что он прожил всю свою долгую жизнь, как один солнечный день без заката — одни восходы и жаркие полдни. Чего он только не рассказывал о своей женитьбе, о войне и коллективизации, о засухе и нынешнем изобилии. И как бы ни были чисты одежды времени и его героев, старик все же находил на них пушинки или приставшие ниточки и с шуткой сдувал. Но — находил, даже если их и не было...

По временам я ловил его на том, что он путается, повторяет то, что рассказывал прежде, но поправлять его мне не хотелось: так было даже веселее.

Но однажды я ему сказал, и он не обиделся.

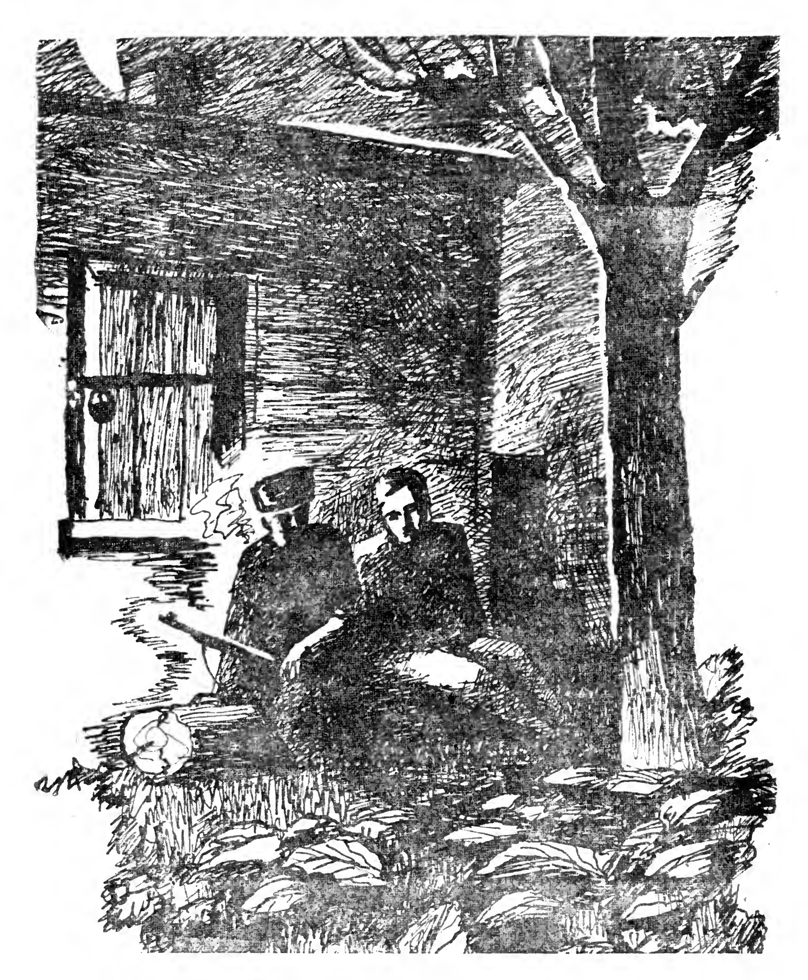
— Путаюсь, говоришь? Ну и что? В путанице, знаешь ли, есть свой интерес. Чем больше запутана человеческая жизнь, тем интереснее.

— Может, ты и прав, дедушка, только скажу тебе, что в моей ссоре с отцом нет никакого интереса,— повернул я на свое.

Старик задумчиво выпустил дым и со вниманием скосился на меня. Потом сказал:

— Есть, есть интерес. Большой интерес. Это ведь борьба. Ты и его кровь, и не его.

Последних слов я не понял, но задал новый вопрос:



— Кто же победит, по-твоему?

— Терпение... Терпение, сынок. Надвинь шапку, затяни пояс и терпи.— Он снова выпустил клуб дыма и загляделся на вершину старой черешни.— Возьми хоть это дерево. Что оно вытерпело, пока дождалось первых плодов! И осенние дожди, и холодные ветра, и зимние метели, а еще хуже — бесснежные зимы, и зной, и засуху... И того доброго человека, который выкопал где-то саженец и посадил здесь. И того злобного дурака, который очищал об него подошвы своих сапог. И добро и зло вынесло оно, лишь бы дожить до плодов...

Красиво и умно говорил старик. Но дерево — это только дерево, а человек — это человек. И о каком терпении может идти речь, когда до вступительных экзаменов осталось два дня: завтра и послезавтра. Этак если всю жизнь терпеть, так и свихнуться можно, ей-богу.

В волнении простившись с дедом Фэнелом, я отправился домой. Я был готов высказать отцу начистоту все, что думаю. И если ссориться — то сейчас, тут же, в полночь. И пусть он выходит из себя, топчет святыни, преступает закон...

Отец и мама спали вполглаза, молча следя за тем, как я вхожу, зажигаю лампу и валюсь одетый на постель.

— Эй, Костэкел! — подал голос отец.

Я закрыл глаза, притворяясь, что сплю.

— Эй, Костэкел, слышишь меня? — спросил отец таким добрым голосом, словно хотел сообщить долгожданную весть.

— Что такое? — неохотно отозвался я.

— Хорошо, что ты не разделся. Принеси-ка ведро воды, а то мама поставила тесто и к утру должен быть хлеб.

— Не пойду,— пробормотал я сердито и дерзко отвернулся: ходи, мол, с козыря.

— Это почему же?

— Потому что не пойду. Я сплю, ясно? Отчего до сих пор сами не принесли? Колодец во дворе, до Валя Адынкэ бежать не надо. Или вам наша вода нехороша?

— Хороша. Только надо, чтобы ты ее освятил.

— Это не по моей части. Я вам не батюшка. Ты сам у нас и поп и хозяин. А мне как-то не к лицу подсиживать тебя.

— Да?

— Да. Спокойной ночи, отец.

— Пропади пропадом та долина, где я тебя нашел! — взорвался он, скидывая одеяло.— Я тебе покажу спокойную ночь! Я тебе покажу попа! Зарежу!.. Топор!

Я вылетел за дверь, как подхваченный ветром. Молния и та не догнала бы меня.

Отец не стал одеваться. Как был в портках и нательной рубахе, опрометью кинулся с печи. Под навесом он едва не сцапал меня за ворот, но зацепился за рога плуга, оборвал ноготь на ноге и, зашипев от боли, остановился.

Стал и я, ожидая, что будет дальше. Может, теперь он успокоится и заговорит со мной по-человечески.

Однако боль только раззадорила его.

— Ну, Костэкел, держись,— пригрозил он.— Хоть до утра бегай, я тебя достану. Будет тебе крещение! — И неожиданно бросился вперед.

— Топор! — сам не знаю почему, вскричал я и припустил со всех ног по улице — к клубу, к сельсовету. Хоть бы услышал нас кто, хоть бы остановил отца. Как назло, вокруг ни души. Ни одно окно не светилось, ни одна собака не лаяла. Только луна и тучи на небе, только рытвины и заборы, только темные берега страха и жужжание ночных жуков...

Отец, видя, что не может меня настигнуть, снова остановился.

— Все равно поймаю,— пообещал он.— Вот отдышусь маленько, и капут тебе.

Я в нерешительности оглядывался вокруг, и он не стал мешкать: не иначе как зарубить меня надумал. Я летел вперед изо всех сил. Счастье еще, что луна по временам выглядывала из-за туч и освещала мне дорогу.

— Топор! — снова и снова вопил я и бежал так, что пятки сверкали.

Еще у ворот я хорошо разглядел, что руки отца пусты, однако топор не выходил у меня из головы. И вдруг пришло ко мне решение, и радостью наполнилось мое сердце. Я смекнул, как разрубить отцовский узел, как оседлать отцовских коней. Я сыграю роль. И он поверит, и испугается, потому что собственной рукой привел меня к этой решительной минуте...

Итак, решено. Я — безумен!

А отец даже не подозревал, к какой пропасти мы несемся. В полосах света и тьмы, прихрамывая и переводя дух, он несколько раз обежал за мной вокруг клуба, потом вокруг сельсовета, потом с бранью погнал меня к пруду. Мы с грохотом пролетели по хлипким мосткам и теперь неслись по дороге, что поднималась на холм, к старой церкви. Он надеялся схватить меня у святых стен. По временам он останавливался, чтобы справиться с одышкой, и тогда я кричал ему в лицо все то же страшное слово на тех же бредовых нотах.

Я так быстро сжился со своей ролью, что возле церкви мне и впрямь вдруг померещилось, что в руке отца блеснуло под лучом луны лезвие топора, и ледяная струя

окатила мое сердце. Потом снова стало жарко, но ослабли ноги.

— То-по-о-ор! — с трудом выдавил я, преодолевая беспамятство, и, уж не помню как, перевалился через высокую ограду, окружавшую церковь. Храм, окруженный грозными тенями, высился в пустоте. Из-под штукатурки ползли багровые кирпичные пятна.

— Костэкел, сыночек,— раздался из-за стены дрожащий голос отца.— Не бойся, нет у меня ничего, ничего нет...

Медленно, чтобы не напугать меня, он отыскал пролом в ограде и, забравшись внутрь, протянул ко мне руки.

— Смотри, ничего нет... Никакого топора... Заврался я, грешный человек, перегнул палку. Но это только слова, поверь. У меня и в мыслях злодейства не было. Ты ведь, хоть и проказник, все равно плоть моя, души моей кусок, боль и радость моя...

Сломленный и побежденный, стоял он передо мной. Его руки дрожали, в голосе звенели слезы. Он, казалось, искал слов, которые помогли бы ему снять с моего разума бремя, наложенное его собственной рукой. В его глазах, отражавших свет бегущей луны, я читал признание в том, что он отдал бы всю свою жизнь, лишь бы очистить совесть от греха передо мной. Он ведь и раньше желал мне только добра, и теперь думал лишь о том, чтобы любой ценой остановить беду, лишившую меня рассудка. С тяжелым вздохом опустился он на колени. Возвел взор к пустой церковной маковке и, широко перекрестившись, молвил:

— Видит бог, я от всего сердца...

Искоса поглядывая на него, я не мог удержаться от жалости. Мой отец стоял предо мной на коленях, а я глумился над ним. Но отступать было поздно. Заварил кашу, так и молока не жалей. Если я признáюсь, что водил его за нос, он умрет от обиды. И к тому же, как ни хотелось мне верить его клятве, ночь все еще оставалась ночью — густым серебряным ситом, и злые мысли сыпались на нас вперемешку с добрыми. Даже луна не могла успокоиться: то выглядывала из-за туч, то снова пряталась.

Да бес его знает! Может, это вовсе не я отца, а он меня водит за нос. Может, он еще дома задумал все это, а теперь готовится прихлопнуть меня. Ему не впервой!

Страх попасться в ловушку заставил меня снова закричать и броситься наутек. Береженого бог бережет.

Недалеко отбежав, я резко свернул в тень высокого ореха и затаился в ожидании. Придет или нет? И если придет, то с каким примирительным словом? Погода была теплая, но я дрожал всем телом. Сердце мое то уносилось в пятки, то рвалось из груди, чтобы припасть к отцовской руке.

Он поднялся с земли, будто хотел пуститься за мной вдогонку, но остался стоять, то погружаясь во тьму, то озаряясь обильным лунным светом, согбенный, покорившийся, измученный усталостью и скорбью. Он оглянулся назад, на долину, где ждала нас у зажженной лампы мама. Помешкав некоторое время и бросив взгляд на ограду, словно ища хоть какой-то опоры, мой отец, тяжело ступая на ушибленную ногу, повернул обратно.

Боль гонит человека из дому, боль возвращает его домой. Даже если она стала так велика, что он уже не вмещается с ней ни в каса маре, ни во двор.

Я пошел следом, не сводя с него глаз. Больше всего мне в эти минуты хотелось превратиться в дорогу, чтобы он не споткнулся и не упал. Небо на востоке просветлело, и луна белым тяжелым камнем легла на плечи отца, придавливая его к земле.

Так шаг за шагом, помогая ему издали сердцем и взглядом, в тени деревьев, крадучись под ветвями сирени, под покосившимися черными заборами, я проводил отца домой. Мама с порога о чем-то спросила его, но он, как будто не слыша, молча прошел в комнаты. Ахнув, мама бросилась за ним. И еще долго видел я ее тень в горящем огне. Она была как солнышко, осыпающее хлопья света — света и любви.

Я наблюдал за ней издали, забравшись в стог сена под навесом, оставшийся здесь с прошлого года рядом с плугом и бороной. Эти безмолвные хлопья света и доносившиеся из окна обрывки слов, произнесенных ее теплым голосом, согревали и успокаивали меня. И постепенно мною овладел сон и унес меня далеко-далеко, за тридевять земель, к первым стихам новогодней колядки...

Главная площадь какого-то города. Вроде и знакомая, а вроде чужая. С памятником в центре, с большими круглыми часами, вделанными в триумфальную арку, с небом, разделенным на две половины. Одна, восточная, освещена луной и звездами, другая, западная, укрыта тем-

ными тучами. Из туч валит снег, крупный, тихий. Ни дуновения ветра, ни гудения машин, ни человеческих голосов. Лишь изредка позвякивают, как колокольчики, колеса больничной каталки, на которой лежу я и которую катят четыре человека, одетых в белые мантии с высокими воротниками, скрывающими лица. Их шаги так гулко отдаются, что чудится рев бугая в ночь под Новый год. И я в двух лицах. Один «я», почти бездыханный, покоюсь на каталке. Другой «я» — иду в хвосте процессии. Возле триумфальной арки я, каталочный, тяжело отрываю голову от белоснежной подушки и ищу взглядом себя, идущего вслед. Я размыкаю спекшиеся губы и хочу сказать ему что-то очень важное, хочу поведать ему о какой-то му́ке, о боли, смешанной с радостью, дать совет... но мне не хватает духу, и слов не слышно. Кортеж движется дальше, и что-то становится почти понятным мне, но в этот миг рука одного из тех, кто катит каталку, звонко щелкает невидимым бичом, и я бессильно опускаю голову в подушку, а меня утешают то ли песней, то ли обрывком колядки:

Распахнуть окошко к звездам —
Это, брат, не так уж просто.
Да и есть ли окна эти
На просторном белом свете?

И еще не зазвучала колядка в полный голос, как вдруг все мы оказываемся на узкой мощеной улице, темной, ночной, заснеженной. Горит один-единственный огонек, где-то далеко-далеко, в топке огромной печи, которой заканчивается улица, а печь изразцовая, на ней нарисованы разные-разные цветы, каких и не встретишь в окрестностях нашего села. Огонь в печи пылает, как пламя заката.

А я уже лежу не на больничной каталке, а на подводе. Двое из тех четырех впряжены в ярмо — они по-прежнему в белых мантиях,— а двое других, в изголовье у меня, подталкивают подводу сзади. Колеса позвякивают, как рождественские колокольчики. Шаги звучат в унисон с уханьем «бугая» в ночь под Новый год.

Я, тот, что на подводе, снова поднимаю голову к тому, что идет поодаль, и снова хочу ему что-то сказать, очень важное, мучительное. Мои глаза наливаются светом, и кажется, вот-вот отыщется и сила и душа, чтобы высказать все, но и на этот раз не удается даже

начать. Снова рядом щелкает бич, и снова моя голова зарывается в подушку, и снова утешает меня не то песня, не то обрывок колядки:

Ходит сказочка окрест
Про семижды семь невест.
Чтоб открыть на небе ставни,
Нужно сердце с болью давней...

Так, под свист бича, рев «бугая» и звяканье колокольчиков процессия приближается к зеву печи. Сопровождающие, тяжело вздохнув, молча берут меня за руки и за ноги, чтобы бросить в огонь. И тут я, собрав последние силы, то ли пою, то ли выкрикиваю свою колядку:

Маэстро, ступайте,
Окна растворяйте!
Только жаль, что нет окрест
Женихов для всех невест.
Смотрят на звезды
Невесты-весны,
Приданое — поле,
Поле святое...

— Он жив еще,— говорит один из тех, кто был впряжен в ярмо.— Положите его в погреб, пока не превратится в хорошую древесину. Грешно поганить огонь. Вы только поглядите — какое пламя!

Остальные, подумав, соглашаются. И через миг я, идущий сзади, вижу, как эти четверо поднимают меня на плечи и несут к черному жерлу погреба. Входят и постепенно исчезают из виду, спускаясь по ступенькам.

Я подхожу к двери погреба и гляжу им вслед. Они точно в колодец сходят, в колодец, глубокий, как память. А на дне — немножко неба и мерцания.

Я делаю движение, чтобы перешагнуть порог, догнать, схватиться с этими четырьмя в белых мантиях, вырвать из их рук того себя, но тяжелая дверь внезапно захлопывается и преграждает мне путь. Она падает, как театральный занавес, и я уже не снаружи, а внутри, на освещенной сцене. В руках у меня рога плуга, и, налегая на них изо всех сил, я распахиваю землю, и эта земля — лицо моего отца...

...Я распахиваю ее и поныне. Сердцем, словом, душой. Каждое утро, каждый вечер. В жару и в морозы, в дождь и в снег люди приходят в театр. Свет рампы, свет глаз,

свет слов. Новая, пахнущая свежестью мысль пронизывает умы и годы. И капля пота орошает зерно мысли, чтобы отворить для человеческих душ окна в небо. Иногда вслед за этим звучат рукоплескания, иногда зал безмолвствует. Безмолвие порой горячее, потрясенное, как земля после июльского ливня, порой — холодное и долгое, как осенние томительные дожди.

Здесь, в моем доме на каком-то этаже, в квартире с бетонными стенами, постепенно, мало-помалу гаснут и свет, и рукоплескания, и безмолвие. Остается только дух ухоженной земли и взгляд отца, летящий ко мне сюда за тридевять земель, в тридевятое царство. Этот взгляд не задержат ни обитые ватой двери, ни окна, которые нельзя открыть, ни бетонные стены. Его глаза смотрят на меня, пристыженные, потерянные. Иной раз зовут меня за собой, а чаще посмеиваются и без слов рассказывают последние сельские новости. Потом спрашивают, как мои дела: хорошо ли мне, плохо ли? Кто помогает мне? Кто мешает? И я до рассвета беседую с ними, делюсь всеми радостями и горестями. О самом горьком молчу, чтобы не огорчать отца. Удачами хвалиться тоже не приходится, и я больше выдумываю их. Но глаза отца читают в моей душе, как в книге, и только темнеют от стыда, потому что не могут ничем помочь.

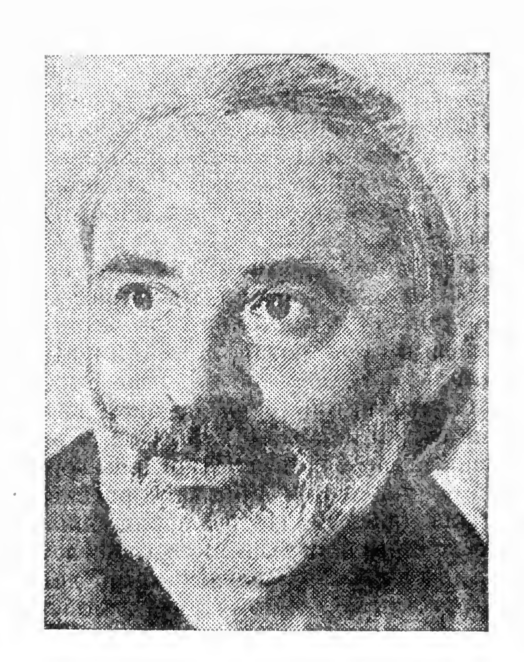
«А мама, вернувшись из города, говорила, будто видела твой портрет на каком-то здании».

Мама... Только она знает, сколько здоровья, сердца да и денег пришлось ей отдать, прежде чем я вышел в люди. Сколько раз она тайком совала мне в карман несколько рублей на карманные расходы, скольких людей просила — тоже тайком — присматривать за мной. Если бы знал отец, как много сил потратила она, чтобы мне здесь жилось легко и спокойно, он бы меня побил, наверное. Если бы знал он, что, блуждая среди слов и законов, я все чаще возвращаюсь к его словам о том, что человек должен прожить свою жизнь в одной вере, вести ее по одной борозде, иначе он навсегда потеряет землю. Если бы отец знал...

Он смотрит на меня и читает мои мысли, и качает головой, и на глазах у него — слезы радости:

— Ты все равно... все равно наш... крестьянин!

Перевод *А. БРОДСКОГО*



ВАСИЛАКЕ Василе, прозаик. Родился в 1926 году в селе Унцешты Молдавской ССР. В 1958 году окончил Кишиневский педагогический институт, а в 1964 году Высшие сценарные курсы в Москве. Работал несколько лет сельским учителем и затем журналистом; его первые художественные очерки и рассказы стали появляться в республиканской периодической печати начиная с 1954 года, а в 1961 году вышли первые сборники его рассказов в оригинале и в переводе на русский язык. Русский читатель знаком также с прозой В. Василаке по книге «Рассказы» (Кишинев, 1969), роману «Сказка про белого бычка» («Советский писатель», М., 1969) и повести «На исходе четвертого дня» (Сборник «Голубой лес». «Художественная литература», М., 1978). В предисловии к этому сборнику Валентин Катаев назвал повесть Василаке «вещью удивительною по силе», в которой «повествовательное и изобразительное начала волшебно сливаются в единое художественное целое». Роман «Сказка про белого бычка» написан в духе народной притчи, полон иносказаний, впечатляющих метафор, шуток-прибауток, неожиданных сюжетных сплетений. В произведениях В. Василаке находят свое отражение будни современного молдавского села, строительство в нем новой жизни со всеми трудностями и противоречиями. Василе Василаке много работает в области художественного перевода. В его переводе на молдавский язык вышли произведения Салтыкова-Щедрина, Олеши, Шукшина, Распутина, Нушича, Гашека и ряда других прозаиков.

ВАСИЛЕ ВАСИЛАКЕ

НА ИСХОДЕ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ

И пусть среди потомков раздастся славословье
Тому, кто вырвет камень, что взял я в изголовье.

М. Эминеску, «Молитва дака».

1

Вот уже три дня покойный Кручану лежит на столе, и сегодня четвертый день перевалил за полдень, а о похоронах что-то не слышно. Конечно, по всем христианским обрядам следовало бы его предать земле на третьи сутки, но вчера, как на грех, приехала комиссия из района (судебно-медицинский эксперт, майор милиции и следователь прокуратуры), сделала вскрытие и увезла с собой сердце покойного. При чем тут сердце?.. Мускул какой-то, и ничего больше! Но комиссия, видите ли, рассудила иначе, сунула сердце в банку и — в район, а там, говорят, еще дальше отправили, в институт головной, то есть главный, ибо покойный Кручану, а с этим никто спорить не станет, помер не своей смертью. Нет, с одной стороны, сердце его само лопнуло, но ведь, с другой, говорят, еще до того, как ему разорваться, было оно здоровее нормального раза в полтора, вот ведь в чем закавыка, а посему отложили похороны еще на денек.

Село буквально стонет от сомнений и разговоров... Самые невероятные выдумки и догадки мгновенно разлетаются от магалы к магале, такого уже давно не бывало... Впрочем, позвольте, ну конечно же, четыре года сравнялось, как помер дед Костакел, еще и родичи его вместе с соседями, на днях поминая усопшего старика, говорили с удивлением друг другу: «Неужто с похорон дедушки Костакела никто не помирал в этом селе!..»

А вы не удивляйтесь тому, как уважительно-ласково

его называли, говорили и еще мягче — «дедуля», ибо все любили его уже за одно то, что он — душа голубиная — дожил до второго младенчества (девяносто три года, четыре с половиной месяца — это ведь, без малого, почти что столетие), да еще столько повидал за свой долгий век (сами посудите: был подданным двух империй и похоронил в своем сердце трех русских царей и двух или трех румынских королей!), и сколько войн пережил и всяких бед человеческих — уму непостижимо, однако сохранял чистый, как стеклышко, разум до последнего вздоха.

Служил он в бывшем Крестьянском банке, но деньги у него к рукам не прилипали, и потом долгое время работал кассиром в сельской промкооперации (девять лавок и шесть буфетов выручали в день немалые суммы!), и до того был всегда чист, что односельчане не хотели отпускать его на заслуженный отдых... Да уж больно он одряхлел за последнее время, и ноги едва носили его в районный банк и обратно, а как-то, подводя годовой баланс, он расплакался: «Отпустите вы меня, добрые люди!..»

Потребители согласились не сразу: «Да мы отпустим тебя, но останься, пожалуйста, хотя бы в ревизионной комиссии, как-никак и здесь нужен хозяйский глаз за общественным достоянием, а уж как все мы тебя уважаем, про то и говорить нечего...».

Польщенный доверием, старик опять прослезился, но, полный решимости вырваться из ненавистных денежных уз, воскликнул от глубины души:

— Значит, опять цифры, добрые люди! Куда вы меня посылаете? У вас на уме одни только цифры, дорогие односельчане, а я никак не могу... я дрожу и боюсь! Эти цифры словно голые демоны, честное слово. Большая совесть нужна... или чтоб совсем ее не было! Я-то знаю, как они голову мутят... худшему врагу не посоветую, потому что заворожат его цифры и не хватит ему никаких слез!

Милый, дорогой дед! Проводили его на пенсию односельчане с улыбкой, тронутые этой исповедью... А старик, воротясь домой, созвал соседей, тех, кто годами постарше, и прочел им свой «Последний завет старого банковского кассира», вот что в нем было сказано: «Другого никакого имущества у меня нету, а оставляю я в наслед-

ство внуку моему Аурелу этот стул с плетеной ивовой спинкой и предсмертным голосом своим завещаю помянуть меня вместе со всеми на третий день по переселении моем в горний мир и на девятый день, когда я постучусь в ворота всевышнего (сохраняем его лексикон, принимая во внимание тот почет, которым окружали его при жизни и после смерти все односельчане без исключения!), и прошу внука моего Аурела человеческим языком, чтобы отправился в монастырь Думитрана, нашел монаха Еронима, который в пятьдесят девятом году, когда девяносто первый мне только сравнялся, совершил надо мной полностью похоронный обряд; разыскал там его и дал бы ему эти самые деньги, и еще передал на словах, что, мол, покойный дедушка Костакел велит на эти сто рублей купить церковных свечей и зажигать их перед святыми иконами каждую пятницу, субботу и воскресенье за грехи мои тяжкие, за которые, ох... веришь или не очень, а отвечать надобно...»

А теперь, хочешь — верь, хочешь — нет, но за четыре с чем-то года со дня смерти дедушки Костакела, сколько ни происходило всего в нашем селе, но, к всеобщему удивлению, никто здесь больше не умирает!.. Как будто бы дедушка захватил в могилу с собой саму смерть, как забытую в кармане выходного костюма табакерку...

Говоришь, нет ничего удивительного? Ну так вот тебе новая смерть, через четыре с чем-то года, шалая и бьющая по мозгам, смерть, как красная тряпка на палке перед носом разъяренного бугая, ведь недаром комиссия из района в чем-то заподозрила сердце покойного, а это ведь и младенцу понятно, в чем она его заподозрила, то есть именно в том, что он сам в уме и полном здравии руки на себя наложил.

Нет, что ни говори, ненормальная это штука, о каком уме и полном здравии речь, когда человек сам себя убивает... Ну, еще ладно бы, был он дитя неразумное... С малютки какой спрос? Да и не о чем спрашивать, на то есть мы — взрослые люди, чтобы любить их и пестовать и от каждой болезни верное лекарство купить. Или взять опять же светлую кончину дедушки Костакела (может, и не следовало еще раз поминать всуе?), да ведь как хорошо человек скончался, можно сказать, ко всеобщему облегчению и по времени — тютелька в тютельку, так что никто из родственников и соседей не видел

его долго лежащим в постели, никого он не обременил и не обеспокоил ничуть, ну и себя вполне естественным образом избавил от долгих мук угасания, то есть с этой кончиной всем все было понятно и очень легко.

Вроде бы, с одной стороны,— смерть, а с другой,— высшая и святая гармония! И вот что самое странное, доложу тебе, за пять минут до кончины некий сосед, сидевший у изголовья дедушки, задал ему вопрос, как он ощущает свою смерть. А тот ему в ответ, посмеиваясь: «Дык вот, интересная штука! Все мне понятно. Одно удивляет. Ничего у меня не болит и ничего мне не жаль». Ну как не позавидовать такой доброй и разумной кончине, впрочем, на любую старушку, как говорится, бывает прорушка... Ибо без маленького скандальчика что́ на этом свете обходится? Так вот, когда зазвонил колокол по покойнику, не помню уж кто, возьми да и спроси:

— По ком это звонит колокол?

— Звонит?! — удивился сосед.— Если звонит, значит, все правильно. Должно быть, согласовали заранее...

— Ишь ты, знаток выискался!..

И еще прозвучали две-три невнятные реплики (чьи-то аргументы и контраргументы), вскоре и они растворились в шелесте кладбищенских трав.

Итак, проходит четыре с чем-то года, и помирает другой, и не просто так помирает, а как бы бросая вызов жизни и смерти, и открывая дорогу прежним сомнениям и страху, и словно бы перечеркивая славную кончину кассира, дедушки Костакела. Думаешь, зря село места себе не находит три дня и даже на четвертый, не зная, что ему говорить и что думать о Георге Кручану, потому что умер здоровый мужчина, вошедший в самую что ни на есть пору расцвета, и после него остались жена — ни дать ни взять скифская баба на горе Роксоланы — и трое детей, старшая — невеста на выданье; дом почти новый и вокруг полгектара плодоносящего виноградника, родни половина села, и все ж таки уважали его по заслугам, и кушать было чего, и пить было чего, а он взял да помер...

Нет, не знает покоя село. И чем больше головы горячились, тем непонятнее становилось... Словно бы этот Кручану напоследок загадал загадку селу с видом глу-

пого и пьяного человека на дороге, рассуждающего вслух с самим собой:

— Хм, чего они все боятся смерти!.. Мне хоть бы хны...

Вдобавок к тому, если послушать Никанора Бостана, соседа покойного, то уж совсем голова пойдет кругом, потому как тот всякий раз начинал сызнова, чуть ли не с Адама и Евы:

— Ей-богу, просто не верится... Могу побожиться! Лопни мои глаза, ежели «только что», как говорится, я не видел покойного живым и здоровым... Стоп, когда ж это было? Вчера или позавчера? Тьфу ты, как бежит время!.. Видел его, ну вот как тебя сейчас вижу!.. Кручану спускался в овраг, конечно, шел из буфета и даже курил; я еще удивился, с каких это пор он курит, и самому захотелось затянуться... Но подумалось мне, подожду-ка, покуда подойдет и угостит меня папироской, я как раз копал ямы под саженцы: весной думаю высадить полста или чуток побольше виноградных кустов, так вот копаю, копаю и жду... А он, веришь ли, все не идет, оглядываюсь, а он как сквозь землю!.. Эх, думаю, повернул, наверно, обратно. Так уж и быть, сам в буфет сбегаю! Ну и что вам сказать? Только поравнялся с оврагом, глядь, а внизу, на повороте к буфету — это самое... вот он, люди добрые, как говорится, мертвей мертвого!

«Хм... интересно, почему это Бостан так волнуется, словно бы для покойного Кручану копал свою яму!»

Слушатели охали-ахали, их, видимо, живо интересовали Бостановы россказни, хотя все подробности были им досконально известны еще с позавчерашнего дня — село как село, все люди как на ладони, и дело осеннее: тут идет сбор винограда, там кукурузу убирают на силос, а еще рядом чистят после комбайна свеклу... Но уж таков человек! Вечно у него язык чешется, невмоготу работу свою молча работать:

— Послушай, бадя [1] и кум Никанор, так как же это все было с Кручану? Значит, подходите вы к нему, а он уже совсем мертвый... Ну, а что было до этого... Ведь до того как он помер, ох и любил пошуметь этот Кручану, уж не мне вам, его соседу, про это рассказывать!..

---

[1] Бадя — обращение к старшему по возрасту мужчине.

Услышав вопрос, Бостан начинал вспоминать все сначала, а именно, что же это за день был позавчера, о котором шла речь... Ах да, рано поутру мимо его дома проходила жена покойного, и он спросил у нее, каких сортов виноград растет у них в глубине сада, и что не худо бы посмотреть ему, как он родит, а заодно выбрать и отметить кусты, чтобы весной с них нарезать черенки...

— Уж лучше сам поговори с мужем Георге, он сидит дома...

Но он, Никанор, не сумел тогда к соседу зайти, потому как ямы копал, а вспомнил о разговоре с Ириной Кручану лишь теперь, когда покурить захотелось, вот и поджидал он покойного, чтобы расспросить его поподробнее обо всем; ну и, понятное дело, когда увидел Кручану на дне оврага оцепенелым и скорченным, то у него пропала охота и курить, и рыть эти ямы...

Итак, слушая Бостана, работали люди, незаметно для себя кончали гору свеклы или ряд кустов винограда и всем миром переходили к новой горе или к новому ряду; а тут какой-нибудь умник из нынешних, больно ученых и малость бессовестных, случалось, вытаскивал графин вина из кошелки и без зазрения совести говорил в лицо Никанору:

— Ну, все теперь ясно, дальше некуда!.. Пусть здравствуют, бадя Никанор, ваши ямки до светлой весны! — Черт малахольный, и в ус себе не дует, отхлебнет из графина добрый глоток — и все. Бадя же Никанор, разогнавшийся на большой разговор и не в силах сразу остановиться, продолжал по инерции обиженным тоном:

— Ну что вам еще сказать? Пока я к нему подошел, он уже мертвый лежал...

И люди, оставляя работу, молчали, и сам Никанор Бостан тоже молчал, потому что о чем еще было рассказывать?! Уж не о том ли, как покойный лежал на боку и папироса его дымила, а в углу рта выступила красная пена — отчего становилось не по себе, будь ты хоть какой твердый внутри! Тем более, что обычно как это делается: человек — он и помирает по-человечески, среди слез и подушек, среди шепота и молений, со словами «прошу простить меня»,— то есть с мыслью, что когда-нибудь и для тебя настанет черед, потому что ты — не звезда на небеси, которая вечно сияет, одним словом, чтобы помереть, немногое нужно — примириться с самим собой, и конец.

2

— Нет, я к тому говорю, что плюет теперь человек на заботы! — рассуждал бадя Бостан на другой день в доме свояченицы.— Много умников развелось со средним образованием!..— И, быстро обернувшись к племяннику: — Прости, Тудор дорогой, не о тебе говорю, ты человек достойный и рассудительный, повидал всякой всячины, и, может, там, на твоей лодке подводной, сама смерть не раз и не два стояла у тебя за спиной! Говорю про наших хиппи колхозных, про тех, что убирают свеклу... Я вот людям рассказывал, как помер сосед наш Кручану, а один молокосос встрял: «Будьте здоровы, бадя Никанор, а также и ваши ямки под саженцы,— и, заедая килькой вино, сказал: — ура гастроному...» И что это значит, убей меня, не пойму...

— Может, он имел в виду Птоломея, древнего урартийца и великого астронома, который учил, что Земля имеет форму тарелки? — поправил Бостана племянник.

— Что у меня общего с Птоломеем?! — возмутился Бостан.— И что ему дались мои ямки... Тоже мне умники на наши головы навязались! Потешаются и над мертвыми и над живыми!..

Разговор этот происходил в воскресенье на сговоре Тудора, племянника Никанора Бостана, с родичами невесты. А сам Никанор за этим столом вдóвой свояченицы представлял главу дома. Однако к жениху он обращался с заметным почтением, ибо тот, по существу, и был главой семейства — самостоятельный человек, горожанин и не только среднее образование имел, уже и в армии отслужил, как уже говорилось, на подводной лодке матросом, а теперь на своих плечах держал весь дом и мамашу, будучи шофером первого класса, работал в районной пожарной команде. Так что этот жених, присутствуя на своем сватовстве, вопреки всем семейным законам, имел право голоса в компании взрослых, мало того, он и сидел за столом на самом почетном месте, рядом с отцом невесты, который вдруг вздохнул и печально заметил, безотносительно к разговору:

— Как же это человек устроен, ей-богу, сегодня есть — завтра нету...

Интересно, что же это изнутри грызло его и подводило к столь печальному выводу?.. И нет, не скажешь, чтобы отец невесты и будущий тесть был больно старый!.. А по

дому уже разносились ароматы горячих кушаний и молодого вина, дразнящие запахи, предваряющие богатое праздничное застолье. Ведь сегодня должны были породниться два семейства. И дело как будто бы ладилось, вот они уже сидят за общим столом и с подчеркнутым радушием называют друг друга «сватом» и «сватьюшкой». И жених, этот классный шофер из бывших матросов, парень что надо! И пора бы начинать дело, да поджидали старшего свата, который запаздывал. И как всегда бывает в подобных случаях, когда за столом, уставленным яствами, во время образовавшейся вдруг мертвой зоны молчания, кому-то обязательно приспичит порассуждать о бренности бытия! И вот тебе на, тесть не к месту помянул о покойнике: «Сегодня есть — завтра нету...» Должно быть, к слову пришлось. Или, может, молва о Кручану не прекратится, покуда в землю его не зароют? Да ведь нет, не забывают люди и тех, кто уже давненько зарыт. Пока мы живем на земле, живут вместе с нами и наши покойники.

— Где же ты, жених уважаемый, потерял старшего свата? — вернулся Никанор к насущным делам.

— Вот придет, и разузнаем, где его нелегкая носит,— махнул жених рукой, как человек, потерявший надежду.— Только нечего нам сидеть понапрасну, ждать у моря погоды... Давайте налейте-ка нам!..— попросил он тещу.

Вот оно что!.. Стало быть, слова роли тут никакой не играли. Так, приблизительная притирка, утряска, а основной процесс шел молча и своим чередом. Совершалось кровное и непостижимое таинство слияния двух старых семейств в нечто единое, новое... При чем тут слова? Потом найдутся слова, когда они получат прочную деловую основу. Чтобы, в свою очередь, защищать суть и смысл того, что мы называем «жизнью новой семьи»...

«Эх, видимо, человек так уж устроен: сегодня ты есть, а завтра — нет тебя,— подумал Никанор.— Вот такие дела...»

И тут под ухом у Никанора (она от него справа сидела) закряхтела бабушка жениха, голос — словно озорник мальчишка бросает камешки в надтреснутый колокол:

— Да будет земля ему пухом... Слава богу, всем заботам конец!

«И эта туда же... о покойном Георге Кручану? —

вздрогнул Бостан.— Ах ты, божий одуванчик, беззаботная невеста Христова, сама рада, поди, без ума, что ее земля еще покуда носит?!»

Так подумал Никанор про себя, но промолчал. Как-никак ведь он был за хозяина теперь в доме, а стало быть, его первое и святое дело каждого уважить, а вторая забота — стол и хорошее угощение, ну и, конечно, ободрить и успокоить гостей, как-то их развлечь до прихода старшего свата, который вот-вот появится. И Никанор приготовился, поднял стакан и даже в грудь воздуха побольше набрал, чтобы голос звучал и чтоб все его слышали... Но тут тесть, сидевший напротив, решил, что и он лицом в грязь не ударит:

— Верно, сватьюшка дорогая,— обратился он ласково к бабушке.— Вот именно так и есть, как вы говорите. Только я бы еще добавил: ох, уж эти заботы! И скажу даже больше того, человек — сам себе главное беспокойство! Ведь у них, у этих забот, нрав, как у бездомной собаки: пугнешь — отбежит, свистнешь — пристанет.

И мать жениха охотно поддержала интеллигентные разговоры своего нового родича:

— Ваша правда, сват!.. Но если по совести, во всем надо винить зеленого змия, вот где корень всему, дорогие мои... Покойный, говорят, пил, покуда в нем не лопнула жила... А хотите знать, откуда он спозаранку-то возвращался? Из буфета. А от пьянства что происходит? Печень и почки сгорают. Я своими ушами слышала по телику выступление Белянчиковой в передаче «Здоровье»...

Тут и жена Бостана не стерпела, уж она-то доподлинно знала, что за змий совращал покойного соседа, да и только ли его одного.

— Скажу вам правду, сестрица, это Волоокая его погубила, брошенка Думитра Кондри, что живет на холме возле утиной фермы!

Женщины словно бы ждали разговора о Волоокой. Как огонь разом опаляет скирду соломы, так и от слов этих неистовых будто бы что-то вспыхнуло в душе каждой. О женщины, не приведи бог попасться к вам на язык другой женщине, молодой и цветущей... А Волоокая-то как раз самым жарким цветом цвела. Жила она давненько уже без хозяина и, видно, без счастья. И не было в селе мужика, которого бы не одурманила Руца. Зря, что ли, все наши женщины, от мала до велика, начисто позабыв имя, данное ей от рождения, величали ее Волоокой?

Охо-хо, видели бы вы эти глаза! Мягкие, умоляющие, они умело делают свое дело: манят тебя и одновременно отталкивают, а как они манят — непреодолимо, словно бы волны накатываются на тебя, а глубина — ну как в море, и если чудом не захлебнешься, значит, полезай в петлю! И вторая пара глаз, будь она рядом с тобой, не спасет. Чистое наказание!

— Вот как хочешь, так и живи! Конечно, если ты не дурак и все понимаешь...— вырвалось у Никанора по поводу Волоокой.— Я вот слушаю вас и молчу. Все слышу и понимаю, одного только никак не пойму: как может себя убить мужик из-за бабы?! Может, вы мне объясните?.. Нет, не те нынче времена. И нормальный, здоровый мужик этого делать не станет. А тем более, если ее, бабу эту, вдоль и поперек изучил, всю как есть, пожил с ней в охотку...— Он горько вздохнул и начал разливать вино по всем стаканам.

— Эта косая, пучеглазая тварь,— аж зашлась жена Никанора, разом перекрестив Волоокую в Косую и Пучеглазую,— не иначе, как ведьма! Ворожбой присушила к себе Кручану. А то чего бы он бегал каждую ночь к этому пугалу от своей красивенькой, умной Ирины?

— Не бегал он... а по соседству с ней сторожил свою ферму,— возразил Никанор, не поднимая глаз на жену.— И привиделось ему, что это он сидит в потемках в обнимку с ружьем. Чем заняться ему долгою осеннею ночью, о чем думу думать?.. Эй, Руца, останься хоть на часок, не торопись домой, не горит!.. Кругом степь, опускаются сумерки, птицы примолкли...

— Скажешь, во всем виноват председатель? Зачем послал Георге сторожить утиную ферму? Виноват, что не растолковал ему, как дитю неразумному: «Георгицэ, идешь ты охранником на утиную ферму, так смотри, дорогой, поаккуратнее. Вокруг возятся лисицы да коршуны, а страшней всех — Волоокая, она, милый, проживает там по соседству, так ты не гляди на нее, верь старому ответственному, погубит!» Так, что ли, Никанор?..

Молчит Никанор. Совсем его жена одолела. Но тут на помощь к нему подоспел будущий тесть. Вежливо, рассудительно прерывает он сватью, как это и подобает самому почтенному за столом гостю:

— И спорить бы не стал с вами, сватьюшка дорогая, если бы... не тюрьма. Как известно, тюрьма ожесточает

людей. И Георгий наш — не исключение, вспомните-ка, он совсем другим человеком вернулся.

Да, сказал — как отрезал. И никто с этим спорить не стал. Однако и соглашаться не торопились. Ведь как человек устроен: мало ему объяснить, он еще сам должен подумать и примерить к своей судьбе чужую судьбу, а после всего хочет, чтобы всегда оставалась лазейка еще раз подумать и усомниться: «Сторож на ферме, конечно, не ахти какая работа... Так ведь от сумы да от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Ведь и меня тоже могут сунуть в охрану, можно сказать, прямо в пасть к Волоокой! И сидишь ты в поле один, осенней ночью, холодной и долгой, как нынешняя... А рядом человеческое тепло манит постучаться в окошко: «Эй, Руца, пусти на часок погреться... нет, не надо, не зажигай в доме огня, давай экономить электроэнергию...» Ну и что здесь смертельного?.. Обыкновенное житейское приключение. Иное дело тюрьма... хотя почему же иное? Можно подумать, что он один в тюрьме побывал. Нюхали ее еще двое-трое из наших односельчан, и ничего, с собой не покончили. Скорее напротив, возвратились они в село здоровыми и веселыми и потом признавались друзьям по пьяному делу, что самое малое еще одну жизнь им тюрьма подарила!..

— Ну допустим,— продолжал Никанор,— допустим, жена, я с тобой согласился. И с вами тоже, уважаемый сват,— обернулся Никанор к тестю.— Что у нас получается? Тюрьма да Волоокая сгубили Кручану. Конечно, сразу два таких обстоятельства повалят кого хочешь. Но только не его, Георгия... Допустим...— сказал и крепко задумался... на полуслове застыл. И привиделся ему нынешний осенний денек, лесная поляна и солнце, отвесно и яростно бьющее из-за быстро бегущих по небу туч. И так контрастно и ярко он все это увидел, даже в глазах зарябило. Сначала все было размытое и серое, как на любительском снимке, но вот ударило солнце, и разом всякая былинка и лист на поляне заполыхали багрянцем! Глазам стало больно, и он веки зажмурил, большим пальцем размазывая по переносице набежавшие слезы...

Но тут вступает его жена, которая всегда наготове. За своим словоохотливым мужем она знает слабинку, муж ее видит видения, иногда вот так остановится посреди разговора, прикроет глаза, и хоть тресни, двух слов не может связать! А потом с удивлением признается: «Знаешь, жена, если не думаю, слова, черт знает откуда, сами

берутся, но лишь стоит задуматься...» — «Ай-яй-яй, Никанор, Никанор, ты же нить мыслей своих теряешь! Придется тебя выручать...» И она решительно берет быка за рога:

— Ну, рожай, рожай, наконец! Заладил: «Допустим, допустим», а что ты нам собирался сказать?..

— Охо-хо...— возвращается к реальности Никанор,— думаю, думаю и все не укладывается у меня в голове этот Кручану — сосед... а ведь каких две женщины по нему сохли!.. Помнишь, жена, идет раз почтальон мимо нашего дома, вытаскивает два конверта и спрашивает у меня: «Где это видано, бадя, и когда еще в нашем селе жил человек с двумя женами?!» Это он оттуда, из лагеря, обеим писал. И деньги им посылал. И по воскресеньям принимал в гости через раз... Вот и говорю, где ж это видано, чтоб в тюрьме устроился, как в раю! А на свободе: с двумя любимыми женщинами сделал троих детишек, и слова ему поперек никто не сказал, алиментов даже не требовали!.. Чем не жизнь, спрашиваю, другой бы на его месте как сыр в масле катался... Нет, не добрый человек был Кручану. Даже больше скажу, ничего-то он на этом свете не сделал: пил себе в удовольствие, спал, развлекался. И можно сказать, одурел от безделия, потому и помер...— С трудом дались добряку Никанору эти слова осуждения, но он сказал их и как будто с плеч своих сбросил великую тяжесть. А люди молчали. И никому уже не хотелось сопоставить свою судьбу с судьбой покойного, ибо за столом сидели крестьяне, и добывали они хлеб свой в поте лица, и со смертью не умели шутить.

И только жених, слушая Никанора, едва сдерживался, чтобы не нахамить главе дома. Самому себе он казался большим и бесстрашным, а вот Никанора представлял нашкодившим ребенком, которого стоило взять за ухо и сурово пригрозить: «Так вести себя не гоже! Что ты, такой-сякой, позоришь покойного друга?! При жизни ему завидовал, однако и слова бы сказать не посмел, а теперь, когда он тебе не может ответить... В теплой компании родственников, за стаканом вина чернишь едва отлетевшую душу?.. А сам-то мизинца его не стоишь! Ну, конечно, где тебе столько глупостей натворить, столько по себе разговоров оставить. По углам втихомолку грешил — суда людского боялся... А покойный жил широко: и людям делал добро, и головой бился об стенку. В конце-то концов это и есть жизнь — наказание, ра-

дость, проклятье, мученье... Знаешь ли ты ее? Нет, не знаешь, ни радости настоящей, ни горя... Ну, так помалкивай, жуй свой холодец петушиный, а Георге Кручану не трожь, не по зубам тебе...»

И Никанор Бостан, жуя холодец, словно бы слышал все эти слова жениха, и на душе у него было прескверно. С одной стороны, начал — и понесло, и уже остановиться не мог, покуда не выговорился, словно по краю пропасти шел, поскользнулся и... шмяк! С другой стороны, все время его мучило отчетливое видение — эта осенняя лесная поляна... Вот он даже слышит запах прелой, разогретой солнцем травы... Мягкий, ласкающий кожу ветер повеял в лицо... И чтобы не закричать, не сойти с ума, Никанор забормотал, еще сам толком не зная о чем:

— Виноват, забыл вам сказать... ой, не так это просто... Прибегает однажды Ирина, жена покойного... кто перед кем виноват — не поймешь!.. Просит: «Люди добрые, помогите! Георге мой каждую ночь плачет во сне...» Хорошая женщина, жалела его, и за Волоокую ни разу не пожурила... так он сам однажды к ней с этим пристал, а она ему говорит: «Твое это дело, твоя любовь... если любовь это...» А с ним и вправду последнее время было неладно, знать никого не желал — ни Волоокую, ни жену... Перешел жить в каса маре[1] и даже стену разрушил, не хотел ходить через общие сени — прорубил себе выход в сад... лицом к полю, к людям спиной. Кто же так делает? Теперь всего можно было ждать от него...— И Никанор вздохнул тяжело, оперся головой о сжатый кулак, прошептал потерянно: — Постой, о чем же я начал?.. Ах да, прибегает Ирина, говорит: «Скорее посмотрите, что с ним — опять во сне плачет!» А было это, да, дней десять назад... И говорю я ей: «Ну и что, если во сне... я и сам, когда подопрет, бывает наяву плачу!..» «Нет,— говорит,— это у него теперь каждую ночь... Моченьки моей нет, всю душу извел, окаянный! И прощения просит у всех: «Прости,— говорит,— братец вяз у колодца... луна — светлая девочка... матушка-солнце... прощайте!..» Что ж, я еще не рехнулась, слышать — слышу, а понять не могу... Помоги, Никанор, ради бога!»

— Небось опять пьяным напился,— отмахнулась всезнающая жена Никанора.— Я и сама сколько раз замечала, как он, насосавшись винища, хулиганит в своем

[1] Каса маре — парадная, нежилая комната.

саду: звезды матерно лает, пинает землю ногами, костерит весь белый свет почем зря... Дурак! Попал камнем в небо и... думает, все ему дозволяется...

Однако никто, к ее удивлению, не поддержал разговора. Люди молчали и думали: «Стало быть, слова во сне — не просто слова? Давно этот разлад начался... как же мы не заметили?..» Нет, ухмылочки жены Никанора еще более запутали неясное дело. Ну а сам Никанор, что ж он молчит, слышал ли он речи покойного, обращенные к звездам?.. Да, видать, подперло человека, ведь не каждый сунется со своей глупостью к светилам, солнцу, луне... И что ж это жена мешается в разговор мужа?! Пусть в доме своем командует, а на людях помолчит.

И Никанор, оценив обстановку и зная слабинку своей жены, невоздержанной на язык, решил перевести разговор:

— Что же мы все об одном, об этом Кручану... он уж свое отговорил звездам! А старшего свата все нет...— И к отцу невесты, со вздохом: — Судьба... судьба, кум дорогой! Вот оно что... Давайте-ка выпьем.

Это немудреное словечко «судьба» любое сердце способно смягчить и растрогать. Выпили и, закусывая, перешли к насущным делам, ясным, как «доброе утро»: вишь, погода нынче установилась, а стало быть, осень будет доброй и долгой, и даже вон у ворот акация зацвела второй раз в году... И год выдался урожайный, и колхоз наш занял третье место в районе. Кого-то представили к орденам и многим премии дали. Еще на республиканскую выставку, даст бог, попадем!.. А в районной газете «Родина» напечатали портрет свинаря, а рядом с ним боров, весом в двадцать два пуда. А на приусадебном участке нашей невесты выросла тыква, так ее двое мужиков не могут от земли оторвать... Кстати сказать, в честь чего это бьют в барабан на нашей половине села? Какая такая невеста, где идет сватанье и кто у нас посаженый?..

Словом, был воскресный денек, и за этим столом новые родичи ближе узнавали друг друга и, заметьте, уже величались «сватом» и «сватьюшкой», хотя молодые не только еще не сошлись, но даже и сватовство не начиналось по-настоящему!

Что ни говори, а сватовство — дело серьезное. Обо всем нужно заранее сговориться: и сколько будет приглашенных — дальней и ближней невестиной родни, а у

жениха, помимо родни, еще дружков куча. А свадебные подарки жениха, чтобы люди видели, как он уважает невесту? А чем на это ответит невестино семейство? А потом — как станут одаривать друг друга родители и кому из приглашенных со стороны жениха и невесты через плечо расписные полотенца повяжут? И к которому часу собираться гостям на жениховом дворе? И что за музыка будет? И где молодые останутся после свадьбы? А уж как за столом гостей рассадить, чтобы никого не ущемить, не обидеть — это уму непостижимое дело! Ведь свадьба играется однажды в жизни, на глазах у села, а руководить ею должен посаженый отец... Свадьба и посаженый — это как Александр Македонский со своею пехотой!.. Так где же он — главный сват и наш посаженый?!

— Уважаемый жених, как хочешь, но ждать больше нельзя — надо привести посаженого!..— решительно сказал Никанор.

Жених вышел, но тут же вернулся: «Сосед за ним побежал». И уселся на место как ни в чем не бывало, словно бы дело сделано, а он жених на собственной свадьбе... А тут бабушка из своего угла подала голос, возвращая разговор ни с того ни с сего в прежнее русло:

— А вы не слышали, хоронить его будут с попом или, как нехристя, с музыкой?

Никанор чуть было не подавился своим холодцом петушачьим, хотя чего здесь давиться-то? Ведь для бабушки, как для всякого порядком пожившего человека, и любовь, и свадьба, и похороны, да и вся наша жизнь с ее радостями и печалями стала уже чем-то вроде киношки или телевизионного КВНа. А какой же уважающий себя телезритель утерпит, чтобы не спросить у соседа: «Эй, а ты, случаем, разгадки не знаешь?» (Сравнение, быть может, и рискованное, но скажите на милость, разве старики в наших семьях не коротают свой век возле телевизионного ящика и не телезрят все подряд передачи?) Впрочем, зрительский навык унаследован нами от предков, и у него необозримо большая история. «Ай да похороны, красивые похороны отгрохали этому человеку! Все по нему плакали, и поминки были богатые, и угощали на славу: и родичей, и малознакомых, и заведомых проходимцев!» — говорила какая-нибудь древняя римлянка другой древней римлянке, возвращаясь с поминок в приподнятом состоянии духа, как после какой-нибудь всенародной манифестации. Ибо испокон веков было у челове-

ка два праздника — свадьба-любовь и смерть-похороны, или, говоря иным языком, «целый мир» и «вечная жизнь», то же самое и по сей день осталось в судьбе любого из нас, в обличье даже самого заурядного Феди — ведь и его, простака Федю, тоже не оставишь гнить на земле, как какого-нибудь жука-короеда!..

А посему пусть себе с полным правом спрашивает наша бабушка на свадебном сговоре о предстоящих поминках. Молодым — хлопоты о делах, а ей желательно знать, что думают ее дочь и жених (кстати сказать, внук ее кровный), а также и эти, уже не чужие, но еще и не родичи — что они думают о новом погребальном обряде, когда покойника не оплакивают, а провожают с музыкой...

— Будь моя воля,— подала голос жена Никанора,— я похоронила бы его на краю поля, где у нас межа с соседним колхозом. Конечно, покойный Георге — не какой-то упырь, я в эти сказки не верю... Но он не покорился судьбе, не стал смерти ждать, не склонил головы перед жизнью. А таких людей по обычаю следует хоронить за околицей... разве не так? Вы помните, матушка, как распорядился священник с тем, с другим, с Желдей, который повесился накануне войны?..

Все знали, что покойный Кручану давно порвал с церковью. А вот жене его, Ирине, поп в последнее время отказывал в исповеди и дважды на виду у всех выбранил за то, что она терпит грех рядом с собой: богу известно, как ее муж, отрекшись от веры, сожительствует с двумя женщинами, посему и ей в божьем храме не место!.. Стало быть, некуда деться, придется Ирине нанимать музыкантов, чтобы играли у изголовья покойного... Но, с другой стороны, эти, из правления, тоже могут вмешаться, и тогда, может, похоронят на казенный счет с музыкой?..

— А по мне, хоть в мешке, только поскорей!.. Прости меня, господи...— истово перекрестилась молчавшая до сих пор хозяйка дома и мать жениха.— Воистину говорится: мертвого да судят мертвые... А что у него было, скажите на милость, с моим двоюродным братом Василе, ведь искалечил его, Василе даже держать в руке ложку не может?!

И все задумались: «Да, да, действительно, а что могло быть у него с кумом Василе? Как же мы до сих пор об этом не вспомнили?.. Без всякой на то причины один человек берет и убивает другого... Или, скажем, стоишь

ты в храме на вечерней молитве, проходит мимо прохожий и вдруг бьет тебя поленом по голове — как гром среди ясного неба!..»

Впрочем, Василе Кофэел и Георге Кручану были соседями, стало быть, мало ли что могло произойти между ними. Кроме того, как раз в том году на диво уродилась черешня, и пора было собирать урожай, но собирать было нечего, потому как деревья в колхозном саду стояли пустыми, и спрашивать не с кого, так спросили с Кручану, он как раз числился председателем ревизионной комиссии. Ну а баде Василе состоял сторожем колхозного сада с тех пор, как организовали колхоз. Он и теперь состоит, хотя одноруким остался, однако должность у него не отняли... И если на тебя напала охота побаловаться черешней, яблоком, грушей, иди смело и проси у баде Василе, никогда не откажет, а еще изречет: «Я не обеднею, а ты не станешь богаче. Всякая божья тварь на свете существует, чтобы услаждать человека!» Таким манером все наше село, от мала и до велика, знало неизречимую доброту баде Василе и что душа у него как дите, не пробудившееся ото сна.

В тот вечер заявился к нему Кручану, уже подвыпивший и с графином вина: «Надо нам потолковать, бадя Василе, только давай сперва выпьем...» Наливает ему полную кружку.

А тот: «Будь здоров, Георгицэ, сейчас тебе черешен для деток нарву. Как раз немножно еще майских осталось...»

Тут Кручану озверел: «Иди ты к черту со своими черешнями! А что ты скажешь, если я тебе сейчас набью морду?!»

— Ничего, Георгицэ... спасибо скажу...— отвечает Василе.

Ну и выплеснул ему Георге в рожу вино, да еще звезданул кружкой меж глаз за это «спасибо». Потом еще ногами вскочил на него и давай месить, словно глину для штукатурки.

На счастье, Ирина Кручану, супруга покойного, как раз оказалась поблизости. Пряталась она меж ульев на пасеке, недалеко от ворот Волоокой, поджидая своего благоверного. Услышала она крик Кофэела и голос Георге, поняла, что совершается смертоубийство, и кинулась как безумная — будь что будет: «Что ж ты делаешь?.. Убей лучше меня!» И муж начал ее убивать, и наверно

убил бы, потому как был не в своем уме, но еще одно счастливое совпадение спасло несчастную женщину. Мимо проходили мужчины, с рыбалки возвращаясь. Связали они Кручану, а Василе, едва живого, в больницу отправили...

— Сущий дьявол...— первое, что сказал Кофэел сразу же, как только в сознание пришел.— Первый раз видел своими глазами, как в соседа демон вселяется.

И потом Василе часто повторял эти слова, так что они запомнились людям. А человек он был темный и маленький, и не было у него других интересов, иначе бы он ни за что не простил Георге Кручану, когда тот через несколько дней в этой же самой больнице целовал ему руки, валялся в ногах, со слезами упрашивая:

— Прости, Василе, я сумасшедший! Прости.

Нет, другой бы на его месте ни за что не простил соседа, который тебя на всю жизнь искалечил (правда, если быть точным, Кручану ему помял левую руку, а с правой произошло позже, и совсем по другому делу, но в селе об этом как-то не помнили). Но Василе простил Кручану, потому что по доброте душевной был особенный человек, да и рука у него потом не особенно долго болела...

А теперь, если спросишь об этой давней истории у бади Василе, он тебе не торопясь, с удовольствием расскажет:

— Злое дело, товарищ, самого тебя делает злым, а доброе — добрым. Другого нам не дано: или так, или этак... В молодости я был солдатом. Был в цирке однажды и видел живого тигра. Хозяин заходил к нему в клетку и даже немного играл с ним, но... глаз с него не спускал! К чему это я говорю? А к тому, что и ко мне в сад чуть ли не каждую ночь наши местные тигры приходят. Но я — тертый калач, знаю, кто и как спит, с кем спит и на каком основании... Я ловлю браконьера и говорю: «Беги! Я тебя не видел, не слышал и вообще знать не хочу... И поверь, мне за тебя стыдно, товарищ,— говорю я ему.— Разве у тебя нет языка, или совсем потерял совесть, почему не попросишь? А если жалко тебе немножко заплатить за труды старому человеку, то бери мешок и уходи... об одном прошу, больше со мной не здоровайся!..» Что же делает мой местный тигр? Становится на колени: «Прости меня, бадя Василе,— говорит,— вот тебе мой мешок и делай со мной что хочешь!..» Вот что значит

с добром подойти к человеку. А покойный Кручану приходил ко мне только со злом и не раз, и не два готов был глаза выколоть мне, если не сегодня, так завтра: «У тебя,— говорит,— бадя, крадут». А я ему отвечаю: «А ты, дорогой Георге, только о ворах думаешь?! Я же, например, забочусь о людях...» Тут он начинал обычно стращать: «Я против тебя закон применю». «Хорошо,— говорю,— применяй, спасибо тебе на этом!» И как же он ко мне закон применил?.. Дал мне пощечину. А я ему: «Будь здоров, дорогой, благодарю... нет, не из моей руки вышел этот закон». Ну и тут в него демон вселился, и он бил меня, а если б убил, его б расстреляли по его же закону... Ирина вмешалась и больше того раздразнила в нем демона, начал он ее поучать, свою ненаглядную половину, и едва не пришиб... Вот как оно получается, когда злом на зло отвечаешь. Нет, а надобно зло добром пресекать... Теперь, слышу, затеяли новое зло, пустили анекдот по селу, будто я имел эту Ирину Кручану... то есть имел с ней тайную связь, и будто она по моему наущению мужа засадила в тюрьму! Эх, видать, совсем помутился разум людской, и они теперь злом отвечают на мое же добро!.. Будто бы в селе уже ни одного праведника не осталось — одни воры да развратники?..

Но, честно говоря, все меньше теперь находилось охотников расспрашивать да лясы точить со сторожем Кофэелом. Сидел он в своем саду по ночам все больше один, в гордом одиночестве блистая своей добродетелью, днями же отсыпался. Конечно, он на этот сговор пожаловал бы, чтобы на дармовщинку выпить и закусить. Но вот, однако же, ближние родичи его не позвали, потому что он надоел всем смертельно своими бесконечными проповедями о собственной доброте и неблагодарности окружающих.

— Ох и глупы бабы в наше время, не приведи бог!..— проговорила со вздохом мать невесты и будущая теща, намекая на Ирину Кручану, которая сперва засадила мужа в тюрьму, а потом просила ему помилования. Обе они с Волоокой, и жена и любовница, бегали по начальству и умоляли отпустить их Георгия.— Что это за семья такая, когда за любую обиду, за маленький мордобой — чего только не случается в доме — жена, раз-два, тянет по судам мужа! Что это за семья?..

И мать жениха, будущая свекровь, очень обрадованная этой речью кумы, головой закивала:

— Правду ты сказала, кума! Ирина сама во всем виновата, потому что семья не держится на судах, дорогие мои! И тюрьмой ее не удержишь... А если ссорятся люди и обижаются друг на друга, почаще бы им вспоминать, как они любили и целовались, не так ли?.. И незачем по судам бегать...— А про себя думала: «Какая, однако, умница теща будет у моего Тудора! И дочь свою вырастила по правилам: высшее образование дала и вот воспитательницей работать пристроила... А какие у самой твердые понятия о семье и браке! Ей-богу, с такой женщиной и поговорить — удовольствие! Будет у меня в жизни радость на старости лет, по-родственному станем с нею встречаться, рассуждать о делах детей и о жизни судачить...» А вслух между тем продолжала: — Покойный мой муженек тоже бывал тяжеловат на руку, упокой господи его душу. Десятый год одна маюсь, а слезы не высыхают... Как бы он теперь радовался с нами за этим столом!.. Ведь он, бывало, прибьет, тут же и приголубит, да еще словцо теплое скажет: «Жизнь, Касандра, это загадка! И если сам разгадать не сумеешь — ведь твоя она: с ней просыпаешься, с ней засыпаешь,— то никто тебе ее не станет разгадывать...» — И, поднимая стакан: — За молодых! Успеха и счастья! Чтобы жили в понимании и по справедливости. И чтобы деток своих вывели в люди... А то вот у Кручану трое осталось...

И тут еще тесть нашел нужным добавить:

— За тебя, дорогой жених! Молчишь, слушаешь?.. Это очень похвально. Ведь я тебе что скажу: в доме всякое бывает, и хорошее и плохое, а что делает человек? Сегодня он уступит, завтра уступит его половина... Семья — это дело тонкое. Это когда двое сговариваются и строят забор без столбов и без веток... Молодая семья прежде всего от людей отгораживается, чтобы в уединении и обоюдном согласии свить своему счастью гнездо... Взять того же Кручану...

А жених думал:

«Трус я или не трус?.. Взять бы сейчас да громко признаться, что у невесты — четвертый месяц беременности, старший сват не придет, потому что лично я никого не просил быть у меня отцом посаженым и вообще никакой свадьбы делать не собираюсь...»

Странным получался этот свадебный сговор без руля и ветрил. (Правда, родичи думали, что дожидаются главного свата в лице посаженого.) И общий разговор был

6*

похож на розу ветров: с одной стороны, о делах родственных, с другой — об этом Кручану. А самому жениху все это напоминало занятие по арифметике, на котором он вчера был у невесты в детском саду. «Детки, давайте сложим восемнадцать и девятнадцать. Девять плюс восемь будет семнадцать. Семь пишем, один в уме...» Тут занятие кончилось, ибо юный математик Федя упйсался. И получилось согласно написанному: 18+19=7... Точно так же и на нынешнем сговоре самое главное — в уме оставалось...

3

И жених брал стакан, протянутый ему тестем, и целовал руку того, кто желал ему счастья, и, едва смочив губы вином, подальше свой стакан отставлял. Сидел за столом послушный и тихий, ибо, будь его отец жив, не сидеть ему среди старших, а так как его отец получил смертельную рану при взятии Варшавы и потом пятнадцать лет угасал, сын прежде времени в силу вошел, и попробуй скажи теперь, что ему здесь не место! Были и у него свои представления о Кручану, и он решил поделиться:

— Как-то раз на мельнице говорит мне покойный: «Ты чей, пацан? Чего сидишь в стороне?!» А было это в шестьдесят третьем, в год смерти отца...— И, обернувшись к матери: — Мама, сколько же мне было тогда?..

— Как раз тринадцать сравнялось...

— Так вот, спрашивает меня бадя Георге: «Ты, малец, чей?» И так хорошо, сердечно спросил... А я не то чтоб ответить — чуть было не расплакался. Тут он по голове погладил меня и сказал: «И ты тоже боишься? Всем, даже детям страшно чего-то, кого-то... Или я страшен? А ты не бойся, такой уж у меня грубый голос, ничего на свете не бойся! Страх — это самое последнее дело...» Поднял мой мешок, очередь плечами раздвинул: «Посторонитесь, люди, здесь сынишка вдовы!..» И в два счета помолол мне...

«Что правда, то правда, был он человек не без сердца. Да будет земля ему пухом»,— подумал про себя Никанор, а вслух совсем другое сказал:

— Ну, что за характер? Заставил ребенка плакать, а потом приласкал...

А тесть на его слова жестко заметил:

— Жизнь, конечно, пестрая штука. Сегодня ты хоро-

ший, а завтра плохой. Но если уж обижаешь другого — обижай, доброе дело делаешь — делай. Только вот одного с другим путать не следует...— А про себя подумал: «Тоже мне, сделал доброе дело, оно ему ни копейки не стоило!»

А жена Никанора что думала, то и сказала:

— Тебе еще повезло, дорогой... Должно быть, ты ему в святую минуту попался!

И каждый был по-своему прав, ибо, когда речь шла о том, что Кручану был «груб», или же, что он был «не без сердца», слова эти не означали «грубость» и не означали «сердечность» в обычном их смысле, ведь это каждому из нас случается в жизни бывать и сердитым и добрым, а слово и сердце Кручану ни с чем не сравнишь; сразу же, как, бывало, откроет глаза и скажет «доброе утро» — даже в эти два слова, которые каждый из нас выучился говорить еще до того, как на него впервые надевают рубашку,— эти два слова звучали у живого Кручану, как пара костяшек на игральной доске: и было ему глубоко наплевать, что там выпадет — две шестерки или две единицы, будто его вовсе не интересовала игра...

— Так все же как, был добрым или недобрым Кручану?..— не унимался жених.

А гости пожимали плечами, вздыхали: «Куда ты торопишься, парень?.. И что ты знаешь о жизни? Был ты ребенком... и жизнь тебе казалась веселой игрой, а взрослые, когда угощали конфетой или просто гладили по голове, были — все сплошь — добрыми дядями. Вот только теперь жить начинаешь и, охо-хо, сколько всего насмотришься!..» И поднимали стаканы, и чокались, желая молодым здоровья и счастья, полям — урожая, людям — взаимопонимания и мира, сиротам — сердечности. Хорошей погоды и попутного ветра — всем, кто в пути...

И только жена Никанора Бостана ответила на вопрос жениха без всяких уверток:

— Ты у его родичей расспроси, какой он был добрый... Ведь у него, бывало, зимой и снега не выпросишь! Всю свою родню отвадил от дома: «Я, дескать, ни в ком не нуждаюсь, и вам ко мне ходить незачем». Думаешь, зачем это он перебрался на выселки из центра села?!

— А й правда, зачем перебрался? — задал с кривой усмешкой жених наивный вопрос, хотя внутренне весь кипел, его возмущал их хитрый обычай не называть вещи своими именами.

И тут теща вмешалась, ее буквально распирало желание самой ответить на вопрос жениха, но, по обыкновению, она сперва указала на мужа:

— Пусть мой вам расскажет!..

Тесть, слушавший уже давно жениха с нескрываемым любопытством, а пожалуй, даже с любовью (как-никак, но с настоящего дня он — отец невесты и тесть — приходился этому взрослому парню чем-то вроде родного отца, как самый старший и близкий мужчина в семье), сделал вид, что понятия не имеет об этой давней истории: «Переехать-то он переехал, а почему — откуда я знаю?»

Зато теща все доподлинно знала, наконец ее прорвало и она разразилась, однако все еще продолжая на мужа кивать:

— Мой знает, почему тот перебрался, мой знает! Скажи им, муженек дорогой... Ведь у нас с тобой столько разговоров-то было!.. Я ведь первая попросила тебя: давай, муженек, продадим наш дом в центре села... давай его продадим и переберемся на выселки! Вот где раздолье и птице, и свинье, и овце... Ведь край села — это край, пастбище близко, и никому не мешаешь. И травы можно кое-где накосить, и колхозная ферма под боком, а уж доярки всегда тебя снабдят комбикормом... И колхозное поле у тебя под рукой, надо только со сторожами сойтись покороче... И что же мне ответил мой, вы только послушайте! «Большой соблазн!..» — говорит. А я уж думала, что уломала его... И всегда-то он так: мягко стелет, а спать — жестко. Долго соглашался, да коротко отказал! «Да,— говорит,— женушка, решено... Малость пообождем, покуда все на край переедут, тогда и мы, глядишь, в центре превратимся в окраину». Вот и разговаривай с ним...

— Вы спросите-ка лучше, сколько у покойного стало соток на приусадебном, когда он перебрался в долину! — воскликнула жена Никанора.

— Да, но что досталось ему под конец?.. Три аршина на вершине холма!..— прозорливо заметила бабушка жениха, которую не покидала мысль о предстоящих похоронах.

Бабушкино вмешательство обезоружило женщин, и разговор как-то сам собой перешел на другое: «И для чего, скажите на милость, понадобилось докторам сердце усопшего? Что им может сказать мертвое сердце?.. Теперь они его, конечно, разрежут на сорок кусков, на то

они доктора, чтобы учиться на мертвых... Но как же похоронить человека без сердца?! И кто только позволяет такое?..»

А жених сидел в стороне и думал невеселую думу: «Трава... честное слово, трава, а не люди! Только б им местечко под солнцем занять... Цветут и пахнут — и все им на пользу!.. Рассуждают о мертвом Кручану, и он в их понимании такой же... трава, как и они сами. Хотя бы уж молчали, по древней пословице: «De mortuis aut bene, aut nihil» [1]. Что же остается после тебя на земле? Разговоры за стаканом вина, дети и внуки... дела, о которых опять же судят со слов твоих недругов?.. На что человеку надеяться в этой жизни? Время одинаково равнодушно стирает память о победителе и побежденном, равняет высокое с низким, мешает горечь со сладостью. Старики рассказывают, будто бы жил когда-то в соседнем местечке веселый кондитер. У самого щеки лоснились от жира, жена его, пугало огородное, в дверь уже не пролазила, а вскоре и вовсе разучилась с кровати вставать, а он потирал от удовольствия корот[illegible]е ручки и приговаривал, отпуская пирожные: «Мои клиенты — наивные люди! Им кажется, что они кушают сладости, а на самом-то деле они желчь свою пожирают, ха-ха...»

И тут жених услыхал поговорку, полюбившуюся ему с детства: «Воевода хочет, а Хынку — нет»,— и он прислушался к общему разговору. Женщины как раз рассуждали на тему о том:

— Кому теперь заботиться о детях покойного: Захарии, Ефтении, Алексею, Костаке, Кирикэ, Иону?.. Ведь все они Кручану, не так ли... кем они ему доводились?

В таких делах, конечно, никто не превзойдет женщину! Она терпеливо распутает самые запутанные родственные связи и отношения, как привыкла разматывать шерсть, сматывая нить в клубок... Действительно, и Костаке, и Захария, и Ефтения, и Кирикэ, и Ион с Алексеем — все они родные и двоюродные братья, дядья и племянники Георге Кручану, но здесь всплывает новое обстоятельство... Когда они добрались до их общего корня, до прапрапрадеда, который первым носил имя Кручану, то вдруг выяснилось, что поначалу его будто бы звали Хынку. И однажды, в летописные времена, когда напали на нас бесчисленные полчища турок, а господарь знамена

[1] О мертвых или хорошо, или ничего (*лат.*).

свои опустил перед этой угрозой, тот общий их предок — он тоже был вспыльчивым человеком — впервые в здешних местах выругался страшным ругательством «в креста его господа душу» (за точность, конечно, поручиться нельзя, ибо летописи об этом умалчивают, но старики вспоминают...). Слова эти возымели столь сильное действие на окрестных сельчан, что они тут же восстали против владык, и земных и небесных, укрывшись в соседнем лесу, а своего предводителя Хынку переименовали в Кручану, памятуя о крестной муке Иисуса Христа, давшего миру новое откровение... Так или иначе, но до нынешних дней благодарное человечество прославляет имя Хынку крестьянской пословицей: «Воевода хочет, а Хынку — нет!»

— Так вот, значит, где собака зарыта?! — воскликнул изумленный жених. А был он непростительно молод и не очень-то умел самостоятельно мыслить. Вот ведь в чем дело, в голове его впервые складывались вместе два разнородных явления: народная мудрость, которую он вспоминал в трудные для себя дни, и живой, симпатичный ему односельчанин Кручану, нежданно-негаданно умерший третьего дня. И к тому же представь, где, когда сделал он для себя это открытие? У себя на свадебном сговоре! Нет, здесь следовало основательно разобраться. С одной стороны, простой смертный, колхозник Кручану. С другой — победы или горькие поражения — неизгладимые свидетельства славы былой. И все же что-то общее есть между ними! Кто из нас с малолетства не мечтает о славе и подвигах? А живем мы чаще всего в наивной и мелкой суете повседневности, ненавидя или любя ближних своих: соседа, жену, любовницу, милиционера или какого-нибудь там Василе Кофэела... И помираем мы, как правило, тоже примиренные с прожитой нами жизнью и с мыслью примерно такой: «Какая там к черту слава? Живешь как трава, так же увядаешь...»

Но вот помирает Кручану, и что-то их заставляет, всех их — близко его знавших людей — поднатужиться мыслью (да-да, поднатужиться, я бы даже сказал, с каким-то настырным азартом), чтобы непременно уразуметь намерения и поступки покойного. Вроде бы дальнейшая жизнь и само понятие об их собственном земном назначении от этого во многом зависят! Вот Кручану морочил село своей дурью, спать спокойно не давал. И теперь, даже уже мертвый, он их не оставляет в покое, в эти

святые часы семейной радости он вроде бы здесь же, с ними рядом сидит, на самом почетном месте, да вроде бы еще и кукиш держит в кармане... А что в его жизни было такого особенного: ну, разрушил дом в центре села и перебрался на выселки (стало быть, мужик был хозяйственный!); ну, полюбили его две женщины вместо одной — и жена и любовница (подумаешь, великое дело?); и вот, наконец, помер (тоже, с кем не случается?) — и все?.. Может, они чего-то самого главного недоговаривают? Или мечты человека, мотивы поступков иногда бывают важнее реально прожитой жизни?..

И тут жених, самый молодой и самый любимый человек в этом доме и за этим столом, задал вопрос трудный и, пожалуй что, оскорбительный:

— А если был нехорош покойный Кручану, зачем вы его в правление выбрали?

Родичи молчали, отводили глаза, делали вид, будто бы не слышали, вообще ничего не случилось... И все, глядишь, обошлось бы, но жениха понесло, и он уже остановиться не мог. Он произнес такое бестактное, неуместное слово... абсолютно немыслимое в устах молодого человека, да еще на собственном свадебном сговоре, где до этого все шло чинно и благодушно, как это, впрочем, и полагается среди всех этих людей и будущих родственников...

И вдруг жених буквально потряс, сразил родичей наповал сказанными громко, внятно в их адрес словами: «Дурачье! Ох, и дурачье! Так вам и надо...» И тут же встал...

4

— Целую руку, бабушка,— сам жених уже потчевал сотрапезников,— кушайте, мамуцэ, пробуйте, тэтуцэ,— пробовал называть тестя и тещу как полагается,— и вы, мама, и вы, дядя Никанор, и вы, тетя Игдения, угощайтесь чем бог послал... Мне б все-таки хотелось узнать у вас, чем закончился тот скандал... Постойте, когда ж это было? Не в пятьдесят ли седьмом? Меня, помнится, в том году только впервые выбрали старостой класса, и я, конечно, в делах взрослых не разбирался. Но на отчетном собрании мне случилось сидеть с учительницей в первом ряду. Это было как раз после того, как навестили отстающих, и кое-что слышал своими ушами...

— О каком скандале он говорит? О чем речь? Какое

такое собрание?..— вопрошали друг друга сидящие за столом, еще толком не придя в себя после недавней грубой выходки жениха.

— Неужто забыли? А ведь был скандал потрясающий, когда этот самый Кручану...— Жених, может быть, искренне, черт его знает, а может, с какой-нибудь подковыкой, достаточно хорошо скрытой, пытался припомнить, не переставая удивляться их девичьей памяти.— Ну, конечно, это был тот самый Кручану, он крикнул вам в лицо: «Дурачье!» Да как же вы забыли?.. Ну, пусть кто-то другой, однофамилец Кручану, но помню только, как на общем собрании колхозников он сказал вам в лицо: «Дурачье! Ох, дурачье! Так вам и надо! Что вас за нос водил такой же дурак, как и вы!..»

Нет, с женихом, безусловно, что-то происходит... Не издевается ли он над ними?..

— Неужели покойный обзывал нас в лицо дураками? Вот так да... Где, когда могло случиться такое?.. Нас, сидящих за этим столом...— И родичи, сваты и сватьи ошеломленно переглядывались, но по мере того как нарастала растерянность, нарастал и протест, желание немедленно и без стеснения оборвать жениха: «Ишь, умник выискался! Староста класса! По какому праву родных обзываешь?! Нет, это уже ни в какие ворота не лезет...»

Беспокойство, неприязнь, подозрения росли, и вот уже теща прошептала своему супругу:

— Да ты погляди на него, не напился ли он? Мы сидим, беседуем, а жених глушит стакан за стаканом!..

— Безобразие! Где посаженый отец, что он там, помер?! — почти выкрикнул Никанор.

— Что тут такого, просто поговорили кое о чем... Собрание есть собрание. Для чего ж собираются люди?..— пыталась разрядить обстановку мать жениха.

Но где там, теперь остановить родичей было невозможно, они любую мысль по-своему переворачивали:

«Кончено дело! Теперь уж нам предлагают сидеть, как скотам бессловесным!.. Дескать, жених у нас городской, а мы — темные... Если мы крестьяне, так что ж, у нас разума нет? И с завязанными глазами живем? А кому, как не нам, крестьянам, приходится больше всех переживать! Ты, жених, стал больно грамотный, со своим средним образованием... А ну, подумай, откуда твои десять

классов? Они оттуда, откуда и все на земле,— из наших же рук!..»

«И как человеку не совестно! Называется женихом.., Пока мы были заняты разговорами, он уже приканчивает третий графин! Вот они, наши нынешние шоферы!..»

Ну, как спасти положение? Тут свекровь — хозяйка этого дома, ну, давай суетиться:

— Сваты, сватьюшки, родненькие, угощайтесь, кусочек хотя бы, хоть что-нибудь, пожалуйста, остывает!..

А мать ее, то есть бабушка жениха, напротив того, без суетни все повторяет и повторяет:

— Будь он проклят, этот Кручану!.. Прости господи, будто он у нас в доме помер...

А тесть на это, хоть вежливо, но все-таки настойчиво:

— Вот что, жених... Или ты приведешь посаженого, или я немедленно ухожу!

А теща не без ехидства:

— А что, мы разве посаженого венчать собираемся? А если он захворал или вызвали его куда... У нас что, свадьба не состоится?! Нет, не пришел так не пришел, и ждать нечего!..

Итак, считайте, что сговор расстроился. Благие начинания забыты, и то, что дело поначалу шло гладко, уважительно и солидно, а все собравшиеся были на высоте, памятуя о том, что сегодня закладывается фундамент новой семьи,— все рассыпалось прахом. Скажете, жених сам виноват? Молод, заносчив, не знает жизни с ее нуждой и лишениями, не набравшись ума, берется других поучать?.. Но почему никто не привел его в чувство, не оборвал, не прибил, в конце-то концов? Ведь он обидел самых близких людей, тех, которые ему жизнь подарили, для него построили дом, готовили свадьбу; и тех, которые для него растили невесту и теперь ее с рук на руки, насовсем и еще неизвестно, на какие муки, ему отдавали. Нет, таких людей нельзя обижать безнаказанно. И разве можно их доводить до отчаяния?..

Меняются времена, всему на свете бывает конец, но что-то главное передается от поколения к поколению, может быть, то, что мы называем духом народным?

Жених, видимо, тоже ощущал в своих жилах кровь предков, плевать ему на расстроенную помолвку и обиженных родичей...

— Неужели вы не помните, дядя Никанор... Вы еще сидели тогда в президиуме собрания... Как же звали то-

гдашнего председателя?.. Ну его еще три года подряд собирались снимать...— Жених в волнении тер лоб.— Фамилия у него начиналась на букву «Х» или «Г»... Гарбе... нет, Харбе...

— А-а-а, Хэрбэлэу, вот-вот...— вздохнули все с облегчением, словно мрачные тучи, сгущавшиеся над этим столом, теперь сами собой рассеивались.

— Ха-ха! Хэрбэлэу...— Люди смеялись. Что с ними произошло? Неужели их на сей раз осенило какое-то улыбчивое, добродушное божество, вроде древнеиндусского Вишну?..

— Хэрбэлэу? Это который застрелил, ха-ха! у себя на крыльце козу бабушки Сафты?.. Ха-ха-ха,— уже в голос смеялись.

— Он, бедный, подумал, что на него напали классовые враги, подосланные недругами, вроде Кручану...— сказал Никанор и при этом хлопнул себя ладонями по ляжкам.

Какое это благое дело — людской коллективный смех! И надо же было дураку палить в козу — чтоб соседи кинулись на помощь? И еще самому кричать: «Помогите!» А на крыльце — мертвая коза!.. В конце-то концов все на этой земле относительно! И если кто-то кого-то дураком обозвал, то ведь и дурак дураку — рознь. А уж если и дураки они, то дураки особые, хитрые... в отличие от бесхитростного, глупого, беспросветного дурака Хэрбэлэу... Например, слышишь «тук-тук» у входа в дом среди ночи... Говоришь: «Войдите!» Не входит. И снова «тук-тук». Что же ты, срываешь ружье с гвоздя и стреляешь в окно наугад?.. Много ли для этого ума надо?! «Хе-хе, посмотри на нас повнимательней, похожи ли мы на таких дураков?.. Нет, мы, конечно, не спорим, покойному ничего не стоило нас всячески обозвать, более того, он всегда мог поставить нас в дурацкое положение и даже избить при желании, как сделал это со стариком Василе Кофэелом! Но кто же из нас оказался в конце концов в дураках? А если он умник, то пускай прежде покажет свой ум... А если умный умирает по-глупому,— по правде сказать, сам на себя руки наложил,— то кто же тогда дурак?! Или скажете, что его дурацкая смерть — нашей жизни умней?.. А я так скажу: любой живой дурак мудрее мертвого умника...»

Примерно так мог думать любой из присутствующих. Во всяком случае, Никанор Бостан окончательно повесе-

лел и продолжал развивать свою мысль жениху уже вовсе миролюбиво:

— Так-то и получается... Сам портишь — сам чинишь! Кто теперь занимает третье место в районе? Мы!.. А где теперь Хэрбэлэу, который был у нас председателем? Собирает тряпки и кости в сельпо!..

Тут вдруг вскочила с места жена Никанора и, широко осенив себя крестным знамением, затараторила, обращаясь к жениху:

— Вот тебе, Тудор, истинный крест, ничего не знаешь, а в драку суешься! И скажу тебе, напрасно ты вступаешься за покойного... он был парень не промах. Ему пальца в рот не клади!.. Думаешь, из-за чего они с Хэрбэлэу схватились? Из принципа? Дескать, председатель разваливает колхоз? Как бы не так! Были у них старые счеты. Девицу, рыжую Аникуцу, дочь Сирицану, не поделили, еще когда были молодыми парнями... Досталась она Хэрбэлэу, потому как забеременела, бедняжка... впрочем, тоже ничего страшного, почему бы девушке не поиметь сегодняшней радости?! Да еще к тому же, если Хэрбэлэу вскоре женился на ней!.. Вот Георге и затаил злобу, а ты его теперь защищаешь...— Расправившись с женихом, жена Никанора обернулась ко всем со своей главной новостью и звонко, будто заранее торжествуя победу, выложила ее.— А теперь скажите вы мне, от кого забеременела красавица Виорика, дочь Хэрбэлэу, такая молоденькая?.. Этого вам ни папа, ни мама не скажут! А я вам открою... Встретила вчера рыжую Аникуцу, жену Хэрбэлэу, она уже бабушка и ведет за руку внука — хорошенького мальчонку. Ну вылитый Георгий Кручану! Вот, мои родные, как он двадцать пять лет подождал... и на молодой отыгрался!.. И как ведь, дорогие мои, пристроил ребеночка, кажись, если б он родился в королевских хоромах, и то б ему так не жилось. Прости господи, этому кручановскому пригулышу каждый день пупок лобызают: и молодая мамаша, и бабка — рыжая Аникуца, и сам дед Хэрбэлэу, кровный ненавистник Георгия!..

— Не может быть! — смеется теща.— Неужто могло такое случиться?!

— А что?! Кукушка птенца своего разве не сажает в чужое гнездо?!

— А иначе не одолеешь врага! — подмигнул Никанор жене.

И тут уже вдосталь все посмеялись, потому как от-

лично знали рыжую Аникуцу, и Хэрбэлэу, и красавицу Виорику, их младшую дочку, и все они были живы-здоровы и достойны были, чтобы над ними всячески посмеялись! Даже Георге Кручану — странный и непонятный всем тип, становился благодаря веселому анекдоту добрее, доступней и, пожалуй, роднее. Хотя каждый знал точно, что ничего подобного в жизни быть не могло, уже только потому, что покойный попал в тюрьму за полтора года до родов... Однако шутка есть шутка, даже если есть в ней капелька вымысла. Ведь именно в этой капельке вымысла заключена главная соль анекдота и едва ли не божественный его смысл... А как же иначе? Пусть они все вместе взятые и слыхом не слыхивали о древнем Вишну, но разве не доказали они только что с помощью своего вымысла его существование? Добрый человеческий смех — разве не самое мудрое божество на земле? Ведь только что они еще раз отомстили непонятному и недоступному — в конце концов чей же отпрыск этот, именуемый внуком Хэрбэлэу, который появился среди них не как все — то есть без сговора, без свадьбы, без отца, без деда, без дорогой бабушки... Припишем его Кручану и посмеемся надо всем тем, что смеха достойно, что несуразно,— от жизни ничего не пропало... И тем самым хоть на миг увековечим миг... да, да, «миг» того же Кручану, как увековечивали себя олимпийцы-боги в какой-нибудь там корове, оплодотворив ее предварительно, или в какой-нибудь девчонке, шедшей по воде и повстречавшей сатира...

«Ох, сколько лет еще потребуется человеку,— раздумывал Никанор,— сколько тысячелетий ему потребуется, чтобы хорошенько подумать над всем тем, что он потерял,— уже не станем думать, как за те же последние тысячелетья привыкли, только о том, что он приобрел...»

Да-да! И если бы сейчас над ними царил в небе Вишну, он бы вместе с ними смеялся! Ибо самое первое и самое древнее божество на земле — добрый человеческий смех. Все сложное, страшное он тотчас же преображает в доступное, радостное... Но давайте не будем витать в эмпиреях, опустимся на реальную землю, тем более что мы имеем дело с крестьянами... Есть такое великое народное средство из всякой борьбы выйти победителем. И даже когда тебя побеждает сильный противник, и уж тем более, если в запасе у тебя не осталось никаких серьезных аргументов... Скажи ему просто и коротко: «Сам — ду-

рак!» — и стой на своем, что бы тебе после этого ни сказали. Очень полезное и распространенное правило, помогает оно во всех случаях жизни, хотя — простенькое, вроде детской игры в догонялки, но без ведущего, ибо здесь каждый убегает от всех.

Сидевшие за столом люди играли в эту игру тысячу раз: и друг с другом, и с Георге Кручану, и, если хотите, с богами и далекими предками. Взять, к примеру, бога даков Замолксиса. Почтенный и старый корреспондент всемирной истории сообщает, что он провел свою юность в Греции, где был даже учеником Пифагора. Однако у знаменитого учителя перенял худшую сторону его учения — отбросил прочь математику и занялся черной магией. Сверх того, был он человек беспокойный, пройдоха, пропойца, совершил какое-то страшное злодеяние и вынужден был бежать. И очутился в Дакии. И здесь обманул не одного простака. Укрывшись надолго в пещере, разыграл перед толпой смерть и воскрешение из мертвых, а затем потребовал себе божественных почестей, одним словом, долго и безнаказанно дурачил и изводил несчастных людей... Вот ведь как остроумно придумано, какой же дурак после этого станет верить в подобного бога?

И говорит свекровь теще:

— Стала забывать, сваха, забываю и забываю... Пойду за чем-нибудь и забуду за чем, возвращаюсь и сама себе говорю: «Ну, за чем ты пошла, старая дура?!»

И теща — свекрови:

— Так оно, сваха, так... и если хорошенько подумаешь, охо-хо... скажу тебе, здоровье — всего дороже! А то у меня вдруг ни с того ни с сего в боку последнее время начинается колотье и свербение...

И Никанорова жена — мужу:

— А я тебе что говорю?.. Жизнь наша — роса! И стало быть, нечего выслушивать всяких там умников. Ноги тебя носят? Ну и живи на здоровье...

И бабушка жениха — неизвестно кому, ветру в поле, однако же не без того, чтобы на нее лишний раз обратили внимание:

— Больно уж они длинны теперь, воскресенья... А все почему? Потому что люди делом не заняты...

А задумчивый жених сидел в стороне, подперев голову кулаком, и думал свою думу. Он, конечно, знал об этом незабываемом, скандальном колхозном собрании

тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года значительно больше, чем показывал родичам. Еще бы, ведь он рос среди бесконечных разговоров и споров об этом событии, и сам, мысленно, десятки раз возвращался к тому, что тогда видел и слышал...

...Зал колхозного клуба буквально трещал от народа, колхозники туго набили все коридоры, и даже у окон снаружи сгрудились опоздавшие. Люди словно онемели в этой тесноте и толкучке, словно у всех разом отсохли языки, и им надо было еще не менее года подумать, прежде чем ответить на ясный, точно поставленный вопрос президиума:

— Хорош Хэрбэлэу как председатель или не хорош? Высказывайтесь, товарищи! Кто еще просит слова?

Кручану уже выступил. В большой аргументированной речи он вывел на чистую воду все махинации председателя Хэрбэлэу, доказал на цифрах, что под его руководством не только развалилась колхозная экономика, но и сама земля, в принципе хорошая, плодоносящая, теперь не в состоянии прокормить работающих на ней... И вот люди молчали. Не спорили, не соглашались — просто молчали, словно в рот набрали воды, а Кручану из глубины зала, из толпы, кричал, размахивая руками:

— Не хорош! И спрашивать нечего, не хорош!.. Эй, люди добрые, что ж вы молчите?! Может, я не то говорил, тогда спорьте со мной... Говорите же! Хоть что-нибудь говорите...— И видя, что все отворачиваются от него, в глаза ему не глядят (из трусости?.. от безответственности?.. или им самим уже плевать на себя?..), он, Кручану, опять просит слова.

Прошел по рядам, протискиваясь сквозь толпу, высокий, почти уже совсем седой в свои тридцать три года, встал перед сценой, сказал, обращаясь к президиуму:

— Дайте еще слово.

Конечно же ему разрешили... Видно, что-то важное хочет сказать человек, и, кто его знает, может, этот переполненный, наэлектризованный зал поручил именно ему сказать что-то от имени всех?..

Кручану поднялся на сцену, но не пошел к трибуне, а встал с краю и крикнул, полуобернувшись к президиуму и рукой указывая на зал:

— Вы их видите? Они молчат, и выходит, будто я набрехал... Так выходит?

И, повернувшись к сельчанам, гробовым молчанием

ответившим на его выходку, зло и вроде бы одновременно взывая к милосердию, крикнул срывающимся фальцетом:

— Так, глупые люди... так вам и надо! Хэрбэлэу хорош!..

И сжав кулаки, как-то потешно, боком, он спрыгнул со сцены; кто-то из школьников прыснул, а маленький мальчик в первом ряду даже зааплодировал (и это, как вы уже, верно, догадались, мог бы быть сам Тудор — наш жених).

Если бы Кручану оставался на сцене и не ушел из зала, еще неизвестно, как бы с ним поступили: могли плюнуть в лицо или даже побить за такие слова; а так он ушел, и люди сидели с открытыми ртами, потому как где это видано? И в помине такого не было, чтобы кто-то посмел обозвать все село от мала и до велика дураками — прямо в лицо?!

Вот так, неизвестно кому назло, еще на год оставили председателем Хэрбэлэу. Ах, как ясно все это помнится, потому что в то лето любая работа не ладилась, пока осенью на новом, на шумном собрании наконец не прокатили председателя.

И все это лето Кручану поедом ел Хэрбэлэу. И уже, казалось, никто на него не помнил обиды, потому что не было такого собрания в селе, где Кручану не встал бы против Хэрбэлэу и Хэрбэлэу против Кручану, словно бы их нечистая сила свела на узкой дорожке, чтобы грызлись до конца дней своих.

В то лето только, бывало, и слышалось по селу:

— Эй, идем на собрание!.. То-то весело будет... Снова сцепятся Хэрбэлэу с Кручану!..

И как только начиналось собрание, начинались и выкрики:

— Ну, Георге, давай!.. Спроси его, почему спустил воду из пруда? Чтобы на том месте разбить огороды? А откуда воду брать будем?!

Короче, не было собрания, на котором Кручану не вел бы себя как горький перец в борще. А село вдобавок подхлестывало:

— Давай, Георге! Жми, Георге! Первое слово Георгию!..

Имя его было у всех на устах, как, бывало, прежде поминали какого-нибудь Георгия Победоносца!.. И когда из партшколы вернулся старый председатель колхоза, он

тут же ввел Кручану в правление, чтобы он и здесь порядок навел...

Дальше думать жениху не хотелось. Дальше случилась беда, совершенно невероятная: Кручану поймали на краже! Как-то, говорят, темной ночью он пробирался по задворкам села с охапкою тычков (к которым подвязывают виноградные лозы!). Тычки были общественными, с колхозного виноградника, и по этой причине Кручану был немедленно изгнан из состава правления, более того, вся его добрая слава тут же обратилась в дурную, светлый его образ в сознании села затмился, как осенняя хмарь затмевает ясное солнце...

Но вернемся на сговор, в дом жениха... Почему никто не объяснит парню, в чем тут закавыка и что произошло на самом-то деле? Разве можно выбросить из памяти села человека из-за жалкой охапки тычков, человека, которого все почитали, словно какого-нибудь святого? Или все это было роковой ошибкой? Может, Кручану с самого своего рождения до смерти был проклятьем села?.. Нет, в любом случае жених не станет ничего выяснять. Он знает заранее все, что ему могут ответить:

«Нельзя оставлять безнаказанным проступок Кручану, ибо как же тогда бороться с большими хищениями? Ведь этот борец, с позволения сказать, за общественную справедливость сам запустил в общий карман руку по локоть! Нам, к сожалению, неизвестны все его похождения под покровом ночной темноты...»

«И главное, на что польстился?! На что разменял свою совесть?.. На сорок один тычок (их, конечно, тут же пересчитали). Мелочный человек!..»

«Позвольте, хорошо... Ну, допустим,— мысленно возражал им жених,— что такое сорок один тычок? Это даже не «ноша», и тем более не «поклажа», которую стоило бы красть,— это всего лишь несколько хворостинок под мышкой?! Он, Кручану, по-видимому, возвращался из сада, что за тем дальним прудом, и как только ступил на дорогу... глядь, на земле валяется тычок, чуть подальше другой, а там сразу два... Ну и что же, нужно было оставить их гнить на дороге?!»

— Я подумал, что они выпали из чьей-то повозки, видите, они все из акации, товарищи! — показывал Кручану при разборе его персонального дела на общем собрании колхозников.— И стало быть, они из той партии Булубики, которые из акации...

— Зачем ты их не оставил на месте лежать? Зачем собрал? Не нужно было их трогать!..

— Я их в правление нес...

— Посмотрите на него! Он в полночь огородами пробирался в правление?! — откровенно насмехались приятели Хэрбэлэу, бывшего председателя.— Вот здорово!

— Товарищи, неужели вы не верите мне?! Я же — член правления колхоза!.. Я же не мог без присмотра оставить общественное добро?!

— Теперь нам понятно, как ты «присматриваешь» за колхозным добром!..

А двое из самых добропорядочных и рассудительных на этом собрании встали и заявили во всеуслышанье:

— Вот такие дела, товарищи...— И, обернувшись к Кручану: — Молодец, Георгицэ! Мы теперь понимаем, почему ты враждовал с другим воришкой, критиковал его на каждом собрании... оба вы из одного теста, как говорится, два сапога — пара! И вам тесно было вместе! А теперь ответь нам на прямой, конкретный вопрос: почему член правления Кручану разрушил свой дом в центре села и перебрался на выселки? Откуда у него нашлись средства на новый дом с садом и большим виноградником? Откуда? Не можешь ответить?.. И мы не можем... А может, нам ответит колхозное поле?.. Понимаешь, в чем смысл этой истории с тычками?!

Кручану, говорят, снова обозвал их дураками и выскочил в дверь под громкий хохот колхозников, вызванный чьей-то шуткой: «Скатертью дорожка... честные спят в пеленках, дедушка!..»

Жених не находил себе места... Поведение рассудительных и добропорядочных сельчан возмущало его больше всего: нет чтобы выслушать человека и поставить крест на этой глупой истории с тычками, они еще больше раздули кадило, довели все до маразма!.. Жених распсиховался так, что, казалось, еще немного, и он начнет в своем доме бить посуду...

А сговор, пущенный на самотек, постепенно и естественным образом все больше превращался в обыкновенную гулянку.

— Ох, сваха, теперь и дни стали короче! Не успеешь повернуться, и уже вечер...— жаловалась теща свекрови, как будто бы не было минуту назад как раз обратного по смыслу заявления бабушки жениха: «Очень уж длинны

воскресенья... А все почему? Потому что люди — без дела!..»

Вот и бабушка жениха, начисто позабыв свое заявление, продолжает развивать чужую мысль, как свою собственную:

— А все почему? А все потому, что мало кто теперь праздники соблюдает... И получается, что дни — покороче, а работа, заметьте, стоит...

А жених сжимает челюсти, даже зубы скрипят: «Подумаешь, великие истины!.. Паскаль... Блез-Паскаль в четырех юбках!..»

И тесть исповедуется, обняв за плечи Никанора:

— Спокон веков на свете живем, сват Никанор, и все так же: трудишься скопом, а в гробу лежишь сам по себе...— И поднимая стакан: — Ну, будем здоровы!..

«Еще чуточку, и дойдут до кондиции!..— решает жених про себя.— Вот живут люди, а зачем живут, черт его знает?.. Живут, чтобы болтать... Трава растет, чтобы ее ела корова. Вот примерно на таком уровне мысли. Слова как обноски жизни... Таких идей можно наплодить сколько хочешь!»

И Никанор отвечает тестю, уже с трудом ворочая языком:

— Ты прав, сват... Но я тебе все же отвечу: один только помрет, и тут же на его место трое рождаются! В сельсовете всему ведется учет: у нас в году сто два или сто три новорожденных, а сколько помирают?.. Давай пересчитаем по пальцам!..

И они начали загибать пальцы, вспоминая покойников. Но жених их слушать не стал. На этот раз он налил себе одному полный стакан вина и начал его смаковать, как какой-нибудь бармен-любитель сосет свой любимый коктейль. Одна странная мысль занимала теперь жениха: что, если вдруг откроется сейчас дверь и появится на пороге... Георге Кручану? Войдет, поздоровается и сядет за стол вместе со всеми, интересно, как его встретят односельчане?.. Что они ему скажут: «Прости нас, Георге, говорим, буровим, болтаем, а что — и сами толком не знаем!..» Нет, пожалуй, такого они не скажут. Опять как-нибудь схитрят, начнут плести всякую околесицу, авось вывезет, например: «Привет, Георге, привет!.. Браво, Георге! А мы только что о тебе говорили... как это ты здорово повернул с тычками!..» И еще что-нибудь в этом же роде... а ну их всех к черту! К чертям собачь-

им!.. А сам бы я осмелился его об этих тычках спросить? Или, например, о его делах с Волоокой?..

— Все же, скажет мне кто-нибудь, что там было с этими проклятыми тычками... крал он их или не крал?! — взорвался жених, но почти никто не обратил внимания на его новую выходку. И только мать постаралась тут же пресечь и охладить его пыл:

— Пошел бы ты лучше узнать, что там с посаженым отцом.— Но это так, не зло, между делом, ибо за столом — гости, главная забота хозяйки.— Ну что мы привязались к Кручану, прости его господи и будь ему пухом земля, что, у нас нет других разговоров?! Вот, пожалуйста, пробуйте голубцы в виноградном листе, пока не остыли... А сын сходит за посаженым...

А жених только пожимает плечами: «Вот теперь они начнут хвалить голубцы, какие они аккуратные да ароматные!.. И плевать им на все горести и печали... Такая она, жизнь, вроде старой разжиревшей бабы, которая только о себе одной и думает! Какое ей дело до покойного Георге Кручану, когда и живого-то его она знать не знала и знать не желала?! Впрочем, это не так, не совсем так, вернее, вовсе не так... Судьба складывалась у Кручану, как и у любого из нас, пестро, однако она все же чаще улыбалась ему. Вот, скажем, жил на свете совсем юный Кручану, молодожен, умелец, мастак, в доме на главной улице, крытом дранкой, такой же хозяин, как и остальные в селе семьсот с хвостиком рачительных мужиков. Или тот, другой, непримиримый Георге, выходивший на каждом собрании на бой с Хэрбэлэу, с этим отпетым подлецом и мошенником. А вот еще один Георге, председатель ревизионной комиссии, стойте!..

«Постойте, дорогая моя родня и товарищи,— думал жених,— как же вы заведомого воришку, разоблаченного и выгнанного из правления, поставили у себя председателем ревизионной комиссии?!»

А спроси он об этом вслух, ему бы ответили обстоятельно и душевно...

Жена Никанора. Потрудился и снова заслужил уважение.

Тесть. История с тычками — это пятьдесят восьмой год, а в ревизионную комиссию его взяли в семидесятом. Чего же ты хочешь, двенадцать лет минуло?..

Бабушка жениха. Тычки из акации, те живут

лет десять, не больше, если, конечно, с самого начала на здоровье не жаловались...

Теща. Видишь ли, дорогой, чужая душа — потемки... И что там было в действительности — никому не известно!

Мать жениха. Он их перекладывал то под мышку, то на спину и уже заворачивал к дому, когда его накрыли свидетели... Но теперь и свидетели ни в чем не уверены... Дело-то было ночью!..

— Тьфу, чего она стоит, охапка тычков!..— Никанор говорил мягко, чуть слышно, точно самому себе отвечая.— Так что, может, и врут... а может, не врут. Ну, кто бы подумал?!

Нет, не у одного жениха болела душа. Человек этот был печалью, недоумением, загадкой и мукой для каждого из присутствующих, и теперь им казалось, что хоронить надо не просто покойника, а сразу двух, трех, четырех Кручану, причем, если подумать хорошенько, они знали и теперь как бы видели ясно каждого из этих Кручану в отдельности: один с домом в центре села, другой с домом на выселках, а еще один на собрании, взявший за грудки Хэрбэлэу и выбранный в правление, и в то же время еще один, маленький, юркий в ночи, на колхозном винограднике с охапкой тычков, и другой, уже с Волоокой, а потом еще, как говорит бадя Василе Кофэел, в которого демон вселился, и он, встав на четвереньки, воет на небо, на звезды, на луну и на солнце, и еще другой — с женой и детьми, и, наконец (который по счету?.. Не знаю, я уже сбился, скажем, последний), после тюрьмы, никого не желающий видеть, ни детей, ни Волоокую, ни жену,— самый последний, руки на себя наложивший, выплюнувший на виду у села жизни своей остаток (может быть, не самый приятный и сладкий), как мы небрежно выплевываем абрикосовую косточку...

Вот как много их было. Кручану! И чтобы со всеми ними сразу сладить и помириться, надо было подобрать одного и запечатлеть его в своем сердце, как в мраморе, а остальных похоронить вместе с телом, но это-то как раз и было труднее всего, ибо каждый Кручану — был Кручану с его рождения и до смерти, и если кто-то начинал горячиться, что, мол, вот он какой — годен и для памяти, и для похорон, то остальные решительно отвергали его:

— Обожди, сват, не горячись, дело было не так!

А помолчав, соглашались:

— Такой уж ему выдался круг...

— Говорю, не знал бедный Георге, на каком свете живет,— вздыхала мать жениха.

— Не знал, говоришь? А я говорю, планида ему такая!..— жизнерадостно возражала ей бабка.

— А грех?..— вела свою тему жена Никанора.

— Какой грех?! — оживился жених.— «Грех» — это тычки, стало быть, он их все же украл?..

— Я говорю о любовном грехе, парень! Вот если б он не сошелся с той косой беспутницей и не покинул семью...

— Замолчи ты со своими грехами дурацкими!.. Грех — дело нехитрое...— сердился Никанор, держа в руке стакан.— А ты думаешь, грех, вроде жеребенка, бегает по селу?! Подумай хорошенько...

Посмотрите на нашего жениха, ей-богу, свихнулся — не курил, а теперь, пожалуйста, закурил, сейчас его мать обругает.

— Оставь ты меня в покое, мать моя, мамочка, мама!.. В который раз я вас спрашиваю, а вы ни мычите, ни телитесь: украл он или не украл эти тычки, до-ро-ги-е то-ва-ри-щи!!!

Слова «дорогие товарищи» жених выкрикнул, растягивая по слогам и вытянув перед собой правую руку, словно происходило все это не среди родни, а на митинге, среди необъятной массы народа, чье внимание можно привлечь лишь каким-либо страстным призывом...

Никанор Бостан выкатил свои голубые глаза на племянника и рукой на него замахал, дескать, что это на тебя, парень, наехало?.. И, повернув голову к тестю, начал: «Наши-то, нынешние, сват, скажу я тебе, как мне кажется...» И вдруг на полуслове умолк; должно быть, его опять заколодило или, напротив, нашло какое-то просветление в дебрях его спутанных мыслей?..

Никанор уставился немигающим взглядом в окошко, сам-то он, наверное, понимал, что опять видит виденье, что ничего подобного быть не может, что сейчас за окном сгустившийся к ночи сумрак, и ничего более. И все же он совершенно реально видел за стеклом смеющуюся физиономию Георге Кручану... вот они повстречались глазами, и покойный ему подмигнул, одновременно указывая большим пальцем на жениха, дескать, попроси-ка его обернуться к окну, а я сейчас отмочу одну очень веселую штуку!.. Никанор послушно перевел взгляд на Тудора, а когда опять к окну повернулся, виденье исчезло. Так и

остался Никанор сидеть с разинутым ртом и изумлением на лице. Жена, обычно в таких случаях быстро приводившая его в чувство, на сей раз о чем-то крепко задумалась и молчала.

Тесть вздохнул: «Мда-ах!» — и задумался и он...

И даже бабка, что-то прошептав и быстро перекрестившись, молчала. И все остальные сидели в раздумье и словно бы ожидая чего-то... Какой-нибудь старинный писатель-романтик о них бы написал: «Лиц их легкой тенью коснулось крыло времени...» А нынешний «душа общества» в какой-нибудь шумной компании, если вдруг возникает такая томящая пауза, может схохмить: «Видимо, где-нибудь на планете сейчас родился еще один блюститель порядка — будущий центурион — милиционер...»

— Тише! Слышите, кто-то ходит?..— сказала мать жениха, настороженно прислушиваясь. Ей самой явственно слышались тяжелые мужские шаги по дорожке, ведущей от окна к входной двери дома.— Сынок, сбегай за ним поскорей, слышишь? Это пришел посаженый...

И тут собака на цепи заметалась, забилась, залаяла (но почему с таким запозданием?), точно взбесилась...

— Отопри ему,— просит мать.— Тудор, детка, открой, это пришел посаженый!

А у жениха ноги не слушаются, словно приросли к полу, и на лбу выступил ледяной пот. Уж он-то знает, какой это посаженый, ибо ни с кем на этот счет не договаривался...

И почему-то опять вспомнился ему урок арифметики в детском саду, и на ученической доске мелом неоконченное решение задачки: «18+19=7...» И ему вдруг подумалось: «Смотри-ка ты, тройка, оставшаяся в уме, в 4,28571, 4,28571 и 4,28571 и т. д. до бесконечности раз больше, чем написанные семь...»

И еще ему вспомнились бабкины сказки, которые она рассказывала в детстве, укладывая его на ночь в кроватку, нет, и даже не сами сказки, а то тревожное чувство ожидания и сладкого ужаса, которое он испытывал засыпая, уже опустив усталую голову на подушку, закрывши глаза и... один на один оставаясь — с самым страшным, с непостижимым для самого себя человеком — с собою!

Странное дело, этот матерый матросище и шофер первого класса теперь лихорадочно перебирал в уме глупые бабкины байки о том, что душа только что умершего человека ходит среди людей и покоя себе не находит, пока

тело не упрячут в могилу, она и потом еще какое-то время не может расстаться с землей, кажется, 40 дней?.. (Кто-то колотит в дверь кулаками...) Стало быть, еще 40 дней впереди...

— Ты слышишь меня, Тудор? В дверь стучат! — трясла его за плечо мать. И потому как он — бывший матрос и шофер первого класса, он поднимается, идет к двери. Снимает щеколду. Дверь открывается... Стой, Тудор, где же ты, мамин жених, где посаженый, тьфу ты?! А на пороге... кто?

5

На пороге стояла невеста.

И так как все только что думали о другом, а вернее, именно потому, что им только что было страшно и все они абсолютно о другом думали, теперь они без всякого перехода, гневно и вызывающе-весело уставились на невесту: «Что ей здесь надо? Виданное ли дело, чтобы невеста пришла на брачные переговоры о ней? Это прямое нарушение обычая! Но может, случилось что?.. Или кто-либо из старших вызвал ее сюда?..

— Здравствуйте...— произнесла она еле слышно.

Вид у нее был растерянный, немного испуганный. Точно она дверью ошиблась и вовсе не ожидала застать своих родителей в этом доме!

И будущая свекровь, как хозяйка этого дома и мать жениха, постаралась ей возможно мягче ответить:

— Здравствуй, детка! Эта бешеная собака, надеюсь, не укусила тебя?..

— Собака?.. Ей уже пора ко мне привыкнуть... Хотела ее погладить, а она вдруг залаяла...

Что там собака!.. Вот и жених появился в дверях. Теперь она как за каменной стеной, ведь это он вызвал ее сюда... Да и сама — не маленькая, двадцать два недавно стукнуло. И уже год проработала воспитательницей в детском саду, теперь вот переводят в школу-интернат райцентра Унгены, словом, вполне самостоятельный человек. А посмотришь со стороны, ей-богу, сельская, застенчивая девчушка, только что получившая строгий нагоняй от любящего папаши: «Там, где собираются взрослые, мамина и папина детка, там нечего делать ребенку... В конце концов это стыдно! У старших свои разговоры, свои дела и, если хочешь, даже секреты!..»

И вот для нее уже нет недоступных и заманчивых взрослых секретов...

Однако глядя сейчас на нее, такую робкую и притихшую, какое сердце не отзовется теплом, какой язык повернется сказать грубое и обидное слово?..

«Милая, дорогая моя, да понимаешь ли ты сама, что такое НЕВЕСТА?! Это неземное, необыкновенное существо, ведь в нем втрое, вчетверо больше стыда и страха, чем в каждом из нас! Недаром же, бывает, самой воспитанной, самой стеснительной девушке в сердцах говорят: «Ну, что ж ты, голубушка, расселась, словно невеста!..» Стало быть, понимают, что невеста — это уже вообще что-то из рамок вон выходящее, ведь бывает невестой женщина только раз в жизни своей...»

Так думали родители и уже смотрели на свою своевольную дочь поспокойней, помягче...

«Девочка наша, ведь мы, старшие, любим тебя и собрались сюда для чего?.. Чтобы твое счастье устроить! И незачем тебе было сюда приходить, то есть и теперь, конечно, никакой беды не случится, а все же не нужно бы!.. Ведь люди думали тысячи лет, прежде чем до свадебных обрядов додумались, и лучшего, ей-богу, ничего не нашли... И не бойся, глупенькая, приведет тебя в этот дом в день свадьбы красочная процессия — подружки и дружки, музыканты и посаженый с женихом, а впереди тебя приданое понесут с веселыми прибаутками, с прихлопыванием да приплясываньем!.. Маленькая наша, зачем же ты, словно нищенка, приходишь сюда, сама себя обобрав, самых главных, самых красивых радостей не дождавшись?! И уж поверь нам, горькому нашему опыту верь, не все тебя хорошо поймут, так вот, как мы. Найдутся злые люди, увидят тебя и выставят на позор, скажут: «Невиданное, небывалое дело! Ни стыда, ни совести нет у нынешних невест... в день сговора сами к жениху бегают...»

Она слов этих не могла слышать хотя бы уж потому, что они не были сказаны вслух. Но, видимо, почти то же самое она теперь сама себе говорила... Стояла в дверях ни жива, ни мертва... Так что родители, глядя на нее, не на шутку встревожились.

«Может, ее все же испугала собака?.. Что случилось, доченька? Дом загорелся? Умер кто?.. Какая нечаянная беда с неба свалилась на наши бедные головы... Мы сидим здесь и твое счастье устраиваем. Трудный сегодня день: поймем ли друг друга, породнимся ли?.. Быть свадьбе или не быть? Ты же являешься сюда как гром среди

ясного неба... Может, передумала? Так скажи об этом прямо, переговоры еще не закончены, а честно говоря, еще и не начаты...»

— Тудор, сынок,— говорит мать жениха,— принеси стул для Нины... разве в этом доме нет больше стульев?..

А мать невесты молчит. Может, ее дочка постоит-постоит и уйдет, а сговор как ни в чем не бывало продолжится и не будет нарушен дедовский, красивый обычай?.. И в то же самое время жалость раздирает ее материнское сердце: «Видишь, мамина детка... Разве можешь ты понять, чего стоит мне это молчание?..» Наконец она не выдерживает, обнимает дочь и спрашивает со слезами:

— Ну, что там случилось?

— Раз пришла, стало быть, что-то случилось,— отвечает жених независимо, внося в комнату стул.— Садись, Нинуца...

— А может, у молодых здесь свиданка назначена и мы им мешаем?! — выплеснул Никанор распиравший его гнев жениху в лицо.

Большей насмешки, оскорбленья, обиды, видимо, никто не слыхал на свадебном сговоре! Родители невесты головы опустили, тесть даже закурил папиросу: «И посаженого нет... Какой уж тут сговор?! И речи не может быть... А дочь наша, пожалуйста, сидит рядом с этим... матросом, будто они век свой прожили вместе! А там поди знай... Господи, что за времена? Что за порядки такие... Что за мерзость?!»

Молчала невеста, молчал жених, молчали и все остальные. Сейчас они, должно быть, не помнили недавние свои рассуждения о любви и о смерти. Конечно, одно дело разговоры вообще, другое — твоя собственная любовь или смерть... Куда подевались их выдержка, хладнокровие, важность, всезнание и всепрощение (ох, тресни земля и поглоти нас!) — все происходит как раз не так, как мы бы хотели...

Желчные слова Никанора Бостана, казалось, висели в воздухе над этим столом, как, не рассеиваясь, стоят зловонные автомобильные газы над свежевыпавшим снегом.

Вот стало неловко и самому Никанору, и он пытается пойти на попятную:

— Я думал, может, вам захотелось пойти в кино или на танцы?

Но жених довольно бесцеремонно обрывает:



— Откуда ты это взял? Видишь, за стол сели...

«Кто его научил так разговаривать?.. Во всяком случае, не там, не на его лодках подводных... Будто я сам в армии не служил?! — думает обиженный Никанор.— По Африкам да по Кубам... где его только не носило?.. В этой своей полосатой тельняшке, как тигр, бороздил моря-океаны... Рассекал бурные волны, как мы ковыряем ложкой в борще... тьфу! — мысленно плюнул Никанор.— Кто я ему, младший брат или дядя?!»

А мать, как всякая мать, не может не думать о дочери:

— Нинуца, дорогая, тебе было бы лучше надеть то, темное платьице, с длинными рукавами...

А жених ей на это:

— Оставьте, мамаша. Она сама знает, что ей лучше. И что теперь носят...

«Ох, будто не она, мать, родила эту доверчивую дуреху и заботилась о ней двадцать два года!..»

«Этот вихрастый, в синюю полоску, забрал ее в руки и поучает... будто ему одному на белом свете известно, как себя должна вести моя дочь, что должна говорить и во что одеваться!..

Смотрите, на глазах у всего честного народа он берет ее за руку и держит, точно слепую!.. О, господи... о чем мы только что говорили?.. Кто еще ведет себя так в нашем селе: плюет на людей, насмехается над святынями?.. Вурдалак... самый настоящий, честное слово!..»

Теща не отрываясь смотрит на жениха, она совершенно опешила. А тот поднимается с места, расправляет свои могучие плечи матроса и шофера первого класса и высоко над головой возносит на три четверти выпитую бутылку:

— Зачем мы здесь собрались? Чтобы пить-веселиться... Поэтому я предлагаю всем выпить. А ну, поднимем стаканы! Сговор наш вылетел в тартарары!.. Какой еще сговор? На кой ляд, я вас спрашиваю, нужен мне посаженый, когда вот она — моя дорогая невеста, рядом со мной!.. Теперь выслушайте меня, я вас весь вечер слушал и смотрел вам в глаза... и ни черта в них не увидел, кроме... Да простите меня за резкость — говорят, есть понятия: непроходимой тупости и сытой тоски!.. А каким тоном, как самодовольно и важно, словно из желудка, рассуждают эти понятия о жизни... Я вам точно скажу... Так любит человек потрепаться за стаканом вина, чтобы время убить. А я свое время дальше убивать не намерен. Хочу жить. Каждое мгновение. Ибо жизнь состоит из мгновений. И сама она — мгновение по сравнению с вечностью, как сказал какой-то философ. И я это принадлежащее мне лично мгновение, вы слышите, почтеннейшие, никому не отдам! Этому меня научили: руль, океанские просторы, машина, иностранные женщины, скорость, спешка, заграничные фильмы и еще многое такое, о чем я не стану здесь говорить. А теперь, верчу ли я баранку, ласкаю ли женщину,— я прежде всего удовольствие получаю, имею на это право,— между прочим, сам себе зарабатываю на жизнь... «Такой уж мне выдался круг»,—

как абсолютно верно заметила бабушка! Но какой именно круг? Вот в чем вопрос... А круг — это эпоха, в которой ты родился... Это рубашка твоя! А посему предлагаю всем закруглиться и выпить. Мамаша... Папаша...— чокнулся он своей бутылкой с тещей и тестем.— Поднимем стаканы! И ты, бабушка, и вы, тетя... Что вы такие хмурые, словно на поминках у...— Он бы непременно сказал, у кого сейчас они могли бы быть на поминках, но посмотрел на остатки водки в бутылке, зачем-то поболтал их и сказал матери: — Мам, посмотри, там в буфете стояла бутылка «Московской». А от вина меня, не знаю почему, мучит изжога...— А затем снова к сидящим за столиком, как заправский тамада на интимной пирушке в фешенебельном ресторане:— Дорогие и горячо любимые родичи! Предлагаю вам выпить за наше совместное с Ниной решение...— И после паузы, оценив произведенный этими словами эффект: — Мы решили с Ниной никакой свадьбы не делать!

«Дорогим и горячо любимым родичам» показалось, что чего-то они недослышали... В первую секунду оцепенели — вероятно, так цепенеешь, когда вдруг пуля со свистом врежется в стену совсем рядом с твоей головой...

«Что он сказал?.. Как же это — не делать никакой свадьбы, а что же делать?! Для чего мы здесь сидели целое воскресенье?.. Он что, издевается, дураками нас выставляет?.. Значит, он заранее что-то готовил? Ах, вот почему не пришел посаженый!..»

Никанор насупился, пошевелил пальцами правой руки, будто они у него затекли... Тесть уставился на тлеющий огонек папиросы: «Гори, брат, гори... больше нам ничего не осталось!..» Жена Никанора начала вдруг с жаром завязывать себе косынку вокруг шеи, совсем как девочка перед тем, как сесть на качели... Бабушка решила сделать вид, что она что-то жует, хотя во рту у нее не осталось ни единого зуба, да и вообще крошки там не было в данный момент... Мать невесты перевела взгляд с мужа на жениха, потом на дочь-невесту и снова на мужа. Казалось, она вот-вот закричит: «Караул, люди добрые, убивают!..» Или чуточку точнее и проще, но не менее горячо: «Вот, муженек, тот самый вор, который разорил и ограбил наш дом!»

И только невеста, пристально всматриваясь в пустое блюдо из-под холодца (словно там копошился рой каких-то никому не ведомых крылатых муравьев?..), время

от времени поднимала на своего суженого сияющие счастьем глаза. И так ярко светились в них любовь, восхищение, восторг (ей-богу, зависть берет!), безотносительные ко всему, что бы он ни говорил и ни делал...

— Как это так... решили не делать свадьбы? — произнес с кривой усмешкой Никанор... Взглянул на свою двоюродную сестру, мать жениха... Та сидела с опрокинутым, совершенно несчастным лицом: «Сама ничего не могу понять, братец!..» И притом, бедная, еще пожимала плечами...

В это время жених, на короткий миг отлучившийся, с треском выставил на стол три бутылки «Московской».

А Никанор поспешил перейти в наступление, пока еще не поздно:

— Обожди!.. Если рвешь дело, то позови посаженого. И скажи ему, что рвешь. И пошли его...

— И пошлю. Непременно пошлю. За чем дело-то стало, но я бы хотел, чтобы при этом были только свои,— успокоил его жених.

«Нет, вы только послушайте!.. Он все рвет, еще и посаженого обматерить обещает, заставляет всех краснеть и при этом говорит: «Хочу, чтоб были только свои»?!»

— Я должен вам сообщить одну маленькую деталь...

«Слыханное ли дело? Де-таль!.. Собрал полный дом гостей, заставил мать угощенье готовить, а потом всем предъявляет какую-то маленькую... деталь? Ну, я ему покажу... Дай только гости уйдут, изобью! — думал Никанор в бешенстве.— Тьфу, да я ему в лицо плюну!..»

Но бывший моряк, ныне шофер первого класса, все видел, все понимал и уступать инициативу не собирался. Он напал первым:

— Да, да! И нечего тебе, дядя Никанор, куражиться над людьми!.. Что ты там пожимаешь плечами? Никакой свадьбы не будет, я сказал — и крышка!.. Однако это не значит, что мы расстаемся...

«Ах, вот значит, она — главная новость?..»

— Я понимаю, наш ультиматум...— продолжает жених.

«Ого, уже ругается матом!..»

— ...вы постараетесь не принять. Начнете возмущаться, уговаривать, плакать. Но все напрасно. По глубокому нашему убеждению...

«Подумайте, у них свои убеждения?!»

Жених перевел дух и как бы начал издалека:

— А как устраиваются у вас свадьбы?.. По этим вашим обрядам... Честное слово, они больше похожи на сборище пьяных вандалов, чем на свадьбу!..

«А это еще что такое: «ван-да-лы»?!»

— Жених с невестой сидят в центре стола, словно на привязи. То и дело их понукают, как жеребят на прививке у ветеринара: «Целуй руку вот этому... твоему крестному!» А мне глубоко наплевать, что я вами крещен в несознательном возрасте! А если мне стыдно, что я — крещеный?! Что вы на это ответите?.. Вот когда хотели меня принимать в партию, еще на подлодке, я думал: «Что писать в своей биографии? Нельзя же умолчать об этом позорнейшем факте!» И я извинился перед людьми и взял свое заявление обратно... Но я ничего не забыл, ничего не простил — и вот теперь отказываюсь участвовать в ваших пошлых обрядах, которые унижают личность и только плодят лицемерие!.. Жених с невестой не празднуют свадьбу, а ублажают гостей, исполняют ваши пьяные прихоти!.. Зачем же я ее,— жених осторожно обнимает за плечи невесту,— мою подругу, навеки поставлю на позор и на пытку? Вот, скажем, мы сидим с ней, как сейчас, а какой-то из гостей, скажем Лимарэу, наш сосед, между прочим, хотя и пьяница беспробудный, но ваш кум, мама,— попробуй-ка его не позвать!..— поднабравшись как следует, так, что уже и лыка не вяжет, уставится на меня, на невесту и своим слюнявым ртом завопит: «Горько! Горько!» И я обязан выполнить эту прихоть пьяного идиота?!! И вообще, с какой стати целоваться на глазах у людей?!

— А меня тошнит, глядя на вас! Когда вы целуетесь под заборами, на улице, среди людей, не раз видела!..— вскочила как ужаленная жена Никанора.

— Это мы целуемся?..— удивился пораженный жених.

— Да вот хотя бы вчера, на кишиневском базаре, двое таких волосатых, как ты, целовались среди бела дня!..

— Замолчи!! — заорал на жену Никанор.— Это же был не Тудор...—И он мягко кивает племяннику:— Продолжай.

— Не стану я, тетушка, выполнять прихоти пьяного Лимарэу,— уже несколько успокаиваясь, объяснял ей жених,— и вообще шутом быть не желаю... а то ведь и рассердиться могу! — И улыбнулся своей дорогой тетушке, которая когда-то в детстве таскала ему в фартуке

майские черешни из колхозного сада.— Зачем ей, невесте моей, пускать слезу, уходя из родимого дома, когда она этого часа по закону природы, по законам социологии ждет не дождется? Чтобы соседи ее дурой не обозвали? Будто, если она поплачет, сразу и поумнеет!..— И вздохнул глубоко:— А по-моему, все это похоже на цирк... И, если хотите, я вам всем куплю билеты на представление.

Отец невесты забыл про папиросу, которая, казалось бы, только что более всего занимала его. Он сейчас старательно думал, и постепенно его охватывало какое-то странное чувство, не то уважения, или, может быть, робости перед зятем: «Вот вам, пожалуйста, вполне зрелый и современный мужчина, и он идет ко мне в сыновья... больше всего меня удивляет, что он только нашел в моей глупенькой девочке?.. Послушайте его — адвокат, да и только!.. Этот не то что сельской учительнице, профессорше может запудрить мозги! И ничего удивительного... Побывать глубоко на дне океана, где-то у самой Африки... конечно, тут можно и призадуматься: крещеный или некрещеный... кто там есть — бог или черт!.. Нет, недаром говорят, после всего он и в райцентре сделался заметной фигурой, возит начальника пожарной команды...»

А у матери невесты застрял комок в горле, и она никак не могла его проглотить :

«Ах, зачем я растила эту чужую мне девушку?! Зачем готовила ей приданое? Ночей не спала, во многом себе отказывала, недоедала, все копила-копила... Теперь она меня знать не хочет... Нет, постойте, почему жених завел разговор о крещении? Видимо, он не хочет венчаться?.. Если это так, я ее задушу...»

А Никанор уже быстренько про себя порешил, как перевести всю эту баталию в шутку:

«Пожарники, как и военные, подчиняются приказам и носят форму... Свадьба, постойте-ка, как это племянник ее обозвал,— сборищем? Похоже на то... Собирается разный народ, отсюда и опасность пожара... Ах, вот оно что! Стало быть, мы приглашаем на свадьбу начальникараймилиции и начальника пожарной команды! «Очень вас просим, товарищ майор, придите на свадьбу... Мы сами позаботимся о песке, вы прикатите на двух пожарных машинах... В случае чего — будем поливать? Не волнуйтесь, потушим! Мы — люди простые, работящие, привычные ко всему...»

А мать жениха думала про себя, как в таких случаях думает немолодая вдовица:

«Нет, они просто стесняются нас: мы — крестьяне, они — горожане... Людям, пожившим в городе, не по нраву сельская грязь и пыль... Да и нового дома мы им не успели построить, как некоторые...»

Жених же ораторствовал:

— Сейчас по всему свету идут социально-сексуальные революции! Что это значит? А вы почитайте «За рубежом» — увидите: толком не знает никто, но участвуют многие... Единственно разумное: людей больше не загоняют в брачное стойло, как каких-нибудь бессловесных скотов!.. И это я одобряю — живите и размножайтесь.

«Господи, что он несет?! Мы родились на этой земле, она нас кормит, и она нас принимает в себя, когда мы умираем... Отнесись же и ты снисходительно и благородно к людям, родившим, воспитавшим тебя!..»

— В Италии, говорят, наконец разрешили разводы. А в Китае и вообще в Азии противозачаточные средства раздают населению бесплатно.

«В трудные годы мы растили тебя. А иногда, когда дров даже не было, мы своим горячим дыханием тебя согревали, как это делают с воском, разминая его меж ладонями, очерствевшими от работы... И мы искренне верили, что ты вырастешь лучше, умнее нас и добрее нас. И заменишь нас после смерти...»

— А в Англии и Америке, говорят, последние годы развелись какие-то хиппи; ну, эти вообще живут бессистемно, этого я тоже не одобряю. Я за разумное и свободное супружеское содружество. Я, например, Нину очень люблю и хочу с ней встречаться. Ну и встречаемся! А у вас — обязательно штамп, и без этого штампа нельзя. Так вот, я плюю на штамп! И ты, Нина, тоже! Прав я или нет?

Невеста молчит.

— Ну и с недавних пор мы решили, да! Мы хотим свое чувство проверить, потому что без всяких штампов верим друг другу!..

А его старшие: мама родная и престарелая бабушка, думали: «В чем дело? Что происходит?.. Кто этот человек: грубый, жестокий, напористый, необузданный, дикий?.. И это наш жених дорогой?.. Как же это мы его проглядели... Свою кровь, свою плоть?.. Может, еще не поздно по-

влиять на него своим снисхождением, мягкими, полными понимания словами?..»

— Мы будем жить просто так, а когда у нас появится маленький... вот тогда мы вам настоящую свадьбу устроим! Такую свадьбу, что вы закачаетесь! Созову своих приятелей со всего белого света, кое-кто еще плавает... Вот, например, в Рэдэнах, по соседству с Унгенами, живет Лаптсакру, он видел своими глазами, как в американских прериях укрощают диких мустангов. Он вам об этом расскажет на свадьбе!..

«Отчего это нынешняя молодежь делает из своей жизни норовистую лошадь и все непременно пытается с хвоста вскочить на нее?.. Нравится вверх ногами лететь через голову?.. Действительно, дикие забавы американских прерий, езда на мустангах!.. И ломают себе люди по-глупому ребра и поясницу. Безудержно хохочут и плачут на хребте у животного... ни в чем не повинного, бедного!.. А посмотри-ка на всю эту петрушку глазами невинного существа, хотя бы того же мустанга: куда ему, бедному, деться, все меньше остается на нашей планете и прерий и джунглей?..»

— А в Кишиневе живет Гарик Хлябинский, бывший моряк торгового флота. Он, бывало, как попадет в Испанию, сейчас же идет на корриду, и эти бои быков изучил не хуже испанцев! За это одна прогрессивная миллионерша напечатала его фамилию на афише, среди известных матадоров Испании! Любитель же он! Так вот, Гарик Хлябинский тоже обещал приехать на свадьбу и устроить здесь, на площади возле сельмага или уж, на худой конец, в нашем дворе, показательную корриду!

«Вот, пожалуйста, теперь он нам в лицо издевается, посмотрите-ка на него!.. В руке горящая папироса, встал над столом, орет, как испорченный телевизор, трясет своими могучими телесами под полосатой тельняшкой... Будто он не в доме у своей матери, а где-нибудь на берегах Океании, и ему хочется позабавиться над обалдевшими аборигенами, которые таращат на него глаза, не понимая ни слова...»

— Сложней всего подыскать подходящего для корриды бычка... Но я, между прочим, держу одного на примете, красного бугая... совсем как на той афише!

Родичи озадачены, не знают, что говорить и что думать: «Ничего подобного мы не допустим... Надо об этом прямо сказать, сию же минуту! Красного бугая, о кото-

ром полосатый сказал, придется убить, сдать на мясокомбинат в счет мясопоставки... не хватало нам только корриды в нашем селе!.. Избави нас, господи... А этого горлопана и умника в матросской тельняшке мы удавим собственными руками, он из нашей породы, наших дорогих кровей, малость, правда, подпорченных, между прочим любовью, которой мы его окружали на каждом шагу... Вот и вырастили мустанга... А что такое мустанг?!»

— Что такое свадьба? — продолжает жених.— Свадьба есть первый шаг, который делает человек к самостоятельной жизни... А если так, то разрешите нам наше интимное дело устроить демократически! Не надо нам свадьбы! Ну что, скажите, в этом плохого? Уж если вы разрешили, чтобы мы взяли друг друга... согласились на брак, теперь уж, пожалуйста, не мешайте нашей совместной идиллии!.. Ведь я почему не позвал посаженого?.. Там, где двое, там третий... появится. И для этого вовсе не нужен четвертый!.. Не волнуйтесь, четвертого мы вам тоже родим, но, конечно, не сразу...

Родичи смотрели на эту пару с грустью и думали:

«О нем и говорить нечего... А посмотрите-ка на нее. Сидит, как пленница, со стыдливо опущенными глазами... пленница? Как бы не так! Вторая Волоокая, только помоложе и с невинностью на лице! Погодите, вот нарожают они и вырастят деток, во всем на себя похожих... и останется только — крестным знамением креститься, глядя на них!..»

— Смешно,— продолжал жених,— смешно и глупо участвовать в ваших обрядах!.. Посыпать зерном жениха и невесту... Разламывать калачи над их головами... Платки, полотенца, кольца, дары и подарки; сюда же еще посаженый, друзья жениха, подружки невесты, дру́жки или дружки́?.. ша́феры или шафера́, или наконец просто шафе́ры?! И среди особо приглашенных, конечно, тетушка Кира, она напомнит, как лечила меня в детстве от лихорадки и от ангины?.. Прин-ци-пи-ально!.. Слышите, повторяю, мы с Ниной прин-ци-пи-ально не хотим свадьбы!..

И здесь Никанор, как мог, осадил его:

— Пожалуйста... ваше дело!.. не надо... но только... хочу спросить у тебя: где ж ты думаешь жить дальше?

— Как это где? Тысячи раз говорил: квартиру мне дают на работе!..

«Он либо дурак, либо сроду так... либо нас круглыми дураками считает! — думал Никанор.— Ладно, я готов

потерпеть... Он пока молодой и здоровый, как бык,— стало быть, умный... Ничего, мало ли кто записывал нас в идиоты? А теперь вот и наш племянник любимый куражится... ему, видишь ли, прин-ци-пи-альность не велит свадьбу играть!»

— В последний раз спрашиваю, где ты думаешь жить, парень?! В лесу или среди людей?! А ну, со всей своей принципиальностью говори!..— крикнул Никанор.

— Что ты хочешь этим сказать? — захлопал глазами племянник.— Что-то я не понимаю тебя...

А мать его со своего места пролепетала:

— Тудор, дорогой... может, вы передумаете...

— Ах, оставь, мама,— устало ответил жених.— Поздно думать о свадьбе, когда у невесты уже четвертый месяц беременности... о пеленках самое время подумать! — И вдруг, неизвестно чему возмутившись: — Или ты думаешь, что я пьяный?!

Отец невесты медленно, с достоинством поднялся со стула. Сказал мягко жене, сознавая всю безнадежность своего положения:

— Пойдем, дорогая, домой...— И к дочери, поглядев на нее через силу: — Вставай... поднимайся...— И обратившись не то к Никанору, не то к матери жениха, чуть слышно добавил: — Простите нас... мы не знали, что... невеста у нас...

Может быть, он собирался сказать «порченая», но сдержался, и правильно сделал!.. Ведь по всем старинным понятиям жених имел теперь полное право отказаться от брака. Более того, мог на все село ославить невесту, так что никто и никогда не возьмет ее замуж. И в данном деле совершенно не важно, что он главный виновник, ибо такова уж его доблесть мужская; а достоинство и доблесть невесты, что бы там ни было, но оставаться девушкой до свадьбы!.. Теперь вся надежда у тестя была на сознательность жениха, ведь ему, слава богу, «глубоко плевать» на все дедовские обычаи?..

«Вот ведь он,— думал тесть,— не взял назад свое слово? Соглашается жить с невестой и даже обещал расписаться после рождения ребеночка... Господи, только бы обещанья не нарушил!..»

А с другой стороны, тесть подумал-подумал и успокоился: «Нина моя — самостоятельная, работящая девочка... воспитательница в детском саду. Сама родит — сама выкормит, а мы ей чем можем — поможем... поднимем на

ноги внука!.. И никто ей не нужен... Сколько их, в нашем селе, оставалось сиротами? Сам рос сиротой — и ничего, получился...»

И опять же, посмотрев на них и даже залюбовавшись: «Ах, какая славная пара!»,— тесть думал: «А они, пожалуй, крепко любят друг дружку... Уж пускай без свадьбы живут, по своим дурацким законам! Каждый по-своему с ума сходит...»

В этот самый момент подала голос бабушка жениха. Собственно говоря, не то чтобы подала голос — заголосила, как по покойнику:

— О-ох!.. позор на мою старую голову... о-о-ох!..

— Обождите, что с вами, что здесь происходит? — пискляво заверещала жена Никанора.— Ведь мы с вами живы-здоровы, никто не умер, дорогие товарищи?! — обратилась она к семейству невесты, потом к жениху обратилась: — Ты что делаешь, а, не видишь? Дорогих людей выгоняешь из дому.— И начала зачем-то развязывать косынку на шее, как если бы сейчас собиралась броситься в воду.— Тудораш, а ну отвечай: свадьба это у тебя или цирк? А ну решай — цирк или свадьба?!

Мать невесты молча плакала.

Мать жениха плакала вполголоса...

Бабушка — в голос:

— А ведь я... когда умру... никто даже «ох» не вымолвит... возьмут меня и выбросят, словно падаль, на свалку!..

Тут и невеста прижала руки к лицу, заплакала: громко, безудержно, по-детски захлебываясь, навзрыд...

Жених попытался ее утешать. Руки старался от лица отнять, ему почему-то казалось, как только это удастся — она успокоится... но ничего с ней поделать не мог! Конечно, с помощью поцелуев это у него быстрее бы получилось, но разве на глазах у родителей будут те поцелуи?.. И вот он ходил вокруг нее, громко рыдавшей, и беспомощно, как маленький мальчик, упрашивал:

— Ну, милая... ну, хорошая... ради бога! Сделаю все, что захочешь... Ну хочешь, эту дурацкую свадьбу сыграем?! Милая, родная, скажи только.

И она ему сквозь рыдания:

— Как же... свадьбу... когда и посаженого... нет... и мама с папой... домой забирают!..

— Как это забирают?.. А наш посаженый, дядя Никанор, где?! Самый лучший в селе! На свете — единст-

венный... согласен, дядя Никанор, быть у нас посаженым?..

Но вместо Никанора невеста, правда с трудом и сквозь слезы, но все же как-то слишком поспешно, сказала:

— Согласна...

И только она это сказала, Никанор (откуда что взялось — плечи расправил, грудь колесом и вроде бы сразу стал ростом выше!) как гаркнет, не то чтобы на племянника и его невесту, нет, на собственную свою половину;

— Садись, мать! — А та не слышит, опять платком своим занялась, теперь зачем-то совсем его с головы снимает, гребень вынула, уж не собирается ли прическу делать — в таком случае это надолго, теперь хоть всех святых выноси — по пословице: «Дом — горит, баба — чешется!» И тут муж еще отчаянней на нее завопил:

— Слышишь ты меня или нет?! Оставь платок в покое, садись!..

А тут невеста испугалась его крика и села... Жена Никанора собиралась ей что-то сказать, но глянула на мужа и... рядышком с ней присела. И сидели они, как две испуганные школьницы. Странное дело, крик Никанора тотчас успокоил и бабушку жениха. Она только еще разок всхлипнула для приличия и смолкла...

А невеста робко подала голос:

— Хорошо, дядя.. посаженый... мне бы теперь умыться!..

— Пойдите-ка прогуляйтесь немного вдвоем!..— говорит Никанор молодым. Их это удивило. Жених даже присвистнул. Но Никанор успокоил его по-отечески: — Далеко не уходите, мы скоро вас призовем.— И лихо подмигнув жениху: — Пять минут — и готово! — Казалось, святое высокое вдохновение осенило его.— А эту «Московскую», сестрица, почему бы нам не откупорить?..— А обратившись ко всем собравшимся, рассмеялся, как глупенький: — Сваты, дорогие, немножко терпения... Мы ведь и водочки еще не попробовали?!

Жених и невеста вроде бы оказались не то пристыженными, не то униженными... собственной своею беспомощностью, слезами, криками, которые они здесь, на людях, развели... И вот что получилось в результате: их, как нашкодивших малолеток, прогнали старшие, а сами принялись за гулянку, магарыч пропивают... вандалы!..

Да по сути, только теперь и начинались свадебные переговоры...

...Вскоре молодых пригласили в дом. Жених еще с порога спросил, впрочем довольно ехидно:

— Стало быть, уже можно?.. — И тут же, забыв об обиде: — Бадя Никанор, а у нас новость, невеста вам не успела сказать... вот почему на сговор пришла. По просьбе Ирины, жены покойного Кручану... ладно, потом... — И улыбнулся светло своему посаженому.— На поминках тоже никак не обойдутся без вас!..

Он ни слова не спросил об условиях сговора... Хотят? Ну и пусть!.. О чем спрашивать, ясно и так, свадьба состоится.

Заметили? Имя Кручану впервые прозвучало с тех пор, как невеста переступила порог... Ничего удивительного, в дом вошла молодая хозяйка и тысячи новых проблем — и сама жизнь вместе с нею, ибо женщина и есть сама жизнь (в моем авторском и, конечно, сугубо мужском понимании...)!

6

Была уже ночь.

Дом покойного, самый крайний на выселках, издали напоминал белое лоскутное одеяло. Ближе, скажем за три квартала, ты уже не различаешь на фоне грязно-серой стены огромную и яркую, как снег на морозе, холстину, свисающую почти от стрехи к перилам парадного крылечка...

Редкие в этот час и в этом месте прохожие издали тревожно присматривались к этой холстине, весело похлопывавшей на ветру. Проходя вблизи, они отводили глаза и ускоряли шаги и, только завернув за угол, в самый последний момент, быстро, как загипнотизированные, оборачивались...

Дом покойного — это всегда безотрадное зрелище, вроде сдающейся крепости: вывешен белый флаг, но никто не спешит занимать ее... Однако вид с улицы — это еще далеко не самое страшное, здесь кроме белой хоругви — той самой холстины на шесте, которая скорее смотрится как первоапрельская шутка,— никаких других покойницких принадлежностей!.. Иное дело — комната, где выставлен гроб! Тут тебя поджидает полный комплект погребальных аксессуаров, как-то: церковные восковые цветы, покрывала на зеркалах, черный креп на белой кисее, горящие свечи, иконы,— даже если и не брать

в расчет главного виновника торжества во гробу,— ей-богу, через полчаса затоскуешь, и полетит к чертовой бабушке не только твое приличное настроение (если оно у тебя было), но и твое оптимистическое, антирелигиозное мировоззрение лопнет, как радужный мыльный пузырь... Нет, конечно, не то чтобы ты сразу же уверовал в бога (такого в наше время не случается!), но уж больно тщетной покажется тебе земная суета: служба, семья, пьеса на производственную тематику, которую ты смотришь по телевизору...

Вот перед тобой лежит человек. И он тоже жил, служил, смотрел телевизор, а теперь все это выглядит нелепой бессмыслицей... А просидишь ты над ним этак вечер и всю ночь напролет, подумаешь о собственной жизни, и будет тебе в самую пору лечь в гроб рядом с покойником, только чтоб больше не думать о смерти!.. Так-то вот, но, впрочем, не сама жизнь в этом повинна и не законы ее, а законы человеческой психологии — наша с вами психопатическая раздерганность из-за накрученной вокруг нас многими поколениями живших, живущих сейчас и давно умерших людей проблемы смерти. Действительно, подумай-ка, сколько шаманства, колдовства и прямого обмана нагородили мы вокруг смерти, разве что (да и то, часто мне кажется, в меньшей степени) столько же написано, рассказано, придумано, нафантазировано нами (о святой-роковой, грешной-девственной, неземной-сексуальной, продажной и неподкупной и т. п. и т. п., вплоть до бесконечности)... о любви?..

Никанор Бостан, в приподнятом состоянии духа и маленько подвыпивший, возвращался домой после сговора... Нет, что ни говори, племянник у него — дурак дураком! Впрочем, он и сам виноват, зачем заранее не поговорил с человеком, не спросил, как равный равного, как мужчина мужчину: «Слушай, как думаешь свадьбу сыграть?..» Вот потому-то и «правая рука не ведала, что творила левая»... Хорошо ему сказал сват, то есть тесть жениха, на прощанье: «Живем — коллективом, а помираем каждый сам по себе.— Потом, немного подумав, поправился: — Впрочем, на кладбище попадаем опять коллективом, и даже в том же составе...»

Откуда-то издалека (из сердца села?) долетал гул барабана и крики гуляющих. Это в тот же день совершались и теперь были в самом разгаре еще две свадьбы и двое крестин.

А Никанор думал:

«Мир разумно устроен, один — умирает, другой — женится... Как сказано в песне: «Оборвешь ветку в лесу, что лесу до этой ветки?..» Старинная мудрость, проверенная не раз и не два... Молодые в белых рубахах, в белых платьях танцуют... и над домом покойного ветер развевает белый плат погребальной хоругви!.. Эх! что нам может сделать смерть, пока не пришло ее время?!»

Никанор входит во двор... Его маленькие пацанята набрасываются на него шумной толпой, радостно наперегонки сообщая, что мама пошла помогать тете Ирине, жене покойника! Потому что надо спешить, завтра, в понедельник, в пять часов вечера по разрешению экспертизы мертвого повезут на погост... и проводят его в последний путь без возврата!

Он вовремя вспомнил просьбу жены покойного... и завернул к дому Анисьи Иона Михая, чтобы попросить Онисима Скорцосу, семидесятипятилетнего благообразного старца, с недавних пор сожителя разбитной бабки Анисьи (и стало быть, молодожена в некотором роде!), чтобы тот, если у него сохранился старый молитвенник, почитал у изголовья покойника...

«Жил как язычник, но ведь когда-то все же окрестили его?.. И даже в честь Георгия Победоносного...» — улыбнулась сквозь слезы Ирина Кручану, тоже абсолютно неверующая.

Онисим Скорцосу, в прошлом церковный староста, имел бас-профундо и потому любил петь на клиросе, вследствие чего, если священник откажется хоронить Кручану по христианским обрядам, вполне мог бы пробормотать несколько утешительных слов из Тропаря, Евангелия, заупокойной молитвы — не важно откуда и про что, ибо, как теперь говорят: бывшему богу, когда-то грозному и карающему, уже не так много надо, он и самым малым довольствуется...

Итак, Никанор шел к бабке Анисье с чистой совестью и с богоугодным делом, а нарвался... на анекдот. Везет ему на всевозможные приключения! «Прости меня, господи! — думал Никанор именно по этому поводу.— Еще и четырех дней не прошло, как я, а не кто-нибудь другой из сельчан, с глазу на глаз повстречался со смертью этого Кручану; средь белого дня в овраге нашел его распластавшимся... и вот пожалуйста, братцы, на любовь напоролся!..»

— Вообще-то она — молодец, что со старичком своим состыковалась... Зачем же ей, бедной, одной мучиться?.. Заболеешь, боже избави, и некому воды подать!.. Словом, если у бабы нет никого, то ясное дело, она себе старичка ищет...— рассказывал Никанор, ухмыляясь в усы, уже через полчаса после свиданья с Анисьей; а первыми слушателями его были двое гробокопателей во дворе покойного Георге Кручану.

Он и потом эту историю рассказывал и пересказывал тысячу раз, так что она у него как обкатанная, и, по-моему, имеет смысл выслушать самого Никанора Бостана:

— Кто не знает Анисью Иона Михая... да, да, ту, что жила в лесу на повороте дороги к Пырлице... Она уже давно вдовствует, года с тридцать девятого. Я еще был безусым мальцом и бегал к моей теперешней женке на край села, оттуда мы «во поля» уходили, от людей, значит, прятались и частенько встречали Анисью с козой... Обутая и зимой и летом в одни и те же шерстяные чулки, она, бывало, тянет за собой козу на веревке и приговаривает: «Идем, идем к козлу, ягодка! Радость узнаешь...» И все подтягивает спадающие чулки...

И вот эта Анисья однажды — дело, кажется, было в сорок втором — раздобыла два куска немецкого телефонного провода с резиновой оболочкой и смастерила из него подвязки, чтоб не спадали чулки... И носила их, не снимая, ночью и днем, зимой и летом, пока чулки на ногах не истлели... Чего делать с подвязками? Не выбрасывать же такое добро? Продолжала носить... И носила и днем и ночью, в лето и зиму — пока они в икры не въелись, как провод в ту акацию, что возле сельмага!..

А теперь, через тридцать пять лет, эта Анисья замуж выходит за бывшего церковного старосту!.. Прихожу я к ней по одному деликатному поводу... «Добрый вечер, бабка Анисья!» — говорю, а сам стараюсь разглядеть: как там с подвязками и где теперь проволока?..

В этом месте его рассказа у слушателей, главным образом у мужчин, обыкновенно загорались глаза — вот-вот с языка сорвется словечко: соленое, кислое или перченое — по нраву и характеру человека — о тех резинках; но не спешили, оставляли настояться до завтра словцо — скажут его у кукурузной скирды, у куста виноградного, спешить незачем, спешкой только все дело испортишь... Вон акации у ворот зацветают вторично — знак доброй и долгой осени...

А Никанор продолжал:

— Какая там проволока, дорогие мои?! На ней, как на молодухе, шелковые чулки! Кровать городская на пружинах! На окнах вышитые петухами кружевные занавесочки!.. И белье накрахмалено, как в родильном доме, ей-богу!.. Спрашиваю: «А где дед Онисим?» Отвечает: «Никанор, дорогой, я и сама жду не дождусь его!.. Куриный бульончик сварила, остывает, и водочка в холодильнике ждет...» «Уж очень,— говорю,— нужен он мне по церковному делу...» «Поставь крест,— отвечает,— от всего бы сердца, родной, да уже не «практикует» он по церковному делу!» Ну, что вы на это скажете?.. Сама-то в белой юбке с оборками, в расшитом переднике, в косынке с цветами и пахнет цветочным одеколоном, как парикмахерша!.. Гляжу и глазам не верю, добрые люди, она — не она?.. «Где ж коза, бабушка?» — «Да ну тебя... Онисим не терпит. Еще перед тем как сойтись, поставил условие: кончай с козой!.. а я — с ладаном и лампадами...» Не хочет бывший староста слышать запаха козьего помета и ладана!..

А во дворе покойного Кручану жизнь била ключом, ого, чего только в этот поздний час здесь не требовалось сделать!.. Только что возвратились гробокопатели с кладбища, их угощали вином, и, конечно, надо было их накормить, как-никак они вырыли приют человеку на вечные времена... В летней кухне пылал огонь во всю мочь... в воздухе носились щекочущие запахи: вареного, жареного, печеного, пареного, квашеного и соленого, будто бы все добрые духи окрест пожалуют на эту осеннюю тризну!.. Однако пока что гости сидели голодные: и женщины, готовившие еду, и могильщики, и Никанор, не говоря уже о жене и детях покойного, которым было не до еды...

Никанор, успевший пропустить пару стаканчиков и рассказавший свою историю о бабке Анисье, теперь слушал второго гробокопателя, того, что был помоложе и побойчее, решившего в свою очередь тоже рассказать нечто занятненькое. Так уж люди устроены, на улыбку отвечают улыбкой, на анекдот — анекдотом:

— Теперь, не далее как позавчера, мой племянник из академии приезжает и пытает меня:

«Что б ты делал, дядя, будь опять молодым?»

«Хм,— говорю,— сделай меня молодым и увидишь».

«Нет,— говорит,— ответь мне, пожалуйста! Вот тебе

молодой ум и красивое тело со всеми его причиндалами, и что?»

«Спасибо,— говорю,— я бы теперь выпил, поел бы и полюбился с кем по душе...»

«А долго б ты так продержался?» — говорит.

«Сколько б мог»,— говорю.

«А сколько б ты смог? Нет...— говорит,— надоест. Скоро надоест».

А я говорю: «Оно и так надоело... Надоело делать одно и то же».

А он, умница, говорит: «А вдобавок еще посадишь дерево, колодец почистишь, вот оно и опять веселее дело пойдет!»

Оно и верно: одно, второе, четвертое — так и проходит жизнь, известное дело!..

Никанор поблагодарил могильщика за науку, допил вино и отправился в дом... У порога его приветствовал еще один белый плат на шесте. Никанор прошел под ним, сжавшись в комок, это тебе не свадебное полотенце, в котором такие кренделя ногами выписываешь, что потом весь вечер обливаешься потом... Он было уже направился в каса маре к покойнику, но возле самой двери остановился, прислушиваясь: там Ирина-вдова душераздирающе оплакивала своего дорогого Георге:

— Встань, дорогой, встань!

На локоть обопрись, пригорюнившись!

Погляди на село, на родное...

Как все собрались и с тобой разминулись!..

Так и не вошел Никанор в каса маре, не решился, душевных сил у него не хватило... На жилую половину направился:

— Ночь на дворе...— промолвил с порога. Получилось это у него немножко неловко, может, излишне сердечно?..

Но что делать? Так уж он усвоил от своего отца, а тот от родителей и дедов: видишь чужую беду и несчастье, делай вид, что все не так страшно... В любом горе-злосчастье лучше всего помогает сердечное слово; скажешь — и человеку легче становится... Возьми, подними полный стакан и скажи: «Будем счастливы, а с этим делом — успеется... Все там будем!..»

Комната была полным-полна бабками, тетками, внучками, дочками — и ни одного мужика!..

— Мужчина вам не потребуется?..— пошутил Никанор.

— Вот если б ты был помоложе!..—отвечала старушка.

У нас в селах водятся такие старушки, голосок у них ни на секунду не утихает, как на дуге колокольчик... Почему-то их чаще других приглашают в кухарки на свадьбы и похороны. И они без умолку болтают над кастрюлями у плиты, точно колдуют, а не готовят еду...

— Что ты такой мрачный, Никанор? Не случилось ли тебе прошлой ночью спать в отрезвителе?..— не унималась старушка.— Или, может, моряк-племянник зовет тебя посаженым, а ты и не знаешь, где твои рубли плавают?..

— Как в воду глядела...— махнул рукой Никанор.— Дом, себя и жену продам, а в грязь лицом не ударю!..

Ясное дело, старушка набивалась в кухарки, прямо с похорон — и на свадьбу!..

— Ах, баба Кица, видела б ты наш сговор! — встряла в разговор жена Никанора.— Представь себе, мы ждем, а посаженый все не идет... Уже все выпили, все съели — не о чем разговаривать. Вдруг жених поднимается: «Нету у меня посаженого! Бадя Никанор, выручай, дорогой, родной ты мой, ближе тебя никого на белом свете не знаю, будь моим посаженым!» — И подмигнув мужу, как подмигивают сообщнику: — А ну, подтверди!.. Конечно, жених перепил... Но ведь было такое, было?!

Никанор опускает в землю глаза, а жена продолжает:

— Теперь у нас новая мода, дорогие мои... Одной свадьбы мало — делаем сразу две!.. Одну устраиваем в ресторане, по просьбе племянника, для тех, кто вертит бедрами и плечами, вот так.— И она это изобразила, сидя на стуле.— А другую для нас, для тех, кто танцует ногами, уже по моему настоянию...

Никанор пожал плечами, негромко вздохнул: развязная болтливость жены его удручала:

«Молчала бы ты... Слава богу, что мы не совсем оскандалились. Еще немного, и все пошло бы прахом... зачем же теперь хвастать, что по глупости... вышло две свадьбы? Да, две и получились... А ведь чуть-чуть — и не было б ни одной...»

Жена, как будто назло ему, продолжала:

— Жених — тот ни в какую! Согласен только на ресторан. Я говорю: ресторан — ни за что, только дома!.. И тогда как же он поворачивает дело? «Тетушка,— говорит,— а знаешь ли ты, каких я гостей приглашаю?» От-

куда мне знать!.. Он — матрос, исколесил моря-океаны, землю всю вдоль и поперек обошел... Из Африки обещает привезти черного, как смола, негра! Из Кубы — опять же негра!.. И пока я опомнилась, наобещал и красных на свадьбу гостей, и смешанной крови, и синих, как баклажаны, и зеленоватых, как листья салата... «Сдаюсь! — говорю ему.— Что ж ты желтых забыл? Приведи мне хоть одного желтенького, чтобы сплясал со мной переницу!..»

— Ой-ей-ей! — запричитала баба Кица.— Везет же людям!.. Мы, дорогая, теперь и по три свадьбы, спасибо, можем устраивать! А то когда я выходила замуж... какое там было сватанье?.. Сумка и шляпа — вот и все хозяйство!..— И пошло и поехало!.. Как она выходила замуж, как с мужем жила и как теперь дело дошло до того, что любой стул под ней едва-едва держится, ведь она всех, от мала до велика, в селе на этот свет встречает и на тот провожает!..

А из каса маре сюда, в жилую комнату, доносилось:

— Встань, муженек, встань, дорогой!..
Посмотри, какой мы тебе дом приготовили,
Дом по заказу...
Без дверей и без окон:
Одни острые гвозди
Да голые доски!..

Все притворялись, будто не слышат, а может, и вправду не слышали... Но Никанор не мог, не хотел притворяться — он слышал!.. И этот плач по мертвому другу раздирал его сердце, хотелось протестовать, плакать, молиться, у кого-то просить извинения, а может, кого-то больно ударить...

«Что она там причитает о доме?.. Какой еще дом у бездомного Георге Кручану; для него, шалопутного, святого и глупого, домом была сельская улица... Свой дом для мужчин — что детское одеяло для спящего, из-под него всегда пятки торчат,— думал Никанор, растревоженный плачем Ирины, он и вообще-то не выносил женских слез, а тут плач вдовы по покойнику...— Мужа в могилу, будто в новый дом, снаряжает... А моя на пыльной улице в танце с желтым... хочет целоваться! Пойми этих женщин...»

Тяжелыми от горя и недоуменья глазами Никанор обвел комнату... Она, чего уж греха таить, выглядела ужасно. Словно здесь не одну ночь ночевал цыганский та-

бор: штукатурка облупилась, покрыта копотью и жирными пятнами, как на кузнице, в стене, обращенной к винограднику, зияла дыра, будто от орудийного снаряда... В эту дыру по ночам вылазил Кручану, чтобы проклинать звезды и выть на луну... Бросал в небо камни, взывая: «Создатель, где же ты? Опустись на грешную землю, хочу спросить тебя... зачем привел меня в этот мир, где люди злы, как цепные собаки...»

Никанор заткнул уши руками: «Сейчас я его увижу...» Он хочет его увидеть, он сейчас должен увидеть «видение»!.. И он с силой зажмурил глаза, напрягся, поднатужился, словно бы от земли отрывая свое грузное тело, и... ничего не увидел.

Как раз в это время в комнату вошли трое Кручану — дед и дядя с племянником, с женами, с чадами и домочадцами, они потревожили Никанора, как пуля охотника, обрывающая птичий полет...

Вошли и приветливо здороваются со всеми, как будто пожаловали на празднество долгожданные гости. Потом, переждав новую порцию причитаний Ирины, доносившихся из каса маре, старший из вошедших Кручану задал Никанору нейтральный вопрос:

— Что скажешь, Бостан? Осень будет у нас или мимо проскочит?.. Заметил ты луну? Ее рог обращен книзу, боюсь дождей!

Никанор пожал плечами, дескать, какое мне до этого дело?.. А сам, глаз не отводя, смотрел на забитую дверь в каса маре, через которую уже полгода никто не ходил... И на бочонок в углу: «Это и была смерть покойного... Он наполнил его полынно-горьким черным вином от гибридного винограда с песчаного грунта! Пар этого гибрида горел, если плеснуть на плиту...»

А через забитую дверь слышалось:

— Выйди, муженек, в са-а-а-ад!

Перекинуться словом с соседом...

Выйди на улицу,

Чтоб услышать «Путь добрый!»

Выйди на угол,

Чтоб раскланяться с миром...

Здесь же, в этой комнате, голосок жены Никанора не умолкал ни на секунду — пропади она пропадом!..

— Дорогие мои, молодоженам дают в райцентре квартиру!.. Газ — тридцать копеек в месяц — течет по трубе... Не нужно ни топлива, ни печей — все поступает

с централки! Все им подается! Даже вода кипяченая... Я сама готова хоть завтра перебраться в райцентр! У Нины зарплата 150 в месяц, у Тудора — 117 рублей... Питаться будут в столовой, белье — носить в прачечную. «А что делать с домом? Для кого я построил его? Новый-новехонький, детки, вас дожидается!» — Это им тесть говорит. А племянник мой отвечает: «Подарите его колхозу!.. Или внаем сдайте, или продайте!..» Как это вам нравится!.. А кто будет кормить престарелых родителей? Кто им глаза закроет и в землю зароет?..

Но Никанор уже не слушал жену, собственные мысли занимали его целиком...

Зато баба Кица внимательно слушала и все мотала на ус... Будет потом рассказывать по селу:

— Неужто не слышали, дорогие?! Этот моряк, который объездил весь свет, замотал свою свадьбу... Обещал — две, а не сыграл ни одной... Невеста-то у него на сносях: не сегодня-завтра родит! Ждите, позовет ли еще на крестины...

А через забитую дверь доносилось:

— Захотелось тебе покоя...

Взял себе дом из сосны,

И оставил нам этот глиняный,

И оставил нам горе...

А Никанор глаз не может отвести от бочонка с торчащей из него полосатой кишкой... И сосал он этот бочонок, как материнскую грудь, сосал, как лекарство, через резиновую кишку, словно искал не сладости в нем, а земной горечи от сердцевины корней, чтобы всосать через них самую соль земли... Но дело обернулось иначе, сама эта соль, через корни, через бочонок с полынно-горьким гибридом, сосала его... Он и не замечал, как начал в землю врастать, как, лежа на полу, терял сквозь худую подстилку соки свои живые: это земля спешила захватить его, наливая тяжестью, прижимая к себе,— живого Кручану, который теперь лишь изредка вздрагивал и, посасывая вино, усыхал, пока не сделался вовсе как сухая былинка, на радость земле, и тогда она последний раз поманила его на простор, чтобы на веки вечные распластать по косогору и... в овраге настигла!

Из каса маре слышалось причитанье Ирины:

— Бедные ресницы и брови,

Они травой прорастут...

И тут Никанор не выдержал:

— Да замолчи, наконец, жена! — ни с того ни с сего набросился он на несчастную женщину и тотчас же, успокоившись, уже мягко, ко всем: — Люди добрые, хватит... Приведите сюда Ирину, а то она может рехнуться!

А у бабы Кицы, пожалуйста, и на этот счет свое мнение:

— Никанор, будь мужчиной... Послушай меня: женщина сходит с ума, только когда не плачет, а мужчина — только когда кричит... Так что лучше уж ты не кричи, а помоги мне отнести эту миску с голубцами во двор, чтобы поставили их вариться в казан на плиту. Ей-богу, судорога поясницу свела!..

«Ну, как с ней быть, с бабой Кицей! Своими судорогами, говорят, трех попов отправила на тот свет, которые, между прочим, никогда не кричали... Ох, век женщин пришел!..» — И Никанор схватил с пола миску с голубцами и, нахмурившись, быстро вышел из комнаты.

Впрочем, хмурился он только для вида, а про себя был даже рад отдохнуть от словоохотливой своей половины, от бабы Кицы с перчеными ее комментариями, от не дававших ему покоя причитаний Ирины.

Во дворе поискал в карманах спички, вытащил папиросу, закурил:

«Утешу-ка себя папиросой... и заодно над жизнью подумаю!»

Однако и здесь, во дворе, тоже шла своя жизнь, а вместе с нею шли свои разговоры. Старший гробокопатель, как раз хорошенько выпив вина и наевшись досыта голубцов, теперь благодушно настроенный, рассказывал своему более молодому помощнику:

— Так вот, квартирантка наша Женя, зоотехничка, ушла от нас. И не с кем переброситься словом... «Замуж выхожу, дедуня!» — сказала мне...

Никанор старался не вслушиваться в разговоры могильщиков, а сосредоточиться на своем. Конечно, он уже не надеялся воочию увидеть Кручану, слишком тревожил, слишком много значил для него этот человек... Но вот вызвать в своем воображении кого-то попроще, пусть хоть самое плевенькое «видение»,— на это он еще, скажем, надеялся... Вон того парня, на кукурузе, с графином вина, обидевшего его своим выкриком: «Да здравствуют, бадя Никанор, твои ямки... до светлой весны!..»

А первый гробокопатель продолжал свой рассказ:

— Сначала ребят было начала приводить к дому, под

окна. А я говорю: «Голубушка, дяде не нравится. И тете тоже». Поняла да замуж пошла девка. «Замуж иду, дедуня Горицэ...» — «Что ж, иди, дело хорошее...»

«А может, взять жениха-племянника-моряка? Казалось бы, только что бился с ним целый вечер на сговоре... И слова его забавные словно застряли в ушах... «Кручу ли баранку, ласкаю ли красавицу Нину, прежде всего удовольствие получаю... Имею на это полное право!..» Слова-то вот они, а лицо... не возникает никак!»

И опять первый гробокопатель:

— А моя-то: «На что она, глупая, берет этого, а не того? «Молчи,— говорю,— может, это и есть ее счастье...»

«Хотя бы, на крайний случай, увидеть кассира, старика Костакела...— тоскливо думает Никанор.— Тьфу, не удается никак!.. Эти могильщики со своей квартиранткой — Зинкой-зоотехничкой — заморочили мне мозги!.. Мешают сосредоточиться. А может, я потерял свой редкостный, таинственный дар?.. Вот было бы обидно, все же он нравился мне самому...»

И Никанор с осуждением посмотрел на небо и, может бессознательно подражая Кручану, зачем-то погрозил звездам кулаком. И даже вслух произнес: «Вы, звезды... оставайтесь с вашим предназначением там, на небесах... Наплевать мне на вас!..» Но тут же опомнился: «Слушай, неужто я пьян?» И устыдившись глупых слов и мальчишеского поступка, опрометью, не разбирая дороги, бросился в дом...

Когда он вернулся в комнату, Ирина Кручану уже была здесь, с опухшим от слез лицом. Она закончила свои причитания, и теперь ее ожидали другие обязанности... Остальные сельчане, родичи и просто знакомые, тоже должны были проститься с покойником. Плакать у изголовья мужа без перерыва было бы не очень-то вежливо по отношению к ним...

Общий разговор на поминках — не только потребность людей, но и их прямая обязанность не оставлять близких родичей покойного без внимания, отвлекать их от слез, смягчать горечь утраты. Вот и сейчас один из двоюродных братьев покойного со стаканом вина в руке и с истинно крестьянской смекалкой вносил необходимую ноту путаницы, смешной чепухи в общее мирное настроение:

— А ну, давайте выпьем, чтобы эта осень с нами была!..— произнес он словно на свадьбе, поднимая ста-

кан.— А ты, Ирина, будь здорова и не мучайся мыслями! Эти мысли только во вред, вот что я тебе доложу... Ведь я живу как раз возле большого шоссе — вы и сами знаете, но теперь речь не об этом. Жена моя жалуется в последнее время: «У меня,— говорит,— Петря, болит голова...» «Отчего,— спрашиваю,— женщина?..» «От мыслей»,— отвечает она. «А что за мысли тебя мучают, женщина?..» — «Гляжу я на эти машины, как они пролетают туда-сюда... Ну как не кружится у них самих голова от такого верчения и сутолоки?..» — «Да, верно, с головой у тебя не в порядке... А ты,— спрашиваю,— сегодня прикладывалась?» «Нет,— отвечает,— сегодня ни капли в рот не брала!.. И все равно думаю — не понимаю: как они размножаются, эти машины?..» Я, конечно, ей объясняю: «Вот так, искусственно!.. Как и мысли в твоей голове...» — «Ах, как хочется мне увидеть это своими глазами!» «Хорошо,— говорю,— а пока иди — смотри телевизор...» «Ой, Петря,— говорит,— вот отчего у меня уж действительно раскалывается голова!..» И чувствую я, вывела она меня из терпения, у самого раскалывается голова, и в глазах рябь кругами... «Чего ты от меня хочешь?» — спрашиваю. А она говорит: «Петря, а как это искусственно?..» — «Показать?!» — «Покажи...» — «Потом покажу, а пока выйди в огород, найди листья хрена и ко лбу привяжи. И когда вернешься, на пальцах тебе объясню...» Вот как получается с мыслями... Нет уж, лучше не думать, чтобы голова не кружилась, и немножко ногам дать покою...

Все это были враки. Просто-напросто шутливыми словами он разрядил атмосферу, успокоил хозяйку дома, улыбками расцветил лица гостей и даже вроде бы слегка подновил облупленную и засаленную штукатурку на стенах... И даже проклятый бочонок из-под вина теперь, после его шутки не так бросался в глаза! А резиновая кишка, которая, как известно, и в воде не тонет, и в земле не гниет, казалась уже фрагментом клистирной трубки, впрочем, возможно, какого-либо другого снаряда домашнего обихода.

Женщины безостановочно работали руками, молчали и внимательно слушали говорившего. Они казались очень серьезными, всепонимающими и всепрощающими древними божествами, а вот кончики пальцев их ловких рук, проворно снуя в рыжей кукурузной крупе, казалось, ласково улыбаются, заворачивая в виноградные листья



вместе с комками риса и мясного фарша каждую удачную шутку... И подобно тому, как фарш и крупа постепенно исчезали из мисок, так уходила грусть из людских сердец! И так же, как аккуратные голубцы в обертке из виноградных листьев наполняли недавно еще пустовавшую миску, так шутливые речи рассказчика заполняли душевную пустоту, чтобы там, в самой глубине, медленно тлеть, или неторопливо кипеть, или гореть ярким пламенем, исходя из индивидуальных особенностей душевладельца...

Теперь, в этот поздний час, казалось, покой и веч-

ность правили миром... И даже вдова Георге пришла в себя, успокоилась и теперь как будто была способна идти за своей судьбой всюду, куда она ее поведет, как героиня древней трагедии... Однако все было проще и одновременно сложнее. В дом ее пришли родичи, те самые, которые прежде ее осуждали, те из Кручану, которые до настоящего дня чуждались всех ее невзгод и напастей, но теперь доказывали на деле, что в жизни руководит ими доброе чувство, что они скорей хорошие люди, чем плохие, и что она теперь всегда может рассчитывать на их поддержку и дружеское участие... Так что бедная женщина была теперь почти спокойна; конечно, насколько это возможно в ее положении:

— Благодарю и вас, сват Никанор, что не забыли, пришли... а то знаете, как одной...— И протянула ему полный до краев стакан вина.— Вот вам, угощайтесь, помяните Георге, ох... И еще попрошу, чтобы вы и завтра пришли, ибо многие обещали, а придут ли и будет ли кому нести его... ох!

Никанор поднял стакан и собирался сказать прочувствованное, теплое слово о своем друге и соседе Георге, да так сказать, чтобы сразу возвысить в глазах людей образ усопшего, чтобы снять с него, наконец, шелуху сплетен и пересудов, всего преходящего и случайного. Но в то время как гордые сердечные слова его рождались на языке, вдруг скрипнула дверь, и... невероятное дело...

В комнату медленно вошла Волоокая — Руца, грех и проклятье покойного... Нет, это даже не было дерзостью, это было чистое безумие. Казалось, средь глубокой ночи петухи пропели зорю!.. Завтра же, при дневном свете, ее поступок вызовет бурю в селе, ибо где это видано: человек лежит в гробу на столе, а к нему вваливается любовница со словами: «Вечер вам добрый!»

А все обстояло именно так; открыв дверь и замерев на пороге под столькими взглядами, Руца тихо-тихо промолвила:

— Добрый вам вечер...

Никанор чуть было не выронил свой стакан... «Это что еще за «добрый вечер», бесстыжая! — хотел он на нее грубо прикрикнуть.— Какой злой дух привел тебя к нам в этот час? Все как будто успокоилось, стихло — мать и хозяйка дома, поплакав у изголовья мужа, с гостями сидит, дети спят, луна светит, земля уже приготовилась принять нового гостя, и он ждет этой встречи, как

утро — росы и солнечного тепла... Ну, что за чертовщина такая, что за непонятная сила привела тебя сюда, женщина?..»

Однако он ничего не успевает сказать, ибо Ирина, жена покойного, поднимается навстречу пришедшей, протягивает ей стакан вина со словами:

— Возьми, Руца, выпей за упокой души Георге... в память Георге...

Тогда и Руца, в свой черед, как бы умоляя о снисхождении и понимании эту женщину, которая ей если не в матери, то в старшие сестры годится, шагнула вперед и поцеловала протянутую к ней милосердную руку... И разрыдалась безмолвно, так что только рубаха ее сотрясалась от плача, и говорила, глотая слезы:

— О-о, лелицэ Ирина...

Она держала стакан дрожащей рукой, и крупные, красные, как кровь, капли виноградного гибрида выплеснулись на пол, и он тоже принял участие в поминанье хозяина...

— Не могу, лелика... ох, нет, не могу!..

Как будто хотела сказать: «Не могу жить... и умереть тоже не в силах!..»

Она подняла глаза — глаза, как приворотное зелье... Никанор так и ахнул — ох, хороша. Краса ненаглядная, не иначе. Вот оно, «видение», что весь вечер мерещилось ему...

Подняла свои колдовские глаза Руца-Волоокая и говорила Ирине:

— Разрешите... прошу вас... Ирина, прошу тебя, как родную... Добрые люди, дайте мне поплакать над ним!..

Ну, что можно было ответить?.. Все молчали. Вроде бы каждый собирался что-то сказать, и даже, кажется, кто-то сказал, только так тихо, что почти никто не услышал:

— Эх, милая...

Может, это была Ирина, может, Никанор...

Во всяком случае, про себя Никанор думал:

«Эх, милая...» — и хотел продолжать, но в это самое время старинные дедовские часы в каса маре заскрипели, зашуршали, задергались и пробили двенадцать раз. И это значило, что сегодняшний, четвертый день кончился и начинался завтрашний, еще неведомый — пятый и последний день Георге Кручану.

Перевод *В. РОЖКОВСКОГО*



И. Друцэ

ДРУЦЭ Ион, прозаик, драматург. Родился в 1928 году в селе Хородиштя Молдавской ССР. После окончания сельской школы работал секретарем сельсовета, затем служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, переехал в Кишинев и несколько лет работал корреспондентом республиканских газет, на страницах которых и появились его первые очерки и рассказы. В 1957 году Друцэ окончил Высшие литературные курсы в Москве. Вскоре после этого он переехал на постоянное местожительство в Москву. Знакомство всесоюзного читателя с творчеством Иона Друцэ началось со сборников его рассказов, издававшихся в 60-е годы как на родном языке, так и на языках ряда союзных республик. На русском языке вышли следующие сборники: «Человек — твое первое имя» (Кишинев, 1960), «Падурянка» («Советский писатель», 1963), «Листья грусти» («Художественная литература», 1965), «Ореховый шепот» («Правда», 1968). Ион Друцэ известен также всесоюзному читателю как автор повестей «Георге, вдовий сын», «Последний месяц осени» и «Возвращение на круги своя» и романами «Бремя нашей доброты» и «Запах спелой айвы». Проза Иона Друцэ в почти полном объеме представлена в однотомнике «Поле души человеческой» («Советский писатель», 1977). С большим успехом ставились в московских и республиканских театрах пьесы Иона Друцэ: «Каса Маре», «Птицы нашей молодости», «Святая святых», «Возвращение на круги своя», «Хория» и «Праздник души». Эти пьесы входят в однотомник «Именем земли и солнца», выпущенный в 1977 году издательством «Искусство». В 1967 году Иону Друцэ была присуждена Государственная премия по литературе и искусству Молдавской ССР. Кинофильм, поставленный по повести «Последний месяц осени», был удостоен нескольких международных премий.

ИОН ДРУЦЭ

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ

Маленькая и тихая старушка, высушенная годами и судьбой, стоит неподвижно, как изваяние, посреди дряхлого и тихого крестьянского дворика. Жаркое, полуденное время. Ветер утих, серая земля дышит зноем, а солнце замерло в зените и печет. Жара накатывает раз за разом, и кажется, что длинная, в глубоких складках юбка старушки вот-вот займется пламенем. Но нет, не может ее согреть солнце, и старушка, глубоко вздохнув, точно проснувшись после короткого сна, идет к старому покосившемуся забору и начинает собирать мелкий хворост. Когда уже и солнцу не под силу прогреть твои косточки, тогда вся надежда на хворост да на печь.

Собрав небольшую охапку, старушка входит в дом, садится на маленькую скамеечку. Похлопотав у печи, зажигает спичку и, заслонив огонек свободной рукой, несет его к разложенному хворосту с таким трепетом, точно это последняя оставшаяся на земле спичка. Где-то совсем рядом щелкнуло два раза, точно пастух выстрелил своей длинной плеткой. Выпростав из-под платка правое ухо, старушка повернулась правой стороной к входной двери и опять замерла.

На пороге стоял наглый петух с только что окровавленным в честной драке гребешком. Чуть подавшись вперед, красиво и громко, по-библейски трижды прокукарекал. Старушка, засветившись предчувствием возможной радости, быстро встала, вынесла ему пригоршню кукурузных зерен и смотрела, прислонившись к косяку двери, как десять умных курочек объедают глупого петуха.

Настала осень, а осень в Молдавии — это время гостей. И к бесчисленным заботам, которые одолевают молдаванок, добавилась еще одна — как бы не проморгать гостей, успеть хотя бы самую малость приготовиться. Единственный их помощник и советчик в этом деле — пе-

тух, и, если он прокукарекал на пороге твоего дома, тогда нужно спешить.

Огонь в печи расходится. Хворост весело потрескивает, охваченный шальной игрой, и старушка мягко улыбается, слушая его лепет. Огонь в печи — ее старый друг. Он помог ей прокормить, согреть и вырастить полную хату детворы, и, хотя дети выросли, разлетелись по своим гнездам, каждый раз, когда в печи занимается огонь, старушке кажется, что ее родимые, голодные и озябшие, спешат к родному очагу.

Тонким серебристым узором сеется дым над старой черепичной крышей. Растоплена печь и у соседей слева, и в домике справа топят. Медленно, с опаской, как бы не доверяя безветренной погоде, задымились крыши всей деревни, и дальше за ней, во всех разбросанных вдоль огромной долины селах, поднимаются то черные, то серые столбы дыма и, мягко ввинчиваясь в вечернюю синеву, тают где-то высоко над степью. Пахнет свежим хлебом, поют петухи. Настала осень, а осенняя пора в Молдавии — это время гостей.

И они едут. Вот небольшой юркий пригородный состав застучал по степи. Длинные властные гудки будоражат все окрест. Взволнованные предчувствиями, выходят сельские женщины к порогам, к калиткам, к перекресткам и, приставив ладошку козырьком, выцветшими от солнца глазами высматривают своих гостей.

Вот засветились меж холмами давно не крашенная крыша вокзала и четыре высоких тополя, обнявшихся над ней. С минуту и крыша и тополя качаются, как бы раздумывая, затем снимаются с места, плывут навстречу поезду, и сердце стучит, ноет, просит ненароком не проехать эти места. Сколько бы я ни возвращался, как только покажется наш вокзал, начинаю гадать: остановится поезд, не остановится... Знаю, что он остановится, но все-таки волнуюсь, и страх этот живет во мне еще с войны, с тех пор, когда мы возвращались случайными товарняками.

Машинист, видать, затормозил слишком поздно, и состав остановился далеко от вокзала, в поле. Приехавшие спрыгивают прямо на железнодорожную насыпь, летят кубарем, рассыпая свои нехитрые покупки. Пока они их подбирают, с перрона стартуют отъезжающие и, пролетев стометровку, с ходу прыгают на ступеньки вагонов, хватаются за поручни. В ту же секунду поезд трогается, толь-

ко двигается он не вперед, а катит обратно. Проехав около ста метров, состав снова останавливается, на этот раз прямо у перрона, как это водится на железных дорогах. Но теперь никто не сходит, никто не садится. И посадка и высадка кончились...

Через несколько минут поезд отправляется. Выпрыгнувшие пассажиры долго и приветливо машут ему вслед, благодарные за то, что их посмешили, после чего, обогнув по узкой тропинке здание вокзала, выходят на небольшой перекресток, нечто вроде площади. В дорожной жижице лежат разбросанные тут и там камни. Ловко прыгая по ним, приехавшие попадают в огромную, удивительно просторную для такого маленького местечка чайную. В большом зале пустуют выстроенные в три ряда столики. В конце зала несколько кабин, тоже пустующих, а приехавший люд празднует свое возвращение, не отходя от буфетной стойки.

Когда-то здесь был райцентр. Теперь его ликвидировали. От былых славных времен осталась одна чайная, но ходят слухи, что и ее со временем закроют. Крестьянам из соседних колхозов представляется, что такого унижения им не пережить, и, откуда бы ни возвращались, они сразу бегут к чайной — узнать, как дела. Слава богу, пока все хорошо.

Опять тот же никогда не высыхающий перекресток; сразу за ним начинается узкая, наспех вымощенная дорога. Высокий детина торгует соленой рыбой, поставив бочку прямо на улице. Пять разномастных котов сидят, напружинившись, под заборами и обиженными глазами следят за продавцом. Старый репродуктор, висящий на одной петле под стрехой ветхой избушки, передает урок гимнастики. Пятилетний мальчуган, нахлобучив на себя милицейскую фуражку отца и вооружившись его свистком, поднимает ничем не вызванную тревогу, а тем временем отец торопливо копает картошку на огороде.

На окраине, сразу за последними домиками, стоит у обочины видавший виды грузовик. В кабине дремлет молоденький шофер с шевелюрой сельского красавца и со следами усталости на молодом, еще не бритом лице. Идущие с вокзала крестьяне залезают в кузов не спрашиваясь — небось куда ни поедет, все ближе к дому. Унылый шофер, переборов дремоту и проследив некоторое время за тем, как они садятся, вдруг заводит машину

и уезжает, оставив половину людей на дороге в великом недоумении. Человек есть тайна — это сказано давно.

Осень уже на исходе, на дорогах сыро, редко где побежит за машиной тучка пыли. А ей, мятежной, хочется пыли, и она гонит, гонит вовсю. Ломанная и ремонтированная бесконечное число раз, эта машина тем не менее сохранила способность по-мальчишески упиваться своей скоростью, и все ей нипочем. Нестись так нестись!

Из-за покатого холма выглядывает окраина деревни, вернее, в голубой дымке появляются дрожащие крыши двух крайних домиков. Ведет в деревню исхоженная за долгие годы, по-деревенски верткая тропинка. Пока она взбирается по склону холма, голубая дымка рассеивается, и крыши уже не дрожат. Теперь оба домика уже видны целиком, каждый со своим обликом, со своим достатком. Заходящее солнце вспыхивает огромным пожаром то в окнах одного, то в окнах другого, и создается впечатление, что домики, дурачась, играют с огнем.

Много лет тому назад, когда я покидал этот край, меня не провожали. Единственные, кто пошел за мной до самого вокзала, были эти два домика с окраины. Я много думал о них, теперь мы с ними большие друзья, хотя, к стыду своему, я до сих пор не знаю, кто в тех домиках живет. Может, какие-нибудь недруги по школьной скамье, может, какие-нибудь родственники, а может, совершенно незнакомые мне люди, приехавшие в нашу деревню после моего отъезда.

Деревня начинается сразу с гребня холма и, мягко скатываясь, уходит далеко на юг. По-осеннему остывший солнечный диск дрожит на закате, узкими переулками возвращаются с поля усталые колхозники. У одного перекрестка дерутся подростки из-за проколотого, валяющегося рядом футбольного мяча. Две благообразные старушки идут крошечными шажками вдоль деревни, весело переговариваясь. Увидев старую, наполовину разрушенную церквушку, они останавливаются, крестятся и идут дальше молча. Молодая девушка достает воду из колодца, смуглый парень подходит, а девушка, не оборачиваясь, все выбирает ведро, и крупные слезинки, скатываясь по ее щекам, летят в сумеречную глубь колодца. У нас, оказывается, по-прежнему глубоко, на всю жизнь влюбляются.

Далеко внизу, в конце узенького переулка, стоит, прислонившись к калитке, старушка. Теперь над старой черепичной крышей не вьется дымок. Не топят соседи справа и слева; только высоко над деревней повис серой пеленой вечерний дым. Старушка ждет обещанных гостей и, чтобы не терять времени зря, вяжет кому-то рукавицы. Вместе с ней вышли к калитке встретить гостей старая дворняжка, петух и сонная кошка. Стоят все у ее ног и не то дремлют, не то ждут.

Это наша старая и добрая мать. Мы не знаем, сколько ей лет, да и сама она этого толком не знает, потому что, как она говорит, ее годы — это ее дети. Если спросить, кого она ждет, старушка растеряется. Она уже до того заждалась нас всех, что и сама не знает, в какую минуту и кого именно ждет. Но если ее спросить, откуда она знает, что мы приедем, она расскажет свои сны, достанет колоду потрепанных карт и даже покажет то место, где стоял петух, когда он пел свою песню.

А день уходит, деревня начинает расплываться в сумерках. По узенькому переулку, в котором стоит наш домик, возвращаются с поля пастухи, следом за ними плетутся овцы. Идут женщины, возвращаются с уборки сахарной свеклы. Изредка проедет то машина, то телега. Старушка уже не вяжет — не видно петель. Стоит и ждет. По ее расчетам, гости должны вот-вот нагрянуть, и действительно: собака, виляя хвостом, побежала по переулку кому-то навстречу, за ней и кошка. Засветилось улыбкой морщинистое лицо нашей старушки. В глубине переулка замелькала знакомая ей с девичьих лет остроконечная шапка. Правда, приближалась эта шапка не как обычно, а что-то уж очень весело, по двум тропинкам сразу.

Как только наступает осень, наш старик начинает возвращаться по вечерам выпивши. Не такой уж он охотник до вина, но осенью вина полно, любителей выпить много, все ищут собутыльников, а отец, человек мягкий по натуре, дает себя уговорить кому только не лень. Теперь для матери самое главное — уложить его в постель. В своей бесконечной наивности она думает, что, кроме нее, никто не видел отца выпившим, и спешит спасти еще раз его репутацию. Но теперь это не так просто. К заборам уже прилипли любопытные соседки, потому что водворение в дом подвыпившего мужика — увлекательнейшее зрелище в молдавских селах.

Взволнованная, слабая, она норовит взять отца под руки, а тот не дается, ломается. То подмигивает соседкам, то, уронив шапку, не хочет ее надевать, а то даже пристукивает каблуками, припоминая какой-то танец.

— Погоди, погоди, дай покажу людям танец. Только один я помню его — никто больше не покажет.

Но вот и железная кровать. Отец садится, глядит на плавающий перед ним в густом тумане стол и отрицательно мотает головой. Ужинать он не собирается. Стол на него не обижается, но расставленные на столе блюда начинают передвигаться, всячески заманивая старика. Отец держит себя стойко, на все ухищрения стола отрицательно качает головой. В конечном счете тарелка со сливами, вывалившись из тумана, падает на пол и разбивается вдребезги. Подняв черепок, изучив его внимательно, старик говорит укоризненно:

— А еще с цветочками была!

Вкрадчивый скрип пружин наводит на него сонливость. Рядом на кровати заманчиво белеет огромная подушка, старик разминает ее, она его манит, да ведь нельзя лечь, не разувшись, — баба взвоет. А с другой стороны, и ботинки никак не снять: только он наклонится — начинает крутиться каруселью весь наш старенький домик. Испытав все известные ему способы избавления от собственной обуви, отец сердито кричит:

— Эй вы, черти! Ну кто быстрее разует? Тому конфета будет.

Это он нас зовет. Как только выпьет, забывает, что мы давно выросли и разлетелись по белу свету. Виною тому, может быть, завернутая в бумажку конфета, которую он годами таскает в карманах. Мы не идем, и диву дается старик — с чего это его детям расхотелось сладкого? Кто это их так разбаловал?

Некоторое время спустя старые, привыкшие ко всякой работе руки начинают снимать ботинки. Самодовольный отец дразняще медленно ищет по карманам конфету. Потом различает сквозь туман ссутулившуюся у его ног старушку, и ему становится неловко. Вырвав из ее рук ботинки, он решительно склоняется над ними и валится на пол. Потом, очутившись снова на кровати, спрашивает:

— А куда дети подевались?

Мама сообщает шепотом, чтобы не вспугнуть счастье:

— Приедут. Запомни мои слова. Вот-вот нагрянут.

Отец долго смотрит то на ее недовязанную варежку, то на свои ботинки и наконец принимает решение:

— Ну тогда я их подожду.

Поздней ночью, когда засыпают и поля, и деревни, и вся степь кругом, бледный свет керосиновой лампы все еще теплится в нашем окне. Отец по-прежнему сидит на своей кровати, сонная мать стоит рядом, и вид у нее такой убитый, словно это она сама вечером напоила отца и теперь жалеет об этом. Отец, ощупав левое предплечье, жалуется:

— Вот тут, у самых связок, ломит. Неужто я падал?

Мама ощупывает то, что отец называет связками, и вдруг улыбается.

— А что, если послать им телеграммы, что у тебя воспаление?..

Каждой осенью мы получаем из дому вести, полные самых трагических предчувствий. Такое же решение было принято и на этот раз. Чуть свет мама будит уснувшую у аппарата телеграфистку. Долго возится с бланками, потому что сочинять телеграммы — это сущее мучение для нашей старушки. Она каждого из нас любит по-своему, каждому хочется написать что-то особенное, еще не высказанное, а на это у нее не хватает ни умения, ни денег.

Заполнив наконец все бланки и передав их телеграфистке, она остается еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что телеграфистка не забыла их отправить. А отец в это время мечется в жару на железной кровати и просит хотя бы капельку воды. Измученный жаждой, с трудом приподнявшись на один локоть, он стучит прохожим в окошко. Дробно отзванивают стекла, а кругом ни души. Но нет, услышала соседка, чистившая картошку у крыльца. Побежать сразу она не может и кричит что-то другой соседке, а та тоже занята, передает третьей.

Отец таки заболел. Человек он такой честности, что даже пошутить не может, и, если мама припугнет нас телеграммами, он тут же сляжет, видимо для того, чтобы не стыдно было в глаза смотреть нам при встрече. А если уж сляжет, температуры ниже сорока не признает.

Первая ночь болезни — самая трудная. Отец бредит в жару, и чудится ему, что дом у нас полон соседок. У каждой по два ведра свежей воды, каждая просит от-

ведать у нее водичку. Отец выпивает ее целыми ведрами, рассказывая в то же время, что, собственно, произошло у нас в доме.

— Сглупил я на старости лет, вот ведь какое дело! Наживи я добра, дети часто стали бы спрашивать о моем здоровье. Не успел бы я чихнуть, а они тут как тут. Что поделаешь, не нажил добра, и вот ведь какое дело...

На второй день у наших ворот стоит машина скорой помощи. Молоденький врач считает у старика пульс и в то же время ухаживает за смазливой фельдшерицей, готовящейся делать уколы. В сенях и в комнатах полно соседок. Маме, бегающей по разным делам то на улицу, то снова в дом, становится все труднее и труднее пробиваться сквозь эту толпу.

К вечеру небо заплывает тучами, всю ночь сверкают молнии, но ни грома, ни дождя. Только к полудню начинает моросить мелкий осенний дождь. По единственной, ведущей с запада в нашу деревню тропинке поднимается грузная сорокалетняя женщина, чем-то похожая на отца. Несет две большие тяжелые кошелки. Едва увидев крыши двух окраинных домиков, она опускает кошелки и, заломив руки точь-в-точь как наша мама, причитает голосом, похожим на мамин. Из всей нашей оравы раньше всех поспела Маринка. Она кончила всего два класса и слепо верит всему, что написано на бумаге.

Под вечер отец забывается ненадолго тяжелым, тревожным сном, а проснувшись, видит у изголовья Маринку. Собственно, саму Маринку ему не удается разглядеть, для этого нужно повернуться, а на это у него не хватает сил, и он лежит, разглядывая ее руки. Маринка, истолковав по-своему этот взгляд, тут же выпоражнивает кошелки. Ставит рядом с подушкой отца несколько банок с вареньем, сушеные фрукты, соленый арбуз, всевозможные пряники. Не выдержав этого зрелища, отец, набравшись сил, поворачивается на другой бок, лицом к стенке, и подбородок нашей Маринки начинает горько, обиженно дрожать.

Отец ее недолюбливает. Лет двадцать тому назад он выдал ее замуж в соседнюю деревню, и ему не нравится, что она там не прижилась. До сих пор Маринка не может забыть свою родную деревню. Наведывается сюда часто — то за фруктами, то за лаской, то за местными сплетнями, и этого ей отец не может простить. По его понятиям,

куда бы судьба ни забросила наш род, он должен там прижиться. Нечего все бегать к мамке.

Маринка остается у нас на несколько дней. Днем она помогает матери по хозяйству, а по ночам они дежурят у постели больного, сидя вдвоем на маленькой скамеечке. К полуночи у отца, как правило, поднимается температура, и он начинает бредить. Чудится ему красивый солнечный день, народ столпился в нашем дворе, а они с матерью встречают нас у ворот. Мы возвращаемся на машинах, летим на быстрых конях, прилетаем самолетами, а бедные наши старики едва успевают обнимать и целовать нас.

На завалинке сидят лучшие, каких только можно себе представить, музыканты. Отец, бровью заказав мелодию, берет нас за руки, ведет кругом перед всей деревней, показывая танец, который только он один и помнит. Он совершенно счастлив, но, нечаянно наступив кому-то на ноги, просыпается, видит у изголовья двух женщин и просит воды.

Утром, когда Маринка набирает воду у колодца, а мама рубит хворост, наглый петух снова взбирается на порог. Похлопав крыльями, он трижды, как в добрые старые времена, кукарекает. Несколько удивившись, что вместо пшеницы в него стали бросать камнями, палками, он, будучи неробкого десятка, переждав эту атаку, снова хлопает крыльями, предвещая нашему дому огромное число долгожданных гостей.

Впервые за эти четыре дня болезни отец, приподнявшись, садится на кровати. Похудел, осунулся, и, бледный, небритый, он чем-то похож на нарисованных в нашей церкви святых. Долго разглядывает свои бледные, обессиленные руки и, низко опустив голову, шепчет неожиданно сердито и зло:

— Что ж, если так, я сам навещу их. Если осенью дети не хотят навестить своих родителей, тогда родители сами навещают их.

После обеда, съев привезенный Маринкой арбуз, отец принимается прикапывать лозу на приусадебном винограднике. Скоро наступит зима, с этим надо спешить, а он единственный работник в доме. Бессильна и бестолкова, как никогда, лопата, которой он копает, да только отец — человек терпеливый, он обучает ее заново всему, что нужно в хозяйстве.

К вечеру Маринка спускается по тропинке, возвращаясь в свою деревню. Идет улыбаясь, что-то бормочет про себя — должно быть, сочиняет ту полную драматизма историю, которую принесет в свою деревню. И скажет она своим соседкам, что еле застала отца в живых. Спасла его маленьким соленым арбузом. Соседки охотно поверят, и, кто знает, может, так оно и было.

Еще через день наша мать хлопочет, счастливая, у печи — готовит нам гостинцы. Дымятся свеженькие, горячие, испеченные по унаследованному от бабушки рецепту пряники, и тут же, не дав им остыть, мать упаковывает их в большую плетеную корзину, перемешивая то с грушами, то с яблоками, то с орехами. Ее старческие глаза блестят от возбуждения, и кажется ей, что все мы тут, рядом исходим слюнками, ждем не дождемся гостинцев. А отец тем временем, сидя на завалинке, гладит себя по макушке. Увы, когда молдаванин сам себя ласкает — значит, у него ни копейки в кармане, и у отца их в самом деле нет. Еще осень, колхоз не рассчитывается за трудодни, подзанять не у кого, и тогда волей-неволей отец решается.

Вечером он в правлении колхоза. Сидит в бухгалтерии, в уголочке, так, чтобы никому не мешать, и ждет, когда кассир откроет кассу. После нескольких неудачных попыток он наконец заприметил кучку скомканных рублей на верхней полочке и тут же бежит в кабинет председателя. Достает заранее написанное заявление, некоторое время они торгуются — куда, зачем, на какое время; затем отец, получив скомканные рубли, идет в сельмаг, у знакомой продавщицы обменивает их на чистенькие, почти новенькие бумажки, потому что замусоленные деньги раздражают его, он даже не считает их ценностью...

И вот наконец старик готов в дорогу. Стоит у калитки в новом дешевеньком костюме, с большой тяжелой кошелкой. Мама тут же, рядом дожидается чего-то положенного ей по закону семейной жизни, но отец нерешителен, косит глазом то вправо, то влево. Переулок пуст, и в соседних дворах ни души, а он все никак не решится. При всех отъездах самое трудное для отца — это попрощаться с матерью.

Собравшись наконец с духом, он гладит ее руки и, совершенно растерявшись, надвигает шапку на глаза и кашляет сердито.

— Смотри не балуй этого чертова петуха.

По деревне отец идет важной, степенной походкой. Каждый встречный хочет узнать, куда это он собрался; отец охотно всем объясняет, и видно, что ему доставляет огромное наслаждение рассказать своим односельчанам, куда это он идет.

Выходит он из деревни большой, восточной, дорогой. Поднявшись на крутой холмик, садится передохнуть под одиноким, разбитым молнией орехом — с одной стороны он светится зеленью, с другой — стоит обугленный вот уже много лет. Отсюда как на ладони видна вся наша деревня, только кажется она маленькой, и отец этим забавляется. То соберет в кучу все домики, колодцы, заборы, то заново вернет их на свои места. Куда бы отец ни уезжал, он уходит восточной дорогой и под этим орехом сидит минут пять. То ли он выясняет для себя, откуда он отправляется в путь-дорогу, то ли наказывает своим ногам, куда они должны его вернуть, когда настанет срок. Потом, вздохнув, встает, идет крепким шагом пешехода и постепенно сливается с серой осенней пахотой.

По голым полям бродит облезлая, бывавшая во многих переделках бездомная собака. Почуяв вдали человека, она пулей пускается вдогонку. Отец даже не замечачает, когда она увязывается за ним — вдруг видит, бежит по его следу дворняжка, покорно, низко опустив голову, точно выросла у нас во дворе, невероятно привязана к старику и теперь сопровождает его в дороге.

Остановившись, отец разглядывает ее долгим, сочувственным взглядом. Собака тоже смотрит на него. Отцу становится жалко собаку — кругом одна пашня, голодно и неуютно. Поставив кошелку, он склоняется над ней, а собака, подкравшись ближе, умильно виляет хвостом. Правая рука старика вдруг сворачивает мимо кошелки, идет правее, ищет на земле твердый комок, и, сообразив, чем дело пахнет, дворняжка отскакивает, несется пулей, а отец, выпрямившись, берет кошелку и идет своей дорогой. Отсутствие достоинства — это то, чего он никогда никому не прощает.

Перемахнув крутой подъем, дорога опускается в огромную долину, и эта долина, мягко извиваясь меж холмами, тянется далеко на юг. Кругом выщипанное скотиной до самых корешков пастбище. Старый, наполовину

прогнивший мостик, мутная речушка со звучным именем Кайнары, разбросанные тут и там на ее берегах кустики желтой ракиты. У старого моста отец сходит с дороги, идет вниз по речке, и следы его новых ботинок с удивительной покорностью повторяют мельчайшие изгибы реки. Кайнары — это друг его детства, и старику доставляет большую радость эта встреча.

Долиной идти хорошо, тут полное затишье, но вдруг из-за очередного поворота показывается старый колодец. Отец, удивленно смахнув шапку на затылок, останавливается. На сером, почерневшем от времени журавле колодца сидит неподвижно, словно нарисованная, черная ворона. Старик, презирая этих прожорливых птиц, ищет чего-нибудь, чтобы запустить в ворону. Спешит к колодцу, на ходу подбирая и швыряя в нее все, что только попадается под руку.

После удачно брошенного камушка ворона снимается с жерди, мягко скользит на коротких ощипанных крыльях и тонет в соседней пахоте.

Отец принимается исследовать колодец. И грустнеет старик, потому что колодец в жалком состоянии. В сумрачной глубине чернеет крошечный пятачок живительной влаги, но этот родник испоганен брошенными кем-то палками. Стояк, на котором качается журавль, прогнил совершенно, остальное поросло мхом, и так горько, так обидно делается старику. Обнаружив похожий на скамеечку, наполовину всосавшийся в землю камень, он садится, кряхтя по-стариковски, и вместе с этим возгласом «о-хо-хо-хо» будто замирает все вокруг. И солнце повисло, зажатое тучами, и голые кусты ракит не шелохнутся, и даже воды Кайнары замерли в русле.

Привал. Отец отдыхает. Когда он отправляется навещать нас, то всегда идет этой долиной, и здесь, у колодца, нагоняет его первая усталость. Теперь, присев, он, может быть, отдыхает, а может, вспоминает, как много лет назад ехал он жарким летом на высокой, груженной пшеничными снопами телеге. Пить хотелось ужасно. Там, у скалы, был в ту пору родник, и стояла там, склонившись над водой, молоденькая девушка с глиняным кувшином. Отец попросил напиться, и с этого влажного кувшина началась жизнь всех нас шестерых.

Родник у каменной скалы засыпан, теперь и не отличишь, где он там был, а со скалы медленно скатываются

чистые капли осенней влаги. По выгоревшей, выеденной скотиной траве медленно текут, переливаясь серебристой чистотой, крошечные ручейки. Добравшись до Кайнары, влившись в его мутные воды, они уходят далеко на юг. А отец по-прежнему стоит у колодца, низко, горько опустив голову.

Перекур. Старик отдыхает. А может, вспоминает, как много лет спустя в память об их первой встрече выкопал он этот колодец. Долгую осень мок здесь под дождями, перерыл все кругом, но добрался до родника такой чистоты и свежести, что люди из окрестных сел назвали колодец его именем. И долго, целый век люди утоляли здесь жажду и поминали добром его имя.

Не верится старику, что теперь вырытый им колодец только и годится что для черной вороны. Приподнявшись с камня, он заново начинает его исследовать, и на этот раз кажется ему, что все не так уж плохо. Внутренняя обшивка колодца еще крепка. Бросив камушек, он прикидывает глубину воды, и ему даже кажется, что видно там, под водой, как клокочут родники, поднимая крошечные тучки песочной пыли.

И все-таки вид у колодца жалкий, и старик стоит, не зная, чем помочь.

Отец отдыхает. А может, вспоминает, что отсюда, из этой долины, начинались его три гектара, та полоса земли, с которой он подбирал каждый колосок, чтобы выкормить свою семью. Знал бы он тогда, что мы разлетимся по свету и не сможем приехать, когда он на старости лет сляжет, знал бы он это тогда — еще больше любил бы нас в детстве, и в этом-то суть, и в этом-то горе.

А осенью дни короткие: не успело солнце показаться на закате — и вот уже нет его, уже бегут по полям вечерние сумерки, и нужно спешить. На старом журавле опять сидит та неживая черная ворона, а отец, выбравшись из долины, плетется по свежей пахоте. Идет грустный, низко опустив голову, потом однообразный, скучный рисунок пахоты чем-то заинтересовывает его. Он долго приглядывается к крутым отвалам борозд, останавливается, роет руками свежую, влажную землю, и опять весело светятся его карие когда-то глаза. Глубоко вспаханное поле всегда возвращает ему хорошее настроение. Ничего, еще все может устроиться.

Посреди этого моря сплошной пахоты белеет раски-

нувшаяся на ровном месте деревушка. Остановившись у крайней усадьбы, повесив на чей-то забор кошелку, отец начинает приводить себя в порядок. Счищает с рук прилипшие крошки чернозема, расчесывает, пропуская сквозь пальцы, свои влажные седые волосы и вообще придает себе вид, соответствующий высокому положению гостя.

Сама деревушка на редкость ладная и уютная. Хоть и не очень богата, все в ней сделано удивительно ловко, крепко, на долгие годы. Отец идет медленным шагом, постоянно оглядываясь,— ему очень нравится эта деревушка, и, не будь нашей старой деревни, он, пожалуй, перебрался бы сюда.

Здесь, в Фрумушике, живет старший из нас, Андрей. Когда заходит о нем речь, отец начинает забывать, что и Андрей рос когда-то в его доме. То, что было, было давно. Теперь Андрей поседел, у него у самого женихи и невесты в доме, ему самому уже под пятьдесят. И все-таки, собравшись навестить нас, отец начинает круг с Фрумушики, чтобы потолковать с умным, хорошим человеком, который на удивление похож на отца, каким он был когда-то в молодости.

Девушка-подросток, пересекая двор в непомерно больших галошах, видит плывущую над гребнем забора остроконечную шапку деда и вбегает в дом с криком:

— Мама! Наш мулдуван иде!

Фрумушика — деревня сплошь украинская, и наш отец, человек на редкость уступчивый, до сих пор не может примириться с тем, что ни сноха, ни внуки не говорят на его языке. Что до отца, то он принадлежит к той категории молдаван, которые не в состоянии усвоить никакого языка, кроме своего родного.

На порог того домика, куда забежала девушка, выходит низенькая женщина с запорошенным мукой передником, с голыми до локтей, облепленными тестом руками. Узнав отца, она широко улыбается, кричит что-то соседке слева, оповещает соседку справа и наконец, высоко, театрально подняв руки, идет к калитке:

— Мамонько моя ридная...

Отец чинно ступает по вымощенной камнем тропинке, показывая свое уважение к этому двору. Входит он в дом не через обычную, а через парадную дверь. Открывает им парень лет шестнадцати, аккуратно, чистенько одетый. Поцеловав протянутую руку и тут же уловив немое

распоряжение матери, он утвердительно кивает и выбегает за калитку с новым велосипедом...

Недалеко за деревней виднеется длинное здание колхозных автомастерских. В густом сумраке гаража из-под большого, наполовину разобранного трактора вылезает крепкого сложения человек с вентиляторным ремнем в руках. Свое внимание он делит между тем, что̀ держит в руках, и тем, что̀ говорит ему парень, приехавший на велосипеде. Выслушав сына, он, словно недовольный тем, что его оторвали от работы, вскидывает брови, устало, мельком улыбается, потом подходит к парню и, обнаружив пятнышко на его чистом костюме, старательно стирает грязь. Расчесывает красивый пшеничный чуб сына, словно, прежде чем самому встретиться с отцом, он сначала должен явиться перед стариком в аккуратном облике своего сына. Наконец, обнаружив в руке вентиляторный ремень, он согласно кивает и снова лезет под разобранный трактор. Работает медленно, ловко, с наслаждением, точно ему и спешить некуда. Временами, правда, легкая улыбка засветится в уголках губ, но тут же гаснет. Только пристроив ремень на место, он широко улыбается и кричит кому-то лежащему под соседним трактором:

— Слышь, Петро, старик мой приехал!

Потом, выбравшись из-под машины, вымыв руки в ведре с бензином и аккуратно вытерев их ветошью, Андрей медленно идет к деревне, словно, пока он мыл руки, запамятовал, что у него гости.

А отец между тем сложил на стол кучками (по количеству внуков) гостинцы и стоит растерянный, потому что внуки застыли у порога как одеревеневшие. Не то стесняются, не то ломаются. Входит жена Андрея с двумя большими подносами. Крупные, как с выставки, фрукты, сдоба разной выпечки, со всякими художествами. Гостинцы старика вмиг блекнут. Жена Андрея готова снова побежать по делам, но ее останавливает подозрительная тишина в доме. Некоторое время, глядя то на сложенные кучками гостинцы отца, то на столпившихся у порога детей, она прикидывает, что произошло. Потом высоко, трагически поднимает руки:

— Мамонько моя ридная!!

Одним подзатыльником она перемещает свое семейство ближе к отцу, другим заставляет взять гостинцы, поблагодарить, отведать и быстро, в окружении всего

потомства исчезает. Оставшись один, не видевший всех подзатыльников, отец несколько удивляется торопливости своих внуков, но говорит, самодовольно поглаживая себя по макушке:

— Ничего, все хорошо.

Андрей наконец возвращается домой. Идет размеренной, установившейся на все случаи жизни походкой. У закрытого сельмага он останавливается, чтобы расшифровать смысл вдетого в кольца, но еще не защелкнутого замка. Означает это, что время продавца вышло, но что ему еще следует добрать до плана, и, если у кого есть деньги, он не гордый, может вернуться к прилавку. Андрей ждет минуты три, потом из соседнего домика выходит грузная женщина с накинутой на плечи фуфайкой. Фуфайка новая, с ярлыками, ее еще надлежит продать.

Через пять минут Андрей уже хлопочет как наседка вокруг своих покупок. Две бутылки водки, три бутылки вина, колбасный круг и белая шелковая рубашка. Как все это донести — один господь знает. Продавщица приходит на помощь. Рассовывает товары по его карманам, а карманы Андреевых брюк — это одно из величайших чудес. Все товары утонули, да еще осталось место, чтобы согреть человеку руки, если озябнут.

Жена Андрея так разошлась, что за нею прямо не уследишь. Подметает, стирает, готовит стол, кормит трех поросят, моет руки, достает из погреба моченые яблоки, и, занимаясь всеми этими делами с поразительной ловкостью, находит время, чтобы каждые две-три минуты навестить сидящего в комнате отца и рассказать ему очередную историю из своего неистощимого запаса фрумушикинских новостей. Начинает она их каждый раз с одних и тех же слов: «Мамонько моя ридная!»

Говорит она с той же быстротой, с какой вообще делает все на свете, и отец, решительно ничего не понимая по-украински, улыбается, согласно кивает головой: «Ничего, все хорошо».

Идя домой, Андрей старается обходить всех подозрительных односельчан, попадающихся на его пути, но вот высокому сухощавому детине не понравилось, что его обходят. Окликнул Андрея, подошел. Стали о чем-то тихо говорить, потом долговязый уловил вкусный запах колбасы. Согнувшись в поясе, ощупал карманы Андрея и высоко, недоуменно вскинул брови. Андрей, скупо улыбнувшись, сообщил, в чем дело, и пошел своей дорогой, а дол-

говязый тут же побежал к сельмагу, точно не у Андрея, а у него гости.

Жена Андрея тем временем подтянула резерв. Две ее соседки, стоя на пороге, чинно раскачиваются из стороны в сторону, точно поют народные песни, и что-то рассказывают старику. Временами забегает жена Андрея, чтобы подкинуть еще что-нибудь в разговор, а отец, глядя в окошко (чего это Андрей так долго не возвращается!) и улыбаясь, поддакивает соседкам: «Ничего, все хорошо...»

Теперь Андрей добирается домой задами усадеб, но вдруг из-за высокого стога сена выныривает толстяк и, застегнув на ходу ширинку, останавливает его. Поговорили о том о сем, после чего Андрей с очень занятым видом пошел своей дорогой, а толстяк остался на месте — что-то ему показалось подозрительным. Приметив чуть топорщившиеся карманы Андреевых брюк, подбежал и тоже пощупал их.

Теперь двери сельмага широко открыты. Продавщица скинула с себя не проданную еще фуфайку, торговля идет бойко; из сельмага выходят односельчане Андрея, счастливые и довольные всем на свете.

Почти всю ночь отец сидит за столом на почетном месте в подаренной Андреем белой рубашке, а кругом идет гулянка. Около восьми пар гостей, по-братски обнявшись, сидят за столом, поют «Распрягайте, хлопцы, коней», поют так, что мелкой дрожью отзванивают стекла в окнах. Отцу, должно быть, тоже мерещится девушка, которая выйдет рано утром по воду, он тоже поет вместе со всеми, хотя видно, что он не знает ни слов, ни мелодии. В редкие минуты тишины, застенчиво улыбаясь, он поддакивает установившемуся кругом праздничному настроению: «Ничего, все хорошо...»

Под утро гости расходятся по деревне, веселясь и балагуря вовсю, жена Андрея забегает к спящим в маленькой комнате ребятишкам и, присев рядом с их кроватками, дремлет, а в комнате, где недавно еще шла гулянка, остаются только двое — отец с сыном. Им так много нужно сказать друг другу, и так мало у них на это времени осталось, что они сначала просто сидят молча. Потом Андрей низким, простуженным голосом запевает молдавскую песню, и отец вздрагивает от неожиданности. Когда-то давно это была его любимая песня, но с годами она ушла, и отцу просто не верится, что одному из сыновей удалось ее сберечь.

Старость — тяжелая одежда,
Все бы отдал, лишь бы сбросить с себя.

Рано утром жена Андрея стоит у калитки, бледная и грустная. Она устала. Очень устала. А кроме того, она искренне любит нашего отца. Беспомощно повисли две огромные, почти до колен руки, и она механически печально повторяет про себя: «Мамонько моя ридная...»

А отец уже вышел из деревни. Идет медленно, с достоинством, очень довольный таким приемом. Рядом идет задумчиво самый старший среди нас, и думает он тяжелую свою думу о моторах внутреннего сгорания. Далеко за деревней, там, где начинается новое шоссе, они прощаются. Отец растроганно целует Андрея в лоб, Андрей же, торопливо пожав ему руку, скупо улыбнувшись, поворачивается, идет напрямик по пахоте к еле виднеющимся вдали колхозным мастерским. Отец стоит на обочине нового шоссе и, не мигая, провожает сына. Удаляясь, Андрей становится все меньше, его плотная фигура растворяется в серой мгле осеннего утра, но ни разу сын не оборачивается, чтобы посмотреть — ушел отец или стоит еще там. И думает старик про себя, что нелегок хлеб тракториста, что эти промасленные гайки если уже завладеют тобой, то надолго. И горько ему, что отдал гайкам сына, и рад, что сын хорошо живет.

А время идет, осенние дни коротки. Отец плетется дальше, но идти по новому шоссе трудно. Местами дорога мощена, местами перерыта машинами, с мелкими кучками гравия по обочинам — не успели вымостить. Потом с какой-то высоты дорога медленно, величественно начинает спускаться. Посмотреть — дорога вроде ровная, а пешеход чувствует спуск, и отец радуется. Долго спускается эта дорога, и то польза.

На половине спуска отца обогнала груженная мешками телега. Ездовой кивком предложил подвезти, но отец, мельком взглянув на усталых, взмыленных лошадок, поблагодарил за приглашение, однако не сел. Потом стали спускаться телеги одна за другой, но все они дальние, груженные хлебом. Ездовые приглашают его без конца, а упрямый старик, жалея скотину, благодарит, благодарит всех и продолжает идти пешком.

Километра через два, там, где кончается спуск, кончается и это новое шоссе, передавая своих ходоков широкой асфальтированной дороге. Асфальт — это слишком

дорогое лакомство для бесхитростных телег: по асфальту теперь летят груженные хлебом машины, и телеги, ожидая своей очереди, выстраиваются длинной кривой цепочкой. Отец не может так сразу изменить телегам, выбрав себе более знатных попутчиков. Ему, чудаку, хочется заступиться за них, и, став на самый краешек асфальтированной дороги, подняв руку, он голосует в надежде, что хоть одна машина затормозит и, пока он переговорит с шофером, телеги переползут на асфальт и займут дорогу. Придумано было хорошо, да ведь в кабинах тоже не дураки сидят.

Пока отец, рискуя собой, стоит на самой кромке асфальта и борется за права деревенских телег, ездовые, обнаружив старое русло дороги неподалеку от асфальтированного шоссе, сворачивают, плетутся по нему на север, и отец, выругав про себя бестолковых ездовых, пускается и сам в путь-дорогу. Идет, низко опустив голову, задумавшись о чем-то, и так он вышагивает много километров, ни разу не оглянувшись.

Из-за высокого холма неожиданно вырастает свежая, еще не прокуренная труба сахарного завода. Отец, передвинув шапку на затылок, облегченно вздыхает — кажется, добрался. Чуть в стороне от дороги по-осеннему шуршит ржавеющей листвой жиденький перелесок. Старик долго что-то соображает, потом, решившись, идет напрямик по пахоте к перелеску, ощупывая на ходу поясной ремешок и воровато оглядываясь. Дело в том, что у Николая — брата, живущего здесь, в райцентре,— есть уборная в доме. Отец, стесняясь ею пользоваться, перед тем как навестить сына, всегда заглядывает в этот перелесок.

У входа в райцентр, сразу за переездом, десяток рабочих в лихорадочной спешке меняют рельс в железнодорожном полотне. Отец подходит к ним, чтобы погадать вслух: успеют рабочие до прихода поезда или не успеют. Кажется ему, что не успеют. Бросившись к ним на помощь, он в то же время предлагает им несколько весьма дельных, по его мнению, советов. Рабочие охотно передают ему конец тяжелого нового рельса, но советы пропускают мимо ушей, и, оскорбленный, отец уходит. Идет вдоль железнодорожной насыпи по жиденькой, бледной травке; после трудных, размягченных осенних дорог ему удивительно легко идти по травке.

Недалеко за вокзалом, вокруг зернохранилищ и у открытых буртов,— большое оживление. Нескончаемые вереницы машин и телег, груженных хлебом, стоят в очереди у весов, а ссыпать уже некуда, потому что все вокруг засыпано хлебом. Горы кукурузных початков, крытые брезентом холмы пшеницы... На каждом пятачке земли, на котором можно было ссыпать, ссыпали так, что и ступить уже негде. Машины и телеги терпеливо ждут, а с востока и с запада спешат стать в очередь другие машины и телеги.

Отец замер. Он потрясен. Где-то в этом море зерна есть с десяток мешков хлеба, выращенного его руками, но их теперь никому не найти, не отличить, как не отличить в Черном море дунайские воды от вод Днестра. Это кажется ему удивительным, и глядит он на это зрелище и не наглядится. Все великое потрясает его, а свезенный вместе хлеб тем более.

У одной весовой будки возникает скандал. Огромная толпа, сбившись плотной кучей, горланит вовсю. Из другой толпы, стоящей рядом молча, то и дело выступает какой-нибудь смельчак, который хочет примирить враждующих. Едва пробившись в плотный круг, едва начав что-то бормотать, он как бы растворяется в этом сборище, и снова каждый орет о своем.

Отцу тоже не дают покоя лавры примирителя. Храбро лезет и он, что-то выкрикивая, а через минуту вылетает с одной-единственной пуговкой на пиджаке. Когда здесь заспорят о хлебе, лучше не соваться.

Тем временем маленький паровозик подогнал к открытым буртам цепочку пустых вагонов. Едва вагоны остановились, в ту же самую минуту пшеница, взлетев вверх, тонкими струйками полилась в них. Удивленный таким способом погрузки, старик спешит посмотреть, как это делается. По дороге он спотыкается, наступив на свалившиеся с какой-то машины початки. Подняв их, тут же чувствует непреодолимое желание спрятать початки в кошелку, но, заметив в толпе милицейскую фуражку, поспешно бросает их в вагон.

Вагоны не загрузили еще и наполовину, когда рядом раздался оглушительный железный скрежет. На дороге за зерноскладами лежит опрокинутый грузовик, рассыпались три тонны подсолнечника, и тут же рядом дымится автомашина с приплюснутым мотором. Шоферы, груз-

чики и просто зеваки толпой бегут посмотреть, как милиционер будет составлять акт. Бежит туда и старик.

Это великое зрелище убранного зерна будит в отце голодного волка, и хочется этому волку, до смерти хочется черного, казенной выпечки, купленного в магазине хлеба. Опасливо переступая через вокзальную сеть путей, отец выходит на главную улицу райцентра, занимает очередь в магазине за хлебом. Потом он ходит с большой румяной буханкой, ищет, где бы ему присесть так, чтобы поесть вволю, а присесть негде. Чайная тут маленькая, народу полно, в вокзальном буфете тоже негде присесть. Далеко за зерноскладами беспорядочно лежит наскоро выгруженный лес, и десяток мужиков, устроившись на бревнах, отрешенно едят купленный в магазине хлеб. Присаживается к ним и отец. Кругом воют и стонут буксующие грузовики, лязгают буферами составы, гудят паровозы, но отец уже ничего этого не слышит. Он ест.

Наевшись досыта и вымыв руки у вокзальной колонки, отец берет кошелку и спешит дальше. Городок сахарного завода — удивительно приятное зрелище, но невероятно похожие друг на друга домики начинают сбивать старика с толку. И по левой и по правой стороне улицы — такие же шифером крытые крыши, совершенно одинаковые дымоходы из красного кирпича, одинаковый рисунок окон и дверей, одной и той же краской выкрашены заборы и калитки. Отец идет все медленнее, медленнее и наконец останавливается, совершенно растерянный.

Номер дома Николая — сорок семь, отец это хорошо помнит, но как выглядят эти две цифры, забыл. Грамоте он учился на старости и, если волнуется, забывает решительно все, чему учился.

Приметив наконец приделанные у входа знакомые звонки, отец радуется. Звонки разные: одни прибиты высоко, другие низко, одни круглые по форме, другие продолговатые. Выбрав из всех один, чуть треснутый, прибитый высоко, словно хозяева ожидают в гости одних верховых, отец звонит.

Николай, самый веселый и озорной среди нас, сидит в ванной и парит ноги в теплой воде. Услышав звонок, он тут же поднимает руку вверх, как бы приветствуя гостя, но и не думает выходить открывать. Простояв некоторое время на крыльце, усомнившись, отец снова бродит по поселку. И обидно и чудно ему, до чего похоже

все кругом. Попробуй тут выпивши попасть к себе домой. В каждом дворике — по восемь молодых яблонь, по четыре совершенно белых курицы, по одной паре старой обуви у входа. Хотя на том крыльце, куда он уже захадил, стояла пара невероятных размеров галош, отец возвращается к треснутому звонку. Николай, сидя в ванной, поднимает обе руки вверх, трясет кистями в знак того, что он от всей души приветствует гостя, но открывать не идет. Рассердившись, отец кричит тем властным, свирепым голосом, каким он кричал на нас лет тридцать тому назад, когда мы бегали без штанишек:

— Мэй, Коля, мэй!

Бедный Николай! Ему, видать, больше всех доставалось, потому что и через тридцать лет этот голос совершает с ним чудеса педагогики. В мгновение ока он выскакивает на улицу, обнимает отца и только после этого, отпустив, хмурится: а с какой это стати, скажите на милость, орут на него, как на маленького? И отцу нелегко: нехорошо, конечно, так кричать на взрослых сыновей, тем более когда приходишь к ним в гости.

— И как это ты, отец, надумал навестить меня?

Николай всегда удивляется, когда приходят к нему в гости. Он никогда никого не ждет.

— Да сидели мы как-то со старухой, и давай, говорю...

— Что ж, раз приехал — давай заходи...

Злые языки утверждают, что Николай — самый состоятельный в нашей семье. Сладкое все любят, и кладовщик на сахарном заводе — должность хорошая. Правда, гостить у него — одна морока. Как только заявится гость, в доме начинаются ссоры. Насколько Николай любит прибедняться, настолько его жене нравится, чтобы о них ходила молва как о богатых.

Поздоровавшись с отцом, жена Николая тут же забегала, начала прибирать в комнате. С ходу прикрыла платком пару швейных машин, поправила занавеску на окне, укрыв в то же время полотенцем новый приемник, но делала она все это с подчеркнутой ленцой, так чтобы отец все-таки приметил и запомнил, что она там прятала. Николай, раздосадованный глупым бахвальством своей жены, говорит ей мученическим голосом:

— Аника!

— Что?

Снох своих отец ценил не очень высоко, и Николай предлагает отцу:

— Пошли на кухню. Там теплее.

Усадив отца, он тут же открывает маленькую кладовку, перетаскивает в кухню всякое старье: изношенную обувь, разбитый бочонок, какое-то тряпье на меху. Отец долго и придирчиво рассматривает это старье — в своем хозяйстве он бы не стал возиться с ним, но Николай садится рядом, принимается как бы в шутку за починку, и его ловкие, умные, белые руки заражают деятельностью угловатые, смуглые, старческие руки отца. Николай — самый трудолюбивый среди нас. Он не представляет себе человека сидящего просто так, в должности гостя, и, чтобы не избаловалась родня, если кто заходит к нему, заставляет работать.

Некоторое время они молча работают. Слышно только, как дышат: Николай хватает воздух чуть вздрагивающими ноздрями сочно, шумно, а отец раз в две-три минуты шумно вздыхает. Они долго работали вместе, отец с сыном, у них есть что вспомнить. Отдавшись воспоминаниям, то один, то другой улыбаются. Потом Николай говорит:

— А помнишь, отец, как однажды мы с тобой...

Им есть что вспомнить. Когда Николай вырос, сам отец тоже был еще в силе. Они делятся воспоминаниями, но прожитые годы были трудными, горькими, и как-то незаметно разговор становится сухим, колким. Отец в гостях, ему неудобно нападать, он все чаще помалкивает, и это выводит Николая из себя. Он становится желчным, бросает починку и затевает одну из давно забытых в нашей семье ссор. Николай считает себя самым обиженным среди нас. Теперь он в который раз поясняет отцу, почему он на него в обиде. Его, оказывается, чаще всех пороли, одежду ему шили из самого дешевого материала, учебников ему не покупали, заставляли ходить к другим учить уроки, а при женитьбе дали самую плохую землю. Есть в этом много правды, много неправды, но отец, чтобы не обострять спор, отвечает односложно:

— Такое было, сынок, время...

Поздно вечером они садятся ужинать там же, на кухне. Едят жареную рыбу, мамалыгу и брынзу со шкварками. Николай хвастает:

— Национальная еда.

Потом, угостив отца рюмочкой промышленного спирта, от которого у старика перехватывает дыхание, спрашивает:

— Как там наш Андрей? Забыл, верно, родной язык?

С трудом отдышавшись, отец тут же бросается защищать Андрея:

— Отчего же? Они все понимают по-молдавски.

— Ни хрена они не понимают.

После ужина Николай стелет отцу там же, на кухне. Кончив с этим скучным делом, он садится на корточки и, пока отец раздевается, следит наметанным глазом: что бы взять с него за свои старые обиды? Заметил у старика болтающийся на поясе красивый перочинный ножик и потянул его к себе. Ножик ему понравился. Упрятав его в свой карман, он принес отцу взамен какое-то старье и, несколько подобрев от этого обмена, уходит, пожелав отцу приятных снов.

Всю ночь отца терзают полузабытые, разбуженные Николаем истории. И кажется ему, что всю свою жизнь он прожил не так, и становится ему душно тут, на кухне, и уснуть он не может всю ночь. А на второй день, чуть свет, не примирившись после вчерашней ссоры, они стоят на окраине райцентра. Маленькая автобусная станция совершенно пуста. По асфальтированной дороге только-только начинается движение — то проедет машина, то проползет причудливый комбайн новой конструкции, то мотоцикл застрекочит. У Николая, с тех пор как он стал кладовщиком на заводе, неисчислимое количество знакомой техники. Гордо, с достоинством став на обочину дороги, он устраивает как бы смотр, и действительно, все проезжающие тормозят возле него, чтобы обменяться с ним шутками. Об отце он совершенно забыл — только когда увидал удаляющийся автобус, сообразил, что отец уезжает, и на всякий случай помахал кепкой. Небось не обидится. Свой человек.

По-осеннему скупо, еле-еле дымятся поля, пригретые первыми лучами восходящего солнца. Широкое асфальтированное шоссе, мягко извиваясь, уходит далеко на юг, и автобус, наслаждаясь этой утренней прохладой, летит на недозволенных скоростях. Пассажиров всего одна единица, ответственность не бог весть какая.

Отец, должно быть, часто путешествовал в битком набитых автобусах, так что теперь, оказавшись в совершенно пустом салоне, стоит растерянный, ума не приложит, как бы ему подзанять про запас пару скамеек. На одной, передней, он устраивает кошелку, на другую кладет шапку, а сам устраивается на заднем сиденье, занимая та-

ким образом четыре места сразу. Сквозь боковое стекло сочатся теплые лучи, и старик, греясь на солнышке, блаженно щурится. Иногда поздней осенью выдастся по-летнему теплый денек, и велика тогда радость молдаван.

Изредка автобус тормозит на остановках, широко открывает двери, в которые никто не входит, а старик, греясь на солнце, предупредительно качает головой — он еще не сходит, ему еще ехать. Потом из-за поворота показывается небольшая деревушка, рассыпанная вдоль шоссе. У остановки стоят, дожидаясь автобуса, с полсотни колхозников, груженных связками домашней птицы, корзинками с фруктами, овощами. Стоят, аккуратно выстроившись в очередь, мирно щелкают семечками, но шофер подъезжающего автобуса, злодей, каких мало, останавливает машину метров за сто до остановки. Лихо подзакрутив усики, он выскакивает из машины так, чтобы толпа его не заметила, и тут же исчезает в переулочке.

Стоявшие в очереди люди удивляются: чего это шофер остановил там автобус? Неужто, пока они тут стояли, начальство перенесло остановку? Плюнув на очередь, они бросаются каждый со своей ношей к автобусу. Увидев издали старика в машине, они приветливо машут ему шляпами, и, несколько озадаченный этим нашествием, отец робко им отвечает. Толпа с ходу вклинивается в заднюю дверь, но дверь заперта. Перебегают к передней, а толку мало. Шофера в кабине нет, и пятьдесят человек, сотня остервенелых кулаков, барабанят по кузову машины, требуя, чтобы им открыли. Отец, приняв весь этот гнев на свой счет, беспомощно пожимает плечами: бог его знает, как они тут открываются! Но, оказывается, колхозники все знают, они показывают ему, как это делается, всячески поощряя старика, и в конечном счете отец решается. У задней двери он пытается пропустить пальцы через затянутую резиной щель, потом переходит к передней двери, долго колдует над ней, а толку мало.

Сердитая толпа начинает возмущаться его беспомощностью. Одни корчат ему рожи, другие грозят кулаками, и, совершенно растерявшись, отец собирает свои вещи, скромно усаживается, занимая, пока не поздно, свое законное место. Это окончательно выводит из себя столпившихся у автобуса колхозников: они поднимают такой шум и гам, что, кажется, разнесут и машину и старика.

Отец в ужасе. Хотя он считает себя истинным молдаванином, но его прошибает холодный пот, когда он видит много молдаван, собравшихся вместе.

Переулками возвращается шофер, обгладывая на ходу остатки куриной ножки. И вот пассажиры, перелезая друг через друга, вваливаются в автобус, и машина трогается. По обеим сторонам шоссе растут высокие липы — они стоят, обнявшись, над дорогой, бьют оголенными ветками по крыше автобуса, по окнам, а водитель гонит вовсю, наверстывая упущенное время. Автобус переполнен, и отец, конечно же, среди тех, кому не хватило места. Пятьдесят человек поносят его последними словами, а старик все оглядывается в поисках защиты. Смотрит с некоторой надеждой на спину водителя, потом, уловив в висящем над шофером зеркальце его лицо, ругается про себя, потому что шофер, хмурясь, грозит ему пальцем, как бы говоря: «Разве можно, дедушка, так обходиться с народом?»

Через несколько километров показывается другая деревушка, тоже рассыпанная вдоль шоссе. На самом краю деревни — обнесенный высоким забором, только что начавший собираться базар. У остановки вывалились из машины все пятьдесят бунтарей, каждый со своим товаром, и вот автобус снова в пути с одним-единственным пассажиром. Отец уже не садится. Стоя, он разбирает одну из сложнейших проблем современности: что такое личность и что такое толпа.

Обогнув высокий курган, шоссе спускается к густому лесу, но у первых же дубов, чего-то испугавшись, сворачивает снова в поле. У поворота, там, где густая тень дубов добирается к асфальту, выглядывает из лесу старенький, запущенный крестьянский домик. Напротив, через шоссе,— заросший камышом пруд, и нескончаемые стаи домашней птицы двигаются в двух направлениях: одни из дому идут к пруду, другие, покупавшись, возвращаются. И те и другие, перейдя дорогу, находят нужным поклевать асфальт. Автобус еле двигается, водитель сигналит то протяжными, то короткими гудками, а птицам наплевать — хоть ты длинными, хоть короткими сигналь.

Это зрелище путешествующих птиц приводит старика в полную растерянность. Наконец, собравшись с духом, он стучит в кабину водителя. Тот, раздосадованный утками, гусями и индюками, свирепо оглядывается: чего еще этому старику? А ему пришло время сойти, но, вы-

прыгнув, отец сначала подобрал хворостину, отогнал птицу, освободив дорогу для машины. Потом, проводив автобус, печально, как после большого проигрыша, вздыхает.

Здесь в лестничестве живет Антон — самый честный и самый странный среди нас. Уже лет пятнадцать отец не переступал порога его дома, и столько же времени сам Антон не показывался в родительском доме. И чудно и горько старику, что, не поссорившись, не обидевшись друг на друга, они с каждым годом уходят все дальше в разные стороны — отец и его сын.

Покашливая для храбрости, отец направляется к лесной сторожке, внимательно глядя себе под ноги, потому что кругом, насколько видит глаз,— сплошной куриный помет. Из-под старого дуба показалось несколько хрюшек. Чавкая желудями, они внимательно следят за отцом маленькими, заплывшими жиром глазками. Отец ценит хорошо откормленных свиней, сало — это надежный товарищ черному хлебу, и, заманив к себе хавронью, кладет ей руку на спину, с тем чтобы прикинуть приблизительную толщину сала. Это тоже важно знать, но в ту самую секунду, когда его рука касается хрюшки, из-за сторожки выскакивают две собаки и молча, свирепо бросаются на него. Отец отбивается ногами, полной гостинцев кошелкой, а собаки отчаянны, так и норовят искусать. Из дома выходит благообразная горбатая старушка с маленькой скамеечкой под мышкой. Слеповато щурясь, она ставит скамейку рядом с крыльцом, садится, как в театре, и лениво следит за этим забавным зрелищем — две бешеные собаки, бросившиеся на беспомощного старика. Теперь, стало быть, одно из двух — либо он, либо они.

Видя такое дело, отец начинает отступать в глубь леса, все оглядываясь, нет ли какой палки. Наступив на длинную крепкую жердь, он тут же бросается в наступление. Собаки скулят, прося защиты, и только тогда сидевшая у крыльца старушка отзывается:

— Пшли вон!

Виновато, послушно поскуливая, собаки исчезают за стареньким домиком, а отец смотрит долгим взглядом на старушку, словно хочет сказать: «Сволочь ты последняя после этого!» Идти, однако, нужно к ней. Он идет, но, остановившись в десяти шагах, искренне удивляется тому, что узнает ее. То, что он ее помнит, ему кажется в

порядке вещей — странно то, что узнает. В молодости он служил у нее пастухом. Была она в ту пору много моложе, владела шестьюдесятью гектарами, двумя корчмами и паровиком для обмолота хлеба.

— Добрый день вашему дому!

Старуха смотрит на него безразличным взглядом, зевает и ничего не говорит в ответ. Отец припоминает, что и в то время, бывало, она не очень охотно отвечала на приветствия. Была она, что верно, много моложе, «щеголяла» плотными бедрами, и люди не обижались. Когда, однако, это было!!

— Что за черт, я как будто сказал «добрый день»?

Сидя на скамеечке, старуха начинает массировать свои старые дряблые ноги, вкусно причмокивая при этом.

— Вот и ножки уже не несут. Если присесть прямо на землюшку — ни за что не встану сама. Со скамейки еще поднимаюсь, вот и приходится таскать ее с собой. По какому делу-то пришел?

Они незнакомы. Отцу никогда еще не удавалось застать Антона дома, и некому было сказать этой старушке, что стоящий перед ней человек — родной отец лесника. Сам отец всячески скрывает свое родство с ней, презирая ее еще с тех пор, когда служил у нее пастухом. Была она тогда, что верно, моложе и красивее.

— Лесника нету дома?

— Строиться, что ли, надумал? За лесом пришел?

— Хорошо бы пару кубометров.

— Деньги при себе? Или, может, тоже в долг?

Похлопывая себя по карманам, отец изрекает самодовольно:

— Вот они у меня где.

Старуха долго щурится, словно хочет сквозь ткань разглядеть, не врет ли он. Потом, неопределенно махнув куда-то рукой, советует:

— Иди вот так, в ту сторону. Если не найдешь, сам он наскочит на тебя.

Видя, что отец уходит вместе со своей жердью, добавляет:

— Брось палку. Собаки пугаются и трусят потом.

После этого она зевает, показывая, что у нее не осталось решительно ни одного зуба, а отец улыбается: как же, нашла дурака! Уходит, волоча за собой спасительную жердь. Потом вспоминает, что так и не ощупал у

хрюшек сало. Возмутился: с каких это пор, скажите пожалуйста, отец не может осмотреть хозяйство своего сына? Направился снова к чавкающим под дубом хрюшкам, но в ту же секунду выскочили обе собаки и бросились на него. Обороняясь, отец отступает в лес, собаки неотступно следуют за ним, и хриплый лай стихает, углубляясь в лес.

Старушка поднимается с маленькой скамеечки, думая вслух: что же ей нужно было еще делать? Ах да! Вынесла из дому полведра пшеничного отсева, высыпала перед домом и, странно прищелкивая, стала созывать кур. Набежало огромное, неисчислимое множество птиц, и, усевшись на скамеечке меж ними, старушка принялась на ощупь искать, какой из них завтра суждено снести яичко, какая проживет вхолостую. Она их, конечно, путает — тех, которых уже проверила, с теми, которых еще нужно проверять. Она их путает, да их невозможно не спутать, но старушка все же работает быстро, со сноровкой, по какому-то заранее намеченному плану. И только очень внимательный глаз может уловить, что она уже малость того...

Постарела, а все еще хочется ей нажить побольше добра. Уж нет сил даже для того, чтобы с земли подняться, а все еще копит. В сороковом году их выселили. Прожив лет двадцать в Сибири, похоронив там мужа и четверых детей, она вернулась домой с шестнадцатилетней внучкой. Правда, в саму деревню, поделившую ее хозяйство, она не захотела вернуться и некоторое время моталась вокруг, пока однажды ночью не ткнулась в эту сторожку. Наш Антон был в ту пору вдовцом, и ни одной птицы не было тут в лесничестве.

Возвращаются из лесу собаки, облизывая на ходу помятые отцом бока. Из далекой лесной глуши доносится раскат ружейного выстрела. Старушка вздрагивает, потом, плюнув себе за пазуху, чтобы нечистый дух, воспользовавшись этой секундой замешательства, не завладел ее помыслами, крестится, встает, берет свою скамеечку и входит в дом. В маленькой лесной сторожке невероятный беспорядок. Единственная мебель — старая железная кровать. Света мало, а из сумрака белеет бесконечное количество кошелок с яйцами. Их очень много, и старушка принимается их сортировать, бессмысленно перекладывая из одной кошелки в другую.

Эта старая железная кровать и женила нашего Анто-

на вторично. Тогда, ночью, впустив их, он постелил им на полу камышовую подстилку, но шестнадцатилетней внучке старухи не понравилось на полу. В полночь, когда старушка захрапела, она перебралась к Антону в кровать. Недели две она щедро ласкала его по ночам, потом, обокрав вчистую, исчезла, а старушка вот уже три года дожидается своей внучки и со скуки наживает добро, чтобы добавить к тому богатству, которого у нее давно нет.

Волоча за собой длинную жердь, отец идет по лесу, воинственно оглядываясь: ну где еще там бешеные собаки? Вид у него тупой, удрученный, какой бывает у застенчивых людей, вынужденных обстоятельствами к таким поступкам, которых они по своей воле никогда бы не совершили.

У порога зимних вьюг лес грустно, задумчиво дремлет. Полное безветрие кругом, но настали сроки — и крупный багряный дубовый лист, бесшумно отделившись от веток, мягко покружив над землей, тает в золотистом шуршащем море. Сухо щелкнет сорвавшийся с высоты желудь, изредка мелькнет летящая низко меж стволами птица, и снова тихо кругом. Тишина стоит густая, сочная, одуряющая, шаги отца шуршат, словно не один человек, а целые полки идут. Это трудно вынести живому человеку, и временами старик останавливается, чтобы передохнуть, осмотреться. И кажется ему, что дубы, заглядывая через плечи друг друга, косятся на него сердито и недоверчиво.

Теперь, поздней осенью, лес уже никому не верит, никому не друг. Он верил людям, когда наступала весна, он любил нас, когда мы ходили за грибами и земляникой, он нашептывал нам целыми ночами в пору сенокоса. Теперь пора великой лесной красоты миновала, лес стоит оголенный, сиротливый, и, если приблудится кто, лес встречает хмуро и недоверчиво, давит немыслимой для живого существа тишиной.

Отцу никогда не нравилось бродить по лесу поздней осенью, да еще в одиночку. Теперь, измотанный, он останавливается после каждых четырех шагов, чтобы решить: идти ли дальше, тут ли подождать сына или, может, вернуться обратно? Он долго стоит и думает, идти уже и сил не хватает. Потом в этой давящей со всех сторон тишине появляется просвет. Где-то совсем близко треснул сучок. Рядом с отцом на шуршащей листве стоит

высокая тень самого послушного, самого чудаковатого среди нас.

— Ну, с добрым днем тебя, сынок!

Антон, богатырского сложения лесник с перекинутым через плечо ружьем, смотрит на отца по-детски большими, по-детски густо-синими глазами. Хочет что-то сказать, а с чего начать — не знает, и он очень красив, когда, растерявшись, ищет нужного ему слова.

— Я, знаете ли... Очень хорошо, как же...

Встречать гостей Антон никогда не умел. Левой рукой жмет правую руку отца, потом правой — левую, пока не теряется совершенно. Видя такое дело, отец начинает встречу сначала:

— Ну, здравствуй, Антон!

Вдруг приученный к лесной тишине слух Антона схватывает доносящиеся откуда-то издали удары топора. Его большие детские глаза грустнеют, и весь он как-то сразу сникает, словно эта сталь с каждым ударом рубит его самого.

— Вот ведь народ, повалит весь лес. Вы устали с дороги?

— Что ты! Я автобусом ехал.

— Ну тогда пошли, пока не вырубили.

Хотя он с виду крепок, духом он по-бабьему жалостлив, этот наш Антон. Послушать его, так завтра единой зеленой веточки не останется во всей Молдавии. Лес, однако, он любит, знает о нем великое множество интереснейших вещей, и, если кто из наших заглянет к нему в гости, он затаскает его по лесу до изнеможения.

Чтобы доставить ему удовольствие, отец любуется то одним дубом, то другим, расспрашивает о тонкостях, которые могут знать одни лесники. Антон очень доволен, они то идут, то стоят, говорят, то затеряются в густой чаще, а то, глядишь, снова вынырнут. Они, видать, долго скучали друг по другу, они довольны, им очень хорошо вместе, но не дает им покоя тот злополучный топор. Как только донесутся редкие звучные удары, Антон втягивает голову в плечи и жмурится, как от зубной боли.

Он был у нас самым послушным. В раннем детстве пас скотину в лесу, когда это было ему положено, так сказать, по долгу службы. Потом подростком ходил пасти ее вместо нас, и еще всякий раз, когда некого было посылать, отец посылал его. И лес отомстил, забрав у нас Антона.

Видя, как его преследует этот злодейский топор, отец, сжалившись над ним, предлагает:

— А не сбегать ли нам туда, пугнуть ружьем?

Только и нужно было деликатному Антону, чтобы сам отец предложил это,— теперь старик еле поспевает за ним. Перебравшись через темный сырой овраг, они забирают куда-то влево, потом в густой чаще Антон останавливается. Говорит отцу:

— Вот тут... Еще сегодня утром тут был дуб.

— Куда же он мог деваться?

Разгребая листья, Антон высвобождает свежий, слезящийся пень, несколько ниже, в ложбинке, закопаны срубленные топором ветки. Вернувшись к пню и присев на корточки, Антон принимается считать круги на нем. Говорит отцу тихо и печально:

— Мой ровесник. Тридцать восемь кругов.

Старику просто непостижимо:

— Не может того быть!

Но их в самом деле тридцать восемь кругов. Правда и то, что Антону тридцать восемь лет. Выяснив меж собой все это, они садятся рядом, грустные и одинокие. Чтобы успокоить, обласкать Антона, отец начинает копаться в кошелке, выбирая для него самые вкусные, самые красивые гостинцы. Кладет их на пень, как бы засыпая ими тридцать восемь кругов. Здесь, в лесу, испеченные мамой пряники — чудо из чудес. Антон бесконечно счастлив, что у него сегодня гости.

— Мама пекла?

— Мама, кто же еще. Ты-то помнишь ее?

— Если приснится, с полгода после этого вижу ее прямо перед собой. Потом снова начинаю забывать, пока опять не приснится.

— Что же ты не приедешь погостить? Она, поди, ослепнет скоро, все высматривая вас.

Антон беспомощно оглядывается:

— На кого я брошу лес?

Ест он с удивительным, встречающимся только среди лесников аппетитом, и, глядя на него, отец вспоминает, что в этот день маковой росинки во рту у него не было. А есть хочется — сил никаких нету! Вытащив из кошелки оставшийся кусок черного, казенной выпечки хлеба, он начинает его ощипывать, всячески скрывая голод.

— Пожую с тобой за компанию. Есть неохота — недавно обедал.

Антон, подозрительно последив за ним, спрашивает:

— Были у меня в лесничестве?

— Был. Как же!

— Хорошо теща приняла вас?

— Ничего. Как полагается.

— Чем угостила? Небось яичницей?

— Кажется, яички были на столе...

Призадумавшись, горько вздохнув, Антон говорит:

— Я вот не могу к ним притронуться. Воротит от одного запаха.

Уже само это воспоминание перебивает ему весь аппетит. Поднявшись с земли, Антон любовно рассовывает оставшиеся гостинцы по карманам, отец берет кошелку, и они уходят дальше. Идут долго, все углубляясь в лес. Разморенный сказочной тишиной и спокойствием, отец сонно плетется за Антоном, потом замечает в каком-то дальнем просвете, среди дубов, окраину какого-то поселения.

— Антон, как же ее зовут, эту деревушку?

— Нэсэдены.

— Красивое имя! Сходим давай. Может, и стопочку там раздобудем!

Антон чем-то смущен.

— У нас, отец, еще получки не было...

— Что за беда! Я угощаю!

Антону совсем не хочется идти в Нэсэдены, но отцу осточертел этот лес, и прогулка в деревню не дает ему покоя.

На их счастье, день воскресный, праздничный, и нэсэденцы, собравшись небольшими кучками, стоят у перекрестков, у калиток, мирно беседуя о том о сем. Появление старика с сыном вызывает несказанное оживление. Каждый старается затащить их к себе в гости. Один ведет в свой дом, остальные идут гурьбой, всячески отговаривая, заманивая их к себе. В одном доме они пьют свежее вино и закусывают орехами, в другом тоже пьют вино, но закусывают куриным студнем. Потом они попадают куда-то на крестины. Отец, повеселев после первого стаканчика, смотрит на всех добрыми, влюбленными глазами, все ему мило и любо в этой деревне. Единственное, что несколько омрачает его радость, это какой-то глупый обряд провожания гостей в Нэсэденах. У калитки, прощаясь с ними, хозяева отводят Антона на пару слов, что-то шепчут ему, на что бедный Антон молча

втягивает голову в плечи. Глядя на все это, отец возмущается: что за идиотская привычка расстраивать гостей на прощание?

А в общем, они чудно погуляли в Нэсэденах и под вечер, сытые, порозовевшие от выпитого вина, возвращаются лесом. Идут молча, стараясь не спугнуть покой поздней осени, и теперь даже отцу начинает нравиться лес в эту пору. И вдруг точно гром среди ясного неба — где-то совсем рядом раздается удар топора, и молчаливым шелестом высохшей листвы отдается эта боль по всему лесу. На этот раз отец решается дать бой. Сняв у Антона ружье с плеча, приняв стойку «к бою», как это делали солдаты в первой мировой войне, он бежит на стук топоров, на ходу ощупывая ружье и соображая, как из него стреляют. Несколько озадаченный и смущенный его решительностью, Антон плетется за ним.

Выстрел. Отец останавливается, поджидая Антона, чтобы спросить, отчего ружье само по себе выстрелило. А тем временем в ста шагах от него, вздохнув в последний раз листвой, падает молодой дубок. Несколько колхозников, вспотевших от быстрой рубки, снимают шляпы и приветливо улыбаются отцу, как бы намекая на знакомство с ним.

Отца, однако, этим не возьмешь. Выпросив у Антона новый патрон, он все еще соображает, как бы ему перезарядить ружье, но эти многозначительные ухмылки воров выводят его из себя:

— Чего они, Антон, оскалились?

— Это же нэсэденцы, отец.

Старик потрясен. Мигом выветрилось все хорошее настроение. Говорит тихо, только для Антона:

— А как ведь угощали, а как обнимали нас!

Отец возвращает ружье леснику. Они поворачивают обратно. Идут молча, торопливо, как бы убегая от этого позора. Они уходят, а лесу остается расплачиваться за то, что отец полдня погостил у сына. Урожай виноградной лозы уничтожает вековую заросль леса, земля опустошает саму себя. Непостижимо, но это именно так.

Под вечер они стоят уже далеко за лесом на обочине шоссе. Стоят грустные, виноватые в чем-то. Ждут попутной машины. Наконец Антон после долгих размышлений говорит отцу, стыдливо глядя куда-то в сторону:

— Ты прости меня, отец, что я не смог, как полагается, принять тебя. Невезучий я. Вот, даст бог, избавлюсь

от этих хлопот, съезжу за получкой, и потом, если заглянешь...

Глубоко тронутый его словами, отец говорит, низко опустив голову и пряча навернувшиеся на глаза слезы:

— Если бы все сыновья принимали родителей, как ты меня принял, то на каждой былинке цвели бы яблоки и зрел виноград.

Остановился грузовик с полным кузовом мелких, недавно постриженных овечек. Из всей домашней скотины отец больше всего жалует овечек. Залез, сел меж ними как заправский пастух, машина тронулась, а наш брат Антон стоит еще долго, до самого заката, на обочине дороги. Смотрит на восток, туда, куда уехал отец, и так сильно, так до боли хочется ему уехать, уйти, хоть поползти за ним.

Нет, это мы сами придумали, что лес украл у нас Антона. Мы его сами оставили там, а он до сих пор стоит и ждет, когда мы придем и заберем его туда, куда уж и дорог нету — в давно минувший мир нашего детства.

К вечеру из-под белого каменистого берега выплыли живописные окрестности Сорок — небольшого приднестровского городка. Нежась в лучах негреющего осеннего солнца, город дремлет у подножья каменного обрыва на берегу реки. Свинцово-тяжелые воды Днестра дышат предзимним холодом. На пологом берегу высится громоздкая, старая, но все еще красивая крепость. Потрясенный, отец прогуливается вокруг этого средневекового памятника, считает про себя бойницы и, охваченный воинским пылом, гордо, как полководец перед битвой, разглядывает окрестности. Дать бой или не давать — вот в чем вопрос.

А время идет, день на исходе, и отец выходит на берег Днестра, усаживается на пятачок полувысохшей травки и чувствует себя куда как хорошо в обществе огромной реки и древней крепости. Вкрадчивый шелест днестровских вод нагоняет на него дремоту. Он долго, по-юношески удивленно следит за этим величественным зрелищем движения вод, и оживают в его душе старинные песни его предков.

Отец, кажется, ни разу не купался в Днестре. Он, вероятно, даже не знает, с какого конца удочки держать. И все-таки каждый день своей жизни, каждый миг он

знал, что, если идти к востоку, через тридцать с лишним верст выйдешь к водам Днестра. У каждого народа есть своя великая река. У нас, молдаван, есть Днестр. И весной, во время разлива, и в жаркие месяцы лета, когда почти пересыхает русло, Днестр для нас остается неизменно большим, красивым и могучим.

Сняв ботинки, закатав брюки до колен, отец подходит к самой воде, становится на полоску влажного песка. Временами Днестр покрывает пенистой волной его ноги, и эта осенняя холодная вода вдруг выпрямляет старику плечи, заставляет выше поднять голову, в то же время обобщает и углубляет все те житейские заботы, что волнуют старика. В мгновение ока свершается сказочное превращение, и вместо измотанного дорогами и нуждами старика, только что присевшего неподалеку отдохнуть, стоит на берегу гордый, полный могучей силы и великих замыслов человек.

Шуршит песок под чьими-то ногами, и отец оборачивается. Со стороны пляжа идет, покачивая своими полными бедрами, молодуха в купальнике. Бедра — это то, что отца особенно волнует в женщинах. Спешно прихорашивая себя, покашливая для пущей храбрости, он выходит ей навстречу. Девушка, несколько удивленная его решительным видом, останавливается. Отец, разглядывая ее загорелые коленки, спрашивает:

— А что я у вас хотел спросить...

Девушка делает большие удивленные глаза.

— Это вы мне говорите?

Бросив беглый, издевательский взгляд на закатанные до колен брюки старика, она уходит, так же заманивающе раскачивая бедрами, а отец стоит совершенно растерянный. То посмотрит на древнюю крепость, то взглянет на величавую реку, то пощупает закатанные до колен брюки и еще раз проводит взглядом удаляющуюся красотку.

В городе старик первым делом идет в парикмахерскую. Стрижка тянется очень долго. На его макушке вдруг восстал хохолок, и замученный вконец парикмахер просто ума не приложит, как с ним быть. То подстрижет, то закрутит, то уложит, а толку никакого. Старик, вытащив руки из-под белой накидки, показывает парикмахеру, как надлежит ему поступить с вихорком — приласкать, пригладить, упрятать куда-нибудь.

У входа в городской парк отец сидит на высоком сту-

ле, отдав свои ботинки чистильщику. Когда тот, сдув последние воображаемые пылинки, отпускает его, отец, перед тем как заплатить, снимает ботинки, придирчиво оглядывает со всех сторон обувь и, обнаружив несколько пятен, не доведенных до положенного блеска, возвращает чистильщику ботинки. Колхозник зарабатывает деньги трудно и если уж выложит копейку, то требует первоклассный товар.

В начищенных ботинках старик долго бродит по узким безлюдным переулкам Сорок. Приглядывается ко всем калиткам, потом, выбрав себе одну низенькую, открывает ее, снимает пиджак, вешает на калитке, как обычно вешают одежду на спинке стула, и, поплевывая в ладони, чистит его. Непосвященному человеку может показаться, что старик увлекся этой красавицей в купальнике, но в действительности он и думать о ней забыл. Дело в том, что Серафим, младший из нас, еще студент, собирается жениться, и отцу не хотелось бы показаться перед будущей невесткой рангом ниже, чем ему подобает.

С полчаса уходит на поиски ветеринарного техникума, потому что каждый год студенты переходят с курса на курс, а сам техникум — из одного помещения в другое. Теперь, хоть и удается найти здание сравнительно легко, толку мало. Техникум безмолвствует. Окна и двери широко открыты, в классах две старушки моют полы, в коридорах развешаны новые плакаты — то продольные, то поперечные разрезы коров, лошадей, овечек, и, ужаснувшись этой бойне, отец уходит.

В общежитии Серафима тоже нет. В большом двухэтажном здани ни души. Вид бесконечного количества аккуратно заправленных кроватей нагоняет на старика сонливость, но, спускаясь по лестницам, он вдруг слышит рядом, во дворе, дикий крик восторга истинных болельщиков.

На трех площадках студенты играют в волейбол. Играют вместе — и парни и девушки. Пасы отличные, удары мощные, вой оглушительный, и отец, прогуливаясь вокруг сеток в поисках своего младшего сына, увлекается игрой и начинает тоже болеть. Потом он слышит веселый, задорный голос:

— Что, старик, очухался?

Улыбаясь, отец отрицательно качает головой, но Серафим это вряд ли видит. Он играет у самой сетки. Пры-

гает высоко, удары его сильные, мощные, и, выиграв очко, он кричит старику:

— Погоди, вот обыграем врачей, тогда нацелуемся!

Следя за игрой сына, отец хитро, незаметно для других подмигивает ему, сообщая, когда нужно вбивать гвозди на территории противника. Серафим бьет, выигрывает очки, и отец несказанно рад.

Серафим — его большая любовь. Парень он живой, учится хорошо, несмотря на то что те несколько коров из нашей деревни, которых он взялся вылечить, подохли. Что поделаешь, в ветеринарии, как и в любом живом деле, всякое бывает. К тому же был он тогда на втором курсе, а коровы, как на грех, болели недугами, которые преподавались только на четвертом.

В густых сумерках, когда уже трудно было установить, нарушаются или не нарушаются правила, игра кончается, и Серафим, наконец поздоровавшись со стариком, ведет его усталой походкой в общежитие. Перед входом он отводит старика в сторону и доверительно шепчет:

— То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами.

— Закон. Как же!

— Понимаете, жениться надумал. Как вы считаете?

Серафим еще с седьмого класса надумал жениться и до сих пор никак не угомонится. Мы часто подшучиваем над его женитьбой, но отец не позволяет себе никаких двусмысленностей с детьми. Старик размышляет долго, словно от его ответа в самом деле зависит судьба сына. Потом говорит полушепотом:

— Что ж, если ты решил, то, как говорится, в добрый час.

Серафим по-бабьи притворно вздыхает:

— Хорошо бы, отец, а то извелся я этим кошмарным одиночеством!

— Какое одиночество, когда вас тут полно!

— Да нет, я имею в виду моральное одиночество.

— Ну разве что...

Через минутку он спрашивает веселым, озорным голосом:

— Показать ее?

Отцу, ясное дело, хочется взглянуть на невестку, и вот они в женском общежитии. Серафим, каким-то чудом успевший уже умыться и переодеться, бегает по длинным

коридорам, раздает направо и налево привезенные отцом гостинцы, а сам отец, увлекшись каким-то плакатом, стоит, уткнувшись лицом в стенку, потому что такого количества красивых барышень он еще не видел в своей жизни. Одни стирают, другие гладят, третьи куда-то бегут, а иные просто стоят в коридоре и ждут, чтобы им сказали, до чего они хорошенькие.

Вернувшись откуда-то, Серафим для храбрости хлопает старика по плечу. Из длинных сумрачных коридоров появляется молоденькая девушка, видимо, впервые надевшая спортивные брючки и поэтому ужасно смущающаяся. Увидев отца, она останавливается, вопросительно смотрит на Серафима, а тот, злодей, став боком к старику, как бы говорит: «Понятия не имею, кто такой». Потом, как только девушка подходит, говорит безжалостно, точно сплеча рубит:

— Познакомься с моим отцом.

Покраснев до ушей, окинув Серафима свирепым взглядом, она, едва протянув кончики пальцев старику и что-то пробормотав, тут же убегает в густой сумрак коридора. Спускаясь по лестнице со второго этажа, Серафим вводит старика в курс дела:

— Молоденькая, с первого курса, но характер у нее — прелесть!

— Стыдливая,— говорит отец,— скромная.

— Ну ты не спеши ее расхваливать, я еще окончательно не решил.

В маленьком скверике Серафим останавливается возле скамеечки, на которой сидят три девушки, и знакомит всех трех с отцом. Как только они отходят от девушек, отец спрашивает:

— Какая из них?

Серафима это мало тревожит:

— Чего спешить? Поживем — увидим.

В городском Доме культуры, бросив старика в узком коридоре, возле сваленных в кучу старых декораций, Серафим бежит в танцевальный зал. Свободных девушек нет, все они танцуют, но это его нисколько не смущает. Остановив танцующую пару и взяв девушку, он, не пройдя с ней и круга, выводит ее из зала, ведет по узкому коридору и знакомит с отцом. Затем, оставив девушку перед стариком, тут же летит обратно и ведет знакомить другую. Через некоторое время, когда он спешит по коридору с высокой накрашенной блондинкой, отца уже

нет возле сваленных в кучу декораций: старик не выдержал.

Глубокой ночью Серафим, сидя за столом, учит у крошечного ночника телячьи заболевания в период молочного кормления, а отец лежит, уютно устроившись на студенческой кровати, и блещут гордостью, счастьем блещут стариковские его глаза. И думает теперь отец: что за бедовый, что за отчаянный парень вырос в его доме! Такой одолеет все, что ни задумает.

Рано утром, когда город еще спит, они идут вдвоем по пустынным переулкам. У городской кассы аэропорта они садятся на длинную, нарочно поставленную тут скамейку. Отцу что-то не по себе, он долго, упорно думает о чем-то. Вытащив из кармана оставшиеся рубли, деликатно отвернувшись, чтобы не совращать деньгами сына, он начинает их считать, все больше и больше разочаровываясь. Серафим, невероятно любопытное существо, чуть приподнявшись со скамейки и заглядывая через плечо отца, считает вместе с ним. Дело, конечно, сложное. Недолго уговорить старого человека впервые полететь самолетом. Труднее помочь ему, когда у него денег на билет не хватает. Серафим думает, как ему быть. Горько вздохнув в знак своих больших материальных затруднений и чуть отвернувшись, достает свой кошелек. Потрясенный отец, чуть приподнявшись со скамейки, заглядывает через его плечо. Сын, оказывается, состоятельнее отца, и это, в общем, понятно. Серафим на редкость трудолюбив, он терроризирует все кишиневские газеты стихами о своей первой любви. Изредка случается, что какая-нибудь газета не выдерживает его натиска.

Серафим честно, по-мужски делит с отцом свое богатство. Старику очень неловко брать у своего любимца деньги, и он, в сомнении разглядывая небо, спрашивает:

— Слушай, а не может так случиться, чтобы самолет сорвался с высоты и врезался в какой-нибудь овраг?

Серафима смешит до слез эта деревенская наивность.

— Вам-то что! За все отвечает летчик.

После восхода солнца шесть невыспавшихся и потому недовольных всем на свете пассажиров садятся в маленький двухмоторный самолет. Наш отец поднимается последним по трапу. Он, кажется, еще не решил про себя: лететь или, может, лучше не лететь? На последней ступеньке, вдруг что-то вспомнив, он круто поворачивается и кричит стоящему у трапа Серафиму:

— Ты, сынок, если еще случится играть в мяч, не бей плашмя, а вдарь вот так, кулаком, и будет куда гворзнее!

Серафим глубоко разочарован:

— Вы меня учите?!

Отец растерянно улыбается, хочет свести это замечание в шутку, но у него из-под ног выхватывают лесенку, и старик спешит в самолет. Оглушительно взвыли моторы, забилась мелкой дрожью полувысохшая трава, и самолет, похожий на птицу с подбитым крылом, побрел по полю. На старте, стихнув, как бы вздремнув перед дорогой, он тут же оглушительно взвыл и, почти сразу оторвавшись от земли, полетел.

Сонные, потерявшие к тому же и землю из-под ног, пассажиры чувствуют себя отвратительно. Один отец бодро ходит по самолету, словно ему и горя мало, взлетела эта штука или все еще пасется на аэродроме. То, что самолет, набирая высоту, валится в воздушные ямы, только веселит его, напоминая о давно минувшем детстве, о весенних праздничных качелях. Развернув билет, старик ходит по самолету и спрашивает, куда ему присесть. Один из шести пассажиров, по виду сельский учитель, ищет что-то в карманах дрожащими руками и, чтобы избавиться от маячащего перед ним старикана, хватает его за полу пиджака и, рванув к себе, усаживает рядом на пустующую скамейку. Отец тут же драчливо поднимается, тщательно исследует то место пиджака, за которое его ухватили, потом осуждающе смотрит на учителя, точно говорит ему: «А я принял было вас за образованного человека!» Убедившись, что пиджак в целости, он садится на ту же скамейку, но садится сам, без чьей-либо указки. Даже тут, в воздухе, свобода для старика — это первейшая забота.

На несколько секунд в самолете темнеет, потом с такой же неожиданностью проясняется. Отцу это кажется забавным. Рядом крохотное круглое окошечко, и, прильнув к нему, отец замирает, завороженный увиденным зрелищем. Тяжелые седые горы без камня и песка, без пастбищ и пастухов медленно плывут в бескрайнем синем просторе. Самолет слепо лезет на них — одну срежет мотором, другую распорет крылом, и все как будто очень довольны: самолет летит, тучи плывут своим путем, солнце скупо, по-осеннему греет, а небо синее-синее, как в сказке.

Отец ищет, с кем бы поделиться, но кругом ни одного достойного этих царских зрелищ молдаванина. Все шесть пассажиров сидят как наседки, не шелохнувшись, и один старается не замечать другого, чтобы и тот, в свою очередь, не очень глазел. Старик возвращается к окошку. Бог с ними, с попутчиками, хоть бы самому насмотреться.

Далеко под крылом самолета, в серой дымке, медленно извивается зеленая черноголовая ящерица. Несколько левее — длинный серый ремешок, на нем висят, как нанизанные, две цветные бусинки. Тоненькая ниточка дыма посреди вспаханного поля, кучки разномастных крыш, собранных то тут, то там по ложбинам. Старик кажется озабоченным: неужели это все, что осталось от всей республики, от целого народа? Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, он повторяет про себя все увиденное и вдруг удивленно присвистывает, потому что только теперь увиденная картина становится осмысленной. Он возвращается к окошечку проверить, и, конечно, так оно и есть — ящерица оказалась поездом, длинный ремешок — шоссе, две бусинки — это два автобуса. Только народу не видно, не разглядишь с высоты.

Странное дело, но теперь отец начинает жалеть, что полетел самолетом. Прожив всю свою жизнь там, на земле, нет смысла глядеть на нее еще с такой высоты. Ему кажется, что один бог может смотреть на землю и не видеть людей.

Самолет, разворачиваясь, ложится то на правое крыло, то на левое, земля то становится на дыбы, то проваливается куда-то, и отец отворачивается от окошка. Оставшиеся полчаса пути он сидит не шелохнувшись, благородный и мудрый. Высота, что ни говорите, обязывает. Теперь отец объясняется в любви нашей матери, соседям, всей деревне и вообще всему миру. На двухкилометровой высоте он загорелся к ним такой жгучей, неистовой любовью, какой не испытывал ни разу за семьдесят лет жизни там, на земле.

В кишиневском аэропорту выходят из самолета шесть бледных, усталых в дороге пассажиров и просветленный в этом полете старик. Потом у выхода из аэровокзала отец просиживает несколько часов подряд не шелохнувшись. Люди улетают в Москву, Ленинград, в Болгарию и Румынию. Не успев прилететь, они садятся в другие машины и снова отправляются в путь.

Врожденная склонность к полету — это редко встречающийся божий дар. И тем горше, когда этот талант обнаруживается у семидесятилетнего старика. Дарование есть, но нет самого человека, он, рожденный летать, всю жизнь пешочком проходил по земле и состарился. Вот так-то.

Подошел милиционер и строго похлопал старика по плечу. Отец встал, порывшись в кармане, вытащил рубль, но, оказывается, дело не в этом. Просто у выхода с аэродрома не положено сидеть, и, пока милиционер объясняет, в чем дело, старик наконец соображает, что он уже в Кишиневе. Выходит через здание вокзала, садится в маленький запыленный автобус. После полета такая машина — сущее издевательство. Едет автобус мучительно медленно, отец сидит у окошка и ждет, когда наконец покажется город. Окраина нашей столицы очень похожа на обычную деревню, и, дожидаясь, когда за этой нескончаемой деревней покажется город, старик задремал.

А в Кишиневе стоит красивый, в меру прохладный, в меру солнечный день. Вдоль тротуаров бегут густые ряды все еще зеленых каштанов, солнечные блики, просочившись сквозь зелень, прыгают по густому потоку пешеходов. Потом шофер маленького автобуса резко тормозит, и отец просыпается. Длинные неподвижные ряды автобусов и троллейбусов на центральном проспекте, прервано все движение, и потоки пассажиров бегут выяснять каждый для себя, что случилось.

На площади Победы соревнуется в велосипедном спорте ребятня из детских садов Кишинева. Отец присоединяется к мамашам-болельщицам, он даже заприметил красный беретик, который, по его мнению, должен победить. Но, взглянув на солнце, отец становится грустным. В Кишиневе много всяких диковин, но на то, однако, и дана мужику голова, чтобы не терять попусту время.

Длинный пятиэтажный дом на центральной улице. Старик входит во двор, блаженно улыбаясь всем встречным, словно все они, живущие в одном доме с его сыном, его лучшие друзья. Поднявшись на второй этаж, он тут же спешит нажать кнопку звонка, но, что-то вспомнив, виновато опускает руку и стоит у двери, прислушиваясь. Какой-то чудак сказал ему, что самое страшное для писателя — это когда его отрывают от работы. По-

этому, говорили ему, они не доводят до конца и одной трети начатых ими книг. А отцу, ясное дело, не хочется, чтобы из-за него я не кончил еще одной книги.

Пишущей машинки не слышно, и он тихо, виновато стучит. Никто не отвечает, и он стучит вторично. Потом звонит долго, тревожно, а ему все не отвечают, и он поник, опечалился. Вот уж чудак человек! Сколько раз я ему писал, что меня осенью не будет в Кишиневе, что осенью я переберусь в Москву,— старик этому не может поверить и, оказавшись в Кишиневе, спешит по старому адресу.

Огорченный, он сходит по лестнице, выходит через ворота, смешивается с толпой на тротуарах, привнося в живой городской ритм пешеходов медленный, измеренный другими заботами темп. Идет долго по центральной улице, никуда не сворачивая, и то затеряется в толпе, то снова вынырнет. У низенького здания центральной молдавской газеты останавливается. Чему-то радуется. Уже лет десять, как я не работаю в этой газете, но отец, верно, думает про себя: вдруг зайдет, откроет дверь, а я сижу как ни в чем не бывало за своим столиком!

В редакции, как всегда перед зимой, идет капитальный ремонт. Стулья составлены горкой, на столах лежит кирпич, на запорошенном пылью полу без конца трещат телефоны, а по коридорам бегают литработники с корректурой, с читательскими письмами. Открыв поочередно все двери и убедившись, что меня нет, отец уходит. Уже у самого выхода он вдруг слышит за спиной:

— Эй, старина!

Курьер редакции, только что присевший выпить свой обеденный чай, узнал его. Они долго, с достоинством приветствуют друг друга, потом отец, увидев стакан горячего чая и сделав испуганное лицо, спрашивает у курьера:

— Неужто перешел в другую веру?

В ответ на это удивление курьер хлопает себя по карманам, как бы говоря: ну решительно ни копейки! Отец, предварительно оглянувшись, дабы не наскочило слишком много любителей, таинственно кивает в сторону выхода.

В небольшом пивном баре напротив редакции отец берет бутылку столового вина, наливает два стакана и выжидательно смотрит на курьера. А тот, хоть и свой,

деревенский человек, тянет душу. Пьет вино долго, со смаком, потом, намазав кусок хлеба горчицей и посыпав еще солью, принимается говорить, возмущаясь по мере того, как наедается горчицей. От него отец узнает, что плохи мои дела. Лежит в редакции двухподвальная статья, и разносят меня в этой статье так, что не остается камня на камне.

Отец, следя за категорическими жестами курьера, демонстрирующего разрушительную силу статьи, втягивает, как и Антон, голову в плечи, косится на всех входящих в пивную, словно все они прикладывали руку к этой статье. Потом, то ли оттого, что в пивной накурили много, то ли от услышанных новостей, отцу становится невмоготу, и он уходит, оставив курьера с недопитой бутылкой. Идет медленно, останавливается у каждой газетной витрины, ищет злополучную статью. И думает теперь старик, что зря я взялся за это дело. Если бы, послушавшись его, поступил в школу милиции, вгонял бы теперь в холодный пот других, вместо того чтобы у самого коленки дрожали.

На одном перекрестке из окон переполненного, уже трогающегося с места троллейбуса отец слышит:

— Привет, старина!

Троллейбус снова останавливается. С трудом протиснувшись, выходит молодой человек. Отец припоминает его и тут же, заведя в первый двор, дрожащим голосом начинает пересказывать все, что ему стало известно обо мне. Молодой человек долго хохочет над страхами старика, потом деликатно берет его под руку и начинает сам излагать существо дела.

Старику очень повезло встретить моего старого приятеля по газете. От него он узнает, что от написанной до напечатанной статьи — все равно что от земли до неба. И потом, даже если и появится статья, это еще ровно ничего не значит! Кто сказал, что член Союза писателей боится здоровой, нормальной, доброжелательной критики? В подтверждение этой мысли мой старый друг приглашает отца в ту же пивную, напротив редакции, берет бутылку того же столового вина. Растроганный отец выкладывает перед ним гостинцы, которые полагались мне, и оба очень довольны. В заключение мой старый товарищ предлагает отцу несколько помятых бумажек, и старик долго соображает: брать их, не брать? Подумал, что, если друзья еще возвращают мне долги, надо думать,

мои дела не так уж плохи. Берет деньги больше для того, чтобы успокоить себя.

В сумерках, на ходу сев в битком набитый поезд, с трудом перелезая через связки чужого багажа, отец вспоминает, что и сам собирался сделать какие-то покупки в Кишиневе. Теперь запамятовал, что именно хотел купить, но, переходя из купе в купе и разглядывая чужие покупки, он в конце концов обнаруживает у одной старушки, скромно сидящей в уголочке, ту самую тарелку, которую собирался купить в Кишиневе. Подсев к ней и разглядывая тарелку, отец начинает плести какие-то небылицы, старушка мечтательно улыбается и в конце концов уступает ему свое сокровище. Пока она завязывает в платочек полученные деньги, отец благоразумно решает перейти в другое купе — не ровен час, еще передумает.

Основная часть пассажиров — колхозники из близлежащих к Кишиневу сел, и через час-другой вагоны совершенно пустеют. Отцу становится скучно сидеть одному, и он отправляется на поиски попутчика. Встретив в соседнем купе такого же старичка, он подсаживается к нему, для знакомства показывает только что перекупленную у старушки тарелку. Тому тарелка нравится, и он, в свою очередь, достает полдюжины чайных стаканов, показывает их отцу, и последнему, конечно, стаканы очень по душе. Выпивка — это такое дело, что никто не знает заранее, что разобьется потом: одни бьют тарелки, другие — стаканы.

Поздней ночью в вагоне выключили свет, оставив дежурить только бледно-синие лампочки. Пассажиры, которым еще долго ехать, уютно свернулись на казенных постелях, спят разъезды и вокзалы на пути, сидя дремлют проводницы. Только два старика, согретые свежей дружбой, в чем-то схожие заботами своими, тихо переговариваются. Сначала один рассказывает долгое свое житье-бытье, а другой слушает, сочувственно кивая головой, потом другой рассказывает, а первый решительно со всем соглашается.

Теперь отец, вернувшись, долго будет гадать, как там устроится его попутчик, имея четырех взрослых дочерей, а тот, в свою очередь припоминая свою поездку в Кишинев, будет громко осуждать нас, всех шестерых.

Рано утром, на рассвете, засветилась меж холмами черепичная крыша нашего вокзала, показались четыре

высоких тополя, паровоз прогудел свое прибытие, а отец стоит у входа бледный и гадает: «Неужели так-таки и не остановится?..»

Далеко за вокзалом, почти в поле, летит по железнодорожной насыпи купленная отцом тарелка. Следом за ней летит отец. Догнав тарелку, он долго барабанит по ней пальцем и чрезвычайно доволен, что тарелка цела. Тем временем поезд, возвратившись к перрону, останавливается во второй раз.

Проводив поезд, отец, ясное дело, идет узнать, не закрыли ли чайную. Она еще в строю, эта чайная, и старик выпивает по этому поводу сто граммов. Потом, перебравшись через грязный перекресток, спешит в поле. На окраине два грузовика ждут пассажиров, но отец, ощупью сосчитав оставшиеся в кармане деньги, решает плестись пешком.

А осень уже на исходе. Небо сплошь затянуло тучами, моросит мелкий дождь, но земля промерзла глубоко, и идти очень скользко. Отец думает о том, что, когда неделю тому назад он отправлялся в дорогу, было теплее, теперь холод пробирает до костей, и он спешит, идет огромными шагами, широко размахивая, как на косовице, руками.

В первой же деревне он вдруг останавливается. К нему каким-то чудом прорвалась необычайно задорная, хмельная от веселья танцевальная мелодия. Отец слушает, как будто удивляясь, и, пока он ее слушает, она завладевает всем его существом. Увы, отец у нас музыкант от рождения, и самый незамысловатый мотив может заманить его.

Отложив свое возвращение, отец спешит по переулкам, пока не наталкивается на сельскую свадьбу. Около двухсот разнаряженных колхозников стоят, заполнив весь двор. Десять музыкантов, сидя на завалинке, разошлись вовсю, и на промерзшей, застеленной старой соломой земле разгорается танец. По установившейся кругом тишине отец догадывается, что танцует и хозяин, у которого справляют свадьбу. Все танцоры удивительно похожи на седого старика, танцующего рядом с женихом. Танцуют не очень хорошо. То ли из робости, то ли из чрезмерного уважения, но все пятеро копируют старика, и тот, чтобы раззадорить их, нет-нет да и выкинет какое-нибудь коленце на радость глазеющей публике. И думает отец, что теперь уж ни за что не собе-

рет он нас, чтобы показать танец, который только он один и помнит. Все мы, слава богу, здоровы, кусок хлеба у нас есть, но только что-то случилось, после чего немыслимо собрать нас кругом, чтоб, взяв за руки, танцевать.

И вот старик снова в дороге. Идет быстро, потому что осенью погода переменчива, ни за что не узнаешь, во что может обернуться моросящий сверху дождик. На окраине другой деревушки он снова останавливается, изумленный. Увидел в одном садике огромную яблоню — голые ветки, ни единого листочка, а на ветках плоды еще гроздьями висят. В самом конце осени, да вдруг неубранные яблоки! Прислонившись к забору, отец долго недоверчиво разглядывает их. Рядом лает собачонка, на крыльцо выходит сухощавый человек чуть моложе отца. Старик наш удивленно переминается с ноги на ногу.

— Если вам не в обиду, скажите, как они держатся, яблоки эти?

— А у них, видишь ли, хвостики!

Хозяин диковинного дерева идет в сад, срывает крупное яблоко, подходит и протягивает отцу. Старик долго разглядывает это чудо, потом стыдливо, почесав затылок, просит:

— Уж если вы хотите порадовать, то дайте еще одно. Старушка у меня дома и, право, ни во что не верит...

Тот, несколько смущенный своей недогадливостью, возвращается к яблоне. Потом оттуда спрашивает:

— Может, кроме старухи, еще кто есть?

Низко опустив голову, отец вздыхает и медленно, превозмогая огромную, неведомую ему ранее боль, отрицательно качает головой.

К своей деревне он добирается под самый вечер. На окраине села, у первого же колодца стоит девушка с двумя полными ведрами. Она стоит, одетая в легкое платьице, в старом свитере с короткими рукавами, стоит посиневшая от холода. Как только доносятся совсем близко шаги старика, ловко подхватив ведра, быстро переходит перед ним дорогу. Потом, поставив ведра у родительской калитки, говорит, улыбаясь большими черными глазами и как бы даже завидуя ему:

— Теперь вам правда очень повезет...

Отец вздрагивает, словно этот тоненький голосок вер-

нул его из какого-то далекого мира. Улыбается. Теперь он наконец дома.

— Да мне, дочка, уже повезло!

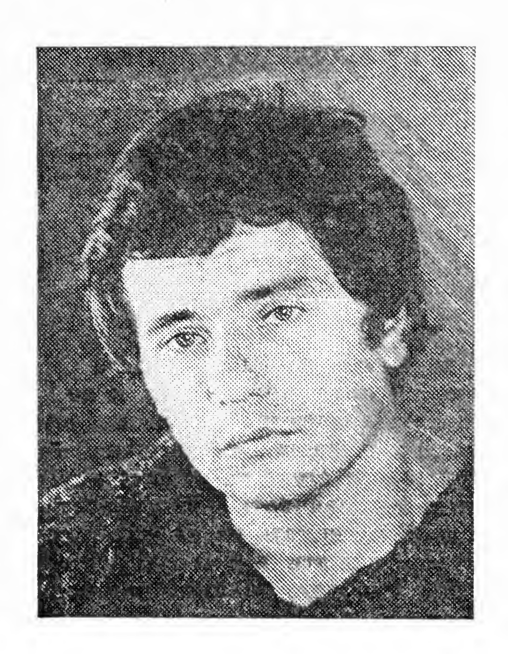
А наша старая мать по-прежнему стоит у калитки, выжидая нас. Тихо дымится крыша старенького домика, топят и соседи справа и слева, и вся деревня теперь, поздней осенью, топит. Мама стоит у калитки, смотрит не мигая вдоль дороги и, вздрогнув, вдруг улыбается. В переулке показывается остроконечная шапка отца. Но, последив за ней еще некоторое время, мать горестно всплескивает руками: о боже, опять возвращается выпивши. И семенит к нему навстречу.

Поздней ночью из серо-черной высоты неба начинает прилетать и долго кружить над степью первый снег. Все замерло, как в час великого противоборства, а снежинки медленно кружат, приближаясь к тому месту, на котором лежать им зимушку целую. За первыми снежинками пошли другие, и снег все валит и валит. Запорошены снегом огромная долина, колодец с журавлем и неподвижная ворона. Мягко стелются снежинки над холодными водами Днестра, кружатся веером в глухих лесных оврагах, и на центральной улице Кишинева на тротуарах девственно белеет первый снег. Идет снег и у нас во дворе. Побелели крыша, и завалинки, и весь двор.

Ушла осень, а вместе с ней кончилась пора гостей в Молдавии. Теперь уж, когда зайдет речь о нас, уехавших, наши близкие задумчиво улыбнутся и подумают вслух:

— Даст бог, будущей осенью увидимся...

А на второй день чуть свет по занесенному снегом двору проходит наш гордый дерзкий петух, и, с ходу прыгнув на порог, хлопнув крыльями, он трижды по-библейски на всю окраину поет. Милая ты моя птица! Если мне когда-нибудь суждено будет вернуться, я привезу тебе два мешка чистой пшеницы и множество расчудесных курочек, чтобы сохранить навеки твой веселый мудрый род.



ЕСИНЕНКУ Николае, поэт, прозаик, драматург. Родился в 1940 году в селе Кицканы Молдавской ССР. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Успешно работает в жанре рассказа-миниатюры. В русском переводе вышли сборники рассказов «Колесо» («Советский писатель»), «Порог любви» (Кишинев, 1978), книга стихов «Птица рядом со мной» (Кишинев, 1980). Автор нескольких киносценариев и комедии «Табакерка».

НИКОЛАЕ ЕСИНЕНКУ

АЛЛО, ТЕО!

1

Он уже не спит, и надо бы подняться. Сон — это совсем другое, тогда он просто слеп и не видит нагроможденных вокруг предметов, не слышит шума ветра за окнами, не настораживается, когда шашель точит древесину, и стук часов на стене не мешает ему, и не приходится без конца поворачивать к ним голову, нашаривать на тумбочке очки и цеплять их на нос, и снова вглядываться в темноту, и опять, в который раз видеть одно и то же: прошла минута!.. Минута или больше? А если часы стоят? Тогда надо встать, даже против собственной воли, даже посреди ночи, и он отбрасывает одеяло, спускает на пол сначала одну ногу, потом другую, нащупывает шлепанцы, обувается, зацепляя за мозоли, и тащится через всю комнату к выключателю. Выключатель щелкает, вспыхивает свет, становится светло как днем, и теперь совершенно ясно, что часы идут, да прошло лишь полторы минуты... досадно!.. Надо уснуть, но он уже уверен, что не уснет, пока на улице совсем не развиднеется, и, может быть, поэтому он оставляет лампу включенной. Лампа горит, а он по очереди скидывает шлепанцы и опускается на кровать, и на него обрушиваются мысли. Господи, снова мысли! И откуда они, и как их много! И справа лезут, и слева лезут, и сверху, и просачиваются в приоткрытую форточку, и подступают волна за волной, без конца и краю, и шуршат под дверью, и продираются в щели оконных рам, и карабкаются по ножкам кровати, а однажды ему даже показалось, что они рассыпаны на простыне под одеялом, как хлебные крошки. Что это была за ночь! Пришлось подниматься, снова надевать шлепанцы и вытряхивать на балконе и простыню, и одеяло, и даже матрац. Страшная ночь! Он и вытряхивал, и встряхивал, и перетряхивал их, и ложился снова, но тут ему опять казалось, что мысли появля-

ются прямо из простыни и матраца, и надо было еще раз нести все это на балкон и еще раз вытряхивать, встряхивать и перетряхивать, пока наконец кто-то из соседей не отругал его. Это стыдно, так нельзя, и сколько можно, и как ему не совестно беспокоить людей, с ума он, что ли, сполз... Словом, пришлось вернуться в комнату и там начать все заново, и кто знает, чем бы кончилось дело, если бы соседи не стали колотить в стену и кричать, чтобы он прекратил, если не хочет, чтобы к нему милицию вызвали, и, кажется, только услышав слово «милиция», он понял, что история оборачивается позором. Люди наработались, люди легли отдыхать, людям утром снова на работу, а он... Он словно очнулся, испуганно огляделся вокруг, бросил взгляд на темное окно и выпустил из рук матрац. И с чего он вообразил, что мысли могут прятаться в постели? Он с отвращением поднял матрац с полу и положил на кровать, потом кончиками пальцев ухватил за краешек простыню и застелил постель. Честно говоря, он даже забеспокоился, не был ли то нервный..., как его... криз, и при этой мысли ему стало холодно, и он съежился под гнетом нахлынувшего ужаса, но потом оглянулся на окружавшие его предметы, на потолок и буфет, на полки с книгами и забитый до отказа книжный шкаф и — успокоился. Все было знакомым, привычным, вещи стояли каждая на своем месте, и решительно неоткуда было взяться никаким ожившим мыслям, а это значило, что на него просто накатило, так, дремотная одурь, пресыщение сном и ничего больше, и он успокоился окончательно. Он уже совсем не волновался и опять осмотрел комнату другими, холодными глазами, давно привычными к однообразному расположению предметов, двери, окон. Все было так, как должно было быть, и никакого намека на что-то там такое, так что и впрямь волноваться не стоило, тем более что в комнате и за ее стенами, так далеко, как он только мог почувствовать, стояла глубокая тишина, и он вдруг сказал себе, что, кроме сна, не было ничего. Ему приснилось — вот что он себе сказал. Приснилось! Не могло быть такого, чтобы он ни с того ни с сего стал посреди ночи трясти постель на балконе. Он поглядел на кровать и удостоверился, что все на месте, как было, и матрац, и простыня, и одеяло, и подушка. Все на месте, все так, как он постелил, перед тем как лечь. Соседи? А кто это такие? И кричать на него никто не думал — вокруг тишина. Он нарочно прислу-

шался — точно, тишина, как на краю земли, и, уже вполне убежденный, он повторил себе, что все было сном — сном! И попробовал уснуть. До утра еще было далеко. Если что-то и произошло,— но ничего, конечно, не происходило,— то это было до первых петухов, так что неплохо было бы уснуть. Ай, как далеко еще до рассвета! Он взглянул на часы, на неподвижные стрелки, которые, надо все же признать, с грехом пополам двигались и честно показывали, что прошло еще десять минут. Да, совсем не мешало бы уснуть. Пока начнет светать и он заварит чай, оденется, умоется, приведет себя в порядок, пока наконец подойдет долгожданное время и он сможет пойти на почту,— до тех пор еще много, очень много часов. Отделение открывается в девять, а до девяти... Он повернулся лицом к стене, подоткнул под себя одеяло и изо всех сил зажмурил глаза. Надо уснуть. Он приказал себе уснуть, приказал себе раз, приказал два, приказал еще раз десять, и вдруг ему показалось, что бог знает когда, но он уже сегодня считал таким манером до десяти. Что со мной делается, спросил он себя. Считать-то я точно считаю, но как давно, с каких пор? Может, пора вставать? Тут он перевернулся на другой бок, спиной к стене, и электрический свет ослепил его, и он совершенно уверился, что день в разгаре, и поспешно протер глаза, и заметил, что протирает не глаза, а очки, но уже некогда было удивляться, что он ухитрился уснуть с очками на носу, и бросил взгляд на часы... С ума сойти, как же я не сообразил? Светло-то было от электрической лампы, которую он оставил включенной, а что касается сна, то он даже и задремать не успел. Прошло всего четыре минуты. Только четыре. Подумать только — четыре, а у него было чувство, что пролетела уйма времени... Нет, сон никак не давался в руки, и мысли, настырные мысли, опять обрушились на него. Вдобавок ветер за окнами усилился, и ему казалось, что он слышит, как шашель точит дерево, и в ушах отдавались какие-то отдаленные шаги, кто его знает чьи, запоздалого гуляки или такого же бессонного старика... ах!

Он уже не спит, и надо бы подняться. Сон — это совсем другое. Когда спишь... Который час, спросил он себя. Ну, понятно, до девяти, когда откроется почта, еще много времени, но сколько именно? Если час или два, то в самом деле лучше встать, потому что сна все равно ни в одном глазу. Конечно, можно было долежать в постели,

если бы не мысли, бессвязные надоедливые мысли, которые точат ум и душу, смешиваются, сплетаются, путаются, не дают покоя. Если встать, то сразу найдется множество дел: надеть шлепанцы, протереть очки (снова?), зажечь свет, поставить чайник на газ, позавтракать. Наконец, если и после этого останется свободное время, можно будет взять книгу... Итак, который час? В комнате полутьма, а глаза уже не те, видят не так, как прежде, и циферблат кажется просто туманным пятном, так что надо найти очки и зажечь свет. Когда-то он видел в темноте, как кошка, и среди ночи различал на часах время с точностью до трех минут, а теперь... Нечего вздыхать, пора подниматься. Шлепанцы... проклятые шлепанцы! Каждый вечер, собираясь спать, он ставит их перед кроватью, точно посередине, левый слева, а правый справа, чтобы, проснувшись, не терять время на поиски. Так куда же запропастился левый шлепанец? Может быть, встав ночью, он зашвырнул его куда-нибудь? Нет, он ничего такого не припоминает. Наоборот, он прекрасно помнит, что не просыпался ни разу, спал как убитый. Но если так, где же шлепанец? Снова придется босиком добираться до выключателя, опять зажигать свет, и до чего же противно ставить босую ногу на холодный линолеум! Нет, отныне он будет класть домашние туфли под подушку. Так будет лучше: проснешься, сунешь руку под голову и вытаскиваешь обе, в целости и сохранности. Надо только не забыть купить газету, обыкновенную старую газету. Перед сном он будет заворачивать в нее туфли, класть сверток под голову и спать, как младенец... Интересно только, как он сразу угодил ногой в правый шлепанец и даже мозолями не зацепился. Выходит, он уже просыпался и смотрел на часы? Черт побери! Надо включить свет, а как его включишь без очков? Без них он вряд ли нашарит выключатель. С этим светом вечная история. Сколько раз он твердил себе, что можно позвать монтера и за пару рублей ему проведут шнур прямо к тумбочке. Свет возле кровати — большое дело. Нажимаешь кнопку, становится светло, видно все сразу, а главное — часы. Как принесут деньги, он сразу отложит в заначку два рубля. Два или три? Двух может не хватить. Монтеры такой народ, что... Он как-то пригласил одного посмотреть, отчего не горит свет в прихожей. Тот пришел, покрутился по квартире, пощупал шнур, сунулся к счетчику, пощелкал одним выключателем, потом другим, вы-

вернул пробки, поменял их местами, а потом залез на стул, дотронулся до лампы, и она сразу загорелась. Лампа, стало быть, была в порядке, что-то там с контактом, ну, парень этот подкрутил ее, а за это пришлось отдать ему целый рубль. Вот так взять рубль и выложить на лапу, слишком уж долго этот умелец вздыхал и мялся. Да, ясно, двух рублей не хватит. Ну что ж, он отложит трешник. Каких-нибудь три рубля, и у него будет свет под рукой. Но... надо подождать до следующей пенсии. А сейчас, раз уж он решил не спать, было бы хорошо поставить чайник. Час уйдет на приготовление завтрака, еще час на... А если что, можно будет взять книгу. Кстати говоря, потрясающая книга, а главное — о войне. Он расскажет о ней Тео, и если окажется, что Тео не читал ее, он своими руками пошлет ему эту книгу. И Тео обрадуется до безумия, то есть безумно обрадуется... Но куда он ее положил? Вчера, кончив читать, он, помнится, так и сказал себе, что поговорит о ней с Тео и надо положить ее отдельно от других, чтобы потом не искать, и он сунул ее... куда? Идиотская привычка прятать то, что любишь... Так где же книга? И вдобавок чайник закипает! Вода уже бурлит, а вишневый лист он забыл положить. Ничего, не беда, вишневый лист можно положить и в горячую воду. Но книга... ищи ее теперь. Эх, голова садовая! Ведь она — вот она, под подушкой. Вчера утром он зачитался, а потом посмотрел на часы, и ему чуть не сделалось плохо: он опаздывал, почта должна была вот-вот открыться. Вот он и сунул ее под подушку. Такую книгу можно носить в груди вместо сердца. Как же не прижать ее к губам! А Тео, друг Тео как обрадуется! И она понравится ему, это ясно. Такая книга не может не понравиться. И он больше не станет ее прятать, а положит на стол, чтобы все время была на виду. Он сегодня же поговорит о ней с Тео, а завтра, может быть, уже вышлет. Конечно, на какое-то время в доме станет пусто и сиротливо, но ведь потом Тео пришлет ему книгу обратно. Подумать только, как много лет пролежала она среди других книг, запыленная, одинокая, и если бы он случайно не снял ее с полки... Но теперь он с ней не расстанется. А если Тео вдруг скажет, что она у него есть, так еще лучше! Это будет большая радость для обоих. Но, с другой стороны, он немного рассердится на Тео, потому что как же так, скажет он ему, не стыдно ли иметь такую книгу и молчать о ней? Я вот не таков: видишь, только прочитал и

сразу подумал о тебе... Но, скорее всего, у Тео нет этой книги. Тео никогда ничего от него не скрывает и всегда рассказывает о том, что читал в последнее время. И если он не говорил об этой книге, значит, ничего и не знает о ней. Господи, как он обрадуется! Главное, чтобы их сегодня соединили. Он даже вкратце перескажет ему содержание. А почему бы и нет? Денег хватит. Вчера связи не было и разговор не состоялся, так что сегодня он вполне может истратить деньги, отложенные для вчерашнего разговора. Да плюс нынешние — это же говори не хочу! На худой конец, можно будет взять и из завтрашних. До следующей пенсии он дотянет. Запросто! В конце концов можно меньше тратить на еду. Ну, и книг покупать поменьше, ничего страшного. Да, он так и сделает, и все обойдется... Который же час? Господи, задумался, начал с этими деньгами, а чай чуть не выкипел! Ладно, теперь не до чая, он выпьет его потом, когда вернется. А сейчас — бегом марш одеваться... И не забыть рассказать Тео про книгу!

2

Вчера их не соединили. Телефонистка прямо сказала, что связи не будет, пусть он не мается зря, а идет домой: линия перегружена. Я бы вас соединила, сказала она, но нет никакой возможности выйти на номер. Конечно, ей легко говорить, а ему каково? Еще она сказала, чтобы он зашел через день или даже через два. Как у нее все просто! Нет, голубушка, решил он, этого никак не может быть, чтобы за целый день нельзя было ничего сделать. Завтра? До завтра еще дожить надо, а сегодня — вот оно. Ей-то что? Она ведь не знает, что там, далеко, Тео тоже волнуется и ждет этого разговора, и хочет поскорее услышать его голос. И, вполне возможно, он тоже хочет ему кое-что рассказать или, по крайней мере, спросить, как он спал, не заболел ли, не нуждается ли в чем-нибудь — например, в деньгах, как знать? Ох, что правда, то правда, деньжат у него маловато и все — на еду, книги и телефон — распределены впритычок до самой пенсии. Нет, если, не дай бог, у Тео что-нибудь случится и ему понадобится лишняя копейка, он, конечно, может оторвать от еды и послать ему немного. Он знает, что значит болеть, особенно если ты один, как кукушка. Он и сам недавно болел. Нет, ничего особенного, обыкновен-

ный гонконгский грипп, но даже о том, чтобы спуститься в аптеку за таблетками, не могло быть и речи. Три дня он лежал, не вставая с постели, а когда на четвертый день попробовал подняться, то чуть не упал. Он не мог держаться на ногах от слабости, чаю — и того не мог согреть. К тому же он знал, что если встанет, если хоть на мгновение сбросит одеяло, хвороба снова вцепится в него, а с рецидивами лучше не связываться. Потому-то он и затаился под одеялом, закутался во что только мог, да так и лежал, с трудом переводя дыхание. Лишь на четвертый день, когда полегчало, он решился оставить свое ложе и поглядеть, что же произошло в мире за минувшие трое суток. Первым делом, конечно, следовало пойти на почту и позвонить Тео — попросить у него прощения. Еще бы! Можно ли на целых три дня оставлять самого дорогого тебе человека в неведении и замешательстве? Только представить себе, что его друг передумал за эти дни! Да, он хотел тут же позвонить и сообщить Тео о своем недомогании, которое, к счастью, уже прошло, но ты все же прости меня! Да, хотя бы извиниться надо было, а об остальном (остальное были эти сотни и тысячи мыслей и рассуждений, которые перемалывал он в бесконечные часы своей болезни), об остальном пока и помышлять нечего! Дай ему волю, он бы целыми днями болтал с Тео по телефону. Одним словом, он просто изнывал от желания поскорее встать и добраться до почты и, однако, не смог даже устоять на ногах. Болезнь лишила его сил, голова пошла кругом, он едва успел ухватиться за спинку кровати. И так еще долгие сутки. Черный день! Никогда ему еще не было так плохо оттого, что вот он здоров и все хорошо, а подняться нельзя. На пятый день он встал. Встал и пошел на почту, и говорил с Тео. Как он радовался! Господи, это даже представить себе нельзя! Словно сто лет не слышал голоса друга. Он подхалимски смеялся, он подпрыгивал и притоптывал, он так размахивал трубкой, что со стороны можно было подумать, что он тронулся. Как бы не так! Откуда им знать, этим посторонним, что он чувствовал? Он даже забыл, что говорит по телефону. Ему казалось, что он стоит лицом к лицу с Тео, со своим замечательным фронтовым другом, и, значит, стесняться совершенно нечего. Он размахивал руками, то притискивая трубку к самому уху, то отводя ее в сторону; в какой-то момент он даже положил ее на барьер и говорил так, уставясь в потолок,

А когда телефонистка напомнила, что он говорит уже восьмую минуту и что это влетит ему в копеечку, он словно и не слышал, а просто вынул все деньги, что были при нем, и положил перед ней, прямо перед ее носом,— а сам поймал ускользавшую нить беседы и снова начал кричать и размахивать руками. Деньги? Какие деньги? Да плевать на деньги! Он четыре дня пролежал в постели! Четыре дня не говорил с Тео, так что теперь можно было позволить себе покутить. Эх, девушка, девушка! Она ничего, ровным счетом ничего не понимала в его чувствах... И точно так же она ничего не понимала вчера, когда он изнемогал от нетерпения на пороге почты. Идите домой, сказала она, все равно связи не будет. Домой! Что ему делать дома? Ждать завтрашнего дня, вечера, ночи — ах, лучше бы не вспоминать эти ночи! — и снова ждать утра, когда почта опять откроется? Здесь, по крайней мере, он был гораздо ближе к Тео, чем там, в своей комнатушке. Да разве могла эта молоденькая телефонисточка понять, какой огонь сжигал его? Здесь, на почте, он, так или иначе, ощущает присутствие друга. А дома?.. И потом — ведь линия может случайно освободиться.

— Ох, папаша! — вздохнула телефонистка, когда зашло за полдень.— Не будет сегодня связи, сколько раз вам повторять! Завтра. Завтра, я вам обещаю. Идите домой!

Завтра — то есть сегодня. Сегодня он будет говорить с Тео. Это чудесно. Ну, а вчера?.. Разве он мог уйти, когда его ждал далекий друг, нуждался в нем, в его теплых словах, в его голосе, в конце концов!

— Может, я тебе мешаю, дочка? — спросил он мягко.— Так я на пороге подожду. А если и на пороге мешаю, то на улицу могу выйти...

И он вышел на улицу. Там пригревало солнце, и он даже почувствовал себя лучше, чем в помещении, но на душе было тревожно, потому что теперь он был дальше от телефона, а значит, и от Тео. Ничего, говорил он себе, если линия освободится, девушка позовет его: он давно заметил, что она с ним добра.

— Нет, папаша,— сказала телефонистка, навешивая на дверь почты большой замок.— Я же вам говорила: завтра.— И она пошла вокруг дома, где помещалась почта,— сзади была ее квартира.

Только тогда и он ушел домой. Как у него кошки скребли на сердце, но это з а в т р а, брошенное и повторенное телефонисткой, все же согрело его и подкрепило, он даже на миг почувствовал себя молодым и здоровым. Он выпрямился, отнял руку от стены, на которую опирался, и спокойно ушел.

И вот настало это сегодня. Сегодня он будет говорить с Тео. Но какая мучительная была ночь. Может быть, он даже скажет Тео, что неважно спал. Но сначала нужно будет узнать, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего-нибудь (ему почему-то никогда ничего не нужно). Потом... да, не забыть о книге! Эта книга, если ее придется послать, будет для Тео прекрасным подарком. Книга вообще лучший подарок. И ничего страшного не случится, если он таки подарит ее Тео. Для настоящего, доброго, единственного друга не жаль ничего. Да, он подарит ее. Пусть у Тео на сердце станет тепло. С другом надо делиться как на войне, по-братски. А они были, есть и будут настоящими друзьями. Тот, кто не знает, что такое фронтовая дружба, пусть помолчит! Пусть скромно обойдет сторонкой двух фронтовых друзей, беседующих между собой. Им есть что сказать друг другу... Да, он подарит ему эту книгу, замечательную книгу, книгу, которая как будто написана о них и для них. Это ничего, что она не связана прямо с его жизнью или жизнью Тео. Главное, что, читая ее, сразу чувствуешь боль в сердце, а это значит, что книга — о тебе. Нет, никогда телефонистке не понять, почему он снова и снова приходит на почту, почему так спешит на небрежно брошенное ею з а в т р а.

— Дружище, ты меня слышишь? — тихо шепчет он.— Я спешу к тебе! — И, хотя он произносит эту фразу скорее для самого себя, он все же считает нужным добавить еще несколько слов, чтобы Тео знал все.— Она обещала, что сегодня утром у нас будет связь!

Сегодня у них будет связь. Вот только время проклятое заклинило. Встал он бог знает когда, почему-то очень долго возился, а потом спохватился, что опаздывает, что уже девять часов, бросил все, наскоро оделся и вылетел за дверь. Только там, на лестнице, едва не рассадив голову о низкую притолоку, он сообразил, что перепутал стрелки часов. На лестнице стояла тьма египетская. Видать, отупев от беспокойства, от страха опоздать, он принял маленькую стрелку за большую, а большая как раз

подползала к девяти. Это его и сбило. Всю ночь он спал по-заячьи, вполглаза, вертелся, вздрагивал, хныкал, а порой даже ловил себя на том, что как бы в бреду беседует с Тео. И еще эти мысли! Потому-то он, наверно, и выскочил на лестницу. Но это — как жаль, что он пришел в себя слишком поздно! — это была минутная стрелка, а часовая, помнится, застыла где-то в районе семи. Все еще спали вокруг. А теперь... который же теперь час? Темно. Скоро начнет светать, но до девяти еще есть время. Много времени. Слишком много. Может быть, вернуться, подождать, пока рассветет? Что зря болтаться на улице? Да, вернуться, посидеть у ворчащего чайника, почитать книжку или просто пожевать что-нибудь. У него со вчерашнего утра крошки во рту не было. Продежурив весь день на пороге почты, он пришел домой совершенно измученный и ему было не до еды. Он повалился в постель, на ходу расстегивая одежду, но не успел даже задремать, как начались эти кошмары... Да, пожалуй, есть резон вернуться. Но он не вернется. Знает он эти возвращения: удачи не видать — примета верная, он проверял. Если он сейчас вернется, потом уже можно и не выходить, игра, считай, сыграна. Нет, не дай бог сейчас вернуться! Да и ничего страшного не будет, если он погуляет на свежем воздухе. Правда, на улице немного свежо, прохладно, даже холодно, но не беда, скоро придет настоящее утро, выглянет солнце, станет тепло, и он почувствует себя лучше. А сейчас ему как будто в спину дует. Видно, пиджачок тонковат для таких прогулок. И угораздило же его выскочить так, налегке! Можно было хоть плащ захватить, какой он там ни есть, все же ветер в нем не так пронизывает. Однако снявши голову, по волосам не плачут. Забыл так забыл. Надо просто быстрей двигаться, пока не откроется почта. Хорошо, что в городке не так много желающих разговаривать по междугородному телефону. Не хватало еще сейчас, на заре, обнаружить у дверей почты очередь. Нет, он, как обычно, будет первым, и, значит, связь ему тоже дадут первому. Собственно говоря, больше и мечтать не о чем. Потом он вернется домой, вскипятит себе липового чаю, а еще лучше — приготовит кофе. Чашечку крепкого кофе и кусочек сахару. Да, кофе сейчас был бы кстати. Давно он его не пил: дело это утомительное. Сперва надо смолоть зерна, потом заварить порошок, потом процедить его через бинтик. Но сегодня он не поленится и сделает все

это, и, забравшись под одеяло, будет наслаждаться каждым глотком, обжигающим, чуть горчащим...

Который час? Время совсем не движется, и темно, как в полночь, когда вздыхаешь, вертишься, встаешь, пытаешься читать, опять пробуешь уснуть, считаешь до тысячи, слушаешь отдаленные шаги и шелест ветра в ветвях акаций, а время стоит на месте, как застывшая ледяная глыба... Сколько он уже ходит взад и вперед на улице, а вокруг тишина, никаких признаков жизни. И хоть бы зажегся свет в окне, где живет телефонистка! Тогда было бы ясно, что скоро девять. Но окно погружено в темноту. Он уже несколько раз обошел дом со всех сторон... тишина, ни звука. Значит, она еще спит. И ее муж спит тоже. Если бы они встали, он бы сразу увидел. Тогда уж немного останется ждать. Эй, люди добрые, вставайте, пора!.. Может быть, собраться с духом, подойти и постучать в окно, извиниться, несколько раз извиниться и объяснить, как обстоят дела: то есть не могла бы она, раз он уже здесь, пойти и соединить его с другом — до девяти так долго ждать! Попробовать, что ли, говорит он себе, но тут же одумывается. Разве можно барабанить в окна ни свет ни заря, в восемь часов утра, если, конечно, уже восемь, когда работа начинается только с девяти? И потом... все почтовые отделения наверняка работают с девяти. Как же она даст ему связь, если все почты земли еще спят?

Надо подождать.

3

— Тебе не кажется, что кто-то ходит под нашими окнами? — говорит жена начальника почты. Говорит — и вдруг сознает, что не спит и что даже и не спала. Как не спала? Может быть, она спит и сейчас? Да нет же, она только что говорила. Или почудилось? А что именно она говорила? Нет, не спала. Всю ночь глаз не сомкнула. Ах, только бессонницы ей не хватало: с утра снова целый день сиди у пульта... Муж, хочет крикнуть она, ты меня слышишь? Ты не спишь?.. Спит, не отвечает. Но что она ему хотела сказать? Ведь хотела же! Еще вчера... Ах да, вчера... Все ясно. Пустота, которую она вчера почувствовала, до сих пор сидит в ней. Оставьте меня в покое, папаша, не будет сегодня связи!.. Да, так она и сказала. Лицо старика мгновенно потускнело, глаза, просительно

обращенные к ней, погасли: как не будет связи? Тогда она, бог знает почему, наорала на него. За что? Ведь он просил о том же, о чем просил каждый день: ему нужно поговорить с другом. Отчего же она вспылила? Может быть, ее терзала потребность чувствовать себя правой? Ах, если бы он сразу понял, что разговора не будет! Понял бы — и ушел!.. Может, я тебе мешаю, дочка?.. Зачем он это сказал, а главное — как сказал! Его голос звучал словно издалека и был похож на голос ее отца. Наверно, это ее и рассердило. Потом старик вышел на порог, словно все понял. Но, оказывается, он не понял ничего, иначе ушел бы совсем, потому что она не могла дать ему разговор, вправду не могла, как он не понимает? Господи, ведь если разобраться, никто не виноват, кроме... Она — виновата? Почему она? Разве она все это выдумала? Нет, это была идея мужа. Он сам сказал, сам предложил... Да, но как началось? Кто потерял газету с номером? Она или муж? Газету взял муж, но как это вышло? Она проморгала. В тот далекий день, когда старик впервые пришел на почту, он сказал... Что же он сказал? Он хотел связаться с городом Н. со своим другом. И как же он сказал? Ах, да!.. Дочка, я забыл очки. Посмотри-ка, у тебя глаза помоложе. Тут на газете номер. И он протянул ей ветхую желтую газету. Там действительно был записан какой-то номер, но разве могла она его запомнить? Если бы она сразу связала его с Н., то, может быть, записала бы номер в квитанцию, а так... Она велела старику подождать. Когда он снова напомнил ей о себе, газета еще лежала на стойке. А потом? Она искала и на стойке, и на столе, и на пульте, и под столом — газета как провалилась сквозь землю. Потом она вспомнила: муж зашел на минутку и, уходя, захватил газету с собой. Надо было сразу сказать старику, что газета потеряна. Но она постеснялась. Старик ждал себе и ждал, очень уважительно и терпеливо. И она не посмела сказать ему, что муж взял его газету и пошел в продуктовый магазин купить что-нибудь на обед. Она сказала, что линия перегружена и можно погулять часок-другой... Могла ли она знать, как обернется дело? Она рассчитывала, что муж вернется, отнесет продукты домой, а газету возвратит ей и она соединит старика с абонентом. Но муж вернулся и без продуктов, и без газеты. Я ее выбросил, сказал он, а что случилось? Было что-то важное?.. Выбросил, разволновалась она, а что я скажу старику?.. Раз-

ве он не знает номер на память?.. Откуда мне знать, сказала она. Если бы знал, то не просил бы меня прочесть его с газеты. Что я ему теперь скажу?.. Да пошел он, сказал муж. Подумаешь! Скажи, чтобы пришел завтра... А завтра что будет, спросила она... Завтра он снова принесет тебе номер... Это была хорошая мысль. Она ухватилась за нее, как утопающий за соломинку. Папаша, ласково сказала она, приходите завтра, сегодня линия занята... Хорошо, сказал старик. Но он сказал еще кое-что. Он сказал: газету вы мне вернете или она останется у вас до завтра?.. Ну, пусть останется у меня, сказала она... Хорошо, повторил он и спокойно ушел. А она совсем потерялась: что она скажет ему завтра? У него, видно, нет другой записи... А куда он хотел звонить? — спросил муж. Не знаю, сказала она, в Н., кажется, какому-то другу... И тогда муж выложил свою идею. А что, сказал он, если я буду его другом? Как? — испугалась она. Очень просто, сказал он, я буду во второй комнате, и ты соединишь его со мной. Она возмутилась: что ты говоришь! Разве можно так делать?.. Тогда выкручивайся сама, равнодушно сказал он. Скажи ему правду... Этот разговор происходил между ними вечером. За ночь она почти забыла о старике. Но на другой день, рано утром, увидев его входящим в отделение, она смешалась и пробормотала что-то несвязное и, уже не думая о том, что она делает, быстро набрала номер мужа, который работал в соседней комнате, и протянула трубку старику. Господи, как он обрадовался! Как, сказал он, я могу говорить со своим другом?.. Да-да, сказала она, удивляясь его радости и понимая каким-то чутьем, что он или давно, или вообще никогда не разговаривал со своим другом по телефону. Она на мгновение задержала трубку в руке и спросила безразличным голосом: что, давно не разговаривали с ним? Ха, топнул ногой старик, еще с фронта! Я только вчера случайно нашел его телефон... Она облегченно вздохнула и сказала в трубку: алло, Н.! Вы меня слышите? Будете говорить с фронтовым другом. И — старику: как вас зовут? Старик, нетерпеливо приплясывая, назвался... Будете говорить со своим другом, повторила она в трубку и передала ее старику. Что правда, то правда, она покраснела. Все эти пять минут, что шел разговор, она чувствовала, как поджаривается на медленном огне. Алло, Тео, изо всех сил кричал старик, топая ногами, ты, Тео? Подумать только!.. И потом:

я едва узнаю твой голос. Сколько лет прошло, Тео! Потом он заплакал: алло, Тео, мы живы! Подумать только, мы живы! Она не знала, что отвечал на это муж, но старик то плакал, то смеялся, то лепетал что-то невнятное. Она не знала, что говорил ее муж, но одно видела и слышала хорошо: старик не умолкал. Он кричал, он топал ногами, он трещал без передышки, как ребенок, не давая собеседнику вставить хоть слово. Из его криков она поняла, что Тео — это фронтовой товарищ, о котором он много лет ничего не знал и которого считал пропавшим без вести. Только вчера он нашел среди старых бумаг номер телефона, записанный на старой газете, и вспомнил,— представляешь, вспомнил! — что это и есть телефон Тео. Он и попробовал позвонить, так, на всякий случай, на авось, честно говоря, он даже не рассчитывал, что из этого что-нибудь выйдет, а просто не хотел упрекать себя потом, что не попытался связаться с Тео. И вот... Подумать только, прошло так много лет, а телефон не изменился. Значит, ты живешь там, где жил до войны, а, Тео? Тео, кричал старик, охваченный радостью, нежностью и болью, Тео, мы с тобой теперь не расстанемся. Я каждый день буду тебе звонить!.. Так он кричал, и телефонистка, совсем потерявшись от страха, от кошмарного и ясного сознания, что старик и впрямь будет приходить сюда каждый день и что это пахнет безумием, выхватила, вырвала трубку у него из руки: пять минут давно кончились! А больше нельзя? — с сожалением спросил старик, медленно остывая. Нет, сказала она, сегодня больше нельзя! Тогда я приду завтра, сказал он тихо. Потом спросил: сколько с меня? Как сколько, не поняла она и вдруг сообразила: старик говорил по телефону, а междугородные переговоры надо оплачивать. Дело еще не представлялось ей в таком свете. Если она откажется от денег, это будет подозрительно. Не глядя ему в глаза, она сказала: один рубль пять копеек. Как у нее горели щеки, когда она протянула руку за деньгами! Спасибо вам, сказал старик, так я приду завтра. А газета?.. Газета, поспешно сказала она, останется здесь, ведь вы все равно придете завтра... Хорошо, дочка, ласково сказал старик, пусть будет по-твоему. До завтра!.. Ну как, сказал муж, выходя из соседней комнаты. Неплохо, а? Да еще и рубль заработали! Он рассмеялся. Какой рубль? — удивилась она... Но ты же взяла с него плату... Взяла... Вот и заработали, сказал он. Ладно, сказала

она, еще не осознав до конца, что произошло в последние десять минут, но эти деньги... Они наши, спокойно сказал муж. Ведь не можешь ты отчитываться в том, чего не было! Она вконец растерялась. Ладно, повторила она, а ты знаешь, что он и завтра придет? Он теперь каждый день будет приходить! Представляешь, в какую историю мы влипли?.. Ни в какую историю мы не влипли, сказал муж. О чем речь, в конце-то концов? Здесь один старый дурак — и там, в Н., другой такой же. Две фронтовые развалины, ха!.. Как ты можешь, вскинулась она, эти старики... ведь они воевали!.. Целый день и целую ночь она не разговаривала с мужем. Работала, продавала конверты, ставила штемпеля, посылала телеграммы. Щеки ее горели, и она все время прикладывала к ним холодные пальцы... Откуда в нем столько злости? Она знала, что он способен на низость, но не до такой степени. Я ему никогда этого не прощу, повторяла она. Как он мог?.. Но потом... вечером муж сделал вид, что не замечает ее настроения, отговорился усталостью и лег спать, а утром он придвинулся к ней в постели и крепко стиснул ее, и сказал, что она напрасно беспокоится. Кто об этом может узнать, сказал он. Он говорил, чтобы она была посмелее и не прикидывалась дурочкой. Он говорил это, крепко прижимая ее к себе и целуя в шею и грудь. Он говорил, что ничего страшного нет и что все, что они сделали вчера, и сделают сегодня, и будут делать завтра и послезавтра, что все это не более чем забавно. Это будет интересная история, сказал он. Можно роман писать!.. Хорошо, милый, сказала она в конце концов, хорошо, хорошо... но о чем ты с ним будешь говорить? Ты себе представляешь? А если он задаст тебе такой вопрос, на который ты не сможешь ответить?.. Положись на меня, сказал он, и ни о чем не беспокойся. Ты только соединяй нас и получай деньги. Деньги! Лучше б он отколотил ее! Лучше б он выгнал ее из дому, чем говорить такие слова! Мало того, что они затеяли дело, грязное само по себе, так еще надо обирать бедного старика!.. Ах, если бы муж не обнимал ее так крепко! Он прижимал ее к себе и обнимал так, что она задыхалась, и, сам задыхаясь, говорил ей нежные слова, и в конце концов, оттолкнув его от себя и облегченно и счастливо дыша, она сказала: будь что будет... Что она может возразить? Раз он так настаивает, значит, и в самом деле не стоит волноваться. И потом... кто старший на почте? Он! Что

же она мучается? Что делать, если так вышло, если они потеряли этот злосчастный номер?.. В который раз муж повторил: так лучше для всех, и для старика тоже. Лучше такой разговор, чем никакого. Скорее всего, этого довоенного номера давно уже нет в природе, да и сам Тео вряд ли еще обременяет землю... Пожалуй, муж был прав.

— Проснись! — Она с досадой толкает его в бок.— Слышишь — проснись!

Он вскидывается как ужаленный.

— Что случилось? Ты что-то сказала?

— Сказала,— бормочет она, но у нее уже пропала всякая охота говорить с ним... Просто беда! Столько времени обманывать старика! Господи, как вспомнишь, как он стоял вчера на пороге, какими глазами смотрел на нее, когда она врала, что линия перегружена и нет никакой возможности дать разговор!.. А все из-за мужа. Вчера у него был выходной, и он сказал: пошли старика подальше, надоел! И уехал в деревню к родителям. Он уехал, а она весь день с той минуты, как увидела потерянное лицо старика, не могла найти себе места. Может быть, у него всегда было такое лицо, а она просто не замечала этого... Ты за него не переживай, сказал тогда муж, у него денег куры не клюют, ты еще не знаешь эту публику. Вот ты разве могла бы себе позволить каждый день звонить по междугородному телефону?.. И все же, все же... Что, если бы она тогда же призналась ему во всем? Голову он с нее снял бы, что ли? Ну, отругал бы, ну, обиделся... Нет, подло все это! Как она могла молчать столько времени?.. Вот и теперь она совершенно уверена, что тот, кто ходит у них под окном в этот ранний час,— она не знает, который час, но это не важно, а важно то, что тот, кто ходит сейчас там, в темноте,— это он, старик! Сколько раз уже приходил он сюда и спозаранку торчал у дверей, чтобы войти сразу вслед за ней и немедля просить разговора с Тео! Он, видать, без этого Тео жить не может! Сколько раз он ждал часами, пока освободится линия! Сколько раз она соединяла его с Тео и видела в его глазах дурацкую благодарность! Он чуть не плакал! Как он хвалил ее за доброту! Сколько раз говорил с умилением: дай бог тебе здоровья, дочка, тебе и твоему мужу, если ты замужем. Замужем, конечно, как же иначе! Откуда ему, старику, в этом разбираться! Он знал только одно: нашелся Тео, давний друг, фронтовой то-

варищ, единственный близкий человек на всей земле, а что еще надо людям на свете?..

— Ты слышишь? — повторяет она.

— Что? — спрашивает он и переворачивается лицом вверх.

— Мне очень жаль,— говорит она и глубоко вздыхает.

— Чего тебе жаль? — удивляется он.

— Всего,— отвечает она.

— Ерунда,— говорит он.— Ты б лучше спала, до утра еще долго. А то и сама не спишь, и мне голову морочишь. Чего тебе не лежится? — И тут же: — А, ты снова об этом... Опять начинаешь? Сколько раз тебе повторять: хватит! Смотри, ты меня доведешь, я ему все выложу... Ишь, жалельщица нашлась! Калека? Осколок в сердце? А ты его видела?.. Да он здоровее меня!

— Ох, молчи! — Жена начальника почты отворачивается и засыпает.

4

Сколько он еще продержится на ногах? Сколько раз он обошел вокруг почты? Наверно, больше тысячи. Он ходил, постукивая ногами о землю, налево, направо, по часовой стрелке, против часовой стрелки, и все вокруг, вокруг, вокруг постылого почтового отделения, которое за последнее время стало ему таким родным, таким близким, что порой ему кажется, что это его собственный дом. Еще бы! Столько раз бывать здесь! Поначалу он стеснялся, пришел раз, другой, третий... сколько можно, спрашивал он себя. Он однажды попробовал объясниться с телефонисткой и, словно оправдываясь, стал говорить ей, что значат для него разговоры с Тео, голос Тео, слова Тео. Как часто он ждал утра, чтобы услышать Тео, сколько бессонных ночей провел и — какая смелость! — он даже мечтал повидаться с ним. Тео, кричал он в трубку, дорогой Тео, я обязательно приеду к тебе! Но шли дни, а он повторял все то же: Тео, дорогой Тео, мы скоро увидимся!.. Сил не хватало, да, по правде говоря, и денег. Все, что у него было, он тратил на телефон и еду. Ну, еще на книги. Стоп, говаривал он себе, все, с первого числа начну откладывать каждую копейку, буду звонить реже, говорить короче, только разговор поддерживать буду — вот как мы теперь заведем!.. Но из этого ничего не вышло,

да и не могло выйти. Он попробовал звонить через день, а не ежедневно, но чуть не заболел от нетерпения. Ночами и в те дни, когда он решался обойтись без звонка, покоя ему не было. Стоило только представить, как там, в далеком Н., его друг ждет разговора с ним, которого он не видел тысячу лет, которого считал пропавшим без вести — в последней атаке он сам был крепко ранен, а Тео...— словом, он потерял его след,— и вот Тео ждет его звонка, а он здесь день и ночь, ночь и день мучит своим молчанием и его, и себя... нет, этого нельзя вынести! Тогда ему в голову втемяшилась другая идея: наговаривать за раз не более чем на полтинник. Но и эта затея провалилась. Он довольно хладнокровно заказывал разговор, сжимая в руке заготовленные монеты, но когда клал трубку, неизменно оказывалось, что он говорил минут десять. Тогда он попытался устроиться на работу ночным сторожем: ночами он все равно не спит, и ничего с ним не случится, если он посидит где-нибудь в сторожке семь-восемь часов в сутки. Но и здесь ему не повезло. На этот раз подвел осколок в сердце. Если днем, развлеченный движением, он не чувствовал, что носит в груди железо, то долгими ночами, одиноко сидя в сырой будке, он ощущал, как осколок пригибает его к земле. А когда директор магазина, куда он нанялся, узнал, что ни один, даже самый мастеровитый врач не брался извлечь эту железку из сердца старика,— он его попросту уволил, не желая брать грех на душу... И в конце концов старику пришлось отказаться от мысли побывать у Тео. Ничего не поделаешь. Он, как и прежде, ежедневно звонил в Н., но саму надежду на поездку мужественно отбросил. Правда, в запасе оставался еще один вариант: можно было, если уж на то пошло, пригласить Тео к себе. Было бы просто здорово, если бы Тео сам догадался однажды приехать к нему в гости. Какое это было бы счастье! Но Тео никогда не заговаривал об этом, да и вообще, надо сказать, был довольно-таки сдержан. Впрочем, он и на фронте был такой: сам отмалчивался, больше слушал... Да, так вот, он молчал, а старику было как-то нескладно заговаривать об этом первому. Иногда он еще надеялся что-нибудь придумать, чтобы встретиться с Тео, но потом велел себе быть счастливым и этими бесчисленными разговорами: алло, Тео, это ты? — и когда на другом конце тысячекилометрового провода знакомый голос подтверждал, что да, это он, Тео, ра-

дость старика не имела границ. Он почти не давал ему слова сказать. Сначала он осыпал его вопросами: как ты себя чувствуешь? что ты вчера ел? не повредило ли это тебе? и пр. А потом он начинал предаваться воспоминаниям о том, как они вместе выходили из окружения и как лежали навзничь в снегу, притворяясь мертвыми, а фрицы прочесывали поле из конца в конец, и они атаковали их с тыла, отвоевывая кровью собственное спасение. Было о чем вспомянуть... Но особенно часто старик спрашивал: а что же было дальше, Тео, дорогой? Он хотел знать, что было дальше, после того, как они снова залегли, а потом его ранило и он был отправлен в тыловой госпиталь, а Тео, его друг... что было с ним? Тео терпеливо рассказывал, как умел, и в эти минуты старик казался спокойнее и терпеливее, чем обычно, но все равно притопывал и приплясывал возле аппарата, время от времени прерывая друга восклицаниями: только подумать, Тео! И ты остался жив! Какое счастье!.. И так далее, в том же духе. И хотя он уже сотни раз выслушал историю фронтовых приключений Тео, он возвращался к ней снова и снова: Тео, дорогой...

Ах, если бы и сегодня они смогли поговорить!.. Что же это за мука такая, время остановилось! Никак не рассветает по-настоящему. А если бы рассвело, то, наверно, и окна зажглись бы... А вдруг она заболела, а? Что тогда будет? Не дай бог ей заболеть, не дай бог: он так давно мерзнет здесь, так долго ждет! Конечно, почта не останется закрытой. Если она заболеет, муж заменит ее, но тогда уж, ясное дело, разговора не будет. Так уже случилось однажды. С телефонисткой он обычно находил общий язык. И если в какой-нибудь из дней она не соединяла его с Тео, то уж назавтра обязательно давала связь. Она всегда для него старалась. Она добрее и любезнее своего мужа, иногда она даже улыбается старику. Но этот человек, ее муж, почему-то плохо с ним обращается. Непонятно, отчего он так груб. Когда старик приходит на почту, он чаще всего сразу показывает спину и уходит к себе в кабинет. Скажите на милость, большой начальник! В конце концов, если телефонистка не выйдет сегодня на работу, то... нет, в прошлый раз, когда она заболела, он тоже не соединил его с Тео. Это раз. Во-вторых, разговор на сегодня обещала она, а ее мужу какое дело?.. Но зачем себя заранее мучить? Девушка хорошая, здоровая, кровь с молоком — с какой стати она бу-

дет болеть? Пусть только рассветет, и тогда... Отчего так дует в спину? Не надо было так много ходить, он устал. Но и останавливаться нельзя: его могут заметить из окна и что подумают? Рыскает вокруг дома, как бродячий пес! Нехорошо! Лучше отойти подальше. Время еще есть, можно и погулять немножко. Направо, налево... когда двигаешься, чувствуешь себя совсем по-другому, да и минуты бегут быстрей. Да, так будет лучше. Он будет ходить и представлять себе, как начнет разговор с Тео. На чем, бишь, они остановились в прошлый раз?.. Так, во-первых, надо будет извиниться за то, что он вчера не позвонил. Чем он это объяснит? Нельзя ведь говорить, что... А почему нельзя? Он скажет чистую правду: связи не давали, линия была перегружена, он ждал весь день. Что же в этом такого? Почему Тео бывает таким чужим? Он ведь извинится! Он скажет: Тео, прости меня и... и... Что это так ползет у него по ноге? Муравьи? Откуда муравьи? А, вспомнил! Под окном телефонистки есть такой бугорок, наверно, муравейник, и он наступил на него. Как же он сразу не почувствовал? Еще легко отделался: муравьи могли бы все тело облепить, с ними шутки плохи. Только тронь — они тебе зададут жару! Надо потопать ногами и стряхнуть их с себя. Ну вот, теперь он их как будто не чувствует. Наверно, отвязались. Нужно поскорее убираться с этого места, а то они снова пристанут к нему. Вот, так и есть, опять ползут по левой ноге!..

А свет в окне все не зажигается! Как знать, может быть, он вышел из дому гораздо раньше, чем ему кажется? Да нет, чепуха. Когда он спускался по лестнице, было... Все правильно. Сейчас примерно восемь пятнадцать, а что темно, так это неважно. Еще и в девять часов не совсем светло... До чего же дурацкое положение! И не рассветет никак, и телефонистка не думает просыпаться, да еще эти муравьи никак не отцепятся. Надо было сильнее топать. Теперь они будут ползать по всему телу, пока он не вернется домой и не разденется догола... Ишь, какие быстрые! Одного на самое бедро занесло. Ну, с этим просто, он его прихлопнет ладонью — и точка... Холодно, однако! Он даже не может пошевелить рукой. Да не съедят же его муравьи в самом-то деле! Они ведь даже не кусаются, только ползают. Лучше сказать им спасибо за это и не злить понапрасну: пусть их ползают. Покрутятся взад-вперед — вот один уже двинулся к левому пле-

чу,— а потом увидят, что их муравейник совсем не в той стороне, и уберутся восвояси. Да, лучше их оставить в покое. Если бы только он не мерз так сильно, а то ведь кости звенят от холода. Удивительно только, что осколок в сердце совсем не тревожит его. Обычно, когда наступают холода, то первое, что он ощущает,— это осколок. Стоит ему чуточку озябнуть, и в сердце что-то начинает щемить, и дыхание перехватывает. А сегодня — даже смешно! — он дрожит как лист, а сердце хоть бы хны!.. Вот уже целый взвод муравьев взял курс на левое плечо, да как странно ползут... точно и не муравьи. Словно нити холодной воды тянутся вверх по его телу. Странно, но он почти не чувствует своей кожи. Нет, нельзя больше ждать, надо вернуться домой. Вернуться или нет? Собственно говоря, почему бы и нет? Он поднимется по лестнице, отопрет дверь, зажжет свет — а он потушил его, когда уходил? — ну, неважно... зажжет свет, разденется, внимательно осмотрит себя... Что ему мешает вернуться? Суеверие? В конце концов это чепуха! Но ему действительно никогда не везло, если он возвращался с дороги. Будь у него здесь в городе друзья, он бы завернул к ним в гости, выпил бы чаю, покалякал о том о сем, а так... знакомых-то много, но тревожить людей стыдно. Куда ни пойди, ноги сами приведут домой... Интересно, что муравьи уже как будто убрались с ног и на бедре их нет. Только где-то возле плеча... сколько их там? Любопытно, куда они дойдут, если будут ползти вверх и вверх, не сворачивая? Они начнут подниматься на шею, а потом по шее еще вверх, и тут-то он их переловит по одному и отпустит... Но тогда можно не спешить домой! Вот он присядет на тумбу у забора и подождет, пока они выберутся из-за воротника... Где же они? Вот безобразие, лезут под мышку! Это хуже, там их не взять... Да что это такое, он и присесть не может! Он не может согнуться! И нога. Нога занемела, надо же! Словно он отсидел всю левую половину тела — она как чужая... А муравьи ползают где-то на лопатках... Может, это не муравьи, а? Может, он просто замерз? Он уже давно мерзнет, с первой же минуты, как вышел из дому, и... Что же он стоит, как пугало? Двигаться, двигаться! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре... Вот чертовщина, левая нога словно каменная... Забавно он, должно быть, выглядит со стороны... Раз, два, три, четыре, ра́з, два, раз... И левая рука тоже... Это уж совсем никуда не годится! Двигаться, двигаться! Когда двигаешь-

ся, кровь быстрее бежит по жилам и тело согревается. Раз, два, три, четы... раз... Что-то не выходит... А оказывается, он ухватился правой рукой за штакетник! Ну, старик, ну, Мюнхаузен! Как же ему двигаться, если он сам себя держит? Раз, два, три, четыре... Хорошенькое дельце! Выходит, он только считал вслух, а с места даже не тронулся! Он только воображал, что бежит...

Ну, наконец-то! В окне вспыхнул свет!

5

Тридцать пять девятого. Без двадцати пяти девять. Если она еще собирается завтракать, то... Ах, ничего-то ей не хочется! Она по горло сыта этими утренниками! Проснись, как говорится, и пой! Третий год, изо дня в день. Муж спит, но скоро и он проснется; и к этому времени завтрак должен быть готов. А что, если сегодня она не станет стряпать? Да ну его! Попозже можно будет сварить кофе... Да, да! Через пару часиков она забежит домой и сварит кофе. Она принесет его в отделение и выпьет вместе с мужем. А закусят булочками...

Жена начальника почты лежит, вольно вытянувшись в постели, и смотрит в потолок. Да, с кофе она неплохо придумала. Но что, если муж, когда встанет, попросит чего-нибудь посущественней? Он всегда много ест по утрам. Стукнет ему в голову — и изволь готовить мясо, иначе он весь день будет ныть, что голоден. М-да, придется вставать. Надо было вчера нажарить котлет, а сейчас уже поздно. Сколько минут осталось до девяти? Ой, и в самом деле пора! Мужу что? Он может спать и подольше, но она... но она... Будь проклята эта каторжная, эта ежедневная жизнь!

— Ох! — внезапно вскрикивает она и натягивает на себя одеяло, и сердце ее трепещет, словно схваченное в тиски. Как она могла забыть! Под окнами ходит этот старик, и в комнате светло, и снаружи все видно, а она лежит голая, в одной рубахе.

Сердце ее трепещет. Значит, она валялась в постели и думала бог знает о чем, а этот... этот старый хрыч! Чего ему дома не сидится? Правильно муж говорит, что... Ну, погоди, старый черт, я тебе устрою! Как вам это нравится, люди добрые: всю ночь спать не дает! Правильно муж говорит, что... солнце на небо, старик на порог.

Приспичило ему — и он тут как тут! А я, может быть, хочу... хочу отдохнуть от него!..

Жена начальника почты решительно отбрасывает одеяло и, с расчетом помедлив, садится. А что такого? Не принимать же всерьез придурковатого старика! Она в одной рубахе? Ну и что?

— Проснись! — гневно кричит она мужу, сама не понимая, отчего кричит.— Вставать пора!

Нет, она прекрасно понимает, отчего кричит. Оттого, что во всем, решительно во всем виноват ее муж. Это он придумал махинацию с поддельными разговорами! Если бы не он, старик не шлялся бы сейчас под окном. Безобразие! Да она бы в первый же день сказала старику всю правду и теперь не мучилась бы без вины!

— Проснись!

— Что ты пристала? — бормочет он спросонья.— Я же сказал: положись на меня. Ты только бери деньги, а я уж знаю, что делать...

— Я не пристала,— спокойно отвечает она.— Я только говорю, что скоро девять и пора вставать.

Она поправляет платье перед зеркалом, ищет гребешок, берет ключи и идет к дверям.

— А кофейку? — раздается вслед.

— Сам сваришь! — говорит она и выходит на улицу.

Да, лучше бы старику не попадаться ей сейчас! Она отпирает дверь и быстро входит в отделение. Ключи летят на стол. Она включает свет и садится к пульту. Пусть ей очки не втирают, она еще всем покажет...

С улицы слышны невнятные звуки, и она поворачивает голову к окну. А, понятно! Пусть он только войдет, пусть только посмеет. Что? — скажет она. Я? Вам? Обещала? Когда? Что-то не припомню! Тео? Какой еще Тео? Первый раз слышу. И не хотите ли вы, папаша, пойти подобру-поздорову домой, а?

Ну, что же он мешкает? Что он там возится? Может, ему стыдно стало? Будит людей спозаранку, а теперь интеллигентничает... А если это не он? С чего она взяла, что это он? Она и не видела его поблизости. Где же он был? Может, и под окном не он ходил? Кто же тогда?

— Войдите! — кричит она в неизвестность.— Кто там?

Но голос ее нетверд.

— Это я, дочка... Ты мне не поможешь?

— Чем я могу вам помочь? — удивляется она.

— Не поможешь ли ты мне переступить порог?

Переступить порог. Да что с ним, в самом-то деле?

И снова голос:

— Не в обиду будь сказано... ну ничего, я сам...

Сам? Что сам? Заболел он, что ли? И поделом: не таскайся по улице спозаранок, не тревожь людей!..

И только увидев старика, застывшего в створе двери, она отбрасывает эти мысли. Да что ж это с ним? Лицо сизое, глаза пустые, ногу еле волочит...

— Не в обиду быть сказано,— повторяет он,— но ты обещала, что сегодня соединишь меня с Тео. Ты помнишь, вчера связи не было...

— Садитесь, пожалуйста,— говорит она и вздрагивает: теми же словами она встретила три года назад своего отца. Она тогда написала родителям, что вышла замуж, и отец приехал повидаться с ней. Утром приехал, а вечером уехал. На следующую ночь пришла телеграмма: отец умер по дороге домой, на какой-то автобусной станции.

— Ах, дочка, некогда рассиживаться... мне бы с Тео поговорить!

Отец тогда тоже ни за что не хотел садиться: я, мол, только посмотреть приехал, за кого ты замуж вышла...

— Садитесь, папаша,— машинально повторяет она.

Старик ловит ее руку.

— Значит, я буду сегодня говорить?

— Да, но надо подождать.

И чтобы не видеть его пугающего лица, не чувствовать его жалкий взгляд, жена начальника почты бежит домой.

— Ты слышишь меня? — говорит она мужу, который как раз завязывает галстук перед зеркалом.

— Что такое?

Тогда она тоже прибежала к нему и он так же стоял перед зеркалом. Ей казалось, что она очень любит этого человека, который был так занят своим галстуком, что даже не взглянул на ее отца... Тогда она промолчала, а теперь... Нет, теперь тем более нельзя с ним ссориться. Она начнет издалека.

— Ты слышишь меня?

— Что такое? — и сразу: —А-а, этот...

— Этот.

— Н-ну?..

Она не может сдержать слез:

— Прошу тебя, поговори с ним сегодня по-хорошему, по-доброму...

Она и тогда просила его о том же, силой вытащила его в прихожую и со слезами на глазах умоляла: пожалуйста, ну пожалуйста... Он сказал весело: если ты так просишь...

— Если ты так просишь...

— Вы отдохните немножко,— говорит она старику, который пытается встать, увидев ее.

И вот появляется ее муж. Не глядя на старика, он проходит в кабинет. Она провожает его глазами и уже не может смотреть на старика. Сколько лет они его обманывают? И сколько это еще может продолжаться? И чем это кончится? Старик восторженно следит за каждым ее движением. Его лицо озарено надеждой.

Она поднимает трубку, набирает номер и привычно кричит:

— Алло! Междугородненькая? Дай мне Н.! Это Н.? Да, да!..

И чтобы старик не видел ее глаз, она поворачивается к нему спиной.

— Да, да! Абонент ждет... Говорите!

И старику:

— Говорите!

Старик ничего не видит и не слышит. Он вскочил со стула,— откуда только прыть взялась? — ухватился за трубку и изо всей мочи:

— Алло, Тео! Дорогой мой Тео!

От волнения он задыхается, глотает слова, потеет, как мышь, вытирает лоб рукавом, но не дает Тео возможности вставить хоть слово.

— Тео, дорогой мой! Во-первых, прости меня, пожалуйста, что я вчера не позвонил...

— Это ничего,— доносится из страшной дали.

— О, дорогой мой! —взрывается старик.—Как ничего? Если бы ты знал! Если бы ты только знал!.. Я вчера целый день промаялся здесь у телефона: надеялся хоть к вечеру поговорить с тобой! Я говорил себе: а вдруг он болен, вдруг ему что-нибудь нужно? В крайнем случае я мог бы вызвать для тебя неотложку!.. Да, я позвонил бы прямо туда!.. О Тео, молчи, не говори ничего! Ты благороден, ты не хочешь никого стеснять, ты всегда был силь-

нее меня и таких, как я, но я знаю, что значит, когда рядом ни одной родной души! Я бы позвонил в неотложку: это пустяк, это их обязанность. Они быстро приезжают, и уже не надо никого ни о чем просить, никого ничем беспокоить... Тео, я тебе уже тысячу раз говорил: проведи телефон прямо к постели! Даже если заболеешь, достаточно поднять трубку...

Жена начальника почты вертится как на иголках. Она перебирает бумаги, без всякой нужды считает открытки, наконец садится и начинает отстукивать вчерашние телеграммы. Поскорее бы кончился этот театр!.. Но тут в комнату входит клиентка. Только ее здесь не хватало!

— Что вам?

— Один авиа.

Женщина кладет на стойку семь копеек и садится за столик в углу писать адрес.

— Тео! Дорогой мой Тео! — старик разливается соловьем на всю комнату.— Так ты, значит, здоров? Здоров, как всегда? Ты даже не представляешь себе, как я счастлив, Тео! Береги себя, дорогой! Из всего взвода остались только мы с тобой, мы двое... Или ты встречал еще кого-нибудь?

— Нет,— слышится из трубки,— таких, как мы с тобой, больше нет.

— Таких больше нет, Тео! Мы двое остались с тобой — ты и я! Из всего взвода...

Что сделать, чтобы эта женщина ушла побыстрее?

— В какой ящик опустить? — спрашивает клиентка.— В синий или в красный?

— В синий.

Женщина опускает письмо в синий ящик, неторопливо поправляет волосы, глядя на свое отражение в оконном стекле, и уходит.

— Почему ты так говоришь со мной, Тео?

Жена начальника почты, как зачарованная, провожает клиентку взглядом и спохватывается: что-то пошло вкось.

— А как еще с тобой разговаривать?

— Как хочешь,— растерянно и печально отвечает старик,— но сегодня, Тео, ты бы не должен говорить со мной в таком тоне. Во-первых, я не спал почти всю ночь. Во-вторых...— тут старик запинается, словно не знает, говорить или нет.— Словом, я себя не очень хорошо чувствую, Тео...

— Так пойди и проспись.

— Что ты говоришь, Тео! — пытается сказать старик, ловя взгляд жены начальника почты: он ей так благодарен за все.— Как я могу спать, Тео? Неужели ты не понимаешь, что такое одиночество? Ведь, кроме тебя, у меня нет никого на свете! Ты — да еще вот эта девушка, что соединяет нас...

Он хочет еще что-то сказать, но не может. Он чувствует, как оседает на землю, медленно, медленно, медлен...

Ах, как же он мог забыть?!

— Есть одна книга...— звонко произносит он.

Старик оседает, проваливается куда-то, глубоко-глубоко, и его обнимает вода, широкий, мутный и теплый поток. Он несет его плавно и мощно, он уносит его... куда? Как жаль, что он не успел рассказать Тео об этой книге, о том летчике... Ведь этот пилот был один из нас, Тео, один из нас! Он был как ты и я! Ведь это были мы, Тео...

Он пытается еще что-то сказать, но уже и сам, наверное, не слышит своих слов. Муравьи... ловкие быстрые муравьи... они бегают по его лбу, по щекам, забираются в уголок рта... Не слышит он и пронзительного крика жены начальника почты.

— Что случилось?! — кричит Тео из своей безмерной дали.

— Что случилось? — спрашивает начальник почты, выходя из своего кабинета.

— Ушел...— шепчет его жена.

— Как ушел? А деньги?

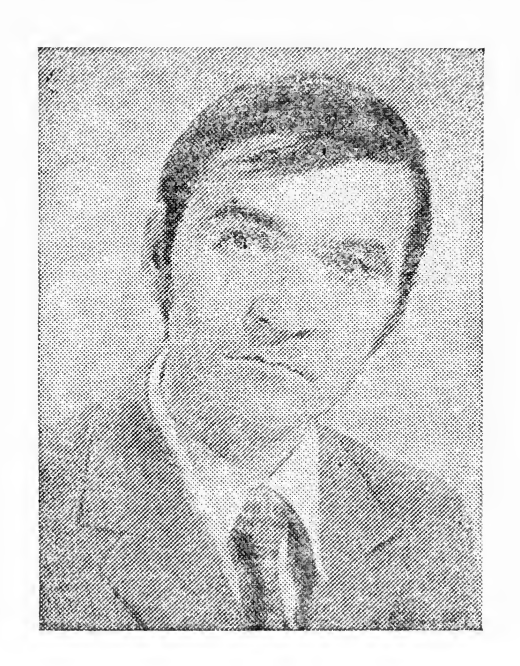
Он еще не видит старика, неподвижно лежащего между барьером и столиком. Над его головой, глухо постукивая о дерево, качается телефонная трубка.

— Деньги ты взяла?

Но женщина, белая, как стена, не может сказать ему больше того, что уже сказала: старик ушел, его нет. Все кончилось... все...

Может быть, поискать Тео?

Перевод *А. БРОДСКОГО*



***ЙОВИЦЭ** Влад, поэт, прозаик, кинодраматург. Родился в 1935 году в селе Кучиеры Молдавской ССР. После окончания сельской школы учился в Ленинградском хореографическом училище (1954 г.) и некоторое время выступал в Кишиневском театре оперы и балета. В 1964 году закончил Высшие курсы сценаристов в Москве. Первый сборник рассказов Влада Йовицэ вышел в Кишиневе в 1965 году. Русские читатели знакомы с его прозой по книгам: «Капля живой воды» («Молодая гвардия», 1964), «Когда вино смеется и плачет» (Кишинев, 1968), «По ту сторону дождя» («Советский писатель», 1972), «Повести и рассказы» (Кишинев, 1981). По сценариям Йовицэ выпущено несколько художественных кинофильмов, в том числе и фильм «Дмитрий Кантемир», за который ему была присуждена Государственная премия по литературе и искусству Молдавской ССР.*

ВЛАД ЙОВИЦЭ

ДМИТРИЙ КАНТЕМИР

1

И снова подняли они лица свои к белым минаретам, и снова склонились к земле, шепча про себя молитвы, которые громко выкрикивал муэдзин:

— Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его! Да благословит аллах султана нашего — высочайшего, справедливейшего и милостивейшего потомка Магомета!

Потом воцарилась тишина.

Высочайший, справедливейший и милостивейший Ахмет III, султан Блистательной Порты, поднял голову и долгим, пристальным взглядом посмотрел на гяуров.

Неверные стояли смиренно и недвижимо. Под взглядом султана они приложили правую руку к сердцу, к губам и ко лбу, затем снова опустили глаза.

Но один из них, бледный чернобровый юноша, с красивым, мужественным лицом, осмелился взглянуть на повелителя Вселенной. Более того — он дерзнул заговорить:

— О всемогущий...

Барабанная дробь заглушила его голос.

Султан, поддерживаемый под руки приближенными, проследовал в тень, под балдахин. Сановники заняли свои места — каждый соответственно рангу. Мехмед Балтажи-паша, великий везирь, поднял вверх бунчук — знамя из белых лошадиных хвостов. Это означало, что церемония началась.

Все устремили глаза на султана.

— Пусть скажут нам,— потребовал султан,— от всех ли покоренных нашей Портой стран присутствуют здесь заложники?

Везирь обернулся к муфтию:

— Высочайший, справедливейший и милостивейший султан желает знать, от всех ли покоренных Блистательной Портой стран присутствуют здесь заложники?

Муфтий окинул взглядом вереницу заложников. Сказал уверенно:

— Да. Заложники от всех покоренных Блистательной Портой стран присутствуют здесь.

— Хорошо! — Султан хлопнул в ладоши, и везирь склонил бунчук к земле.

Двое чаушей отделились от стражи и направились к заложникам. Возле бледного чернобрового юноши они остановились. Юноша шагнул вперед. Чауши положили руки ему на плечи.

Торжественно и сурово прозвучал голос диван-эфенди, зачитывающего фирман:

— Наш высочайший, справедливейший и милостивейший султан Ахмет Третий, милостью аллаха повелитель всего сущего на Востоке и Западе, всего живущего на Севере и Юге, сим доводит до сведения всех правоверных, что печаль его велика. Он, кто мечом оберегает покой своих подданных, он, кто ограждает их от всякого беззакония, он, кто стараниями своего светлого разума приумножает их благосостояние,— он узнал, что не все его подданные преданы ему и послушны. Те, что обитают в Сербии, взбунтовались. Там пролита османская кровь. Так пусть здесь прольется кровь сербская!

Янычары, стоявшие кругом по краю эшафота, разом опустили ятаганы, и над их красными тюрбанами выросли широкие плечи, бритая голова и обнаженная грудь палача.

На лицах турок отразилось оживление. На лицах заложников — страх.

Янычары спрыгнули с эшафота, и зловещая фигура палача теперь открылась взорам вся, с головы до ног. Некоторые из заложников впервые увидели его — и содрогнулись. Он был поистине страшен.

Осужденный юноша смерил палача взглядом и повернулся к балдахину, под которым восседал султан:

— О справедливейший и милостивейший...

Муфтий прервал его:

— Осужденный просит слова!

Везирь обратился к султану:

— Осужденный просит слова!

— Мы даем ему слово! — проговорил султан. И добавил: — Последнее.

— Последнее,— сказал везирь.

— Последнее,— повторил муфтий.

Чауши убрали руки с плеч осужденного.

— Справедливейший и милостивейший! — снова начал заложник-серб. Голос его был спокоен.— Дозволь спросить тебя: служил ли тебе верой и правдой мой отец, когда он был правителем своей страны?

— Да,— ответил султан.— Когда отец твой был правителем своей страны, он служил нам верой и правдой.

— До самой смерти?

— До самой смерти.

— Справедливейший и милостивейший! Дозволь еще спросить тебя: служили ли тебе верой и правдой братья мои, которые сражались при Варадине, при Каминице и в других битвах рядом с твоими храбрыми янычарами?

— Да,— ответил султан.— Братья твои, которые сражались при Варадине, при Каминице и в других битвах, служили нам верой и правдой.

— И пали с оружием в руках?

— И пали с оружием в руках.

— Справедливейший и милостивейший! Дозволь теперь напомнить тебе, что я родился здесь, в Стамбуле, что я никогда не видел своей родины и что на сербском престоле не осталось никого из моего рода...

В толпе янычар возник глухой ропот и достиг ушей султана.

— ...значит,— продолжал тем временем осужденный,— меня нельзя считать заложником!

Ропот среди янычар все усиливался:

— Не упусти гяура, султан! Смерть гяуру! Не дай ему ускользнуть!

Ропот усиливался, грозил перейти в открытый бунт. А с янычарами шутки плохи — и султаны это знают хорошо.

Ахмет III метнул взгляд на Мехмеда Балтажи-пашу.

Великий везирь подскочил как ужаленный.

— Да, ты не заложник за своего отца! — грозно крикнул он осужденному.— Да, ты не заложник за своих братьев! Но ты — заложник за свой народ, гяур! Твой народ, потерявший разум, дерзнувший поднять меч на священный полумесяц!..

— Верно говоришь, везирь! — поддержали его янычары, потрясая ятаганами.— Смерть гяуру!

— ...и в назидание твоему мятежному народу, в назидание вам, гяуры-заложники, и всем вашим народам голова твоя, Йован Мирич, слетит с плеч!

Везирь сел.

Йован Мирич расстегнул ворот, снял с шеи крест. Взглянул налево, потом направо. Окинул взглядом послов, консулов, иностранных гостей. И наконец увидел того, кого искал. Подошел к нему, вложил в его руку крест. Это был Дмитрий Кантемир — принц Молдавский.

Громко прозвучал в наступившей тишине голос муфтия:

— Да исполнится священная воля султана!

Йован Мирич направился к эшафоту. Прошел между рядами янычар, поднялся по мраморным ступеням. Палач положил огромную руку на плечо осужденного. Отогнул ворот его рубахи.

Кантемир взглянул на крест на своей ладони. Рука его с тонкими, длинными пальцами дрожала.

Палач бросил осужденного на колени. Кантемир сжал ладонь.

Воздух сотрясли дикие вопли янычар. Кантемир разжал кулак. Крест Йована Мирича на его ладони был окровавлен.

2

— Вай, какой ты хороший гяур, Кантемир-бей! Вай, как сладко поет твой тамбур! Будто ты и не гяур, Кантемир, будто бы самый настоящий турок!..

— Двадцать два года в Стамбуле, Раис-эфенди...

— Нет, не годы делают человека человеком, Кантемир-бей! Не годы, а пытливый ум. Можно прожить в чужой стране всю жизнь и так ничего и не узнать о ней. Вот я — семь лет прожил в Персии. И что же, научился я там чему-нибудь? Нет. Выучил несколько слов — и все. Ты же в глаза не видел Персии, а читаешь наизусть Рудаки, Фирдоуси, Саади. И среди французов ты никогда не жил, и среди русских, и среди итальянцев. А языки их тебе знакомы. Сколько языков ты знаешь, Кантемир-бей?

— Много,— улыбнулся Кантемир.

— Сколько?

— Столько, сколько пальцев на обеих руках, Раис-эфенди.

— Вай, как ты усерден, Кантемир-бей! И как я ленив!.. И как ленивы мы все, османы, если докатились до того, что ты, гяур, пишешь для нас нашу историю, толкуешь нам наш коран, играешь для нас на тамбуре и

даже наши мелодии записываешь какими-то иероглифами.

Кантемир снова улыбнулся. Взглянул на высокие кипарисы, на голые скалы, синеющие между стволами деревьев, на коней, пасущихся на зеленой лужайке, и произнес:

— Я слышу лай гончих, Раис-эфенди. Судя по их лаю, охота близится к концу.

— А я ничего не слышу, кроме твоей музыки, друг.

— Если моя музыка радует твое сердце, почтенный Раис-эфенди, то и мое сердце радуется!

— Нет, дорогой друг. Твое сердце остается печальным. Это говорю тебе я, Раис-эфенди, который не очень-то умеет читать, что написано в книгах, зато хорошо читает в сердцах.

Кантемир покачал головой. Его тонкие пальцы перебирали струны тамбура, лежащего на коленях.

— Ты прав, Раис-эфенди. Мое сердце остается печальным.

— Ты думаешь об Йоване Мириче?

— Там, где скатилась с плеч его голова, в один прекрасный день может скатиться и моя.

Раис-эфенди задумался. После продолжительного молчания он проговорил:

— Это было бы непоправимой ошибкой...

Из-за скал, облитых послеполуденным солнцем, послышались звуки рога, возвещающего окончание охоты. И тотчас же на лужайку выбежали гончие, вспугнув пасущихся лошадей и дремлющих на траве слуг.

— Пора и нам собираться,— сказал Кантемир, откладывая тамбур.

Раис-эфенди задумчиво курил наргиле. Слуги за его спиной ожидали приказания убирать ковер, подушки и пустые кофейные чашки.

— Кони и мулы готовы, эфенди! — решился побеспокоить хозяина старший слуга.

— Кони и мулы еще не готовы,— небрежно бросил Раис-эфенди, выпуская через ноздри густые клубы дыма.

— Кони и мулы еще не готовы! — передавали слуги друг другу, уходя прочь.

Когда они удалились на значительное расстояние, Раис-эфенди повернулся к Кантемиру.

— Скажи, друг,— озабоченно спросил он,— чем я могу тебе помочь?

Кантемир в знак благодарности приложил руку к груди.

— Ничем!

— Как? — вспыхнул Раис-эфенди.— Я, перед кем открыты все двери во дворце султана, ничем не могу помочь тебе — своему лучшему другу?

— Ну что ж,— улыбнулся Кантемир,— если тебе так хочется мне помочь... помоги мне занять молдавский престол!

— У великих людей великие помыслы,— сказал после длительной паузы Раис-эфенди.— А великие помыслы требуют больших денег.

— Знаю. У меня их нет и не будет.

— Да... Мне очень жаль, но ты прав. Я в самом деле ничем не могу тебе помочь,— грустно произнес Раис-эфенди.

— И все-таки можешь... Если захочешь.— Кантемир обвел взглядом лужайку. Слуги убирали шелковые шатры, привязывали возбужденных собак, навьючивали на мулов охотничьи трофеи.— Скажи, вон тот человек в белом тюрбане и вишневом плаще... тот, что садится на белоногого коня... Ты его знаешь?

— Крымский хан? Как мне не знать его! Он такой же добрый мой друг, как и ты.

— И он приехал сюда из Крыма только затем, чтобы поохотиться?

— Человек, обладающий таким могуществом, может позволить себе маленькое развлечение.

— Оставь, Раис-эфенди! Не маленькие развлечения привели хана в Стамбул, а большие заботы... О будущей войне с Россией.

— Даже это известно тебе, Кантемир-бей! — покачал головой Раис-эфенди.

— Это, и не только это,— ответил Кантемир, поднимаясь с ковра.— Мне известно и то, о чем говорили вчера в диване. Весной Блистательная Порта порвет мир с Россией. Русский царь снимет осаду Риги и со всеми своими войсками двинется к Днестру. Великий везирь поведет войска султана к Дунаю. Там везирь соединится с Крымским ханом. Их объединенные силы должны составить около трехсот тысяч человек. Пушек у них будет более четырехсот. Вы говорили в диване и о лошадях, верблюдах, о повозках. Подсчитали, сколько понадобится бочек с порохом. Не забыли и о провианте для войск,

о подковах и гвоздях для коней. Все вы обговорили, Раис-эфенди, кроме одного. Вы забыли, где вам придется воевать. А воевать вам придется в Молдавии. Молдавия же не готова к войне. Ее крепости разрушены. Дороги разбиты. Села обезлюдели. Крестьяне, что еще остались в селах, до нитки обобраны боярами и господарем. Маврокордат, господарь Молдавии,— грек. Пришелец, не знающий ни слова по-молдавски. О его беспримерной лени говорит весь Стамбул... Вот и скажи мне теперь, Раис-эфенди, может ли столь «достойный» правитель за столь короткий срок подготовить страну к войне?

Раис-эфенди, внимательно слушавший Кантемира, встал, посмотрел на собеседника и сказал:

— Я ошибся, Кантемир-бей! Человек с таким умом не нуждается в деньгах.

Солнце клонилось к закату. Инжирная роща погрузилась в тень. В прохладу рощи сбегала с горы дорога. Всадники, покачивавшиеся на чистокровных арабских скакунах, были оживлённы. Фазаны и куропатки, привязанные к седельным лукам, красноречиво свидетельствовали о том, что охота была поистине царской.

Только Девлет-Гирей, хан Крымский, был мрачен. Не охота была тому причиной. Рядом с ним ехал на коне Раис-эфенди, и от его слов все больше хмурилось обветренное лицо хана.

— Когда начнется война с русскими,— говорил Раис-эфенди,— они сразу двинутся на тебя, хан. На тебя и на Маврокордата. Можешь ты на него положиться?

Услышав имя Маврокордата, хан презрительно поморщился.

— Раис-эфенди! — сказал он.— Если бы Порта не рождала столь мудрых мужей, как ты, она бы давно уже стала добычей шакалов! — И, пришпорив белоногого скакуна, ускакал вперед.

Всадники поспешно освобождали дорогу Крымскому хану, сворачивая на обочину, под ветви смоковниц.

— Мы ослы! — начал хан, догнав муфтия.— Ослы, достойные презрения гяуров!..

— Почему, хан? — спросил муфтий, стряхивая дремоту.

— Вчера в диване мы полдня толковали о подковах...

— Толковали, хан. Неподкованный конь — не конь.

— И еще полдня — о гвоздях...

— Да, хан, и о гвоздях. Подкова без гвоздей — не подкова.

Тонкий, тягучий голос муфтия, его безбородое лицо раздражали хана.

— А я хочу говорить, муфтий,— сказал он нетерпеливо,— о том, о чем вчера в диване не говорилось. Я хочу говорить о...

— О том, что говорится или не говорится в диване,— прервал его муфтий,— громко не говорят. Наклонись ко мне и скажи на ухо.

Девлет-Гирей придержал норовистого коня, гневно взглянул на муфтия сверху вниз и, согнув свой мощный стан, зашептал что-то в ухо, выглядывающее из-под тюрбана.

Выслушав, муфтий кинулся догонять везиря. Приблизившись к нему, он приподнялся в седле — везирь был намного выше его.

— Без гвоздей подкова — не подкова,— зашептал он.

— Да, муфтий.

— Без подковы конь — не конь...

— Короче, муфтий...

Вдруг скакун султана перешел в галоп. Везирь пришпорил коня. Сбившись поплотнее, всадники свиты поспешили за султаном.

Дорога выбежала из инжирной рощи. Какое-то время она петляла между зубчатых скал и наконец выбралась на крутой берег Босфора. Здесь султан остановился.

— Высочайший, справедливейший и милостивейший,— приблизился к нему везирь.— Дозволь нарушить твой покой тягостными заботами о предстоящей войне...

— Заботы об этой войне слишком важны, чтобы быть нам в тягость. Говори.

— Вчера в диване мы все обсудили, о высочайший. Но об одном забыли — о Молдавии, где произойдут сражения, и о молдавском господаре Маврокордате...

— Если султан забыл о нем, значит, он человек ничтожный,— заметил Ахмет III.— Продолжай...

В это время подъехали муфтий с ханом, за ними — остальные сановники.

— Здесь слишком много ушей,— прошептал везирь.

— Скажи им, что султан хочет остаться наедине с заходящим солнцем.

— Султан желает,— прокричал везирь,— остаться с заходящим светилом наедине!

— Султан желает...— повторил муфтий.

— ...остаться с заходящим светилом...— эхом прокатилось по кавалькаде.

— ...наедине,— подхватил Кантемир. Он ехал в самом хвосте кавалькады.

Алый шар солнца погружался в море. Султан и везирь молча стояли над обрывом. Когда последний всадник скрылся за поворотом, султан спросил:

— Кого же на место Маврокордата?

— Об этом я еще должен подумать...

— Если бы ты еще не подумал, не обратился бы ко мне.

— Бывшего заложника от Молдавии, сына Константина Кантемира.

— Константина Кантемира? Это какого же? А-а! — вспомнил султан.— Того, что в бою под Каминицей вырвал у поляков гарем предшественника моего Мухаммеда Четвертого? Да, это был храбрый воин. И верный нам господарь. Умом он, правда, не блистал.

— Сын его человек умный.

— Умный человек на молдавском престоле был бы сейчас весьма кстати,— задумчиво произнес султан.— А деньги у него есть?

— Нет,— ответил везирь.— Но если станет господарем — будут.

— Дети?

— Две дочери и четыре сына.

— Старший сын останется заложником.

3

Под блеклым осенним солнцем сверкнул Дунай, и всадники господарской свиты испустили мощный радостный клич. Зазвенели трубы. Между двумя турецкими бунчуками поднялось молдавское знамя.

Услышав зов трубы, Кантемир, ехавший верхом рядом с каретой, отодвинул занавеску:

— Доброе утро, госпожа моя! Доброе утро, дети! Приехали!

Касандра открыла большие глаза, и лицо ее, похожее на лик богородицы византийского письма, просветлело.

— Доброе утро, господин мой!

Дети спали. Все, кроме старшего сына.

— Доброе утро, отец,— сказал мальчик. Голос его дрогнул, губы искривились.

Кантемир яростно пришпорил коня и поскакал к реке. Он мчался мимо слуг, мимо капуши-баши — сановника, облеченного властью возводить на престол и низлагать господарей молдавских, мимо чиновников и стражников, сопровождавших капуши-баши. Остались позади трубачи и барабанщики, бунчуки и турецкие знамена с полумесяцем и молдавское знамя в руках знаменосца капитана Дана Декусарэ.

Все ближе Дунай. Там, за Дунаем,— Молдавия.

Господарь окинул родную землю взглядом, полным любви и нетерпения. Оглянулся. Его свита следовала за ним.

А когда снова посмотрел вперед, реки уже не увидел. Там клубилась густая туча пыли. Она становилась все выше, все плотнее, все ближе, и все явственнее слышался топот копыт. Прямо на Кантемира летел табун, стремительно приближаясь. Конь под Кантемиром, испугавшись, взвился на дыбы и чуть не сбросил седока. Потом потянулись стада коров и быков. За ними — арбы, груженные солью, телеги с зерном и бочками и, наконец, повозки, на которых сидели плачущие девушки, угоняемые в неволю.

Кантемир двигался в облаках пыли, словно призрак. Кто-то из его свиты вел под уздцы его коня, еще кто-то защищал его копьем от бегущих навстречу лошадей и коров.

— А нам остались еще в Молдавии цветочки? Или все уже сорваны? — спросил чауш из господарской охраны стражника, сопровождающего повозки с девушками.

— Пока до Молдавии доберешься, там другие подрастут! — засмеялся стражник.

Пыль постепенно оседала. Наконец речная гладь снова засверкала под лучами солнца.

Конь Кантемира ступил в воду и остановился: паром с того берега едва достиг середины реки. Всадники спешивались, разминали затекшие ноги, поили коней. Из подъехавшей кареты вышла Касандра с дочерьми и сыновьями.

Длинноволосые обнаженные каторжники, крутившие

ворот парома, увидев Касандру, вздернули растрепанные бороды.

— Глянь-ка, какие расфуфыренные возвращаются наши боярыни из Царьграда! — засмеялся один из них.

Другой сплюнул:

— А задается, словно арабская кобылица! Чтобы их в аду евнухи объезжали!

Касандра даже не вздрогнула, бровью не повела, проходя мимо закованных в цепи каторжан. И Кантемир, казалось, пропустил их слова мимо ушей. Зато капитан Декусарэ взорвался.

— Эй, надсмотрщик! — крикнул он мужику, лежащему на траве возле ворота.— Если ты не заткнешь им глотки кулаком, я заткну твою вот этой булавой!

Надсмотрщик не спеша поднялся, взял с земли длинный кнут.

— И побыстрее тяни паром к берегу,— продолжал Декусарэ.— Не будет же его величество ночевать здесь!

Каторжане зазвенели цепями. Ворот остановился.

— Вот оно что! Его величество господарь! — поклонились они с притворным восхищением.— Мэй-мэй-мэй!

— Не успел один на трон залезть, а другой уже его спихивает!

— Добро пожаловать, ваше господарское величество!

— И сколько ты заплатил за свой престол?

— Господари меняются — дураки радуются!..

Кнут надсмотрщика со свистом опустился на костлявые спины каторжан. Ворот снова начал вращаться.

Кантемир обнял старшего сына, помог ему взобраться на коня. На турецкий манер поклонился Раису-эфенди. Раис-эфенди ответил таким же поклоном.

— Будь спокоен, Кантемир-бей,— сказал он.— Твой сын — мой сын.

Касандра с трудом сдерживала слезы. Мальчик тоже крепился изо всех сил, но тщетно: лицо его перекосилось. Хлестнув коня, он ускакал. В сопровождении нескольких чаушей последовал за ним Раис-эфенди.

Паром достиг берега и остановился. Капитан Декусарэ взглянул на него и увидел там карету. Удивленно присвистнул: карета была без лошадей. Кучер, худой и длинный цыган, слез с козел и, ухватившись за дышло, пытался сдвинуть карету с места. Но старался напрасно, дело это явно было ему не по силам.

И тут в окошке кареты дрогнула занавеска. Из темно-

ты показались сердитые нетерпеливые глаза. Глаза были девичьи и очень красивые. Дан Декусарэ шагнул на паром.

— И далеко вы хотите уехать на этой кляче, боярышня? — кивнул он на кучера.

Гневный взгляд пронзил капитана. Дверцы со стуком распахнулись. Девушка ловко, по-мальчишески спрыгнула с подножки, но запуталась в подоле длинного платья и упала бы в воду, если б не уперлась руками в грудь капитана. Декусарэ обнял ее за талию.

— На одной лошади, боярышня, далеко не уедете. Запрягите и меня!

Девушка юлой вывернулась из его объятий и, подбежав к кучеру, тоже схватилась за дышло.

— А пташка-то с норовом! — засмеялся капитан.

Он поплевал на ладони и впрягся в карету. Случайно, вместе с дышлом, рука его прихватила руку девушки, а щека — тоже, конечно, случайно — коснулась ее округлой щечки. Девушка резко повернулась, ударила его кулачком по руке, затем по щеке — и вдруг разрыдалась.

Капитан взглянул на растерявшегося кучера. Цыган вздохнул, хотел, видимо, что-то сказать, но промолчал, показав глазами на берег, где свита уже готовилась к погрузке.

Когда карету наконец выкатили с парома на берег, господарь спросил капитана:

— Кто эта девушка и почему она плачет?

Декусарэ пожал плечами:

— Не знаю, господарь.

Услышав это, девушка подняла заплаканное лицо, кулаком вытерла слезы и сказала:

— Я — дочь ворника Йордаки Русета.

— А почему ты плачешь?

— Потому что дни моего отца сочтены. Он осужден.

— Кем?

— Господарем Маврокордатом.

— И куда ты держишь путь?

— В Константинополь.

— Искать справедливости?

— Да.

— Без лошадей?

— Лошадей у меня турки отобрали. Но ничего — куплю других.

Господарь беззвучно рассмеялся. Обнял девушку за

плечи и подвел к Касандре. Затем обернулся к капитану Декусарэ и шепнул:

— Ветром скачи во дворец и освободи Иордаки Русета.

Орешники тихо роняли листья. Пауки тянули серебряные нити от деревьев к крепостной стене, от стены — к стволам и колесам пушек.

На стенах не было видно стражи: наемники собрались на выложенной терракотовыми плитами крыше главной башни. Капитаны Иоган Петер и Карло Касола играли в кегли. Во время правления Маврокордата при господарском дворе, как и в других западных странах, эта игра была в моде. Правда, с одним отличием: вместо кеглей здесь использовались пустые кувшины из-под вина, а вместо шаров — пушечные ядра.

Черепки разбитых кувшинов хрустели под ботфортами офицеров. Солдат сметал их в кучу. Другой принес вместо разбитых кувшинов целые, полные вина.

— Это последние, сударь.

— Постарайся стащить еще,— приказал Иоган Петер, поднимая ядро и взвешивая его в руке.

Солдат почесал затылок.

— Бабы сказали: еще раз поймают меня на кухне — ноги повыдергают!..

Все расхохотались.

Карло Касола опустошил кувшин и поставил его рядом с другими. Иоган Петер присел на корточки и стал целиться.

И тут открылись, пропуская всадника, крепостные ворота.

— Посмотрите-ка, кто это там? — крикнул Петер и запустил ядро. Оно стремительно покатилось по терракотовым плитам, опрокинуло один кувшин, другой. Когда ядро разнесло в черепки и третий кувшин, Карло Касола воскликнул — безо всякого, впрочем, энтузиазма:

— Браво, сеньор! И сегодня я тоже побит...

Снизу послышался какой-то странный грохот. Несколько солдат подошли к бойницам, стали смотреть вниз, во двор.

— Что там происходит? — присоединились к ним и оба офицера.

Солдаты недоуменно пожали плечами. Внизу кто-то выламывал алебардой двери тюрьмы.

— Вроде бы это капитан Декусарэ,— сказал один из наемников.

— Быть того не может! — отозвался другой.— Декусарэ служит у московитов!

— А я думаю...— вмешался третий.

— Попридержите языки, болваны! — заорал Иоган Петер во весь голос. Провел рукой по бедру и еще громче крикнул: — Шпагу!

— И шлем! — напомнил Карло Касола и пошатнулся: ноги плохо слушались его.

Когда наемники толпой высыпали во двор, тюремная дверь уже была разбита. Солдаты обнажили сабли и замерли в ожидании. Из глубины темницы донесся звон цепей. Потом послышались шаги по лестнице, и сдавленный голос узника произнес:

— Ты успел как нельзя вовремя, капитан! Опоздай ты хоть на час...

Из темноты показалось суровое лицо бывшего великого ворника Йордаки Русета. Иоган Петер и Карло Касола шагнули ему навстречу.

— Руки прочь от ворника! — крикнул капитан Декусарэ, становясь между боярином и наемниками.

Иоган Петер смерил его тяжелым взглядом, рассмеялся презрительно, и... началась схватка. Солдаты столпились вокруг. Видя, что ему одному против всех не устоять, Дан Декусарэ воскликнул:

— Волею и повелением господаря Дмитрия Водэ Кантемира, великий ворник Йордаки Русет свободен!

Иоган Петер взглянул на Карло Касола.

— На молдавском престоле,— сказал венецианец,— пока еще господарь Маврокордат...

— Пока еще! — отозвался капитан Декусарэ и бросил взгляд на ворота, в которые как раз въезжал капуши-баши в сопровождении стражников.

Арочные двери тронного зала распахнулись. Стражи, стоявшие у дверей, скрестили копья, преграждая путь. В зале вдруг стало тихо. Появился капуши-баши. Отстранив рукой копья, он ступил на мягкий персидский ковер. Бояре встали, посматривая одним глазом на турка,

другим — на господаря. Маврокордат, переменившись в лице, остался сидеть на троне, неподвижный и обмякший.

Дойдя до середины зала, капуши-баши остановился. Наклонил голову — не столько в знак приветствия, сколько давая понять господарю, что и ему надлежит встать.

Наконец Маврокордат поднялся — медленно и тяжело. Спустился, покачиваясь, по ступенькам трона и направился к турку. В нескольких шагах от сановника он остановился и отвесил низкий поклон.

— Готов ли ты подчиниться воле нашего милостивейшего султана? — спросил капуши-баши.

— Да,— прошептал господарь.

— Какой бы она ни была?

— Какой бы ни была.

Капуши-баши извлек из длинного рукава черный шелковый платок и положил его на плечо Маврокордата. Затем начал читать фирман о низложении:

— Высочайший из государей, исповедующих христианство, виднейший из великих последователей Иисуса, бывший господарь Молдавии — да будут счастливы дни твои...

— Благодарю! — Николае Маврокордат низко опустил голову.

— Исполняя волю нашего высочайшего султана, владыки Вселенной,— продолжал капуши-баши,— сообщаю тебе, что ты признан виновным в недостатке усердия и в равнодушии к государственным делам...

Родика, раскрасневшись от радости, уткнулась лицом в плечо отца.

— Скорее, капитан! — торопила она Карло Касола.

Освобождая ворника от оков, капитан украдкой взглянул на Родику и обольстительно улыбнулся.

— Знайте, сеньорита, что для меня было большой честью охранять самого богатого и могущественного молдавского боярина...

Йордаки Русет, разминая затекшие руки, посмотрел на перстень с рубином, что красовался на пальце венецианца.

— А-а! — сообразил тот.— Ну как же!..— Сняв с пальца перстень, он вложил его в руку боярина.— Это ваш перстень, князь.

— Что-то прохладно,— намекнул Йордаки Русет.

— Ах да! — отозвался капитан.— И плащ тоже...

Иоган Петер, не владевший, в отличие от венецианца, искусством лести, молча отстегнул саблю с серебряной гардой, передал ворнику. Потом взглянул на свои сафьяновые сапоги, опустился на землю и стал разуваться.

— Кандалы тоже мои,— повернулся ворник к венецианцу.

— Да? — недоуменно переспросил тот. — А зачем они вам?

— Сохраню на память. У меня уже есть три пары. Эта будет четвертой.

— Накинь плащ, отец,— напомнила Родика.— И в самом деле прохладно.

Йордаки Русет отыскал взглядом Декусарэ:

— Вот кто хорошо служил мне! Подойди, капитан. Возьми саблю. И сапоги.

— Благодарю вас, князь...

— Тебе не нравятся мои подарки? — удивился ворник.

— Нравятся-то нравятся, но...

— Хочешь что-нибудь другое? Проси!

Дан Декусарэ взглянул на Родику.

— Да,— сказал он.— Хочу.

— Говори же,— подбодрил его ворник.

Капитан набрал воздуху в грудь.

— Ваша дочь дала мне пощечину. Прикажите ей стереть этот позор... поцелуем.

— Это правда, дочь моя? — строго спросил Йордаки Русет Родику.

Девушка опустила глаза.

— Проси ее сам! — сказал ворник капитану и, повернувшись на босых пятках, так и не надев плаща, зашагал к дворцу.

Бывшему великому ворнику не нужно было поднимать руку, чтобы отстранить скрещенные копья, преградившие вход в зал. Он лишь приподнял веки, и склоненные копья выпрямились, а спины склонились. Лица бояр помрачнели.

Йордаки Русет обвел всех пристальным взором. Глянул на пустой господарский трон, что возвышался в глубине зала. Переступил порог. И снова окинул взглядом бояр. Под тяжестью этого взгляда бояре, бормоча что-то неразборчивое, заерзали в своих креслах.

Первым встал Хрисоверги — главный конюший.

— Садись, князь,— проговорил он, уступая место.

Поднялся и Гавриил Миклеску — главный стольник:
— Прошу тебя, князь...
За ним — главный постельничий Рамазан.
Но бывший великий ворник прошел мимо них, словно не замечая. Не пожелал он сесть в кресло, уступленное ему великим спэтаром Ионом Балше, хранителем господарских знаков власти — меча и булавы. Обошел Антиоха Жору — гетмана, командующего господарским войском, пренебрег и креслом начальника господарской канцелярии Иона Бухуша.
Кресло, которое пожелал занять Йордаки Русет, стояло справа от трона и принадлежало великому ворнику — правителю Нижних областей. Сейчас там сидел Николае Костин.
Освободив место, Николае Костин пересел на место Иона Бухуша. Бухуш занял место Антиоха Жоры, тот — кресло Илие Кантакузино. В результате главный конюший Хрисоверги остался без места. Он кашлянул в кулак и прислонился к стене.
Звякнули кандалы Йордаки Русета. И снова надолго воцарилась тишина. Бояре сидели, опустив головы.
— Горе... Горе государству...— прозвучал чей-то сдавленный голос.— Горе нам!
— Горе! Горе! — Главный конюший отделился от стены. Выйдя на середину зала, он простер дрожащие руки к ворнику.— Посмотрите на него, бояре! На его босые ноги, на его лохмотья, на его лицо, худое и бледное! Вот до чего довел его тиран!
— Замолчи! — оборвал его Антиох Жора и повернул круглую бороду к Йордаки Русету: — Мы знаем, ворник, что ко многим из нас ты питаешь зло... А ведь слово твое будет весьма весомым у господаря Дмитрия, ибо ты ревностно и преданно служил его отцу Константину...
Йордаки Русет перебросил кандалы из руки в руку, подержал их немного на весу и медленно положил на сиденье трона. Затем подышал на рубин в перстне, протер его рукавом.
— Запомни, гетман, и вы все, кто находится здесь: не я служил Константину, а Константин — мне!

— Я не желаю знать, в чем обвинялся Йордаки Русет. Не желаю знать, справедливо он приговорен к смерти или нет. Не затем я здесь, чтобы разбирать ваши дрязги.

Я пришел сюда, чтобы установить мир в вашем доме. Поэтому говорю вам и всей стране: тех, кто моложе меня, я буду любить, как родных сыновей. Ровесников своих я буду любить, как братьев. А тех, кто старше меня, буду любить, как родного отца...

Тронная речь нового господаря понравилась боярам. Морщины на их лбах разгладились, гул одобрения пронесся по залу. Потом снова стало тихо. Голос Дмитрия Кантемира зазвучал еще мягче:

— Господари приходят и уходят. Вы, бояре, остаетесь...

— Верно! Так это! — еще больше оживились бояре.

— И без вашей, бояре, помощи,— продолжал Кантемир,— ни один господарь, каким бы добрым, мудрым и талантливым он ни был, ничего не сможет сделать. А в Молдавском государстве сделать надо многое.

— Ваше величество! — поднялся Йордаки Русет.— Наши сердца всегда с вами!

Приблизившись к трону, ворник опустился на одно колено и коснулся губами протянутой руки господаря. Остальные последовали его примеру.

— Наши сердца всегда с вами! — говорили бояре, подходя один за другим к трону.

Вдруг через открытые окна ворвались крики, брань, стоны. Двери тронного зала открылись, вбежал Дан Декусарэ:

— Ваше величество!

— Что случилось?

— Наемники ограбили Маврокордата...

Кантемир нахмурился.

— Пусть вернут ему все, до последней нитки!

— Слушаюсь! — поклонился капитан.— Будет так, как вы приказали!

— А я бы ничего ему не вернул,— сказал Антиох Жора, когда двери закрылись и стражи снова скрестили копья.

— Он ограбил всю страну,— поддержал гетмана Ион Бухуш.

— Будь на то моя воля,— проговорил Йордаки Русет, отвернувшись к окну,— я бы не отпустил его... Собака!..

— Гнев, бояре, плохой советчик,— рассудительно заметил Иоан Некулче, оруженосец господаря.— Поступки, совершенные в гневе, не приносят доброй славы.

Господарь внимательно посмотрел на своего оруженосца.

И снова Карло Касола был вынужден вернуть плащ и кольцо, а Иоган Петер саблю и сапоги — на сей раз Николае Маврокордату и его людям. Под нажимом капитана Декусарэ возвратили награбленное и другие наемники.

Наконец кони были готовы, и стражники, сопровождающие Маврокордата, вскочили в седла. Маврокордат, однако, не спешил садиться в свою карету.

На дворцовое крыльцо вышел Кантемир с боярами, Маврокордат отделился от своей маленькой свиты. Спустился по ступенькам крыльца Кантемир. Они двинулись навстречу друг другу и на середине двора сошлись.

— Благодарю вас, ваше величество! — низко поклонился Маврокордат.

— Вам все вернули? — спросил Кантемир.

— Все. Благодарю.

— Путь до Константинополя долог. Может, вам нужно еще что-нибудь?

— Ничего, ваше величество. Благодарю.

Тем временем к ним приблизились бояре.

— Не желаете ли сказать что-нибудь боярам на прощание?

Маврокордат поднял на Йордаки Русета взгляд, полный ненависти, и тонкие губы его задрожали.

— Им — нет, ваше величество,— глухо проговорил он.— А вот вам я бы хотел сказать два слова...

— Говорите. Я слушаю.

— Судьбы людские в руках всевышнего.— Голос грека звучал уже почти спокойно.— Я не сетую, что он отвернул от меня свое лицо. Одно лишь печалит меня — что я не царствовал всего лишь на час больше. Тогда бы успел размозжить голову гадине, что пыталась заползти на господарский трон! Берегитесь. Эта змея ядовита!

Все посмотрели на Йордаки Русета.

— Да благословит вас бог! — Маврокордат повернулся и направился к карете.

Из толпы челяди, собравшейся недалеко от крыльца, вышел верзила с тупым лицом и наголо обритой, похожей на пестик головой. Размахивая длинными руками, он заспешил к боярам. У его бедра висел длинный, грубо сработанный меч — конец его царапал землю. Пробравшись между боярами, он приблизился к господарю.

— Ваше величество! — заговорил он глухим, как из бочки, голосом.— Русета ты освободил, Маврокордата отпустил. А мне никого не оставил! Не хочу я господарский хлеб даром есть, он у меня поперек горла встанет...

— Кто этот человек? — нахмурил брови Кантемир.

— Палач,— ответил Русет.

— Что ему надо?

— Он просит работы.

— Уберите его из крепости! — приказал господарь дрожащим от гнева голосом.

4

Дорога углублялась все дальше в лес, и старый цыган, сопровождавший Родику на прогулке, проговорил ворчливо:

— А не повернуть ли нам коней, боярышня?

— Волков боишься, Фалибог?

— Тех, что о двух ногах...

— Так знай, что завтра я поеду гулять без тебя,— засмеялась Родика и, хлестнув коня, помчалась вперед.

Цыган тоже стал немилосердно нахлестывать свою лошадь, но догнать госпожу так и не смог.

Выехав на лесную поляну, Родика придержала коня. Собралась было спешиться, но вдруг вздрогнула: в нескольких шагах от нее стоял на задних лапах рыжий медведь! Какое-то время он оставался неподвижным, а потом, к величайшему изумлению девушки, начал приплясывать и кататься по траве. Страх у Родики прошел. Она уже готова была прыснуть со смеху, но сдержалась. Нахмурилась и что было силы стегнула медведя плетью.

— Ой! — крикнул медведь человечьим голосом и торопливо заковылял в сторону.

Морда зверя откинулась на спину, и под ней оказалось человеческое лицо. Лицо это выражало боль. Притворную, конечно.

— Простите, капитан,— сказала Родика.— Я думала, что у вас больше ума!

— Когда я вижу вас, боярышня, я теряю даже тот, что у меня есть. А чтобы вас увидеть, готов влезть не то что в медвежью — в собачью шкуру!..

— Ваши речи сладки как мед, капитан.

— Благодарю, боярышня.

— Они даже слаще, чем...
— Чем что, боярышня?
— Чем ложь!

Капитан Декусарэ вылез из медвежьей шкуры, навьючил ее на своего гнедого, что пасся неподалеку, и, сев в седло, подъехал к Родике.

— А ведь есть на свете кое-что еще слаще!
— Что может быть слаще лжи, капитан?
— Твой поцелуй, Родика!
— Вы его никогда не получите, капитан.
— Никогда? Что ж, поживем — увидим...

Родика тронула коня и поехала прочь с поляны. Капитан последовал за ней.

Вскоре из леса донеслись звуки турецкой речи. На поляну выехали три всадника на белых скакунах. Родика осадила своего коня на середине поляны. Турки проехали мимо нее, но Декусарэ преградили путь.

Родика прикрыла лицо головным платком. Турки оглядели ее, перевели взгляд на капитана и снова посмотрели на Родику — теперь уже пристально и нагло. Один из них, низенький, коренастый, судя по форме и оружию офицер, оказался за спиной Родики. Он подмигнул, похотливо хихикнул и, обернувшись к своему спутнику слева, многозначительно кашлянул в кулак. Спутник этот был помоложе остальных, стройнее и горячее.

— Эй ты, гяур! — крикнул он, подбоченясь.— У тебя красивая сабля. Она мне нравится...
— Мне тоже! — отозвался капитан.
— Могу поклясться, ты ее украл.
— Эта сабля моего деда.
— А мне нравится твой конь,— вмешался третий всадник, худой угрюмый турок, куривший трубку, инкрустированную золотом.
— А мне — твоя трубка,— отпарировал Декусарэ.
— Обменяемся?
— Нет.
— Почему же?
— Конь — это все, что осталось мне от отца.

Турки переглянулись. Офицер громко рассмеялся.

— А красавица тебе от кого досталась, гяур?
— От бога, господа турки! Она — моя жена.
— У нас на Востоке есть обычай, гяур: если гостю что-нибудь нравится, хозяин отдает ему с радостью...
— А у нас нет такого обычая,— ответил капитан, по-

ложив руку на эфес сабли.— Да и вы, господа, не гости званые!

— Мы — хозяева! — сказал хмурый турок.— И что не отдают нам по доброй воле, берем силой!

— Не советую! — обнажил саблю капитан.

Родику охватила дрожь. В следующее мгновение маленький турок, что был у нее за спиной, схватил ее поперек туловища и, словно травинку, выдернул из седла.

Турок с трубкой во рту набросился на Декусарэ. Сабля капитана взвилась и, опустившись на ятаган турка, высекла из него искры. Турок пригнулся к гриве коня, но трубки изо рта не выпустил. Выдохнул клуб дыма и снова поднял ятаган. Но капитан снова нанес удар саблей. Чубук, дымясь, упал на землю, а мундштук остался у турка во рту. Турок выплюнул его и, подхлестываемый смехом своих товарищей, взметнул коня на дыбы.

Ожесточенная схватка длилась недолго. Турок с рассеченным плечом охнул и завалился в седле. Потом скатился с коня, вытянулся на траве и застыл.

Турки не сводили глаз с капитана. Лица их помрачнели. Офицер, который до этого, повалив Родику в седле, пытался сорвать с нее платье, теперь обнажил ятаган. Но его спутник крикнул заносчиво:

— Обойдусь без твоей помощи, Али-бей! Ты ведь без моей помощи обходишься, ну так и занимайся своим делом!

Совет пришелся Али-бею по душе. Он еще крепче прижал девушку к седельной луке, сдавил ей плечо. Родика извивалась в его руках как ящерица, но ей никак не удавалось ни соскользнуть с седла, ни хотя бы уберечь лицо и шею от жадных поцелуев. Время от времени Али-бей бросал взгляд на противников, которые сражались между копнами сена, потом снова принимался рвать платье на Родике. Отчаянное сопротивление девушки вызывало у него лишь приступы смеха.

На поляне уже стало тихо, но Али-бей продолжал смеяться: он ничего не видел и не слышал. Даже голос капитана Декусарэ услышал не сразу. А когда наконец услышал и поднял голову, вздрогнул: молодой турок, его спутник лежал на траве вниз лицом.

— Отпусти девушку! — крикнул Али-бею капитан.— И целуйся со смертью.

Али-бей схватил Родику за волосы, прижал ее голову

к груди, вынул из-за пояса пистолет и не спеша прицелился в капитана.

— Ну и вояка — за юбку прячется! — выдавил сквозь зубы капитан — и покачнулся.

Эхо прокатилось по лесу. Медленно рассеивалось облачко дыма.

Декусарэ клубком скатился с седла на траву и перевернулся на бок. Али-бей, целясь из другого пистолета, направил к нему коня. Родика пригнулась на луке седла и закрыла лицо руками.

В тишине прозвучал долгий стон. Али-бей обернулся туда, где лежал его молодой заносчивый спутник. Воспользовавшись этим, Родика мгновенно соскользнула с седла. Турок наклонился, чтобы снова схватить ее за волосы, но тут раздался оглушительный выстрел. Али-бей тоже выстрелил, однако капитан, вскочив на ноги, успел укрыться за копной. Тогда турок достал из седельной сумки еще один пистолет и снова стал целиться, и в этот миг на поляне появился Фалибог. Его нож, просвистев в воздухе, вонзился в руку Али-бея. Турок повернул коня и ускакал.

Родика прикрыла обнаженные плечи прядями длинных распущенных волос. Увидела окровавленное лицо капитана.

— Вы ранены?!

— Хорошо ли так, боярышня? — раздался укоризненный голос Фалибога.— Убежали от меня!..

Какавела, учитель, перебирая четки, пригласил гостей пройти в следующую комнату. Комната эта, хотя и была просторнее первой, казалась меньше, потому что была набита книгами, чучелами птиц, буссолями, картами, подзорными трубами.

Возле бюста, накрытого мохнатой кушмой, Кантемир остановился.

— Не нуждаетесь ли еще в чем-нибудь, учитель? Можно снова послать людей в Венецию, в Краков или в Лейпциг...

Какавела, подойдя, приподнял кушму с бюста. Показалась круглая лысина Сократа.

— Наша школа,— с горечью произнес учитель,— не нуждается ни в чем, ваше величество, кроме... кроме учеников.

Кантемир взглянул на Некулче, потом на Какавелу.

— Что — все разбежались?

— Половина осталась.

— Покажите мне их.

Какавела провел гостей в класс.

— Слава его величеству господарю! — хором воскликнули ученики, вскочив на ноги.— Многая лета!

Господарь не ответил на приветствие, не подал ученикам знак, разрешающий садиться. Некоторое время он молча смотрел на них, потом повернулся к Какавеле. Учитель поднял худую руку и ткнул пальцем в стройного кудрявого парня. Тот вышел на шаг вперед и поклонился:

— Илие Арборе.

— Тебе нравится учиться? — спросил Кантемир.

— Учение — свет наших глаз! — бойко ответил парень.

— Врешь!— взорвался учитель.— А что ты мне вчера говорил? Вчера ты говорил, что на пастбище наук только попам пастись!

Парень покраснел, опустил голову. Учитель указал на его соседа:

— А ты что мне говорил?

— Я? — притворился тот простачком.— Не помню...

— Ты не помнишь, зато я помню! — прогремел учитель.— У меня уже голова болит от таких учеников! Ты говорил, что тебе достаточно уметь записать, сколько у твоего отца коров и сколько волов!..

Кантемир сел. Некулче тоже. Какавела же вихрем пронесся через всю классную комнату, схватил за руку сонного долговязого парня и подтащил к господарю.

— А этот, ваше величество, этот говорит, что учение не только не приносит пользы уму, а, наоборот, вредит,— мол, все философы свихнувшиеся... Вот как я...

Кантемир, еле сдерживая улыбку, взглянул на Некулче. Спэтар подал ученикам знак садиться.

Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежал Декусарэ с дохлой вороной в руках.

— Давайте мы и из нее чучело сделаем,— торопливо заговорил он.— Набьем поло́вой, раскрасим поярче...

Тут он увидел господаря и осекся.

— Сабля! — вскричал Какавела.— Сколько раз говорить тебе, капитан, что здесь не казарма, а храм науки!

Капитан вышел в прихожую, оставил там саблю и вернулся, ступая теперь на цыпочках.

— А ты что думаешь о науке? — спросил его господарь.

— Как вы говорили, ваше величество,— без запинки отчеканил капитан,— потомки назовут наш век просвещенным, потому что путь, по которому пойдут народы, будет украшен школами, а не кабаками, книгами, а не суевериями. Вы говорили, что книга войдет в каждую хижину и сделает человека лучше, умнее, счастливее...

— Это говорит его величество господарь,— перебил капитана Некулче.— А что скажешь ты сам?

— Я скажу, ваше величество, что предки наши не умели читать, но были людьми более достойными, чем мы.

— Почему? — поднял брови Кантемир.

— Потому что они умели владеть оружием и всегда держали войско наготове...

— А сейчас,— резко оборвал его Кантемир,— мы не нуждаемся в войске, потому что наша страна находится под защитой султана. Садись!

Капитан тяжело переступил с ноги на ногу, глубоко вздохнул и, глядя господарю прямо в глаза, сказал:

— Тот, кто не может защитить себя сам, ваше величество, не свободен. А тому, кто не свободен, не нужны науки!

Кантемир взглянул на Некулче, на Какавелу, затем снова на Декусарэ и опустил глаза.

В комнате воцарилась гнетущая тишина. Все, видимо, понимали, что неосторожное слово может дорого обойтись капитану.

Тишину нарушил колокольный звон, и сразу монастырский двор наполнился шумом и криками.

Господарь встал. Подойдя к окну, посмотрел вниз.

Во двор, через открытые настежь ворота, хлынула в панике толпа крестьян. Их преследовал турецкий конный отряд. Люди, которых гнали, словно стадо животных, хотели добежать до келий и погребов, чтобы укрыться, но конские копыта и длинные арканы настигали их повсюду.

— В чем же они провинились, бедняги? — прошептал Некулче.

— Спустись во двор и узнай,— произнес господарь.

Некулче двинулся к двери, но она распахнулась, и в

комнату торопливо вошел настоятель монастыря Паисий. Игумен был бледен как полотно и весь дрожал.

— Беда, ваше величество! Вокруг монастыря горят села. Басурмане клянутся аллахом, что и монастырь предадут огню, если...— Монах запнулся.

— Если что? — нетерпеливо переспросил Кантемир.

— Кем-то пролита кровь турок,— уже более спокойно продолжал игумен.— Преступник укрылся в монастыре. Если мы не отдадим его в руки басурман, падут головы невинных...

— Его имя? — спросил господарь.

— Туркам имя неизвестно. Они говорят, что узнают его в лицо.

Шум во дворе утих. Кантемир снова посмотрел в окно, забранное решеткой. Сгрудившиеся посреди двора крестьяне, стоя на коленях, с мольбой и надеждой смотрели вверх. Один из турок насвистывал какую-то мелодию. Она была знакома Кантемиру, и он горько улыбнулся.

— Они требуют, чтобы мы все спустились во двор,— нарушил молчание игумен.

— Все? — переспросил Некулче.

— Все.

— И его величество господарь?

Игумен вздохнул.

Дан Декусарэ шагнул к господарю.

— Ваше величество! Всем не нужно спускаться. Хватит с них, чтобы вышел один — виновник!

Поклонившись, капитан повернулся на каблуках и направился к двери. Все обернулись к нему, провожая взглядами. Вот капитан взялся за дверную ручку. Дверь, открываясь, протяжно скрипнула.

И тут раздался голос господаря Дмитрия Кантемира:

— Капитан! Твоя сабля!..

Декусарэ замер. Потом оглянулся и посмотрел на господаря с недоверием и надеждой.

— Ты забыл свою саблю,— спокойно произнес господарь.

В темноте прихожей сверкнул металл, послышалось бряцание сабли, и выходная дверь со стуком захлопнулась.

Оцепеневшие ученики пришли в себя, загалдели:

— Ваше величество! Ему одному не справиться!..

— Идите,— сказал господарь.— Все равно учение вам не идет впрок...

Парни кинулись в прихожую, расхватали свои сабли. Учитель Какавела схватился за голову и бессильно опустился на стул.

— А я думал, что воспитал из тебя философа, Дмитрий. Большого ученого. Надеялся, что рядом с твоим именем когда-нибудь упомянут и мое... А ты стал солдатом, как твой отец, да будет земля ему пухом!..

Кантемир подошел к учителю, сел рядом и положил руку на его плечо.

— Не моя вина, учитель, что между наукой и войной приходится выбирать войну!

Некулче некоторое время смотрел в окно, потом подошел к Кантемиру. Вид у спэтара был подавленный. Он хотел было что-то сказать. Но и учитель и господарь молчали.

Парни буйной ватагой высыпали во двор. Турки сначала растерялись, но, сосчитав противников и убедившись, что их совсем немного, оживились.

Крестьяне повскакали на ноги, в страхе бросились кто куда, но, настигаемые ятаганами, падали на землю. Турки не щадили никого: ни женщин, ни детей.

Некулче снова посмотрел во двор, и его охватила дрожь. Он оторвался от окна и каким-то чужим, хриплым голосом крикнул:

— Игумен! Есть у тебя в монастыре топоры и вилы?

Паисий не успел ответить, а спэтар уже схватил его за руку и потащил к выходу. Встал и Кантемир, но Какавела преградил ему путь:

— Опомнись, Дмитрий!..

Открылись окна келий, двери погребов. Во двор полетели вилы, топоры. Крестьяне хватали их и собирались вокруг спэтара. Турки, теснимые со всех сторон, стали отступать в глубину двора, туда, где сходились углом монастырские стены.

Лязг оружия за окном становился то громче, то тише... И только когда шум схватки утих совсем и в комнате стало слышно, как жужжит под потолком муха, Кантемир встал и подошел к окну.

Прежде всего он взглянул в сторону ворот. Они уже были закрыты на засов. Потом посмотрел в сад и увидел монахов. Двое из них волочили за ноги два трупа. Двое копали в сторонке могилы. Еще несколько монахов поливали водой мощенные камнем дорожки. Школяры столпились у колодца — обмывали раны.

— Все целы? — спросил их господарь.

Школяры подняли длинноволосые головы.

— Спасибо, ваше величество,— отозвался Некулче, входя в комнату.— Не совсем...

Спэтар был весь в поту и в пыли, но лицо его снова стало спокойным и ясным, словно ничего не произошло.

Кантемир смотрел на него с удивлением.

— Ты как-то похвалился мне, что приступил к составлению молдавской летописи, от времени господаря Дыбижи-Водэ...

— Да, господарь.

— И как ты думаешь дальше писать ее — пером или саблей?

Некулче, поглаживая растрепавшуюся бороду, ответил уверенно:

— Не моя вина, господарь, что между пером и саблей приходится выбирать саблю.

5

Привратник проводил пашу в библиотеку и удалился. Бендерский сераскер взглянул на книжные полки, на мраморные бюсты и опустился в кресло. Потом взглянул на часы на стене и снова встал.

Открылась дверь, вошел слуга с кофейным прибором на подносе.

— Долго мне еще ждать? — пронзил его взглядом Измаил-паша.

Слуга поставил серебряный поднос на круглый столик и недоуменно пожал плечами. Это не понравилось паше, но слуга был слишком ничтожным, чтобы выказывать ему свой гнев.

Снова оставшись один, паша поднес к губам чашку с кофе. Напиток был чересчур горяч. Какое-то время Измаил-паша нетерпеливо прохаживался по библиотеке, затем открыл застекленную дверь и вышел на крыльцо.

У крепостной стены, на зеленой лужайке, стояли построенные в две шеренги пехотинцы, все в новой форме,

и между шеренгами щеголеватый офицер подавал команды, вертя во все стороны головой, словно петух.

— Открой полок! Сыпь порох! Закрой полок! Достань патрон! Мушкет к ноге! Скуси патрон! Достань шомпол! Заряжай! Взведи курок! Целься! Огонь!

Раздался залп. Окна дворца зазвенели и затянулись дымом.

— Господарь Дмитрий Кантемир ждет пашу Бендерского! — донесся голос привратника.

Измаил-паша прошел через темный коридор, свернул налево и очутился в приемной.

Вооруженный стражник остановил его:

— Ятаган!

Паша непонимающе взглянул на него. Стражник протянул руку, показывая на ятаган. Сераскеру пришлось подчиниться и отдать оружие.

Господарь был один в кабинете.

— Я хожу к тебе уже три недели,— начал Измаил-паша, еще не переступив порог,— но не могу тебя застать!

— Государственные дела...— Кантемир поднялся из-за письменного стола.

— Сегодня жду с самого утра,— прервал его турок.— А когда меня наконец впустили — отобрали оружие! Откуда при твоем дворе такие обычаи, Кантемир-бей? Откуда?

— Видно, ты давно не был в Стамбуле,— ответил Кантемир,— и забыл турецкую пословицу: в поле — оружие, в доме — разум.

Измаил-паше пришлось проглотить пилюлю. Он молчал, лихорадочно подыскивая достаточно колкий ответ. Не найдя такого, решил сразу взять быка за рога:

— Почему мне до сих пор не присланы головы виновных?

— Потому что на «виновных» нет никакой вины.

— С огнем играешь, Кантемир! Твои подданные убили одиннадцать правоверных. Это неслыханное преступление! Это — бунт! Виновники должны быть жестоко наказаны. Клянусь аллахом! Их следует предать позорной казни. Таково мое мнение. И мое решение!

— Решение о жизни и смерти моих подданных принимаю я,— спокойно ответил Кантемир.— Я, и только я.

Господарь сел и стал собирать бумаги, разбросанные

по столу. Измаил-паша хотел тоже сесть, но в комнате не было больше ни одного стула.

Снаружи прогремел еще один залп. Паша вздрогнул и оглянулся.

— Кантемир-бей всегда предпочитал книги. Но в последнее время, как мне кажется, предпочитает оружие,— съязвил он.

Кантемир пристально и словно бы удивленно посмотрел на пашу. Усмехнулся.

— О том, что происходит в мире, а тем более в их собственной стране, турки всегда узнают последними.

— Не понимаю,— растерянно пробормотал Измаил-паша.

— Великий везирь сосредоточивает войска под Адрианополем. Мир с Россией нарушен. Война началась...

— Хорошо, что ты укрепил подходы к реке, Измаил-паша. Хорошо, что вырыл рвы вокруг крепости. Хорошо, что отремонтировал стены. Все это хорошо, но...

Они проходили мимо крестьян, работающих на укреплениях Бендер, мимо надсмотрщиков-янычар, следивших за ходом работ. Карл XII шел, прихрамывая, впереди. За ним следовали барон Гротхусен и другие шведские генералы. Свиту замыкал сераскер. Он изо всех сил старался держаться поближе к Карлу, но безуспешно: ему мешали полы длинного халата, в которых он все время путался, и шведские генералы, суетливо поспешавшие за своим королем.

Против крепостных ворот, на возвышенности, король остановился, поднес к глазам подзорную трубу и стал осматривать противоположный берег Днестра.

Запыхавшийся сераскер подошел к нему:

— Я упустил что-нибудь, ваше величество?

— Нет,— ответил Карл, не отрывая от глаз подзорную трубу.— Ты ничего не упустил. Но все, что ты сделал,— ты сделал зря!

— Почему? — встревожился Измаил-паша.

— Да потому, что Петр не отважится осаждать Бендеры.

Сераскер облегченно вздохнул.

— Я тоже так думаю. Подобные крепости не часто встречаются.

— Нет, не стены испугают царя. И не число твоих воинов. Царь побоится меня. Моего присутствия в этих стенах.

Измаил-паша прикинул, что ему выгоднее молча проглотить обиду. Он только поежился и, подавляя раздражение, спросил:

— Но если царь не дерзнет перейти Днестр здесь, где же он его перейдет?

— Я перешел бы под Сороками,— ответил Карл.

— Почему под Сороками?

— Потому что Сорокская крепость меньше и обороняется не турками, а молдаванами.

— Молдаване тоже умеют оборонять крепости. Мы могли убедиться в этом. И к тому же они нам преданы.

— Я думаю, что на этот раз они не будут вам преданы. А если будут, значит, они глупцы! История предоставляет им великолепную возможность избавиться от вашей тирании.

Измаил-паша стал чернее земли, но и на этот раз вынужден был смириться с наглостью высокого гостя.

Карл засунул подзорную трубу в карман поношенного камзола и направился к крепостным воротам. Паша преградил ему дорогу.

— Еще один вопрос, ваше величество...

— Слушаю.

— Мы, турки, не очень-то хорошо знаем русских, не то что вы, шведы. Что это за люди и каковы они в битве?

— Дикари,— пренебрежительно бросил король.— Варвары, только-только вышедшие из лесов. Военной наукой они не владеют...

— Но если они дикари и ничего не смыслят в военном деле,— перебил его Измаил-паша,— то как удалось им разбить вас под Полтавой? Вас, самого выдающегося военачальника среди гяуров?

Карл XII изменился в лице, пробормотал что-то невразумительное, потом крикнул:

— Числом они разбили меня, а не умением! Только числом! — И, взбешенный, весь дрожа от ярости, заковылял к воротам. Генералы поспешили за ним.

Измаил-паша удовлетворенно поглаживал бороду. К нему подошел командир янычар.

— И надо тебе было наступить ему на любимую мозоль! Или не знаешь, каким влиянием пользуется этот беглец из-под Полтавы у нашего высочайшего султана?

— Знаю.

— Знаешь, так терпи. А то накличешь беду. Еще месяц-другой, и он уберется восвояси.

— Ради того, чтобы он убрался из моей крепости,— вздохнул сераскер,— я готов даже врагу открыть ворота! — Он замолчал. Вдруг лицо его прояснилось.— А все же король гяуров дал мне хороший совет! — воскликнул он.

— Какой?

— Прогуляться. Седлайте коней! Мы едем в Сороки.

Первыми заметили турок каменщики на строительных лесах. Они приостановили работу и крикнули солдатам, что отряд приближается. Солдаты, работавшие на укреплениях рядом с мастерами, побросали инструмент и кинулись за оружием.

Взревели и смолкли трубы.

Ворота в Сорокскую крепость были открыты. Дорога, ведущая к ним,— свободна.

Турки ехали с музыкой. Впереди конного отряда скакал галопом сам сераскер Бендерский. Но возле крепости отряду преградили путь телеги с камнем и крестьяне, разгружавшие эти телеги. Ряды турок расстроились, сотники отстали от сераскера. Измаил-паша проскакал в ворота Сорокской крепости, и они тут же с грохотом опустились за его спиной, отделив от отряда. Двое солдат взяли лошадь сераскера под уздцы и повели во двор, заполненный солдатами. На стенах теснились крестьяне из окрестных сел.

Господарский спэтар Иоан Некулче в окружении своих офицеров ждал сераскера на середине двора. Очутившись перед спэтаром, Измаил-паша не пожелал сойти с коня. Не пожелал он и приветствовать Некулче. Вместо этого приказал кратко:

— Открыть ворота!

Некулче не сдвинулся с места, не произнес ни слова.

— Немедленно открыть ворота! — Голос сераскера сорвался на крик.— И впустить в крепость мой отряд!

— Я не получал такого приказания от господаря моего Дмитрия Кантемира,— спокойно возразил Некулче.

— Так получил его от меня! Или вы, молдаване, со-

бираетесь сами защищать Сороки от войск русского царя?

— Будет видно...

Сераскер посмотрел на Некулче уничтожающе.

— Это будет видно скорее, чем ты думаешь! — процедил он сквозь зубы и пришпорил коня.

Однако солдаты повисли на поводьях, остановили коня и отвели его на прежнее место.

— В крепость ты въехал верхом,— сказал Некулче паше Бендерскому,— а из крепости выйдешь пешком. Выйдешь и пойдешь туда, откуда пришел. Когда будешь на вершине холма, отпустим твоего коня к тебе. А теперь слезай!

Измаил-паша посмотрел на солдат и увидел в их прищуренных глазах ненависть. Посмотрел на крестьян и увидел в их натруженных руках оружие. Снова посмотрел на Некулче и увидел в его решительном взоре бесстрашие. Тогда он слез с коня и заторопился к воротам.

Ворота поднимались медленно, со скрипом. Поднялись на высоту пояса сераскера и остановились. Измаил-паша обернулся к солдатам, молча сопровождавшим его.

— Что? Выползать на четвереньках? Мне?!

Солдаты молчали. Паша Бендерский опустился на четвереньки и прополз под воротами.

Ворота закрылись.

С вершины холма, где расположил свой отряд Измаил-паша, Сорокская крепость была видна как на ладони.

Вокруг крепости, казалось, все вымерло. На башнях и стенах — тоже.

Но это только казалось. Жерла турецких пушек грозно смотрели в небо.

Между пушками и крепостью мирно пасся конь сераскера.

Измаил-паша поднял ятаган:

— Огонь!

Грянули пушки. Строительные леса, покрывавшие крепостные стены, загорелись.

— Огонь!

И крепость исчезла в дыму.

Огонь и дым. Дым и огонь. Потом — тишина...

— Алла!

Неудержимым потоком хлынули к крепостным сте-

нам янычары. Засверкали ятаганы. Вот они почти у самых стен...

— Алла!

И снова загрохотали пушки. Но теперь уже впереди. Турецкие пушки молчали. Ожили крепостные стены. Затрещали мушкеты. Раздался молдавский боевой клич. Несколько янычар из окружения сераскера упали.

Измаил-паша застыл на месте.

— Как?! — ошеломленно пробормотал он.— Как они посмели...

— Итак, вы говорите, бояре, что я должен сдать туркам Сорокскую крепость? Почему? Потому что они этого требуют. А если завтра они потребуют от нас Хотинскую крепость? Послезавтра — крепость Нямц? А потом — и наши души? Неужели мы должны отдать туркам все, что они от нас требуют? Народ молдавский говорит — нет! И защищает Сороки голыми руками. И я говорю — нет! И буду защищать Сороки оружием...

— Но ведь это означает войну, ваше величество,— осмелился вставить слово Николае Костин.

— Да! — решительно подтвердил господарь.— Это означает войну.

— С турками,— уточнил Антиох Жора.— Не с русскими.

В диване воцарилась тишина. Бояре не сводили глаз с господаря. Взгляд Кантемира стал еще острее, пронзительней, но голос прозвучал мягко, почти кротко, когда он спросил:

— А разве я вам когда-нибудь говорил, бояре, что собираюсь воевать с русскими?

Бояре заерзали в своих креслах. Кто-то прошептал:

— Надо бы все хорошо взвесить...

Это вывело господаря из равновесия.

— Взвесить?! — срывая голос, закричал Кантемир, никогда ни на кого не кричавший.— Я уже все взвесил! Двадцать два года в Константинополе я думал об этом. С тех пор как у меня пробудился разум, ни о чем другом не думал я с такой любовью, так горячо, так мучительно! Я лицемерил, я прошел через море унижений, чтобы занять престол этой несчастной страны и отсюда, с этого престола, воззвать к вам и к народу: вставайте! Берите оружие!

Так громко, так мощно звучал голос господаря, что весь дворец пришел в движение. Челядь столпилась перед дверьми и окнами тронного зала, на крыльце, на лестнице, во дворе.

— Что? Что он сказал?

— Тише...

— А может, все-таки не стоит спешить? — снова подал голос Антиох Жора, когда господарь замолчал.— Может, сначала посмотреть, кто кого побьет — русские турок или турки...

— Позор! — гневно прервал его Кантемир.— Внуки и правнуки не простят нам такого позора во веки веков! И не простят нам нашего вероломства!

— Какого? О каком вероломстве может идти речь? — удивился гетман.— Ведь мы не звали русского царя и ничем ему не обязаны!

Кантемир обвел бояр долгим, пристальным взглядом. Потом спокойно произнес:

— Звали. И обязаны...

Бояре недоуменно переглянулись. Лица их выражали недовольство. Один за другим повставали со своих мест.

Послышались возгласы:

— Когда ж это его позвали?

— И кто?

— По чьей воле?

Господарь медленно поднялся с трона. Взял в руки государственные регалии — меч и булаву.

— Я позвал царя,— раздельно сказал он.— Такова воля государства.

— Государство — это мы! — выкрикнул Антиох Жора.

— Нет! — властно отрезал Кантемир.— Государство — это те, кто обладает мужеством его защищать! — И, обернувшись к главному казначею Луке, приказал: — Немедленно огласить всему народу договор, который я подписал с царем Петром Алексеевичем в Луцке!

Протяжно и звонко зазвучали трубы. Медный праздничный гул церковных колоколов поплыл над столицей.

Бурлящие людские толпы вливались в широко распахнутые ворота дворца. Навстречу народу вышли бояре — смущенные, растерянные. На крыльце Антиох Жора

протиснулся к Йордаки Русету, тронул его за плечо, заглянул в глаза. Прошептал на ухо:

— Что же ты молчишь, князь? Разве не видишь — Молдавия катится в пропасть!

По лицу ворника пробежала усмешка.

— Молдавия — не мы с тобой! Молдавия — это те, кому господарь возвращает захваченные тобой земли!

— Но я — гетман Молдавии!

— Пока еще,— поправил его Йордаки Русет.

Вперед вышел главный казначей Лука. Толпа притихла...

— ...с этих пор,— торжественно читал Лука,— государство Молдавское снова обретает свои прежние границы. Захваченные турками молдавские крепости должны быть возвращены. На два месяца крепости займут русские гарнизоны. Через два месяца их сменят молдавские гарнизоны. Молдавские войска будут участвовать в войне на стороне русских. Молдавия не заключит с турками мир без согласия царя. Россия не заключит с турками мир без согласия господаря. Молдавия не будет выплачивать России никакой дани. Молдавский престол будет принадлежать господарю пожизненно, а после его смерти перейдет к его сыновьям...

Лука замолчал, и воздух сотряс мощный крик:

— Да здравствует господарь Дмитрий Кантемир!

Господарь поклонился народу. Поднял руку, успокаивая людей.

— Герой Полтавы,— начал он, когда стало тихо,— который превратил отсталую страну в мощное цивилизованное государство, повергшее в изумление Европу и ставшее грозой для Порты Оттоманской, протягивает нам сегодня руку. Нам и другим народам, томящимся под турецким игом. Балканы ждут его как своего освободителя. Мы поднимемся первыми. Мы подадим пример. И наш пример воодушевит на борьбу и валахов, и болгар, и сербов, и греков. Мы поступим так, ибо нет у нас иного пути к спасению. Наш спаситель — Россия! Еще мудрый Досотей говорил: свет приходит с Востока. А я говорю вам и через вас всей стране: поднимайтесь! К оружию! Вставайте с открытой душой и со всей отвагой!

— Да здравствует господарь Дмитрий Кантемир! — снова загремела толпа.— Да здравствует Петр — царь России! Да здравствует наше братство по оружию!..

Обеденный стол был давно накрыт. Но никто не прикасался к приборам. Дети, правда, тайком отщипывали кусочки то от одного блюда, то от другого, посматривая при этом на мать,— не замечает ли? Но мысли Касандры витали далеко.

За дверью послышались знакомые шаги.

— Папа пришел! — встрепенулись дети, вскакивая.

Кантемир вошел и весело оглядел семью.

— Скорее, папа! Мы умираем с голоду! — озорно воскликнула Мария.

Кантемир поцеловал дочь в лоб и сел за стол.

— Сколько раз я просил тебя, Касандра,— обратился он к жене,— не ждать меня к столу!

Касандра не ответила. Она была бледна, казалась подавленной.

— Ты похудела,— озабоченно сказал Кантемир.— Выглядишь, как...— Вдруг он увидел свободный прибор и лишний стул.— Мы ждем кого-нибудь к обеду?

Касандра обернулась и укоризненно посмотрела на мужа. В ней словно надломилось что-то. На глаза навернулись слезы.

— Касандра!..— Кантемир потянулся рукой к ее плечу, но она поднялась из-за стола и поспешно вышла в соседнюю комнату.

— А ты только сегодня заметил, папа? — удивилась Мария.— Это же прибор нашего старшего брата.

Касандра никому не хотела показывать своих слез. Даже мужу. Особенно мужу! И когда Кантемир вошел в комнату, она повернулась к нему спиной. Кантемир не решился приблизиться к ней и остановился посреди библиотеки, опустив голову.

— Рассудок! — с горечью проговорила Касандра.— Только рассудок! Ты весь, с ног до головы, сплошной рассудок. Трезвый и холодный ум. Беспощадный ум... Ты далеко видишь в прошлом. Далеко заглядываешь в будущее. Только возле себя ничего не видишь — ничего и никого. Не видишь, кто с тобой рядом. Не видишь, кто отсутствует. О, рабство! Оно было сладко! В Константинополе мои дети были в безопасности.

Глаза Касандры вспыхнули ненавистью — безграничной и бессильной.

— Как ты мог,— продолжала она.— Как ты мог забыть, что наш старший сын — заложник? Что его убьют!

— Прости меня...— с болью в голосе сказал Кантемир.— Прости, если сможешь!..

Дан Декусарэ пулей вылетел из распахнувшейся двери, ударился о столб крыльца и упал. Двое слуг подхватили его и сбросили с лестницы.

— На боярскую дочь глаза разгорелись, мужик? — кричал с крыльца Йордаки Русет.— Тоже мне жених нашелся!..

Капитан поднялся с земли, подобрал шапку, пистолет.

— Не отдашь дочь по-доброму — выкраду! — пригрозил он боярину.

— Спустить собак! — приказал разгневанный Русет.— Чтоб на куски разорвали!

В окне показалось лицо Родики.

— А девушек похищают только с их согласия! — раздался ее смеющийся голос.

— Ничего, обойдемся и без согласия!

Капитан уже отбивался от псов, налетевших на него со всех сторон. Наконец ему удалось добраться до ограды. Одним махом перескочил через нее. Йордаки Русет облегченно вздохнул. Но тут открылась калитка, и капитан появился снова:

— Ну, боярин, придет время — сам будешь меня упрашивать, чтоб женился на твоей дочке. А я, может, и не захочу! Запомни это!

Псы тотчас ринулись к калитке. Она с треском захлопнулась перед ними.

Декусарэ, поглаживая шишку на лбу, подошел к солдатам, поившим коней у колодца.

— Когда будем свадьбу играть? — поинтересовался Илие Арборе.

— Молода еще дочка, говорит,— угрюмо отозвался капитан.— Пусть, говорит, подрастет...

Солдаты переглянулись украдкой, усмехнулись в усы.

— По коням! — скомандовал капитан, вскакивая в седло.

Родика смотрела на них из окна. Вот топот копыт замер вдали. Лицо девушки потускнело.

6

Сорокская крепость отбивала ожесточенные атаки турок. Турки наседали и с суши и с воды. Днестровские воды помутнели, заволновались.

Петр поднес к глазам подзорную трубу. Генералы, склонившиеся над картами, распрямились и обернулись к царю.

— Итак, господа, вы полагаете, что мы останемся здесь, на этом берегу? — спросил царь.

— Так будет удобнее,— ответил генерал Галарт.— Переход из Польши был утомительным. Войска нуждаются в отдыхе. И артиллерия еще не прибыла.

— А ты как считаешь? — обратился Петр к генералу Кропотову.

— У нас нет провианта,— сказал тот.— В Молдавии мы ничего не найдем. Там засуха. Поля опустошены саранчой. В стадах падеж. Подождем, пока везирь перейдет на этот берег.

К полковнику Тигечиу подошел адъютант.

— Задержали лазутчика, ваше величество.

— Что от него узнали?

— Ничего. Он...— Адъютант понизил голос: — Он говорит, что не лазутчик. Что его вроде бы сам государь знает...

— Вот как? — удивился Петр.— А ну, ведите его сюда!

Из-за шатров, разбитых среди деревьев, появился турок в сопровождении двух солдат. Руки у турка были связаны за спиной. Он отыскал взглядом царя, вытянулся в струнку и отчеканил по-русски:

— Здравия желаю, господин бомбардир!

Петр вопросительно взглянул на генералов. Те пожали плечами.

— Не узнаете? — спросил турок.— Под Полтавой... Помните, молдавский полк...

Петр обернулся к полковнику Тигечиу. Полковник кивнул, скрывая улыбку.

— Вы тогда еще нас всех отметили,— продолжал турок.— А мне даже подмигнули. Вот так...— показал он.

Петр рассмеялся:

— Теперь припоминаю! Ты был храбрым солдатом.

— Капитан Декусарэ! — представился турок.— При-

был по приказанию его величества Дмитрия Кантемира, господаря Молдавии!

— Развяжите его! — распорядился царь.— Я слушаю тебя. Говори, капитан.

— Господарь Дмитрий Кантемир желает вам здравствовать,— четко заговорил капитан,— он приказал мне передать вам, что вся Молдавия взялась за оружие. За десять дней под наши знамена собрались семнадцать полков!

— Вот видите! — торжествующе повернулся царь к генералам.

— Но везирь переправляется через Дунай,— докладывал Декусарэ.— Через день-другой он подойдет к нашей столице. Господарь Дмитрий просит вас незамедлительно перейти Днестр со всеми войсками... И если бы вы только знали, как я хотел вас видеть! — после паузы добавил капитан и умолк, справляясь с волнением.

Помолчал и царь. Потом с упреком сказал генералам:

— Если мы сейчас же не перейдем Днестр, мы обманем их надежду. Надежду, которую сами же посеяли в их сердцах. Надежду на скорое освобождение. А это было бы куда хуже, чем поражение!

Тем временем Декусарэ снял турецкую одежду и бросил ее на траву.

— Как же ты вернешься в крепость без этого одеяния? — спросил царь.

— Я пришел не из крепости,— ответил Декусарэ.— А войду туда без халата и без тюрбана...

— Но как ты войдешь?

— Под водой.

— Не понимаю...

— Там есть подземный ход. Он начинается в крепости, а кончается здесь, на этом берегу...

— Великолепно! — обрадовался царь.

— И мне приказано показать вам этот ход...— добавил Декусарэ.

Турки отступили на холм. Защитники Сорок спешили убрать со стен каменные обломки, укрепляли бревнами крепостные ворота, подносили к амбразурам камни и кипящую смолу. У них не осталось уже ни ядер, ни пороха. Только убитых было много в крепости. Куда больше, чем живых.

Измаил-паша подошел к крепости. Навстречу ему вышел Иоан Некулче.

— У вас нет воды,— сказал сераскер, когда они встретились у крепостных ворот.— Нет провианта...

Некулче молчал.

— Нет пороха, нет ядер, нет людей,— продолжал сераскер.— У вас ничего нет. Есть только надежда...— Измаил-паша указал взглядом на противоположный берег.

— Надежда — большая сила,— заметил Некулче.

— Но эта надежда напрасна,— отозвался сераскер.— Русские не осмелятся перейти Днестр. А если осмелятся — их ждут мои пушки. Я уже получил подкрепление и получу еще. К вечеру здесь будет Крымский хан со всеми своими войсками. А завтра-послезавтра — везирь. Открой крепостные ворота. Твоя жизнь будет сохранена. И жизнь твоих людей тоже...

Некулче долго молчал. Потом переспросил:

— Говоришь: русские не перейдут Днестр?

— Клянусь аллахом!

— Зачем же тогда тебе нужна крепость?

— Твое упорство граничит с безумием,— разозлился Измаил-паша.— И оно тебе дорого обойдется. Жду один час. Если через час я не увижу над крепостью белый флаг — сровняю Сороки с землей!

Белый флаг не был поднят над крепостью. И через час паша Бендерский снова послал янычар на штурм. Но крепость молчала — не слышно было ни выстрелов, ни боевых кличей.

В тишине поднялись крепостные ворота. Изумленные турки остановились. Вдруг раздался барабанный бой и из ворот выбежали солдаты со штыками наперевес. Раскатилось грозное «ура».

Русская пехота ринулась на янычар.

Высохшая от зноя земля была тверда как камень. Глухо скрежетали лопаты. Пот лил с солдат ручьями.

— И зачем надо здесь копать? — ворчали солдаты.

— Фортификацию возводим!

— Ха! Опять наш царь мудрует...

— Молчать!

Одни копали канаву, другие выкашивали траву на обнесенном канавой участке. Потом пришли еще солда-

ты. Они покрыли окопанный и выкошенный участок полотном, которого хватило бы на несколько палаток. Остальные с недоумением следили за ними. Что здесь затевается?

Но вот грянул ружейный залп... Еще один, еще... Прибыл драгунский полк. Затем — гусарский. Драгуны подбрасывали вверх шляпы. Гремело мощное «ура».

По проходу, образованному драгунами, шли Петр и Кантемир. Сзади следовали их свиты.

Когда дошли до конца прохода, стоявшие там верховые гусары повернули коней — одни направо, другие налево,— и взорам гостей открылся стол. Он был весьма необычен: столешницей для него служила земля, а сиденьями — край канавы. Посреди стола развевались флаги — русский и молдавский.

— Мебель я забыл дома,— пошутил царь.

— Это царский стол...— проговорил Кантемир.

— Солдатский! — Петр рассмеялся.— Ну ничего, в Петербурге я встречу вас с таким же великолепием и блеском, как вы встречали меня в Яссах...

Подошли к канаве.

— Рассаживайтесь, дорогие гости! — пригласил царь молдавских бояр.

Бояре посмотрели на канаву, друг на друга и не сдвинулись с места. Петр весело подмигнул своим генералам и сенаторам и первым спрыгнул в канаву. Те последовали его примеру. Сел за импровизированный стол и Кантемир. Только тогда спустились в канаву и молдавские бояре, подбирая полы длинных кафтанов.

Из шатра показалась царица.

Петр повернулся к Кантемиру.

— Скажите, государь, что это у вас за восточные обычаи?

— Какие?

— Прятать женщин.

— Разве?

— А где же ваша супруга? Мне хотелось бы ее видеть.

— Она с утра плохо себя чувствовала. Но она придет.— И Кантемир обратился к Некулче: — Сейчас же пошли кого-нибудь за ее величеством.

Вино разлито по бокалам... Петр встал.

— Ваше величество,— начал он,— уважаемые гости! В мире есть большие народы и есть народы малые. Бы-

вает, что большие народы мельчают, а малые крепнут. И не большие народы побеждают малых и не малые больших. Верх всегда одерживают народы храбрые, трудолюбивые. С вашего позволения, господа, я поднимаю этот бокал за ваш народ, который никогда не мирился с турецким игом, как и мой народ не мирился в свое время с игом татарским и в конце концов сбросил его. Ваши враги — наши враги. Наше оружие будет теперь и вашим. Так поднимем же бокалы во славу нашего братства.

Грянули пушки. Все сидящие за столом в один голос крикнули «ура!», и вино снова полилось в бокалы.

Веселье было в самом разгаре, когда возле императорского стола остановилась карета. Паж, соскочив с запяток, распахнул дверцу. Из кареты вышла Касандра, и все взоры устремились к ней. Шум за столом утих.

Господарша приехала на праздник в черном платье, которое делало ее еще более стройной. В тишине, воцарившейся вокруг, облик ее казался печальным и строгим.

Кантемир помрачнел. Петр встал из-за стола, подошел к Касандре и поклонился.

— По ком ваш траур, госпожа? — спросил он.

— По сыну,— резко ответила Касандра.

Возле царского шатра лежал, завалившись на бок, серб. Молодая крестьянка омывала рану на его груди. Ее подруга держала наготове чистое полотенце — перевязать рану. В изголовье раненого сидел мужчина постарше, вооруженный пистолетом и палашом. Он, как и его товарищ, тоже был весь изранен. Судя по одежде и чертам лица, он не был сербом.

В сопровождении Кантемира и Шереметева к шатру подошел Петр. Серб попытался приподняться, но тут же снова опустился на землю, глухо застонал и закрыл глаза.

Царь склонился над ним:

— Говори! Если можешь...

Воин с усилием открыл глаза.

— Сербы восстали... И македонцы... Но...— он проговорил еще что-то неразборчиво и уронил голову на грудь.

Девушка, перевязывавшая его, вскрикнула коротко,

подняла глаза на царя и перекрестилась. Царь посмотрел на другого раненого. Тот прикрыл умершего товарища буркой. Потом заговорил:

— Восстание сербов и македонцев подавлено турками. Я пришел от валахов. От Томы Кантакузино.

— Валахи тоже поднялись?

— Нет, ваше величество. Константин Брынковяну и не собирается выполнять обещание. Он слишком богат, чтобы рисковать!..

Царь вошел в шатер, сел. За ним последовали Кантемир и Шереметев.

— И поляки тоже не прислали обещанного подкрепления,— сказал царь после недолгого молчания.— На сколько дней хватит нам провианта?

— Дней на пять-шесть,— ответил фельдмаршал.

— Да...— произнес царь озабоченно.— Худо дело...

— В Буджаке много зерна и скота,— сказал Кантемир.— И это недалеко отсюда.

— Немедля напиши хану Буджакскому,— приказал царь фельдмаршалу,— пусть пришлет провиант. Да и сам пусть идет сюда со своим отрядом. Иначе ему несдобровать! Так и напиши...

Шереметев вышел. Вскоре вернулся, ведя мальчишку лет двенадцати. Петр и Кантемир молча курили.

— Вот и писарь татарский нашелся! — усмехнулся Шереметев.

— Пишешь без ошибок? — спросил Кантемир.

Татарчонок не ответил — уколол его взглядом и присел к столу. Потом достал из кармана халата чернильницу, из-за уха — перо и посмотрел на всех без тени смущения. Мужчины переглянулись. Кантемир кашлянул:

— Ну что ж, посмотрим! Напиши что-нибудь.

Мальчишка обмакнул перо в чернильницу.

— А ты татарский знаешь? — спросил он Кантемира.

— Знаю.

— Что написать?

— Да что хочешь!

Татарчонок склонился над бумагой и написал что-то крупным и красивым почерком. Кантемир взял у него лист, поднес к глазам, прочел — и изменился в лице. «Будь проклят тот,— было написано на листе,— кто держит в руке кусок хлеба и тянется за другим, побольше».

— Ну, как он пишет? — спросил царь.

— Хорошо,— попытался улыбнуться Кантемир. По-



том поднялся.— Что-то здесь слишком жарко.— И вышел из шатра.

Бояре все еще сидели за столом. Теперь, когда оба государя покинули их, они состязались в питье, а особенно — в громкой речи. Каждый старался, чтобы его услышали, и никто не желал слушать. Галдеж стоял как на ярмарке.

— Нам очень нравится этот договор! — кричали одни.

— Да, нам он по душе! — поддерживали другие.— Теперь нам не надо дань царю выплачивать!

— И господарь будет править пожизненно,— добавил князь Головкин.— Как это у вас было до турок. Престол переходит от отца к сыну...

— А если сын слабоумный? — спросил Йордаки Русет.— Или тиран?

— Государство не потерпит такого,— вмешался в разговор Шафиров.— Тогда вы изберете господаря из другого рода.

— Таким правом мы и сейчас пользуемся,— возразил ворник.

— Сейчас выбирают турки, а страна ваша — расплачивается,— заметил Головкин.

Все замолчали. Кто-то опрокинул стакан, кто-то кашлянул. Тишина становилась все более гнетущей.

— Господа бояре! — поднялся Некулче. Спэтар казался слегка захмелевшим, но глаза его были трезвы, речь тоже.— Почтеннейший Русет! Хочу напомнить тебе поговорку, которую ты, впрочем, прекрасно знаешь: господари меняются — дураки радуются. Нужно быть безумцем, чтобы не понимать, какие выгоды принесет государству установление единой династии. Безумцем или человеком, который сам рвется к власти. Не думаю, чтобы таковой был среди нас, за этим столом. А посему говорю: да здравствует Дмитрий Кантемир, пожизненный господарь на молдавском престоле!

Все подняли бокалы. Встал Йордаки Русет.

— Да здравствует! — закричал он изо всех сил.— Да здравствует Дмитрий Кантемир! — И добавил тихо, словно про себя: — И его наследник... в Стамбуле!..

В лагере царило веселье. Русские смешались с молдаванами. Смешались языки, песни, игры. Повсюду стояли телеги с едой и вином — крестьяне, не скупясь, везли в лагерь кто что имел.

Один крестьянин пришел со всей своей семьей.

— Веди меня к полковнику! — требовал он у капитана Декусарэ.

— Полковник скажет тебе то же, что сказал я: за телку и за козу — спасибо. А все остальное...

Но крестьянин оказался настырным. Он прямо-таки вцепился в капитана:

— Дочка будет за ранеными ухаживать, мальчишки — воду носить...

— А ты будешь на турок страх нагонять?
— А почему бы и нет?
— Этим своим жалким луком?
Крестьянин посмотрел на Декусарэ, как на смертельного врага. Взялся за колчан на поясе:
— Вот воткну тебе сейчас стрелу... знаешь куда? — Потом снова потребовал: — Веди к полковнику!
Неподалеку боярин тряс за плечо крепкого угрюмого парня:
— Как ты смел, мерзавец, уйти из имения? Сейчас ведь самая пора косить!
Парень, в солдатской треуголке, державший в руке штык, сделанный из косы, отвечал неторопливо и рассудительно:
— Чтобы скосить твои луга, боярин, надо сначала защитить их от турок...— И подошел к русскому солдату.
— Чего хочет от тебя этот старый хрыч? — спросил солдат.
— А хрен его знает! — ответил парень по-русски.

— Ваше величество! Без вашего разрешения я не могу принять под знамена вот этих...
Полковник Тигечиу вел Кантемира между телегами. Возле крытой рогожей арбы остановился. Рослый бородач, стоявший облокотившись на дышло арбы, поклонился господарю.
— А ну давай их сюда, на свет божий! — приказал полковник.
Кантемир пристально вгляделся в лицо бородача и узнал его. Это был надсмотрщик над каторжанами — теми, что так неприветливо встретили господаря на берегу Дуная.
— Вылезайте! — крикнул надсмотрщик.
Один за другим спускались из арбы на землю заросшие бородами кандальники. Кантемир нахмурил брови и спросил с напускной суровостью:
— С какой каторги бежали?
Мужики упали на колени.
— Мы не с каторги,— ответил вместо них надсмотрщик.— Мы бежали с Дуная, с парома, что под Галацем. Вы уж не гневайтесь, ваше величество, что нагрубили они вам тогда... Не знали они, что у вас на уме. А теперь...

— Турки перешли Дунай?
— Следом за нами идут.
— Назначьте им жалованье, полковник,— приказал Кантемир и повернулся уже, чтобы идти, но один из мужиков остановил его:
— Ваше величество...
— Что тебе? — нетерпеливо спросил Кантемир.
— Дозволь нам,— попросил беглый,— в эти тяжкие дни послужить родине без всякого жалованья!..
— Спасибо! — взволнованно сказал Кантемир, и озабоченное лицо его прояснилось.

К капитану Декусарэ подошли несколько лучников. Одни из них в кольчугах, у других шлемы на голове. Все они были уже не молоды, лет по пятьдесят-шестьдесят.
Капитан насмешливо присвистнул:
— Ваше место, старики, на печке, а не на ратном поле! — Повернулся к ним спиной.
— Ах ты щенок! — разгорячились лучники.— Напялил немецкий кафтан и уже думает, что он — генерал!
— Еще посмотрим на него в бою! — сказал крестьянин, что привел в лагерь всю свою семью, и выпятил грудь колесом: — А вы что толпитесь, будто бараны? А ну-ка, становись по одному!..
Лучники вытаращили на него глаза.
— Да ты в своем уме? Чего кричишь на нас?
— Кричу, потому что я ваш командир! Или, может, не нравлюсь?.. А зовут меня Тодикэ. Вот так!..
Те, кому посчастливилось получить оружие, изучали приемы штыкового боя. Другие приставали к русским офицерам:
— Дайте и нам ружья...
Один из крестьян вложил русскому солдату в руку деньги:
— Продай мне хоть шпагу, друг!
— Да я тебе задаром бы все отдал,— засмеялся солдат,— даже рубаху последнюю. Но шпагу... Бригадир меня за нее повесит!
Проходивший мимо Петр, услышав эти слова, одобрительно улыбнулся.

Капитан Декусарэ вместе с Илие Арборе обходил строй обнаженных по пояс деревенских парней.

— Мне не нужны простофили, растяпы и мокрые курицы! — приговаривал он, отбирая самых крепких и ловких на вид.

За ним по пятам, не отставая ни на шаг, следовала Родика.

— Одно только слово, капитан!

— Бабам здесь нечего делать, боярышня.

— Одно слово — и я уйду!

Отобранные капитаном парни отходили налево, одевались.

— А мы? — забеспокоились остальные.

— За вами придет пехотный капитан,— бросил в ответ Декусарэ.

Отобранные парни были один к одному — и по стати, и по силе. Илие Арборе выстроил их в колонну.

— Вооружи и обеспечь конями,— приказал капитан.

— Коней больше нет.

— Найди.

7

Родика прошла в дубовую рощицу, что была неподалеку. Обернулась, посмотрела на оставшегося позади капитана и разразилась слезами.

Илие Арборе проводил ее взглядом.

— Поимей ты жалость, капитан! — сказал он Декусарэ.— Не видишь разве, как она мучается?

— Мучается? — усмехнулся капитан.— Вот и хорошо. И я когда-то мучался. Оставь меня в покое и занимайся своим делом!

Илие Арборе сделал поворот налево кругом, подошел к колонне парней и увел их. А Декусарэ тут же направился в рощицу, к Родике.

Плечи девушки вздрагивали от рыданий. Капитан отломил ветку от дерева и кашлянул:

— Ну что? Не говорил я тебе, что никуда от меня не денешься?

Девушка зарыдала еще горше.

— Ладно, перестань! — уже мягче сказал капитан. Наклонившись, он обнял Родику за талию.— Один поцелуй — и все пройдет!..

Родика отпрянула от него.

— Не до поцелуев мне теперь!

Капитан хотел было рассердиться но, заглянув пристальнее в глаза девушки, раздумал. Понял: дело серьезное.

— Что с тобой?

Родика спрятала лицо в ладони.

— О-о-о!..

— Что случилось? Отец тебя из дома выгнал?

— Мне стыдно... Стыдно вам говорить! — простонала Родика.— Мне стыдно смотреть людям в глаза!..

— Да что случилось-то? Скажешь ты или нет?

— Такой позор!.. Лучше умереть...

Капитан опустился на колени, погладил ее по голове.

— Ну, прошу тебя...

— Бояре... Изменники... Бежали к туркам...

— Кто?

— Мой отец среди них...

Зной не спал и с наступлением ночи. В шатре везиря было душно. Двое арапчат обмахивали Балтажи-пашу опахалами.

Йордаки Русет и Антиох Жора опустились перед везирем на колени и поцеловали полу его халата.

— Говорите! — приказал Балтажи-паша.

— Поняв, сколь вероломно поведение господаря...— начал ворник.

— Короче! — прервал его везирь.— Ибо ночи летом коротки, а дни — длинны. Завтрашний день будет длиннее всех. И тяжелее. Нужно оставить время для отдыха. Сколько вас?

— Почти половина всех бояр дивана. И около трехсот наемников.

— Хорошо! — удовлетворенно произнес везирь.— А гяуров?

— Русских? — переспросил Антиох Жора.

— Около пятидесяти тысяч,— ответил Йордаки Русет.

— Я насчитал почти сотню повозок с ранеными,— добавил Антиох Жора.

— Русские войска голодают,— сказал ворник.— К тому же утомлены переходом.

— Сколько у царя пушек?

— Пятьдесят три.

— А какие силы у Кантемира?

— В лагере шесть тысяч. Остальные разосланы по селам за провиантом.

Везирь некоторое время молчал, разглаживая седую бороду. Его острые глазки довольно поблескивали.

— И кого хотите вы вместо Кантемир-бея? — спросил он немного спустя.

Йордаки Русет опустил глаза. Антиох Жора взглянул на везиря:

— Молдавия низко склоняется перед высочайшим султаном и покорнейше просит...

— Имя?

— Великий ворник Йордаки Русет.

Русет еще ниже склонил голову.

— Достойный человек! —сказал везирь то ли с похвалой, то ли с иронией.

Он хлопнул в ладоши, и в шатер вошел чауш. Балтажи-паша шепнул ему что-то на ухо. Чауш поклонился и вышел.

— А что за человек царь? — спросил везирь бояр.

— Врага легче ругать, чем хвалить,— сказал Русет.— К великому нашему огорчению...— Он нерешительно посмотрел в глаза везиря.

— Говори,— подбодрил его Балтажи-паша.

— Нужно признать,— продолжал ворник,— что он поистине велик.

— А ты — правдив,— сказал везирь.— И заслуживаешь молдавского престола...

В глазах Русета засветился лучик надежды.

— Но прежде всего надо,— договорил везирь,— чтоб вы помирились.

В шатер вошли двое: впереди Маврокордат, за ним — Раис-эфенди.

— Добрый вечер,— сказал бывший господарь.

Бояре поднялись с колен.

— Да смягчится твое сердце! — выдавил из себя Йордаки Русет. В голосе его дрожал страх. Подойдя к греку, он поцеловал его руку.— Прости мне мои прегрешения!..

— Только после того, как ты их искупишь,— ответил Маврокордат.

— Тот, кто осознал свои грехи, уже искупил их наполовину,— сказал Раис-эфенди.

— Я не назову тебя собакой, Кантемир-бей, хотя и следовало бы. Я не назову тебя подлецом, хотя ты заслу-

живаешь этого названия. И не напомню тебе, кому обязан ты престолом Молдавии и какое зло причинил своему другу...

Кантемир стоял перед Раисом-эфенди с непроницаемым лицом.

— У великих людей великие помыслы,— продолжал тот.— Так я говорил тебе когда-то. А теперь говорю: осуществить великие помыслы дано только трезвым людям. Очнись, Кантемир, и посмотри. Ты увидишь, как угасает завтрашний день. Это твой день угасает... Мы знаем все о войске царя. Знаем все о твоем войске...

— Но одного ты не знаешь, Раис-эфенди. Ты не знаешь, каким оружием вооружено мое войско.

— Вилами,— усмехнулся турок.— И еще. Стремлением к свободе. Но свободу не берут голыми руками.

— Берут!

В небе поднимался месяц — светлый, мирный. Лагерь спал глубоким сном.

— И это твое последнее слово?

— Да,— ответил Кантемир.

Раис-эфенди повернулся и направился к выходу из господарского шатра.

— А твое? — дрогнувшим голосом спросил Кантемир.

Раис-эфенди остановился. Кинул через плечо:

— Твой сын пока еще жив... Пока еще! И он не в Стамбуле, а здесь... В нашем лагере.

Кантемир оперся руками на спинку стула. Лицо его по-прежнему ничего не выражало.

— Хочешь видеть его? — спросил турок.

— Нет,— ответил Кантемир.

Раис-эфенди молча смотрел на господаря. Сказал твердо:

— Если до рассвета ты не будешь в нашем лагере со всем своим войском, на восходе солнца голова твоего сына будет прислана тебе на подносе. Посмотрим тогда, каково будет у тебя на сердце к началу сражения!

Глаза Кантемира затуманились. Руки сильнее сжали спинку стула.

— Спокойной ночи! — Турок вышел.

Дробный топот копыт нарушил ночную тишину и стих вдали. Кантемир как подкошенный упал на софу.

— Два часа ночи! — услышал он голос караульного.— Спите спокойно, воины!

Голос другого караульного, уже ближе, повторил:

— Два часа ночи...

— ...Спите спокойно, воины! — перекатывалось вокруг лагеря эхо.

— Спите спокойно!..

Кантемир протянул руку и погасил свечу.

...Светало. Небо на востоке порозовело. В молдавском лагере пропел петух. В турецком откликнулся другой. Потом снова наступила тишина.

Раис-эфенди оторвал взгляд от горизонта и посмотрел на вершину дуба, росшего неподалеку. Крона его вдруг задрожала, и дерево стало медленно клониться набок. Когда дуб рухнул, черный янычар провел ладонью по срезу, стирая выступивший сок.

Раис-эфенди повернул лицо, бледное от бессонницы, к мальчику.

Мальчик спал, свернувшись в клубок. Непокрытая голова покоилась на коленях. Розовый отсвет зари упал на тонкую шею, прочертив узкую, яркую полосу. За спиной мальчика дремали двое черных янычар. Двое белых янычар стояли возле Раиса-эфенди.

Прозвучал протяжный и чистый зов трубы. Молдавский лагерь пробудился, пришел в движение.

— Солнце взошло! — сказал Раис-эфенди.

Черные янычары очнулись от дремоты и глянули на мальчика. Мальчик поднял голову.

— Вижу,— сказал он и встал.

Раис-эфенди не спеша подошел к нему.

Мальчик смотрел в ту сторону, где находился молдавский лагерь.

— Ты был для меня сыном,— сказал Раис-эфенди.— А я для тебя — отцом. И не моя вина, что ты сейчас должен умереть. Виноват в этом твой отец, который...

Мальчик резко повернулся к Раису-эфенди, пронзил его взглядом, и тот замолчал. Потом перевел глаза на дуб, лежавший на траве, на пень, еще сочившийся в срезе.

Подошел к пню, опустился на колени. Турки окружили его.

— Помолись своему богу, гяур! — сказал Раис-эфенди.

— Господи! — начал мальчик и тут же замолк.

— Быстрее! — торопил его Раис-эфенди.

Мальчик молчал.

— Ты что, не слышишь?

— Я забыл все молитвы.

— Все?

Янычарам не терпелось. Они уже обнажили ятаганы.

— Одну только молитву я помню,— проговорил мальчик.— Господи! Молю тебя в последний мой час: помоги моему отцу одержать победу!

Янычары вздрогнули, с ненавистью взглянули на мальчика. Один схватил его за волосы, пригнул голову к пню. Другой поднял ятаган...

— Отойдите! — вдруг приказал Раис-эфенди.— Оставьте его! — И повернулся к мальчику.— Встань!

Какое-то время мальчик не шевелился. Потом медленно поднялся на ноги, словно не веря, заглянул в глаза Раиса-эфенди. Но увидел в них не вероломство, а волнение.

— У тебя бесстрашное сердце, мальчик! —сказал Раис-эфенди.— Ты заслужил право на жизнь. Ты будешь настоящим мужчиной. Иди!

— Как...

— Иди и скажи твоему отцу: «Отец, Раис-эфенди не смог пролить невинную кровь. Солнце уже взошло, а голова моя все еще на плечах. Но солнце зайдет. И с заходом солнца падет твоя голова, отец!» Иди и скажи ему это...

Мальчик неуверенно двинулся к молдавскому лагерю. Когда он исчез из виду, из тени шатра вышел Осман-паша.

— Зачем ты это сделал? — спросил он.

— Раис-эфенди знает, что делает! — ответил сановник. И добавил:— Доброта — тоже оружие. В умелых руках она ранит сильнее, чем жестокость!..

8

Солнце, большое и красное, поднималось из утренней дымки. Под его лучами таял туман. Укорачивались тени.

Когда стала видна вершина холма, Кантемир повернулся и посмотрел на Стэнилештскую долину.

Долина, разделяющая два лагеря, была пустой, гладкой. Всю растительность выела саранча. Не видно было ни одного зеленого клочка, ни одного колодца. Только заросли чертополоха.

Пушки уставили черные жерла на долину. Туда же смотрели напряженные лица солдат.

Турки приближались почти беззвучно. Тишина лопалась под ногами, будто стекло. Они были еще довольно далеко, еще с трудом можно было различить ряды — и вдруг дрогнул воздух, долину заполнил клич: «Алла!»

Вслед за янычарами наступали татары Крымского хана. Ожесточенно атакуя, они набросились на правый фланг молдаван. Турецкая конница — на левый фланг русских. Янычары устремились к центру боевых порядков. Первые ядра прорезали утреннюю дымку.

...И грянул бой.

Татары набросились на крестьянское ополчение. Ополченцы отступили к обрывистому склону холма и выставили вилы и косы. Однако огонь, открытый молдавскими воинами, подбодрил их. Ополченцы пошли вперед. Их боевой клич соединился с кличем янычар. Дубины скрестились с саблями. Косы подсекали ноги коней.

Русские пехотинцы ждали врага, укрывшись за баррикадами из телег.

Турецкая кавалерия сшиблась с драгунами.

Янычары приближались. Но царь не отдавал приказа открыть огонь.

— Пора! — беспокоились в свите фельдмаршала.— Как бы не было поздно!

Генералы были того же мнения, но пока не осмеливались тревожить царя.

— Сначала надо их рассмотреть хорошенько,— сказал Петр.

Он подбежал к телегам, отстранил пожилого солдата и облокотился на грядку. Солдат от удивления разинул рот. Оглянулся на янычар, что лавиной катились к позициям русских, пробормотал:

— Да что ж это ты делаешь, ваше величество?

— На турок смотрю,— ответил царь.— И ты посмотри. А то мы с ними еще никогда не дрались по-настоящему.

— Ага! — догадался солдат.— Это чтобы глаза к ним привыкли?

— Драка начнется — привыкнут. Ты на их ружья смотри. Вроде бы они длиннее наших.— И протянул солдату подзорную трубу.

Солдат взял трубу, поднес к глазам:

— Да вроде бы...

— А сбоку что у них? Понятно, что у турок сбоку?

— С левого — сабля изогнутая. Ятаган по-ихнему. С правого боку — фляга для воды.

— А у тебя? — кивнул Петр на правый бок солдата.

— Да ведь, где мы раньше воевали, нужды в воде не было.

Царь выхватил из рук солдата подзорную трубу и бегом вернулся к генералам.

— Я сделал два открытия,— сказал он.— Первое: турецкие ружья длиннее наших. Они дальше стреляют. Второе: сегодня будет жарко. Послать солдат. Пусть привезут в лагерь побольше воды!

Янычары были уже совсем близко. Солдаты, стоявшие в первом ряду, у самых телег, дали залп и отошли назад, заряжать ружья. На их место выдвинулся второй ряд. Лавина янычар катилась к баррикаде.

Вдруг между янычарами и рядами телег ворвался драгунский полк. Он теснил турецкую конницу. Огонь из-за телег усилился. Янычары опустили ружья.

— Гетман!

Некулче, отдававший приказания сотникам, не отозвался. Тогда начальник кавалерии сардар Могылдя глазами показал ему на господаря. Некулче развернул коня и подъехал к господарю:

— Я вас слушаю, ваше величество!

— Что, гетман, или пушки тебя оглушили?

— Нет. Просто мой слух еще не привык к новому чину.

— Посмотри, что русские драгуны делают?

— Бьют турок. Хорошо бьют.

— А теперь взгляни на правый фланг.

— Татары уже опомнились и теперь снова теснят наших к обрыву.

— Знаешь, что тебе нужно делать?

Некулче подумал немного.

— Кавалерией атаковать татар,— ответил он.

— С какой стороны?

— Со стороны обрыва, ваше величество. Ударить по татарам и гнать их под огонь русской пехоты. Как это делают драгуны с турецкой конницей...

— Приучай свой слух к новому титулу, гетман Не-

кулче! Кажется, я не ошибся, поставив тебя вместо Антиоха Жоры...

— Благодарю, ваше величество!

— Что-то ты слишком быстро соскочил с коня, господарь! Это плохой признак. Но глаза твои сияют. Говори!

— Взгляните, государь, на правый фланг! — возбужденно проговорил Кантемир.

Петр поднес к глазам подзорную трубу и увидел, что татары, теснимые молдавскими конниками, попадают под огонь русской пехоты.

— Прекрасно! — засмеялся Петр. Затем обернулся к Шереметеву.— Там, на середине долины, татары сомкнутся с турецкой кавалерией. Всем орудиям бить туда!

Попав под орудийный и ружейный огонь, татары и турецкие конники в смятении повернули коней прямо на янычар. Ряды янычар смешались и стали откатываться к турецкому лагерю.

— Теперь только бы не упустить момент! — воскликнул генерал Витман.— Надо бросить все резервы из лагеря на преследование врага!

— На преследование нашей конницы? — язвительно спросил генерал Галарт.

— Ничего не надо,— сказал примирительно Шереметев.— Уже темнеет. Сегодняшнее сражение кончилось.

Солнце село...

...и взошло снова.

Начальники отрядов стояли перед везирем. Он был мрачен и зол. Все провели бессонную тревожную ночь, обсуждая вчерашнюю неудачу.

— Что ты будешь делать сегодня, Девлет-Гирей? — спросил Балтажи-паша Крымского хана.

— Ведь вчера вечером ты говорил...

— Я хочу услышать не то, что я говорил вчера вечером, а то, что ты запомнил!

Оскорбленный хан метнул на везиря гневный взгляд и зло сказал:

— Я ударю по левому флангу на молдаван. Отгоню их от обрыва. Потом оттесню на середину долины... Если смогу.

— Если ты еще не забыл старую татарскую тактику,— пренебрежительно проговорил везирь,— то сможешь!

— Я не понимаю. Объясни! — потребовал хан.
— Притворное бегство... Поворот кругом... Неудержимый натиск.
Девлет-Гирей пришпорил коня и ускакал.
Везирь повернулся к начальнику конницы.
— А ты, Черкез-паша?
— Я ударю по правому флангу на московитов...
— И как вчера, испугаешься русских париков и кинешься на моих янычар? — язвительно спросил Осман-паша.
Начальник конницы рассвирепел:
— А твоим янычарам нечего было топтаться около телег! Надо было ждать на середине поля! Или прорваться!..
— Хо! Поберегите вашу злость для русских! — прикрикнул на спорящих везирь.
Антиох Жора, воспользовавшись моментом, протиснулся вперед.
— Осмелюсь спросить... А нам что сегодня делать?
— Что вы делали вчера? — спросил Балтажи-паша.
Бывший господарь властно отстранил бывшего гетмана и встал перед везирем:
— Вчера мы оставались в резерве. А сегодня...— Николае Маврокордат оглянулся на своих бояр.— Сегодня мои бояре просят пустить их впереди крымчаков. Они хотят первыми ударить по изменникам!
Антиох Жора украдкой взглянул на ворника.
— Иуда! — прошептал Йордаки Русет.— Он хочет, чтобы мы схватились со своими!
От проницательного взгляда везиря не укрылось замешательство бояр.
— Так как же? — спросил везирь.— Пойдете вы впереди хана?
Деваться боярам было некуда.
— Пойдем...
Николае Маврокордат тщетно пытался скрыть улыбку. Обернулся к боярам-грекам, что стояли позади него, и прошептал торжествующе:
— Теперь-то мы от них избавимся!

Разглядев бояр и наемников, скачущих впереди крымских татар, молдавские пушкари оцепенели.
— Не может быть! — ошеломленно прошептал один, опуская банник.— На нас идут...

— Позор! — крикнул другой, подтаскивая ядро к пушке.— Под молдавским знаменем, изменники!

Волна гнева пробежала по молдавскому войску, как огонь по сухой траве.

— На куски их рубить!

— Поднять на вилы!

— Предатели!

Пушки начали стрелять без команды. Ружья тоже. Солдаты спрыгивали с откоса и смешивались с ополченцами.

— Бей предателей! Бей их, братцы! —гремело вокруг.

Передние ряды ополченцев и воинов кинулись навстречу боярам. За ними — все молдавское войско.

Под ударами вил и дубин бояре обратились в бегство. Татарские конники — тоже. Неожиданное отступление воодушевило ополченцев.

— Вперед! — призывали сотники.— Победа наша!

Кантемир, наблюдавший за атакой, внезапно побледнел. Он разгадал замысел татар.

— Все пропало, гетман! —крикнул он Некулче.— Все пропало! Верни наших! Быстрее!

Некулче обернулся к Могылде.

— Ты все понял?

— Понял! — Вид у командира молдавской конницы был подавленный.— Только боюсь, что уже поздно... Капитан Декусарэ! Капитан Чутэ! Капитан Апостол! За мной!..

Низкорослые, юркие татарские кони, отступая, обогнали коней бояр и наемников. И вдруг остановились. Развернулись на месте — и ринулись на молдаван. Наемникам и боярам пришлось следовать за ними.

Боевой клич крестьянского ополчения разом стих. Солдаты, вырвавшись вперед, пытались прикрыть ополченцев ружейным огнем. Напрасно... Татарская конница бурей налетела на них, смяла и опрокинула.

К счастью, подоспели вовремя отряд драгун и Могылдя с оргеевскими и лэпушнянскими конниками.

— Оставь пока татар, Арборе! — крикнул другу Дан Декусарэ.— Бояр хватай!

Бояре, увидев, что они окружены, ожесточенно защищались. Но их было слишком мало. Некоторые уже упали с коней. Антиох Жора вонзил себе в грудь кинжал. Йордаки Русет воткнул саблю в землю и крикнул Декусарэ:

— Бей, капитан!

— Долой с коня! — приказал Декусарэ.

Русет подчинился. Капитан торопливо размотал аркан и накинул петлю на шею ворника.

Тем временем крестьянское ополчение, теснимое татарами, отходило назад, к откосу. Турки преследовали войско, гнали его к русскому лагерю. Туда же устремились и ополченцы.

Русский лагерь был окружен связанными между собой телегами. На грядках солдаты закрепляли толстые острые колы. Другие солдаты разряжали ружья в наседавших янычар.

Но прорвать позиции русских туркам не удавалось. Тележные грядки были неприступны, как крепостные стены. Поняв это, они перенесли огонь на отступавших к русскому лагерю молдаван.

— Открыть проход и пропустить наших союзников в лагерь! — приказал Петр.

— Но тогда в лагерь ворвутся турки! — возразил Шереметев.— На их плечах ворвутся!

Генералы поддержали фельдмаршала:

— Басурман становится все больше...

— Ворвутся сюда — мы пропали!..

Было жарко. Петр сбросил плащ. Обвел генералов тяжелым взглядом. Закричал:

— Что подумают о нас эти несчастные христиане? Их убивают у нас на глазах, а мы здесь торгуемся, как на базаре! Открыть проход союзникам!

Телеги раздвинули. Молдаване начали втягиваться в русский лагерь. За ними, волна за волной, вливались турки. Завязалась рукопашная битва. Жестокая. Отчаянная. Грудь в грудь.

Проход все расширялся. Бурным потоком растекались по всему русскому лагерю янычары. Пушки перестали стрелять. И ружья. Слышно было только, как ударяются ятаганы о сабли и сабли об ятаганы. И стоны. И зубовный скрежет.

В царском шатре плакала царица.

Шереметев, держась за сердце, тяжело навалился на ствол пушки.

Петр вместе с генералами Кропотовым и Волконским поднимал солдат в бой. Царь сбросил кирасу, остался в одной рубашке. Увидев отступающего драгуна, направил острие шпаги ему в грудь. Драгун повернул коня.



Дан Декусарэ сражался вместе со всеми. Вдруг конь под ним коротко заржал, взвился на дыбы и рухнул. Капитан свалился в канаву, вырытую вокруг праздничного стола. Теперь канава эта служила траншеей русским солдатам и молдавским ополченцам. Здесь схватка была особенно яростной. Декусарэ подобрал ружье убитого турка и вскочил на ноги.

— Тащите к проходу телеги, бочки, пушки — все, что под руки попадется,— распоряжался Петр.— И воздвигайте заграждение!

Проход стали заваливать телегами, бочками, досками.

Но уже появились новые бреши в сплошном ряду телег. Янычары все прибывали.

В центре лагеря занялось огнем полотно, которым был накрыт пиршественный стол. Сначала с одного конца, потом — с другого. Его подожгли турки. Убедившись, что полотно пылает со всех сторон, они побросали факелы и собрались вокруг Раиса-эфенди.

Русские солдаты и молдавские воины столпились посреди обнесенного канавой и объятого пламенем прямоугольника. Прижавшись друг к другу, приготовились защищаться.

— Ваш пир окончен! — крикнул Раис-эфенди.— Складывайте оружие и сдавайтесь! Пришло время пировать нам — победителям!

Декусарэ отделился от своих товарищей. Пробрался сквозь языки пламени и подошел к краю канавы. Мундир на нем был разорван в клочья и прожжен. Лицо окровавлено.

— Прежде чем вы сядете за этот стол,— сказал он,— вам придется убрать с него наши трупы!

— И уберем,— ответил Раис-эфенди.— И украсим стол вашими головами. Пирамиду из ваших голов сложим посередине! И увенчаем ее головой Кантемира. Чтобы ему виднее был свет с Востока. Пусть любуется!

Турки набросились на Декусарэ. И в этот момент русские полки перешли в наступление, стали теснить янычар. Турки обратились в бегство.

Напрасно сотники старались заставить янычар вернуться на поле боя. Они никого не желали слушать. Сбивали сотников с коней ятаганами и кулаками.

Сам Осман-паша не смог приостановить отступление. Янычары вихрем налетели на своего главнокомандующего, свалили его с коня, опрокинули на спину.

Услышав угрожающие выкрики, из шатра вышел везирь. Янычары плотно окружили его.

— Султан велел тебе заключить мир, если увидишь, что русские держатся крепко. Так заключай!

— Мир — это моя забота! — вскричал везирь.— А ваша забота — враг! Ваша забота — сломить хребет врагу!

— Смотри, как бы мы тебе хребет не сломали! — бушевали янычары.

Балтажи-паша, услышав такое, сбавил тон.

— Ну, еще хоть пару часов! — стал упрашивать он

янычар.— Продержитесь всего пару часов, и лагерь гяуров ваш!

— Сам держись! Сам воюй с русскими! — не унимались те.— А мы не хотим, чтобы нас всех до одного перебили!

— Нас четырнадцать тысяч было! Осталась половина...

Все стихло на поле боя. Солдаты, повалившись на траву, наслаждались покоем. Одни просто отдыхали, другие обмывали свои раны, третьи хоронили товарищей.

Генералы не могли вместиться в царский шатер. Многие остались снаружи, толпились у входа.

В шатре обсуждали условия мира. И все, о чем говорилось там, тут же разносилось по всему лагерю.

— Турки требуют у нас Азов,— сказал вице-канцлер Шафиров.

— Азов не отдадим! — отрубил Петр.

— Требуют, чтобы мы разрушили укрепления Таганрогской крепости...

— Таганрогскую крепость не разрушим!

— Еще они требуют...

Шафиров умолк. Посмотрел на генералов и сенаторов. Оглянулся и встретил взгляд полковника Тигечиу.

— Так чего еще они требуют? — спросил царь, едва сдерживая гнев.

— Голову Кантемира,— прошептал вице-канцлер.

— Голову Кантемира? — Петр помолчал, справляясь с волнением.— Скажи везирю, что Кантемир мертв или что он бежал... Словом, скажи что хочешь...— И уже более спокойно продолжал, обведя всех взглядом: — Положение трудное, воды нет, продовольствия нет. Ладно, отдадим Азов, разрушим Таганрогские укрепления. У нас остается надежда отвоевать их обратно. Но выдать господаря, который потерял свой престол ради нас! Нет, ведь честь, утраченную однажды, вернуть невозможно...

Ответ царя передавался из уст в уста по всему лагерю. Солдаты удивлялись:

— Неужто так прямо и сказал?

— Потому-то он и Петр Великий! — заметил пожилой солдат, тот самый, что перед сражением смотрел на турок в царскую подзорную трубу.

Оставив свиту на берегу, Карл XII верхом на коне бросился в воду, пересек Прут и вихрем помчался навстречу русской армии. Проскакав неузнанным мимо походных колонн, достиг турецкого лагеря.

У шатра везиря король спешился. Пылая гневом, вбежал в шатер.

— Ты держал в руках всю армию московитов! — накинулся он на Балтажи-пашу.— Ты мог привести пленного царя в Константинополь!

Балтажи-паша бросил на Карла презрительный взгляд.

— Но кто бы тогда правил царством Российским вместо него? Нельзя же, чтобы все монархи находились за пределами своих стран... Как ты!

Дрожа от бессильной злобы, король упал на софу. Крикнул:

— Ты упустил единственный случай!..

— Глупая твоя башка! — разозлился и везирь.— Тебе русские намяли бока? Намяли. А теперь и мы знаем, на что они способны. Хочешь драться с ними — дерись сам! С нас хватит!

Король нервно дернул ногой, задел шпорой халат турка, разорвал его. Потом вскочил и выбежал из шатра.

Открытая карета, запряженная четверкой лошадей, двигалась вдоль колонн русской армии, переправляющейся через Прут.

Петр молчал. Молчал и Кантемир.

В другой карете ехала Касандра с детьми. Голова старшего сына покоилась на ее плече. Касандра гладила волосы мальчика, целовала щеки.

Йордаки Русет и еще несколько бояр, закованных в цепи, тащились за телегой. Ворник то и дело оглядывался назад. Царская карета приближалась.

Когда она поравнялась с пленниками, Йордаки Русет поймал взгляд Кантемира.

— Оставьте нас здесь, ваше величество!! — взмолился Русет.— Казните, но только здесь! Лучше умереть на любимой родине, чем жить на чужбине...

— Любимая родина? — переспросил господарь с презрением.— Нет, бояре. Я не буду казнить вас. Я возьму вас с собой. Лишь на чужбине познается истинная любовь к родине!..

— Пошлем их охотиться на соболей! — усмехнулся Петр.

Дорога стала спускаться в долину, и за береговыми откосами Днестра возникла Сорокская крепость. Всадники остановили коней. Кантемир вышел из кареты и долго рассматривал крепостные стены и черные турецкие бунчуки, возвышающиеся над ними. Потом перевел взгляд на левый берег реки и застыл, погруженный в думы.

Последний отряд пехоты прошел мимо царской кареты и спустился в долину. Дорога опустела. Лишь кое-где виднелись телеги с ранеными воинами.

Вдруг на вершине холма появился конный отряд. Услышав радостные крики, из кареты вышел Петр.

Всадники подъехали. Среди них был и Декусарэ.

— Государь! — отчеканил он, щелкнув шпорами.— Докладываю, что приказание вашего величества выполнено!

И, развернув полотнище молдавского знамени, Дан Декусарэ извлек оттуда знаки господарской власти — меч и булаву.

Руки царя взметнулись вверх, как два крыла. Глаза заблестели.

— Орел! — восхищенно вскричал царь и обернулся к Кантемиру.— Сумел пробраться в столицу, занятую врагом! В самый дворец! И унес из дворца господарские регалии... Нет, такое геройство надобно наградить не откладывая!.. Чего ты желаешь, капитан? Говори!

Бурный восторг царя и его великодушие привели Декусарэ в замешательство.

— Не знаю...— нерешительно проговорил он.

Петр провел рукой по груди. Как назло, ни одного ордена! Пошарил по карманам — только трубка!

— Хочешь мой камзол? — спросил царь.— Правда, он старый...

И, не дожидаясь ответа, стал стаскивать камзол с плеч.

— Боюсь, ваш камзол будет мне велик,— улыбнулся Декусарэ.

— Тогда сапоги!..

— А сапоги — малы.

— Шпага!

Глаза капитана радостно сверкнули. Но не успел он сказать «да», как царь покачал головой:

— Нет. Шпагу отдать не могу... Меня за нее бригадир повесит...

Генералы и офицеры, столпившиеся возле царской кареты, заулыбались.

— Тогда вот что...— Петр подмигнул Декусарэ.— Тогда позволь тебя поцеловать! — Царь обнял Декусарэ и трижды поцеловал его в обе щеки.— Жалую тебя полковником!

— Благодарю, государь... Но...

— Ты не хочешь мне служить?

— Ваше величество! — Декусарэ отступил на шаг.— То, чего хотим мы — я и мои товарищи,— мы должны просить не у вас, а у господаря нашего Дмитрия Кантемира!

— Всем сердцем готов тебя выслушать,— отозвался Кантемир.

Всадники из отряда Декусарэ спешились, подошли к Кантемиру и опустились на колени. Капитан протянул господарю регалии. Кантемир принял из его рук меч и булаву.

— Говори.

— Ваше величество,— сказал капитан.— Дозвольте нам остаться в Молдавии!

Петр недоуменно смотрел на Декусарэ. Кантемир тоже.

— Нет, ваше величество,— горячо и торопливо продолжал капитан.— Не потому мы просим дозволения остаться в Молдавии, что хотим покинуть вас! Нет, совсем не поэтому. Мы хотим остаться, чтобы не давать туркам покоя ни днем, ни ночью. Чтоб знали они — не дремлет народ молдавский!

Декусарэ замолчал. Кантемир хотел сказать что-то, но не смог, слишком был взволнован.

— Сколько лет занимал ты молдавский престол? — вдруг спросил его Петр.

— Всего девять месяцев.

— Как раз столько, сколько нужно, чтобы родился ребенок...

— Ребенок? — не понял Кантемир.

— Дух свободолюбия,— пояснил Петр, показывая рукой на молдавских воинов.— Он родился, а к тому времени, как мы вернемся сюда,— вырастет и окрепнет.

— Встаньте,— приказал господарь молдаванам.

Воины поднялись с колен. Господарь внимательно

вгляделся в каждого. И вдруг в одном из них узнал Родику. Девушка была одета и пострижена по-мужски.

— Дочь Русета? — спросил Кантемир.

— И она тоже,— ответил капитан.

Кантемир снял с шеи золотой крест — крест Йована Мирича — и надел его на шею капитану.

— Да хранит тебя господь! — сказал Кантемир.— Тебя и всех, кто с тобой! Да хранит вас и да поможет вам!..

И снова подняли они лица свои к белым минаретам, и снова склонились к земле, шепча про себя молитвы, которые громко выкрикивал муэдзин:

— Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его! Да благословит аллах султана нашего высочайшего, справедливейшего и милостивейшего потомка Магомета!

Потом воцарилась тишина.

Высочайший, справедливейший и милостивейший Ахмет III, султан Блистательной Порты, поднял голову и долгим, пристальным взглядом посмотрел на гяуров.

Неверные стояли смиренно и недвижимо. Под взглядом султана они приложили правую руку к сердцу, к губам и ко лбу, затем снова опустили глаза.

— Пусть скажут нам,— потребовал султан,— от всех ли покоренных нашей Портой стран присутствуют здесь заложники?

Везирь повернулся к Раису-эфенди:

— Наш высочайший, справедливейший и милостивейший султан желает знать, от всех ли покоренных Блистательной Портой стран присутствуют здесь заложники?

Раис-эфенди окинул взглядом вереницу заложников. Сказал уверенно:

— Да. Заложники от всех покоренных Блистательной Портой стран присутствуют здесь.

— Хорошо! — Султан хлопнул в ладоши.

Везирь склонил бунчук к земле.

Двое чаушей отделились от стражи и направились к заложникам. Возле Дана Декусарэ они остановились. Декусарэ шагнул вперед. Чауши положили руки ему на плечи.

Торжественно и сурово прозвучал голос диван-эфенди, зачитывающего фирман.

— Наш высочайший, справедливейший и милостивейший султан Ахмет Третий, милостью аллаха повели-

тель всего сущего на Востоке и Западе, всего живущего на Севере и Юге, сим доводит до сведения своих правоверных, что печаль его велика. Он, кто мечом оберегает покой своих подданных, он, кто ограждает их от всякого беззакония, он, кто стараниями своего светлого разума приумножает их благосостояние, — он узнал, что не все его подданные преданы ему и послушны. Те, что обитают в Молдавии, — взбунтовались. Они позвали на помощь самого могущественного в мире гяура — царя России. И восстали против священного полумесяца. Аллах и на этот раз не оставил нас в беде, избавил нас от русского царя. Но посеянные им ядовитые семена проросли на Балканах.

Декусарэ снял с шеи золотой крест — крест Йована Мирича — и передал заложнику, стоявшему рядом. Затем направился к эшафоту. Чауши остановили его.

Раис-эфенди взглянул на везиря. Везирь — на султана.

— Бунтовщик спешит умереть, — усмехнулся везирь.

— Так пусть умрет! — хлопнул в ладоши султан.

— В назидание вам, гяуры-заложники, и вашим народам, проклятая аллахом голова мятежника Дана Декусарэ слетит с плеч! — заключил Раис-эфенди.

Янычары, стоявшие по краю эшафота, разом опустили ятаганы, и над их красными тюрбанами выросли широкие плечи, бритая голова и обнаженная грудь палача.

Декусарэ смерил палача тяжелым взглядом. Прошел между рядами янычар. Поднялся по мраморным ступеням эшафота. Палач положил огромную руку ему на плечо и стал отгибать ворот рубахи. Капитан посмотрел прямо в глаза палачу. Потом поднял вверх скованные кандалами руки и... всей тяжестью обрушил их на голову палача. Великан с раздробленным черепом рухнул к ногам Декусарэ.

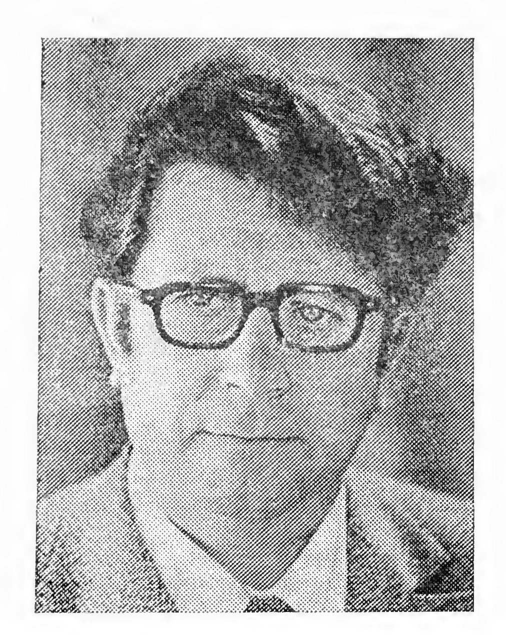
Турки остолбенели.

Султан взглянул на везиря. Везирь — на Раиса-эфенди. Раис-эфенди — на стражников. Стражники бросились к эшафоту. Через миг Дан Декусарэ был поднят на копья.

Воздух сотрясли дикие вопли янычар.

Заложник, которого по лицу и одежде можно было принять и за болгарина, и за грека, и за македонца, зажал в кулаке золотой крест.

Перевод *Ю. СЕМЕНОВА*



А. Маринат

МАРИНАТ Алексей, прозаик, драматург. Родился в 1924 году в селе Долинск Одесской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Кишиневский педагогический институт. Много лет работал в редакциях республиканских газет и журналов, публиковал очерки и юмористические рассказы. В русском переводе вышли его романы «Неугомонная», «Следы на пороге», «Посланцы», пьесы «Фальшивомонетчик», «Остановите планету» и «Храбрые мужчины», юмористические сборники «Заряд соли» и «Пестрая неделя». По повести «Габриэла» поставлен художественный телефильм.

АЛЕКСЕЙ МАРИНАТ

ГАБРИЭЛА

1

С полковником Вениамином Покровским я познакомился в мае 1944 года.

После того как было остановлено контрнаступление немцев у монастыря за Прутом, меня вызвали в штаб бригады. Мне грозил трибунал — я оставил пушку на поле боя. Точно так же провинились и еще несколько командиров орудий: и вот я жду в сенях крестьянской избы, пока меня вызовет начштаба.

— Смокин!..— выкрикивает начальник спецчасти. Я вхожу в кабинет начштаба и рапортую:

— Командир третьего орудия третьей батареи двадцать третьего артиллерийского противотанкового полка...

— Хорош артиллерист — от танков драпает.

— Я отступал, товарищ полковник.

— Отступал... Прячешься в слова, как в кусты.

— У меня не было другого выхода.

— На поле боя выход только один!

— Знаю.

Полковник пристально поглядел на меня — наверно, слишком уж отчаянный был у меня вид,— потом взял в руки рапорт. Поскольку комнатка была крохотной и мне пришлось стоять впритык к столу, я без труда разглядел, что рапорт подписан не командиром полка, а всего лишь уполномоченным спецчасти.

— Смóкин...— прочел полковник мою фамилию.

— Смоки́нэ,— поправил я.

— Смокинэ́...— снова исковеркал он ударение.

— Смоки́нэ,— настаивал я.

— Француз ты или кто? — чуть насмешливо спросил он.

— Молдаванин.

— Из каких мест?

— Между Тирасполем и Балтой.
— Давно в нашей бригаде?
— С месяц.
— А на фронте?
— С месяц.
— А в нашу бригаду откуда прибыл?
— Из Тального. Первый учебный артиллерийский дивизион.
— Сколько танков на тебя шло?
— Семь.
— Какого типа?
— «Королевский тигр».
— Броня?
— Сто пятьдесят лобовая.
— Какие у тебя были снаряды?
— Бронебойные и зажигательные. Я дал дюжину выстрелов по переднему танку, и хоть бы что — они только чиркают по нему, как спички, искры летят, а зажечься — никак. А он даже ухом не поведет, скотина!..
— Ситуация на участке?
— Пехота дала деру, то есть отступила. Легкая артиллерия — тоже.
— Какой тягой везли пушки?
— На лямках тащили.
— А почему ты не отступил со всеми?
— Я думал, удастся отбиться!
— А почему ты не снял с пушки замок, когда все же решил отступать? В инструкции говорится четко и категорично...
— Я бы тогда в плен попал вместе с замком. И людей потерял.
— Мда...— Полковник достал из нагрудного кармашка гимнастерки миниатюрный флакончик, понюхал. Тонкий запах духов распространился вокруг.— Это, конечно, не годится,— проговорил он, пряча флакончик обратно. Помолчал. После паузы спросил:
— Пушка досталась немцам?
— Она в нейтральной зоне. Если б не тяжелая артиллерия, немцев бы не остановили. Она вовремя подоспела.
— А вы-то что зевали? Противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью! Что, у вас не было такого добра?

— Ничего у нас не было,

Он снова достал свой флакончик, понюхал. Начальник спецчасти, похоже, привыкший к этой странности полковника, ждал, пока тот кончит процедуру с флакончиком и подпишет бумагу в трибунал. Но полковник не торопился.

— Как у тебя с учебой, ты что успел до войны?

— Первый курс кончил.

— Какой факультет?

— Географический.

— А где?

— В Тираспольском пединституте.

— География. Наука для извозчиков? — улыбнулся полковник.

— Ну, это когда было... теперь говорят — для романтиков!

— А звать-то тебя как? — спросил он.

От неожиданности я растерялся.

— Саша... Александру.

— Вот что, Саша. Плохо, что не ты подбил эти семь танков. Я бы тебя сейчас представлял к награде. А так... Что с ним делать, товарищ майор? — обратился он к начальнику спецчасти.

— Под трибунал! — рявкнул тот.

— Мда...— протянул полковник.— Отправляйся-ка и попроси у немцев, чтоб они тебе пушку вернули...

Я взял под козырек и вышел.

После трех попыток, на четвертую ночь, мне удалось с помощью лямок и ремней вытащить пушку из нейтральной зоны. Еще несколько дней ушло на ремонт в бригадной мастерской. Потом я снова явился к полковнику Покровскому.

— Товарищ полковник! Немцы вернули пушку, да к тому же даром.

— Ладно. Садись вот сюда, поближе. Что куришь?

— Махорку.

Он вытащил флакончик из нагрудного кармана.

— Добавить капельку духов?

— Ей это все равно впрок не пойдет, товарищ полковник.

— Сколько людей потерял в операции с пушкой?

— Один легко раненный, мы ведь были в зоне наших огневых позиций.

— А почему ты шуток не понимаешь? Кто ж тебя пошлет всерьез просить у немцев обратно пушку?

— На фронте не шутят.

— Кто сказал? А если б вы все там остались из-за этой дурацкой пушки? Она ведь ни черта не стоит против «королевского тигра» — ты сам видел. Тем более мы скоро получим новую модель. Тебе сколько лет?

— Двадцать лет один месяц.

— Браво! Двадцать лет... и еще целый месяц!

И опять полковник достал свой флакончик. Уже знакомая волна благоухания прошла по комнате. Он о чем-то думал, молчал.

А я тем временем строил догадки: наверно, флакончик дала полковнику жена, чтобы ее любимые духи напоминали ему о доме.

— Смокинэ́! — прервал молчание полковник.

— Слушаю, товарищ полковник, только не Смокинэ́, а Смоки́нэ.

— Мне удобнее тебя называть на французский манер.

— Вы знаете французский? — поинтересовался я.

— А ты — знаешь?

— Учил, по крайней мере.

— Говоришь свободно?

— Совсем не говорю.

— Что так?

— Как вам сказать... У меня основной был немецкий. Французским я почти не занимался. А вы?

— А я чуть-чуть больше, Смокинэ́. Послушай, а не хотел бы ты работать в канцелярии при штабе?

— Я лучше останусь при пушке. Я уже ее повадки изучил, да и подлатали мне ее только что.

Полковник засмеялся:

— Браво, Смокинэ́! Подлатали как следует, говоришь?

Он нагнулся к стоящему подле стола ящику, взял кипу фронтовых газет, покопался в ней и, вытянув одну, спросил меня:

— Ты где научился статьи писать?

Две недели назад мою статью в самом деле напечатала дивизионная газета. Я сказал полковнику, что к нам на участок приехал корреспондент, мы с ним побеседовали, и он попросил меня дать для них материал.

— А мне твой командир, полковник Киселев, рассказывал, что ты за всю батарею пишешь любовные письма.

— Так они же сами просят!

— Тебе кто из поэтов больше всего нравится?

— Байрон и Лермонтов.

— А из прозаиков?

— Тургенев.

— И ты утверждаешь, что не хочешь работать в канцелярии полковника Покровского, Смокинэ́?

— У меня пушка только что из ремонта, товарищ полковник!

— До чего же ты похож на моего племянника. Можешь идти!

Я встал по стойке «смирно», отдал честь и, сделав «налево кругом», вышел.

А в августе, за день до начала Ясской операции, мне передали пузырек с духами, правда, их было на донышке. Послал мне его полковник Покровский через дежурного штабного офицера, приехавшего с заданием к нам в полк. Я сунул пузырек в карман гимнастерки. А поздно ночью, перед тем как лечь, откупорил его и вдохнул знакомый запах. Я заснул в траншее и видел сны, в которых войной и не пахло.

2

В конце концов меня перевели в разведотряд при штабе бригады — однако без всякого вмешательства со стороны полковника Покровского.

— Смокинэ́, честное слово, я даже пальцем не пошевелил,— заверил он меня.— Это все Киселев; он похвастался бригадному командиру, что ты знаешь румынский, а тот взял да распорядился.

Разведотряд и штабные офицеры были почти неразлучны, и мы с полковником Покровским теперь жили, можно сказать, калитка в калитку. При переезде на новое место он предупреждал меня:

— Смокинэ́, смотри, найди дом с пианино!

Иногда нам и в самом деле попадалось целехонькое пианино. И странно было видеть за клавишами немолодого военного, опытного истребителя танков; впрочем, полковник Покровский вообще удивлял своими чудачествами.

...Я позволю себе говорить о некоторых эпизодах из жизни полковника Покровского, потому что убедился в одной истине: частная жизнь человека — понятие относительное, никогда не знаешь, как обернется судьба. Както мы с полковником Покровским засиделись до утра. Фронтовики скоро забывают про разницу в возрасте: пусть одному за пятьдесят, а другому — только-только стукнуло двадцать. Я не стал бы предавать гласности то, что слышал от полковника, если бы это не было связано с последующими событиями нашей фронтовой жизни. Той ночью я внимательно слушал его рассказ, его исповедь.

«...После боев у Марны полк, в котором я состоял, был выведен с передовой, а через несколько дней нас переправили в тыл на пополнение. Мы разместились в городке К. Во Франции был тогда прекрасный обычай: каждый солдат проводил свой коротенький отпуск в какой-нибудь местной семье. Что ты так смотришь, Смокинэ́? А-а, я же тебе не сказал: в первую мировую войну я служил в русском экспедиционном корпусе во Франции. Я был офицер — и молод, как ты. Тебе сколько? Ах да, двадцать... и один месяц! Нет, теперь уже — четыре! Ну вот, и мне было тогда столько же. Я был поручик — это что-то вроде нынешнего лейтенанта. Впрочем, это не имеет значения, все младшие чины уравнены своим счастливым возрастом. Понимаешь ли ты свою молодость, Смокинэ́? Да что я спрашиваю, разве ее можно понять, не потеряв? Вот в чем вся штука! А когда она позади, уже поздно что-либо менять. Но мы отвлеклись.

...На другой день в здании театра давался бал в честь нашего полка. Мне казалось, что в этот день все местные жители были заняты только нами. Я старался избежать случайного приглашения — мне хотелось, чтобы семья, которая меня выберет, тоже пришлась бы мне по душе.

Итак, мы явились на бал. Бал — подумать только! После той мясорубки у Марны! Явились, как были — в ссадинах, в рваных штанах — французы не теряют присутствия духа, а мы и подавно! Атмосфера на вечере царила праздничная — даже торжественная. И виной всему было прибытие полка, выигравшего битву, какой еще не знала история!.. Так говорится про все битвы. А какими глазами смотрели на нас барышни, Смокинэ́!

Несколько стаканов вина, выпитых с приятелями французами,— и с непривычки лента воображения бешено закрутилась, началась чистая фантасмагория. Вдруг я оказался лицом к лицу с какой-то девушкой. Кто перед кем возник, осталось загадкой. Мы пошли танцевать. Не знаю почему, но у меня было впечатление, что она приметила меня с самого начала; а хоть бы и нет, я все равно верю в свою выдумку, потому что она дорога мне. До сих пор... Думаешь, это вино мне ударило в голову? Нет, Смокинэ! Нет, мой дорогой. Поверь старому офицеру, и если еще часок будет тихо, я сыграю тебе на пианино то, что играла мне тогда она...

— Вы свободны? — спросила она, чуть смущаясь, без всякой наигранности. Я представился: поручик Покровский! Потом легонько, чтобы она не исчезла, как сон, взял ее под руку. Мы закружились в вальсе. Я только раз взглянул на нее и тут же отвел глаза.

— Что же вы мне не ответили, поручик Покровский? — спросила она.— Вы еще не приглашены в семью?

— Нет, я свободен.

Она взяла меня за руку и вывела из рядов танцующих — так девочки водят младших братиков. У дверей, где сидела публика постарше, она остановилась и представила меня:

— Вот он, мама! Рекомендую тебе поручика Покровского. Русский с головы до пят. Он погостит у нас. Мазурка! — вдруг загорелась она и потянула меня за руку туда, где танцоры выстраивались в пары.

Мадам Прево и ее муж Серж Прево, родители девушки, ушли, как только наше знакомство состоялось, договорившись с нами, что мы придем не позже двенадцати.

...«Полно, было ли все это? — спрашивал я себя, слушая полковника Покровского.— Слишком уж походил рассказ на все тот же флакончик с духами; вот и теперь он достал его и, держа в руке, на минуту ушел в себя. Да, конечно, он все это выдумал. Ну и пусть его. Даже интересно, что дальше».

Кларис (так звали девушку) была чуть выше ростом, чем та, что грезилась мне в траншее. Хотя, может быть, она просто подросла! Вообще же она как будто вышла из моей мечты. У нее был тонкий профиль, и в свои восемнадцать лет она обладала взглядом откры-

тым и ясным, выдающим природный ум. Представляешь ее себе?

— Как вам кажется сегодняшний вечер? Не то, что на Марне? — спросила она, как будто мы не танцевали в первый раз, а всю жизнь были приятелями и просто давно не виделись.

— На Марне война с немцами. На Марне... танцуют мертвецы и черти варят клей из конских копыт — на почтовые марки.

— Мне дурно делается,— проговорила она.

— А здесь,— продолжал я,— здесь совсем другой запах.

— Какой же?

— Полночный... Скоро пробьет двенадцать!

Она взглянула мне в глаза, улыбнулась, потом снова посерьезнела и сказала:

— Вообще-то я была другого мнения о войне.

— Интересно знать, какого.

— Лучше не говорить. Слишком оно не похоже на ваше.

Я стал настаивать; она ни в какую не хотела отвечать.

— Вы делаете войне рекламу...— сказал я наконец.

— Я просто не сообщаю вам свое мнение!

— Именно тем, что не сообщаете. Видите ли, невысказанная мысль — в данном случае ваша — может заинтриговать больше, чем речь Наполеона или Бисмарка.

Она чуть заметно улыбнулась, как бы говоря: «Ну-ну, полно, знаем мы цену таким речам».

Пора было уходить. Когда я помогал ей надевать пальто, случилось чудо: она обернула ко мне голову, взглянула в упор, покраснела, и мне явственно почудились слова: «Как хорошо, что мы нашлись, и что полночь, и что мы возвращаемся домой вместе...» Эти слова она произнесла мысленно или другие — не знаю. Может, это было просто ее ощущение и оно передалось мне.

Смокинэ́, человек всю свою жизнь мечтает! Можешь не верить тому, что я говорю, только слушай меня, Смокинэ́! Ведь как знать —может, и с тобой случится такое, что расскажи — не поверят. Что-то предназначенное именно тебе — и надо будет только суметь различить его голос, почуять его сердцем.

Вот сколько во мне сидело поэзии. И это в офицере,

да еще на фронте. Положительно, меня стоило отдать под трибунал!..

Я стал называть Кларис на русский лад — Клариной, оправдываясь тем, что конечное «с» звучит по-гречески и на него трудно найти русскую рифму.

Кларина была южанка. Ее родители, он — режиссер, она — преподавательница лицея, жили уже давно в этом городке, жили между собой в согласии и молились, чтобы настал мир. Мне кажется, все это было только вчера, Смокинэ́! В одну ночь все кануло в пропасть: мир, домашнее детство, банки с вареньем. Людям нужен мир, лишь когда они счастливы, Смокинэ́. А счастливца встретишь одного на десять тысяч, остальные только и смотрят, как бы утвердить себя. И война для этого — лучшее средство. Не надо бы тебе этого говорить в твои двадцать лет... и четыре месяца! Но ты, помнится, сказал, что из поэтов любишь Байрона и Лермонтова. Они тоже были несчастны!

...Мы пришли к ней в дом: на пороге нас ждали ее родители. Знаешь, иногда от избытка чувств человек может сболтнуть ужасную глупость, и я сказал Кларине:

— Буду дезертиром. Не пойду больше на войну!

— Это бестактно,— возразила она шепотом,— ведь дело касается моей родины, она в опасности.

Щеки у нее запылали, и, наверное, не только от моей бестактности. Она поспешно обняла мать, спросила, не устала ли та ждать нас.

Мы посидели за столом — и я, по правде сказать, легко поддался на уговоры выпить рюмочку коньяка, очень уж хотелось почувствовать себя, как дома (грешные мы существа, спиртным и тушим в себе и разжечь пытаемся божественный огонь), а потом меня проводили в отведенную мне комнату.

Не знаю, спал ли я в обычном смысле этого слова. Я грезил с открытыми глазами. И окно было открыто. И небо. И войны не существовало. И все беды исчезли с лица земли. Был только юный и наивный русский офицер, которого занесло во Францию, и была сладкая тоска у него в груди.

Меня мучила жажда, и я, как наяву, увидел Кларину: она стояла на высокой скале и оттуда лила на меня родниковую воду из кувшина. Но вода рассыпалась, как пыль, и терялась в воздухе. Кларина то улыбалась, то

принималась смеяться, и смех ее звучал звонко, как эхо в горах. И снова она лила из кувшина воду, делая мне знак подойти ближе и подставить под струю лицо. И вода по-прежнему рассыпалась в пыль, а мне все сильней хотелось пить. Скорее всего, это жажда породила такой сон. Но жажда — чего? Что со мной было? Не знаю. Бывает, встретятся двое, и каждый скажет: «Вот он!» Знаешь, бабочка, например, чтобы найти свою половину, должна расшифровать рисунки у нее на крыльях. Всякое бывает. Бывает, что те, кто создан друг для друга, живут на разных континентах и им никогда не встретиться, а тех, кто рядом с нами, мы подчас любим лишь в силу необходимости.

Однажды вечером мы остались одни. Она села к пианино и попросила меня переворачивать ей ноты. Мы сидели рядом, она листала ноты, что-то ища, остановилась на одной из пьес и показала мне название. Я прочел: «Радость любви». Она взглянула на меня вопросительно и положила руки на клавиши.

Мы сидели совсем близко. Я не сводил с нее глаз. Я думал: конечно, она догадывается, что я влюблен. Но что я полюбил ее задолго до того, как встретил, она вряд ли знает.

Мы сидели не шевелясь. Наконец она вскинула голову и проговорила шепотом, задумчиво глядя перед собой, как если бы читала эти слова с невидимого экрана:

— Нежданно-негаданно вошел человек в дом мой. Бог послал мне его, бог, которому я молюсь.

Я вздрогнул, как будто меня застигли врасплох.

Она посмотрела на меня испытующе и спросила, все еще держа руки на клавишах:

— Странно, правда?

— Чьи это слова?

— Не знаю... То ли я их где-то вычитала, то ли они сами пришли — нанизались, как бусинки на нитку...— И добавила: — Иногда вообще с трудом веришь в то, что происходит. Удивительно! Совсем недавно вы были в России, в этой далекой стране — я представляю ее себе без конца и края и только в двух цветах — в зеленом и белом. Страна, которую населяют загадочные люди. Романтическая страна. А теперь вот вы во Франции: когда я вас увидела в первый раз, мне показалось,

что я вас уже знаю! Вы говорите на моем языке и сражаетесь за мою родину. Вам не случалось встретить человека, который бы совпадал с образом, созданным вашим воображением?..

«Вон оно как,— подумал я,— милый полковник, с романтикой у вас перебор. Надо же, сколько сантиментов. Но в конце концов это ваше право, хоть вы и гроза танков».

А полковник Покровский продолжал:

— Вы пришли, как приходит в разгар знойного дня странник из чужого мира. Вы пришли, и я сказала себе: «Это он!» Простите мне мою откровенность. Я всего лишь француженка, каких тысячи. И обещайте, что все, что я вам сказала, останется между нами.

Поздно ночью я спустился в садик за домом, зашел в беседку и сел на скамью в глубине. Я смотрел, как блуждает луна в нагромождениях туч, словно корабль среди льдин.

Все представлялось мне в голубых тонах, все будило настойчивые, осязаемые образы. Понимаешь, я осязал голубой цвет, в котором они представали передо мной... С тобой случалось что-нибудь подобное? Как ты воспринимаешь цвета?

...Дул легкий ветерок, как будто от взмахов невидимых крыльев, от ровного дыхания спящего горизонта; он овевал меня, казалось, тем же цветом — голубым! Говорят, что это цвет духовных высот, чистоты, мира. В тот миг мне ничего не надо было — только оставаться в сферах, до которых я возвысился. Верно, христианство не зря пользовалось этим цветом, он располагает разум к примирению, успокоению.

Да, веял голубой ветер. Кругом все было недвижно, я сам застыл на скамейке, улавливая, как сейсмограф, любой шорох. Вот чьи-то шаги прошелестели по ступенькам, едва касаясь их, как тихий снегопад. Кларина вошла в беседку. Подошла ко мне, замедленно, как во сне. Молча положила мне руки на плечи и прижалась лбом к моим губам...

Уходя, она сделала мне знак рукой остаться на месте и скрылась, как призрак.

Рассвет застал меня там же, в беседке.

То, что последовало, нельзя назвать иначе, как сном, прерванным лишь звуком походной трубы. Отпуск кон-

чился, комплектование полка завершилось. Надо было возвращаться на фронт.

В день расставания мы с Клариной сидели дома в гостиной, она — у пианино, я — рядом. В жестах ее сквозило какое-то безразличие, будто разбилось то хрупкое, неуловимое, что нас связывало. Все же она не раз принималась пытать меня: зачем? зачем все должно быть так?

Последний раз я смотрел на ее профиль: ей так шло откидывать назад головку, все в ней хорошело — глаза, лоб, даже голос. Знаешь, Смокинэ, эта поза вообще преображает человека, вот что я понял с тех самых пор. Я и сейчас вижу, как она спрашивает меня, как будто читая слова на невидимом экране:

— Уходишь?

— Ухожу,— отвечал я, не думая, что ухожу навсегда.

— Доведется ли встретиться?

— Я вернусь...

— Нет, не увидеться нам больше. Это была бы уже другая сказка.

— Война скоро кончится...

Я не знал, как успокоить ее, не находил тех единственных слов. Нам было одинаково больно. И тогда она сказала:

— И ты, и я — все мы подчиняемся одному магическому слову: «Родина»!

Мне показалось, что сейчас это ненужные, напыщенные слова. Потом после долгого молчания она попросила — в шутку ли, всерьез:

— И я с тобой! И я на фронт, и я — умирать!

Я ответил ей, что это немыслимо. Она закрыла лицо руками.

И вдруг — отерла щеки тыльной стороной ладони, закусила губу и резким движением подняла крышку пианино. Положила руки на клавиши и некоторое время не двигалась, потом с силой взяла аккорд. Вереница звуков возникла и оборвалась, и будто что-то оборвалось в ней самой.

— Никуда я не поеду,— сказала она.— Пусть все остается на своих местах. И ты... и я!..

Она откинула голову на спинку стула и больше не скрывала слез. Я попробовал было утешить ее: все великие поэты утверждают, что после слез настает покой, сказал я. Она улыбнулась и ответила, что я, оказывает-

ся, могу быть циником, но что мужчине не к лицу одна только глупость. Видишь как, Смокинэ́?

К вечеру мы распрощались: я уехал.

Так вот и осталась во мне Кларина. Я подарил ей на память картину, которую сам написал — работал я над ней в печальные часы, весь в мыслях о будущем России — оно представлялось мне в виде темного дремучего леса. И я изобразил на холсте именно такой лес: зловещий, непроходимый, деревья — стеной. А узкой тропкой обозначил единственную дорогу, она пыталась пробиться сквозь чащобу, но тут же терялась в густой тьме. Это был мой будущий жизненный путь. Да, Смокинэ́, будущее никогда не давало мне спать спокойно. Серые, свинцовые тучи над лесом представляли у меня грядущие события — я смутно предчувствовал приближение бури, но ее, так сказать, социального смысла еще не понимал.

Семье Прево картина пришлась по вкусу. Отец Кларины даже сказал, что, если ее послать на выставку, она будет иметь шансы на успех и что достоинство картины именно в ее символике. Конечно, господин Прево преувеличивал, хотя с ним соглашались некоторые друзья дома.

...Ну, вот и сказка вся, Смокинэ́. Сказка про Кларину — один миг, один эпизод, который судьбе не было угодно заменить ничем другим. Н-да!.. Потом я был ранен, и все пошло кувырком. Горе тому, кто ранен в ногу — конь ты или солдат. На хромых посмотришь — и жалко и смешно.

Рана у меня еще не вполне зажила, когда пришла весть о революции в России. Я поспешил уехать из Франции — с грустью, но без колебания...»

Светало. Полковник Покровский поднялся со стула, несколько раз прошелся по комнате, остановился у окна.

В доме стояла глубокая тишина. Я проникся в конце концов этой историей. Что-то сжалось во мне, как пружина. Мне казалось, что в целом мире не спим только мы двое и еще — где-то далеко, на другом краю континента — Кларина. Кто знает, может, она тоже в эту минуту ходит взад-вперед по комнате и рассказывает кому-то, может, тоже совсем незнакомому, про тот день, когда дверь отворилась и вошел человек к ней в дом.

— Почему я тебе все это рассказываю? — спросил

полковник.— Наверное, потому, что еще никто не слышал от меня этой истории.

Полковник сел к пианино и ударил обеими руками по клавишам: аккорд, другой, третий. Я узнал «Патетическую сонату». До сих пор он не играл ее ни разу.

— Знаешь, что это? — спросил он меня.— Это то, что играла мне Кларина на прощанье.

Яркая вспышка света осветила комнату, оглушительно грохнуло. Меня качнуло, как от удара. Я увидел, что полковник держится за руку, нагнувшись над пианино. Во дворе разорвался снаряд, стекла вылетели, и комнату наполнил сладковатый тошнотворный дым.

Полковника, к счастью, не ранило, просто ушибло взрывной волной. Он убрал руки с клавиш и безучастно застыл, откинувшись на спинку стула, потом поднялся и со словами: «Тоже мне, нашли время музицировать!» — подошел к полевому телефону в углу, снял трубку и попросил связать его с командиром корпуса.

Бомбардировка длилась каких-нибудь пятнадцать минут. А через два часа мы получили приказ о переводе на другой участок фронта.

3

В феврале 1945 года три полка артиллерийской противотанковой бригады с марша заняли позиции в левобережье Дуная тридцатью километрами выше от впадения в него Грона, на ровном, как ладонь, месте. Последнее время бригаде приходилось столько маневрировать по всему фронту, что артиллеристы сначала не успевали, а потом уже и отвыкли рыть для пушек огневые позиции и даже вообще прибегать к камуфляжу. Траншей для себя тоже не копали. И вот в одно прекрасное утро копны кукурузных стеблей на поле рассыпались и из каждой вышел немецкий танк.

Это была не битва, а избиение. За ночь закамуфлированные танки так отлично изучили свои мишени, что дела им хватило всего на несколько минут. С одного удара от каждой пушки оставалось два колеса да разбитый лафет.

Пятьдесят четыре танка пошли в атаку на позиции одного-единственного полка.

Разведывательному взводу, которым я командовал, было поручено держать под наблюдением правый берег

Дуная на всем его протяжении — почти до Эстергома: немцы могли перейти реку и атаковать нас с тыла.

Мне не удалось связаться по рации ни с командиром бригады, ни с начштаба. Надо было как можно скорее разыскать полковника Покровского и оповестить его о высадке немцев на левом берегу, и я, захватив с собой напарника, отправился на мотоцикле туда, где, по моим расчетам, сражались две батареи двадцать третьего полка.

Вся придунайская низменность — прекрасный учебный полигон и негодная стратегическая местность в военное время — пестрела сотнями снарядов, они блестящими иглами вонзались в сероватый холст хмурого февральского дня.

...Подле высокой скирды соломы кто-то палил из пушки. Четыре танка горели, но самой пушке тоже доставалось: еще три танка наступали, два — с флангов, один — спереди.

За сотню метров я узнал полковника Покровского. Оставив мотоцикл за скирдой, я бросился к нему вместе со своим спутником. Стоя на коленях, он наводил прицел на танк, шедший прямо на нас. Заряжать ему помогал только один солдат, да и то раненный в плечо.

Я навалился на полковника сзади и оторвал его от наводки, крича:

— Еще минута, и будет поздно!

— Поищи «подкалибр», Саша! — крикнул он мне в ответ. Это означало, что я должен порыться в ящиках и отыскать там снаряд новейшего образца, способный пробить панцирь «тигра». Но из-за скирды вот-вот вылезет другой «тигр» и разнесет нас на части своим восемьдесят восьмым калибром. Я кликнул на помощь напарника, мы сгребли полковника в охапку и силой втащили в мотоциклетную коляску, туда же забрался мой напарник, а раненый солдат оседлал заднее сиденье. Полковника пришлось держать за руки, а он орал не своим голосом, что всех нас расстреляет.

Из-за скирды появился немец — мой напарник прошил его автоматной очередью, мы рванули и проскочили под самым носом у танка, пока он еще не вылез из-за скирды. Только в дороге я заметил, что полковник ранен в руку повыше локтя.

Когда мы добрались до участка двух остальных пол-

ков, где был и командир бригады, полковник Покровский только и смог вымолвить: «Под трибунал!»

Ну нет, слишком дорогая цена: советского полковника за немецкий «тигр». Я так прямо и доложил командиру бригады.

Меня тут же отправили на другое задание, а полковник Покровский остался на попечении санитаров.

Через несколько дней, вернувшись из разведки, я зашел к полковнику справиться о его здоровье: он не захотел ложиться в госпиталь в тылу, а остался с рукой на перевязи командовать штабом.

— А, это ты,— встретил он меня.

— Я, товарищ полковник.

— Танки?

— Ни единого. Можно спокойно спать до утра. «Тигры» попрятались в джунгли...

— До сих пор не могу успокоиться — что ты мне устроил тогда. Такого срама в жизни не испытывал.

— Товарищ полковник, обстоятельства так сложились...

— Цыц! Обстоятельства!.. Садись. Чай будешь?

— Нет, спасибо.

— Посмотри, там ром в бутылке, венгерский вроде бы.

— Ром, пожалуй, можно, я промерз весь, угодил в болото по дороге.

— Ну, так живей переодевайся. Возьми одежду вон в том чемодане...

— Да вы в два раза выше...

— Ты где проходил ученье, скажи-ка мне?

— На ускоренных курсах.

— То-то и видно. А я кончил офицерскую школу, и в этой самой школе нас учили, что нет таких обстоятельств, при которых русский офицер мог бы бросить пушку и бежать.

— Даже не прихватив замка?..

— Не знаю, что мне мешает огреть тебя хорошенько.

— Будьте здоровы, товарищ полковник! — и я хлебнул рома.

— Перемени белье, до нитки ведь вымок. Я позвоню твоим, предупрежу, что ты здесь. Ложись, спи.

Я улегся на диван. Полковник набросил на меня шинель, погасил свет и сам лег в углу на кровати. Мы стояли в селе, из которого немцы убрались так поспеш-

но, что все дома остались целы. Где-то недалеко пропел петух, ему откликнулся другой. У калитки переговаривались часовые.

Полковник долго шарил у себя по карманам, вероятно, ища флакончик с духами. Неужели он уцелел во встрече с «тиграми»?

— Это вы подожгли те четыре танка? — спросил я.

— Не знаю,— ответил он.— Ты когда получил последнее письмо из дому?

— Дня четыре назад. Теперь вам должны дать... Героя. Четыре «тигра» в таких обстоятельствах...

— Что тебе мама пишет? — прервал он меня.

— Ждет, когда война кончится и я вернусь живым и здоровым.

— «Скоро, скоро запоют петухи, скоро будет свет на Святой Руси...» — продекламировал он из темноты.— Помнишь? Эх, не дождусь услышать петухов у нас в деревне, большой это день будет, Саша.

— А вам домашние пишут?

— Да. Скучаю по сестре. У меня только и есть на свете, что она да племянник, он тоже на фронте. Был где-то под Сандомиром, а сейчас — никаких вестей.

— Почему вы не взяли отпуск — с рукой?

— Вторая пока есть...

Уже засыпая, я пробормотал:

— Может, мы и Кларину встретим где-нибудь в Европе...

Наяву я бы, конечно, не позволил себе такого.

— Что ты сказал? — встрепенулся он.

— Я про Кларину,— ответил я и подумал: «Сейчас мне достанется — лезу человеку в душу, он небось уже пожалел, что рассказал мне эту историю».

Но полковник произнес неожиданно тихо:

— Это абсурд,— и чуть слышно вздохнул, как человек, покорившийся судьбе.

— Да, конечно,— подтвердил я,— абсурд. Это я так сказал, не подумав.

Пропел петух, за ним — другой. И снова полковник вздохнул — в ответ на свои думы.

...Мы не верим в сны и пророчества, а верить хочется — в знамения, что предвещают минуту, приносящую нам крупицу счастья. Природа, сотворившая нас, гениальна своей ошибкой: она забыла оставить нам окошко, через которое мы могли бы увидеть свое будущее.

4

Однажды мартовским днем мы сидели на веранде дома в местечке Паасдорф, в Австрии. Вид с веранды открывался прекрасный, но нам было не до красот природы.

— Ситуация критическая. Линии фронта нет как таковой,— говорил полковник, раскладывая на столе карту.

Последняя фраза означала, что мы потеряли контакт с противником и в данный момент не известно, где он находится. Подобные случаи чаще всего приходились на конец войны, когда части противника отступали по ночам, бесшумно, без прикрытия. До нас в Паасдорфе стояла одна наша пехотная дивизия, но ее как раз накануне перебросили куда-то на другой участок. Мы пришли на пустое место. Вопрос: где неприятель и какими силами он располагает? — оставался без ответа. В таких случаях в ход пускается разведка — она устанавливает линию фронта и наносит ее на карту. Дело нешуточное.

Позади был долгий ночной переход, мы здорово устали, ребята повалились кто где и заснули. Наверное, во всем селе только мы с полковником не спали, когда стало светать. Местных жителей на улицах было не видно: попрятались по подвалам, когда еще вылезут наверх.

...Невдалеке, километрах в десяти, виднелась цепь холмов, напоминающая морское побережье. За ними поднимались и исчезали вдали горы, растворяясь в густо-фиолетовой дымке, как на картинах импрессионистов.

Я сказал полковнику, что неплохо бы нам туда прогуляться.

— У тебя все гулянье на уме,— сказал он, взглянув на меня с иронией.

— Может, косулю подстрелю...

— А почему ты знаешь, что там нет немецких «пантер»?

— Чего им там делать, они бы тогда сюда уже добрались.

— Через два часа получишь приказ и пойдешь разведывать линию фронта.

Я не мог отвести глаз от гор. Полковник проследил за моим взглядом; я знал, что он страстно любит охоту, у него даже была коллекция охотничьего оружия. Но сколько мы были знакомы, передышки он себе не позволял. Даже сейчас, когда вокруг тишина и покой...

— Ступай отдохни час-другой, потом соберешь группу.

Но отдыхать мне не пришлось. Я натолкнулся на лейтенанта Рыжкова и поделился с ним идеей прогулки. Рыжков — разведчик и командир взвода радистов, тоже заядлый охотник — хлопнул меня по плечу, сказал, что за такую идею и миллиона не жалко, и велел подождать пять минут, пока он сбегает за охотничьим ружьем.

— Через пару часов нам все равно идти по следу, неприятеля выслеживать,— подбадривал меня Рыжков.— Почему бы не сделать сейчас репетицию?

Я накинул плащ-палатку, сел на мотоцикл, Рыжков — в коляску. В нашем распоряжении было два часа. Я объявил дежурному радисту, куда мы поехали, и отметил на карте наш маршрут.

Асфальтовая дорога при выезде из Паасдорфа ныряла под железнодорожный мост, километров семь шла по прямой, до села Клаувиц, потом поворачивала вправо и терялась у горной цепи.

В коляске мы поместили пулемет и несколько лент с патронами, прихватили и противотанковые гранаты — все как для разведки, которая нам предстояла через два часа.

Под мостом мы остановились у наших передовых батарей. Я спросил у командиров, нет ли у них сведений о неприятеле, они сказали, что до Клаувиц все тихо-спокойно.

Проехали Клаувиц. Местные жители первый раз видели советских солдат. Кто опасливо держался поодаль, кто с любопытством подходил поближе. Мы свернули направо, к горам. Ехали медленно, следили за дорогой — она могла быть заминирована. Вот мы у подножия гор. Смотри-ка ты, какие! Постояли молча. Потом поехали в гору. Поднимались потихоньку, дорога все время петляла мимо огромных скал, покрытых мхом, горных полян, на которых тут и там пробивались зеленые ростки. На половине пути сделали остановку, заглушили мотор. Стало слышно, как пробуют голоса птицы, почуявшие весну.

— Ну, и где же косули? — спросил лейтенант.

— Наверно, в эвакуации...

— А ну, давай выше, не такие же они дурочки, чтоб ждать нас на дороге.

Вот мы на большом и ровном плато. Крупный крас-

новатый песок поблескивал под косыми лучами солнца, и казалось, что все плато устлано ковром. Я сразу почувствовал себя как-то торжественно: у нас в селе по большим праздникам всегда посыпали песком дорожки к школе.

Здесь дорога обрывалась. Дальше шла тропинка к высокой каменной стене с железными воротами, сквозь решетку которых виднелся красивый двухэтажный дом, настоящий маленький замок со шпилем; к нему вела аллея, тоже усыпанная песком. Вокруг — ни души.

Мы оставили мотоцикл у ворот и, взяв автоматы, тихонько открыли калитку. От середины аллеи отходили две тропинки, одна огибала бассейн, другая — скульптуру, изображавшую женскую фигуру и у ее ног — лягушку и змею. Мы постояли у бассейна. Вода была холодная, ключевая.

— Пойду посмотрю, что там за домом, жди здесь,— сказал Рыжков.

— У тебя граната при себе? — спросил я.

— Даже две. А ты смотри в оба,— предупредил он и пошел.

Я стал разглядывать дом и заметил, что на первом этаже открыто одно окно: значит, кто-то здесь есть. И тут же из раскрытого окна донесся сильный аккорд — играли на пианино. Всего можно было ожидать — только не этого, здесь, в горах, на заброшенной вилле.

Первые аккорды пролетели в тишине, как обещание. В прозрачном утреннем воздухе пианино звучало, как колокол. Что это за мелодия? Горло перехватило, я сел, прислонившись к каменной статуе, и увидел, как наяву, профиль откинутой назад женской головки, ищущей забвения в тревожных звуках сонаты — или зовущей на помощь? Я чуть было не назвал ее по имени: «Кларина!» Чем она так встревожена? Почему она здесь, в горах, в чужой стране — Австрии? Я пожалел, что со мной нет полковника и некого подтолкнуть локтем и шепнуть одно только слово: «Кларина!». «Да,— ответил бы он,— так играла Кларина... Но тише, давай послушаем. Она играет прекрасно, по-особому».

Кларина играла, и я слышал, как бьется ее сердце, ощущал ее дыхание. Я видел ее за пианино и уже не спрашивал, как она сюда попала. Внезапно пьеса оборвалась вибрирующим звуком. Наступила тишина — глубокая, зловещая. Я почувствовал, что сейчас что-то про-

изойдет. Дрожь пробежала по телу. Я готов был броситься к окну, просить, чтобы играли дальше, но тут искра блеснула в недрах комнаты, и меня ударило в грудь. Как гром среди ясного неба, в ушах хлопнул глухой выстрел, и я еще успел увидеть, как из окна выпрыгнули две фигуры. Потом шпиль на доме закачался и провалился куда-то в пропасть, а я обнял каменную статую, но земля ускользала из-под ног с головокружительной быстротой.

...Я очнулся вдруг, как будто вынырнул из-под воды. Острый камушек впился мне в щеку, а рот был как будто набит солью. Попробовал шевельнуть языком — не могу. Скосил глаза и увидел красную полоску — она свешивалась у меня изо рта на песок. Она-то меня и держит, как на привязи, решил я и хотел было порвать ее рукой, но попал во что-то мокрое и теплое: кровь!

Вокруг все было как прежде: тот же дом со шпилем, та же каменная женщина, что не хотела меня поддержать, когда я падал, и то же раскрытое окно. Потом подбежал Рыжков, оттащил меня к мотоциклу, уложил в коляску, приговаривая: «Вот идиотство!» Заверещал мотор, начался бесконечно долгий путь, и я то и дело проваливался куда-то в пропасть.

Еще раз я пришел в себя в медчасти, услышал голос командира бригады, он говорил, что меня надо немедленно в госпиталь. Голос полковника Покровского спросил:

— Что говорит врач?

— Говорит, если пуля легкое не задела, не опасно. Хотя черт его знает. Он столько крови потерял.

— Возьмите у меня кровь,— услышал я Рыжкова. «Вот идиотство!» — завертелись в ушах его слова.

5

...Первое, что я увидел, был потолок со старинной люстрой причудливой формы. Потом — Мария Магдалина, барельеф на стене. Немного повернул голову, и в глазах зарябило — столько веснушек было у девушки в белом халате; она тихонько сидела на стуле и, когда заметила, что я открыл глаза, вздрогнула, как от неожиданности.

— Вы кто? — спросил я.

— Ich verstehe nicht[1],— ответила девушка.
— А что же вы здесь тогда делаете?
— Ein moment[2].— Она приложила палец к губам, чтобы я молчал, и заторопилась из комнаты.

Вскоре на пороге появилось еще одно существо, тоже в белом халате,— худенькая, бледная, большеглазая девушка с крепко сжатым ртом. Она как будто была чем-то напугана. Подойдя поближе, она уставилась на меня с любопытством.

И — странное дело — глаза ее изучали меня, будто пытаясь отгадать во мне кого-то другого. Я почти физически ощущал ее взгляд, скользивший по моему лицу, спускавшийся к моей ране — на груди, справа.

Она тоже что-то была не похожа на русскую. И меня вдруг осенило — я в немецком госпитале! Значит, в плен попал! Но тогда почему я в отдельной комнате, да еще в такой роскошной, а не в бараке? Ага, это оттого, что меня взяли как разведчика, хотят подлечить поскорее — и на допрос: «Из какой вы части? Сколько у вас пушек, какого калибра? Каково расположение полков?»

Это какой этаж может быть? Если выпрыгнуть в окно?.. Кто-нибудь из наших знает, интересно, где я? Что это за город? Какое сегодня число? Эти девчонки не скажут, они мне сделали знак молчать, значит, не имеют права со мной говорить!

Тут я снова потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел возле кровати старика с бородкой и нашего врача, майора Рудякова.

— Wie fühlen sie sich? — мягко спросил старик.
— Как себя чувствуешь? — перевел майор.

И напрасно. Немецкий я штудировал в школе добросовестно.

Прежде чем улыбнуться, как полагается больному, приветствующему врачей, я ответил, что хорошо себя чувствую. Потом повернул голову — посмотреть, что со мной хочет сделать этот старик,— и опять увидел девушку с большими глазами — она стояла рядом с ним. Я спросил у майора Рудякова, кто эти люди.

— Успокойся,— ответил тот,— это хозяин дома, профессор Штирер, хирург, знаменит на всю Австрию. А это его внучка, Габриэла.

---

[1] Я не понимаю *(нем.)*.
[2] Минутку *(нем.)*.

Профессор что-то сказал внучке. Она вышла.

— Операция будет совсем легкая,— объяснил мне майор.— Да даже не операция, а так — пустяковая процедура. Пуля застряла между ребрами, ты везучий.

— А кто та, другая? — спросил я, потому что вторая девушка тоже была в комнате.

— Сиделка. Работает у профессора.

Тут Габриэла вкатила столик на колесиках, на нем — хирургические инструменты. Наверное, на лице у меня появился протест, потому что профессор, чтобы меня успокоить, стал рассказывать, как во время первой мировой войны он был на фронте и его ранило, а операцию ему делал русский врач. Поэтому сейчас он пустит в ход все свое умение, и мне будет не больно — как молочный зуб вырвать.

Профессор начал снимать повязку с раны. Габриэла хотела было помочь, но тут же отпрянула назад. Я смотрел на ее руки. От кого-то я слышал, что по пальцам можно определить профессию. Ее пальцы показались мне сильными, развитыми: печатает на машинке или играет на пианино? Ответить мне было в той ситуации не под силу. Тогда я принялся разглядывать указательный палец ее правой руки, маленький ноготок с прозрачным круглым кончиком. Она перехватила мой взгляд и, насупясь, спрятала руку за спину.

— Nein, ich werde es nicht aushalten können![1] — вырвалось у нее.

— Nu, nu, Mödel, was ist denn lös?[2] — удивился профессор.

Она на миг закрыла глаза, как будто у нее закружилась голова, потом послушалась его приказания: взяла тазик и поднесла его к ране. Острая, как удар ножа, боль пронзила меня, потом — «цок!» — что-то стукнуло о дно тазика.

...На другой день я проснулся на рассвете. В комнате, посреди которой я лежал на кровати, было совсем светло. Дверь стояла раскрытой. Где-то по соседству тикали часы, по звуку — большие, из тех, что отмеряют время, чинно покачивая маятником. Я с удивлением заметил Габриэлу: она сидела, положив руки на подоконник, уткнувшись в них головой, как будто ждала кого-

[1] Нет, я не вынесу этого *(нем.)*.

[2] Ну, ну, девочка, что с тобой такое? *(нем.)*

то много-много лет и наконец заснула от усталости. По ее позе видно было, что она спит глубоким сном, и я подумал, что, будь я художником, я нарисовал бы ее вот так и подписал бы под картиной: «Ожидание».

Тихо, насколько позволяла рана, я позвал ее по имени. Потом стал скандировать: «Га-би», приноровив его к «тик-так». Мерно тикали часы, и я не мог остановиться, а все повторял и повторял эти два слога. Вдруг часы появились в дверях, огромные, до потолка, и на маятнике у них, как на качелях, качалась Габриэла.

— Га-би! — крикнул я изо всех сил и услышал, как она вскочила со стула, и тут же теплая рука коснулась моего лба и раздался испуганный голос:

— Что случилось?

— Остановите эти качели! — попросил я.

Габриэла догадалась, что мне мешают часы, вышла в соседнюю комнату, остановила маятник и вернулась к моей кровати.

— Садитесь сюда.— Я глазами показал на стул, радуясь, что все понимаю и могу кое-как объясняться.

— Чем вам не понравились часы? — спросила она.

— Галлюцинации от них... Я боялся, чтобы вы не свалились...

— Откуда?

— С маятника...

Она слабо улыбнулась — первой улыбкой больного после долгой болезни. Потом поставила мне градусник, подозревая, что у меня жар, и замолчала, сплетая пальцы, как будто впервые вышла на сцену и не знала, куда девать руки.

— Как нехорошо...— начал я.

— Что нехорошо?

— Разлегся здесь, как калека какой-нибудь немощный, и столько хлопот от меня сестре милосердия.

— А я вовсе не сестра милосердия,— сказала она.

— Это чей дом?

— Моего деда.

— Профессора Штирера?

— Да.

— И вы здесь живете?

— Тсс! — она приложила палец к губам.— Вам нельзя разговаривать. Профессор запретил. У вас чуть-чуть задето легкое.

Я спросил, где майор Рудяков. Габриэла вышла его позвать.

— Почему я в частном доме, а не в госпитале? — поинтересовался я у майора.

— Наш санбат все время стоял в этом городишке, только на днях снялся с места. Здесь я и прослышал про хирурга Штирера. Скоро видно будет, что с тобой дальше делать,— объяснил он.

Городок, как сообщил мне майор Рудяков, назывался Гавайншталь. Я эти края знал прекрасно, здесь располагались склады и мастерские нашей бригады. Через несколько дней, наладив для меня радио, майор уехал, оставив меня на попечении интендантской службы и обещая скоро вернуться.

Когда я в первый раз услышал музыку, я почувствовал такую боль, как будто мне разбередили рану, и попросил профессора выключить радио.

— Почему? — спросил он в недоумении.— Вы не любите музыку?

Я ответил, что с недавних пор ненавижу ее.

В карих глазах Габриэлы вспыхнула искорка, и, закусив губу, она вышла из комнаты.

...Через два дня майор Рудяков вернулся и привел с собой еще трех раненых, солдат-телефонистов. Штирер принял и их тоже и поселил в одной из комнат на первом этаже. Они подорвались на минах, но отделались легко и не хотели ложиться в санбат. Майор привел их сюда, чтоб продержать в постели хотя бы недельку.

Кроме того, он рассказал новости: наша бригада продвинулась вперед километров на тридцать и догнала наконец немцев. За февральские бои многие из нашей группы, в том числе и я, были представлены к награде. Полковник Покровский прислал мне через майора записку с поздравлением. Только флакончика с духами на этот раз я от него не получил.

Уладив все вопросы со Штирером и с нашими офицерами-снабженцами, майор снова уехал, оставив при нас санинструктора, и обещал, что дней через десять либо приедет сам, либо пришлет за нами помощника.

Так я остался один, хотя русских было нас в доме пятеро. Санинструктор взял на себя троих новичков. Девушка с веснушками только приносила еду и прибиралась. У профессора и без нас хватало пациентов, его очень часто вызывали в город. Некому было отвлечь

меня от мысли, что я валяюсь, как инвалид, по собственной дурости. Пусть бы хоть десять ребер перебили, да только в бою, а не вот так по-идиотски. Сейчас все, что я мог,— это приподниматься на локте и смотреть на весну из окна второго этажа. Да и то — не тут-то было: на пороге вырастала Габриэла, серьезная, почти хмурая, на лбу — три озорные прядки волос, совсем не идущие к лицу, на котором улыбка была таким редким гостем.

— Вам нельзя подниматься с постели,— одергивала она меня.

— Почему?

— Врач не велел.

— Какой врач?

— Ваш.

Я злился: зачем говорить такие вещи? И кто ей дал право заходить ко мне в комнату и делать замечания?

По вечерам она иногда сидела у окна в соседней комнате, как будто на дежурстве. Заходила, спрашивала, не надо ли мне чего. Постепенно у меня сложилось впечатление, что у нее в жизни была какая-то утрата и теперь она пытается заглушить печаль в обществе раненого.

По утрам меня обихаживала девушка с веснушками, потом навещал профессор.

— Гут-гут,— говорил профессор.— День ото дня все лучше. У вас крепкий организм. Да и еще бы — в вашем-то возрасте!

Вечером профессор тоже справлялся о моем состоянии, а иногда просто приходил в гости и рассказывал про свою жизнь. Я узнал, что он родился в этом самом доме, здесь же провел и детство. Учился и работал он в Вене, наезжал в Гавайншталь только летом, да и то не всякий год. Теперь, из-за войны, он переехал в свое родовое гнездо на окраине города, у леса, оборудовал тут хирургический кабинет. Переехал вместе с внучкой, студенткой Венской академии художеств. Она тоже родилась здесь, в дедовском доме, и у нее никого не было, кроме него и еще кузена, который тоже в Гавайнштале. О внучке профессор говорил с нежностью — но только не при ней — и один раз даже назвал ее талантливой. Спросить, где родители Габриэлы, как-то не было случая, да это меня, по правде говоря, и не слишком занимало. Заинтриговало меня совсем другое: то, что она художница. До сих пор я считал, что она изучает меди-

цину и ассистирует деду по профессиональным соображениям. В противном случае какой смысл ей имело торчать подле меня? И я как-то даже спросил ее, почему она сейчас не рисует. Она только сморщила лоб и не ответила. А показать свои работы отказалась.

Однажды, от нечего делать, я взялся чистить пистолет. Вошла Габриэла. Увидев у меня в руках оружие, она испуганно спросила, что я еще надумал.

— Хочу пальнуть по Марии Магдалине,— сострил я.

— Нет! — крикнула она, раскидывая руки и закрывая собой барельеф.— Это память о маме. Вы не смеете!

— Пожалуйста, сядьте, Габриэла,— сказал я.

Она послушалась и села, как всегда, на стуле в двух шагах от меня.

— Почему вы каждый день приходите ко мне в комнату, садитесь вот так на стул и смотрите на меня, как будто вы на лекции по анатомии? — стал допытываться я.

Она смахнула рукой три прядки волос со лба и посмотрела на меня, как бы решая, говорить со мной откровенно или нет, но это длилось всего минуту. Она опустила глаза и сказала:

— Я слышала как-то раз, как вы с моим дедушкой говорили о Гете. Неужели вы его читали?

— Читал кое-что. А чему тут удивляться?

Она не ответила, только пожала плечами и взглянула на меня с любопытством. Тогда я сказал, что читал и Байрона, и Шиллера. А потом спросил, читала ли она Лермонтова?

— Нет,— призналась она.— Это кто, русский писатель?

— Это величайший в мире поэт. Если бы он был на моем месте, он не позволил бы вам входить к себе в комнату, потому что вы дурнушка, злюка и вообще из вас слова не вытянешь.

Она встала и молча вышла. Я пожалел о своих словах. Но когда я подумал, что она больше не придет, мне стало совсем не по себе. Тем не менее в тот же день вечером кто-то постучал в дверь. Ее я никак не ждал. Но это была она — с кипой газет и журналов.

— Лермонтов не хочет почитать чего-нибудь?

— Где вы их столько набрали, Габриэла?

— Приходил какой-то русский солдат, спрашивал

тех, что на первом этаже, и оставил для них вот это. А они еще не вернулись.

Наши ребята уже несколько дней как встали на ноги и разнюхали дорогу в винные погреба. До них было километра три. Для меня они тоже прихватывали белое австрийское вино, но профессор Штирер запретил мне пить.

— О чем пишут в ваших газетах? — спросила она.

— О мире,— ответил я.

Она отвернулась к окну и вдруг спросила:

— Что же такое война?

— Бойня, и все дела,— ответил я.

— А мир?

— Передышка между бойнями... Чтоб зализывать раны.

У нее расширились глаза, она задумалась на секунду — и рассмеялась. В первый раз я видел, как она смеется. Она подошла к кровати и дружески коснулась меня рукой. Потом вернулась к окну, стала снова вглядываться в даль.

— Лес уже зеленый? — спросил я.

— Только начинает...

— Птицы прилетели?

Она обернулась, взглянула на меня в приливе веселого любопытства:

— А вы что будете делать после войны?

— Я или мы все?

— Ты,— уточнила она.

— Я стану артистом кино. Путешествовать — напутешествовался, водить машину — умею, стрелять из ружья — тоже. Осталось научиться целовать девушек.

Она отвела глаза, улыбаясь, потом спросила:

— Хочешь завтра выйти погулять?

— Если разрешат, с превеликим удовольствием... Но...

— Я попрошу дедушку. Между прочим, он мне сообщил по секрету, что его верхний пациент, если б был посмелее, уже давно спустился бы вниз.

— Передай дедушке, что вот уже три дня, как именно это и делается, когда все спят!

— О господи! — ужаснулась она и посмотрела на меня с укоризной.— И куда же вы ходите?

— До опушки леса, но только я один!

— Ты, ты! Я про тебя и говорю,— подчеркнула она.— А у меня в лесу есть своя поляна.

— Со старым дубом!..

— Нет, вы подумайте! — воскликнула она и потянулась было схватить меня за ухо, но вдруг замерла, может быть, вспомнив, что перед ней чужой солдат — русский, советский, большевик — чужой, как марсианин, семипалый, о трех руках, с другими воззрениями, с другой логикой. И вообще...

— У тебя есть мама? — спросила она.

— Есть. И сестра есть. И дом, где я жил, и школа, где я учил немецкий язык с четвертого класса.

— Да-а?!

— И девушка у меня была любимая, и увел ее один майор-артиллерист: куда мне за майором угнаться!

— Александр... тебя зовут?

— Да, Габриэла.

— Александр... Великий, Александр Храбрый, Александр Хитрый...

— А который из них я?

— Мне самой интересно...

— Дай-ка я посмотрю твою руку, Габриэла. Я умею гадать по руке.

Она шагнула ко мне.

— Иди ближе, Габриэла!

Она сделала еще шаг.

— Ну, еще чуть-чуть!

Она подошла:

— Какую?

— Обе,— сказал я, взяв ее за руки.

6

На другое утро я услышал от своего врача: «Зер гут!» Терпкий весенний воздух был уже не опасен для легкого, задетого пулей. Теперь профессор Штирер даже рекомендовал мне прогулки.

День был в самом разгаре, когда я спустился вниз со второго этажа и вышел на яркий солнечный свет; от земли шел животворный дух, и жужжали пчелы. В палисаднике перед домом Габриэла, сидя на корточках, вскапывала землю широким ножом и сажала цветы. С крыльца я следил за каждым ее движением. Потом сошел вниз и остановился в нескольких шагах от нее.

Габриэла повернула ко мне лицо, и глаза у нее расширились, но на этот раз не от удивления. Она знала, что я сегодня выйду на свет божий, и поэтому не зашла ко мне, как обычно, утром после завтрака. Она поправила непослушные прядки на лбу и помахала мне рукой, как будто я был где-то далеко, у горизонта.

Я спросил ее:

— Ты что, Габи?

Она встала, шагнула ко мне и прошептала прямо в лицо:

— Весна!

В ответ я хотел обнять ее, но она поднесла палец к губам:

— Нельзя. Дедушка увидит!..

Кто умеет читать между строк, тому ясно, что везде все обстоит одинаково. И что даже если дедушка станет самым яростным противником любви, и тогда любви нечего бояться.

Все же я не обнял ее, чтобы дедушка нас не увидел... Впрочем, желание это было скорее всего навеяно весной, легким ветерком, пробегающим по лесу, нежными лучами солнца.

В последующие дни Габриэла избегала входить в мою комнату. Она часто запиралась у себя и часами сидела одна. А вечером накидывала пальто и отправлялась в лес, к своему дубу.

Там я и встречал ее, и мне находилось местечко под дубом, и я спрашивал:

— Что делается в Австрии?

— А тебе нравится Австрия? — спросила она однажды.

— Вот если бы она называлась Габриэлой, а Габриэла — Австрией...

Она пожала мне руку своими гибкими пальцами.

— А у вас там — как?

— Как дома!

— У вас должно быть красивей, чем у нас. Наверное, дубы у вас — огромные, больше наших. Какова страна — таковы и деревья.

— У нас и редиска растет быстрее: за месяц — с голову!

Она рассмеялась, как ребенок, но вдруг разом помрачнела и проговорила:

— А я думала, что мне уже больше не смеяться.

— Почему?
— Не спрашивай, все равно не скажу.
— Вот, я, например, сколько пережил, а смеяться не разучился.
— Еще неизвестно, кто больше пережил.
— Ого! А я и не знал, с кем имею дело. Позволь тебя спросить: ты что, была на фронте, ты стреляла в людей?
— Для некоторых, может, достаточно все это просто видеть.
Я пристально посмотрел на нее, пытаясь понять, насколько она откровенна.
— Габриэла, скажи, пожалуйста, ты то же самое говорила, когда немцы были под Москвой?
— Что — то же самое?
— Ну, я понял, что ты против войны...
— И не ошибся. Только в то время мы мало что понимали.
Наступило молчание — каждый погрузился в свои мысли. Наконец я спросил ее, не случалось ли ей при встрече с незнакомым человеком вдруг почувствовать, что она его уже видела когда-то?
— Работа воображения. Услышанное и прочитанное собирается в образы. Да, мне случалось. А почему ты спрашиваешь?
— Потому что я тебя давно знаю. Может, по тургеневским романам... А теперь вот увидел наяву.
— Это что, русский писатель?
— И французский, и немецкий. Он для всех писал.
— Как холодно...— сказала она, поеживаясь в своем пальтишке.— Ваши завтра уезжают?
— Да. И я тоже — через пару деньков. Завтра должен приехать наш доктор, и я отправлюсь восвояси — может, даже с ним вместе.
— На войну?
— На войну.
— И будешь убивать людей?
— Фашисты — не люди.
Она опустила голову и сказала:
— Солнце садится...
— Тень упадет на землю, тень возьмет нас в плен,— подхватил я ей в тон. У меня было впечатление, что мы разыгрываем сцену из пасторали, написанной лет сто назад.

Она вскинула голову и взглянула на меня внимательно:

— Знаешь что? Мне сейчас это пришло на ум: люди все же не настолько разные, чтобы не понимать друг друга. В конце концов они всегда могут договориться. Так ведь?

— После того, как хорошенько друг друга отдубасят,— поправил я.

— Ты все шутишь. Мне жаль, что ты уезжаешь. И мне еще больше будет жаль, если...

— Если я сложу где-нибудь голову? — попробовал я отгадать ее мысль.

Она встала с земли. Ей надо было нарвать каких-то трав для деда. Я зашагал рядом. Она спросила, верю ли я в судьбу. Я ответил, что если и верю, то в счастливую, и объяснил, что, когда голодный мечтает о еде, лучше мечтать о пряниках, чем о картофельной кожуре. Она нагнулась было за какой-то травинкой, но вдруг резко выпрямилась и заговорила:

— Знаешь, что мне сегодня приснилось? Я тебе забыла рассказать, очень интересно. Как будто мы с тобой у кого-то на именинах, и все удивляются, как сюда попал русский, а я объясняю, что я тебе послала в Россию приглашение, что мы давно знакомы. А ты будто бы крикнул: «Обманщица!» Ох, как же я плакала во сне!

— Жаль, что меня не было поблизости, я бы подставил тебе бочку для слез,— сказал я.

— Но и посмеяться мне тоже пришлось над тобой — ты не умел танцевать. Ты вообще умеешь танцевать? Да, я ведь должна искать эту траву... Или, может, уже завтра?

— Моя мама сказала бы, что я плохо тебе приснился.

— Твоя мама умеет толковать сны?

— Она же цыганка.

— Не может быть. У нас тоже есть цыгане, и я знаю, как они выглядят. Дедушка мне рассказывал про вашу страну, что́ там за люди живут. Он тогда был совсем молодой!

Лицо у нее засветилось нежностью.

— Видишь как: твой дед был у нас, теперь я — у вас. Ответный визит...

— Да,— вздохнула она.— Встречаемся от войны к войне.

...Я остался один. Габриэла скрылась в лесу, ища траву, в целебность которой верила. Все так же, как у нас...

7

Комната Габриэлы поразила меня размерами — скорее зал, чем комната,— и беспорядком. У одной стены стояла кровать, у другой — кожаный диван, в углу — пианино, а в глубине, у окна,— мольберт с картиной, завешенной тонким холстом. На полу возле мольберта валялось несколько начатых картин вперемешку с чистыми холстами, натянутыми на рамы, и тут же, на полу,— палитра с сухими красками, будто ее швырнули в досаде. Две стены снизу доверху были завешены репродукциями и картинами: несколько репродукций я даже узнал. На всю комнату — три стула: у мольберта, возле пианино и у кровати. Обстановку завершали комод, старый сундук и кресло. Самый опытный эксперт не ответил бы на вопрос, что это: жилая комната, мастерская или ломбард?

Я озирался в изумлении. Габриэла никогда не рассказывала мне, над чем она работает, да и краски на палитре совсем засохли. Я стал рассматривать картины — это были по большей части пейзажи: деревья, ручьи, утесы, альпийские луга. Или: небо, грозовые тучи, берег неспокойного моря, плывущие по воде листья. В общем, все, что душе угодно. Мое внимание привлекла одна картина, изображавшая лес — густой и темный, настоящие джунгли. Узкая тропа, как случайно оброненная ленточка, пыталась пробиться сквозь него, но тут же терялась в чаще. Я подался ближе, силясь вспомнить, где же я видел эту картину?

Тут Габриэла сказала:

— Не будь слишком строг. Это все учебные работы, по программе. Есть и мои, а я всего лишь скромный начинающий...

Вошла девушка с веснушками и сообщила, что меня зовет профессор. Не иначе как хочет пристыдить и припугнуть, что если я буду столько времени пропадать в лесу, то воспаление легких мне гарантировано.

Я сказал Габриэле, что, пожалуй, пойду объявлю профессору о завтрашнем своем отъезде.

— Сегодня не надо,— попросила она.— Лучше завтра. За обедом. Я пригласила знакомых. Ты не против?

— А кто будет? И по какому случаю? — поинтересовался я.

— Будет мой кузен, пианист. Он тоже здесь живет, только на другом конце города. Я вас представлю друг другу. Он был студентом...

— Был? А теперь?

— Теперь? — смущенно переспросила она.— Теперь... сидит дома. А ты непременно завтра уедешь? Так велел ваш доктор?

— Наш доктор велел мне оставаться на месте еще три дня. Но я завтра уеду.

— Почему же?

— Потому что ты ни разу не играла мне на пианино и не показывала свои картины.

Она ничего не сказала, прошлась несколько раз по комнате, как обычно, когда нервничают или принимают важное решение. Потом пододвинула стул к креслу, села и пригласила меня:

— Садись в кресло. Посмотри, какой цветник у меня под окном! У вас тоже наверняка найдутся всякие пословицы про «мир из окна». Мне иногда кажется, что я — букашка, которая жужжит на стекле. Жужжит, жужжит — до изнеможения... Может быть, самое разумное — ни о чем не думать. Сидеть у окна и не думать. Чем меньше человек думает, тем он счастливее. Я много раз это слышала, читала, иногда даже готова была уверовать в сию истину. А теперь — все больше сомневаюсь. Ты не понимаешь, что я хочу сказать? Сейчас поймешь. Есть одна песня: «Мне сказали, что ты в меня влюблен», достаточно банальная. Но в ней что-то есть, и мне пришла в голову мысль передать ее в цвете. Можно ли передать мелодию красками? Можно, правда ведь? Вот и я думаю, что можно, но я никогда больше не возьмусь за кисть!

— Почему, Габриэла? Зачем такая странная клятва? — спросил я.

— Зачем? Затем, что в мире происходят такие вещи! — она смотрела мне прямо в лицо и говорила решительно, твердо и, как мне показалось, даже с какой-то неприязнью, будто я был виноват во всем происходящем.

— Но все-таки, что случилось? — спросил я еще раз.

— Что случилось? Ты уже это спрашивал.

— Я спрашивал, но ты не ответила.

— Я хотела прожить жизнь честно и красиво, я представляла ее себе в красках и в звуках. И вот...

— И вот — что?

Она вздохнула и повторила свое «и вот» с таким отчаянием и с таким упреком, неизвестно в чей адрес, что я взорвался:

— К чертям собачьим! Хватит уже охов и ахов!

Габриэла в испуге глядела на меня, но я уже не мог остановиться:

— Идет орда, цивилизованная орда. Идет не как-нибудь, а с идеей, с автоматом и со шприцем! Бегемоты, которые заглатывают детей! Людоеды, которые делают смертоносные уколы! Гориллы, которые сжигают дома, убивают ни в чем не повинных людей! Сколько миллионов они уже умертвили, и все им мало! А жрецы искусства не перестают охать и ахать. А когда приходим мы, пробиваемся через ураганный огонь и хватаем их за горло здесь, откуда они вышли, тогда жрецы искусства...

— Молчи! — крикнула она, взмахнув руками, как будто снова хотела заслонить барельеф Марии Магдалины.

Я встал. Вскочила и она.

— Я не хочу, чтобы ты уходил. Это недоразумение! Ты прав! Совершенно прав. Я то же самое имела в виду.

Я опустился в кресло, обезоруженный: противника больше не было. А была — Габриэла, тоненькая, изящная, умная. Я пожалел, что наговорил бог знает чего,— разве она во всем виновата?

— Люди сожгли свои алтари... а я — свою палитру. Вот и все,— сказала Габриэла, и руки ее легли на колени, как два безжизненных стебля.

Мы замолчали. Потом я решительно сказал:

— Пойду сложу вещи, а потом вернусь и приглашу тебя на танец, эти разговоры об искусстве — как щит, ты за ним прячешься и крадешь у меня такой прекрасный день.

— Вот если бы я хоть немножко была похожа на ту девушку, которую у тебя увел майор! — сказала она и улыбнулась.

— Ты красивее!

Она спросила, нет ли у меня фотографии моей бывшей любви, я ответил, что порвал ее.

— Ты такой мстительный?

— Я гордый, как поэт. И я зажмуриваюсь, когда влюбляюсь в красивую девушку.

— А когда открываешь глаза, видишь, что ее увел другой,— засмеялась она.— Если ты и сейчас влюблен... в красивую девушку, пошли, поищем красивый пейзаж ей под стать.

— Сначала красивая девушка нам что-нибудь сыграет,— остановил я ее.

— Она давно уже бросила пианино.

— Габриэла, я себе не прощу, если уеду прежде, чем услышу, как ты играешь.

— Но я же сказала! Мне боязно... Я давно не играла.

— Будто так уж важно, как ты сыграешь!

— Важно. Я хочу перед тобой быть красивой во всем.

— Красивей, чем ты есть, тебе все равно не быть. Это невозможно.

— Ну, смотри, разочаруешься.

Она встала, прошлась по комнате, потом пододвинула стул к пианино, села, несколько мгновений колебалась, как бы спрашивая у себя: играть или нет? Потом, сделав над собой усилие, будто одолевая какое-то внутреннее препятствие, откинула крышку.

— Я не играла с месяц. Что ты хочешь услышать?

— Все равно. На твой выбор. Тебе что больше нравится: печальное или веселое?

— Печальное...— ответила она и резким движением подняла руки, они застыли над клавишами, как над пылающим костром. Потом зазвучали первые аккорды, и я узнал знакомую сонату. Но где я слышал ее последний раз? А-а-а! Вспомнил. И скользнул прочь от этого воспоминания: сейчас я был захвачен только Габриэлой. Энергичные движения, которыми она вызывала дух пианино, гипнотизировали меня, я слушал, почти не дыша. Музыка, казалось, все снова и снова спрашивала о чем-то... Но вот короткое затишье, за ним, я знаю, начнется романтическая мелодия, похожая на тропинку, вьющуюся по опушке леса, уходящую к залитой солнцем поляне со столетним дубом, под которым снизойдут на тебя покой и душевный мир. Светлая надежда мятущейся души... Но у самой тропинки она остановилась. Руки ее бессильно повисли, она покачала головой:

— Nein, ich werde es nicht![1]

[1] Нет, не могу! *(нем.)*

Я инстинктивно поднес руку к груди. Она не заметила. А я уже видел перед собой дом-замок, где я услышал эту сонату из раскрытого окна. Все совпадало: даже аккорд, на котором оборвалась мелодия. Сейчас раздастся выстрел. У меня невольно вырвался стон, как во сне. Настала мертвая тишина. Она в изумлении повернулась ко мне:

— Что с тобой?

Я глядел на нее остановившимися глазами. Наверное, вид у меня был дурацкий, поэтому я поторопился объяснить:

— Эта соната... Чего только не бывает на свете, Габриэла! На середине или даже в том самом месте, да, именно в том самом... Ее играли в горах, у Клаувиц, на вилле со шпилем, а потом выстрелили в меня из окна...

Габриэла вскрикнула, как будто перед ней разверзлась пропасть, побелела как полотно и, схватившись за голову, качнулась вперед и уткнулась лицом в клавиши.

Я растерялся. Забыв про свои переживания, я бросился к ней, попытался поднять, но она была без чувств. Я ринулся за профессором. Он тут же пришел, дал ей понюхать что-то из флакончика. Она очнулась, открыла глаза, протянула ко мне руку и так тихо произнесла мое имя, будто потеряла все силы от многолетней тяжелой болезни.

— Не уходи, Саша,— попросила она.— Подожди немного.

И к дедушке:

— Прости меня.

— Обычный обморок,— объяснил профессор.— Ах, эта молодежь, сколько раз вам повторять, чтобы не перевозбуждались,— проворчал он, подозрительно глядя на меня.

Я стал оправдываться, что ничего особенного не было, что я просто начал рассказывать один фронтовой эпизод и даже не думал, что это может произвести такое впечатление. Профессор пригрозил мне пальцем, мол, знаю я эти ваши фронтовые приключения, но повеселел и вышел, успокоившись.

Я остался сидеть подле Габриэлы. Ее руки с тонкими белыми пальцами конвульсивно вздрагивали, как будто продолжали играть в полузабытьи.

Прошло минут двадцать. Профессор прислал девушку с веснушками проведать больную.

Девушка заглянула, справилась у Габриэлы, не надо ли ей чего-нибудь, и, пытливо переводя взгляд с нее на меня, сделала свои выводы. Она тоже знала, что я уезжаю, знала и то, что Габриэла дежурила у меня в комнате, и теперь заключила, наверное, увидев меня дежурящим у Габриэлы, что все в полном порядке. Одно только привело ее в недоумение: неужели внучка профессора так влюбилась в русского, что совсем потеряла голову перед расставанием? Чего только не бывает на войне!

А мне в душу закралось подозрение: я чувствовал, что есть связь между виллой в горах, Габриэлой и тем, что со мной случилось.

— Ах ты господи, и эту тяжесть еще на меня,— вдруг заговорила она.— Это он был — тот, кто стрелял тогда,— мой брат двоюродный, пианист! Он, он! Он вернулся оттуда и все мне рассказал. Он там прятался, чтобы не идти в армию. Его только что мобилизовали, последний набор. А он дезертировал...

— И кто же стрелял? — глупо переспросил я.

— Да он же! Там с ним еще один был, я его не знаю. Какой-то его товарищ.

— Пусть ему простится то, что он наделал.

— Ты говоришь, как пастор. Не надо его прощать. Я согласна, что он должен понести наказание, только не расстрелом.

— Да что там. Стрелял — и стрелял, дело прошлое.

— Нет-нет! Поклянись всем, что тебе дорого, что ты его не расстреляешь.

Я взял ее руки в свои и сказал, что случай, хотя бы и на войне, не приходит один: слишком много всего собирается в клубок. Надо было, чтобы меня ранили,— иначе я не попал бы к ним в дом и она не смогла бы заботиться обо мне, как сестра милосердия, чтобы потом открыть причастность своего кузена к моему ранению. Я спросил, почему он никогда не приходит к ней в гости.

— Он никуда не выходит. Сидит взаперти. Ему страшно. Два дня провалялся в постели после того ужаса. Ему всего шестнадцать. До тех пор он в жизни, кроме своего пианино, ничего не видел.

Нелепость какая-то. Австрийский мальчишка удрал в горы от демобилизации. Увидел в окно солдатскую форму, решил, что за ним пришли, и выстрелил с перепугу. Чем он виноват?

Я попросил Габриэлу больше не плакать и не мучить-

ся так, иначе мне в конце концов, как видно, придется принести извинения ее кузену. Но моя шутка не имела успеха.

— Война нас всех сделала несчастными,— сказала она и разрыдалась.

Я стал ее утешать, как умел, говорил все, что только мог придумать, встал на колени, гладил ее руки. Наконец я сказал, что мы вместе с ней пойдем к ее кузену и попросим что-нибудь для нас сыграть, не открывая ему, кто я такой. Габриэла подняла голову и сказала:

— Мои родители погибли... Теперь у меня никого нет. Кузен мой единственный друг, и он...

— Он — что?

— Он сказал, что больше никогда не притронется к пианино.

— Успокойся, он будет играть,— сказал я.— Что ж он, совсем бесхарактерный? Совсем мямля?

— Мы все надеялись, что он станет композитором,— сказала она с нотками тоски и сожаления в голосе.

— После всего, что произошло, я уверен, он станет знаменитым композитором. Ничто так благотворно не влияет на творческую личность, как биография, полная неожиданностей и страданий... Это не мои слова, так что можешь мне поверить. Это мнение великого писателя.

— Ей-богу?! — она вскочила на ноги.— Это правда, Саша?!

Она стиснула мне руку. Столько благодарности и счастья было в ее глазах, что я невольно позавидовал тому, за кого она так переживала. Ее тонкие нежные руки обвились вокруг моей шеи. Она целовала меня, заливаясь слезами, и ее чувства передались мне. «Так это за его душу ты молилась у постели раненого»,— вдруг подумал я.

8

Габриэла проболела еще два дня. Глаза у нее стали совсем огромные. На второй день я зашел к ней вместе с профессором и остался почитать вслух «Снежную королеву» Андерсена — я нашел целую коллекцию сказок в книжном шкафу. Она слушала, и лицо у нее делалось ясным и тихим.

На третий день утром я застал ее у окна.

— Как хорошо на дворе! — сказала она вместо приветствия.— Пошли куда-нибудь.

Заверив профессора, что Габриэла чувствует себя как нельзя лучше, мы отправились в лес. Профессор ничего не знал: ни о происшествии на вилле, ни о нашем разговоре. Габриэла просила меня — никому, никогда ни слова.

...Мы пересекли луг. Габриэла шла впереди и казалась выше, чем обычно. На каждом шагу она останавливалась, срывала цветы и прикалывала мне к медали.

— За что? — спрашивал я.

— За то, что... ты не такой, как все, ты удивительный. Ты был когда-нибудь счастлив?

Я пожал плечами. Что ей ответить?

...Мы пошли по тропинке вверх по холму, а оттуда спустились в лесистый овраг. Постепенно расширяясь, он вывел нас в долину, которая уходила вдаль, на запад, теряясь в тумане у горизонта.

Солнце уже поднялось над лесом. Габриэла была веселой и оживленной, как никогда. Она остановилась и, держа меня за руку, заговорила возбужденно:

— Какой чудесный вид! Как я раньше не замечала этого треугольного оврага...

Она стояла как вкопанная, глядела и не могла наглядеться.

— Постой, постой! — сказала она мне.— Минутку. Да, да, так,— размышляла она вслух.— Послушай, это какое-то чудо. Я уже вижу готовую картину! Саша! Как жаль, что мы не захватили альбом!

— Только альбома нам и не хватало! — ответил я полушутя.

Она обернулась ко мне резким движением, схватила за локоть, глаза ее были полны слез:

— Если в истории еще не было Александра Лютого, смотри, как бы тебе им не стать,— и бросилась прочь.

...Когда мы вернулись домой, она поспешила к себе, поставила на мольберт чистый холст в раме и, дрожа от нетерпения, стала рисовать углем.

Сначала родились одни только линии. Потом стали вырисовываться контуры картины, она нервозно выправляла их, ища нужные пропорции и время от времени восклицая: «Отлично!»

Так она проработала до темноты. Когда стемнело, зажгла лампу, не прекращая работу. И лишь когда рисунок был закончен, успокоилась и перевела дух, как бы сбросив с себя тяжесть. Потом села на стул перед моль-

бертом и принялась внимательно изучать треугольник оврага, который казался рекой, текущей по опушке и разливающейся в огромное море.

— Ну, теперь, если взяться хорошенько,— сказала она наконец,— вот увидишь, что получится! Но я ставлю всем условие: пока я буду работать над картиной, чтобы ко мне никто не входил. С тобой мы будем видеться за столом и по вечерам. Согласен? Руку! С тобой трудней всего, с другими договориться легче. Понимаешь, когда я дорабатываю картину, я не могу сосредоточиться, если на меня смотрят.

Целых два дня мы виделись только за столом и по вечерам. Я проводил время с ее дедушкой, сидя на веранде, или уходил на облюбованную нами поляну, к дубу.

Теперь, когда рана зажила, меня стало беспокоить, что майор все не едет за мной. Наши мастерские и склады были уже вывезены из городка. По радио Москва каждый день передавала вести о наших победах на всех фронтах. Санинструктор тоже уехал, не рискнув взять меня под свою ответственность. Оставалось либо ждать, либо самому искать способ соединиться со своей частью.

...А Габриэла все работала, даже ночами, зажигая сразу несколько ламп. Каждый раз как надо было выходить к столу, девушка с веснушками не могла дозваться ее под дверью — она сидела взаперти и никого не впускала. Только деду, когда он стучал своей палкой в дверь, отвечала на австрийском диалекте: «I'komm bald» [1].

Наконец раз после обеда Габриэла сама отворила дверь, вышла на веранду, прямо с кистью в руке, поправила на лбу свои три прядки, набрала в грудь воздуха и выпалила:

— Готово!

— Ну что, моя мышка? — приветствовал ее профессор.— Родила гору? Посиди с нами на солнышке, ты такая бледненькая.

— Я сильная, как вол! — Она постаралась сказать это басом.

— Волы, дитя мое, ленивы...— возразил ей дедушка.

— Ну, значит, я вдвое сильнее!

Она присела перед нами в изящном реверансе и, что-

---

[1] Сейчас иду (*нем.*).

бы вышло еще торжественнее, пригласила нас к себе широким театральным жестом:

— Пожалуйста сюда, почтеннейшая публика, будьте моими судьями, но учтите...— она приложила палец к губам и предупредила: — Картина готова только наполовину. Я больше пока не могу, должна сделать на несколько дней перерыв.

Эта игра, которую она затеяла от полноты чувств, предназначалась скорее для меня, чем для деда, хотя она обращалась и к нему:

— Не будь слишком строг, дедушка!

Профессор, подлаживаясь под нее, сначала постучал в дверь, хотя знал, что там никого нет, и только потом вошел.

— Что это такое? Гм... что-то это ведь должно значить,— бормотал профессор.— Лес выполнен грубо: что это за ветки? Какие-то засохшие колючки! И это — австрийский пейзаж? Нет, конечно, все-таки что-то есть!.. А вот эта штука — это дерево или человек? Нет, вы только посмотрите, что тут наворотила эта девица!

Не знаю, что подумал профессор, но мне многое сказала эта картина, отягощенная символическими элементами, хотя и в самом деле далеко не завершенная. Главную нагрузку несла фигура человека, напоминающая искривленный ствол дерева, по которому можно было прочесть его историю. Этот человек отделился от строя деревьев с поломанными, как после апокалиптической бури, ветвями, словно преодолев свое бурное прошлое, и по узкой тропинке вышел из мрачной зловещей чащобы, набросанной черными извилистыми линиями. Отсюда перед ним открывалась просторная долина: чем дальше, тем шире; солнечные лучи стелились перед ним, как дорога к свободе, добытой с таким трудом. Если бы человек был изображен в классическом стиле — например, с бесконечным страданием в глазах,— он не произвел бы такого впечатления, как этот, натуралистически корявый человек-дерево, искривленный, но не сломленный, выстоявший многовековую бурю. Однако спокойные краски картины призывали понимать, а не действовать, настраивали на размышление. Действие осталось позади, в истории, в этом лесу, от которого отделилась человеческая фигура, переданная таким необычным способом.

— Что ты молчишь? — спросила Габриэла.

— У меня нет слов,— сказал я,— все уже сказано здесь, на картине. Это — наша история, а лучше сказать, эпизод из нашей истории.

Я взял ее руки, перепачканные масляной краской, как две маленькие палитры, и поцеловал одну и другую.

9

Моя комната давно уже перестала напоминать госпиталь, кровать я отодвинул к стенке, в китайской вазе каждый день появлялись свежие цветы. А на письменном столе всегда лежала толстая тетрадь в твердом переплете, первые страницы которой были исписаны крупными заостренными буквами с наклоном влево. Каждый день Габриэла записывала в эту тетрадь то желание, то сон, то мысль, а иногда — образ. Я не отставал от нее, и тетрадь стала общей.

Но вот однажды утром, еще до завтрака, когда по радио передавали венгерский «Чардаш», в дверь ко мне три раза постучали: пришла Габриэла, в шали на плечах. Мы с вечера условились дойти вместе до соседнего села — я хотел поговорить с командиром части, которая там стояла. Услыша звуки «Чардаша», Габриэла растянула шаль за спиной и пустилась в пляс. Потом, смеясь, упала на стул.

— Мне сегодня придется плакать, не иначе. Что-то я слишком развеселилась.

Я спросил ее, где она выучилась «Чардашу».

— Я просто видела один раз в Вене, приезжала труппа танцоров из Будапешта.

Тут в соседней комнате послышался голос девушки с веснушками, шаги, чьи-то сапоги протопали к двери, раздался стук — и на пороге появился полковник Покровский. Из-за спины полковника выглядывала его любопытная проводница, ей, видно, не терпелось посмотреть, какую головомойку устроит важный офицер этому влюбленному, который и не думает двигаться отсюда.

Полковник, высокий и худой, инстинктивно пригнулся, входя в дверь, потом поднял ко мне лицо, отнюдь не сияющее и даже без улыбки, и приветствовал меня с подчеркнутой серьезностью, чтобы не выдать свои чувства. Так он всегда вел себя с людьми, которых отличал среди других. Подумать только — он вырвал время приехать бог знает куда лишь для того, чтобы сказать:

— Смокинэ́! Война идет к концу, Смокинэ́!

Заметив в комнате девушку, он взглянул на меня лукаво. Я невольно подумал: «А что, если он сейчас достанет из нагрудного кармана флакончик?» Но полковник вдруг повторил изменившимся голосом: «Смокинэ́!», и слова замерли у него на губах. Он, не отрываясь, смотрел на Габриэлу, таким странным взглядом, что она почувствовала себя виноватой и залилась краской. С невероятным трудом, как будто поднимая жернов, полковник выговорил всего два слова:

— Clarisse Prevost? [1]

— Non, monsieur, Clarisse Prevost c'était ma mère [2].

— Oh, mon Dieu, quell recontre! [3]

— Vous avez connu ma mère? [4]

На этом диалог окончился. Полковник Покровский не ответил на последний вопрос. Он повернулся ко мне, пожал мне руку, пристально глядя в глаза и не говоря ни слова. Я подвинул ему стул. Он сел, вернее сказать, упал на него. И снова стал вглядываться в Габриэлу. Тень пробежала по его лицу.

— Вы сказали, что Кларис Прево — ваша мать? Где она сейчас? — спросил он, подавшись вперед, будто хотел ускорить ответ.

Габриэла помедлила мгновенье, потом сказала:

— Она уехала на родину, во Францию, в 1940 году, за месяц до оккупации.

— И где она теперь?

— Она погибла. Она была в Сопротивлении.

Полковник вздрогнул и втянул голову в плечи.

— Значит, ее нет,— проговорил он, глядя в пустоту, забыв, что в комнате есть люди.

— А где ваш отец? — после паузы спросил он.

— Он уехал вместе с ней,— ответила Габриэла.

— И что с ним сейчас?

— Они погибли вместе...

— Оба! — сказал полковник самому себе.— Выходит...— и осекся.

Габриэла смотрела на меня, как бы спрашивая совета — уйти или остаться. Наверное, ее удерживало любопытство — откуда все-таки этот советский офицер

---

[1] Кларис Прево? *(фр.)*

[2] Нет, мсье, Кларис Прево была моей матерью *(фр.)*.

[3] О боже, что за встреча! *(фр.)*

[4] Вы знали мою мать? *(фр.)*

знает ее мать? После долгого молчания Габриэла осмелела и спросила:

— Если можно, скажите мне, пожалуйста, откуда вы знаете мою маму?

— Где вы родились? — вместо ответа спросил он.

— Здесь, в Австрии, в этом самом доме.

— А во Франции, в городке К. вы были когда-нибудь?

— Один раз была, в 1936 году.

— Я был там в первую мировую войну, я участвовал в боях у Марны и...

Габриэла взволнованно смотрела на него — очень важное, давно забытое всплыло в памяти — рассказ матери.

— Вы тот офицер... который... о котором мне говорила мама, что... вы воевали у Марны?! — выговорила она наконец.

— Да, это я.

— Вы гостили у моего дедушки во Франции, вы тогда приехали с фронта и получили на несколько дней отпуск? Так это вы!.. Мама хранила картину, которую вы ей оставили на память. Она сейчас здесь, мама мне ее отдала.

— Где она? — спросил полковник сдавленно.

— Внизу, в моей комнате. Хотите, посмотрим?

Мы все втроем пошли в мастерскую Габриэлы. Я понял, о какой картине шла речь. Действительно, на ней в уголке можно было разобрать: «В. П. 1917». Полковник несколько минут постоял перед своей картиной, скрестив руки на груди, слушая память, а может, снова ища ответ на свои вопросы.

Габриэла не спускала с него глаз, верно, вспоминая подробности рассказа матери, потом спросила:

— Вы, насколько я понимаю, очень талантливый художник. Вы и сейчас занимаетесь живописью?

— Что вы, какой из меня художник. Когда-то давно рисовал. А теперь...— он не договорил.

...Полковник предупредил меня, что у нас совсем мало времени. Шел апрель 1945 года. Со дня на день ожидалось наступление на нашем участке. К вечеру мы должны были добраться до Чехословакии...

На улице стоял автомобиль с рычащим мотором. На заднем сиденье ждал полковник. Он забился в угол и

смотрел в пространство, как человек, который кончил все дела и хочет остаться один на один со своими мыслями. Перед ним лежала дорога, окаймленная стареньким тротуаром из каменных плит, со щербинами, трещинами, пятнами — путанными письменами, понятными только ему самому, сохранившими исчезнувшие навсегда следы. Здесь проходила Кларина! Сколько раз она шагала по этим плитам, сколько весен прошло!

Полковник с безучастным лицом съежился в углу машины и ждал, чтобы его увезли куда-нибудь далеко, как вода несет щепку, качая ее на гребнях волн, и, может, он ждал, что его вынесет на тот берег, откуда он начал странствия.

...А на обочине дороги у высоких железных ворот стояли юноша в военной форме и девушка с картиной в руках.

— Значит, едешь!..

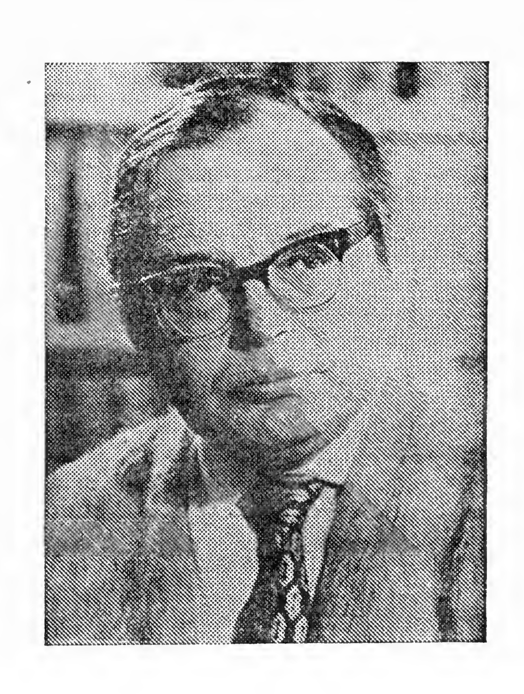
Юноша поцеловал ее в глаза, щеки его стали влажными. Он разжал объятия и торопливо пошел к машине, унося с собой неоконченную картину.

Девушка вцепилась руками в решетку ворот, как будто боялась упасть. Три прядки волос выбились на лоб, она не поправляла их: они не принадлежали никому и трепетали на ветру, как ковыль в пустом поле.

...Автомобиль пересек границу Австрии.

Полковник сидел, уткнувшись в окно, не глядя на своего спутника, но тот и сам отворачивался, пряча лицо.

Перевод *А. СТАРОСТИНОЙ*



Джордже Менон

МЕНЮК Джордже, поэт, прозаик. Родился в 1918 году в городе Кишиневе в семье рабочего. Литературная деятельность Менюка началась в условиях буржуазной Румынии, когда он учился на филологическом факультете Бухарестского университета. Первый сборник его стихов вышел в 1939 году. В годы войны Менюк работал в Москве в Комитете по радиовещанию. Вернувшись в Кишинев после освобождения Молдавской ССР, Менюк занимался исследованием молдавского фольклора, был ответственным секретарем, а затем ответственным редактором журнала «Нистру», органа Союза писателей МССР. Менюк является автором нескольких десятков книг поэзии, прозы, литературной критики. За сборник рассказов «Дельфин», изданный в 1969 году, ему была присуждена Государственная премия МССР по литературе и искусству. Русский читатель знаком с творчеством Джордже Менюка как поэта и прозаика по книгам: «Зеленый край» («Советский писатель», 1960), «Журавлиные тропинки» («Художественная литература», 1970), «Диск» (Кишинев, 1970), «Повести и рассказы» («Художественная литература», 1979) и др. Дж. Менюк известен также своими высокохудожественными переводами русских былин, «Слова о полку Игореве», стихотворений Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Петефи и др.

ДЖОРДЖЕ МЕНЮК

ДИСК

1. ВЕРНИСЬ, КОРАБЛЬ

Проклятая загадочная книга! Я держу ее в руках, но что она собой представляет и кто ее автор — мне неведомо. Неторопливо листаю, рассматриваю цветные, во всю страницу, рисунки. В основном это какие-то пейзажи. Я скольжу по ним рассеянным, невнимательным взглядом.

И вдруг в самом конце книги, потрясенный, замечаю невиданный рисунок. Это глаз — косой, с нависшей седой бровью,— он мигает, движется, как любой живой глаз.

По его надменному, несколько ироничному выражению, по морщинистым векам я могу судить, что глаз принадлежит мужчине среднего возраста, многое видевшему и многое пережившему, но что самое непостижимое — глаз определенно знает меня!

Кусок лба и часть щеки, запечатленные на рисунке, не дают полного представления о лице человека, которому мог принадлежать глаз. И потому он сам остается для меня неузнанным и столь же таинственным, как и вся книга.

Таких диковинных иллюстраций мне еще не приходилось видеть. Глаз пленяет меня и обезоруживает, копается в моей оголенной душе, допрашивает и осуждает — холодно и неумолимо. Чей это глаз? Какому хмурому незнакомцу он принадлежит? Почему он возник передо мной, словно ворон Эдгара По, готовый крикнуть в ответ на любое мое желание, на любую робкую надежду страшное никогда, по чьей воле вмешался он в мою судьбу, и без того запутанную, и по какому праву, в конце концов? Кто он, этот мрачный незнакомец с всевидящим оком?

Я по-прежнему держу книгу в руках, кажется, ничего не изменилось, но рисунки в ней блекнут, становятся

банальными и обыденными, как представляется нам многое в повседневной жизни.

Исчезает сверхъестественная сила книги. Всевидящий глаз померк...

Я просыпаюсь. Чувствую, что лоб покрыт каплями холодного пота. Причудливые сновидения рассеиваются, как легкий туман. Распознаю комнату, за окном вижу абрикос, застывший на морозе. На голых ветках хрустальные колокольчики-ледышки, а на стеклах окна затейливые узоры, которые напоминают мне лишайники и рогатых оленей среди огромных снежных пространств зимнего севера. И просыпаюсь окончательно.

Только тогда слышу стук в дверь. Нехотя поднимаюсь и смотрю в окно. Незнакомая девушка в красной шапочке тихо, но настойчиво стучится в мою дверь. Поспешно одеваюсь и выхожу. Красная шапочка не проявляет удивления, увидев мою сонную физиономию.

— Товарищ Врынчан? — спрашивает она.

— Да.

— Мне бы хотелось поговорить с вами...

— Пожалуйста.

Я беру у нее пальто и красную шапочку и, пока вешаю, вижу, как она пытается снять озябшими руками ботики. Один ботик не расстегивается.

— Помогите, прошу вас.

Девушка садится на стул, а я опускаюсь на одно колено и дергаю застежку упрямого ботика. От растерянности не могу сказать ни слова. Мое недоумение растет с каждой минутой.

А девушка с прелестной улыбкой подходит к овальному зеркалу и спокойно поправляет прическу. Потом протягивает мне руку.

— Марчела.

Ее имя ничего не говорит моей памяти. Марчела видит мое недоумение и, грея руки у теплого радиатора, вздыхает.

— Ах, эти мужчины!

Я разглядываю ее с нескрываемым любопытством.

Ей лет двадцать с небольшим, черные, отливающие синевой волосы. Глаза большие, темно-карие, в которых мне чудится задумчивая доброта и нежность. Когда Марчела улыбается, в ее глазах мерцают многоцветные крапинки, словно камешки на морском мелководье. Нос у

нее слегка приплюснутый, с широко вырезанными ноздрями, как у таитянки. Губы чуть приоткрытые, влажные, чувственные. Фигурка у нее гибкая и чуткая, как тростник под легким ветром. Неясно и отдаленно пробивается у меня какое-то воспоминание, но тут же ускользает. Нет, Марчелу я вижу впервые, где бы мог ее видеть раньше? Она сидит на стуле в легком, вишневого цвета платье и кажется мальвой, чудом расцветшей в это морозное утро. Не продолжается ли мой странный сон?

— Значит, вы меня не узнали?

— Признаться, не узнаю... Вы сами откуда?

— Из Антифалы.

— ...

— Да вы же были у нас. Сразу после войны, поздней осенью.

Поворачивай, корабль, обратно! За эти годы столько волн ударялось о твои борта, столько бурь прибивало к другим берегам... Марчела, да ведь ты тогда была совсем девчушкой, птенцом перепелки, который и летать-то не мог.

— А вы еще говорили мне, что я очень хорошенькая, конфеты покупали и гуляли со мной по берегу Дуная. Ах, эти мужчины! До чего у вас короткая память.

Феноменальной памятью я не наделен, что верно, то верно. От этого меня избавила природа. Не то помнить бы мне все совершенные или виденные глупости, которыми так богата была моя жизнь. У некоторых моих друзей (хоть их и немного у меня осталось) память куда крепче...

— Выходит, вы забыли и мою маму, Йоланду Младин?

Я не успеваю ответить, потому что от догадки у меня отнялся язык. Йоланда...

А Марчела продолжает, не давая мне возможности опомниться:

— И моего отца Адриана Тонегару, который называл себя Совежой, тоже не помните? А он был вашим другом. Правда, он пропал без вести, но это не причина, чтобы его забыть.

— Так это ты...— От волнения мне трудно говорить.— Маленькая Марчела, которой так хотелось скорее пойти в школу! Боже мой! Я тебя помню и эту поездку к вам в Антифалу... Если бы ты знала, как я тогда тосковал, мне не давали покоя воспоминания. Этой

поездкой я только еще больше разворошил их... В тот первый послевоенный год я чувствовал себя таким чужим и одиноким среди людей. Но жизнь идет, и раны затягиваются... Я рад, что все вы, в общих чертах...— Я окончательно запутался и умолк.

— Затягиваются раны, но остаются рубцы от них...— тихо говорит Марчела.— А в общих чертах, помогите-ка лучше согреть мне ноги. Они у меня совсем окоченели.

Я хватаю одеяло, но Марчела отмахивается.

— Чтобы согреть ноги, надо двигаться,— смеется она и повязывает вокруг бедер полотенце.— Покажите вашу кухню, я собираюсь приготовить завтрак.

Я что-то лопочу о том, что она моя гостья и поэтому я сам приготовлю, но Марчела качает головой.

— Вы же мне не чужой,— говорит она,— вы друг моего отца, мне будет приятно сделать что-то для вас.

Она ловко управляется с кухонной утварью, я топчусь тут же, на кухне, едва успевая отвечать на ее вопросы о том, где работаю, как живу, чем интересуюсь и какие у меня планы на будущее. Услышав, что я еще не женат, Марчела удивленно и укоряюще бросает:

— Да вы живете совсем как отшельник!

Я спешу пояснить, что жениться представляется мне не таким уж сложным мероприятием, это всегда успеется. Вот когда я закончу свою работу...

— Вот как вы думаете! Любопытная теория...

Эта непоседа, так нежданно свалившаяся на мою голову, озадачивает меня все больше. Пока что-то шипело на сковородке, она уже метнулась в комнату, принялась убирать мою разбросанную постель. Схватила в охапку подушки и потащила их во двор. Я вижу, как она укладывает их на занесенный снегом палисадник, у самых кустов сирени. Что подумают соседи?..

— Чего вы смущаетесь? — говорит вернувшаяся в дом Марчела.— Постель следует проветривать.

Завтрак почти готов. Но Марчеле не сидится на месте. Она то и дело поглядывает через окно на подушки, беспокоится, чтобы их не стащила наша дворовая собака. И неожиданно всплескивает руками, говорит с детской радостью:

— Вы только посмотрите, какая уйма птиц на сирени!

Куст совсем живой, на нем одни синицы. Гоняются друг за дружкой, сбрасывая снег с веток. Кажется, куст расцвел синицами. Мне приходит мысль, что мы можем пойти после завтрака на рынок, сегодня воскресенье, будут продаваться клетки, и вот тогда попробуем поймать синицу.

— Синицу в клетку? — возмущается Марчела.— Нет. Они есть хотят, синицы. Может, у вас найдется горсть крупы? А ну, посмотрим!

Через несколько минут Марчела уже ловко пристраивает картонную коробку на ветках сирени (синицы вспорхнули на акацию и с любопытством наблюдают за ее действиями), затем, убедившись, что коробка хорошо держится, девушка сыплет стакан риса, добавляет хлебные крошки.

— Милости просим, птицы-синицы, закусывайте!

Некоторое время Марчела стоит у заснеженного куста сирени, она довольна, глаза ее блестят. А я смотрю на нее через окно и все еще не могу поверить, что это дочка моего друга. Вот она бежит к крыльцу, слышен топот ее быстрых шагов.

— Теперь и мы можем поесть. Долг перед птицами выполнен. Правда, так лучше, чем сажать их в клетку?

Пока она расставляет на столе приборы (и когда успела обшарить кухню?), я уношусь мыслью в далекие годы и только теперь понимаю, что появление Марчелы не случайно. Я замечаю в ее тихой улыбке скрытую грусть, мне хочется проникнуть в тайну нежданной гостьи. Может, она хочет что-то сообщить мне?

— Вы умывались?

— Еще нет.

— Так скорее умывайтесь! Все остынет.

Брызгает вода из крана. Я подставляю под струю лицо в мыльной пене, с необычным старанием мою шею, растираю холодной водой грудь. Мне представляется, что я умываюсь родниковой водой, слышу, как она журчит, пробиваясь из глубин земли.

Приход Марчелы всколыхнул во мне память о Совеже. Мне и раньше трудно было свыкнуться с мыслью, что его нет в живых. Иногда он представлялся мне перелетной птицей, и я ждал его возвращения каждой весной, а не дождавшись, думал, что он погиб, не пробившись сквозь бурю.

Совежа был мобилизован в первые дни войны и попал во флот. Он написал: «Теперь я советский моряк». Это было его первое и последнее письмо. Как в воду канул.

В минуты воспоминаний я пытаюсь вернуть его в свой родной город, на нашу улицу, в привычную обстановку. Так мне легче вести с ним прежние разговоры. Наши диалоги продолжаются годами, неспешные, откровенные, доверительные. Это моя незаживающая рана. Марчеле я сказал неправду, что раны заживают.

Даже нынешней зимой, как-то после обеда, померещилось мне и вовсе что-то невероятное: Адриан Тонегару вдруг возник передо мной из снежного вихря. Я видел его так явственно, что мне хотелось потрогать рукав его пальто. Я видел налипшие на его ресницах снежинки, красные уши Адриана высовывались из-под серой кушмы.

— Норок, мэй! [1]

— Хо! И давненько же я не лицезрел твои очки.

— Да и я рад, что вижу твои вислые уши.

— Язык у тебя, братец, как был помелом, так и остался!

— А что ему сделается, он ведь без костей...

— Придется тебе их переломать, может, поумнеешь.

— Нет, кости мне нужны, бескостному жить худо.

— И то верно. Ну, будь здоров! Хо!

Я снял запотевшие очки, и видение исчезло. Шел кромешный снег, небо над головой напоминало серую овчину. Где-то вверху, плохо различимые, скрипели акации, шуршали сухими стручками.

— Вы, верно, любите, чтобы вас ждали! — раздается за моей спиной голос Марчелы.— Ах, эти мужчины!

Была первая послевоенная осень, когда я нагрянул в Антифалу. До сих пор стоит в ушах рокот дунайских волн...

— Ой, Миху-Детина! [2] Ты ли это? — так встретила меня на пороге Иоланда.— Мама! — Ее голос зазвенел, будто она увидела чудо.— Михай Врынчан приехал! —

---

[1] Норок, мэй! — приветствие с пожеланием счастья.
[2] Миху-Детина — герой молдавского народного эпоса.

Она обняла меня обеими руками за голову и расцеловала в щеки.

По правде говоря, где-то в тайниках души жило во мне желание всегда оставаться для Иоланды прежним Миху-Детиной, как она окрестила меня в один прекрасный день. В сущности, я был порядочный мямля, хилый, близорукий — чистая противоположность богатырю из баллады. Но ведь и чудаки, хоть они нелепы на вид и вызывают иронические усмешки, в глазах молодой женщины не всегда лишены привлекательности. После многих и долгих лет ожидания я почувствовал, как плотины горя сотрясаются, рушатся под напором нежности, уступая место святым мгновеньям вновь обретенной душевной близости. Все тело мое гудело от радости.

Высокая, сухопарая, все такая же проворная, вышла ко мне старая Глафира; только лицо еще суровее да исхудала против прежнего. Она украдкой отерла уголком линялого головного платка сухие, без слез глаза.

— Мне сегодня приснилось, что ты приедешь,— негромко сказала она, забирая у меня пальто и чемодан, чтобы отнести их в дом.— Добро пожаловать к нашему огоньку, Михаеш.

Моша Захарии я уже не застал в живых.

Законы гостеприимства диктовали традиционный и неизбежный стаканчик «на пробу». Иоланда подхватила кувшин с полки и полетела за вином к соседям. Глафира подала мне чистое полотенце, чтобы я мог умыться с дороги.

Желтые искры осени тихо вспыхивали в окнах, блуждая по медным листьям айвовых деревьев перед домом.

Умывшись, я принялся разглядывать столовую, надеясь увидеть хоть что-то из этюдов Совежи. Но единственной его картиной, висевшей между двумя окнами, забранными решеткой, был портрет Глафиры (Адриан назвал его «Моканка»[1]). Твердость духа, стойкость читались в ее угловатом лице с пронзительными глазами, будто видевшими тебя насквозь — кто ты и что ты. Поверх темно-зеленого платья цвета лесного мха на ней была наброшена черная шаль. За ее спиной простиралась

[1] Моканами назывались чабаны из предгорьев Карпат.

бесконечная пойма Дуная, он бежал и пенился, неукрощенный, а прибрежные ивы махали платками вслед журавлям, вклинившимся в чистое небо. Доля экзотики была в этой картине, в этой женщине на фоне Дельты.

— Кто у нас в гостях, бабушка, он очень издалека? — прощебетал нежный детский голосок в соседней комнате.

— Как тебе сказать...

— А я знаю кто! Это тот, что маме письмо прислал с месяц назад. Старый папин товарищ... Он у нас долго будет?

— Будет столько, сколько захочет, Марчела.

Мы сидели за столом, неспешно перебрасывались словами, говорили о пустяках, как будто ничего не изменилось за эти четыре года. Даже сидели мы все на тех же местах, что и прежде, и на тех же венских стульях. С окна улыбалась нам робкая герань, ловящая слабый свет осени.

Я следил за каждым жестом Глафиры, озабоченный тенью у нее под глазами. Незапятнанная ее душа всегда притягивала меня. Она была горянкой по рождению. История любой жизни ткется из желаний и поступков, казалось бы случайных, но на самом деле много говорящих о человеке. В зрелом возрасте нам не раз случается пожалеть, что вещи приняли именно такой оборот, все мы, молдаване, задним умом крепки, но если нам вернуть нашу юность, мы снова наворотили бы бог знает чего, хотя и в другом роде. Глафире не о чем было сожалеть. Вступив в пору девичества, как-то осенью она попросилась у отца отправиться со стадами овец на Дунай, на зимовку. Желание для девушки дерзкое и неслыханное, но отец согласился взять ее с собой. Там она и влюбилась в Захарию Младина, потомственного рыбака. Горы снизошли к тайне дунайских вод, к неводам с бьющейся рыбой. Захария стал ее суженым, и она не раскаивалась в выборе: он во всем был сноровист, нрава небранчливого, падок больше на работу, чем на всякие тары-бары, на которые разменялась не одна мужская душа. Захария обычно пропадал из дому неделями, уходя на лодке в дальние воды. Глафире не был в тягость такой образ жизни. У нее вошло в привычку ждать своего Захарию, с любовью, с тревогой, с горечью, чтобы в конце концов, после многих бессонных ночей, дождаться его,

усталого донельзя, приносящего в дом издалека крепкий запах рыбы и морских водорослей. Теперь в память о нем остался только горбатый стул во главе стола.

— Война,— сказала Глафира,— это ведь бич божий на человечье стадо.

Когда переступаешь порог старого, хорошо знакомого дома и не застаешь в живых кого-нибудь из членов семьи, чувствуешь себя незваным гостем среди чужой боли. Будто бы и дом совсем не тот! Во все время войны Адриан Тонегару не подавал о себе никаких вестей. Мош Захария, заболев тяжелым воспалением легких, скончался в одночасье. В доме подрастало новое существо, непоседа и говорунья Марчела. С пеленок она осталась сиротой.

Меня бросило в дрожь, когда Глафира сказала:

— Если умер кто-то из твоих, а ты сам на похоронах не был — так никак тебе не поверить, что он умер. Так и ждешь его. Ждешь его из мирской суеты, а он, скиталец, уже выкуп платит, сердешный, на пути к царствию небесному... Это я о том июльском пекле, о той геенне огненной.

...Прошел слух по Антифале, будто глухой ночью неподалеку от Дженуклы немецкие самолеты потопили советский корабль, что плыл в Тавриду. Никого в живых не осталось. По крайности, так говорили. Мош Захария, хотя в последние годы он уже не рыбачил — от холодных и соленых морских туманов у него ело глаза,— вышел на берег, но так ничего и не сыскал и скоро вернулся, вконец убитый и с колотьем в груди. Он угас, как гаснет свеча, если подуть на нее посильнее...

Тебе слышатся, Михай, слова старухи или это капают слезы источника при дороге? Бой часов старинных со стены раздается или это бьют тревогу среди заплесневелых развалин? Эй, Врынчан, уж не олень ли ты, чей клич слышен в перелеске?

Марчела, в два счета справившись с едой, принесла мне свои альбомы и тетради, чтобы я оценил ее рисунки: дома, у которых из труб вился дымок, долговязых аистов, глотающих лягушек, пеликанов, рыскающих в воде.

— О, да ты большая искусница! — похвалил я эти плоды невинной фантазии.

Запоздалый мой приезд на Дунай я представлял себе

наподобие обычных встреч со старыми друзьями, в привычной обстановке, где мало что изменилось. И потому запахи дома, пережившего утрату,— запахи мяты, чабреца, зверобоя, сухих целебных трав,— опьянили меня сильнее, чем горьковатое вино цвета лесной ежевики.

Я все искал в глазах Иоланды луч надежды — может, она по-прежнему ждет Адриана? Но Иоланда не прерывала рассказ матери, блуждая мыслями где-то далеко.

Вечер наступил внезапно. Иоланда засветила лампу. Фитиль капризно вспыхнул, но тут же успокоился: бледный свет оттенил наши погрустневшие, задумчивые лица.

Задняя комнатушка, где мне постелили на ночь, царство девических грез Иоланды, была вытянута в длину, с единственным окном, выходящим в сад. Но мне было не до сна, не до отдыха. Гибель или таинственное исчезновение Адриана, неожиданная кончина Моша Захарии — и то и другое невероятное, фатальное — совсем выбили меня из колеи, и я был рад отведенному мне углу.

— Я тебе оставлю лампу, почитай на ночь, если не сможешь уснуть,— сказала мне Иоланда.— Только слишком долго я тебе не разрешаю, мне завтра утром в школу, я историю преподаю, и мне хочется с тобой вместе позавтракать.

— Да я сплю, как заяц, Иола, не беспокойся.

— Кому ты это говоришь! Что я, не помню, как ты дрых до полудня. Пока тебя, бывало, не окатишь холодной водой...

— Теперь все по-другому, Иола, не тот я уже.

— Не смеши. Ты как был Миху-Детиной, так им и остался, за версту видно.

Иоланда поцеловала меня и вышла в соседнюю комнату, где спала Марчела.

Оставшись один, я не лег, а стал осматриваться. На стенах висели в рамках карандашные наброски, эскизы, картины маслом. Чтобы разглядеть их получше, я взял лампу в руки и стал ходить из угла в угол, как птица в золотой клетке. Огромная моя тень шла за мной следом, колеблясь, раздуваясь и опадая.

Эскизы были исключительны по тонкости и наблюдательности. Все они относились к лету 1936 года. Да, да, я помню, это во время научной экспедиции в село. Некоторые Адриан мне показывал, увидеть другие — настоящий сюрприз!



Среди ученых с именем затесались в экспедицию и мы, горстка студентов, нас взяли, чтобы мы «усвоили материал на месте». Вот наш неутомимый геолог, изучавший плиоцен. Вот ботаник со своими лекарственными травами, шутник и женолюб. Но больше всего, конечно, изображений Йоланды. На завалинке, на берегу озера, за письменным столом, в повозке, на мостике через речку, на поляне — везде Йоланду ловило неусыпное око молодого художника. Я смотрел на эти беглые, пестрые,

солнечные вещицы, и вдруг словно сноп света пронизал ночь, раскрыв мне тайну: эта замечательная коллекция в комнатушке Йоланды — единое целое, прелюдия их любви. Мне кажется, что и я руку приложил к сотворению этой прелюдии... Йоланда Младин впервые появилась в нашем кругу в обеденный час: красная блуза, облегающая красивую грудь, юбка, не доходящая до колен. Черные — чернее вишни — глаза и светлые косы, сплетенные из солнечных лучей. С губ ее не сходила открытая улыбка. Компания за столом была сплошь мужская, и мы тут же бросили наши анекдоты и доморощенные шуточки и наперебой, как испытанные мушкетеры, стали изощряться в куртуазности.

Как нетленные частицы, найденные в золе, рассматривал я наброски Адриана, возвращавшие меня к давним событиям. После того как экспедиция закончила свои дела, нас с Адрианом пригласили на временную работу в Институт статистики — обобщить данные с карточек. И тут неожиданно мне пришла открытка. Даже в голове не укладывалось — от Йоланды Младин! Слова ее дышали радушием — она приглашала меня с Адрианом в Антифалу. Я был польщен ее вниманием и любезностью, но что-то медлил с ответом. И однажды Адриан предложил: «Пока ты будешь тянуть кота за хвост, дай-ка я ей отвечу». «Пожалуйста,— немедленно согласился я.— Вот уж одолжишь. Для меня письма писать — каторга». И я совсем забыл бы про этот эпизод, если бы осенью меня не доконала лаконичная телеграмма: «Приглашаем воскресенье помолвку Йоланда Адриан». Приглашение попало в тот же карман, где жила у меня та старая открытка («Эй, Врынчан, отважный молдаван, верить ли глазам, это Миху сам!»), все ждавшая своего часа...

Я поставил лампу на стол — страшно захотелось курить. Вышел в наружный открытый коридорчик, во влажную свежесть ночи. Мрак стоял вокруг — немой, тяжелый, кромешный. Электростанция, пострадавшая в войну, еще не могла снабжать весь городок светом.

— Ты что так выскочил, в одной рубахе? — раздался ласковый шепот Йоланды.— Продрогнешь! Иди в дом. Мне тоже что-то не спится. Давай лучше поболтаем.

— Давай.

Мы сели рядом у печки-голландки. Йоланда дрожала:

что-то невероятное было в нашей встрече. Струи ее солнечных волос пахли травами с лесной поляны...

— Я устала, Михай, устала все время ждать и Адриана и тебя. Я уже всякую надежду потеряла, милый мой. Столько лет ни одной весточки. Только слухи... Настоящий кошмар! Неизвестность куда страшнее, чем самая горькая весть. Этот дом стал для меня невыносим, а ведь я в нем родилась,— какая-то обитель мертвых душ.

— Война, Йола, что поделаешь!

— Да, война... Мама, когда собиралась в церковь, всякий раз заботилась, чтобы в поминальник перед литургией занесли нужные имена. Она сначала Адриана, а потом и тебя тоже в заупокойный список вписала.

— Что ж, выходит, вы меня от забвения спасали. Благодарствую.

— Я тебе еще не рассказала одну вещь, очень важную. Когда отец уже умер, вскоре после этого приходит к нам один старый рыбак из Дельты, они когда-то с отцом дружбу водили. И приносит мне этот старик — не поверишь, Михай,— весточку от Адриана! Он, оказывается, спасся с того потопленного корабля — и не один, а еще с каким-то парнем-поляком. Рыбак мне рассказал, что они добрели до его дома, еле живые от усталости, от голода. Переночевали, а перед уходом Адриан черкнул мне несколько слов на клочке бумаги. Вот.— И Йоланда сняла с полки книжку, в которой хранила послание Адриана.

Смерть меня не щадила.
Я увидел корабли в реках рук твоих.
Я услышал жаворонков с фиалок губ твоих.
Солнечные часы указывают мне путь.

Да, строчки, набросанные на обрывке газетной бумаги, конечно же, написал Адриан. Мне ли не знать его почерка?

— После этой записочки,— сказала Йоланда,— ни слуху ни духу, как сквозь землю провалился. Только на воскрешение из мертвых и можно рассчитывать.

Вдруг снова перед глазами у меня прошла панорама той нашей экспедиции, когда среди ученых-энтузиастов я впервые увидел Йоланду Младин. Живая, веселая, смеющаяся, она была центром всеобщего внимания. Особенно Павел Енинштя, видный энтомолог, который облазил все болота в поисках редких козявок, увивался вокруг Йоланды. Но стоило ему к ней подойти — хоп, и

мы с Адрианом тут как тут, будто случайно проходили мимо. Он напускал на себя серьезность и, глядя сквозь нас, уходил размеренным шагом, а мы принимались острить, выдумывая всякие небылицы про комаров, майских жуков, пауков и стрекоз, так что Йоланда заходилась от хохота.

В эту ночь, съежившись у печки, она выглядела удрученной, слабой, как существо, которое не знает, что принесет завтрашний день.

— Я буду ждать его еще год, так я решила. А год кончится — уйду из Антифалы.

— Куда?

— Куда глаза глядят, куда ноги несут.

— А как же Марчела?

— Мама останется здесь, в старом доме. Она меня предупредила, что, хоть убей, не отпустит со мной Марчелу. Она говорит, война отняла у нее первую любовь, и теперь она ни за что не отдаст последнюю.

— Не теряй рассудок, Йола!

— Оставь, Михай! Видишь, что жизнь делает: ставит все с ног на голову! Ах, если б ты тогда ответил мне на мою открытку...— вырвалось у нее.

— Йола, что ты? — спросил я в волнении.

Йоланда не ответила. Она скрылась в комнате, где спала Марчела. Часы в столовой пробили три.

Я задул лампу.

2. ВИНИЧЕР

Виничер — так называют в народе сентябрь, месяц винограда — был на удивление своенравным. Обычно он радует голубым прозрачным небом, а землю окрашивает в нежную желтизну. Всегда ясный и щедрый, с полными карманами орехов, баюкающий в ладонях виноградные гроздья, которые насыщают его жилы свежим соком, в ту осень 1940 года он был почти шальным: то звенел в полях и на виноградниках тоненьким холодным ветром, то стелился инеем и расползался туманами. Виничер был похож на подвыпившего гуляку, который бродит в лихо сдвинутой набекрень шапке и озорничает от избытка сил.

Несколько дней тому назад я узнал, что Адриан болеет и отлеживается на мельнице Гейдриха. Я даже испугался: не стряслось ли с ним какой беды.

Мельница давно не действовала, ее постройки одиноко и молчаливо высились среди вросших в землю хибарок Барешоая. Хозяин жил где-то в городе и свою мельницу, нагло бодавшую лазурь неба, видел только издалека.

В большом дворе стояло продолговатое строение, когда-то оно предназначалось для хранения зерна, а теперь служило чем-то вроде общежития. Общежитие возникло стихийно, там ночевали те, у кого не было над головой крыши. Двор был полон грузовыми машинами, повсюду сновали солдаты. Как и почему попал Адриан на эту мельницу, я узнал позже. Состояние его было серьезным, уже несколько дней он лежал пригвожденный к койке, его лихорадило, весь он обливался потом, временами бредил. Я навещал Адриана уже несколько дней, состояние его не улучшалось. И только к концу недели, когда я прибежал к нему сырым и холодным утром с твердым намерением забрать его с мельницы, в болезни Адриана наметился перелом к лучшему.

— Уснул,— прошептала мне Магда Никоарэ, которая ни днем ни ночью не отходила от постели больного.— Всю ночь бредил, страху я с ним натерпелась под самую завязку. Только не разбуди, он недавно уснул, перед утром.

— А что с ним было? Может, нервный шок?

— Что ты сказал?

— Я говорю, не было ли у него какого-нибудь нервного потрясения? Может, не в порядке нервы?..

— Нервы! А кто этим сейчас не страдает?

— По крайней мере, я этого избежал.

— Ну, ты трус, умеешь приспосабливаться к любому положению. В душе ты развратник, а значит, и трус. Я тебя разгадала. Если хочешь знать, любого мужчину можно разгадать с первого поцелуя.

Я почувствовал, что краснею, и отвел глаза. От слов Магды у меня все перевернулось в животе, будто встряхнули мешок с камнями. Я смотрел на большое, заставленное койками помещение, в котором, кроме нас троих, никого больше не было. Видимо, все ушли по своим делам. Через небольшое окно вяло пробивался осенний свет, со двора доносились военные команды, смех, треск мотоциклов и ровное урчание моторов, иногда врывалась гармошка. Они нарушали тишину комнаты. Мне трудно было вынести взгляд зеленоватых глаз Магды,

смотревших на меня, как на незваного гостя. Я помню этот взгляд и поныне, как помнится и весь наш разговор.

— Он мне мил,— шептала Магда,— очень мил. Ты не знаешь, что это такое — любовь, потому что тебе из-за любви страдать не приходилось. Может, когда и вздохнул разок-другой. Ты свои любови пробовал, как соль с кончика ножа. А Адриан не такой. Он ни разу не захотел меня, вот потому он мне и мил. Он меня не хотел...

Я не сдержался и сказал:

— Вот именно, что не хотел.

— Заткнись! — лицо Магды потемнело.— Я знаю, почему он не хотел меня. Потому что всегда был увлечен своим делом. Он всегда, сколько я его знаю, был увлечен своей страстью.

— И что же это за страсть?

— Скажи, каким незнайкой ты умеешь прикидываться! Прямо-таки наивный дурачок. Ты знаешь его не хуже меня, знаешь, чем он живет и дышит, а еще спрашиваешь, что это за страсть! Лаешь, как собака в лунную ночь!

Магда наклонилась и осторожно поцеловала Адриана в небритую щеку. Потом погладила его вытянутую на простыне руку, заботливо поправила одеяло на груди. Я смотрел на Магду и недоумевал, что с нею происходит. Какая муха ее укусила? Она вообще никогда не говорила о любви и даже насмехалась над теми, кто пытался говорить о своих чувствах. И я никогда не замечал прежде, чтобы у нее было какое-то другое, чем, скажем, ко мне, отношение к Адриану. А она всегда возбуждала во мне желание. Все во мне кипело, стонало. Значит, она была ко мне равнодушна? И только притворялась... А я-то думал! Ведь не всегда же эти зеленые глаза были такими холодными! Какими же видел их Адриан? Хотя кто ее знает, Магду, возможно, она и сейчас не говорит правды? Да и не нужна мне ее правда. Как не нужна слякотная осень. Какой-то дурацкий водоворот жизни...

Адриан познакомился с Магдой в один из дождливых вечеров прямо на улице. Он предложил ей стать натурщицей и привел в свою мастерскую, которая была обыкновенной скромной комнатой, да и ту он снимал временно. Он вынужден был сделать это потому, что с отцом у него возникли нелады, которые особенно усугубились за последний год. Здесь, в этой комнате, он мог работать спокойно.

Девушка приходила в назначенные дни и часы. Она не пропустила ни единого дня, ни разу не опоздала. Сперва она бросала на Адриана нежные, зазывные взгляды, старалась принимать соблазнительные позы, она явно провоцировала его. Тогда Адриан раздражался, кричал на нее, гневно укоряя, что она портит своими дурацкими выходками все волшебство творчества. Магда притихала и покорно застывала в нужном положении. Уходя, она бросала робкий взгляд на холст, где и происходило волшебство творчества. В ярких пятнах непросохших красок она не узнавала себя и однажды, не выдержав, сказала:

— Мне кажется, я вовсе не такая.

— Для меня ты такая, какой я тебя пишу.

— Вроде бы не похоже...

Адриан мыл руки и не оглянулся на нее. Он только сказал:

— Потому что я вижу тебя по-своему. Я вижу в тебе то, чего не видят другие и даже ты сама.

Магда кивнула, хотя ничего не поняла из объяснения Адриана. Она довольствовалась похвалой художника, который называл ее «прелестной моделью». Но после этого разговора она уже не проявляла любопытства к его холстам. Одевшись, равнодушно проходила мимо. Впоследствии и самому Адриану перестали нравиться те немногие эскизы «Обнаженной натурщицы», над которыми он работал с таким старанием. Он признался однажды, что изобразил голое, без листьев, дерево и потому вышло все так холодно и манерно.

Я увидел Магду при первом моем посещении мастерской Адриана. Она сидела на тахте, полная молодой силы, и ела яблоко, глядя перед собой. Она не испугалась и не застыдилась, только сверкнула в мою сторону глазами. Адриан рассеянно посмотрел на меня, потом на Магду и спохватился.

— Возьми плед,— сказал он Магде.

Она лениво поинтересовалась:

— А зачем?

— У нас же гость! — теперь уже сердито ответил Адриан.

— А! — девушка рассмеялась, набросила плед на голые плечи.— Я и не заметила.

Но в ее взгляде, которым она посмотрела на меня, я уловил оттенок сообщничества.

Я пошел к ней в тот же вечер. Взяв за руку, она провела меня через темные сени, мимо тазов, ведер, табуреток и топчана, оттуда слышалось затрудненное, хриплое дыхание. «Это мама»,— шепнула мне Магда. В бедной комнатушке огонек спички несколько секунд блуждал по стенам, пока Магда не нашла медный подсвечник с огарком.

— Не бойся, мама все знает,— сказала мне Магда.

Огарок замерцал желто и грустно, на стенах закачались наши тени. Слабый треск этой свечи и по сей день остался в моих ушах, на сетчатке моих глаз, в токе моей крови, в горле и ноздрях — запах стеарина и дешевых духов.

Магда не переносила темноты, и когда свеча гасла, она спешила зажечь ее снова или просила, чтобы это сделал я. И тогда опять на вздутых стенах качались наши уродливые тени, напоминающие два верблюжьих горба. Из сеней слышался сухой кашель, пламя свечи вздрагивало, к потолку поднималась тонкая струйка чада.

— Ты что скалишься? — неожиданно прерывает мои воспоминания сердитый возглас Магды.— Думаешь, вру все? Мне врать ни к чему, сам знаешь. Я вот все эти дни и ночи думала... Сижу рядом, караулю его от смерти и думаю: «Может, и мне счастье выпадет?» По-твоему, я уже и надеяться не могу? А я вот надеюсь!

— У него невеста, ты что, не знаешь разве? Она ждет его.

— ...я на его невесту! Ха! Ждет его. Да я, может, ждала его еще до того, как стала шлюхой. Конечно, она будет его ждать — боится, как бы не остаться на бобах! Важная глупая гусыня! И чтоб он такую ласкал, миловал...

— Ты же ее не знаешь,— возражаю я,— она не глупая и вовсе не важная. Можешь поверить мне. Она любит Адриана, и он ее любит. Они пишут друг другу каждый день, а скоро он поедет к ней в Антифалу.

— ...на ее письма! Небось по флакону духов выливает на каждое, чтобы возбуждать Адриана. Я вас, мужчин, хорошо знаю, вы на запах как псы бежите. А Адриан к тому же еще простофиля.

— Ты несправедлива, Магда. Напрасно ты так относишься к чувствам других людей.

— Смотри, как он заговорил! А ты сам когда-нибудь интересовался моими чувствами? Ну, хоть когда-нибудь спросил, что я чувствую? Да тебе только одно и надо было — то самое, ради чего ты ко мне шлялся, вот только это самое ты и ценил. А сейчас он, видите ли, требует, чтобы я была справедливой к другим. Ну и штукарь! И к кому справедливой? К этой белокурой бездельнице, чтоб у нее зенки повылезли! Хоть я ее живую и не видела, зато на фотографии нагляделась вдоволь: Адриан ими все стены завешал. Не знаю, что он в ней такого нашел, только ни черта симпатичного в ее физиономии нет. Сидит надутая, гордая, а зубы мелкие, мышиные. Грызть она его будет на славу!

— С чего ты взяла, Магда? — опять говорю я.— Как она может быть бездельницей, если ее отец всю жизнь рыбачил на море и на Дунае, он почти ослеп от соленых штормов, от туманов. Посмотрела бы ты на его руки... Они всегда жили трудно, и невеста Адриана не птичка божья, она даже в море с отцом ходила. Нет, ты не права. Признайся, что просто злишься.

— Вот что, сними-ка ты со своего носа очки, а то мне всегда кажется, что ты что-то скрываешь за толстыми стеклами. Мне твои глаза напоминают жучка, который отсиживается под корой дерева, а сам тем временем древесину пожирает! Такой, знаешь, безобидный жучок, а вгрызается в самую сердцевину!

— Пожалуйста.— Я снял очки.— Мне нечего скрывать от тебя, Магда. Тебе, конечно, хотелось бы услышать плохое о невесте Адриана, я понимаю тебя, но она и в самом деле хорошая девушка. Я знаю ее четыре года, мы же учились в одном университете, в Аркодабаре. Там Адриан с нею и познакомился. За четыре года можно узнать человека — хороший он или плохой.

— Только не бабу! — засмеялась Магда.— Бабу за четыре года не узнаешь, поверь мне! Мы из чертова семени, и если которая из нас захочет, так хоть три пуда соли с нею съешь, а не узнаешь, ни что она думает, ни что собой представляет. Так-то, мой мальчик. И поменьше хвастай, что учился в университете. Вы все эти четыре года болтались по притонам Аркодабары. Ах, мы учились в Аркодабаре! Ах, какие там горы! Мне ведь тоже хотелось бы увидеть эти горы, хоть раз в жизни...— неожиданно грустно закончила Магда.— Такое счастье выпало, чтоб сгореть ему ясным пламенем!

— Я и не думал хвастать. Просто рассказал тебе то, что знаю. Нельзя быть такой несправедливой.

— Хватит тебе болтать о справедливости! Твое понятие справедливости не всем по карману. Я ведь тоже училась в гимназии, правда, всего три года, но носиться тебе с философией нечего. Может, мне не меньше твоего хотелось видеть горы, но кроме этого вонючего города я ничего не видела и не увижу. Рамидава — моя колыбель и моя могила. Здесь буду сидеть и лить слезы, кажется, так говорил Дософтей или Варлаам, не помню уж, кто из них. Если бы мой отец не погиб, возможно, и я училась бы в Аркодабаре среди Карпатских гор. Но его угораздило попасть под поезд. Надо же такому случиться! Как там все это вышло, я точно не знаю, но, думается мне, на матери большой грех. У нее тогда был любовник, она все ему отдавала, даже кормила борова такого! Как же, хорошо помню это рыло с соломинкой во рту. Он всегда ее жевал. Отец мой был молчуном, каких свет не видел, и если он что и замечал, все про себя держал. Да что толку? А я тогда училась в гимназии и, не случись этой беды, могла бы со всеми вами кантоваться в университете. Попробовала бы тогда потягаться со мной эта самая невеста Адриана! Меня бы бодал рогами этот бычок — будь спокоен! Я тебе прямо в твои бесстыжие глаза скажу: не будь того несчастья у Бучумен, когда отца искромсал поезд, была бы я в Карпатах, вместе с вами, только потом не хвасталась бы этим перед такими же, какой я стала теперь. Можешь надеть свои очки, без них твоя голова вроде желтой тыквы с сухим хвостиком. Пусть уж лучше будут твои глаза напоминать жучка-древоточца, чем видеть тебя вислоухим лопухом. Я хоть и конченый человек, но не зловредна. «Каков мир — таковы и мы». Есть такое изречение или это я его придумала? — И Магда надела мне очки.

— Если мир меняется к лучшему, то и мы становимся лучше,— пробормотал я,— ты права, Магда.

Я тихо опустил ей на плечо свою руку, Магда слегка наклонилась и прижалась лбом к моему лбу. Мне хотелось рассказать ей о том, что я всегда хранил про себя. Эта моя тайна была подобна письму, которое, вместо того чтобы бросить в почтовый ящик, швыряешь в подвал, где его вместе с остальным мусором бросят в печь. Возможно, потом ты будешь об этом сожалеть,— кто знает!

Сравнение моей головы с желтой тыквой пробудило в памяти забытое. Чьи-то невидимые пальцы коснулись трепетной пружинки, она вздрогнула, и заработали колесики воспоминаний. Я снова очутился в третьем классе гимназии. Стояло засушливое лето, и мы играли в ойну в долине Боураша. Тут мы и услышали весть о том, что кто-то попал под поезд. Одни говорили, что это произошло в результате столкновения пассажирского поезда с товарным, другие — что человек сам бросился под колеса. Мы помчались к месту катастрофы.

И вот тогда, впервые в своей жизни, я увидел разрезанное пополам человеческое тело. Верхняя часть туловища лежала на шпалах, ноги —в кювете. Первыми я почему-то увидел ноги и ясно представил, что вот совсем недавно человек шел на этих ногах, шел, задумавшись о чем-то, и не слышал, не видел, как сзади на него надвигается смерть. Я посмотрел на голову погибшего, и она напомнила мне желтую тыкву. Я подумал: «Разве это голова человека?!»

Я обессиленно прислонился к телеграфному столбу. И вдруг услышал гул проводов — деловитый, упорный. И тогда я со страхом подумал, что даже этот деревянный столб более живой, чем то, что осталось на шпалах от человека. Появился полицейский и всех прогнал. Но мы бы ушли и сами, на *такое* долго смотреть нельзя. Я с трудом оторвался от столба, который гудел, как растревоженный улей. Продолжать игру в ойну уже никто не мог, мы разбрелись по домам. Потрясенные виденным, мы уносили в своих душах тяжелые шпалы.

Но я не смог усидеть дома и вернулся назад. Не знаю, что меня повлекло... Лучше бы я этого не делал. Там уже была телега с бортами из досок, обычно в них перевозили уголь, овощи или разный хлам. И вот в эту телегу погрузили останки, накрыли их соломой и мешками. Неподалеку стояли несколько женщин, прикрывая ладошками рты.

Возница — высокий худощавый старик в дырявой шляпе, нахлобученной на глаза,— стегнул клячу, и она нехотя тронулась. Старик пошел рядом с телегой. Я запомнил, что он несколько тянул одну ногу, его башмаки были подвязаны проволокой, чтобы держались подошвы. Он шел рядом с телегой, и со стороны казалось, что везет он капусту или что-нибудь другое, столь же безобидное.

Следом зашагали притихшие женщины. Они казались мне пугалами. Я пошел тоже и все смотрел на правое колесо, надсадно скрипевшее, оно вихлялось из стороны в сторону, мне казалось, что оно вот-вот соскочит. Возница молча и равнодушно шагал рядом с лошадью, женщины начали перешептываться, а я все боялся, как бы не слетело колесо. И тревожно отдавался во мне гул телеграфного столба у железнодорожного полотна.

Потом я заметил, что к нашей группе присоединилась женщина в ярком желтом платке. Вроде бы на голове у нее расцвел подсолнух. Она о чем-то спросила, и ей ответили вполголоса. Женщина в желтом платке покачала головой и снова о чем-то коротко спросила. Ей ответило несколько голосов сразу. Тогда она быстрым шагом догнала подводу, откинула мешок и принялась разгребать солому. Она это делала так решительно и лихорадочно, что даже возница не сказал ни слова. Вдруг она закинула вверх побелевшее как мел лицо и страшно закричала. Это и была жена погибшего.

Вот так и осталась Магда Никоарэ сиротой.

Я все еще держу руку на плече Магды. Мне очень хотелось курить, и я сказал:

— Я закурю, ладно? Если Адриан и проснется, то это даже к лучшему. Мне необходимо переговорить с ним.

— Ну что ж,— неожиданно согласилась Магда.— Поговори. Я с ним почему-то боюсь говорить, кажется, скажу не то, какую-нибудь глупость. Поговори, Михай, милый, а я послушаю, о чем вы будете говорить.

— Чего же ты боишься?

— Да вот... не знаю сама. Боюсь ошибиться.

— Этого не избежать,— сказал я,— все мы совершаем ошибки. Сперва совершают ошибки родители, и мы их за это упрекаем. Потом другие ошибки делаем мы сами, и наши дети будут упрекать нас. Может, на наших ошибках и земля держится.

— Опять философствуешь,— усмехнулась Магда.— Нет, я боюсь другого. Боюсь вывернуть перед ним свою душу. Закуривай скорее!

— Эх, Магда! Все-таки напрасно ты не училась дальше. И потом, можно же было поискать работу...

— Все, что я могла сделать,— сделала. Но я поздно поняла то, что понимаю теперь. Я крепка задним умом, так было со мной всегда. И потом... моя мать...

— Надо было помочь и матери.

Магда́ горько усмехнулась.

— Советы давать легко, это я тоже знаю. Но что ты знаешь о моей жизни, очкарик? Я старалась помочь матери, в чем могла. Но она после той истории начала пить. Сквозь горячий пар над лоханью я видела, как блекнет ее красота и свежесть, как она теряет свой прежний образ. Она пропивала все мои деньги. Тогда я устроилась в парикмахерскую, думала — получу специальность. Хозяин окрутил меня, и стала я его любовницей. Он ведь грозил, что выбросит меня на улицу. А у самого, черта лысого, жена и дети... Знаешь, что он говорил? Что у него какой-то особый модус вивенди. Прямо так и сказал. И обкорнал меня этот севильский цирюльник! Сбежала я от него, поступила на трамвай билетершей. В один прекрасный день садится в трамвай бандит с пушком на подбородке и принимается толочь воду в ступе. Клялся, что без меня жить не может. Глаза у него были как у кота — раскосые, наглые,— меня прямо-таки в дрожь кидало. Садится в мой вагон сегодня, завтра... Пока не спер у меня сумку с дневной выручкой. И снова пришлось мне стать у корыта с бельем. Ты что, не знаешь, как трудно у нас в городе найти работу? А мать все пила, требовала денег, гнала меня на панель. И я пошла. Куда было деваться? А теперь вот спохватилась, стало страшно, что подохну одна-одинешенька и никто даже не вспомнит обо мне.

— Почему же так, Магда? Ты еще молода...

— И в молодости боятся одиночества. Но сейчас, когда жизнь так перевернулась, когда все зашевелились, словно в растревоженном муравейнике, я и вовсе растерялась. Мне говорят: теперь все пойдет по-другому. А я думаю: почему же тогда одни радуются, а другие плачут? Одни удирают из Рамидавы, кляня все на свете, другие — мчатся сюда и веселятся, что настанет другая жизнь. Ничего не понимаю. Мать тоже веселится и пьет больше прежнего. А я не могу спать по ночам, лежу, смотрю в потолок и боюсь. Чего боюсь? Да всего. И что опять могу совершить ошибку, и что останусь одинокой. Если бы меня взял с собой Адриан, он ведь тоже хочет уехать из Рамидавы, куда-то на Дунай. Я бы с ним поехала на край света, ничего бы не побоялась. Я ребенка от него хочу, Михай.

— Ты будешь иметь детей, Магда. Если не от Адри-

ана, то от кого-то другого. Адриан же едет к своей невесте.

— ... на его невесту!

Я вздохнул, спросил:

— А как он сюда попал, ты не знаешь, Магда? Что это ему взбрело? У него есть дом, родители...

Все эти дни, пока я навещал Адриана, лежавшего в беспамятстве, я мучился загадкой, как он попал на мельницу. А тут еще этот разговор с Магдой, неожиданно откровенный... Ах, Магда! Кто потерял то, что мог бы не потерять, всегда будет чувствовать себя одиноким. Кто мечтал отдать свою любовь, но так никому и не отдал, остается одиноким. Тогда грудь наполняется тоской, человек мечется, не видя выхода, как белка в колесе, это бег на месте. Белка не понимает, что у нее все отнято — лазурь неба, лес и горы, а тут еще стоят зеваки, смотрят и потешаются...

— Значит, шепчетесь? Прекрасно! — Адриан приподнялся на локте, разглядывает нас, улыбаясь. Голос у него иронический.— Два сообщника! Уж лучше бы говорили громко. Шепот и крадущиеся шаги будят скорее, чем привычный шум и гомон.

Я запротестовал:

— У постели больного испокон веков говорят шепотом. Значит, ты не оценил нашу заботу?

— Ох, Адриан! И напугали же вы меня этой ночью,— сказала Магда обрадованно.— Такие речи закатывали. Страх!

Адриан рассмеялся:

— Да это я нарочно, выговориться хотелось. В бреду ведь все можно сказать, без опаски.

— Как ты попал сюда, на эту мельницу? Что тебе взбрело?

— Это мой секрет, Михай! Я даже Магде не признался.

— Мне это ни к чему! — Магда махнула рукой.— Меня больше ваша болезнь волнует.— Голос у нее задрожал, она отвернулась.

— Ты мой ангел-хранитель. Не будь тебя... Спасибо, Магда.

— Пустяки,— печально отозвалась Магда.— Что могла, то и сделала... А теперь вы улетите, как аист, в дальние края, и я даже не знаю, вернетесь ли вы в Рамидаву вместе с аистами.

— Я и сам не знаю,— ответил Адриан,— случается, что аисты гибнут в пути.

— У тебя дома были неприятности? — спросил я и переставил табурет ближе к изголовью Адриана.— У тебя такой вид, вроде земля ушла из-под ног.

— Взорвался вулкан Фудзи. Там такое творится: летят камни, пепел, течет расплавленная лава...

— Что, отец?

— Отец, конечно. Да и не только в нем дело...

Магда встала, сказав, что пойдет приготовит Адриану еду и чай. Я понял: она не хочет мешать нашему разговору. В окна легко застучал дождь. Адриан повернул голову, прислушался к шелесту листьев и шуму дождя за окном. На мельницу словно бы надели мокрый башлык — так вокруг потемнело. Мы некоторое время молчали, потом Адриан сказал задумчиво:

— Мой отец решил уехать в Ульметум.

— Почему?! С чего вдруг?

— Ну, ты же знаешь, он иконописец. Не может расстаться с церквами, монастырями, говорит, что с приходом новой власти его ремесло никому больше не понадобится. Он считает, что у него нет другого выхода. Я пытался доказать ему, что он может работать краснодеревщиком, даже маляром. Он же делает прекрасные росписи стен, потолков, его ремесло понадобится при любой власти, так что он может жить и дальше в родном городе со спокойной совестью. «Вот именно,— ответил он,— потому я и хочу уехать, чтобы остаться с чистой совестью». Ты бы видел, как он все эти дни ходил по двору с блуждающим взглядом, страшно было смотреть. Мать дни и ночи плачет. Но отца поддерживает моя сестра, и у ее мужа родственники в Ульметуме. В общем, плюнул я на все и ушел из дому. Пусть они там сами разбираются в своей судьбе. Я-то решил твердо никуда не уезжать. Целую ночь бродил по городу, а на рассвете, на Тигечской, встретил Магду...

Магда как раз вошла в комнату, принесла горячий чай. Она услышала последние слова Адриана.

— Видел бы ты его, Михай, каким он был бледным,— сказала она со вздохом.— Я страшно перепугалась. Думаю, ну совсем мертвец на ногах!

— Ты чудесная девушка, Магда,— сказал Адриан.

— Это для вас я такая,— ответила Магда, нежно и преданно глядя на Адриана,— потому что вы сами хоро-

ший человек. Вы не из этих... типов, которые только и могут, что глядеть на меня, как на кобылу.

— Не злись! — сказал Адриан.— А хочешь, поехали со мной на Дунай?

— Да вы что... вы это серьезно? — Магда едва не выронила стакан с чаем.— Так нельзя шутить, Адриан.

— Я говорю серьезно. Поедем, Магда? Будешь жить у самой дельты Дуная, выйдешь замуж за рыбака, начнешь новую жизнь... Там такая красота! Я познакомлю тебя со своей любимой, с Йоландой Младин. Ну?

Магда горестно усмехнулась.

— Я думала, вы по-другому меня зовете...— Но она взяла себя в руки, спросила: — А море я смогу там увидеть?

— И море увидишь, и тысячи птиц, и закаты... А хлопцы там какие!

— На пароходе бы проехаться хоть раз в жизни...— задумчиво продолжала Магда.

— Поедешь и на пароходе, большое дело!

— Тогда и маму надо забрать. Может, она...— Но тут Магда спохватилась, заговорила деловито: — Вот поешьте немного, чаю выпейте, чтобы скорее сил набраться для дальней дороги. Уж очень далеко то море, как и горы Карпатские!

Неожиданно сверкнула запоздалая молния и грянул гром — явление довольно редкое в осеннее время. Мы примолкли, посмотрели в окно. Молнии как спицы пронизывали небо, следом катились мятежные удары грома. Что бы все это значило? Удивительно капризным был этот виничер!

Как часто маски, которые мы надеваем, оказываются нелепыми пустыми гримасами. Магда, с ее романтическими стремлениями, была на голову выше меня тогда. Может быть, к ней пришло более глубокое понимание прекрасного в часы, проведенные у Адриана в мастерской, когда она позировала (ярчайшее время в серой и печальной ее жизни). Она уехала на Дунай много позже, в разгар войны. Но не было уже для нее ни Адриана, ни обещанного Черного моря с пароходами, ни птичьих стай на озерах. В портовых трущобах всадил ей нож в спину мертвецки пьяный конокрад. Словно нарочно приехала она сюда, чтобы умереть в мире потерянных иллюзий.

3. КОРНИ

Улица сохранила только прежнее название — Гончарная. Но старые приметы ее стерлись, ушли в землю и в воспоминания. Теперь ищи — не найдешь.

Когда-то на Гончарной, рядом с водокачкой, стоял каменный дом под красной черепичной крышей, и принадлежал он отцу Адриана Вирджилу Тонегару. Вирджил унаследовал дом от родителей, переселившихся из Мунтеляга. От своего отца перенял он и ремесло иконописца. И когда маленький Адриан стал тянуться к краскам, Вирджил почувствовал удовлетворение при мысли, что его жизнь повторится в сыне, как повторилась в нем самом жизнь его отца. Такой порядок вещей он считал закономерным и мудрым.

Сын подрос и стал у отца подмастерьем. Вирджил Тонегару не ограничивался писанием только икон, он брал от монастырей и церквей подряды на выполнение резных изделий: дверные карнизы, украшенные геометрическими узорами или тюльпанами, полихромные и в затейливых насечках кресла, спинки стульев для клироса, аналои. В таких делах Вирджил Тонегару разбирался прекрасно, он считался одним из лучших мастеров Рамидавы. Резьба по дереву — работа необычайно кропотливая, но она не пугала Вирджила Тонегару,— он всегда помнил о том чувстве полного удовлетворения, неизменно приходившего к нему заслуженной наградой, когда вещь была закончена.

Он не противился канонам, напротив, они казались ему естественными и даже похвальными. Любое отклонение от канонов могло вызвать недоумение, разные толкования.

«Старайся выполнить свою работу так, словно это последняя страница твоей жизни, словно тебя больше уже не будет»,— изо дня в день слышал Адриан от отца. И он в своем ученичестве не щадил ни сил, ни времени.

В дни, когда выполнялись спешные заказы и отец ходил раздраженный и нетерпеливый, с поднятыми вверх ножницами усов, Адриан на улице не появлялся. Напрасной затеей было высвистывать его у калитки дроздом или синицей. Адриан, покорный и молчаливый, прилежно писал лики святых, Скорбящую Богоматерь, «Тайную вечерю» или «Снятие со креста».

Живя на Гончарной (а прожил я там не год и не

два), я никогда не находил ее примечательной. Вот только пыль да еще мухи... Да-да, в этом отношении другой такой улицы не сыскать на всей земле! Но очарование Гончарной возникало не из обыденного, тут были краски другого свойства. Но какого свойства!

Не поймите меня превратно. Гончарная улица не упомянута в «Иероглифической истории» Димитрия Кантемира, боже упаси! И не носила на плечах позументов с бронзовыми конями.

Улица Гончарная способна была вызвать удивление и восторг у любого тем, что населял ее курьезный, необычный люд: каждый имел свое потомственное ремесло, идущее от деда и прадеда, и скорее дал бы отрубить себе руку, чем изменил своему цеху.

В хижинах, покрытых толем, жили столяры, слесари, каменщики, стекольщики, кузнецы, сапожники, кожевники, портные, маляры, вагоновожатые, наборщики — вот они-то и придавали улице неповторимый колорит. У каждой глинобитной хижины хлопотал великан своего дела. Атмосфера улицы казалась сказочной, она ошеломляла меня!

С благоговейным трепетом я шагал по мостовой, каждую минуту ожидая, что увижу подряд у всех ворот Гулливеров!

Из вороха накопленных впечатлений у меня осталось одно, наиболее острое: как могло случиться, что я имею весьма смутное представление о вещах, столь хорошо знакомых другим людям? Тень этого превосходства надо мной, сознание моей робости и неполноценности преследовали меня несколько лет жестоко и горько, словно калеку, вынужденного нести свой недуг среди суеты здоровых людей. Я пытался смастерить свой «перпетуум-мобиле», но, что скрывать, дело кончилось пшиком.

С Адрианом меня связывала неразрывная дружба, основанная на бесконечных дискуссиях об искусстве, мы оба мечтали проникнуть в тайны творчества. Адриан каким-то образом умудрялся читать больше меня, и, когда мы прогуливались по зеленым холмам или по старинным улочкам, он с воодушевлением демонстрировал мне свое предпочтение полотнам такого-то живописца, книгам такого-то философа или поэта. Я любил его слушать. Он рассказывал очень подробно и умел подмечать те мысли или явления, над которыми я сам не призадумался бы, причем, рассказывая, он передавал все настолько объ-

емно, зрительно, что в какие-то мгновения перед моим взором возникали сцены,— в движении, перспективе и цвете. Адриан днем и ночью ходил ошалелый от очередной новой идеи или под влиянием прочитанной книги. Чтение превратилось у него во внутреннее творение, в «мир идей», который был для него реальнее жизни.

Слушая Адриана, наблюдая его переживания, я стал понемногу приобщаться к иному видению вещей. Воспламенялся я медленнее, и горение мое было спокойнее, но удивление не покидало меня долго: Гончарная улица качалась на волнах как корабль, несущий на своем форштевне анемоны. Именно Адриану обязан я этой «идеей». Однажды он показал мне альбом с цветными репродукциями картин Штефана Лукиана. Как и где он его раздобыл, не помню, но мне передалось восхищение Адриана художником необычной лирической силы,— он был близок мне и понятен.

И в самом деле казалось, Лукиан родился и жил на наших улицах! Не было надобности искать где-то далеко его «Чертову окраину», она была тут, рядом с нами, скромно прикрытая сумерками тихих вечеров. Те же скособоченные, повисшие в воздухе, как давно забытая старая рухлядь, сгорбленные хибары — пристанище бедняков. Художнику нравился «серебристый дымок, рассеянный ивами в свете заката», он любил молчаливую грусть уединенных уголков природы. Он признавался: «Мы, художники, смотрим глазами, но работаем душою». И этой душевной силой он наделял каждую хризантему, гвоздику, бессмертник, анемон: его цветы глядят!

Адриан, предельно взволнованный, возбужденный, протягивал мне «Ивы у Кяжны». «Ты только посмотри, Михай, тут что-то от экспрессии Ван Гога, но Ван Гог далеко, а Штефан Лукиан с нами, он здесь, в наших краях, в Долине Боураша. Мы каждый день видим этот ручей, мы много раз сиживали под прохладной тенью этих ив — разве не так? Присмотрись, Михай, к его картинам внимательнее. Он умеет создать поэзию из самых, казалось бы, банальных деталей быта».

Я с любопытством всматривался в репродукции. Анемоны, ласково улыбаясь, беззвучно шептали мне что-то доброе. Но с другого листа в глаза бросались черная, как свежая борозда, линия овечьих шапок и множество детей — «На раздел кукурузы». «Пейзаж с деревенскими домами» — это не что иное, как Гончарная улица. Те же

дома, журавль колодца, те же деревья и сорняки и огромное небо! «Угольщик» — вылитый Оресте Чинупокэ, возчик. И «Сафта-цветочница» тоже наша — Констанца Черкез, вслед которой каждую неделю летят ножи влюбленных мужчин.

Гончарная улица показалась мне вдруг коралловым островом,— загадочным, благоуханным, населенным сказочными богами, которые всегда готовы разделить с любым человеком красоту и добро: пожалуйста, берите даром!

После стольких лет трудно восстановить картины прошлого, память не в состоянии удержать детали, многое развеялось как дым.

В наших с Адрианом взаимоотношениях существовали нерасторжимое единство и гармоничность, отзвуки которых я продолжаю слышать и по сей день. Не приходилось ли и вам порой испытывать нечто похожее? Время ушло как вешние воды, но остались на берегу могучие деревья, и их гордые вершины, купаясь в небесной лазури, переговариваются о событиях дня. Задумчивые холмы молча внимают их беседе; среди холмов бегут дороги, готовые приютить все новых путников. О чем можно спросить у цветов, если они каждый год другие, что узнаешь у Гончарной улицы,— она не прежняя в своем неугомонном пестром беге.

Я заходил к Адриану и в его саду, заботливо возделанном, присыпанном лепестками тюльпанов и пионов, находил приют и отдых. Пока он работал, я сидел на скамейке под орехом, читал или разговаривал с матерью Адриана — Нэстакой. Мне нравилась речь Нэстаки — неспешная, певучая, не засоренная городскими словечками. Страстью и отрадой этой женщины были цветы. Я часто находил ее на грядках: то она пропалывает, то пересаживает, низко нагнувшись к земле, к цветам. Не потому ли в ее глазах была чернота земли, а в лице синеватая бледность? Она превосходно готовила молдавские блюда, но сама почти не ела, радуясь тому, что едят другие. В разговоре Нэстака любила делать ссылки на Библию, печально и мягко напоминала о недолговечности человеческой жизни на земле, и в ее голосе чудился мне благовест далекого колокола, зовущего к вечерне.

Одета она была всегда тщательно, почти празднично, словно каждый день был для нее воскресным. Адриан любил мать, жалел, чего нельзя было сказать о ее муже.

Вирджила Тонегару нельзя было упрекнуть в созерцательности, это была натура деятельная. Предприимчивость, погоня за копейкой постепенно превратили ремесло иконописца в средство наживы. Если в молодости и было у него стремление стать выдающимся художником, то в зрелые годы оно полностью вытеснилось жаждой богатства. Он больше не искал нового, его вполне устраивало достигнутое. На копирование он тратил меньше времени и потому мог выполнять одни и те же заказы едва ли не серийно. Однообразная работа не вызывала у него отвращения или усталости, потому что он всегда помнил, ради чего он ее выполняет. Дела его шли хорошо, семья жила в достатке, и потому Вирджил Тонегару требовал от домашних уважения и непрекословного подчинения.

К жене своей Нэстаке он относился холодно, хотя ни в чем ей не отказывал. Каждый из них жил как бы сам по себе: она готовила, прибирала, стирала, и ее труд, ее забота воспринимались мужем без благодарности, как нечто само собой разумеющееся.

Слабостью Вирджила Тонегару была дочь, Штефания, которую он холил и баловал. И дочь оправдала его надежды. Она вышла замуж за Базила Апостола, директора ежедневной газеты в Рамидаве. Его не огорчило, что зятю было за пятьдесят, зато теперь он был вхож в дома персон из высших слоев общества, он чувствовал себя «спицей» в колеснице эпохи, что весьма тешило его самолюбие.

Газета Базила Апостола была заурядным провинциальным листком, она не имела никакого влияния на общественное мнение и не пользовалась успехом у подписчиков, вся ее информация ограничивалась «местными сокровищами» и скучной развлекательностью. Вирджилу Тонегару не раз приходилось раскошеливаться, спасая от банкротства зятя и не давая «листку для души и тела» кануть в черную вечность. Благодаря ему лысина Базила Апостола продолжала отражать, словно кусок жести, букеты мнений на газетных столбцах. Штефания выглядела счастливой, у нее были хорошие связи в высших кругах. Родила двоих детей, хотя, как однажды заметил Адриан, ни один из них не был похож на отца, Апостола, «разве что наизнанку».

Если дочь радовала Вирджила Тонегару, то сын тревожил. Разногласия между ними обострились. Посещая

местное художественное училище, Адриан начал отдавать предпочтение пастели и акварели, затем пришло увлечение модернистской живописью. Свои новые работы он подписывал вымышленным именем: Совежа.

Это не могло понравиться отцу, хотя на первых порах он был склонен относить это за счет издержек молодости.

Но когда он узнал от Базила Апостола, что Адриан посещает молодежные кружки с нелегальным политическим антифашистским направлением, то не на шутку забеспокоился,— это уже ставило под угрозу благополучие и общественное положение всей семьи. Сам Вирджил Тонегару в политических вопросах предпочитал держаться в тени, твердо веря, что береженого бог бережет. Он хотел, чтобы этого правила придерживался и Адриан. Сын уклонялся от споров, понимая всю их бесполезность и не желая злить отца. Он уходил из дому и бродил по людным улицам города.

Замечая в сыне склонность к созерцательной мечтательности, лишенной всякого практического смысла, Вирджил Тонегару приходил в бешенство. Ему оставалось тешить себя надеждой, что, окончив лицей и сдав экзамен на бакалавра, Адриан уедет учиться и там «приведет мозги в порядок». Однако Адриан, сдав экзамен на бакалавра, заявил отцу о своем желании поступить на философский факультет университета в Аркодабаре. Вирджил Тонегару был поражен, огорчен, разочарован. Философия?! Что это за специальность? Каково ее практическое применение? Он не смог смириться с выбором сына и ежедневно заводил безуспешные споры. На его стороне были Штефания и Базил Апостол, который назвал решение Адриана «мятежом молодого поколения». И только Нэстака ласковым и гордым взглядом подбадривала сына.

Я был своим человеком в доме Тонегару, поэтому споры зачастую велись в моем присутствии. Меня это только потешало, потому что моим кредо было: достоверность недостоверного,— я полагал, что никто не может предугадать будущее, к чему же тогда эти напрасные бесконечные споры? В душе каждого из нас дремлют до поры до времени непредвиденные, неожиданные наклонности,— попробуй предвосхитить их, если ты не волшебник.

Адриан понимал смысл жизни иначе. Он верил в

победу человеческого разума. «Вот, смотри,— он брал книгу и показывал мне,— это фотография, а вот портрет маслом. Сравни их. На фотографии лицо четкое, я бы сказал — аккуратное. Портрет кажется небрежным, здесь нет той внешней похожести, что на фотографии, но глаза выражают мысль, их взгляд глубок и сосредоточен, лицо эмоционально — так и видишь характер человека. А на фотографии его нет, там всего только и з о б р а ж е н и е. Техника не в состоянии передать внутреннюю, душевную жизнь, словом — эмоции. Для этого нужен разум художника».

Оптимизм Адриана освежал меня, как весенний ветерок. Когда он уезжал с отцом в какой-нибудь из монастырей, я с нетерпением ждал его возвращения. Мне не хватало Адриана, я тосковал.

Однажды я застал его за копированием большой композиции «Изгнание из рая». Но, вглядевшись пристальнее, обнаружил, что Адриан обошелся со святым сюжетом весьма вольно. Собственно, схема не была нарушена, все было на своих местах: Адам и Ева, под конвоем раболепных ангелов, с факелами в руках шествуют вон из рая; силуэт господа едва виднеется в райских кущах, отягощенных плодами; из треугольной кельи зорко следит за первыми грешниками его карающее око — дирижер всего мирового оркестра.

Но Адам и Ева, вырвавшись из господнего заповедника, весело бегут по тропинке; горящие факелы кажутся цветными шарами в руках детей, когда они играют на пляже. Наши предки-браконьеры бегут к хижине с явным намерением уберечь от косого ока запретное. На то их воля, влюбленных браконьеров! Ничего запретного.

Око предостерегает. Из треугольной кельи, на башне стражи, окруженное светлым нимбом (теперь я понимаю, что это был предшественник радарной установки для улавливания еретических мыслей), смотрит Око, увенчанное гневной бровью...

Сотворив небо и землю, звезды и воду, деревья и животных, создатель, закрывшись в самом себе, поспешил отгородиться от вся и всех реестром заветов. Хочешь не хочешь — повинуйся. Хочешь не хочешь — моли о пощаде. Хочешь не хочешь — пей, Григорий, свяченую воду. Хочешь не хочешь — проси отпущение грехов. Хочешь не хочешь — бойся. Хочешь не хочешь — кланяйся, земля, господу, Угрюмому Оку. Дозорному Оку.

Адам и Ева первыми бросили вызов, Адам и Ева посмели. И Око лишилось людей, осталось одиноким. Одиноким в своей треугольной келье, одиноким в своей недосягаемой башне, довольствуясь ореолом славы. Око без людей. И без тоски по ним.

Я поделился с Адрианом своим непосредственным впечатлением.

Он внимательно выслушал меня, потом рассмеялся:

— Так ведь это мой отец, его высокомерное око.

В моей памяти сохранился еще один эпизод. Был конец лета 1939 года. В тот день землю щедро поливал дождь. Капли соединялись в звонкие ручейки, а те спешили превратиться в потоки, шумно бегущие по обочинам мостовых, вниз, к вокзалу, и дальше в луга, в долину, где их ждал с пересохшими губами Боураш. Рамидава подставляла ягодицы дождю, трепеща от наслаждения.

Дождь, теплый и бурный, приносил после знойных дней приятную свежесть. Мы с Адрианом сидели в харчевне за угловым столиком, на котором уже стояли две кружки пива и мititеи[1]. В открытое окно нам были видны мальчишки, которые носились с кипами газет и горланили на всю улицу, оповещая о «спыциальном выпуске». Мы подзываем мальчишку, и он сует нам газету. Огромные, кричащие, бесстыжие буквы нагло маршируют по всем страницам, буквы — как орудийные дула, как решетки, как колокола тревоги, как острые серпы, как тяжелые наковальни, как зажигательные бомбы. На первой же странице драматическая новость: легионеры выстрелами из пистолетов убили Арманда... На фотографии — лимузин, через открытую дверцу видно поверженное тело, ноги свисают в пустоту.

Дождь то ослабевал, то усиливал свою назойливую дробь. Босые, закатав штанины, шлепали по лужам пацаны с «выпуском».

Газета комментировала, философствовала, измышляла всяческие пророчества, козыряла своими интервью. Набухала, готовясь взорваться, вторая мировая война. Европейские страны лихорадочно вооружались, экономика падала. Журналисты цветисто и многословно спешили наперегонки поделиться прозорливостью, предви-

---

[1] Мититей — молдавское мясное блюдо, которое готовится на углях.

дением событий, не подозревая, что они больны куриной слепотой. Им война представлялась в отдалении, за пределами собственной страны, где-то т а м, «свежая и веселая война тевтонских богов». Там, на ч у ж о й земле.

Просматривая газетные страницы, мы поневоле приходили к выводу, что только простой человек, который тяжко трудился, терпел лишения, испытывал неуверенность в завтрашнем дне и жил, по выражению тех же газетчиков, без больших горизонтов,— именно он тревожился приближением большой беды, предчувствуя, зная по опыту, что войны, как и пожары, не признают границ. Он не тешил себя надеждой, а спешил собрать скудный урожай, запастись картошкой, луком, салом, пшеницей, кукурузой и вином. Из того, что он выращивал, ему доставалась мизерная доля, но он боялся потерять и то немногое, что имел.

И все же нельзя сказать, что государственные деятели, в чьих руках оказались надежды и судьбы Европы, игнорировали надвигающиеся события. Отнюдь! 9 июня Невилл Чемберлен с г р у с т ь ю в голосе заявил: «...уже год, как я не могу спокойно провести уик-энд вплоть до Троицы, когда получаю возможность доказать своим рыбам, что не забыл искусства подсекания на крючок». Бедные рыбы! Столько месяцев они были лишены внимания хозяина! Простит ли история подобную небрежность? Никогда. Хотя в древности подобные прецеденты и случались, современная цивилизация полностью их исключает. Два тысячелетия назад человеческое общество допускало рабство, но отношение властителей к рыбам было полно изящества. Цензор Крассус носил траур, когда его любимая рыба погибла. Только царственные умы способны достичь таких высот добродетели! Жаль, что Цицерон не сумел оценить всей глубины этой рыбьей драмы, иначе он воздержался бы от столь поспешных выводов, кои он изложил в письме к Помпониусу Аттикусу: «Великие умы полагают, что притрагиваются к небу пальцами, когда пестуют в бассейне старых карпов, берущих корм из их рук, и не тревожатся о государственных делах».

Но что за дело Чемберлену до колкостей древнего Цицерона. Возможно, он помнил, что история повторяется и повторяются тяжкие дилеммы любителей рыб. В те месяцы, когда е г о рыбы тосковали, пуская пузыри, теория грубой силы и минимума серого вещества

привела в движение бронированные армии. Всеобщая бойня была на грани.

— Да, кажется, мы вот-вот увидим эту «веселую войну»,— откладывая газеты, сказал со вздохом Адриан.

— Ну, не так страшен черт, Адриан,— возразил я.— В Турине Муссолини заявил, что не видит причин, которые могли бы привести к войне. Из того, как ведутся секретные переговоры, видно, что все хотят избежать войны.

Адриан усмехнулся.

— Дуче хитрит, он вообще мастер рядиться в шутовские одежды. Пройдут три или четыре десятилетия, и эти заявления покажутся фарсом. Это второй Нерон, который сам же поджег Рим, а потом искал виновных.

Дождь, удвоенный шелестом кленов, лопотал за окнами. Наши голоса терялись в густом табачном дыму. Мы искали истину, не подозревая, что скоро война разлучит нас навеки: один найдет упокоение на погосте, другой, оставшись в живых, сочтет своим долгом воссоздать его образ из желтых искр и пепла.

4. ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, АХШЕНА?

С приходом лета наступает пора отпусков. Прихватив с собой семейство, чемоданы и тоску по странствиям, мы отправляемся в неизведанные дали. Живущие в горах спускаются к морю, другие едут в горы, третьи катят по дорогам, не очень задумываясь куда, лишь бы вырваться из четырех стен квартиры, полюбоваться высоким небом, тенистыми рощами, поваляться среди цветов на опушках, послушать пение птиц, шум ручьев и плеск волны.

Простота, почти примитивность быта во время путешествий высвобождает наши чувства для беспредельного восхищения всем, что нас окружает. Между нами и цветами, между валунами, которые лижет морская волна, и нами словно бы нет никакой разницы: под необъятным сводом ясного неба мы отрешаемся от назойливой значимости своей персоны, чтобы полнее слиться с природой. Зеркала земли дразняще играют перед глазами; они увлекают нас все дальше, пока мы не спохватимся, и тогда делаем привал, вбиваем колья, ставим палатку,— мы все равноправны, едины и дружелюбны,— этому по-

могает черепок отдаленной луны, в котором мы открываем восточную амфору, проливающую бальзам.

Но сколь ни прекрасны луга и рощи, реки и горы,— им не сравниться с морем. Дороги, несущие на себе нескончаемые вереницы машин, подобны полноводным рекам,— они стремятся к морю, и море гостеприимно распахивает перед ними свои объятия. Не случайно Черное море называлось когда-то Понтом Эвксинским, то есть гостеприимным, щедрым, добрым к путникам. Так его сперва называли греки, затем и римляне, после того как удалось им пересечь его водные просторы, построить в береговых ячейках крепости, города и храмы. Да, море хранило свое доброе расположение к аргонавтам, и те добрались до Колхиды в поисках золотого руна. Их следы давно исчезли, ты смыло их, лукавое море. Нет тебе дела до забот археологов, которые, роясь в глубинах, отыскивают по крупицам свидетельства человеческого прошлого, для тебя нет разницы между черепком амфоры и раковиной — то и другое ты откладываешь в свои известковые кладовые. И правда, что за дело тебе до прошлого? Ведь твоя солнечная улыбка вечна, как вечно веселое хлопанье твоих ладоней, твой неспокойный зовущий ропот; вечна твоя тоска по загадочным необозримым океанам. Ты стремишься к ним, и твоя тоска, твое стремление передаются людям. Уже в детстве человек полон мечты о далеких морях и неведомых островах. Ах, море, как ты умеешь дарить нам иллюзию наслаждений!

Ахшена! Это имя было у тебя прежде, ты получила его от гетов и скифов; им ты была злой хозяйкой, волчицей — оскаленной и беспощадной. Потому и прозвали тебя Ахшеной, что значит негостеприимная, пасмурная.

Ты пугала своим ревом дикого зверя, твои волны приносили несчастья. Черт знает, какое твое настоящее имя и какое из них истинное: тогда ли, когда ластишься под солнцем и пестуешь веселых дельфинов, или же когда охватывает тебя слепая, беспомощная ярость и ты готова крушить землю и все, что на земле. Старая волчица, спрячь своих звездных щенков, спрячь их в пучине, не могу больше смотреть на них, я устал, я должен доплыть до берега, я хочу жить...

Адриан плыл из последних сил. Заря застала его далеко в море. Он то пытался оседлать волну, то поворачи-

вался на спину и лежал не шевелясь, отдыхая, буравя взглядом вымытое небо. Там летали чайки, как грустные послания, утерянные рассеянным почтальоном. Вдали уже различалась полоса берега.

Адриан все оглядывался назад, туда, где морская гладь сливалась с небом, в тщетной надежде увидеть, не плывет ли еще кто. Но кругом, сколько мог охватить глаз, море было пустынным, серым, в морщинах волн. Хоть бы отчаянный крик человека, хоть бы взмах руки, чернота одежды,— тогда бы он не чувствовал себя таким одиноким. Ты всех проглотила, Ахшена, воспользовавшись темнотой ночи, ты еще поиграла с бесправными и бессильными жертвами и, только насладившись страданиями, утащила по одному в свое логово, ненасытная волчица. Твоя соленая, маслянистая, вспененная, желтая вода напоминает бешеную слюну суки, Ахшена!

Да и берег казался нереальным,— он то удалялся, то приближался и был подобен фантастической гадюке, которая, затаившись, ждет свою жертву. Это впечатление пробуждало в Адриане холод отчаяния и страха. Что его ждет там, на берегу? И все же он плыл, плыл к берегу, отгоняя мысли и страх, и даже надежду. И когда его ноги нащупали дно, он все еще не верил в свое спасение. Волны, которые так долго куражились над ним, проявили милосердие: подхватив под мышки, вынесли на береговую гальку и отхлынули, шушукаясь...

Он долго лежал обессиленный. И только когда прошли озноб и дрожь, он уткнулся лицом в мокрый песок и зарыдал. Сознание непоправимой беды охватило его, как омар клешнями. Пустынное, словно до сотворения мира, море; пустынна земля; он может кричать и плакать, но никто не отзовется, потому что он один.

Только Ахшена, коварная ночная блудница, растягивает в улыбке губы, обожженные ядом.

Потом он, кажется, уснул,— он не помнит, что это было — сон или забытье, но когда открыл глаза — увидел чаек и неясную зарю. Он подумал: «Элегия чаек...» И море было ласковым, в нежной пене, казалось, ее взбили дети, бегающие у края воды.

Адриан, качаясь, поднялся на ноги. Во рту и на душе было горько, тело саднило, словно после побоев. Адриан снял с себя гимнастерку, брюки, белье, выжал и разложил на камнях. Оставшись в трусах, он двинулся вдоль кромки берега.

Не будь войны, сколько людей заполняло бы этот берег, но в то утро он был пустынным и диким. «Не мог же спастись только я один,— думал Адриан,— стоит поискать. Стоит поискать, и я найду, если не живого кого, то хоть мертвого, но я найду!» Сейчас он был бы рад даже мертвому,— так непомерно велик был страх одиночества. Он был бы рад любому свидетельству — солдатскому сапогу, пилотке, обмотке, потому что эти вещи помогли бы ему вернуть ощущение реальности, поверить в свое спасение.

Море ведь тоже свидетель? Но его даль спокойна и безмятежна. И небо свидетель. Небо, откуда темной ночью падали бомбы. Сейчас в нем — ни облачка.

Адриан шел, с трудом переставляя ноги, и на песке оставались вмятины — печальная цепочка человеческих следов. Легкий бриз шевелил кустарники, трепетно вздрагивали листья ивы. Между лысыми холмами чернели грязевые озерца.

Когда Адриан увидел жилье, он даже не поверил себе. Долго вглядывался в скособоченную лачугу, потом отвернулся и посмотрел назад, на свои следы, которые уже слизывала медлительная волна.

И опять взглянул в сторону, где ему пригрезился человеческий дом. Он не смел поверить! Но он ясно видел крышу, белую стену, ему даже казалось, что видит людей, хотя с такого расстояния вряд ли можно было увидеть.

Сперва у него было одно желание: бежать туда, к дому, к людям. Он уже двинулся, и тут его охватило томящее чувство тревоги. Еще не понимая причины, он застыл, потрясенный, беспомощный. И тут, у самой кромки воды, он увидел распластанное на песке неподвижное полуобнаженное тело мужчины. Над ним медленно кружили чайки, их печальные крики словно взывали о помощи. Рядом вздыхало море. Вдоль пустынного пляжа ветер гнал пожелтевшую смятую газету, она прокатилась у самой головы мужчины; и Адриан, напрягшись, ждал, что будет дальше, но человек не шевельнулся, а газета заскользила мимо, пока не прибилась к кустам.

Адриан медленно двинулся вперед. Он разглядел небритое землистое молодое лицо, мускулистое тело; голубые открытые глаза мертвеца, казалось, всматриваются в небесную даль, его руки, простертые к морской глади, не то просили у моря пощады, не то ждали, чтобы при-

шла волна и унесла его с собой. И Адриан, словно газетный лист, подталкиваемый ветром, прошел мимо, пока не споткнулся о спасательный круг. «Таврида»... Он нагнулся и взял круг в руки. Да, сомнений быть не могло, круг был с «Тавриды». Значит, и тот с потопленного парохода, и тот, мертвый... Адриан невольно оглянулся, потом медленно пошел обратно. И вдруг его будто ударили дубинкой по голове: утопленник лежал на боку и смотрел на Адриана широко раскрытыми блестящими глазами. Да-да, он смотрел, в этом не было никакого сомнения!

Адриан едва не вскрикнул. Подойдя совсем близко, он тяжело опустился на колени, взял мужчину за руку, и тот ответил слабым пожатием. «Невероятно,— пронеслось у Адриана в голове,— невероятно». Он жив, он дышал, смотрел! И даже услышал его тихий голос:

— Все погибли, спаслись только те, что были в лодке... Не ищи других.

— А ты что ж лежишь вот так, тебе плохо?

— Слушаю музыку моря, и мне хорошо.

— Я думал, ты мертвый.

— Кто знает, может, мы мертвы оба, давно скитаемся уже на том свете и страдаем наяву.

«Он не в своем уме,— мелькнуло у Адриана.— После такой ночи это не в диковину. Можешь ходить по земле и думать, что шагнул туда, в мир праведников. Мне и самому реальность представляется зеркалом с исчезнувшими образами, пленкой, которая никогда и никем не будет проявлена».

5. СКИТАНИЕ

Долго оставаться в хижине старого рыбака они не могли и потому, едва окрепнув, стали собираться в путь. В путь, но куда? Их встретила прохлада утренней зари, когда пробуждаются в тайниках камышей и делают перекличку болотные птицы. Адриан испытал слабый импульс счастья: земля возвращала ему радость обыденностью своего существования. Все так же катила волны река, стрекотала сорока и кралась лиса, принюхиваясь лукавой мордочкой. Но его радость не могла быть долгой, ее погасила тревога. Что их ждет впереди, какие новые напасти? Сможет ли он взять когда-либо кисть в руки, чтобы запечатлеть это таинство природы, или же сама жизнь исключит его из своей среды? Его будущая

судьба представлялась теперь загадкой, каким-то сложным математическим уравнением, и искомым мог оказаться ноль.

— Лодка там, на берегу, у ивы,— сказал им рыбак,— переправитесь через озеро и, даст бог, доберетесь до Женуклы. А дальше... смотря как вам повезет. Когда идет война, надо полагаться на счастье. Проскочит тот, кому суждено. Я уже прошел свою войну, ту, мировую, и остался жив. Да, можно остаться в живых, и будут у тебя руки и ноги, а внутри... внутри ты калека. Бывает и такое.

Растроганный до слез, Адриан обнял старика, поцеловал в морщинистые щеки. Потом заторопился. Надо было спешить,— возможно, им удастся пробраться к своим. Ясек молча шел следом, глаза его лихорадочно блестели, но в лице было странное, отсутствующее выражение. Ясек Гринкевич был поляком по происхождению, из далекой Померании, сюда, в эти сарматские края, он попал при тягостных обстоятельствах.

Безразличие Ясека угнетало Адриана. Вопрос жизни и смерти касался их обоих в одинаковой степени, он надеялся на поддержку спутника, ему хотелось слышать биение его сердца, как свое, как перезвон колоколов. Ведь только в тесном единении они могли чувствовать себя увереннее. Но Ясек безучастно молчал.

Вчера вечером старый рыбак вытащил из плетеного сундучка залатанную рубаху и облинявшие брюки и дал их Ясеку. Они были коротки долговязому поляку. Старик, свыкшийся с горьким одиночеством, был рад нежданным гостям, он поделился последним, что у него было. Приютил их, накормил и рассказал, как перебраться через озеро. Утром вручил торбу с едой. «Пошел бы с вами, чтобы помочь, но мало от меня проку — вижу все, как сквозь сито». Он протер слезившиеся глаза с припухшими покрасневшими веками. И все же эти глаза сумели разглядеть чужое горе.

Он еще пытался шутить.

— Берегитесь, дорогие мои, как бы вас не слопали волки. Они теперь в другом обличье — в немецких касках.— И уже серьезно добавил: — Говорил мне один дунайский рыбак, что в дельту забросили десант.

Он помог оттолкнуть от берега лодку. Ясек, все так же молча, взял в руки весла. Лодка легко и бесшумно заскользила по камышовым просекам. Сразу возник пти-

чий переполох, закрякали потревоженные утки, тяжело поднялись в воздух две-три длинноногие цапли. К прибрежным рощицам жался сонный туман, будто курилась земля. Вскоре стал удаляться высокий песчаный берег, где приютилась одинокая хижина рыбака, и вот уже лодка вошла в тайники озерных камышей. Только тогда Ясек поднял голову, посмотрел вокруг и грустно вздохнул.

— Все это напрасно... Тут мы как в западне. Камыши, вода и небо... И нас только двое. Только двое во всем мире...

Адриан отозвался резко:

— Что с тобой? Рано расклеился, рано начал каркать!

— Может, тебе весело? А, нож еще не дошел до твоей кости! Ты дома. Ты дома...— Ясек говорил возбужденно, почти громко.— Меня же война сделала скитальцем, бездомной собакой. Я покинул Померанию, я одинок, мне тяжко, хочется плакать. А тебе?

— Давай я буду грести,— примирительно отозвался Адриан.— Ты еще не окреп, может, потому...

— Нет. Нет! У меня сил еще много. Я родился у моря и могу грести сколько угодно.

— И все же...

Но Ясек перебил его:

— Никаких «все же». Вот эти болотные птицы... они счастливее меня, у них есть гнезда. Осенью улетят в другую страну, туда, где нет войны, а весной вернутся назад, к своим родным местам. Они снова примутся вить гнезда, высиживать птенцов. А что могу сделать я?

— Говори тише. Пожалуйста, говори тише, Ясек, и не падай духом. К весне война кончится. Она не может продолжаться долго.

— Я не падаю духом,— вяло и тихо сказал Ясек.— Но пожелание добра ближнему превращается в глупость, когда человек обманывает себя надеждой, что война может скоро кончиться. Она продолжается в жертвах. Кроме смерти, голода, разрушений, война несет изгнание. Знаешь, что это такое — изгнание? Когда тысячи людей — старых и молодых — женщин и детей, взвалив кладь на спину, покидают свои очаги, родную землю и убегают куда глаза глядят... А потом лавиной катится война и догоняет... Догоняет...

Он говорил шепотом, но Адриану казалось, что он кричит.

— А ты советуешь не падать духом...— Он опустил весла и рассмеялся. Смеялся беззвучно, перекосив лицо.

И опять взялся за весла. Адриан молчал, стиснув зубы. Лодка ткнулась в островок из сушняка, на котором был шалаш из камыша. Старый, почерневший от времени шалаш.

— А, вот он, остров,— снова заговорил Ясек,— может, мы останемся тут, на месяц, на два? И переждем войну, раз она так скоро кончится? — В его голосе слышалась ирония.

Но Адриан промолчал, ему не хотелось спорить с Ясеком, к тому же он опасался, что их тихий разговор будет слышен на воде. Ясек подождал, потом повел лодку дальше.

Над их головами шумно пролетели гуси, вытянув шеи, раскинув мощные крылья. Наступило утро, в просветах камыша засверкало озеро, отражая лучи солнца. Адриан нагнулся и вытащил из воды желтую лилию. Ясек оставил весла и тоже засмотрелся на цветок. Потом достал из кармана кисет с табаком, который дал им рыбак, молча свернул самокрутку. Курил он жадно, втягивая дым, глядя перед собой широко открытыми пустыми глазами.

Адриан вспомнил утро на морском берегу, распластанное на песке полуголое тело Ясека, которого он счел мертвым, потусторонний взгляд мертвеца. Странным был этот взгляд, словно Ясек, возвратясь с того света для короткого визита, оценивал небо и землю, оценивал без тени сожаления, скорее по обязанности. И снова тот же взгляд... От него бросало в дрожь. Не зная, как избавиться от тягостного чувства, Адриан швырнул лилию в воду и пересел на место Ясека, взяв из его безвольных рук весла.

Вспоминая 1939 год, кагда в Аркодабаре появились первые поляки, бежавшие от гитлеровских захватчиков, Адриан силился припомнить, не встречался ли ему на улицах города Ясек. Он ведь был там. Ему хорошо запомнилась та осень, когда лили не переставая дожди, особенно по ночам. Улицы гудели от потоков дождя, он тогда еще думал, что это реквием встревоженной природы, предвестие грядущей второй мировой войны.

На бульварах, в кафе, библиотеках — везде было

полно поляков в военной форме. Они носили длинные шинели и высокие четырехугольные фуражки. Кажется, их называли конфедератками. Когда по улице проезжала польская легковая машина, ее можно было узнать не только по внешнему виду, но еще по необычно музыкальному клаксону.

Во многих странах Европы война дышала пожарищами. Буря близилась, но пока гремела вдалеке, молнии стегали соседние пашни. Только однажды, когда на вокзал прибыл эшелон с ранеными поляками, Адриана охватило необычное волнение. Он увидел людей, которых проносили мимо на носилках, увидел забинтованные руки, ноги, обожженные лица, но самое главное, он увидел глаза этих людей и понял по их взглядам, что землю наполняет ужас, пропитывает ее кровью и страданием. Это воспоминание осталось в его душе, ибо с того мгновения началось прозрение, в душе поселились боль и гнев. И вот теперь глаза Ясека напоминают глаза тех, раненых изгнанников.

Сидя на корме, Ясек флегматично смотрел на воду, но Адриан знал, что его мысли блуждали в другом мире. А утро было синим и ласковым, солнце лежало бликами на воде, играло в русых волосах Ясека. Но он ничего не замечал,— сгорбленный, придавленный бременем своей судьбы. И вдруг неожиданно рассмеялся все тем же странным тихим смехом, от которого у Адриана пробегали по коже мурашки. Адриан, едва сдерживаясь, приналег на весла, но Ясек, покосившись на него, спросил:

— Скажи, тебя когда-нибудь волновала проблема долголетия?

Адриан пожал плечами.

— Я над этим задумывался, еще когда учился в последних классах лицея. Эта загадка преследовала меня днем и ночью.

— Что толку думать об этом сейчас,— буркнул Адриан, недовольный тем, что Ясек снова разговорился.

— Я думал, что смогу найти какое-то решение. Яурт и фагоциты Мечникова не восторгали меня, не внушали доверия. Я стал изучать жизнь растений...

— Почему растений, а не животных?

— Ну, это одно и то же, разве не так? Биологические параллели... Все это — жизнь. Вот самшит, он так долговечен, так нетребователен, у него есть что-то общее

с черепахой. Может, надо жить так, чтобы не тратить много усилий? И существуют эфемериды, которые живут один день. Всего только один день! — Голос Ясека стал громче, и Адриан шикнул.— Да-да, я буду говорить тише, но мне надо говорить. Может, есть помимо естественных явлений какая-то невидимая сила, которая управляет всей жизнью? Я вот все думаю об этом...

— Почему же ты поступил в медицинский институт?— усмехнулся Адриан.— Шел бы в семинарию.

— Нет, ты меня не так понял. Я не о боге говорю. Проблема долголетия занимала меня по другим причинам. Мне бы хотелось, чтобы молодость человека не проходила, не увядала... А сейчас, после «дранг нах остен» Гитлера, я стал бродягой без родины, теперь мое «долголетие» обеспечено где-то среди звезд...

— Ты бы поменьше каркал.

— А предчувствие? Ты его тоже отрицаешь? Нам скоро конец. Может, мы в последний раз видим солнце, небо, воду и зеленый камыш... И этих цапель...

— Вон уже берег. Лучше подумаем, как добраться до Женуклы.— Адриан был взбешен, но сдерживался.— Молчи!

Ясек замолчал. Они долго и настороженно всматривались в безлюдный берег. Потом, оставив лодку в камышах, вброд добрались до берега. Ясек Гринкевич нес весла, Адриан торбу с едой. Отсидевшись в зарослях ивы, тронулись в путь. Устав от пережитого, от разговоров Ясека, Адриан почувствовал необъяснимое безразличие. Они шли проселком, почти не хоронясь, не страшась встреч с людьми.

У колодца Ясек остановился.

— Я не могу больше. Если хочешь — иди дальше сам. Я хочу есть, а в колодце вода для питья.— Он наклонился над срубом.— Там, в торбе старика, еда. Ты знаешь, что нас ждет впереди?

— Пошел к черту!— сказал Адриан.— Пошел к черту! На, ешь.— Он бросил на землю торбу.

— Не понимаю, почему ты злишься. Может, нам не останется времени ни на еду, ни на питье, ни на то самое... Ты хочешь меня бросить?

Адриан сел на землю, прислонившись спиной к срубу колодца. В направлении Женуклы горизонт был загрязнен черным дымом. Гремели орудийные раскаты, словно гроза. Адриан вспомнил, что говорил старик о десан-

те немцев на Дунае. Ему хотелось сосредоточиться, представить, что их ждет в пути, но мешало раздражение против Ясека. Наверное, им придется миновать Женуклу. Кругом — ни души, поле казалось горячей печью. Выгоревшая трава, немилосердное солнце... И только кузнечики трещали в сухой, как порох, траве. Их стрекот напоминал сухой кашель.

В конце концов, может, Ясек и прав, времени у них еще много. Надо поесть. И когда они поели лепешек, Адриану стало казаться, что их положение не такое уж отчаянное. Худшее позади.

Адриан вспомнил о тех ранних рассветах, когда он писал сарматские степи, ведь и тогда он был один в поле. Да-да, один в поле. Он шагал по тропинкам, неся этюдник, и восторгался необъятностью неба и земли. Изредка ему встречались люди. Люди... Но тогда они были вооружены лопатами, граблями, иногда они шли следом за плугом, и он останавливался и писал взрыхленное поле. Он встречал путников с посохом и сумой за плечами; еще издали Адриан следил за фигурой человека, ждал, когда он подойдет ближе. И вот они встречались на узкой стежке, здоровались, перебрасывались одной-двумя фразами и расходились. Теперь в его измученной душе воскресали те приветственные фразы, они были подобны дуновению ветра, приносящего аромат цветущих лугов.

Но сейчас степь горела. И горела мысль. Адриан лихорадочно искал выход, ему казалось более верным направиться к Олбии, что на реке Гипанис. Хоть добираться туда было дальше, а значит, и риск был больше, но зато они смогут пробраться к своим. Фронт был там, и они должны перейти линию фронта. Пусть остаются за его спиной родные луга. Пусть остается и это голубое небо, которое он так любил. Останется Антифала, где живет Йоланда Младин, его жена, с еще не родившимся ребенком. Он тешил себя надеждой, что она вместе с родителями. И она будет ждать его. Да, она будет ждать, и он вернется. Он вернется!

6. ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Этот желтый, лениво повисший в воздухе, подобно хвосту дракона, пыльный вихрь первым увидел Адриан. Прозрачное до того поле словно бы вспороли ножом. Он не сразу догадался, что это след от машины. И только

когда она, подпрыгивая на колдобинах, врезалась в кукурузную делянку, будто жатка, Адриан дотронулся до плеча Ясека, который пил в это время воду из бадьи, тихо сказал:

— Смотри, какая-то машина...

— Это они... военный немецкий грузовик! — вскрикнул Ясек.— Немцы! — добавил он с отчаянием.

Машина, подминая кукурузу, направлялась в их сторону. Плотная, удушливая стена пыли угрожающе надвинулась, как сачок для ловли бабочек, стало трудно дышать. Заскрежетали тормоза, и машина остановилась напротив колодца. Адриан с трудом удержался, чтобы не спрятаться за срубом, но офицер, высунувшись из кабины, окликнул:

— Эй, вы!

Адриан и Ясек настороженно переглянулись.

— Вам куда? — Офицер выглядел усталым, под глазами у него залегли темные, меланхолические круги. Шофер, приоткрыв дверцу, держал наготове автомат.

Адриан и Ясек молчали.

— Садитесь в машину.— Офицер снисходительно улыбнулся. Теперь Адриан заметил, что он был в звании полковника.— Вам ведь в Женуклу? — продолжал он допытываться, меряя их с ног до головы странным оценивающим взглядом. Ясек неопределенно хмыкнул.

— Садитесь,— повторил полковник и добавил загадочно: — В Женуклу вам не пробраться, все заставы перекрыты. Лучше вам поехать вон туда, к тем холмам.

Адриан проследил взглядом за рукой полковника и увидел виноградники и сады. «Странно,— мелькнуло у него,— очень странно...»

Полковник слегка улыбнулся.

— Там вы будете в укрытии.

Он так и сказал: в у к р ы т и и. Адриан и Ясек снова переглянулись в полном недоумении. Что значит «укрытие»? Лагерь? Или другая западня? В кузове машины сидел еще один солдат, автомат лежал у него на коленях.

— Живо!

Адриан и Ясек полезли в кузов, машина помчалась по проселку, оставляя за собой шлейф пыли. Адриан лихорадочно пытался разгадать намерения немецкого полковника, но только еще больше запутывался в предположениях. Сквозь стекло кабины он видел, что офи-

цер, ерзая на сиденье, рассматривает окрестности, а когда они поравнялись с небольшим озером, приказал остановить машину. Озеро было окружено белоствольными тополями и вербами — совсем мирное озеро. Ясек и Адриан молча следили, как полковник вышел из машины, подошел к воде, немного погулял под тенью деревьев, вымыл руки и освежил лицо. Затем он долго следил за стаей диких уток, они пролетели над камышами, словно ворох темных листьев, уносимых ветром. Вся нескладная, долговязая фигура немецкого офицера выражала необъяснимое волнение. Здесь, на берегу озера, он и сам напоминал диковинную птицу. Но когда он вернулся к машине, на его лице ничего нельзя было прочесть. Скорее всего, оно было бесстрастным.

«Если бы нас загнали в тоннель, было бы то же самое,— думал Адриан,— мы так же не ведали бы, что ждет нас в другом конце». Он скосил глаза на Ясека, но тот смотрел на автомат солдата.

Совсем рядом мелькали телеграфные столбы, деревья, копны сена, дома с безлюдными дворами, лужайки, они проносились мимо, кружились и удалялись, удалялись, чтобы не возвратиться. Адриану чудилось, что земля прощается с ними, слезно шепчет что-то на поворотах, ему хотелось выскочить из машины и бежать, бежать прочь... Ясек, сжав ладонями голову, сидел молча, упорно избегая вопрошающих глаз Адриана. Иногда он поднимал голову и затравленно, встревоженно озирался. На лбу у него краснели следы от пальцев.

Машина с холодным безразличием к судьбе двух пленников отрывала их от воды и неба, от лугов и полей, уносила в неведомое.

Когда они круто свернули на мощеную дорогу и покатили под сводами вековых деревьев, Адриан невольно схватил Ясека за руку, впился ногтями. Он, как зверь, учуял возможность побега. Ясек понял его. Теперь они были готовы действовать одновременно, мускулы их стонали от напряжения и нетерпения, как спусковые рычаги заряженной катапульты. Адриан приметил лихорадочный взгляд Ясека, вспомнил его слова, когда они пробирались дельтой: «Не отнимай у меня лес»,— кричит белка. «Не отнимай у меня небо»,— кричит орел. «Не отнимай у меня море»,— кричит дельфин. «Не отнимай у меня горы»,— кричит олень. Но ловушки расставляются, и приходит смерть или неволя. Теперь он

тоже понимал, что такое свобода. Он понимал, что такое рабство. Он мысленно видел полоненную землю, слышал плач сирот и вдов и шорох тысяч ног беженцев...

Показались кусты бузины, ракитника и кизила. Адриан и Ясек вздрогнули, но солдат поднял автомат: его сонные дотоле глаза стали злыми и зоркими.

Адриан выпустил руку Ясека, машина пошла под уклон, появилась усадьба, обнесенная решетчатой оградой, двор, окруженный каштанами и старыми липами. Кто-то открыл ворота, и они въехали во двор, мощенный камнем.

Выйдя из кабины, полковник стал разминаться, сразу же появились немцы, хотя до того двор был пустым.

— Я родился здесь, в этом приморском имении,— сказал полковник. Он говорил так, словно они совершили приятное путешествие и теперь он предлагал им свое гостеприимство.— Наследство от деда. Заверяю вас, это была преуспевающая экономия. Но...— он развел руками, вроде бы извинился,— в один прекрасный день нас призвал канцлер, и мы уехали на родину, в Германию.— Он кисло улыбнулся. От его внимательного взгляда не ускользнуло ни недоверие на лице Адриана, ни свирепое выражение глаз поляка, потому что он долго и пристально вглядывался в них, словно бы колеблясь, потом переменил тон разговора. С доверительного он перешел на деловой.— Я взял вас для того, чтобы вы здесь работали, надеюсь, вы догадались. Конечно, я мог бы вам предоставить право выбора: лагерь для военнопленных или просто смерть. Но я был уверен, что вы не торопитесь на тот свет.— Полковник был доволен своей незлобивой иронией.

Несколько солдат, выстроившись неподалеку, ждали распоряжений. Полковник повернулся к унтер-офицеру, который монотонно и методично доложил, что за ночь в усадьбе ничего тревожного не произошло. Тот слушал молча, слегка склонив голову набок. Теперь Адриан догадался, что полковник успел накануне наведаться в свое «родовое гнездо», оставить охрану и сейчас был занят хозяйственными заботами. Он долго и обстоятельно отдавал какие-то приказания унтер-офицеру, показывая куда-то рукой, затем, не взглянув на своих пленников, направился в сторону дома.

Унтер-офицер повелительно кивнул им, и, не ожидая,

пока они перемахнут через борт машины, пошел по боковой аллее. Адриан и Ясек, понурившись, зашагали следом. Шествие замыкали две овчарки. Унтер в распахнутом мундире бодро напевал какую-то песенку, его револьвер в кожаной кобуре болтался на поясе. Казалось, он совсем забыл о пленниках. В густых зарослях возились птицы, тень была гостеприимной и прохладной. Если бы не собаки, которые шли по пятам...

Поравнявшись с высокой каменной башней, назначения которой Адриан не мог угадать, унтер поднял голову и что-то крикнул. Оттуда тотчас отозвались несколько голосов, выглянули двое солдат, один из них сделал какой-то знак унтеру и засмеялся. Теперь Адриан знал, что это наблюдательный пункт.

Унтер-офицер уже спускался в долину, откуда начинались огороды. Сероватая, бесконечная, безмолвная даль простиралась до самого горизонта.

Когда полковник инструктировал унтер-офицера, Адриан уловил слово «овощи», оно повторялось несколько раз, это слово «овощи», и вызывало удивление, потому что он не мог связать его со своей судьбой, а ему представлялось, что полковник должен был говорить именно о их с Ясеком судьбе, и ни о чем другом. Он даже пытался переспросить у Ясека, правильно ли понимает речь полковника, но тот толкнул его локтем, дескать, помолчи. Позже, когда они шли боковой аллеей следом за унтером, Адриан встревожился еще больше, ему мерещилось, что он предчувствует близость неизбежной катастрофы. Ясек, напротив, выглядел менее озабоченным, у него даже появилась на губах загадочная улыбка. А ведь всего полчаса назад, в машине, Ясек с трудом сдерживал ярость! Неужто было что-то смешное в словах полковника? Адриан терялся в догадках. Он слабо знал немецкий язык, особенно разговорный, тем более в минуты страшного напряжения ему казалось, что все, о чем говорят немцы, каждая их фраза принимает враждебную холодную форму, бряцает железом, и вдруг такое обыденное, будничное слово «овощи»... Он усматривал в нем издевку, его не покидала мысль о смерти, и огород представлялся ему горной дорогой, где за каждым поворотом ждет пропасть. «Скорее бы,— думал он,— скорее бы все кончилось».

Унтер-офицер остановился, поджидая, пока они подойдут ближе, и показал на стреноженную клячу, ко-

торая паслась неподалеку. Он что-то объяснил Ясеку, взмахивая рукой то в сторону клячи, то куда-то вниз, где виднелось колесо для полива. В народе его называют «чертовым колесом». Адриану думалось, что он понимает, о чем идет речь, но отказывался себе верить. Они должны заняться поливкой овощей. Значит, их вели не на расстрел?

Ясек слушал, кивая головой, потом он рассмеялся в лицо унтеру. Унтер-офицер поморщился, уставился на поляка воловьими глазами. Адриан больше не мог выдержать и спросил у Ясека, в чем дело. Ясек, все еще улыбаясь, ответил, что немецкая армия нуждается в овощах, им доверена великая честь заняться поливом вот этих огородов, которые, в свою очередь, находятся в имении полковника, и, таким образом, приказ исходит от самого полковника.

— Считай, тебе повезло,— добавил Ясек.— Он говорит, что ночевать мы будем вон в том домике, рядом с башней, а если попытаемся бежать, в нас будут стрелять.

— Пиф-паф! — для большей убедительности сказал унтер-офицер.

Он повернулся и пошел назад в сопровождении овчарок.

Проводив его взглядом, Ясек сказал:

— Ну как, сумеем мы оправдать доверие полковника и всей немецкой армии?

Адриан хмыкнул:

— Так вот о каком «укрытии» говорил новоиспеченный колонист! Любопытно!

— Ты с лошадьми умеешь обращаться?

Адриан покачал головой:

— Нет, не приходилось.

— За версту видно, что эта кляча еле носит свои кости. Пойду развяжу ее, а там сообразим, что делать дальше. Словом, давай проверим утварь. Я уверен, что и колесо для полива так же старо, как и кляча, наверное, скрипит на всю округу.

Ясек ушел к лошади, Адриан спустился в ложбину, где протекал медлительный ручей и виднелось сонное озерко. «Попались,— думал Адриан,— так глупо попались...— Он нагнулся, зачерпнул полную горсть прозрачной воды и стал жадно пить.— Теперь надо искать другие пути. Только бы дождаться ночи, и мы убежим».

Когда он поднялся на бревенчатый настил, послышался сухой скрип, и Адриан усмехнулся, вспомнив слова Ясека. Он толкнул балку, колесо нехотя сдвинулось, словно выйдя из оцепенения. Адриана охватило отчаянье. Ему показалось нелепым и несправедливым крутить это колесо, таскать воду и поливать раскаленную, как горячая сковородка, землю. «Все бесполезно,— думалось ему,— бесполезным оказалось спасение, бегство через дельту Дуная, надежды прорваться к своим. Взамен — это колесо, палящее солнце, которое отбирает всю влагу у земли, весь ее аромат, бессмысленная работа по кругу...» Он огляделся. И то, что у родника не росло ни единой вербы, было тоже несправедливым. «Хоть бы клочок тени, чтобы можно было укрыться от солнца».

Со стороны башни послышалось тонкое повизгивание губной гармошки, потом донесся смех солдат — там веселились. Адриан поежился. И этот гогот солдат, и пиликанье гармошки не давали забыться, они назойливо и тупо напоминали о том, что̀ недавно случилось с ним и Ясеком.

Но вот смех усилился, раздались какие-то возгласы, Адриан поднял голову и увидел бегущего по полю Ясека. Сперва у него мелькнуло, что Ясек решился на побег, но почему он бежит так нелепо, вдоль поля, и зачем то и дело подскакивает? Но тут же сообразил, что Ясек гоняется за клячей. Наверное, он выпустил повод, и расстреноженная лошадь теперь не давалась ему в руки. Она металась, как очумелая, а за ней, нелепо болтая руками, бежал Ясек. Адриан бросился на помощь, перехватил клячу за гриву. Та дергала головой, хрипела, брызгая пеной.

— О, черт! Овод ее укусил, что ли? — сказал запыхавшийся Ясек.

— Видимо, она приблудная,— решил Адриан.— Держи повод.

Они притащили упиравшуюся клячу, с трудом надели на нее хомут, привязали вожжи к шесту и стегнули по крупу. Лошадь двинулась, колесо натужно заскрипело.

— Пошло,— сказал Адриан усталым голосом.

Теперь Адриану казалось, что время остановилось, привязанное к колесу, к лоткам, в которые набиралась вода, чтобы тут же вылиться в желоб. Часы шли, уходи-

ла жизнь, а они все вертелись по кругу: кляча и двое мужчин. Солнце палило нестерпимо, как из разверстой печи, кляча тяжело вздымала худые ребристые бока, спотыкалась,— скорее тень, а не лошадь, Адриан и Ясек налегали грудью на брус, вода набиралась и выливалась, и все это ограниченное малым кругом движение превращалось в изощренную пытку.

Но вот Ясек остановился, с досадой плюнул на бревенчатый настил, мрачно и странно посмотрел на рытвину с родниковой водой.

— Не могу больше,— глухо проговорил он,— пойду умоюсь.

Адриан продолжал погонять лошадь, искоса поглядывая на товарища. Он видел, что Ясек совершенно обессилел, мокрая от пота рубашка прилипла к спине и груди. Адриану тоже хотелось плюнуть на чертово колесо, на клячу, на башню, откуда опять донеслось попискивание гармошки, его охватил тяжелый гнев, но он подавил его, вспомнив, что разумнее дождаться ночи.

Он даже не заметил, когда вернулся Ясек, они продолжали молча толкать брус, словно враги, которые вынуждены скрывать свои мысли друг от друга.

Когда небо прочертили бомбардировщики, оба приостановились, проводили их глазами. Самолеты шли на восток. Где-то в невидимой отсюда дали вздрагивала потревоженная земля. Судьба сбросила свою каждодневную маску, настежь открылись ворота ада, им же досталась нелепая доля кружить по кругу и слушать скрип колеса, который заглушал все, даже мысли...

Ясек то уходил к ручью, то снова оказывался рядом, и Адриан слышал его тяжелое дыхание. Раз или два уходил пить воду и Адриан, но без его помощи и понуканий лошадь останавливалась, а Ясек тяжело повисал на брусе. Тогда со стороны башни слышались крики немцев, и он торопился назад, к колесу.

Казалось, день не кончится, но наконец стали вырисовываться тени: их с Ясеком и клячи. Адриан тащился по кругу и смотрел на эти тени. Они удлинялись, густели. Когда надолго исчезла третья тень, он поднял голову и посморел в сторону ручья. Ясека там не было. Адриан отпустил брус, распрямился и вдруг увидел, что Ясек ничком лежит на траве, обхватив руками голову. Лошадь, почуяв, что ее больше не понукают, остановилась, скрип колеса затих, и в этой тишине отчетливо послыша-

лось рыдание. Плакал Ясек — хрипло, надсадно, раздирающе. Потрясенный, Адриан бросился к товарищу. Услышав шаги, Ясек перевернулся на спину, плач и всхлипы оборвались, и на Адриана глянули широко открытые, немигающие глаза. Их выражение было таким же безучастным, как там, на морском берегу, когда Адриан впервые увидел поляка. Он присел на корточки, спросил:

— Что с тобой? Что с тобой, Ясек?

— Слышишь, Адриан, как жалобно кричат чайки? — тихо проговорил Ясек.— А море... какое оно гневное и пустынное, видишь его?

Адриан, не зная что ответить, снова спросил:

— Да что случилось?

Он понимал, что гневное море бушевало в смятенной душе товарища, возбужденная память возвращала его к той ночи, ужас которой все еще владел больным сознанием.

— Встань! Встань, Ясек!

— Значит, ты ничего не видишь? Даже этого черного, сердитого неба?..

Но Адриан уже поднимал его за плечи, и Ясек вяло повиновался.

— Небо потемнело потому, что вечереет,— говорил Адриан, держа товарища за плечи.— Я думаю, нам можно прекратить работу.

Он повел Ясека в сторону домика, видимо бывшей сторожки, все время ожидая окрика со стороны башни. Но там молчали. В хибарке было сухо, пахло сеном, которое кто-то натащил сюда. Ясек обессиленно повалился на сено. «Нам надо бежать этой ночью,— лихорадочно думал Адриан, глядя на Ясека,— надо бежать, а он совсем расклеился». В памяти всплыли пароход, бомбежка, гибель людей, и он содрогнулся. Этого не забыть, и Ясеку, видимо, такие страдания не по силам. Не зная что делать, он вышел из хибары. Крадучись, ползли сумерки. На башне было тихо,— ни человеческих голосов, ни гармошки. Но это не удивило Адриана, он так устал, что не стал задумываться, куда могли деться солдаты. За черной гривой парка громыхали орудия, потом послышался лязг гусениц, словно неподалеку шла колонна танков. Небо на закате было багровым, тяжким, как перед грозой.

Он спустился в ложбину, полную темных сумерек,

развязал лошадь, снял хомут, но треножить ее не стал.

— Иди, иди и ты на волю,— тихо проговорил он и погладил ее по холке.— Ты нам больше не понадобишься.

«Этой же ночью убежим»,— мысленно прибавил он. Лошадь продолжала понуро стоять, потом тихо поплелась к воде. Адриан, подождав еще несколько минут, двинулся обратно. Парк был тихим и безлюдным, только несколько запоздалых лучей промелькнуло в кустарнике, словно кто-то чиркал там спичкой. Шорох сухих листьев заставил его вздрогнуть, он приостановился, задержав дыхание. Но потом его глаз различил тень какого-то зверька, прошмыгнувшего мимо, и Адриан облегченно вздохнул.

Он вдруг понял, что немцев в усадьбе нет,— в неверных ночных тенях парка дом был как призрак плезиозавра в мутных волнах. Плезиозавр угрюмо молчал, оцепенев от тоски.

Адриану вспомнился немецкий полковник, счастливый владелец вновь обретенной колонии. Интересно, чем он сейчас занят? Возможно, и для него старые времена раскрошились без следа и отзвука... А что остается для них с Ясеком?

С прытью косули Адриан помчался назад, к сторожке.

Но поляка там не было. Чувствуя, как страх подступает к горлу, Адриан попятился к выходу. Что, если Ясек уже решил свою судьбу? Хотелось крикнуть, громко позвать товарища, но он боялся разбудить тишину, боялся спугнуть удачу. Крадучись, он обошел сторожку, прислушался. Безмолвие ночи нарушал только неясный звук, похожий на скрип водяного колеса, и Адриан машинально направился к лощине. И чем ближе он подходил, тем явственнее был слышен скрип, ему показалось, что он даже различает бульканье воды в лотках и тихий свист. Еще издали Адриан приметил смутный силуэт на бревенчатом настиле. «Неужто Ясек?»

Теперь Адриан бежал, догадка превратилась в уверенность: это был он, Ясек. При свете взошедшей над холмами круглой луны хорошо было видно, как налегает на брус хилая фигура поляка, колесо двигалось рывками, словно сопротивляясь, из груди Ясека вырывалось натруженное, свистящее дыхание.

Адриан вскочил на помост, горестно вскрикнул:

— Ясек, что ты делаешь? Что ты надумал, Ясек? —

Он схватил его за худые плечи, резко встряхнул.— Да что с тобой?

— А солнце? — не оборачиваясь и ничему не удивляясь, возразил тот.— Разве не видишь, уже взошло солнце.

— Солнце?

— Да-да, взошло солнце. Надо работать, надо...— Ясек ткнул рукой в сторону луны.— Уж взошло солнце. Где лошадь?

— Я отпустил ее.

— А! Хорошо сделал. Бедная кляча...

— Ясек! Бросай работу, слышишь? Пойдем отсюда.

— Хочешь, чтобы нас убили немцы?

— Их нет, их нигде нет.— Адриан опять схватил его за руки.— Немцы спят, а может, они убрались к чертям, Ясек! И сейчас ночь, ты разве не видишь, что сейчас ночь? Послушай, как тихо кругом.

— Тихо... Ага, значит, немцы затаились в кустах.— Ясек распрямился, огляделся вокруг.— Спрятались и ждут... Их тут целая свора, они только и ждут случая, чтобы разорвать нас в клочья.— Он снова налег на брус.— Нет, нет, я не хочу...

— Сейчас же оставь это проклятое колесо! Уйдем скорее, пока не поздно.— Адриан потянул его за руку.— Уйдем, Ясек!

— Если ты так хочешь,— вяло согласился тот,— пусть...

— Не бойся, Ясек.

— Если хочешь, я уйду.— Он безвольно повиновался, спотыкаясь, пошел рядом.

— Мне душно,— тихо, печально говорил он,— солнце такое холодное, бледное, а мне душно... Диск, заброшенный в небо... Странное солнце, оно гнетет, давит...

Обогнув стороной парк, они вышли на дорогу, и весь этот путь Ясек был занят какими-то загадочными расчетами. Он то оглядывался назад, словно преследуемый видениями, то озирал уснувшее поле, и его губы беззвучно шевелились.

— Хлеба,— попросил он вдруг жалобным голосом,— может, у тебя остался кусочек хлеба? Дай мне.

Адриан пошарил в котомке, вынул зачерствевшую корку. Ясек проворно спрятал ее в карман. Сказал:

— Тс-с! Смотри, сколько открытых ртов в поле, все они ждут, чтобы им бросили хлеба. А я съем его позже.

В поле звенели сверчки, в ветвях одиноких деревьев сонно попискивали птицы. Дорога, ярко освещенная полной луной, прихотливо петляя, бежала между виноградниками, пряталась в тихих садах, укрытых недоброй ночью.

— Ты, верно, думаешь, что я свихнулся? — неожиданно спросил Ясек и вздохнул.— Ошибаешься. Сумасшедший не способен отличить пшеницу от спорыньи, он путает добро со злом... И память... он теряет память. А я все помню, я ничего не забыл. Лучше скажи, куда мы идем? В Женуклу?

— Нет. Попытаемся пробраться в Рамидаву. Там у меня много знакомых. Сперва надо найти приют, а дальше будет видно.

«Только бы нам добраться живыми,— про себя думал Адриан,— не все же эвакуировались, кто-то да остался».

Сейчас его тревожил Ясек. Он не мог оставить его без своей поддержки. Перенесенные страдания сблизили их. Ясек был дорог ему, как брат.

Утро застало их в пути. Вблизи проселка, на бахче, виднелся скособоченный шалаш, он напоминал черный монашеский клобук, нацепленный на жерди. Адриан долго и опасливо вглядывался в сторону шалаша, он видел, как устал Ясек, к тому же оба они были голодны, а бахча желтела дынями, неудержимо влекли темные арбузы с сочной красной мякотью внутри.

— По-моему, шалаш пуст,— пробормотал Адриан.

Солнце, недавно взошедшее, освещало половину поля, арбузы подставляли ему запотевшие бока и, как младенцы из материнской груди, сосали из плетей влагу. На узорчатых листьях сверкала роса.

Решившись, Адриан пошел по бахче, подошвы его ботинок мягко тонули в рыхлой земле. Ясек двинулся следом, и оба они бережно переступали через плети, боясь примять хоть один лист, хоть один спирально закрученный лихой ус. Увидев белую, почти сферической формы, с желто-зелеными полосками дыню, Адриан нагнулся, осторожно отделил ее от шершавого стебелька и взял в ладони. Сладостный, пряный аромат кружил голову, наполнял рот слюной. Дыня была с трещинкой, он слегка нажал, и плод разломился на две желтые половинки. Одну он протянул Ясеку, и тот жадно впился в прохладную мякоть, ел, качаясь от усталости, полузакрыв гла-

за. Казалось, он спит стоя. Даже сладкий дар земли не мог прогнать с его лица безмерной усталости.

Адриан опять подумал с тоской о том, смогут ли они добраться до Рамидавы.

Из шалаша никто не показывался, не слышалось собачьего лая, странная, оцепенелая тишина лежала далеко вокруг. Солнце взбиралось все выше, захватывая бахчу в свой жаркий плен. Но утренняя свежесть еще держалась, пробуждая к жизни все живое, и земля наполнялась звоном и стрекотом.

Адриан приблизился к шалашу, кашлянул на тот случай, если сторож уснул. Тихо. Только пролетела сорока, косясь острыми глазами, залопотала на своем птичьем языке, сообщая какие-то вести.

Ясек шел следом. Адриан слышал за спиной его шаги и дыхание. Перед шалашом, в земле, была устроена печурка, рядом валялось мятое задымленное ведро. Тут же были набросаны консервные банки с яркими иностранными этикетками. Адриан оглянулся на Ясека, но тот стоял безучастно. Тогда он решился и заглянул в шалаш. На земле лежала старая рогожа, в глубине виднелось ложе из прелой соломы.

— Никого,— сказал Адриан и шагнул внутрь.

И в ту же секунду взрыв потряс воздух, раскидал жерди и солому по бахче... «Мина»,— успел подумать Адриан...

Солнце по-прежнему сверкало в небесной дали, но оно было иным, это солнце. Адриан, подобно Ясеку, увидел его в черном без границ пространстве холодным мертвенным диском. Какое-то мгновение Адриану мерещилось, что он попал в глубокий колодец и смотрит оттуда в небо, усеянное звездами, мириадами светящихся хвостатых комет... и этот диск... Он даже сказал себе: «Адриан, постарайся запомнить все это. Постарайся ничего не забыть...»

Ах, сколько раз он с небрежением относился к тому, что видел! Собираясь запомнить, чтобы написать увиденное, подаренное жизнью и природой, он потом забывал, и память сохранила только жалкие клочья воспоминаний. А это забыть нельзя.

Солнце... Затмившееся солнце, с протуберанцами вокруг темного диска, оно не может быть названо светилом, оно ведь не пробуждает жизнь, потому что само мертво.

Безжизненный каменный диск, невозмутимый и холодный, он висел в пустоте, он — отражение луны.

Бьюсь об заклад: бесконечность, какой ты ее видишь сейчас, темно-фиолетового цвета, она не может быть понята тобой, ибо она необъяснима, чужда, она далека от жизни на земле, она *уже не твоя*. И все это в невообразимом движении... Если ты сумеешь написать, значит, поймал на кончик своей кисти летящую молнию.

До последнего вздоха человек способен думать о том, что сделает завтра или послезавтра. Потрясение — первый творческий акт, а смерть остается наибольшим потрясением из всех, что ему дает природа, потому что это — *уход*.

Адриан грустно улыбнулся, вспомнив о том времени, когда, еще подростком, с первым пушком на верхней губе, он искал эти потрясения в чтении книг, в изучении философских трудов, в историях, рассказанных другими людьми. Он спешил, боясь, что на его долю ничего не останется. Чего же он ждал, что искал? Страданий? Да. Хотя он догадывался, что, приди они слишком рано,— человек сгорит в их огне как свеча. Останется огарок. Знал и все же искал. Теперь нашел. Нашел...

Адриан продолжал улыбаться грустной улыбкой, потому что истина, открывшаяся ему, пришла и рано, и слишком поздно.

Солнце поднималось все выше, и никто теперь не смог бы сказать, сколько прошло времени: миг, час, вечность? Когда вынешь из часов винтик, пружина распрямляется, стрелки бешено прокручиваются по циферблату, и тогда пролетают минуты, дни, месяцы, годы — они подобны снежному обвалу. Таков закон на всей земле, ибо она тоже подвластна бегу времени. Войны, засухи, стихийные бедствия причиняют страдания земле, земля страдает, боже, боже... ее часы ускоряют ход, земля проходит через все возрасты, стареет преждевременно и... умирает.

Адриан вздрогнул: *что-то в нем оборвалось, его часы остановились*.

7. ЛЕТИЦИЯ

Кто любит — тот повсюду будет разыскивать следы любви: мелькнувшую в зеркале тень, забытый стебелек травы, бусы, что блестели на шее любимой, прочитанную книгу, кем-то оброненное слово, звук шагов по асфальту,— каждый промелькнувший день будет дарить его своей находкой. Когда идешь к дорогому тебе человеку, а он между тем ушел, но оставил в пепельнице окурок со следами помады, оставил газету, которую ты спешишь перелистать, присев на диван, еще хранящий запах духов, ты сожалеешь, что опоздал на какие-то несколько минут, лишившие тебя счастья. Следы любви во всем — видимом и невидимом — снисходят на тебя как благодать, напоминают о себе далеким курлыканьем журавля. В воздухе витает тень любимой, тень, не видимая никому, кроме тебя, она тут — между шкафом и этажеркой, у телефонного аппарата, в самом воздухе. В саду ты наклоняешь ветку вишни, которую за несколько мгновений до твоего прихода очищала от ягод резвая козочка, и ты без труда представляешь ее лицо, поднятое вверх, к листьям и солнцу.

Ты садишься на тот же диван, перелистываешь ту же газету и оставляешь в той же пепельнице сигарету, надеясь на чудо, непостижимое, но для тебя почти реальное, способное уплотнить рассеянные вокруг тени в телесный облик, ты почти слышишь шаги на песке у дома, и у тебя кружится голова от теплого рукопожатия. Однако козочка переходит в эту минуту улицу и отражается в витрине книжного магазина или сидит в парикмахерской, стоически вынося пытки электросушилки, примеряет очередное платье в универмаге или оживленно болтает с подругой о пустяках. Тебе остается одно: терпеливо ждать.

Но если дорогой твоему сердцу человек ушел не пять минут назад и не просто в суматоху Рамидавы, а ушел двадцать лет тому назад, в тот далекий, знакомый и незнакомый мир, откуда нет возврата, в небытие,— по-прежнему ли ты ищешь следы, что когда-то были и никогда уже не будут вновь?

Разве не вздрагиваешь порою в автобусе, метро или в самолете, когда меньше всего ждешь этого, где-нибудь вдалеке от Рамидавы, при виде чужого лица, чужой фигуры, которая вдруг обнаруживает сходство с тем че-

ловеком, за которым ты по-прежнему гоняешься по всем меридианам? Взволнованный, ты хочешь опустить свою руку на плечо, назвать по имени, потому что снова готов верить в чудо перевоплощения навсегда исчезнувших и живущих ныне. Странные формы метемпсихоза.

Омела воспоминаний ищет себе могучее дерево, взбирается по его стволу как можно выше, отнимая насильно его соки и похищая свет. Омела не могла бы существовать без этого дерева, ибо она питается его соками, притесняя его свободу, отнимая независимость. Гостеприимный хозяин сперва уступает одну-две ветки, которые засыхают, а вскоре и все дерево превращается в мертвый, почерневший ствол без листьев, которые давно уже развеял ветер. Так карабкается и омела воспоминаний, так создала ее сама природа, и ничьей вины тут нет.

И вот ты, Михай Врынчан, поднимаешь взгляд от страниц разных слишком ученых книг, поднимаешь и слушаешь, как зовет тебя знакомый голос Томы Викола. Это телефон говорит его голосом. И все твои серьезные занятия лингвистикой в институте языка и литературы, твоя кандидатская диссертация об «Эволюции метафоры», которой ты решил посвятить свою жизнь, теряют смысл, а ты предаешься укорам совести, что вот опять не сдержал слова, данного Виколу. Твое обещание оказалось повисшим в воздухе. Ты слушаешь голос Томы Викола, в горле у тебя пощипывает, ты растроган тем, что старые приятели все еще помнят о тебе. Его призыв звучит как труба, и уже трудно ему противиться...

Иди, Михай, сказал я себе. Не тревожься, иди, Михай. Почему опять колеблешься? У филологии столько трудолюбивых исследователей, что один потерянный день — не такая уж беда для будущих научных изысканий. Они появятся в положенное время, Михай. Не прикидывайся кротом, роющим чрево земли, лучше надень на голову шляпу и отправляйся. Прогулка летним днем не повредит тебе. Ты же пойдешь к людям, которые еще помнят о тебе!

Тебя приглашают, с тобой хотят выпить стакан вина в старом отцовском доме, чудом уцелевшем у Фэгэдэу. Все тот же дом с навесом на четырех столбах, с завалинкой вокруг. Все тот же, куда вы с Совежой так часто ходили еще до войны, он — с намерением набросать очередной карандашный портрет, а ты — с грехами мо-

лодости, плененный очарованием глаз Летиции. Увидев Летицию, ты вспоминал псалом: не искушай меня... Все тот же дом на холме, где Совежа писал портреты Летиции, где умер от тифа зимой Глигори, а мать его, тетушка Аксиния, потеряла зрение от безутешных слез.

Ладно, сказал я себе, пойду. А чтобы солнце не напекло мне макушку, решил пойти с визитом после полудня. Пусть в этот день метафора развивается без моих усилий и без моего вмешательства! И тут, просвистев, настигла меня тоска и выдавила одинокую слезу.

На кривой, захиревшей улице я едва нашел нужный мне номер дома. Бродить бы мне долго и без толку, кабы не объяснил по телефону Тома Викол все приметы. Со стороны города и аэропорта земля весело взяла на спину новые здания в пять и шесть этажей. Я открыл калитку, из будки предостерегающе залаяла охрипшим голосом шавка.

Жена Томы Викола, Зиновия, на мое приветствие ответила довольно холодно. То ли она была занята по хозяйству хлопотами, то ли ей по горло надоели гости мужа, которые, как я узнал позже, прилипали со своими тенями к калитке каждое воскресенье. На завалинке сидела молодая светло-русая женщина с книгой в руках, рядом курил папиросу худощавый парень с заячьей губой. Зиновия торопливо прошла мимо них. Крупная и полная, она ходила вразвалку, полы ее халата нелепо болтались, так она и скрылась в доме, не сказав мне ни единого приветливого слова.

Испытывая неловкость, я стоял посередине двора, неподалеку от стола, на котором еще были остатки снеди. Вероятно, гулянье только что кончилось, и Тома Викол теперь вел беседу во сне, в другом мире и с другими приятелями. Мне оставалось только созерцать двор или, задрав голову, смотреть в голубую высь, где невидимые реактивные самолеты чертили свои автографы. Но все это продолжалось недолго. На пороге выросла монументальная фигура — пузатая, раскоряченная, с затиснутой между плеч головой. Тома бурно направился ко мне, качаясь, словно сама земля качалась, а уж закричал от радости, словно Красный царь, увидевший в своем дворе Белого Арапа![1] Из широченных рукавов появились волосатые лапы, схватили меня в охапку; от звонкого по-

[1] Красный царь и Белый Арап — герои сказки И. Крянгэ.

целуя запотели мои очки, я тихо охнул, когда почувствовал себя оторванным от земли, словно был невесомым пером.

То, что произошло позже, я предвидеть не мог, ибо непредвиденное вторгается в жизнь наряду с явлениями объяснимыми, мотивированными, будь то приятный сюрприз или ужасное крушение. Сейсмографы определяют землетрясение с удивительной точностью — до сотых балла (после того как оно утихомирится), но разве ты ждешь его, когда ложишься спать? И вот снится тебе бес, отплясывающий твист, и коли проснешься, тут уж поймешь что к чему...

Стол был накрыт снова, уставлен едой и украшен двумя графинами, которые — непостижимо! — все время были наполнены вином. Тут явились и соседи. Речь каждого разгоралась и сверкала шутками. Я сожалел, что не пришла Летиция. Ей нездоровилось. Матушка Касандра, ее мать, сидела за столом напротив меня. Бойкая старушка с сухощавым лицом. Умением держаться среди людей — достойно и гордо — она напоминала мою бабушку. Когда-то Совежа набросал карандашом портрет Касандры — тонкий и экспрессивный, который с удивительной достоверностью поведал людям о доброте и благородстве этой женщины. Сохранился ли портрет? К сожалению, утерян. В войну пропало куда более ценное... Всего и не упомнишь. Ну, что пропало, то пропало, и вспоминать ни к чему. Да так ли?

Тогда, в последнюю военную весну, была такая же пирушка, и тоже здесь, в этом дворе. Было все семейство Томы Викола, пришли Глигори и тетушка Аксиния, были Летиция и матушка Касандра. Не было только моей бабушки. Она жила в Броштенах. Вино лилось ведрами, слова журчали реками, а я все думал о бабушке, как думал о ней всегда, еще там, в Москве. Затем куда-то исчезла Летиция. Оказалось, пошла в Броштены, за бабушкой. Семь-восемь километров — расстояние не маленькое, но бабушка прошла его за час! С трудом переводя дыхание, она почти вбежала во двор, чтобы скорее прижать к своей груди внука, уцелевшего в пекле войны. Впервые я увидел ее тут, в этом доме. У бабушки прерывалось дыхание и мелко дрожали плечи. А рядом счастливо улыбалась Летиция. И была тогда теплая звездная ночь. Я смотрел через открытые окна на мое небо, такое синее и странное, и мне

хотелось плакать от радости. Ведь я нашел свои родные нити, нашел среди руин и человеческих драм! И меня баюкала нежность родного голоса.

Однако в послеобеденное время этого воскресенья, пришедший по зову Томы Викола, я чувствовал себя совсем иным, чем был тогда, два десятилетия назад. Казалось, что я сижу на вокзале аэропорта и жду самолета, который опаздывает, потому что где-то там сгустились туманы.

Вместо Летиции я увидел Тэнасе, ее мужа. Тэнасе, сидевший рядом с тетушкой Касандрой, своей тещей, все время искал причину для ссоры. Летиция родила ему шестерых детей, а Тэнасе все еще подозревал ее в неверности. Возвращаясь домой с работы, он поколачивал ее. Страсть его была безгранична. Сидя теперь рядом с тещей, он что-то бормотал, и та печально качала головой. Шум и смех за столом заглушали интимную ссору между Тэнасе и Касандрой, но все же до моего уха дошло словечко «чокнутый». Тэнасе сидел угрюмый, ничего не ел. Было ясно, что он в дурном расположении духа. Он все поглаживал свой орлиный нос, но вдруг схватил полный графин вина да и стукнул им по столу! Графин разлетелся вдребезги, красное вино разлилось, добрая его часть превратила мою рубашку в мокрую тряпку. Тэнасе хоть таким способом поставил точку над «i».

Гости вскочили со своих мест. Последовала сцена, которую с превеликим удовольствием кинематографисты переносят на пленку. Я не мог бы сказать, что это была обычная потасовка. Слово «драка» в такой же мере не исчерпывает глубокого философского смысла этого многовекового обычая. Современные термины, как «аперкот» и «свинг», кажутся мне спортивными пустяками в сравнении с традициями молдавской трынты.

И вот я уже вижу, как Тэнасе описывает пируэт в воздухе. Несколько мгновений он парил, подобно вертолету, вместо пропеллера ему служила чья-то шляпа, удачно запущенная в помощь Тэнасе. Приземлился он в палисаднике, среди цветов. Ватага мужчин наперегонки кинулась к нему, чтобы помочь Тэнасе свершить полет в обратную сторону.

Жаль, что отсутствовали красные кушаки! После ожесточенного сражения с Ханей-Маней, если вы помните, Тома Алимош собрал свои внутренности, затя-

нувшись потуже кушаком, и снова ринулся в битву. Так было в старину.

Теперь мы носим пояса, и хоть ты и перестегнешь его на другую дырку, но пояс тонковат и впечатления не производит. Да, что ни говорите, а с красными кушаками было бы совсем другое дело. Да если еще в придачу черная кушма!..

Линяют обычаи. Теряют свой аромат. В кодрах, у Котлэбуги, черные кушмы служили надежной маскировкой. Говорят, турки от них заболели куриной слепотой. Уж как они ни пытались выкрутиться из создавшегося грозного положения, но куда там! Хлебнули горя. А тут еще наступил тот памятный мороз. Целое войско погрузилось в сугробы снега, но молдаване сумели-таки окружить противника. Тогда туркам оставалось забить коней, а самим залезть в теплые туши, чтоб спастись. Ох, ох, ох, бедная страна Молдавия, через какие испытания пришлось тебе пройти! Ржавеют в своей земле палицы, булавы, пищали, копья, огнестрелы и даже пушки. Ведь и в летописи записано: «...и отпустили все разом огонь и пушки в них. И так падали турки, будто падали спелые груши с дерева, когда его трясут люди». В послеобеденное время этого воскресенья силы тратились всуе, больше ради гулянья.

Однако бойцы были поделены на два лагеря, как и полагается по обычаю. Сосед Томы Викола, что живет выше его дома, и сосед, что ниже, оба перекинулись на сторону Тэнасе Стойка (как видите, тут тоже ничего нового: соседи испокон веков не терпят тебя, будь ты хоть со звездой во лбу), а Тома Викол, сыновья и зять Траян составили другой лагерь. Только я и худощавый парень с заячьей губой, уединившись возле сарайчика, который использовался под летнюю кухню, следили за развитием битвы, озаряемой последними отблесками солнца.

Тут, прямо из бочки, можно было прополоскать рот кружкой простого вина.

От топота и толкотни вздрагивала земля. Бой разгорался. Вдруг Тома Викол отделился от кучи тел (Тэнасе уже в седьмой раз летел через забор), встряхивая каменными плечами, приблизился к нам.

— Ну, видали, как я его махнул? — задыхаясь, спросил Тома и залпом выпил кувшин вина.— Тэнасе не знает, кто ему наподдал такого пинка!

И Тома, набравшись сил и затянув ремень потуже, вновь ринулся в бучу.

Женщины в это время спокойно занимались своими делами. Жена Траяна сидела на завалинке и кормила грудью младенца. Касандра, теща Тэнасе, убирала со стола тарелки и приборы. Молчаливая Зиновия пошла доить корову. Никто из женщин не выказал и признаков беспокойства, боже упаси! Нынче и женщины не те, скроены по другим меркам. Напрасно мы вытаскиваем на свет старинные былины, в которых преобладала гипербола. Судите сами: в одной из баллад Груя Новак грустит, что не может жениться, потому что этой женитьбе препятствует дикая девушка «из степи Тираса, около моря». А и в самом деле, тут призадумаешься, коли была та девушка «спиной — как гумно, и головой — как стог сена», и были у нее «губы — как окорока, глаза — как овчинки, руки — как бревна». Теперь подобную девушку и со свечой не найти. Наши молодицы тоненькие, как тростник, слабые существа, потому и оставляют мужчин резвиться, как им того хочется.

А в конце концов, как бы мы ни углублялись в прошлое, сколько бы ни ворошили традиции и обычаи, сколько бы ни предъявляли требований к тем или другим Летициям, а уж если говорить по совести, то родила Летиция своему Тэнасе шестерых богатырей — глазастых и носатых, вылитых Тэнасе. И что из того, что Тэнасе не верит ей, бранит, случается, и поколотит, так все это происходит от его «чокнутости», от его же испорченности. Ну, а если что и бывало в те времена, когда Летиция была еще молодой и привлекательной, то Тэнасе, если он помнит и уважает наши традиции, следует придерживаться «Молдавской Правилы» от 1646 года, где ясно и недвусмысленно записано, что муж имеет право убить свою жену, ежели поймает ее с любовником, и «предпочитает не мириться с ней, а то если помирится с нею, то уже нет времени ее убивати». Тэнасе после стольких лет супружества, да еще с таким многочисленным потомством, должен бы проглотить галушку и помалкивать.

Примерно в таком духе высказывались женщины возле сарайчика, пока драка подметала во дворе пыль. Что я мог возразить?

Собирая в долинах тени, вечер подкрадывался и сюда, на холмы. Жар борьбы погас, толкотня прекратилась.

С чувством выполненного долга убрались по домам к своим женам и детям соседи Томы Викола. Тэнасе охлаждал голову под краном, в то время как Тома и Траян мыли ему лицо, очищали волосы от запекшейся крови. Хитрость Томы Викола в отношении своего шурина удалась полностью. Где уж тому было разобраться, кому принадлежали тумаки посильнее, а кому послабее, если их было неисчислимое множество, а когда в седьмой раз летишь через палисадник, то думаешь не о том, кто тебя сумел поднять на такую высоту, тут, пожалуй, тебя обуревают совсем другие чувства. Может, он думал о том, как бы не помять цветы? Бедные цветы! Расти бы им в поле, подальше от людей, которым так дороги старые обычаи.

Не найдя следов моих близких, я тоже решил уйти домой. Последняя надежда, что найду хоть один эскиз Совежи, рухнула. У Летиции была семья и судьба, далекая от моей. Бабушка давно лежит в могиле. Зачем же я тогда приходил?

Я попрощался с Томой Виколом и с его домочадцами с такой теплотой, словно собирался быть частым гостем. Но я знал, что больше меня сюда и калачом не заманишь. Я спускался с холма в другой мир, в другой возраст.

Траян вызвался проводить меня до троллейбуса. Он прихватил с собой и сверток с младенцем. Ох и человечище же был этот Траян, макушкой доставал до неба. Когда протянул мне руку, моя затерялась в его ладони, как в корыте. Он рассмеялся:

— Твое счастье, что помалкивал, не то всыпали бы тебе так, что долго бы вспоминал да почесывался!

В его глазах прыгали огоньки. А цвет этих глаз был ясный, небесный, даже пролескам трудно было тягаться с ними!

Я, как послушный теленок, промолчал и на сей раз. Бог весть отчего, но мне стало жаль пассажиров троллейбуса, на головы которых мог бы обрушиться жестокий дождь из оконных стекол. Я просто тихо подобрал на согнутой руке Траяна соску, вставил ее в рот хныкающего ребенка и сел в троллейбус.

Вытащив свою записную книжку, я бегло просмотрел несколько страничек, затем внес новую запись. Это были высказывания матушки Касандры.

Мама, когда была мною на сносях,
Отчего не потеряла меня где-нибудь,
Чтоб не пела, горюя обо мне...

Ради плохих идут и хорошие, ради хороших идут и плохие.

Как бы ты ни спешил, коня убивать — нельзя.

Дремучий лес, ваше величество,
Оставь меня под сенью твоей,
Ведь ничего не сломаю,
Одну только веточку...

Разматывается клубок, разматывается; конец нити, увлекаемый шаловливой рукой, я могу разыскать только в своих догадках, а клубок все разматывается, становится все меньше... А ведь когда-то он был большим, как арбуз. Возможно, меня обманули, когда дали этот клубок? Дали, чтобы я не заблудился в лабиринтах, если вздумаю пойти в обратный путь. Меня уверяли, что, держась за нить воспоминаний, смогу вернуться во второй и в десятый раз в зеркала и в эхо. Но нить становится все более раскаленной, словно пронизанной током, она искрит в моих руках. И как бы я ни цеплялся за нее, качели годов не останавливаются.

8. ЖУРАВЛИ

Время мало изменило Гончарную улицу. Тени, словно размякнув от жары, все так же таились под стрехами домов и вдоль заборов — молчаливые, настороженные. Мы шагаем по булыжной мостовой, спускаемся с горки, густо заросшей подорожником, и выходим на развилку.

— Когда-то здесь, Марчела, была водокачка.

От водокачки осталось только выложенное камнем место. Мы сворачиваем в узкий проулок, в тесноту маленьких двориков. И непременно в каждом дворе голубятня. Дома чуть больше голубятен, но заботливо побеленные. В самом тупичке кривобокого переулка узнаю подслеповатое оконце. Когда-то о нем мне рассказывала бабушка.

— Видишь это окошко? Через него бабушка выкрала меня у мамы.

— Как это можно? — удивляется Марчела.— Зачем ей надо было красть тебя у родной матери?

— Мне тогда был всего год, мать уходила на работу чуть свет, а меня оставляла одного, под замком.

— И бабушка утащила тебя через окно? А что было потом?

— Она увезла меня к себе в деревню, и я не умер, как это часто случалось с детьми на наших окраинах.

— Мудрая была у тебя бабушка.

Окно смутно поблескивает, будто прослезилось от воспоминаний.

Я веду Марчелу дальше, мы петляем переулками, пока не выходим на то место, где прежде стоял дом Вирджила Тонегару. Вот и дикая маслина! Но вместо дома зияет глубокая яма: прямое попадание бомбы.

— Вот тут родился твой отец, Марчела.

Ты долго стоишь молча, смотришь в яму. Я же смотрю на дикую маслину... Не видеть мне больше Нэстаки, матери Адриана, всегда заботливо склонявшейся над цветочными грядками. Нет грозного Вирджила Тонегару. Ни посвистом иволги, ни любым другим условным знаком больше не вызвать мне моего друга — Адриан уже не появится у калитки, да и самой калитки нет и в помине.

Молчит Марчела, молчу и я.

Чуть дальше, у поворота улицы, встречается нам каменный дом с большой застекленной верандой, выходящей во двор. Это дом Нице Чофлека, известного краснодеревщика. Я хорошо помню этот дом. (Когда-то мои родители снимали здесь комнату.) Сохранились даже ворота! Правда, они совсем облезли, пожухли. Те и не те. Вот и резьба на них, да только теперь она не украшает ворота, а придает им неряшливый вид. Сторожат их две груши в полном цвету. Деревья старые, ветки обломаны, кора растрескалась, но цветут буйно.

— Какие они величественные,— говорит Марчела.

— Хочешь, зайдем во двор?

— Нет, когда-нибудь в другой раз.

Кряжистые ветки, полные пчелиного гула, склоняются над нами. Кажется, тихо играют скрипки, или это сама весна поет свои песни?

Марчела садится на выступающий из земли пенек.

— Устала?

— Нет, не устала. Просто хочу полюбоваться на эти мудрые старые груши в молодом цвету.

Она снимает темные очки, и горячий свет омывает бледное лицо. Закрыв глаза, она несколько минут сидит задумчиво и грустно. А над нами тихо играют скрипки, поет в могучих ветвях весна. Даже не верится, что под этими грушами, мимо которых промчалось наше с Адрианом детство, теперь сидит его дочь. «Старые груши в молодом цвету...» Я думаю над словами Марчелы, и мне кажется, что они применимы сейчас ко мне. Расцветший старец!

Марчела сидит, словно невесть откуда прилетевшая птичка-невеличка, вот-вот готовая упорхнуть. С загорелых коленок, с лодыжек курлычут журавли. Я их слышу. Все вы умерли, все меня покинули. А я слышу крик журавлей.

— Ты бы лучше подождал,— говорит мне Исай Чофлек, загораживая собой калитку,— Фэнуш вот-вот вернется (когда мы с Исаем разговаривали, Фэнуш вошел, пожал мне руку и, ни слова не говоря, отправился с женой в кино).— Столько лет не виделись, что, не о чем разве поговорить, Михай? Ты ведь, я думаю, не просто так к нам пожаловал.— В голосе Исая я слышу готовность услужить приятелю.

Мелкорослый, вертлявый, с пухлым, будто заспанным лицом, он хватает меня за руку, не давая уйти. И все заглядывает в глаза, пытаясь прочесть сквозь стекла очков, о чем я думаю. Часа два мы с ним ворошили былое, но только сейчас, у калитки, он по-настоящему вошел во вкус. Я бросаю взгляд на старые груши; совсем недавно я любовался ими в полном цвету, под жужжание пчел, нет, я не жалею, что не завернул сюда, проходя мимо с Марчелой Тонегару. Сколько уж раз я убеждался: что ни делается, все к лучшему.

— Да это все тоска, будь она неладна, тоска гонит.

— Это точно, Михай! Каких она только штук не выкидывает, проклятая!

— Скажи, а что Спиридон Лефтер, жив еще? Ну, тот, он еще на картах гадал, ворожить умел?

— Цыган-то? Умер.

— Жалко. А то я бы зашел к нему. Я когда пацаном был, всему верил, боялся его до ужаса. У него был дом, крытый толем, а из трубы круглый год валил дым, желтый такой, и серой пах. И мне казалось, что он там для

своих нечистых дел варит дьявольское зелье. Мама все время болела и ходила к нему. А я боялся, как бы он ее не отравил. А осенью, когда замерзали лужи, я был уверен, что это тоже его рук дело. Да, хотел бы я его повидать.

— Уже на том свете, Михай.

Я стою у калитки и гляжу на старые груши. Я не верю, чтобы такой человек, как Исай Чофлек, не знал, что стало с родительским домом Адриана, когда началась война; просто он не решается сказать. Его братец, Фэнуш, большой охотник совать нос в чужие дела. Интересно, Вирджил Тонегару, старый иконописец, вернулся в Рамидаву? Приезжал ли туда хотя бы раз? И что их дом — может, так и стоял, пустой, заброшенный? Этот вопрос в конце концов слетает у меня с языка. Так бывает, когда держишь во рту бусинку: и проглотить страшно, и упустить боишься.

То ли раскусил меня Исай, то ли случайно это пришло ему на ум, но он вдруг пообещал, что приготовит мне подарок, если я навещу его на будущей неделе,— ту старую фотографию, на которой мы все вчетвером: Исай, Фэнуш, Адриан и моя персона, в коротких штанишках на бретельке. Он пороется в старом хламе, в бумагах и непременно найдет ее, чтобы угодить гостю.

— Никто в этом доме больше не жил,— отвечает он на мой вопрос,— потому что старик так и не вернулся из Ульметума. Старушенция одна захаживала, родственница вроде бы Вирджилу Тонегару, да и та очень редко. А в начале войны был налет воздушный, дом и разбомбило, камня на камне не осталось.

— А в развалинах ничего не нашли?

— Как же, все перерыли, старушка целую телегу барахла нагрузила тогда. А Фэнуш отыскал даже кое-какие картины.

— Картины?

— Ну да. Там, где была кладовка, оказался потайной шкаф. А в нем картины — вроде икон, только очень уж чудные. Особенно одна, изображала пир: во дворце веселится дюжина лисиц с человеческими лицами, а вокруг роскошь, богатство.

— Где эти картины, Исай?

— Фэнуш их снес на Старый рынок. К концу войны время было тяжелое, каждая копейка на счету, пришлось продать.

— Значит, он их отнес на Старый рынок и продал?

— Ну да, ему посчастливилось еще в тот день. Поначалу никто на них даже не смотрел. А потом поп один подошел, разглядел лисиц — и прямо со смеху покатился. Собрался вокруг них народ. Кто плюет себе за пазуху и крестится, а кто — от смеха лопается. Поп их все и купил в конце концов.

— Картину с лисами я видел у Адриана в тридцать девятом.

— Как, ты тоже эти иконы знаешь?

— Они иконы, да не совсем. Я бы сказал, что это отчасти подражание Брейгелю.

— Кому-кому?

— Питеру Брейгелю, великому фламандскому художнику. Эта сцена с лисицами мне напоминала брейгелевскую картину «Борьба между Карнавалом и Постом». Она сильное впечатление производила — колоритом, юмором, глубиной. Старые лисы в человеческих масках олицетворяли собой самые разные пороки: зависть, клевету, скупость, распутство, жадность, коварство, жестокость. Это лисы под личиной святых, они собрались на свою тайную вечерю и не подозревают, что их конец близок: толпы народа несут вязанки дров, обкладывают стены дворца и поджигают... Ценный холст, сколько труда в него было вложено.

— Вот тебе и на! Выходит, Фэнуш дал маху. Выходит, он с ними *продешевил* тогда на рынке. Продешевил. Мы-то думали, что это иконы, что их намалевал Адрианов отец, а потом сам увидел, что бросовые, и убрал подальше, с глаз долой.

— Его отец был слишком правоверный, он только взглянул — за голову схватился от такого кощунства, просто рвал и метал. А у Адриана это был дебют. Он тогда и стихи написал, очень любопытные по настроению. Вот послушай:

В саду пожар осенний и рыжих лис смятенье.
Песчаный шорох листьев на желтых берегах.
Среди осенних игрищ я одержим Тобою.
Ты вся — порыв и пламя, Ты — Лиры звездный знак.

— Да-а, красиво,— протянул Исай.— А сам-то Адриан — жив?

— Погиб от взрыва мины, в Буджакской степи. Там и могила его.

Снова взгляд притягивают старые груши. Под ними я играл в детстве. Мимо них проходили все мои: мама, папа, бабушка. Не услышать им больше шелеста этих листьев — ни сегодня, ни завтра, да и я, пожалуй, больше не попаду сюда. Ветвистые, на редкость крепкие, они все так же украшают этот уголок земли. Когда я был маленьким, я не знал, что взрослые способны на всякие гнусности. То, что рассказал мне Исай, в который раз подтверждает, что человеческая жадность и глупость все еще бесчестят землю.

— Я тебя расстроил, Михай? Я не хотел, правда. Фэнуш и впрямь уступил их по дешевке. Если бы он знал, что и как, он бы их продал музею по хорошей цене. Надо ему сказать, как он обмишурился. Подожди чуть-чуть. Он сейчас явится...

Я кладу руку на задвижку. Вдруг Исай всплескивает руками:

— Ах ты господи, я ведь забыл дать тебе груш. У меня в кладовке еще целая корзинка. Хочешь, принесу?

— Ну, принеси. Только одну штуку.

Исай не спорит. Он трусит в кладовку, подскакивая, как упитанный барашек. Возвращается с огромнейшей грушей.

— На килограмм, не меньше. Самая большая груша за последние годы! — хвалится Исай своими старичками деревьями.

Я беру грушу за хвост и ухожу. Грушу, которую дал мне Исай, младший сын Ницэ Чофлека. Он все еще стоит у своих ветхих, обшарпанных ворот и машет мне рукой. Я прекрасно знаю, что больше не приду сюда, хотя и обещал. Нельзя обновить прошлое; места, с ним связанные, затухают, как усталые восковые свечи. Другие руки затеплят свет в подсвечнике — на радость другим глазам.

Груша болтается у меня в руке, а тем временем теплое апрельское солнце ласкает мне лицо, склоняясь к закату. Я несу грушу и радуюсь, что я не один. Грушу величиной с фонарь. Встречные прохожие оглядываются. Они понимают, конечно, что это не магазинная груша, иначе бы мне отбою не было от любопытных — где, почем?

В святое время давнего детства мы с Исаем, Фэнушем,

Адрианом и с целой ватагой таких же сорванцов залезали в самые непроходимые места, носились по тихим холмам цвета спящего моря, что будто крепостным валом окружали Рамидаву. В разгуле фантазии чего мы только не выдумывали: с бахчи, которую сторожили смешные пугала, мы таскали арбузы и тыквы, выскребали их изнутри, и получались ф о н а р и. А по ночам мы их зажигали и расхаживали повсюду, пугая народ. «Неужто снова татары идут на нас?» — спрашивали друг друга старики.

Задумчиво бреду по городу, выхожу на Гончарную, ее брусчатка ведет вниз, к одинокому озеру Гурмуз. Я иду по разъезженной мостовой и слушаю голоса времени. Всего несколько недель назад я проходил по этим улочкам, испытывая загадочную власть прошлого над собой.

Держу за хвостик грушу, довольный, что я не один. Как сквозь сон, нарастает вокруг толчея города, пестрая, густая, и я вдруг встаю как вкопанный на краю мостовой — безотчетно, неожиданно для себя,— пропуская грохот машин. Как во сне, пробираюсь я сквозь человеческий муравейник, но тут башенные часы начинают бить, и я вздрагиваю: словно струна оборвалась во мне, я чуть не кричу от боли. Где вы, потерянные дни, где утро той весны, где тюльпаны, эти кубки с божественным нектаром, где вы, купола собора в городском саду, тонущие в тумане? Здесь всего несколько недель назад я каждое утро поджидал Марчелу Тонегару. Я провожал ее на работу в Министерство культуры. Я слушал, как отбивают время часы в тумане. и ждал свой прекрасный призрак. А когда возвращался, купола, омытые солнцем, плавали в лазури, в безграничных сферах.

Теперь же, когда мы расстались — так нелепо, случайно,— эти купола медью пламенеют в закатных лучах. Над куполами, над вершинами деревьев летает туча черных, как деготь, ворон. Бьют часы, но бьют тяжело, с натугой, словно вытаскивают бадью из колодца скрипучим, шатким, скособоченным журавлем.

Меня лихорадит, я чувствую в себе опрокинутое небо — как в зеркале горного озера. Небо, куда улетела душа Ницэ Чофлека с котомкой его словечек и прибауток, с секретом обработки дерева и с другими земными тайнами. Незадолго до кончины плотник смастерил сам себе п а м я т н и к и поставил прямо во дворе. Формой

он напоминал афишную тумбу, но был вытесан тщательно и продуманно, со старинными присловьями. В память о себе поставил он его подле этих двух незабвенных груш с шершавой от времени корой, что до сих пор оплакивают хозяина, роняя лепестки под буйную пляску немых и юрких теней. Он не мог смириться с тем, что бесповоротно исчезает из глаз людей, а потому прикрепил к памятнику свою старую выцветшую фотографию под стеклом, не видя, что она похожа скорее на сухой лист гербария. Наивная попытка обмануть смерть еще до ее прихода, говорящая о неуемной тревоге перед ее лицом, сходной с той, какая бывает перед бурей на море, когда твоя лодка кажется тебе жалкой ореховой скорлупкой. В углу, рядом со словами учись жить, кривыми буквами он вывел: учись умирать. Стоило мне увидеть этот памятник, как шальные тени налетели на меня в своей причудливой пляске. И сквозь их изменчивый узор проступило прошлое: мир, в котором Ницэ Чофлек орудует стамеской, делает прививки деревьям, поливает лозы, подвешивает на застекленной веранде клетки с певчими птицами, чинит виноградный пресс, закатывает бочки в погреб, роет пруд в глубине сада, в низине; в часы отдыха, то и дело поправляя на носу очки, читает журналы и книги; а вот, выведенный из терпения, ловит Фэнуша или Исая и обламывает об их спины прутья акации.

Но вся его наука напрасна. На обоих сыночков сам вид книг наводит смертную скуку.

Если уж говорить о фамильных чертах, то от отца они унаследовали деловитость и неистощимую изобретательность, а мать одарила их духом авантюризма, шутовских проделок. Василиса была что называется бой-баба, погулять-повеселиться всегда рада, дай только повод. Вот когда испытывались полы в доме у Ницэ Чофлека, вот когда проходили они проверку на прочность. Да сама моя бабушка под конец жизни призналась мне с гордостью, что она все ноги себе отплясала на гулянках у Ницэ Чофлека. Но самый бешеный топот плясуний не мог проломить половиц в его доме.

А когда у Ницэ Чофлека случались заказы по плотницкой части и он выезжал в деревню, его домочадцы веселились вволю, изощряясь в шуточках по адресу соседей. Ведь не бывает забора без щелей, и тот, кому не лень, раскроет не одну тайну.

Держу грушу за хвост, как комету. Ее сладкий запах смешался с волшебными ароматами сада Ницэ Чофлека, ее небесное тело вобрало в себя жизнь, что ушла без возврата. Груша тяжелеет, и я подхватываю ее другой рукой.

Если в колосе пшеницы заключены нивы всех веков, непогода тысячелетий, вереницы повозок на бесконечной дороге, корабли, уходящие в иную даль, то почему бы моей груше не быть сгустком воспоминаний, без которых нельзя постичь жизнь человека? Как знать, на каких вершинах, на каком конце света явится тебе твой самый заветный образ? Столько уже позади... На первую свою вершину — на холм — я вскарабкался однажды летним утром, когда мне только-только стукнуло семь лет. Уж очень мне хотелось увидеть то место, откуда встает солнце. И вот во вмятине котловины я увидел всего-навсего самое обычное село. И тогда я сделал вывод, что солнце выпускают каждый день люди из какого-то потайного загона — выпускают пройтись по небу, наточить сабли кукурузы в полях, искупаться в водах, где растет камыш и плавают рыбешки. Разумеется, этот образ был ближе моему сердцу, чем открытие Коперника, которому меня учили потом в школе. Но и образы ветшают со временем. Ветшает металл, дерево. Ветшает и образ. Сначала это цветок, потом плод, а потом, как-нибудь осенней ночью, плод падает, как вот эта груша из сада Ницэ Чофлека.

Теперь же, сам не знаю почему, гонит меня тоска на поиски забытых теней. Я направляю шаг к озеру Гурмуз. Нет у меня никакой надежды вернуть радость и полноту недавних дней этой весны, и все же я снова и снова колешу по тем же местам, где гулял с Марчелой Тонегару, они то и дело взывают к моей памяти, принося утешение. Я слышу ее голос. Среди тысяч человеческих голосов я различаю один и впитываю его как губка. Я знаю все его оттенки: ликование, усталость, нетерпение, грусть.

Когда теряешь истинного друга, и насовсем, то каждую минуту чувствуешь, что его нет. Душевная пустота, возникающая в таких случаях, мучительна. Мысль о невосполнимой утрате не дает тебе покоя. Ни напряженная работа и никакие другие занятия не в состоянии избавить тебя от отчаяния. Вот какая история, груша.

Уже две полных недели мы в разлуке. Видишь, как все получилось. Расставание вышло внезапным, неожиданным и абсурдным, как несчастный случай. Ничто не

предвещало такой горький конец. Напротив, накануне я был уверен в своей счастливой звезде. В тот день после обеда Марчела позвонила мне и велела поскорее мчаться к ней на работу за сюрпризом.

— Всякие бывают сюрпризы, приятные и неприятные, Михай.

— Этот был из приятных, груша.

В Министерстве культуры Марчела встретила меня сияя и поспешно выложила историю одного археологического открытия. Неподалеку от Аркодабары, в горах, под руинами древней крепости были найдены плиты со странными знаками. Установили, что им не меньше тысячи лет. Над их тайной долго бился один молодой ученый и, наконец, нашел ключ: эти знаки не что иное, как музыкальные ноты, запись мелодии для церковного хора. Марчела повела меня в пустую комнату и поставила ленту на магнитофон. «Ты не слышал ничего подобного»,— сказала она и вышла, у нее было собрание. Я остался один на один с историей...

Музыка и в самом деле была божественной. Многоголосый мужской хор звучал будто из-под сводов средневекового храма. Скорее всего это был гимн всемогущему солнцу, печать язычества лежала на нем. Я заслушался. Потом поставил ленту снова.

В открытое окно шумел частый дождик. Вдруг копьем, брошенным рукой воина, пролетела молния, дождь усилился.

Я витал мыслями где-то далеко и даже не услышал, как вошла Марчела. Она не могла удержаться от смеха, видя, что я никак не приду в себя, взъерошила мне волосы, очень довольная успехом своего сюрприза. «Что ты так смотришь, Михай?» — «Я тебя не узнал. Откуда ты взялась? Из музыки?» Марчела рассмеялась от души.

Хотя дождь лил как из ведра, нам не хотелось пережидать его здесь, уже темнело. Как раз подвернулось такси, и, словно в шлюпке, мы поплыли по улицам, наводненным ливнем.

Мы вошли в ее комнату, так хорошо мне знакомую, со скромным убранством, с множеством книг на полках. «У тебя там письмо в почтовом ящике»,— сказал я, усаживаясь на диван. «Потом. Не знаю, куда задевался ключ». Она пошла на кухню приготовить кофе. Мне всегда нравилось, что она живет высоко,— отсюда можно было наблюдать движение на бульваре, особенно краси-

вое в сумерках, когда диковинными лилиями расцветали фонари. Марчела не возвращалась дольше обычного, наверно, нашла все-таки ключ и читала письмо. Когда она вошла, я заметил странную бледность ее лица. «Тебе нехорошо?» — «Я устала». Аромат кофе и нежная заботливость Марчелы рассеяли мои страхи и предчувствия.

Наконец, накинув прозрачную пелерину, она проводила меня до троллейбусной остановки. Эта легкая накидка и белые летние брючки — такой я увидел ее в наш последний вечер, под дождем.

На рассвете меня разбудил телефон. Марчела звонила с аэродрома. У нее уже был билет в Тавриду. Ее муж, пилот сверхзвукового самолета, с которым ее связывали лишь прохладные эпистолярные отношения, звал ее к себе, в больницу.

Всего несколько месяцев они прожили одним домом, а что потом стряслось между молодыми, почему они порвали друг с другом, я не знал. Марчела никогда не касалась этого в разговоре, а я не спрашивал — думал, само как-нибудь прояснится. Марчела говорила в трубку: «Ему удалось катапультироваться... он еле жив остался...» Ее голос сорвался на крик: «Я должна быть подле него. Я не хочу, чтобы у меня на совести была смерть...» Шум пропеллеров заглушил ее последние слова.

Пронзительный свисток. Постовой, усатый, подтянутый, подносит руку к козырьку и заявляет мне сухо:

— Гражданин, вы перешли улицу не там, где положено...

Штраф. Я получаю квитанцию. Как реликвию.

— Вот видишь,— обращаюсь я к груше,— что значит витать в облаках. Выбросил деньги на ветер.

Свисток, короткий и резкий, звучит снова.

— Гражданин, вы что, выражаетесь?

— Да нет, это я с грушей, браток.

На этот раз честь отдаю я, а милиционер застывает в недоумении.

Вскоре я на лестнице, ведущей в парк культуры. Она идет вдоль многоцветных водопадов, по бокам ее — каменная балюстрада и вазоны с цветами. Тополиная аллея колышется, шелестит, осыпается пухом; воды озера дрожат и мигают; лодки застыли на его поверхности, словно таинственные пироги с Канарских островов.

В глубине аллеи, на скамейке, я различаю женскую фигурку. Очки запотевают от волнения. Неужели? Мне

кажется, я узнаю эту голубую блузку, черную юбку... Зазеленевшая ветка акации, качнувшись, показывает белокурую копну волос, и мои вспыхнувшие было надежды гаснут; так уходит сквозь пальцы песок.

— Ну и груша же у вас! — говорит мне светлоголовая девушка, видя, что я сажусь на ее скамейку.— Просто какая-то бомба, а не груша...

— Попробуйте,— предлагаю я.

— Вы очень любезны,— улыбается девушка и берет грушу.

И она вонзает в грушу свои красивые острые зубки. Эти торжественные минуты знакомства нарушает высокая поджарая собака, настоящая газель, она словно из-под земли выныривает. Хотя она прекрасно видит, что ее хозяйка цела и невредима, но рычит на меня с недоверием.

— Не обращайте внимания,— успокаивает меня девушка.— Он у меня умница, этот доберман-пинчер.

— Но он что-то не в настроении.

— Просто делает себе рекламу.

— Он у вас, конечно, дрессированный?

— Еще какой... Палку принесет хоть с луны... У него есть золотая медаль. Завтра здесь будет большая собачья выставка. Если придете — не пожалеете.

Налетают пчелы и кружатся вокруг ее белокурой головки. Их жужжание становится все настойчивее.

— Что им от меня надо?

— Грушу почуяли.

— Ужасно я боюсь всех этих пчел, ос! — Она относит грушу на скамейку напротив.— Ну, что ж, нам пора. Рекс! Рекс!

Силуэт девушки скрывается за деревьями. Рекс бежит легко, проворно, не выпуская из глаз хозяйку, прогулки по аллеям привычны для них обоих. Заходят последние лучи солнца. Какое-то время слышен лай собаки, тающий в сумерках. Медлю еще немного, потом поднимаюсь — вместе с восходом луны над черными водами. Напротив, на скамейке, осталась моя груша. Изъеденная осами и пчелами, она представляется мне скелетом одинокого дельфина, выброшенного на берег гневными волнами моря.

Ночью я лежу в постели и слушаю стрекот дождя в открытое окно. И вдруг (может, я заснул и это сон?)

я вижу как наяву сад Ницэ Чофлека. Торопливо вхожу в него.

На стволе давно уже упавшего дерева, покрытом наростами, поросшем мхом, сидит Адриан, задумчивый, молчаливый.

Вот так так, где я только его не искал, а он — смотрите-ка — сидит себе тут, прохлаждается!..

— Давненько ты к нам не заглядывал, Адриан.

— Да, задержался в пути немного. Ого, Михай, да у тебя уже виски седые.

— А ты, Адриан, зато все такой же молодой, видный. Верно, дела не слишком докучают?

— Да какие там дела, Михай. Барашков пасу.

— И где же твое пастбище?

— На небе, небесное это стадо.

— А где же им там напиться?

— Из облачка дождевого.

— А на ночь куда их?

— В лунную подковку.

Я сажусь на ствол дерева поближе к Адриану. Но все равно кажется, что он далеко, что удручен чем-то.

— Что у тебя на сердце, Адриан?

— Тоскую по дочке.

— И я тоже. Я люблю ее.

— Как ты ее зовешь?

— Марчела, черноглазая.

— Хорошо.

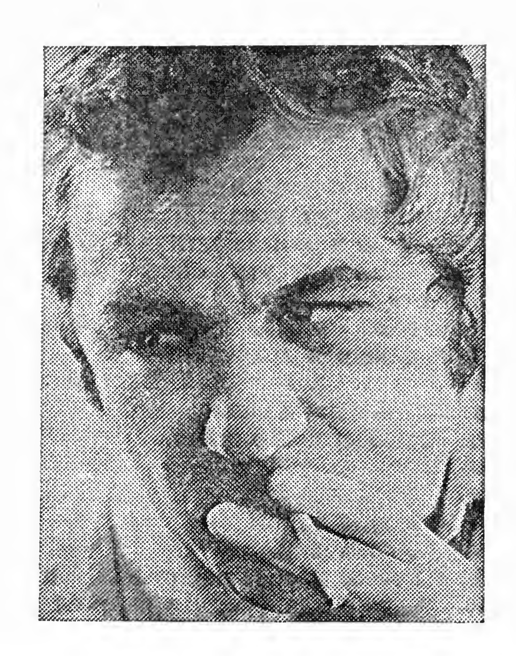
— И больше ни о ком ты не тоскуешь?

— Обо всех вас, Михай.

Он медленно встает со ствола и уходит из сада. Я кричу ему вслед, зову по имени, но он не откликается.

Кто-то стучит — в дверь или в окно? Окно открыто, видна полоса рассвета. Я слышу, как посвистывают скворцы, я слышу курлыканье журавлей в вышине. Соскакиваю с кровати и не помня себя бросаюсь к окну. В его весенней рамке улыбается мне Марчела Тонегару...

Перевод *Л. МИЩЕНКО* и *А. СТАРОСТИНОЙ*



САКА Серафим, прозаик, кинодраматург. Родился в 1935 году в селе Ванчикэуцы Черновицкой области Украинской ССР. В 1965 году окончил Кишиневский педагогический институт, а в 1967 году — Высшие курсы сценаристов в Москве. Работал несколько лет сельским учителем, затем журналистом, является автором ряда киносценариев. Русскому читателю знаком по книге повестей и рассказов «За столом молчания» («Советский писатель», 1975).

СЕРАФИМ САКА

ШЕЛ ГУСТОЙ СНЕГ

1

В канун Нового года, роясь в поисках оставшихся еще со своей свадьбы нарядов, чтобы успокоить одну из дочерей — Ольгу, ту самую, у которой не оказалось костюма для праздничного маскарада, Анастасия наткнулась на старую фотографию и замерла, унеся́сь мысленно в ту далекую весну, лето и осень, когда муж присылал ей послания из самого Бранденбурга, а она забыла о нем и фотографировалась здесь с другими. И раз судьбе было угодно, чтоб муж — муж и никто другой — наткнулся на эту фотографию с ржавыми следами кнопок в уголках, то уже не требовалось никаких других доказательств подозрениям, словам и насмешкам, которые столько лет грызли и мучили его. Не исключено, что он и сейчас простил бы ее, как прощал столько раз, скрипнув зубами и махнув с горестным отвращением рукой,— что, однако, не означало, будто все предается забвению,— если б улочка, вернее, тупик не привел тебя прямо к их воротам. Именно тебя, который научился все обходить! И так как идти было некуда, ты остановился и заглянул во двор (глупая привычка, но ведь человеческое любопытство велико!); заметив тебя, но еще не распознав (село знало, что ты учишься на юриста и вот-вот станешь прокурором), Сыргишор Вырна, первый на селе хозяин, двадцать пять лет работавший кладовщиком в колхозе, схватил жену сперва за ворот, потом по-крестьянски вцепился в волосы рукой, уже старчески бессильной; женщина попыталась повернуться к нему лицом, чтоб в ответ на взмахи ремня — один, другой, третий — крикнуть то, о чем и без того кричали ее еще блестящие молодо глаза:

— Больше бьешь — труднее забывается! Не бей!

— Добью!

— Не бей!

— Добью!

Они метались по двору — то бледные тени, то снова люди во плоти и крови,— меся глубокий, по колено, снег, точно глину для нового дома, и чем-то напоминали зверей, преследуемых злым охотником — ревностью. Женщина смеялась, хохотала, и в хохоте ее слышалось рыдание о том, чего никогда и ничем не искупить, и радость тому, что все-таки свершилось. А на нее и на все вокруг сыпался и сыпался из черной прорвы неба густой бесстрастный снег.

— Говорил, что никто не придет, а вот уже и пожаловали! Пожалуйте, милости просим!

Женщина сразу узнала тебя и подбежала к воротам, распахнув их так, будто собиралась впустить во двор добрую половину села, но тут же обернулась, чтобы запоздалым криком остановить мужа, нагнувшегося над фотографией. В минуту, когда ты шагнул во двор, ремень уже перелетел через черепитчатую крышу дома, а когда ты вежливо поздоровался с хозяином и пожелал ему много лет счастья, он совсем разъярился и начал пританцовывать на снегу, втаптывая в него разорванный на мелкие клочки фотоснимок.

— Анастасия Петровна, принимайте гостя! — крикнула одна из дочерей — не то Ольга, не то Санда,— следивших из окна за тем, как добрый их отец дает урок доброй их маме, чей грех, по их разумению, бросал тень на добрую репутацию семьи.

Заметив тебя, сестры быстро опустили занавески, будто занавес в театре, и зажгли свет во всех комнатах. Двор осветился, точно сцена, и только тогда стало видно, как Вырна заравнивает сапогами глубокие следы на снегу.

Из дома доносился торжественный голос теледиктора, убегали последние минуты года, и ты шел на этот голос вслед за Анастасией, которая разбрасывала ногой свежий снег, запорошивший тропинку, ведущую от ворот к крыльцу.

— Пожалуйте! Вот сюда, по дорожке... Тихонько, не поскользнитесь!

На цементированном крыльце ты потопал ногами, как это обычно делают, входя в дом, потом смахнул снег веником, который протянула тебе Анастасия, проделывая все со странной для самого себя, мучительной не-

торопливостью, словно оттягивая встречу, ради которой шел сюда.

Войдя следом за хозяйкой в дом, ты изумился, увидев, что сестры сидят, облокотившись на горку разноцветных подушек и уставившись в раскрытые книги,— занятие, столь не соответствующее моменту.

— Добрый вечер и с Новым годом!

Девушки вскочили, словно застигнутые врасплох, и их соблазнительные платья из тяжелого шелка заструились, как вода, вокруг вытянувшихся гибких тел. Книги, будто ворованные яблоки, выпали из рук, учебники химии или физики,— свидетельство того, что девушки, окончившие лучшую в райцентре школу и дважды пытавшие счастья в мединституте, все еще надеются на успех. Надеются, а надежда не самый большой грех.

— Добрый вечер и с Новым годом! — повторил ты после вынужденной паузы, и одна из сестер, Санда, более живая, чем Ольга, ответила громко, но довольно нерешительно:

— А мы как раз повторяли необратимость явлений...

Ты кивнул все с той же неопределенной гримасой, которая должна была заменить улыбку,— да, конечно, все в мире необратимо... И в этот миг появился празднично одетый и прекрасно настроенный Вырна. В одной руке он нес кувшин с вином, в другой — старое охотничье ружье.

— Хорошо, что у вас есть телевизор.— Ничего другого ты не мог сказать.

— Да, да... Но сперва проводим старый год, ибо он был не так уж плох, и встретим новый, как положено по обычаю, ружейным огнем, чтоб отогнать все страхи и зло. С Новым годом, дети мои!

Ты поднял вместе со всеми стакан, в доме стало тихо, экран телевизора замер, многозначительно тусклый,— короткая пауза между двумя годами,— и тут скорее веселая, чем грустная, скорее добрая, чем злая, скорее молодая, чем старая, держа в руке полный стакан, ворвалась в комнату с радостным возгласом Анастасия:

— Будьте здоровы, дети мои, и пусть счастье ваше будет больше нашего!

И букет, и крепость — все, все, что есть в этом изы-

сканном напитке,— заставили тебя пить вино не спеша, цедить по капле, совсем не так, как пьют обычно, и сестры, опустошившие стаканы одним духом, следили за тобой с завистью и восхищением, жалея, что сами поторопились.

— Налей еще, отец!

Протянул и ты руку, и в ней оказался еще один стакан, который передала тебе Анастасия.

— Как хорошо, что у вас есть телевизор! — снова воскликнул ты, осушив на этот раз поспешно, будто жаждущий кружку воды, второй стакан.— Сделайте громче, не слышно.

Но Вырна протянул тебе ружье и вышел из дому. Ты покорно последовал за ним, рассматривая ружье на ходу. За тобой, накинув на плечи пальто, вышли и сестры.

Ночь огромным колоколом накрыла село и окрестности. Внизу, по земле, растекалась пенистым морем белизна, скрадывая глубокие, точно шрамы, следы на снегу. Прогремели выстрелы, один за другим, откуда-то с противоположного конца села им ответили другие, и ты протянул ружье сестрам, которые стояли рядом, поеживаясь в накинутых на плечи пальто.

— Вы стреляли когда-нибудь? — спросил ты с любопытством и опаской.

Пальто, точно оборвавшись, соскользнули с плеч и упали, глубоко зарывшись в снег. Первой взяла ружье Санда, более живая, чем сестра ее Ольга.

— Заряжено,— предупредил ты и, несколько смутившись, отстранил дуло, направленное в твою грудь.

Почувствовав тяжесть ружья, девушка почувствовала и страх — перед отдачей приклада, грохотом выстрела, стволом, который может разорваться,— и другой страх, слепой и глухой, страх перед страхом, но поборола и тот и этот и, чтобы показаться мужественной, а может, по иной причине, встала на колено и выстрелила в черную пропасть ночи. Потом переложила ружье в другую руку и выстрелила еще раз, теперь уже в осевшую под тяжестью снега крону ели перед домом. Изрешеченная дробью белая шуба осыпалась на землю снежной пылью. Девушка бросила ружье и, вытянув руки, стремглав помчалась к дереву, чтобы окунуться в бе-

лый дождь, который кончился прежде, чем она добежала.

— Стреляйте. Почему не стреляете?

Запахло порохом. Вырна вытащил еще два патрона, зарядил ружье и протянул его Ольге. Пританцовывая от холода, она отступила назад и нечаянно (а может быть, и нарочно) стала топтать лежащие в снегу пальто. Потом начала смеяться, смех сотрясал все ее тело, переполнял его и, казалось, поднимал высоко-высоко, надо всем и всеми. Но очень скоро смех перешел в плач, она закрыла лицо руками и побежала к дому. За ней — остальные. Снегопад усиливался.

Не дожидаясь приглашения, ты удобно устроился на одном из многочисленных стульев, появившихся вокруг стола,— видимо, ждали еще гостей,— и невольно поглядывал на платья, струящиеся вокруг девичьих тел и напомнившие тебе хвосты павлинов в зоопарке. Девушки тоже посматривали украдкой на стул перед телевизором, где ты сидел, положив ногу на ногу и чувствуя себя очень даже неплохо. Глаза Санды, неестественно расширенные — испытанная женская уловка,— блестели, очаровывали; расчесывая замедленными движениями влажные волосы, она сушила их над настольной лампой, которую держала на коленях. Ольга, полненькая, с правильными чертами лица хорошенькой куколки, листала с безразличным видом все тот же учебник химии или физики. Сестры, хотя и были близнецами, совсем не походили друг на друга. Почти совсем.

Телевизионный новогодний бал-маскарад, ради которого ты, собственно, и пришел сюда, начался незадолго до того, как вы вернулись в дом. Сейчас представляли последних участников, улыбающихся, уставившихся в одну точку,— парад физиономий, лишенных того, что обычно называют индивидуальностью, по той простой причине, что режиссура бала нарушила всякую меру, стремясь к невозможному: развлечь всех, кто находится перед экраном, среди которых миллионными по счету и потому неуловимо анонимными были и вы, сидящие за столом,— сестры, их мать, их отец и ты.

— Начинайте же!— не выдержал ты, и Анастасия Петровна, которая расставляла тарелки, решив, что

обращаются к ней, протянула тебе еще одну тарелку через стол.

— Сейчас, сейчас... Время еще есть, до самого утра...

Сыргишор возился с бутылками — целая дюжина, напитки собственного изготовления и импортные,— расставляя их в том порядке, в каком надлежало пробовать и пить; Санда все перебирала свои мягкие белокурые волосы; Ольга переворачивала последние страницы учебника физики или химии, и только ты, единственный за столом, упрямо следил, как разворачивается на экране телевизора бал-маскарад, и малюсенькая надежда, вызванная твоим появлением, рассеивалась по мере того, как время все настойчивей утверждало приближение Нового года, в который вступали и все вы, сидящие в этой комнате. Устремив глаза на экран, ты совсем забыл о том, что происходило рядом (быстрый, искоса, взгляд, протянутая дрогнувшая рука, ласковое слово),— забыл о девушках, которые весь вечер ждали, чтоб пришел кто-нибудь и пригласил их на бал-маскарад — какого еще никогда не было! — иначе говоря, какого еще не было в их сельском клубе. Ты молчал, молчали сестры, молчал заставленный стол, молчали полные стаканы, и вдруг в этой необъяснимой, напряженной тишине появилась во весь экран Анна.

— Это она!— воскликнул ты в волнении, и обе сестры, смотревшие бог знает куда и думавшие бог знает о чем, неспешно повернули головы, и их сонный взгляд встретился с взглядом женщины средних лет — экран исказил ее лицо,— неизвестной им женщины, которая безо всякого выражения глядела на них, ей неизвестных и даже вовсе для нее не существующих.

В отличие от других, анонимных персонажей толпы, Анна задержалась, или что-то задержало ее в кадре, едва заметно улыбнулась тебе, давнему знакомцу ее улыбки, и ты, забыв, что это всего лишь телевстреча, хотел протянуть к ней руки, руки попрошайки: не уходи, останься, не надевай маску, скажи хоть слово!— но тут же улыбающееся лицо Анны дрогнуло и исчезло, будто смытое водою. Сыргишор взял стакан, поднял его и сказал решительным голосом, заглушенным, однако, шумом телевизора, на экране которого уже появились новые лица, незнакомые и нежеланные, без числа и без имени:

— Всех — с Новым годом!

Угомонившись наконец и усевшись во главе стола, Анастасия обвела взглядом многочисленные тарелки, затем перевела его на дочерей, которые, по твоему примеру, смаковали вино, и сказала, опустив глаза:

— С Новым годом, дети мои!

Подбородок ее вздрагивал, дрожал и голос.

— С Новым годом! — подхватил Вырна.

— Многих лет, отец! Многих лет, мама!

— Долгие лета! — сказал ты, думая сейчас только об Анне.

На маленьком экране перед тобой проходили в торжественном марше теперь уже полностью замаскированные участники представления. С исчезновением последнего, изысканного графа с подчеркнуто изысканными манерами в комнате загремели «Сказки венского леса», и ты, встав, поднял стакан и произнес что-то торжественным голосом. Твои лишенные значения слова не произвели ни на кого видимого впечатления: Вырна, снова наполнив стаканы, напевал полузабытую военную песенку; Анастасия замерла во главе стола, думая о долгих годах — о тех ли, что уже прошли, о тех ли, что еще будут, кто знает,— и лицо ее, до того такое живое и светлое, сейчас словно окаменело, превратилось в маску; сестры Санда и Ольга с отрешенным видом следили за игрой света и мельканием фигур на экране, и радость их и надежда, достигшие вершины во время стрельбы из ружья, угасали у всех на виду, но никто этого не видел, и уж конечно никого это не беспокоило, и они, сначала одна, потом другая, медленно поднялись из-за стола и, никем не замеченные, исчезли. Следом за ними — родители.

Ты остался один (не заметив, впрочем, этого), продолжая глядеть на князей и княгинь, принцев и принцесс, генералов и пиратов, цыган и колдуний, которые двигались сейчас в хорошо организованном хаосе. Ты искал Анну. Некоторое время ты цеплялся за подол одной из колдуний, чья живость, не лишенная грации, напомнила тебе живую грациозность Анны, но немного погодя обнаружил, что колдунья чересчур вульгарна — смеется без причины и болтает без умолку. Ты оставил ее в покое и сосредоточил внимание на графе, показавшемся тебе подозрительным: бродил неприкаянно в толпе масок, кланяясь то пирату с черной повязкой адмирала Нельсона, то принцу с манерами буфетчика,

то случайным зрителям... Ты даже протянул руку, чтобы сорвать маску, под которой — в этом ты ничуть не сомневался — была вовсе не Анна.

Тем временем в сенях послышался шум, беспорядочные удары в бубен, и ты вздрогнул, подумав, что, возможно, по обычаю здешних мест, толпа подгулявших гостей ворвалась в дом, где (ты только сейчас это заметил) ты был один, если не считать такого же, как ты, одинокого графа на экране телевизора. Ты встал и, подняв стакан, гикнул, чтобы показаться пьяным,— излишнее усилие, ибо ты и без того выглядел достаточно странно. Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара и грохотом бубна, старинного, с почерневшими колокольчиками, отысканного где-то в закоулках чердака, появились одна за другой сестры, наряженные женихом и невестой, за ними в вывернутом наизнанку кожухе, ворча, как медведь,— мать, Анастасия, а за ней отец, Сыргишор, размахивающий женским шарфом — воображаемым кнутом.

— Играй — не горюй, получишь хлебушка, маслин!

Твой возглас, как ни странно, вернул в дом радостное возбуждение. Девушки заулыбались, Анастасия торопливо размазала по лбу, щекам и носу сажу, Сыргишор, одной рукой тряся бубен и ударяя им по ляжке, другой подтянул ремень на животе. Вино делало свое дело — жесты стали шире, слова горячее...

— Играй — не горюй, получишь хлебушка, маслин!— крикнули сестры, забыв о своей сдержанности и серьезности.

Очутившись между двумя балами, точно между двумя огнями, ты уже не знал, какой обжигает сильнее; к тому же опьянел — тем опьянением от разных напитков, когда все вокруг окутывается белесым туманом. Ты медленно поднялся из-за стола и зашагал к выходу, тоже тяжело, как медведь, подскакивая, в такт ударам бубна. Раздвинул сестер и проскользнул между ними, потом пробрался между Анастасией и Сыргишором, изображавших медведицу и поводыря из цыганского табора.

— Играй — не горюй, получишь хлебушка, маслин! — долго еще звучали у тебя в ушах выкрики тех, кто остался веселиться вокруг просторного семейного стола.

2

На улице все шел снег. Холодные колючки снежинок хлестали тебя по разгоряченному лицу; выйдя со двора, ты попал в узкий проход между высокими дощатыми заборами, которые сейчас казались еще выше, образуя длинный, восхитительно красивый туннель, зовущий тебя, давнего знакомца этих мест, неслышно затеряться в первозданной кипящей белизне.

Шел густой снег.

Село уже спало, и только запоздалое эхо откликалось то здесь, то там, а чаще всего там. Шел густой снег, и ты, давний знакомец этих снегопадов, с трудом прокладывал дорогу в сугробах — по колено, по грудь, по самое горло. Шел густой снег, и через какое-то, бог знает какое, время ты обнаружил, что держишься за деревянные перила крыльца, сухо заскрипевшего под твоими заледеневшими ботинками.

— Где я?

Ты понял, что попал не домой,— и только. Поднялся по лестнице и, нащупав руками дверь, крикнул что было сил:

— Где я?

Дверь открылась сама, ты шагнул, словно в колодец, в сени и — очнулся. Этот и сейчас еще высокий порог в одно мгновение вернул тебя в далекое прошлое, в историю «дома первого поцелуя», как называл его твой бывший школьный приятель, а затем студент-биолог Александру Шендряну, который в одном из своих последних писем напомнил тебе о «доме поцелуев», вход куда оплачивался изысканными фразами и безупречным поведением.

Другие — это их дело, ты же заплатил за вход очень дорогой по тем временам ценой — стихотворением, посвященным сестрам Лине и Зорзолине, забыв (упущение, о котором вспомнил только сейчас) упомянуть Катрину, старшую сестру. Уединившись в комнатке в глубине дома, дверь куда открывалась раза три в день, наполняя сени и двор запахом шафрана и базилика, эта женщина-девушка, никогда не любившая и не ненавидевшая, не вкусившая счастья с тем единственным мужчиной, которому удалось поймать ее опущенный взгляд, сохраняла величественную отрешенность и от любопытных глаз, и от шепота за спиной — сохраняла до трагического конца в то утро, когда дверь ее комнатки не откры-



лась в обычный час... Вот и все, что ты знал о ней тогда, не стараясь узнать больше.

Из мутного, неспокойного сумрака улицы, из тьмы сеней — без запаха шафрана и базилика — ты шагнул в ослепительно белый свет комнаты, и когда перед тобой вдруг появилась чья-то тень, протянул руки — обнять, прижать к груди или оттолкнуть. Это была Зорзолина в розовом платье со скромным вырезом; она шутливо погрозила тебе пальцем, точно так же, как раньше: нельзя. Больше нельзя.

— Почему? — изумился ты и тут же понял, что ска-

зал глупость, и попытался ее исправить.— Почему сидишь дома в такую ночь?

— У нас компания...— Женщина обернулась к тем, кто был в комнате. Сколько их было, ты не мог разглядеть: комната плавала в табачном дыму, и между тобой и ними стояла посреди дымного облака высокая и красивая, да, еще красивая Зорзолина.— Пришел Леун! Говорила я вам — вот он и пришел!

— Да, пришел. Соскучился... С Новым годом!

— Проходи, раздевайся, садись... и рассказывай, как живешь, где веселился...

Запах духов ударил тебе в нос, ты несколько раз чихнул, затем отвернулся, чтоб высморкаться в платок, который с трудом вытащил из верхнего кармана пиджака.

— Простужен?

— Только пьян.

— Нет, если так говоришь. Откуда идешь?

— От Сыргишора, или, как вы его называете здесь, Вырны.

— Что, опять воспоминания?

— Все кончилось двойным бал-маскарадом.

— Мило, очень мило с твоей стороны, что вспомнил о нас. Пусть на рассвете,— сказала Зорзолина. Ей понравился бал, и она была сердита на тех двоих и Лину, которым он совсем не понравился.

— Я шел к вам, но по дороге вспомнил, что сегодня, то есть вчера, у меня должна была состояться телевстреча с Анной. Если б знал, что у вас есть телевизор...

— Кто она? — спросила Лина с любопытством.

— Женщина.

— Коллега? — поинтересовалась и Зорзолина.

— Женщина.

— Ясно, любовь,— уточнила Лина.

— Только женщина.— Пошарив рукой в пустоте, ты оторвался от дверного косяка. Зорзолина стояла рядом (ты ощущал ее теплое дыхание), и ты положил руку на ее мягкое, вялое плечо.— Сколько времени?

— Леун, старая наша любовь! — воскликнула Лина из-за стола, уставленного пустыми и наполовину пустыми бутылками.

Хотя и была намного моложе Зорзолины, она выглядела почти так же: увядшая, накрашенная, пришедшая к тому же знаменателю — неустойчивой гармонии между

страхом перед старостью и невозможностью ее избежать. Ты почувствовал неприятное чувство жалости.

— Как поживаешь, Лина? — Испытывая неловкость, ты отвел глаза.

— Хорошо. Во всяком случае, намного лучше, чем с ним, если б осталась, прельстившись его добром.

Вернулась Зорзолина, выбегавшая куда-то,— окрыленная, охваченная радостью, которая напоминала другие радости, уже угасшие. В руках у нее был альбом, она несла его на ладонях, как раненую птицу, протягивая тебе:

— Листай и вспоминай.

Ты стал листать, не понимая толком, что следует вспоминать, хотя на первой же странице наткнулся на пожелтевшую, выцветшую запись, затерявшуюся среди многих других, сентиментальную и отталкивающую: «Ошибки живут в нас, и мы живем назло ошибкам». Внизу дата и подпись: «Я, в память первого моего поцелуя».

— Это Леун, наш односельчанин, учится на прокурора... Мы с ним столько лет не виделись,— представила тебя Зорзолина сидящим за столом — то ли двум, то ли четырем с лицами стариков.— Если тебе придется когда-нибудь нас судить, суди справедливо, ведь ты один знаешь нас по-настоящему.— Она попыталась засмеяться, но смогла извлечь из себя лишь сухой смешок, от которого неприятно исказилось ее лицо.

— Я только адвокат, и то начинающий. Никого еще не защищал,— сказал ты, стараясь убавить значительность, которая росла вокруг твоей персоны по мере того, как сестры тебя возвеличивали — ради самих себя, ради того, что в этом доме называли престижем.

— Адвокат, прокурор — все одно судья,— сказал один из тех, чьи лица плавали в дыму, и расхохотался.

Ты же оставался недоверчиво-серьезным, другим и не мог быть, поскольку в душе твоей шевельнулось подозрение, что эти двое — или четверо — могли оказаться юнцами студентами, замаскировавшимися под стариков, чтобы вдоволь поиздеваться над тобой.

— Знаю, что притворяетесь, но это ваше дело.

Те двое продолжали непринужденно смеяться, и ты подошел поближе, чтобы увидеть их глаза, прикрытые морщинистыми, бескровными руками. Увидеть хотя бы цвет или блеск глаз.

— Водки или простокваши? — спросил один из них, устав от смеха и икая.

— И то, и другое,— смеясь, откликнулся другой.

— Он разгорячился, пусть остынет немного,— ответила им Лина.

— Мда... Так, значит, я у вас?

— У нас. Я — Зорзолина, вот Лина, а это наши гости. Понимаешь теперь, где ты?

— Теперь — да, понимаю, и все лучше и лучше.

— Чего же все-таки вам налить? — спросил один из тех двоих, старообразных.

— Виски,— пошутил ты с некоторым усилием,— или, как оно называется на местном наречии, самогон.

— К несчастью, нет ни того, ни другого,— сказал один из них подчеркнуто отчетливо, и ты, серьезный и подозрительный, решил, что над тобой снова насмехаются: ведь в городе твое произношение (и этого нельзя было не заметить) стало несколько другим, более отчетливым, чем то, с каким говорили в твоем селе.

— Вы из столицы, не так ли?

Наконец появилась Зорзолина, твоя спасительница, с кружкой простокваши, которую держала высоко над головой. Кружка была глиняная, и ты стал строить целую теорию относительно ее формы, и на самом деле оригинальной, пока не добрался до содержимого — белой простокваши, напомнившей тебе необъятное белое пространство, которое ты преодолел, добираясь сюда.

— Не могу пить молоко, Зорзо... Зорзоро...— Не в силах договорить, ты обратился к Лине, чье имя было последней частью имени Зорзолины: — Ну, и как ты поживаешь, Лина?

— Вот гляжу на тебя и думаю: неужто не хочешь работать в наших краях ни судьей, ни адвокатом?

— Кто тебе сказал, что не хочу?

— Людские языки.

— Не знаю, ничего еще не знаю.— Ты медленно двинулся к выходу.

— А мы ожидали от тебя другое услышать,— сказала Лина с глубоким сожалением.— Не люблю признавать их правоту.

— Но это так.

— О чем ты, Леун?

— О людских языках, которые и шпага, и щит, и мысль, и крылья, и небо, и земля, чтоб не сказать больше: в начале был язык, потом — слово.

Наступила тишина. Ты нетерпеливо переступал с ноги на ногу — хотелось уйти. Лина смеялась безо всякой причины — от радости ли, от стыда; кто знает, какая она теперь, Лина?

— Пожалуйста, не думай, что...— Голос выдал ее.— Все равно потом буду плакать — просто так, ни с того ни с сего.

— Тогда давайте смеяться,— сказал один из двоих.— Смех — это лекарство и для тех, над кем смеются, и для тех, кто смеется. Прекрасное лекарство, надо только уметь вовремя остановиться.

— Скажи, что ты думаешь о нас, Леун? Ты никогда не говорил, что думаешь, например, обо мне, которая попала людям на язык и не знает, как выбраться...

— Хорошо думаю, Лина, больше, чем хорошо... Верь мне, я адвокат.

— Верь ему, адвокат не может защищать, если не верит,— сказал один из тех двоих.

— Пожалуйста, только не говори мне, что мы твои обвиняемые, что у нас полно недостатков...

— Я пришел повидать вас. А потом пойду дальше.

— Недостатки можно устранить, если они не врожденные,— сказал один из тех двоих голосом обвиняемого — голосом, которому как ни старался, не мог придать сходство с голосом юнца: маскировка не удавалась, и здесь было бессильно даже все колдовство новогодней ночи.— И я любил, и я верил в великое могущество защитительных речей, но лишь до тех пор, пока не познал настоящую жизнь. Мне нравилось слушать, как он болтает всякий вздор, реальное вперемежку с фантасмагорией, я завидовал его миру, благородному и страстному, хотя и полностью выдуманному, пока в один прекрасный день, не зная, что еще выдумать,— и тогда я поймал его, как кота в мешок,— он объявил себя принцем. То была, конечно, игра, тем более что и имя поразительно подходило. Например, принц Василе — это не внушает доверия,— он показал на соседа, которого, видимо, и звали Василе,— в то время как принц Филипп звучит вполне убедительно... Речи возвысили его, очень возвысили, слишком возвысили, и оттуда, с высоты, и началось падение...

— Пей водку — и возвысишься снова,— сказал второй с благодушной улыбкой, однако скрывающей недоброжелательность.

— В действительности он не сделал ничего особенного. Он только оставлял там, где проходил, семена, из которых произросло... У всех у нас недостатки, но у него они врожденные.

— Брось, он ведь был молодым, мягким, незрелым — кусок глины, из которого можно вылепить все что угодно,— пытался утешить тот, второй, бывшего «принца» или бывшего поклонника «принца», в котором ты упрямо продолжал видеть студента, переодетого стариком. Ты еще верил, что игра продолжается. Но сказка кончилась давно.

— Поймал, как кота в мешок,— представляете, каков кот? Я искал в нем и другие недостатки и нашел, ибо они были. Говоря многое о многом, он сглаживал смысл, который в конце концов отомстил ему: он превратился в человека безо всякой тайны, за́мок с открытыми дверями и окнами, в который вместе с ветром ворвалось зло людское,— так закончил он свою исповедь, не сознавая, что делает ту же ошибку, какую сделал когда-то «принц»: говорил все, что приходило в голову, в то время как следовало говорить лишь то, что было на самом деле.

— Хватит... Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Расскажи о городе, Леун,— вмешалась Зорзолина, догадавшись по тому, как ты стоял — ни в доме, ни на улице,— что тебе надоели длинные излияния того, кто упустил возможность стать человеком.

— О чем поговорим, Лина? — спросил ты Лину, застывшую в углу стола и не отрывающую от тебя глаз. Лину, в которую при всей разнице в возрасте ты был когда-то безумно влюблен и от которой, как ты думал до последнего времени, освободился. Чувство, что она рядом, а ты уже ничего не можешь искупить, бессилие и нежность переворачивали тебе душу.

— Александру видел? — спросила Зорзолина, желая вернуть тебя к прежнему, к давним сказкам, которые ты вспомнил, а они, сестры, не могли забыть.

— Нет, не видел. Как он?

— Выращивает цветы и свыкся с мыслью, что жизнь — это то, что можно сосчитать и взвесить, а не то, другое, что понять и к чему привыкнуть куда труд-

нее,— сказал все тот же из этих двоих и нагнулся расшнуровать ботинки: видно, не двигался с прошлого года и теперь затекли ноги.

Затем он принял прежнюю позу, но уверенность и воодушевление, которые облагораживали его лицо, исчезли, уступив место какой-то боязливой игривости. Усмешка, появившаяся в углу рта, подчеркивала, что, продираясь сквозь абстракции, он сбился с пути, потеряв то единственное, что ему больше всего шло и лучше всего удавалось,— маску юнца студента. Растаяв, маска слилась с его собственным лицом, которое было именно тем, что выражало: поверхностная живость, не имеющая никакой надежды перерасти во что-либо более серьезное.

Поняв, что ты уходишь, Зорзолина прошла вперед, поднялась на высокий порог, раскинула руки и начала нараспев, голосом, которому после того, как давно были нарушены установленные в этом доме правила примерного поведения, трудно было придать прежнюю нежность:

— Если пойдешь к нему, а надо пойти, если увидишь его, а надо увидеть, если заговоришь, а заговорить надо, то скажи ему, что нам не плохо, не хорошо, а лучше, чем хорошо, только пусть оставит нас в покое, пусть оставит ребенка в покое, и пусть будет у ребенка, как у всех людей, имя, и пусть верит, что он — его, и не смеется над родом своим...

— Не надо! Не вспоминайте и помогите мне забыть! — закричала в отчаянии Лина.— Ты ничего не слышал, Леун! Ничего...

Наступила тишина, полная, глубокая, и в этой тишине ты и, наверное, остальные слышали, как громко и учащенно бьется у каждого сердце.

Ты вышел, не сказав ни слова, и когда пробирался, шаря в полутьме, через сени, маленькие, но сейчас казавшиеся огромными, до слуха твоего долетел тоненький звук, похожий на голос ребенка. Он доносился из глубины дома, из бывшей комнатки Катрины. И потом, в тишине и белизне улицы, этот голосок долго преследовал тебя, смеясь и плача, звеня тысячью колокольчиков.

3

Ты останавливался перед чьими-то воротами и бросал жестом сеятеля в поле горсть конопли, которую захватил еще вчера, чтоб было с чем утром ходить из дома в дом. «Многие, многие лета!» — хотел ты крикнуть, но язык онемел у тебя во рту, наверно, не смог бы произнести ни «здравствуй», ни, что еще проще, «привет». Ты собрался пройти вперед, но вдруг понял, что стоишь перед воротами Александру Шендряну — остановился здесь, сам того не желая, и теперь ноги не осмеливались вести тебя дальше. Новый, с блестящей черепитчатой крышей, окруженный забором с бетонными столбами, дом казался кораблем, вставшим на якорь в снегах. Во всех, сколько их там было комнатах, хотя давно уже наступило утро, горел свет. Ты тронулся с места — скрипнули новые ботинки, а может, взвизгнул схваченный морозом снег, и звук этот отозвался скрежетом пилы у тебя в висках. Ты замедлил шаг, прошел через открытые ворота во двор, пила разбилась вдребезги — ты заметил свежие следы, которые, убегая вперед, показывали тебе дорогу; следы терялись наверху, на лестнице, ведущей в дом. Широкий — от ворот до порога целый конный пробег,— со множеством деревьев, согнувшихся под снегом, двор выглядел странно, почти фантастически; твои шаги вспугнули цепного пса; лениво лая, он появился, как истинный хозяин этого царства, и стал прогуливаться, таская за собой цепь, которая заскользила по протянутой через двор проволоке.

— Кто там? — крикнули с застекленной веранды, и ты отвернулся, чтоб тебя не сразу узнали, к тому же, сгорбившись, как старик, поднял воротник пальто.— Кто там? — нетерпеливо окликнул тот же голос с крыльца.— Кто, я спрашиваю? — Голос приблизился, и человек заглянул сбоку, стараясь увидеть твое лицо.

— Я это, я!

— Леун? Да, он!

— Я,— ответил ты, и Александру раскинул руки, но стоял в нерешительности: и хотел обнять тебя, и не смел.

— Когда приехал?

— Вчера, десятичасовым.

— Слышал, слышал. Село — оно все знает... Жаль, не пришел вчера, скоротали бы время в полное удовольствие вдвоем.— Только теперь он протянул тебе руку,

горячую мускулистую руку хорошо натренированного спортсмена.— Ну что нового, Леун? — спросил он, а ты, не зная, как ответить (будто ему известно старое!), продолжал пожимать его руку, неприятно цепкую и настойчивую.— Хотел и я выбраться в Кишинев, повеселиться, как все люди, на балу или даже на маскараде, да вот билета не достал... Когда, говоришь, приехал? Ах, да... Как поживает барышня Анна?

— Спасибо. Вчера — хорошо.

— Поженились или все так же?

— Как тебе сказать...

— Не надо, понимаю...

— Это не то, что ты думаешь.

— А я ничего и не думаю. Но не забывай: время не стоит на месте и не ждет нас.

— Время никуда не уходит, это мы спешим. Вот смотри — только вчера приехал, а завтра уже надо возвращаться.

— И мы, люди бывалые, уже не оставляем на завтра то, что можно сделать сегодня... Ну, пошли, покажу тебе дом.

И вы зашагали по лестнице, хозяин — впереди, ты — следом, хватаясь без особой надобности за черные, из металлических труб, перила. Поднявшись на несколько ступенек, Александру обернулся, положил руку тебе на плечо и сказал:

— Слышал, что я бросил учительствовать?

— Как ты сам сказал, село все знает... Заделался великим огородником, выращиваешь ранние овощи...

— Выращиваю, но совершенно другое.— Он убрал руку и шагнул на последнюю ступеньку.— Вот отсюда видна теплица. Видишь? Потом покажу, посмотришь, на что способны стекло и центральное отопление.— И добавил другим, менее возвышенным тоном: — Впрочем, какое тебе до всего до этого дело!

— В том, как говорили о тебе, я почувствовал что-то вроде зависти.

— Ты ведь никогда не интересовался жизнью и судьбой бывшего своего односельчанина! Вспомни: когда я учился и приходил к тебе в общежитие, ты всегда был занят.— Голос его звучал торжественно и в то же время обиженно.— Хоть сейчас скажи: чем ты был тогда занят... если не секрет?

— Чем? — Ты не знал, что ответить.— В конце кон-

цов, у каждого есть своя «теплица», где он выращивает свои собственные «ранние овощи».— И ты засмеялся как можно добродушнее, желая, чтобы засмеялся и он.

Но Александру остался холодным и чужим, видимо восприняв твои слова как упрек.

— Выращивал, но совсем недолго. И не просто так — я биолог и делал кое-какие опыты. А когда начались всякие разговорчики — знаешь же наших людей! — из-за этой моей несчастной теплицы, которую я строил с такими муками, прямо с ног сбился, пока достал стекло, вот тогда-то я и вынужден был направить свою жизнь по другому руслу.

— И что же ты теперь делаешь?

— Понимаешь, я хотел выращивать ранние овощи, которые созревают, когда солнце греет еще слабо, а Лина издевалась надо мной: мол, будешь еще выращивать и при лунном свете... Все они точно сговорились, стыдили, издевались... Теперь я почти никуда не выхожу. А дело свое все-таки делаю.

— Что же ты делаешь, Александру? — спросил ты только для того, чтобы не создалось впечатления, будто уже все знаешь.

— Выращиваю цветы... За ними приходит некий Филипп, старый мой знакомый. Приходит, да вот уже целую неделю не показывается.— Он вытер со лба пот и погрузился в раздумья. Через некоторое время спросил, меняя разговор: — Так чем, говоришь, занимаешься в столице?

— Пока еще ничем. Осенью начну.

— Значит, будешь прокурором?

— Нет, только адвокатом.

— Ага, защитник людей от страданий...

— Адвокат в наше время,— начал ты было длинный доклад,— еще и воспитатель...

— Скажи, а если я подам на него в суд?

— За что?

— За моральное преступление. Хоть и не хотелось бы апеллировать к закону, хоть и говорят, что истинная справедливость должна быть выше любого уголовного кодекса... но если на самом деле все происходит иначе, если человеку приходится быть собственным своим адвокатом...

— И прокурором,— добавил ты, но Александру не слышал или сделал вид, что не слышит.

— Ты судья и должен знать, каковы они, люди,— сказал он и наконец пригласил тебя войти в дом.

Вы прошли коридор и оказались в другом, поменьше, со множеством дверей, ведущих в разные стороны.

— Вот и мой дом... Не кажется тебе низковатым?

— Живешь, как птица в кодрах... С новым домом, с новым счастьем! — И ты разбросал последние семена конопли, которые выгреб со дна кармана.

Александру смотрел на тебя подозрительно: неужели проделал такую дорогу лишь из-за обычая, который соблюдают те, кому больше нечего делать? — об этом, казалось, говорило его лицо, потерявшее прежнюю живость.

— Птица? Может быть, но та, которую выслеживают ястребы. Кодры полны ястребов, Леун, и думаю, большего наказания, чем знать, что ты несправедливо обижен, не существует.

Вы вошли в комнату направо. Александру прошел вперед и выключил электрический свет — теперь намного бледнее, чем свет дня, он окрашивал стены и предметы в мрачные безжизненные тона. Окна в комнате были большие, и через секунду жизнь обрела естественную окраску. Жизнь, о которой ты знал только то, что довелось услышать из чужих уст.

— Знай, вину мою можно взять тремя пальцами и развеять на самом что ни на есть слабеньком ветру.

— В новогоднюю ночь принято говорить о том, чего хотелось бы, а не о том, что было.

Из соседней комнаты, куда вела двойная стеклянная дверь, долетели обрывки мелодии. Кто-то ставил пластинки, но звуки таяли в тишине, задыхались, как в вате.

— Какая странная тишина. Не слышишь собственного дыхания, стука сердца.

Слова твои произвели неожиданный эффект. Александру приоткрыл дверь в соседнюю комнату и коротко приказал:

— Кончай развлекаться!

Потом обернулся к тебе, оставив дверь приоткрытой, так, что теперь можно было уловить каждое движение: одной рукой выключили проигрыватель, другой положили на место пластинку.

Александру стоял посреди комнаты, не зная, за что взяться, в пальто, наброшенном на плечи, небритый, невыспавшийся, голодный, и только благодаря этому про-

изводил впечатление человека, озабоченного мировыми проблемами.

— Единственная моя вина, что я женился на Лине, женился после смерти мамы, которая, пока жила, и слышать о ней не хотела... Теперь должен платить алименты, деньги немалые... Ребенок — мой, похож на меня, как две капли воды. Сейчас покажу тебе фотографию, сам увидишь.

Он выбежал в коридор и через несколько минут вернулся, протягивая тебе фотографию и умоляя сказать правду, похож или не похож на него ребенок. Ты взял ее и долго смотрел на младенца, которому было всего несколько месяцев и который мог походить на кого угодно.

Во дворе залаяла собака. Александру прислушался, затем выбежал из комнаты. Как только дверь за ним захлопнулась, открылась дверь в соседнюю комнату, и пугливый ее скрип заставил тебя очнуться, окатив волной дрожи.

— Скажите ему, я ему уже сто раз говорила,—прозвучал женский голос,— скажите, что похож. Ведь сам твердит всем, что похож, и сам же не верит. Если б поверил—успокоился. Матери лучше знают, с кем делают детей...

Собака замолкла, и женщина поспешно закрыла дверь.

—Другой на его месте,—начал Александру, возникнув на пороге, вспотевший, запыхавшийся, будто долго бежал,—не совал бы сюда нос каждое новогоднее утро и не просил бы прощения! — Он принес три блекло-красные гвоздики и, не зная, что с ними делать, держал их как сельские парни, обеими руками.—Видишь ли, прости его да еще поднеси букет из самых красивых цветов в знак того, что простил. Иначе, говорит, как я Анастасии докажу? — Он задумался, потом добавил: — Ведь все от него пошло, от Сыргишора Вырны, это он первый отдал своих дочек в школу в райцентре, будто там из них могли сразу сделать врачей. «Наши учителя,— твердил он на каждом шагу,— занимаются хозяйством и думать не думают о том, чтобы учить детей. Потому-то я и держусь с ними как равный с равными, а иногда даже и свысока смотрю!» Это уже после того, как произошел скандал из-за того проклятого птичьего помета ...

— Из-за чего?

Последовало длинное объяснение по поводу этого скандала.

Однажды весенним утром Александру, собиравший по селу птичий помет, который нужен был ему для рассады, зашел во двор Анастасии и увидел Сыргишора Вырну, давно питавшего к нему неприязнь. Вырна прочел ему лекцию о поведении и престиже учителя, дабы оправдать свои подрывные действия: ведь это он агитировал сельчан забирать детей из школы, где «хозяйничает» Александру, и отдавать их в райцентр. А в заключение сказал громко, чтоб слышали все, кто в это весеннее утро проходил мимо его дома: «Не идет тебе это! Это не делает тебе чести, товарищ учитель! Не возвышает тебя, человек!»

С великолепными подробностями Александру рассказывал тебе, начав с одного и кончив совсем другим и извинившись, что в голове у него за это время все перемешалось, о том, как Вырна преследовал его, будто шакал, пока Анастасия не взяла мужа в оборот и не сказала прямо, без обиняков: «Оставь его в покое, ведь и он тоже кровь от крови нашей!» — «То есть как так нашей? Чего ты мелешь?» — «То, что было, и то, что есть!» От этих ее слов Сыргишор задергался, словно норовистый, но взнузданный конь: «Как это?!» — и крик его разнесся по селу и долетел до Александру, который в это время поднялся на крышу своей теплицы, наслаждался пением прилетевших птиц, а потом вдруг и сам запел по-птичьи...

После этого рассказа снова вернулся к Сыргишору. Вбежав к Александру во двор, он быстро приставил к теплице лестницу, залез на крышу, схватил учителя за ноги и потащил его вниз. Упав на осколки стекла, валявшиеся вокруг теплицы, Александру до кости порезал руки, в которых к тому же держал железный брусок — с его помощью ломал стеклянную крышу. Испуганный Вырна подскочил к Александру и вырвал у него брусок: «Чем эти заботы, уж лучше что другое!» и велел Лине принести воды умыться. Некоторое время он, причитая по-бабьи, размахивал руками, испачканными кровью Александру, что осталась на бруске, а умывшись, стыдливо засунул их поглубже в карманы и, сделав вид, что сзывает разбежавшихся по двору цыплят и утят, исчез.

— Предчувствовал я,— продолжал Александру,— что́ должно случиться... то, что и случилось потом.

— Что же случилось?

— Меня это не волнует, и наплевать, что они говорят, об одном прошу: не заботьтесь, ради бога, о том, чей я! Ее я, той, кто меня вырастил, а вырастила меня моя мама! — крикнул он так громко, что в соседней комнате испуганно захлопнули дверь, а ты положил ему на плечо руку, стараясь унять надвигающуюся бурю.— Я же не кричу «караул» и не зову на помощь! Не нравится мне правда, которая наваливается на тебя, когда с ней уже нечего делать!

— Все в конце концов преходяще,— произнес ты, сжимая его плечо.— Все проходит!

Ничто не успокаивает нас лучше, чем банальность. Александру замолк, словно для того, чтоб ты вспомнил, о чем рассказали тебе в эту новогоднюю ночь. Настоящая его мать, от которой и пошли все слухи, родила его для другой матери, с которой заранее обо всем договорилась, поклявшись жизнью еще не родившегося ребенка, что не обронит ни полслова до самой могилы. Так и сделала, как сказала, и кто мог знать, что женщина, которая вырастила Александру, не носила его в своем чреве, а только изображала беременность, таская на животе подушку, в которую добавляла гусиного пуху, по мере того как настоящая мать, претерпевая долгие муки, туго затягивалась полотенцем, приближалась к родам и вечной разлуке с будущим сыном.

Затем рассказ возобновился, сбивчивый и сумрачный, и ты узнал, что когда вроде бы все успокоилось — Александру забинтовал себе руки, которые очень жгло после того, как Лина смазала их йодом, цыплята стали гоняться по двору за мухами, теплица умиротворенно дышала через многочисленные отверстия, проделанные железным бруском,— тогда опять появился Сыргишор, но не один, а в сопровождении двух мужчин в белых халатах. Это были работники сельской больницы, которых Александру хорошо знал, но которые сейчас вели себя так, будто видели его впервые. Они принялись расспрашивать его, и вопросы их точно падали с неба. «Мучаетесь, Александр Филиппович? — спросил фельдшер у Александру, который стряхивал линейкой с брюк осколочки стекла.— Редкие овощи выращиваете?» — «Да. Хотите попробовать?» И Александру подошел к Сыргишору спросить, зачем привез медиков. «Возьмем на исследование, перевяжем»,— сказал фельдшер, и тут врач сделал ему знак, и они все трое схватили Александру за руки и за ноги и по-

тащили к машине, которая ждала у ворот. Затем двинулись через долину, по самой короткой дороге к больнице. Александру сидел между Сыргишором и санитаром и никак не мог унять боль в руках — жгло все сильнее. Клал их то на спинку кушетки, то на колени, пытаясь найти место поудобнее, пока наконец Вырна не сжалился над ним и заговорил: «Если тебе нужно стекло, могу достать». Александру не ответил. «Сколько, говоришь, тебе надо?» Александру молчал. «Или не знаешь,— закричал тогда, нервничая, Вырна,— что такие большие листы не очень-то найдешь? Все теперь строят дома с окнами величиной в дверь и дверьми — в ворота!» Но Александру по-прежнему молчал. Болели руки, и он высовывал их в окно, махал, а когда видел кого-нибудь, идущего навстречу, пересаживался к противоположному окну. «Не думай, что только ты... Меня многие просят, но им я ничего не достану... Даже стеклышка для ручных часов! Потому что с ними я ни в каком ни в родстве...» Машина с выключенным мотором катилась вниз, шурша, точно быстро скользящий по земле питон.

— А летом в моей теплице — вся из стекла и железа — только сорняки выросли, и люди, понятно удивлялись: что ж это со мной случилось? — Александру вздохнул: — Вот так из-за Сыргишора попал я в сумасшедший дом...

За окном вдруг послышался топот, еще и еще... Александру вздрогнул, быстро накинул пальто и встал посреди комнаты, ожидая сигнала собаки: по ее лаю можно было определить, кто нарушил тишину — птица, другая, пробежавшая мимо собака или человек. Но собака молчала, и он вышел во двор. Когда дверь за ним закрылась, приотворилась дверь в соседнюю комнату, издав все тот же пугающий скрип, но теперь ты знал, кто там. В щели показались глаза, нос и щеки со следами наспех вытертой сажи.

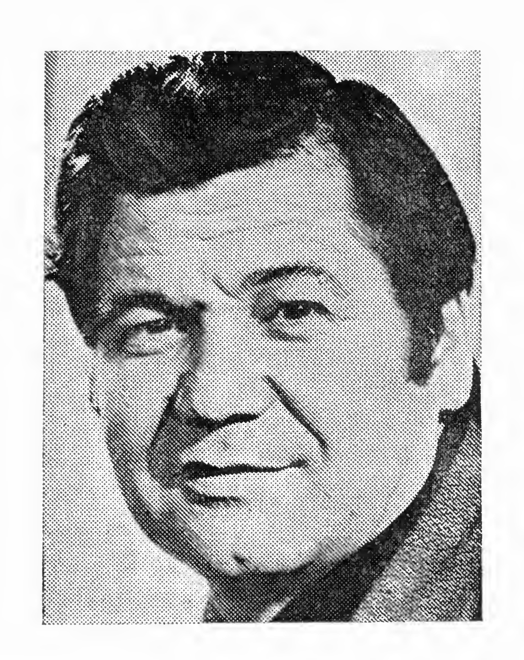
— Этой его Лине,— сказала женщина, блестя глазами то ли от ненависти, то ли от радости,— выпало счастье родиться красивой. Большое счастье, но и несчастье великое. Улыбается каждому, и каждый думает, что только ему одному...

В этот момент открылась входная дверь и появился Александру, держа в руках, как свечи, две сосульки. Тяжело дыша, он глядел то на дверь, которую женщина не успела закрыть, то на тебя — испуганными, расширенны-

ми глазами, будто видел во сне, а сейчас, пробудившись, увидел и наяву.

— Слушай, Анастасия Петровна! — крикнул он, подойдя к двери в соседнюю комнату.— Не придет больше твой принц Филипп! Наверно, короновали за все его подвиги...— Он поставил длинные сосульки в черную вазу.— Жду его целую неделю, а цветы, сорванные неделю назад, вянут! — И отступил назад, чтобы на расстоянии полюбоваться двумя ледяными узловатыми ветками, которые, как он и хотел, были и букетом, и свечами.— Потеплело, солнце появилось, и снег больше не идет. Тает — вот они и падают со стрехи и пугают.— Он подошел к столу, держа в руках медный поднос, и поставил на него вазу.— Пройдем в другую комнату, там теплее.— Лед стал таять, и капли, падая на поднос, издавали, будто маленькие колокольчики, еле слышный звон.— Если до десяти не придет — слышишь ты там? — взваливай цветы на спину — и на поезд! — Он остановился и некоторое время прислушивался к перезвону капель.— Но пока у тебя еще есть время, иди на кухню и посмотри, чем можем попотчевать гостя... Леуна! — И он обернулся к тебе.— Автобус запаздывает, а может, что случилось. Кто его знает...— Но дабы не усложнять себе жизнь в первый же день нового года, добавил успокаивающе: — Наверно, запаздывает. Ведь всю ночь валил снег.

Перевод *Г. ЛЕВИНСОН*



ЧИБОТАРУ Михаил, прозаик. Родился в 1934 году в селе Варваровка Молдавской ССР. Окончил в 1959 году филологический факультет Кишиневского университета, а затем Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал многие годы на различных должностях в республиканской периодической печати. В настоящее время является главным редактором иллюстрированного ежемесячника «Молдова». Первый сборник рассказов вышел в Кишиневе в 1965 году. Русскому читателю его проза знакома по книгам «Трава любви. Рассказы» (Кишинев, 1970) и «Сеятели. Роман» («Советский писатель», 1978).

МИХАИЛ Г. ЧИБОТАРУ

ВСТРЕЧА ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ

Было уже поздно, когда Василе Оляндрэ тихонько приоткрыл окно, чиркнул зажигалкой и закурил. Петухи давно сделали свое дело, дав знать, что половина ночи уже позади. Изредка подымался легкий ветерок, и тогда груша перед домом начинала скорбно перебирать свои жухлые листья — все, что осталось от ее былого наряда.

А листья редели: Оляндрэ слышал, как, падая, они испускали последний вздох. И на душе было тяжело и тоскливо.

Он выбросил окурок и снова лег, оставив окно открытым. Долгое время ворочался в постели, но сон не шел к нему, хоть тресни. В другой кровати тихо посапывал Митрикэ, и не было ему дела до того, что осыпаются листья, что идет зима и что отец с самого вечера мучается и никак не может заснуть. Митря спал глубоким, спокойным, молодецким сном.

— В его-то годы какие думы могут прогнать сон? — позавидовал про себя Василе.— И потом — что ему ведомо?.. Знал бы он, кто этот Никандру Пэлэмару... А деревья еще столько раз будут срывать перед ним свои одежды...

Митрикэ Оляндрэ окончил этой весной университет и получил назначение сюда, в Фундуры. Василе мог бы походатайствовать в министерстве, чтобы сыну дали место поприличней. Однако он не собирался оберегать сына от трудностей, хотя, конечно, и хотел бы видеть его поближе.

За два месяца работы Митря послал ему несколько писем. И каждое из них Василе Оляндрэ открывал с некоторой тревогой. Но потом успокаивался. Митря не хныкал, что ему, мол, трудно привыкнуть к сельскому укладу жизни, к грязи и кирзовым сапогам, не жаловался, что ученики — непослушные, шалопаи, что они

больше проводят времени в колхозных садах и на виноградниках, чем за книгой. Василе прекрасно понимал, что сыну всего перепало. И у него была одна забота: чтобы Митря не споткнулся в начале пути. А тот, казалось, и думать не думал обо всем этом. И Василе радовался: он терпеть не мог хлюпиков.

— Жизнь, брат мой, словно ретивая кобылица,— порой говаривал Василе,— и надо стараться ее оседлать и обуздать, пока не поздно. А то ненароком скинет, да так, что придется тебе до конца дней ползать на четвереньках.

Перед Октябрьскими праздниками Василе приехал повидаться с сыном.

Нашел он его в школе. Дети готовились к празднику, и Митря вместе с несколькими учителями сооружал во дворе сцену. Увидев отца, он тут же бросился ему навстречу с молотком и гвоздями в руках. И Василе вспомнил, что вот так же он бежал к нему, когда был пацаном, нетерпеливо выпытывая, какой гостинец привезли ему из города.

Теперь он был выше и складнее, чем отец. Но на его лице сияла та же безграничная радость ребенка. Он обнял и крепко поцеловал отца.

— Все-таки приехал. Никак тебе не сидится,— начал было отчитывать его Митря, но во взволнованном голосе не было и тени укора.— Я ведь писал тебе, что на зимние каникулы приеду. Разве можно тащиться в такую глушь с твоим здоровьем?

Митря повел его к себе на квартиру. Старенький домишко с завалинкой вровень с землей стоял почти рядом со школой.

— Можно бы найти жилище поприличнее, но это меня устраивает, близко. И потом весь день я фактически в школе или в селе.

Митря мигом притащил два ведра воды, чтоб отец освежился с дороги, и посоветовал ему отдохнуть, пока он вернется. А то клуба у них нет, а концерт дать надо. Жители вот-вот начнут собираться в школьном дворе и как бы не застали их с молотками на сцене.

Василе Оляндрэ отдыхать не хотелось. Раз уж приехал к сыну в гости, значит, следует познакомиться поближе с селом и его обитателями, чтоб иметь представление о месте, где жил его Митря.

Затерянные в садах дома тянулись по обе стороны не-

глубокого оврага, на дне которого журчал ручей. Самым внушительным строением было здание школы, если не считать церкви, возвышающейся на противоположном склоне оврага. Люди хлопотливо сновали туда-сюда, неся в руках плетеные бутыли и корзины со всякой всячиной.

Василе Оляндрэ понравилось село, хотя ничего особенного в нем не было: дома как дома, с белыми, а внизу подсиненными стенами, окруженные плетнями и фруктовыми деревьями во дворах. Дороги неровные, видно, в непогоду они выслушивают много брани от прохожих. Не было в селе даже того, что должно быть — бани, клуба, парикмахерской, сапожной. Митря писал ему, что все это есть в соседнем селе Флорены, и те, кому надобно, ходят туда. Василе же считал, что одно дело шагать к соседям, а другое — иметь все, что полагается, у себя дома. Но, в общем, это его не удручало. Скорее напротив, у него был свой взгляд на жизнь, и сейчас он думал: «Пусть немного помесит грязь. Будет знать, что белый хлебушек — из черной земли».

Был погожий осенний день с неярким и как бы усталым солнцем, с жужжанием последних отчаявшихся букашек, которых еще не настигли холода, с легким дуновением ветра, разносящего запахи муста и виноградных выжимок, айвы и наливных яблок, свежевспаханной зяби.

Василе Оляндрэ глубоко вдыхал их, чувствуя, как молодеет тело и обновляется душа. Старые далекие позывы пробуждало в нем это село, земля, этот пахучий воздух. И на какое-то мгновенье ему показалось, что он переносится в годы своей молодости. И он забыл, что ноги уже не слушаются его, как раньше, сердце пошаливает, да и радикулит часто дает о себе знать. Побегать бы сейчас босиком за плугом, чтоб почуять прохладу земли, облазать бы все холмы и лощины да вместе с загонщиками поохотиться на зайцев и лис, поплясать бы до упаду на сельской хоре[1], а потом с вершины бугра гикнуть во всю глотку, чтоб было слышно за тридевять земель...

Все это пронеслось довольно быстро в воображении Василе, и палка в руке вернула его к действительности.

---

[1] Хора — (здесь) крестьянское празднество с плясками.

Только грудь никак не могла насытиться ядреным воздухом...

Школьный двор был запружен народом. Кто-то яростно бил в барабан. Призывно трубил горн. Мужики и женщины, парни и девчата, подростки и совсем малыши тянулись туда. Для такого села, как Фундуры, торжество — событие чрезвычайное, и каждый оставлял на пару часов свои хлопоты.

Побродив по селу, Василе Оляндрэ тоже зашагал к школе.

Сцена была готова. Люди заняли уже места, усевшись прямо на траву, взошедшую после осенних дождей. Детвора бегала, орала, смеялась, радуясь, что уроков не будет ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра.

Несколько в стороне четверо мужчин о чем-то горячо спорили.

— Я считаю, что место ему вот здесь,— сказал один из них, низкорослый и худощавый, с короткими черными усиками, показывая в глубину двора, где несколько рядов деревьев покачивали своими почти голыми ветвями.

— А по-моему, это нелепость,— возразил ему другой, в темной шляпе и вишневом галстуке, с университетским значком на отвороте темно-синего пиджака.— Зачем нам жаться, как селедка в банке? И потом не забывайте, настало время подумать о новом помещении для школы. Село растет, детей уйма. А для Дома культуры нужна большая площадь, чтоб было где заложить парк, посадить цветы, оборудовать летнюю танцплощадку. Раз уж делать, так делать по-настоящему, ведь не на два-три года рассчитываем. Что, земли у нас мало?

— Об этом никто не говорит, вся земля вокруг наша. Но это не значит, что мы должны строить у черта на куличках. Мне кажется, товарищ директор, что культурный центр должен находиться в центре села. Вот так.

— Хорошо, а где центр села? — вмешался в спор третий мужчина с потухшей сигаретой в зубах.— Где центр Фундур? На дне оврага, не так ли? А мы должны смотреть в оба, чтобы увидеть не сегодняшний, а завтрашний центр. И если говорить об очаге культуры, как называют его в газетах, то строить его надобно наверху, чтоб свет этого очага был виден издалека, отовсюду. Вы

заметили, как раньше выбирали место для церкви? Центр не центр, неважно, было бы место хорошее, а центр потом сам переместится.

Сигарета быстро кочевала из одного уголка рта в другой, в то время как ее владелец все больше распалялся:

— Вы знаете, сколько домов строится в селе ежегодно?

— Конечно,— ответили усики, — в сельсовете у нас все зарегистрированы.

— Тем лучше. Так вот, через десять лет Фундуры не будут больше Фундурами. Возникнет новое село. И если мы построим Дом культуры там, наверху, на окраине, и если Алексей Афанасьевич,— он повернулся к высокому статному мужчине, молча прислушивающемуся к спору,— обещает построить там и хороший современный магазин, и помещение для бригады и для сельсовета, а ты,— обратился он к усикам,— если впредь будешь выделять места для домов только в той стороне, я даю голову на отсечение, что через восемь-девять лет центр будет там.

— Все же я полагаю, что сначала надо провести собрание и посоветоваться с народом,— заключил высокий.

Слушая этот разговор, Василе Оляндрэ невольно представил себе новый Дом культуры, окруженный молодым парком. Новый магазин. А дальше вдоль широкой улицы тянутся просторные и добротные дома, увенчанные антеннами. Он видел совершенно новое село, каким хотят видеть его эти люди. И зваться оно будет по-другому, по-новому. Село Ясное, Светлое, Солнечное... да сколько красивых имен можно придумать красивому селу...

Гам вокруг все нарастал, и Василе спохватился, что должен увидеть Митрю.

Медленно пробираясь сквозь толпу к дверям школы, он вдруг остановился как вкопанный. Ноги одеревенели, дыхание захватило, глаза вылезли из орбит, брови поднялись в крайнем изумлении.

Стоящий перед ним старичок, заметив его выражение, тоже застыл в странном оцепенении, открыв рот, словно задавая немой вопрос. Однако это продолжалось одно мгновение, будто короткий электрический разряд, взявшийся неизвестно откуда, прошел по телу и исчез

неизвестно куда. Старичок не спеша повернулся спиной и побрел в противоположную сторону. Василе тоже пришел в себя и поспешил следом. Догнал, взял за локоть. Тот повернулся и бросил раздраженно:

— Что надо, гражданин?

— Тоадер! Это ты?

— Что тебе надо, гражданин? — повторял тот, пожимая плечами.— Какой еще такой Тоадер?

Василе вперился в него взглядом. Тот продолжал смотреть спокойно, с тем же недоуменным вопросом в глазах. И лишь нижняя губа вдруг стала дрожать, и дрожь эта была очень знакомой. Василе сразу заметил длинный шрам, идущий из седины к уголку подбородка. Во рту блестело несколько вставных зубов.

«Неужели от того удара?» — подумал Василе.

Глядя на его дрожащую губу, он сказал:

— Как видно, ихние доктора так тебя и не вылечили.

Тот закрыл глаза, как от приступа головокружения. Василе продолжал изучать его. Да, это он. Правда, стал каким-то хлипким, ослабел. Отрастил бородку и усы, может, поэтому и кажется таким стариком. Губа продолжала дрожать, хотя он и пытался закусить ее верхними зубами. Золото блестело в лучах солнца и будто стекало с обезображенной шрамом губы.

— И зубы вставил,— спокойно отметил Василе. Хотел еще что-то добавить, но передумал. Старик открыл глаза и инстинктивно поднес руку к губе, чтобы успокоить тик, затем неожиданно запричитал визгливо, чуть ли не криком:

— Ну что ты ко мне пристал? Ну что ты ко мне привязался?

Василе смотрел на него, потрясенный встречей. Произнес как бы для себя:

— Кровь — не водица...

Теперь глаза закрыл он. И увидел перед собой другого Тоадера, в мундире цвета хаки, в галифе, плотно обтягивающем ноги, и в высоких сапогах с негнущимися и блестящими голенищами, такие носили только офицеры. И резиновый хлыст, которым он легонько, но звонко похлестывал по голенищу, тоже был офицерским.

Тогда Василе сказал ему то же самое: «Кровь — не водица».

— Если я захочу, станет водицей! И прахом станет, если я захочу! — злобно ответил ему Тоадер. И хлыст дрожал в его руке...

Василе Оляндрэ почувствовал на плече чью-то руку и оторопело открыл глаза.

— Что с тобой, отец? — озабоченно спросил Митря.

Тоадера уже не было.

— Ничего, ничего, Митрикэ,— поспешил успокоить его Василе.— Видно, устал я с дороги.

Митря принес ему стул и попытался усадить его, чтоб он смотрел спектакль. Отец уперся: встреча с Тоадером разбередила его душу, всколыхнула прошлое, и ему захотелось уединиться куда-нибудь, в укромное местечко, чтоб успокоиться, прийти в себя.

— Прости, Митрикэ, но я лучше пойду домой. Устал я. А ты занимайся своим делом, не беспокойся обо мне.

Он уселся на скамейке под разлапистой грушей с поредевшей от ветра листвой, уперся подбородком в костыль и предался воспоминаниям.

— Батюшка, не ты ли будешь родителем Думитру Васильевича? — услышал он пронзительный женский голос.

Перед ним стояла низенькая и толстая, как бочонок, старушка в черной юбке с многочисленными складками и в темно-вишневой плюшевой телогрейке. Оляндрэ догадался, что это хозяйка дома.

— Да, я,— с готовностью отозвался он,— Вот приехал поглядеть, как он здесь.

— Честно скажу тебе, батюшка, что Думитру Васильевич ну ни дать ни взять — девица красная. А ежели по-сегодняшнему мерить, так пуще, чем девица. Вот только одно у него, прости меня, старуху, не ладно получается.

Василе Оляндрэ внимательно смотрел на нее. Старушка продолжала доверительным тоном:

— Погубит свое зрение касатик, как пить дать погубит. И пригожий он, и обходительный, и смирный как красна девица, а вот меня не слушает. А я ему сколько раз говорила: Думитру Васильевич, да оставь ты свои книжки, неужто не пресытился ты этой учебой? А он усмехается и дело с концом. Говорит, что нужные книжки, читать их надобно. А я говорю, что зрение дороже

всяких книг. Господи, да если бы наш поп Иоан читал столько! В жисть бы не прожил свои девяносто годков. А когда службу начинал, все плачем плакали. Не то, что нонешний...

— Что, этот хуже? — спросил Василе для поддержания разговора.

— Да этот совсем не служит. Одними поминками и живет. Прогнали его люди, а церковь закрыли. И правильно сделали, а то измывался все над господом богом. Года два его терпели, а он все бормотал себе под нос, один он и знал, о чем говорит. Глянешь на него, а у него губа нижняя скривится, будто нас всех передразнивает. Ну прямо нечистая сила, прости меня, господи.

Василе подался вперед:

— И что, ушел он от вас?

— Кто? Никандру Пэлэмару? Еще чего! Подался в школу и теперича вроде завхоза там. Детишек своей губой забавляет... Господи, заговорилась и на концерт опоздала! А ты, батюшка, не идешь? Послушать Думитру Васильевича, он порой такое скажет, умрешь.

— Спасибо, я попозже подойду.

Старушка засеменила к воротам и исчезла, будто ее ветром сдуло. Василе вошел в хату, снял жакет и прилег на кровать. Тревожные мысли не давали ему покоя. Никандру Пэлэмару... Неужто он ошибся, обознался? Ну, а губа? А шрам? И почему тот улизнул так быстро? Никандру Пэлэмару... Тоадер Оляндрэ... Кровь — не водица...

Вечерело. Вместе с сумерками на землю опускалась прохлада. Ветер играл с листьями груши, отрывая их один за другим и унося с собой. Василе Оляндрэ лежал с закрытыми глазами. На какое-то время он покинул этот старый домишко, Фундуры, покинул себя, поседевшего и с палкой в руке, и перенесся в Сэлкуцу, что на берегу Прута. Ему надо было увидеть себя мальчишкой, чтобы встретиться с отцом и матерью, которые давно уже почивают на кладбище у дороги, чтобы поговорить с Тоадером Оляндрэ и увидеть глаза Панагицы... Сколько он перетерпел из-за них! Но никогда не жалел, что увидел их такими, какие они были и какими они останутся для него на всю жизнь.

Легкий стук в дверь прервал ход его мыслей.

— Входите,— крикнул Оляндрэ, подымаясь с постели, и включил свет.

И так и застыл на месте, изумленно глядя на гостя. Это был Тоадер Оляндрэ. Его маленькие узкие глаза, глубоко спрятанные под густыми бровями, смотрели на него с испугом.

— Я знаю, что теперь от моего нового имени никакого мне толку не будет,— начал он хриплым сбивчивым голосом.— И пришел, чтоб поговорить с тобой начистоту. Как-никак, а мы все же одной крови...

Да, да... Их отцы были братьями... Других сыновей у деда не было: дядя Костаке да Георге, отец Василе. И с тех пор как помнит их Василе Оляндрэ, братья вечно враждовали между собой. И все из-за семи гектаров земли, принадлежащих деду, и скотины, которой было много в его загоне. Часть всего этого должна была достаться Георге Оляндрэ. Но он, женившись, пошел против воли старика. Не взял в жены Дарью Кочорвэ, которая, правда, была дурнушкой, но зато с хорошим приданым и тремя десятинами земли, а однажды вечером привел в дом Иляну, дочь тетки Надежды Станэ. Была она девушкой пригожей и ласковой, как голубка. Сызмальства осталась без отца, а мать то ли с горя, то ли еще с чего распродала мало-помалу всю землю, а деньги пропила с бедовыми мужиками-вертопрахами, так что бедная девка осталась совсем без приданого. Было у нее с полдесятины земли да большой позор из-за ребенка, которого она прижила неизвестно с кем. Ребенок умер через неделю после рождения, но позор и презрение односельчан остались.

Старика чуть удар не хватил, когда он увидел в своем доме Георге с Иляной. И сказал он сыну тихим голосом, словно не хватало у него сил говорить погромче или, может, боялся, чтобы не услышали не только соседи, но и собственные стены — пусть он отведет ее откуда привел и навсегда забудет дорогу к ней.

— Или ты нас примешь обоих, или я не переступлю больше твоего порога,— ответил Георге.

Старик рассвирепел, начал осыпать его проклятиями. Затем, видя, что сын не намерен покориться родительскому слову, взял их обоих за шиворот и вышвырнул за двери.

Иляна получила свои полдесятины, и это было все их богатство. Пришлось им в первый же год работать по

найму, за малую мзду обрабатывать чужую землю и копить деньги на домишко, потому что старик заявил: лучше он сожжет дом, чем позволит им войти в него.

Георге надеялся, что со временем сердце старика смягчится. Но проходили годы, а старик крепко, незыблемо стоял на своем. Что весьма радовало Костаке. Он всячески обхаживал родителя, приглашая его к себе на обед или на стакан вина, или же принося к нему всякие угощения. Он часто заставлял Тоадера рубить для деда дрова, носить воду, ухаживать за его скотом.

Однажды он сказал старику:

— Отец, ты уже стар, а хозяйство у тебя немаленькое, и, чтобы оно не развалилось, тебе нужна крепкая рука. Я мог бы тебе дать своего Тодерику...

Старик догадывался, куда клонит сын, но молчал. А Костаке боялся, как бы тот не раздумал и не отказался от своего проклятия. Тем более, что в последнее время туда стал наведываться и его брат Георге. И стал Костаке жаловаться старику, что Георге опозорил их род, связавшись с самой что ни есть распущенной голытьбой, что ему стыдно перед людьми, когда на улице эта «родня» здоровается с ним. И что Георге всегда был упрямым и непослушным, о чем он, родитель, не должен забывать...

Старик, чувствующий себя на пороге смерти, молчал в таких случаях, тупо уставившись в землю. Костаке было не по душе это молчание. Он уже несколько раз схватывался с Георге, крича, чтобы тот не смел переступать порог отчего дома, раз он так его опозорил. Тем не менее Георге продолжал приходить, сперва один, а потом с сыном Василе, который стал уже подростком. И старик вроде бы изменился: не бранил, не выгонял его больше. Говорил он все об одном, что у него отяжелели ноги, что его трясет сильно и что тянет его к старухе, которая, бедолага, уже десять лет лежит одна-одинешенька на кладбище.

Когда старик совсем ослабел, Георге почти не отходил от него. Костаке тоже был тут как тут. Не было у них времени для ссор: оба терпеливо смотрели в глаза старика, ожидая его последнего слова. Однако родитель продолжал хранить молчание.

Однажды зимним вечером, когда в печи гудел огонь, а снаружи неистовствовал мороз, старик приподнялся на

локтях и жестом руки попросил сыновей подойти поближе.

Фитиль керосиновой лампы косо глядел на них. Какое-то время старик молча разглядывал сыновей. Будто собирался сказать что-то, открывал рот, но тут же останавливался, глотая невидимый комок и снова открывал рот. Его заросшее щетиной лицо осунулось и взгляд был другой, отрешенный. Наконец, чужим хриплым голосом произнес:

— Вот что, сыны... Мне пора в путь-дорогу... Засиделся я здесь, и холодно, и тесно как-то стало... Да и чужой я... А вы, сынки, живите разумно, чтоб люди не смеялись над вами...

Сыновья слушали с опущенными, как на исповеди, головами.

— Дружно живите, в согласии. Вы же одной крови...

Старик снова умолк, словно силясь вспомнить, что же ему еще надобно сказать. Долго глядел на Костаке. Тот облизывал пересохшие губы.

Но умирающий сказал не то, чего ожидал сын.

— Рад я за тебя, Костаке, хороший ты хозяин. И смирным ты был, и послушным, и господь не оставит тебя... Будь таким и впредь... Чтоб жить вровень с другими.

Старик перевел взгляд на младшего. Костаке беспокойно заерзал, недоуменно глядя на отца.

— Вроде ты еще что-то хотел сказать, отец?

— Скажу, сынки, скажу... Все, что смогу, скажу...

Говорил через силу, тяжело дыша. Продолжил, обращаясь к младшему:

— Ты, Георгица, бог мне свидетель, совершил тяжкий грех... Ослушался родителя, отравил ему старость, в душу плюнул...

Костаке утвердительно кивал головой, поддакивая с нескрываемой радостью:

— Правда, отец, истинная правда.

— Но все, что ты сделал,— продолжал родитель,— сделал на свою голову... А мне вот время пришло, и не могу я оставить тебя, сынок, с проклятием отцовским в душе. Может, и я был слишком крут с тобой... Я прощаю тебя... Прости и ты отца...

Георге приник губами к высохшей и холодной руке старика. Костаке вздрогнул, подался вперед, собираясь что-то сказать, но родитель продолжал:

— Снимаю проклятие и прощаю тебя... Отныне и дом и земля твои... Остальное...

— Отец, что с тобой? — заорал Костаке.

Старик хотел закончить свое последнее слово, но будто кто-то сдавил его горло. Он лег на спину, глотая воздух.

— Чтобы ты мучился вот так, пока не сделаешь по справедливости! — проклял его Костаке.

— Как у тебя язык поворачивается? — в ужасе воскликнул Георге. Костаке бросился к нему и схватил за шиворот.

— И ты еще рот открываешь, мерзавец?! Был босяком без стыда и совести, а теперь пришел в этот дом?!

Георге попытался вырваться из рук брата, но тот держал его мертвой хваткой. Началась потасовка. Отец умоляюще глядел на них и еле слышно шептал:

— Сынки... сынки...

Но сыновьям уже было не до него: пришло время излить злобу, которую они копили друг на друга вот уже столько лет. Они сцепились, пустили в ход кулаки. Георге задел плечом лампу, и она, сорвавшись с гвоздя, с грохотом упала, разбрасывая раскаленные осколки стекла. Темнота поглотила комнату. Однако братья продолжали тузить друг друга, катаясь по полу, ругаясь и скрежеща зубами, пока не обессилели вконец, как кони в борозде. Они замерли где-то у порога, крепко захватив друг друга, чтобы не дать возможности противнику высвободить руку и ударить. В это мгновение они услышали приглушенный стон, который сразу же оборвался.

На секунду братья затаили дыхание. Зловещее молчание заставило обоих содрогнуться. Они принялись шарить в потемках, разыскивая спички. Так и не найдя их, Георге открыл печную заслонку и зажег от догорающих углей сухой кукурузный стебель. Костаке поднял с пола лампу без стекла, выкрутил фитиль и протянул ее к горящему в руках Георге стеблю. Комнату заполнил чахлый свет, отбрасывая на стены хаотические тени. Их отец лежал посредине комнаты на половицах, разбросав руки в стороны. Они бросились к нему, подняли и уложили на место, на старую, изъеденную лавку.

— Тата! Тата! — надрывались они, тряся его за плечи.

Отец молчал.

— Преставился,— прошептал Георге со слезами в голосе.

— Прости меня, тата,— молвил Костаке.

Они опустились на колени перед лавкой, уткнулись разгоряченными вспотевшими лбами в почти охладевшее тело, и в комнате раздались глухие рыдания.

— Всю жизнь работал на нас и вот, на тебе, заставили его умереть без свечки,— причитал Георге.

— Прости, тата,— тем же сдавленным голосом молил Костаке.

Свет в комнате ослабевал, пламя лампы дрожало, словно содрогаясь от того, что произошло здесь минутой раньше. А за заиндевелыми окнами слышался одинокий вой ветра, жалобные стенанья голых деревьев, жесткий колючий скрип снега под ногами спешащих прохожих.

В тот вечер Василе, Тоадер да несколько их товарищей пришли в дом покойника и до поздней ночи играли при свечах, в бызу.

Разошлись они глубоко за полночь. В доме остались лишь Георге с сыном.

Георге зажег несколько свечей, посмотрел на желтое высохшее лицо отца и вытер глаза.

— Помолимся, Василе, господу богу, чтобы он отпустил ему прегрешения. Похороним его честь по чести. Поминки сделаем. Устроим и на могиле богослужение. Занесем его в поминальник и никогда его не забудем. Ибо смилостивился он и сделал нас с тобой хозяевами. Отныне, Василика, и дом этот, и земля, и имущество, все, что нажил и о чем пекся твой дедушка, теперь все это наше.

Он перекрестился, поцеловал заскорузлые отцовские руки, наконец-то нашедшие покой на костлявой груди, снова утер мокрые глаза и сказал Василе, чтобы он тоже поклонился покойнику и поцеловал ему руки.

— Завтра я буду занят с утра,— сказал он сыну,— надо будет найти покупателя на овец или пшеницы продадим и хватит нам денег для похорон. Так что я отдохну маленько. А ты сиди у дедушкиного изголовья. Не оставляй его одного, грех это. Увидишь, что свечка тухнет, другую зажги, не жалей воска.

К рассвету сон стал подкрадываться и к глазам Василе. Как он ни старался отогнать его, но стоило ему опуститься на скамью, и веки тотчас же смыкались. Он решил обмануть сон и на секунду опустил голову на край стола. И тут же увидел деда, но не на скамье, а на качелях, которые дед когда-то соорудил во дворе и которые сохранились поныне как свидетельство тех далеких лет, когда дядя Костаке и его отец были тоже мальчишками, неугомонными проказниками, лишенными забот. Лежа на качелях, дед открыл один глаз, затем другой и, заметив, что он, Василе, спит, сильно осерчал, вскочил и набросился на него:

— Вместо того чтобы качать меня и отгонять мух и собак, ты храпишь, соня ты этакий! Думал, что я помер и ничего не вижу? И твой батька тоже так думает? Я вам сейчас покажу...

Сейчас дед был гораздо выше, чем обычно. Почти что не похож на того. Схватив оглоблю, он погнался за Василе. Тот бросился наутек, но споткнулся о собачью цепь. Пес залаял.

И тут Василе проснулся. Поднял голову и увидел картину, которой испугался пуще прежнего: дядя Костаке вместе с двоюродным братом Тоадером вытаскивали из дома покойника, волоча его за руки и ноги.

— Тата!!! — в ужасе заорал он, когда, наконец, обрел дар речи.— Нашего дедушку унесли!

Дом Костаке находился по соседству.

Их застали еще снаружи, за забором. Увидев, что Георге с Василе направляются к ним, они опустили покойника, Костаке вытащил из-за пояса топорик. Тоадер тоже взял в руки тяпку. Старик лежал на боку, уткнувшись лицом в снег.

— Дурнями мы были, брат Василе,— каялся теперь Тоадер, подрагивая губой,— все-то мы дрались, плевались и за родню друг дружку не считали, словно думали, что жить нам тыщу лет...

— Садись,— Василе подвинул ему стул.

— Подлец я был, брат Василе, безмозглый подлец,— продолжал Тоадер тем же плачущим тоном.— Знаю, за все, что я натворил, не положено мне ходить по этой



земле. Но каюсь и молю господа бога о прощении. И тебя молю. Молод я был, не всегда думал, что делаю. Прости меня...

Он опустился на колени и молитвенно сложил руки у подбородка.

— Ты, один ты можешь меня простить или же загнать в могилу. Молю тебя, брат Василе...

У Василе потемнело в глазах. Откуда-то издалека, через годы доносился другой голос. Хотя он тоже при-

надлежал Тоадеру. Слова со змеиным шипеньем выскакивали из его дергающегося рта:

— На колени, предатель! На колени! И молись всевышнему, проси милости его величества, потому что ты пропал! И мне молись, ибо теперь я сельский голова. И теперь все в моих руках, и передо мной ты за все ответишь, слышь?

Тоадер нетерпеливо бил хлыстом по голенищу, поглядывал на свою жертву, не скрывая злорадства. Его нижняя губа дрожала. Но Василе продолжал стоять прямо, в рубахе, порванной на спине от ударов хлыста с вплетенной проволокой и свинцовыми шишками на конце. Его почерневшее, заросшее лицо в кровоподтеках постарело от перенесенных страданий.

— Воды...— просили его пересохшие губы.

— Воды? — с притворным удивлением переспросил Тоадер.— Может, еще что изволите? Ты скажи. Угрожать Сибирью я не буду.

Случайно пришедшее на ум слово «Сибирь» напомнило ему о встрече в винограднике, и жажда мщения стала еще сильнее. Он полоснул его хлыстом по лицу.

— Вот тебе вода! Вот тебе Сибирь! Вот тебе все, что ты хочешь!

В комнату вошел офицер, который уже допрашивал его до потери сознания:

— Оставьте его, господин староста, пусть придет в себя. Может, и вспомнит.

Какое-то время он разглядывал Василе, затем повернулся к представителю закона.

— Господин староста, не знаю как вы, а я умираю от голода. Может, у госпожи Панагицы найдется что-нибудь...

— Господи,— воскликнул Тоадер,— так что ж вы раньше не сказали! Да если надо, мы для вас и живой воды достанем.

Офицер засмеялся довольный.

— Ничего, вино тоже пойдет. А ты, голубчик,— круто обернулся он к Василе,— не тяни резину и развяжи свой язык.

Дверь закрылась, их шаги затихли, поглощенные пылью и душным воздухом. Василе отошел в угол и смертельно усталый опустился на пол. Болело все: лицо, спина, грудь. Но, оставшись один, он чувствовал: больше всего хочется спать. Он мог немного вздремнуть

зная, что те придут не скоро. Вино пьется не спеша, да и курицу когда ешь, не надо торопиться. Но он не хотел, чтобы они нашли его спящим, чтобы видели, как он устал.

Его взгляд блуждал по комнате. Всего несколько недель назад здесь был сельсовет. За тем столом сидел он. И люди шли к нему со всякими вопросами и просьбами, потому как он был во главе села.

Теперь тут примария. И люди приходят к господину старосте, к Тоадеру. Как меняются времена!

Через окно он окинул взглядом крыши домов и верхушки деревьев, которые были видны из его угла. Те же деревья. А мир другой. Власть другая. И он тоже другой... Неужели и он изменился? Нет, не имеет права! Он тот же. Тот же Василе Оляндрэ. Хотя его и били, истязали. Он должен оставаться тем же. Только вода меняет свое течение, когда меняется русло. А он человек. Василе Оляндрэ. Председатель Сэлкуцского сельсовета. Даже если в селе уже есть староста — его двоюродный брат Тоадер. Новая власть назначила его. Сколько порогов обил он, сколько подачек и клятвенных заверений в верноподданнических чувствах дал он, чтобы его назначили сельским старостой. Очень он хотел, чтоб все были у его ног. Чтоб отомстить ему, Василе. Чтоб доказать: он, Тоадер, представляет собой закон и порядок.

В сороковом селяне выбрали его, Василе, председателем, потому что был он бедняком и, значит, считали они, будет отстаивать бедняцкую правду.

Да, его отец, Георге, так и остался без состояния. Так и преставился, не сумев вырвать из рук брата того, что завещал ему родитель на смертном одре. Обивал пороги валенских и сорокских судей и адвокатов, до Кишинева дошел. И всякий раз правда вроде бы была на его стороне. Но вслед за ним приходил Костаке с туго набитым кошельком, и закон поворачивался в его сторону. И Георге получал один и тот же ответ:

— Если перед смертью старик завещал тебе состояние, значит, у тебя есть право на него. Тем более, что ты младший сын. Но у тебя нет свидетелей, которые подтвердили бы это. В то время как все село знает, что твой брат, Костаке Оляндрэ, взял на себя похоронные расходы. И, следовательно, он является наследником состояния...

Напрасно угробив полдесятины земли и тех несколь-

ких овец, что у него были при доме, Георге отчаялся и пошел в корчму. И не вышел оттуда, пока не пропил последний леу.

...Утром следующего дня его нашли окоченевшим перед массивными дубовыми воротами Костаке Оляндрэ. Кто знает, зачем он шел туда: еще раз попытаться уговорить брата отдать ему то, что было его, или, наоборот, излить свою ярость.

Похоронили его рядом с еще свежей отцовской могилой. И Василе Оляндрэ, оставшись один с матерью, без клочка земли, без скотины, с пустым чердаком и дырявой крышей, стал работать не покладая рук, подстегиваемый желанием выбиться в люди, чтобы не быть последним бедняком в селе, чтобы не показывали на него пальцем. А в душу его закралась боль.

Дни Василе стали долгими, ночи — короткими. Даже в зимнюю пору, когда его сверстники убивали время на посиделках да вечеринках. Обучившись столярному делу у бади Андрея Обадэ, он «отдыхал» за верстаком. Дерево было на редкость послушным в его жилистых проворных руках, и односельчане заказывали ему шкафы, вешалки, двери, окна, кровати, столы. И Василе работал на совесть. В селе стали поговаривать о сыне Георге Оляндрэ как о парне старательном, дельном и способном, который ко всему прочему владел золотым ремеслом.

Как-то вечером, возвращаясь домой, повстречался он с бадей Скридоном Кетрару, одним из первых людей села. Тот спросил Василе, имеет ли он понятие о прядильных станках. Василе смущенно пожал плечами и сказал, что он их и в глаза не видел.

— У нас есть один,— объяснил Кетрару,— но, видать, из-за сырости рассохлось колесо, и теперь одно мучение, ход пропадает. Моя Грэкина замордовалась вконец, говорит, вручную куда легче. А вручную много ли напрядешь? Нанять со стороны — мошна тонка. А приданого нужна пропасть, знаешь, сколько у нас девок на выданье. Так что пришел бы к нам да посмотрел, может, и наладишь станок как-нибудь.

Действительно, у Скридона Кетрару было семь дочерей. Производил он их примерно через год, все ожидая наследника. А бог посылал ему, как он сам жаловался, одних баб на голову, и теперь надо было готовить им приданое. Для семи невест. Ибо без приданого и земли

трудно их спровадить из дому. Правда, земля у Скридона была — около двадцати десятин, так что было откуда платить прядильщицам. Но у него было строгое правило: экономить везде и во всем. Он выгадывал на хлебе, откормленных свиньях, на бочках с вином и брынзой. Все это он вывозил в город и продавал, приобретая землю. А сами питались мамалыгой, кукурузной крупой и постным борщом с фасолью. А вместо вина пили огуречный или капустный рассол, настоянный на хрене,— чтоб ничего не пропадало, тоже своего рода экономия. И лишь по праздникам, три раза в году, он развязывал мешок с лучшей пшеничной мукой, повелевая жене не скупиться и напечь всего вдоволь, чтоб не думали люди, что они скупердяи и нечем им встретить гостей.

Но село знало Скридона Кетрару таким, какой он есть. Знал его и Василе Оляндрэ. И еще знал Василе, что за работу, если он возьмется налаживать прядильный станок, Кетрару заплатит ему гроши. И все же взялся, может, из любопытства: хотелось поглядеть, что это еще за прядилка? Или поддался соблазну войти в дом одного из самых богатых односельчан? А может, и для того, чтобы увидеть поближе Панагицу, старшую дочь Скридона Кетрару, за которой приударял его двоюродный брат Тоадер...

Пришел он к ним на следующий день. Станок оказался гораздо проще, чем он думал. Вся хитрость заключалась в большом колесе. Оно должно быть сделано из особого дерева, мягкого при строгании и твердого в работе. Кроме того, требовалась большая точность, иначе, как говорил Скридон Кетрару, «пропадал ход».

Василе внимательно оглядел его, все взвесил и решился. Леля Грэкина и Панагица, которые позвали его в кладовку показать станок, обрадовались, услышав его согласие. Панагица даже захлопала в ладоши и запрыгала на одной ноге.

Василе поразился ее непосредственности. Однако девушка быстро пришла в себя, но он заметил: ее маленькие ушки зарделись, как маки. Лицо ее стало серьезным, только глаза продолжали блестеть. Он долгим взглядом посмотрел на нее, и Панагица выскочила из каморки.

— Попробую сделать новое колесо,— обратился Василе к леле Грэкине, которая в это время отчитывала про себя Панагицу за разболтанность.— Вот только ра-

ботать мне негде. В столярной бади Андрея Обадэ мне неудобно, там мы с ним делали только общие заказы. А это будет моей первой попыткой сделать что-то самостоятельно. Материал подыщу сам.

— Тогда зайди к нам завтра, бадя Скридон как раз будет дома, вы с ним столкуетесь и о месте, и об оплате. Нынче он в Чутенах, золовка передала, что там землю продают, вот он и подался. Сам знаешь, сколько на нашей шее, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить...

...Скридон Кетрару, довольный, что за небольшую цену прибавил к своим десятинам еще две, был в хорошем расположении духа. Встретил Василе радушно. Сказал, что уже и место рабочее ему подготовил, в «стариковском доме». Раньше там жили родители, теперь амбар.

— Вот здесь,— сказал он, проводив мастера между мешков с шерстью и горок фасоли в просторную комнату, где стоял едкий запах кизячного дыма.

— Печь давно не топилась, вот и напустила дыма,— объяснил хозяин.— Теперь нагрелась и тянет неплохо. Я растопил ее спозаранку. Жена сказала, что ты зайдешь, так я решил все подготовить, чтоб тебе время не терять понапрасну. У вас, у мастеровых, время ведь деньги.

Когда Скридон Кетрару завел речь о цене, Василе ответил, что не стоит торговаться из-за жеребца, который еще в кобыле, а та на базаре.

Он принес инструмент, подыскал подходящее дерево, соорудил в уголке верстак и сказал себе «бог в помощь». Дерево стало поддаваться рукам мастера. Василе обстругивал его топором, резал пилой, равнял фуганком. То и дело поглядывал на старое колесо, стоящее рядом, делал обмеры, отмечал толстым карандашом, который всегда носил за ухом, и дерево со стоном продолжало подчиняться его задумке.

Поначалу Панагица не осмеливалась заглядывать в «стариковский дом». Но шли дни, и она преодолела свою робость. И когда теперь входила, ушки и лицо были также залиты краской, как тогда, в первый раз. Она с любопытством разглядывала еще бесформенные куски дерева и недоверчиво спрашивала его:

— Неужели из этого что-нибудь выйдет, бадя Василе?

Парень прекращал работу и пристально глядел на

нее. В эти минуты он представлял ее вместе с Тоадером, и в сердце закрадывалось странное чувство. Смесь страстного желания с ненавистью и злобой. Ну, как они могут стоять рука об руку — она и Тоадер? Неужели и вправду он околачивается возле нее? И он ей люб? К горлу подкатывался комок, но Василе успокаивал себя: собственно говоря, что у него с Панагицей? Вот пришел наладить ей прядильный станок. И всего делов-то.

— Выйдет, Панагица. Если уж я делаю для тебя, должно выйти...— отвечал он.

Слова лились спокойно, хотя и произносились необычным для нее тоном. Она краснела пуще прежнего и, смутившись вконец, покидала комнату.

Василе снова оставался один на один со старым, расшатанным станком. Но вскоре образ Панагицы заполнял комнату. Словно во сне видел Василе ее большие, глубокие черные глаза, спрятанные за густыми длинными ресницами, и думал, что иметь бы такую в доме — никакого тебе богатства не надо. И в подобные минуты руки его работали с еще большей сноровкой, фантазия и вдохновение захватывали его целиком. Он подгонял штатив, а пальцы чувствовали ее тело, упругое и нежное. Сколачивал колесо — и видел, как она порхает с места на место, безудержно носится, как веселый, не знающий устали мотылек.

Постепенно дело подходило к концу. Заглядывая к нему, бадя Скридон с явным одобрением следил, как его широкие крепкие ладони справляются с неподатливым деревом, пригоняя детали так, словно колесо выкроено из одного куска, а возвращаясь в дом, говорил пророческим тоном:

— Из этого парня выйдет хозяин, помяните мое слово.

Панагица опускала лицо, чтобы скрыть румянец. А в душе она чувствовала гордость. Не было дня, чтобы она под тем или иным предлогом не заглянула к Василе. То спрашивала, не хочет ли воды, то приносила обед, то подбрасывала в и без того раскаленную печь пару кизяков. И с каждым днем Василе все больше обуревала жажда, печь становилась все более ненасытной, а Панагица все румянее.

Как-то она сказала:

— Приходи к нам вечерком, бэдица Василе... У нас клака будет.

Редко бывал Василе на вечеринках и клаках. То ему надо было закончить оконную раму, то двери, табуретку или столик. А теперь вот с этой прядилкой мороки сколько. Еще пару дней повозиться, и готова. Но в тот вечер он решил, что дерево может и отдохнуть маленько...

Было воскресенье. После церковной службы парни и девки собрались посреди села на большом пустыре, где обычно проводились традиционные хоры. В праздники и воскресные дни они собирались здесь, потому что идти больше было некуда. Так повелось исстари: после трудовой недели хотелось одеться поаккуратнее и, как говорится, на людей посмотреть да себя показать. И, конечно, там же узнавались все сельские новости, давались и выслушивались советы.

Люди разбивались на группы, по степени родства, знакомства, возраста и богатства. Краснобаи рассказывали небылицы, заставляя окружающих давиться со смеху. Другие, настоящие хлеборобы, степенно рассуждали о погоде и видах на урожай. Иные молчали и слушали, старательно грызя семечки. Тем временем парни бросали пытливые взгляды в сторону застенчивых зардевшихся девушек, а те стыдливо и радостно опускали глаза долу.

Не одна любовь зародилась здесь. Не раз вспыхивала ревность, и обоснованная, и ничем не оправданная. Отсюда вели дорожки к новым семейным очагам. Здесь же возникали ссоры, сшибки и потасовки парней. И рождалась вражда, которая не утихала всю жизнь...

С утра леля Оница Топор попросила Василе зайти к ней вставить форточку. И теперь он направлялся туда. Дойдя почти до центра села, он хотел свернуть в боковую улочку. Ему было неудобно проходить между парней и девушек в рабочей одежде, со стеклом и инструментом в руках. Однако Пинтилий Пэтрашкэ уже заметил его, стал кричать и махать ему рукой.

— Что ж ты, Василе, даже в воскресенье без отдыха? — укоряюще спросил дружок.— Брось, все равно не разбогатеешь. Лучше приходи к нам на вечеринку. Собираемся у тетки Аргиры в сарае. Дадим ей пошлину — чашку семечек — она не откажет. Прихватим с собой моша Никифора с флуером. Вот как раз мы с ними толковали об этом,— он указал на стоящих рядом парней.

— Право, не знаю... А девчата...— начал было Василе, но сразу умолк. К ним походкой уверенного в себе человека приближался Тоадер, бросая на Василе злые враждебные взгляды. Он остановился перед ним, засунул руки в глубокие карманы нового полушубка с серым барашковым воротником и продолжал все так же молча вызывающе смотреть на него. Потом повернулся к остальным парням и произнес громко, с издевкой:

— Глянь-ка, одним парнем в селе больше стало...

Но никто не обратил на него внимания, Тоадер явно рассвирепел. Снова взглянул на Василе, сказал спокойно, но ядовито:

— Я слышал, что ты утираешь себе сопли, околачиваясь подле Скридоновой дочки?

У Василе зазвенело в ушах, он почувствовал, как тяжелеют его кулаки. Все же постарался ответить как можно более спокойно:

— Утирают их те, у кого они есть. Я же слежу за своей губой, чтоб не поднялся ветер и не остановил весну или чтоб не принес нам, боже упаси, какого-нибудь висельника с межи...

Парни захохотали. Губа Тоадера начала мелко-мелко дрожать. Он сжал челюсти и, подчиняясь инстинкту, вытащил руки из карманов. Процедив сквозь зубы угрожающее «ла-а-адно», он зашагал прочь.

Напоминание о дрожащей губе и висельнике привело его в ярость. Об этом знало все село. Знал и Василе. Тоадер клокотал от злости, что его так глупо обвели, измывались над ним всю ночь и на всю жизнь сделали посмешищем села.

Тогда он еще был пацаном, но уже сознавал преимущества, которые ему давало отцовское состояние, а посему петушился, ходил, важно задрав нос. Ребята терпеть его не могли и, сговорившись, решили над ним потешиться. Однажды взяли его с собой в ночное — к самым албештским болотам. Когда они добрались туда, уже стемнело. Стреножив коней, пустились в поисках хвороста для костра. Пинтилий Пэтрашкэ прихватил с собой картошки и кукурузы, чтобы печь на углях. На берегу пруда они развели большой костер и уселись вокруг.

Покончив с картошкой и кукурузой, они еще теснее сгрудились вокруг догорающего пламени и по очереди стали рассказывать разные небылицы и случаи. В основном это были страшные истории о привидениях, домовых,

о лукавом, который с наступлением ночи становится хозяином земли, о сумасшедших женщинах, что бродят по долинам, душат людей и крадут детей, и о других ужасах, заставляющих замирать сердце и то и дело коситься в обступившую черную мглу. Кто-то завел речь о мертвецах, встающих ночью из могил и имеющих обыкновение ходить по домам.

— Мертвецы-то ладно, а вот висельники...— вставил Пинтилий Пэтрашкэ.

— А что висельники? — дрожащим голосом спросил Колицэ Унтурэ.

— А то, что висельники, хоть и мертвые, продолжают жить...

— Ну да? — удивился Тоадер..

— Представь себе. Они доживают данные им богом дни, от которых хотели избавиться через виселицу. Только теперь они в руках сатаны, и должны делать все, что он им прикажет. А сатане надо побольше душ. Вот он и выгоняет из могил тех, кто ему продался, одевает их в белое, чтоб можно было их узнать, не растерять, и посылает за душами.

— А ежели не найдут? — послышался чей-то тонкий голос.

— Как не найдут? Без душ им нельзя возвращаться. Обычно их хоронят на краю села, чтоб не загаживали кладбище. Когда наступает темнота, они выходят оттуда и бродят окрест, пока не найдут... А то спрячутся на обочине и ждут, пока кто-нибудь пройдет. Не слышали, сколько делов натворил один такой, Костандаке Курнуту?

— Это который захоронен здесь, на границе с ченушенскими землями? — спросил Андриеш сдавленным голосом.

— А кто же еще? Вот, отсюда видно...

— Что видно? — встрепенулся Тоадер.

— Дерево. Акация Костандаке. Да я вижу, вы ничего о нем не слыхали...

Все молчали. Тогда Пинтилий принялся рассказывать.

— И я бы, может, ничего не знал, если б дед не рассказал, когда я еще мальцом был. Он тоже помер из-за Костандаке...

Ребята еще теснее сгрудились вокруг затухающего жара: или чтобы лучше слышать, или чтобы ближе чувствовать друг друга. Разное приходилось им слышать, но

теперь рассказывал внук потерпевшего, и они затаили дыхание. А Пинтилий продолжал рассказ.

Высокий и здоровый Костандаке был конокрадом. Всю жизнь только этим и жил. Крал коней в одном месте, продавал в другом. И ежели кто-то выслеживал его и пытался остановить, погибал от его руки. Много жизней было на его совести. Но однажды его поймали. И тогда, сбразив, что его ждет, он наложил на себя руки. Закопали его тут, на меже, подальше от села, чтобы поскорее предать его забвению. Но вскоре на его могиле выросла акация. И тянулась она вверх как на дрожжах. Один, говорят, попытался сломить ее — и отсохла у него рука. С тех пор никто к ней не притрагивался. Это, мол, не просто акация, а тянется она корнями из сердца Костандаке. И питается она не влагой земной, как все деревья, а душами, человеческими и лошадиными. Так заставил его нечистый. И только иссякнут души, акация, то есть сердце Костандаке, начинает сохнуть. Видать, давно уже ему ничего не перепадало. Посмотрите, как его ветки, ну прямо когти бабы-яги, тянутся во все стороны.

Все повернули головы к вершине холма, где смутно виднелся силуэт акации: сейчас она действительно походила на страшное многорукое существо, ищущее жертв, или на семиглавого змея, а может, и на самого Костандаке, каким представляли его мальчишки — в окружении ведьм и чертей он готовится к походу за душами...

— И отца он тоже угробил,— скорбно и доверительно рассказывал Пинтилий.— Ехал он как-то поздно вечером с мельницы. Кони кормленые, незагнанные, взяли в галоп. Впереди их бежал стригун, резвый такой. Вдруг он повернулся, бросился к лошадям. Те остановились, стали фыркать. Тата не верил сказкам о чертях и всяких привидениях, но на этот раз напужался до смерти. Прямо из-за акации показалось длинное привидение, одетое во все белое. Кони тоже перепугались, стали рвать узду. А привидение приближалось, растопырив руки, как грабли. Папаня замер, не знал, что делать. Хорошо, что кони повернули обратно и дали ходу, иначе остался бы он там. Утром очухался немного и пошел посмотреть на лошадей. Жеребец лежал на земле, весь лоб в крови. Видно, ударило привидение, да не сумело убить сразу. Издох он на второй день. А папка через две недели помер. Тоже из-за этого. Потом был еще один случай. Ребята из Кочорвы побились об заклад, кто из них храбрее и не боит-

ся висельников. Один сказал, что в полночь пойдет к могиле Костандаке и вобьет в нее кол. И правда пошел. Но так и не вернулся до утра. Когда пошли поглядеть, что случилось, нашли его околевшим возле могилы, а полы пиджака были накрепко прибиты колышком. Видать, нечистый держал его, пока Костандаке губил его душу. И после этого акация снова пошла расти. А сейчас малость присохла, душа Костандаке, видно, опять изголодалась... Как бы не заглянул он к нам этой ночью...

Ребята слушали его молча, все теснее прижимаясь друг к другу.

— А если его палкой? — нерешительно спросил Тоадер.

— Ну, если хочешь раздразнить его еще пуще... Он только воды боится...

Тоадер посмотрел в сторону пруда и, хоть и не умел плавать, облегченно вздохнул. В это время несколько пацанов поднялось, чтоб взглянуть на лошадей. Небо было усыпано звездами, тьма вроде бы поредела. Тут послышался испуганный крик Колицы:

— Караул! Караул! Висельник! Костандаке идет!

Он орал, как резаный, и мчался со всех ног к пруду. За ним, не отставая, бежало белое привидение, с огненными глазами и пастью, с тонкой, как палка, шеей и длинными, как жерди, ручищами. Страшный призрак был явно в гневе, готовый проглотить всех: он издавал ужасные хриплые звуки и сверкал огненными глазищами.

— Все в воду! В пруд, братва! — скомандовал Пинтилий.

Все устремились к пруду. Тоадер прыгнул первым. За его спиной послышались всплески воды, но ребят не было видно, наверное все поныряли. Подумав, что так и надо, Тоадер нырнул тоже, надув живот и пуская пузыри.

Выныривая, он не видел ничего, кроме того белого и страшного привидения, оно нетерпеливо металось по берегу, ожидая, когда же он выйдет из воды. Охваченный ужасом, он стал реветь, наполняя пруд слезами, и молить бога, чтобы он избавил его от страшилища. Он крестился и снова нырял. Булькал, захлебывался, выныривал на поверхность, продолжая креститься и молить бога. А привидение терпеливо ждало его на берегу.

Тоадер долго бы сидел в пруду, если бы самый малый из них, Колицэ, не прыснул со смеху, заразив всю компанию. Видение сразу же исчезло, и Тоадер удивил-

ся, что ребята, вместо того чтобы вылезать из воды, поднялись из камышовых зарослей совершенно сухие.

Он дрожал до утра. Потом еще недели две его колотило как в лихорадке. Его окуривали жженым волосом, кормили из тыквы, выскобленной в виде черепа,— отец нашел ее на следующий день на болоте. Мало-помалу хворь прошла. Лишь нижняя губа так и осталась во власти той бесконечной дрожи.

Родители показали его докторам, те вроде бы излечили и от этого. Но когда он злился или волновался, дрожь возобновлялась. Теперь его лечил военный врач, прибывший не так давно в Сэлкуцу и расквартированный в доме Костаке Оляндрэ. И снова вроде бы поправился. Но когда Василе бросил ему те слова, недуг опять дал о себе знать.

Василе никогда еще не видал Панагицу такой веселой и довольной. Она вертелась вокруг станка, нажимала блестящую педаль своей маленькой легкой ножкой, и колесо приходило в движение, вращалось долго и стремительно, так что спиц не было видно. Слышался лишь легкий шелест, так шуршат девичьи юбки в вихре огненного танца. Парень стоял, прислонившись к подоконнику, скрестив руки и счастливо улыбаясь. Может, это была радость свершения: станок был готов, хотя и не получился таким, каким он его представлял, но работал исправно. А может, он радовался, видя, как сияет Панагица. А может, это была радость рук и сердца.

Панагица нажимала педаль. Колесо стремительно вращалось. И губы, и лицо, и все ее существо светилось радостью. Искры этой радости давно запали в сердце Василе Оляндрэ. Не отдавая себе отчета, он бросился к ней, подхватил ее своими сильными руками и принялся кружить по комнате, словно соревнуясь с колесом. Шелестели спицы, шуршало платье Панагицы и как бы издалека доносился ее немного испуганный, но такой счастливый трепетный голос. Он мог бы кружить ее всю жизнь. Но кто-то открыл дверь в сенях, он быстро опустил ее и подошел к станку.

Это был бадя Скридон.

— Готова, папа. Работает как часы,— поспешила сообщить ему дочка, опасаясь, как бы он не опередил и не задал какого-нибудь каверзного вопроса. Вошла и тетя Грэкина, они вместе долго рассматривали станок.

— Мда,— произнес бадя Скридон. Повернулся к жене и самодовольным тоном сказал:— А я что говорил? Выйдет из парня хозяин.— И будто лишь тогда заметил присутствие Василе. Скридон улыбнулся ему.

— Вот и народился на свет тот жеребец, что был в кобыле на базаре. Он здоров и находится в нашем доме. Давай рассчитаемся. Я, в общем, уже прикинул сколько. Работал ты много и, что тут говорить, неплохо получилось.

Он вытащил кошелек. Но к удивлению семьи Кетрару, Оляндрэ попросил его спрятать деньги.

— Это я так, попробовал,— объяснил парень.

— Вот что, сынок— поучительным тоном начал Скридон, положив ему руку на плечо.— Чужого не бери никогда. Но и своего не оставляй никому. Иначе без рубахи останешься. Это я тебе говорю. А я знаю цену труду. И знаю, как добываются деньги.

Но Василе так и не взял денег. Сказал, что это его подарок Панагице. Тогда бадя Скридон самолично спустился в погреб, подошел к бочке с мускатом, соскоблил смолу с затычки и доверху наполнил жбан. Редко, когда жбану случалось наполниться таким вином, разве что когда заявлялись особо важные гости.

Выпили все по стакану. Затем бадя Скридон налил еще пару раз только Василе, уговаривая его, чтобы он не стеснялся и пил себе на здоровье. Потому что вино для этого создано. И магарыч для него, для Василе Оляндрэ. Ибо руки его заслужили.

Когда жбан опустел, бадя Скридон плеснул в него воды, тщательно ополоскал и поднес ко рту.

— Вино доброе и дорогое,— объяснил он, вытирая ладонью губы.— Так чтоб не пропало ни капли...

Дверь примарии шумно отворилась, и Василе Оляндрэ оборвал нить воспоминаний. Он быстро вскочил на ноги.

Тоадер был веселый, видно, подвыпивший, офицер тоже.

— Да, интересно,— заискивающе поддакивал староста.— Ну, а потом? Небось, через окно и приветик?

— Господин староста, за кого ты меня принимаешь? —обиделся офицер.— Чтобы я бежал?!

— Ну, что вы,— залебезил Тоадер,— просто я ду-

мал, что обстановка была действительно, как бы сказать... деликатная...

— Какая там деликатная? Съездил я тому пару раз по рылу, и он скопытился. Потом я повернулся к ней. Она побелела, как известь, стояла, не шелохнувшись, ну вылитая мумия. «Если он тебя хоть пальцем тронет, скажи мне»,— говорю я ей громко, чтоб и он слышал. Целую ее холодную дрожащую ручку и спокойненько выхожу, насвистывая не помню уж какую песню о всепоглощающей любви.

Офицер захохотал. Староста поддержал его долгим старательным смехом.

— Ну как, товарищ председатель, надумал? — обратился к нему офицер, подчеркивая, как всегда, с издевкой слова «товарищ председатель».

— Времени у тебя было предостаточно. Где прячутся твои голодранцы?

— Какие голодранцы, господин офицер? Не знаю я ничего,— заверил его Оляндрэ.

— Брешешь, подлюга! — завизжал Тоадер. Но военный примирительно поднял руку.

— У тебя скверная привычка, господин староста,— укоризненно сказал он.— Кричишь на человека, как на скотину, и товарищ председатель может действительно все позабыть.

Неторопливым шагом он приблизился к Василе, кротко, сочувственно улыбаясь.

— Ну говори. Вспомни. О тех, с кем бежал в лес. Кто взорвал мост через Реут у Лозен. Кто поджег в Кукуре примарию...

— Ничего я не знаю. Село меня попросило, и я стал председателем. А больше...

— Какое там село? — взорвался староста.— Босяки и бандиты, что потом в лес смылись, вот кто тебя попросил. А не село!

Офицер снова поднял руку.

— Хорошо, верю. Ты был бедняком. А русские — за бедных. Они поставили тебя, и ты не мог отказаться.— Его голос звучал мягко, почти дружески.— Но где ты пропадал эти несколько недель с тех пор, как мы освободили село? И что у тебя было общего с тем раненым большевиком? Куда ты волок его среди ночи?

Василе Оляндрэ молчал. Что касается первого вопроса, он бы еще мог выкрутиться. Но на второй... Его

схватили, что называется, «с поличным». Он, Тоадер Оляндрэ, схватил.

После отступления советских солдат из Сэлкуцы в одном из оврагов за селом нашли тяжелораненого бойца. Наткнулся на него Илиеш, сын Андрея Обадэ, и плотник тотчас же прибежал к Василе сообщить об этом. Когда стемнело, они сходили туда вдвоем и принесли раненого во двор Обадэ. Поместили его подальше от улицы, в укромном месте — под навесом для половы.

Солдат был ранен в голову и в ногу и не приходил в сознание. Видно, потерял много крови. Они раздели его, обмыли теплой водой. Бадя Андрей, который когда-то служил в армии санитаром, проявил все свое умение и перевязал его. Илиешу было приказано молчать.

Спустя сутки в село вошли оккупанты. Василе Оляндрэ вместе с десятком активистов ушел в лес.

Понемногу солдат поправлялся. Но захватчики шныряли повсюду, обыскивали дома, сараи, подвалы и могли обнаружить его. Тогда бы Андрею Обадэ несдобровать. Жителям было объявлено в устной и письменной форме: тот, кто скрывает у себя большевиков или же не подчиняется новому порядку, будет расстрелян на месте. Плотник беспокоился за свою семью, потому что в селе уже было расстреляно несколько человек. И он передал Василе, чтоб тот каким-нибудь образом вывез раненого.

Из села вынесли его на руках. Усадили в повозку на свежескошенную, пахнущую чабрецом траву. Андрей Обадэ попрощался с солдатом, извинился, что не может больше держать его у себя. Да и солдату было опасно оставаться в селе. Попрощались и Василе с Андреем: кто знает, когда еще они встретятся.

— Вы там смотрите,— сказал ему на прощанье Василе.

Конь тронулся. Василе вел его за узду, придерживая чтоб он не пошел рысью и не поднял шума. Когда Сэлкуца осталась далеко позади, Василе сел в кэруцу и стегнул коня. До леса оставалось еще верст пять, и он боялся как бы рассвет не захватил их в поле. Вокруг было тихо. Не слышно было ни кузнечиков, ни ветра, ни жаворонков. Лишь падала роса на свежую стерню, исковерканную бомбами и осколками снарядов. И где-то далеко, на востоке тишину разрывали глухие раскаты взрывов. Неожиданно конь протяжно заржал. Василе спрыгнул с повозки и, ухватив его за морду, принялся

успокаивать. Но в это время спереди послышалось ответное ржание, и Василе забеспокоился. Повернуть обратно? Но куда? В село? Или прямиком через стерню, по кукурузе? Но так он скорее вызовет подозрение. Кто разъезжает в такое время по полям?..

А навстречу им, громыхая, приближалась подвода. Поворачивать было поздно. Он быстро накрыл раненого травой, натянул на глаза шляпу и тронул поводья. Может, это случайная кэруца спозаранку едет в поле, или, наоборот, задержалась там с вечера — пытался успокоить себя Василе, но тревога не покидала его. Вскоре из тьмы вынырнули кони и сквозь скрип колес послышались приглушенные голоса. Когда кэруца была совсем близко, Оляндрэ стегнул лошадь. Но те стали кричать, чтоб он остановился. Василе изо всех сил хлестал коня и удалился уже на приличное расстояние, когда услышал за спиной выстрелы. Обернувшись, он увидел, что пролетка несется за ним. У них оружие и скорость больше — что делать?

Повозка приближалась, отчаянно тарахтя. Слышалось фырканье взмыленных лошадей и угрожающие крики. Василе остановился. Их было трое и все вооружены.

— Ты что, языка не понимаешь?! — накинулся на него один из них, спрыгнув на землю и подходя вплотную.

Василе оторопел: это был он, Тоадер Оляндрэ, с двумя жандармами. Дулом пистолета он сдвинул ему шляпу на макушку, пытаясь разглядеть лицо.

— Ты чего это разъезжаешь небритый, как бандит, и глаза прячешь? — продолжал он орать и так и застыл с открытым ртом.— Ааа!! Так это ты, товарищ председатель! Какая неожиданная встреча! И куда путь держишь в столь поздний час?

— В Кукуру... К тетке Афтении... к нашей тете,— поспешно объяснил Василе, обрадовавшись, что ему пришла в голову эта мысль.

— И что ж ты ей такое везешь, что поднялся среди ночи?

Тоадер стал шарить пистолетом в траве.

— Так, говоришь, к тете Афтении...— повторил он, разгребая зелень.

— Ого! Может, ты везешь ей жениха?!

— Послушай, Тоадер, будь человеком,— глухо сказал Василе.

Жандармы тоже были поражены находкой.

— Так...— продолжал староста, будто не слыша Василе.— Значит, ты едешь к тете Афтении... Ну-ну...

Затем повернулся к жандармам:

— А ну-ка попросите этого молодчика сойти...

Верзилы, от которых, как и от старосты, несло вином, перегнулись через борт кэруцы, схватили раненого и выбросили его на дорогу головой вниз. Тот тяжело застонал.

— Вы что не видите, он еле дышит? — бросился к ним Василе.

— А ты погоди, не ерепенься,— отстранил его староста.

Он подошел к солдату, который лежал почти без сознания.

— Вы меня спрашивали недавно, что бы я сделал, если бы поймал большевика? — обратился он к жандармам, что стояли рядом, переминаясь с ноги на ногу. Он поднес руку к губе, пытаясь унять нервную дрожь...— Да, я бы сделал, если бы не надо было спешить. Жалко, уже рассветает.

Он закатал рукава, как перед большой и трудной работой, перешагнул через солдата и взял винтовку у одного из жандармов.

— Ты что? — рванулся к нему Василе.

— Ребята, утихомирьте его,— бросил Тоадер, не оглядываясь.

Те вмиг скрутили ему руки и дали несколько пинков: для них это было обычное дело и справлялись они с ним неплохо.

— Если б было время, я бы тебе показал... Не люблю убивать одним махом. Это надо делать спокойно, не торопясь, чтоб сполна получить удовольствие...— сказал Оляндрэ, с силой опуская приклад на раненую голову солдата. Тот судорожно забился.

— Вот-те на, да тут и делать-то нечего,— разочарованно протянул староста.— Глянь, как скорчился. Ну, как воробышек, выпавший из гнезда.

Он недовольно почесал затылок, остановив свой взгляд на Василе.

— Так, говоришь, к тете Афтении? — ухмыльнулся он.— А может, она маленько подождет? Как ты думаешь?

Его допросили и избили. Потом снова избили и допросили. И вот опять допрос. Сколько можно допрашивать? Сколько можно избивать?

— Так куда, говоришь, ты вез того большевика?

Офицер больше не улыбался. Да и голос не был таким мягким, как в начале допроса. Взгляд был грозным, а руки подрагивали, готовые ударить.

— Может, выведем его на воздух, господин офицер? — предложил староста.

Видимо, они договорились обо всем заранее, ибо офицер согласился без промедления. Во дворе, в тени дома, Василе заметил Гицу-барабанщика. Тот растерянно прижимал барабан к животу, ожидая распоряжений. Староста вынес два картона, связанных длинными нитками, и сам, своей рукой, нацепил их на Василе — одну на грудь, другую на спину.

— Чтоб люди тебя узнали,— объяснил он почти дружеским тоном.

На передней было написано большими аляповатыми буквами: «Смерть большевистским безбожникам!», а на второй — «Так будет с каждым предателем!» Староста дал знак Гице-цыгану:

— Давай, черномазое отродье, вперед!

Барабанщик стал с таким остервенением выбивать дробь, что зазвенели окна. Те два жандарма подтолкнули штыками Василе, заставляя его идти вперед по дороге, ведущей к центру.

Василе Оляндрэ сообразил, что двоюродный брат хочет поизмываться над ним перед всем селом. Ибо раньше так водили лишь конокрадов и убийц. Теперь вот ведут его. Барабан надрывается. Раскаленная пыль обжигала босые подошвы. Пот градом катился по лицу, шее, груди. Во рту пересохло. Сколько бы он отдал сейчас за кружку воды!..

Односельчане не выходили на улицу и не тянулись хвостом за процессией, как обычно. Они глядели украдкой из-за заборов, сквозь ставни, бреши на чердаках и только покачивали головами. Жандармы и староста махали им рукой, звали в центр.

Барабан трещал оголтело, без роздыха. Василе Оляндрэ шагал тяжело, со связанными за спиной руками, уставившись глазами в землю.

Да, тогда он тоже шел по этой дороге. И под бой этого же барабана. И женщины глазели на него, пытая у со-

седок, кто это ведет дочку Скридона Кетрару на ее первую в жизни хору? И парни и девушки тоже глядели на него, удивляясь: «И как это не боится он связываться с такими, как сынок Костаке Оляндрэ?»

Тоадер Оляндрэ позеленел, увидев, как его двоюродный брат вместе с Пинтилием Пэтрашкэ ведут за руки Панагицу. Он закусил нижнюю губу и с яростью набросился на музыкантов:

— Остановитесь!

Марш оборвался. Музыканты удивленно таращили глаза на Тоадера, который поливал их на чем свет стоит.

— Да я вам больше гроша ломаного не дам! Кто вас нанял, кто вам платит? Я или кто? А вы играете марши всяким голоштанникам и оборванцам!

— А нам что,— оправдывался толстый рослый цыган, который был у них за главного,— нам все одно кому играть: барам или безлошадным. Наше дело маленькое: слушать и дуть в трубу.

— Вот сейчас я вам дуну!

В это время подошел и Василе Оляндрэ.

— Почему остановил марш? — спросил он с вызовом.

— Это я объясню тебе в другом месте. А сейчас возьми свою зазнобу и освободите место, пока не поздно!

И повернувшись к музыкантам, заорал:

— Марш, цыганское отродье! Выпроводим их с маршем!

Сообразив, что назревает потасовка, музыканты нерешительно топтались на месте. Хора моментально разделилась на два лагеря. Часть парубков присоединилась к Василе, убеждая его ни в коем случае не покидать хору. Другие сгрудились вокруг Тоадера, подстрекая его, что, мол, он не должен идти на попятную, потому как он верховодит хорой.

— Марш! — снова заорал Тоадер Оляндрэ.— Вы что, оглохли? А то шиш получите от меня!..

Кое-кто нерешительно поднес трубу к губам, другие мялись. Тоадер рвался к Василе, и поскольку парни крепко держали его за руки, отговаривая,— неудобно начинать драку с утра! — он петушился еще больше. Тогда Василе Оляндрэ подошел к музыкантам и сказал:

— Вас наняли за тыщу лей на два дня. Я вам даю тыщу пятьсот. Деньги на бочку сегодня. С условием, чтоб через полчаса вы были на выгоне у той окраины села.

Музыканты стали шептаться. Тоадер Оляндрэ заржал:

— Ну, конечно, заплатит, держи карман пошире! Разве, когда пострижет собаку и подоит кошку!

— Вы как хотите, а я пошел,— сказал Гицэ-барабанщик, перекидывая через плечо ремень от барабана, и шагнул вперед.— Ларие, Грапэ, пошли! Позовем Йософа и Цыру и такого зададим, что только держись. Человек же сказал, что деньги на бочку. Лично я верю Василе...

Случалось и раньше, что в Сэлкуце играло сразу два оркестра, собирая молодежь в две хоры. На одну шли «с горы», на другую — «снизу». Но теперь Василе устроил бесплатную хору. Каждый мог танцевать с кем угодно и сколько душа его пожелает. Василе сбегал домой, взял деньги, которые он копил месяцами, недоедая и недосыпая, чтобы купить клочок земли, вручил их музыкантам, угостил их и попросил, чтобы они не жалели легких.

Многих музыкантов повидала на своем веку Сэлкуца. Много хор сыграли ее жители. Но такой еще не было. Бедные музыканты вытряхивали душу из труб. А барабан Гицы-цыгана грохотал так, что дребезжали стекла в соседних домах. И в мгновение ока вся молодежь переметнулась из центра на выгон. На пустыре остались лишь Тоадер с дрожащей губой, да пара его дружков с несколькими музыкантами без барабана...

Зато на выгоне веселились вовсю. Словно каждый праздновал победу Василе Оляндрэ. А он гордый, что вышел победителем, с пылающим от волнения лицом плясал с Панагицей, легонько обхватив ее тонкую талию, и никого кроме нее не видел. На целом свете не было девушки нежнее и красивее, чем его Панагица, и не было человека счастливее, чем он.

Вечером он проводил ее до ворот, и бадя Скридон пригласил его в дом, угостил мускатом. В то время как они пили, леля Грэкина всплескивала руками, причитала:

— Ой, боженьки мои, и этот Костакин сморчок, пугало гороховое, вздумал над нашим дитем глумиться!..

Бадя Скридон успокаивал ее, в его голосе слышалась горделивая нотка:

— Бес с ним. Нарвется он однажды на кого-нибудь. Не все же как ты травы боятся.

Говоря это, он с одобрением смотрел на Василе и все подливал ему в стакан.

Но осенью Тоадер прислал к Панагице сватов, и Скри-

дон Кетрару уговорил дочь сделать помолвку. Помолвка состоялась. Потом начались приготовления к свадьбе. Потемнело небо в очах Панагицы, а сердце говорило ей: брось все — приданое, родительский дом и иди с Василе хоть на край света. Но в конце концов она примирилась с судьбой.

Василе не посылал сватов: он сам пошел к баде Скридону. И объяснил, что в этом году жениться не может. Вначале надо накрыть дом, собрать денег на свадьбу. Да и Панагица пусть еще подрастет. Не надо отдавать ее замуж. Пусть повременит до следующей осени. Они ведь приглянулись друг другу и хотят всю жизнь быть вместе.

Бадя Скридон участливо посмотрел на него и тяжело вздохнул.

— Ну, входи. Не принято говорить о таких вещах у калитки.

Он провел его в «стариковский дом».

— Здесь тихо, никто мешать не будет. Подожди чуток.

Он вышел, и Василе Оляндрэ стал осматривать комнату. Мешки с шерстью, горы фасоли, в углу груда лука. И старая прядилка, пыльная развалина, забытая в том углу, где ее когда-то оставил Василе.

Здесь он впервые увидел себя в ее больших темных глазах. Здесь впервые обнял ее и почувствовал ее горячее страстное дыхание. Здесь он впервые попробовал сделать новый станок. Прядилку для Панагицы. А теперь комната снова завалена мешками, от которых отдает затхлостью и плесенью. И нет ни станка, сработанного им, ни той, для которой он предназначался. Василе стоял перед старой рассохшейся прядилкой, и ему чудилось, что она злорадно кривляется.

— Давай посидим,— пригласил его Скридон Кетрару, появившись в дверях с полным жбаном.

Хозяин налил себе кружку, пожелал парню здоровья и выпил. Затем наполнил ее снова и протянул Василе. Вино было доброе, все тот же мускат.

— Я хочу, чтобы ты меня выслушал и понял,— начал бадя Скридон.— Ты парень работящий, терпеливый, старательный. Я знаю, вы с Панагицей привыкли друг к другу. Так оно в молодости. Когда ты парубок или девка, идешь на хору и крутишь с кем хочешь. Но когда разговор идет о женитьбе, тут надо, как говорится, раскинуть

мозгами. Коль пойдут дети да заботы, и про любовь забудешь и про все на свете. Ты себе еще подыщешь пару, ты живой, обходительный. Но прошу тебя богом, не становись Панагице поперек дороги. Я не хочу сказать, что Тоадер лучше тебе. Но родитель дает ему пятнадцать гектаров земли, пару волов и одну лошадь, да десяток овец с бараном. И дом в придачу. Дедовский. Соображаешь, сколько это тянет? Я сам был бедным малым, да и жена не из богатых. И чтобы сколотить состояние, мы ишачили не один год. Набивали закрома кукурузой, пшеницей. Держали коров и выращивали свиней. А сами ели мамалыгу с соленьями. Все, что копили, продавали, отдавали за клочок земли. Ты что думаешь, я не хотел бы есть сало вместо лука и пить вино вместо воды? Но что делать? У меня семь девок, и если нужда нагрянет в дом, пиши пропало. Поэтому хочу, чтоб хоть Панагица не мучилась, как мучился и мучаюсь я со своей Грэкиной. Что другим дочкам светит, один бог знает. Но что ни говори, а пятнадцать гектаров земли — это целое состояние, какое многим не под силу сколотить за всю жизнь. Поэтому, прошу тебя, оставь ее в покое. Молодо-зелено, налетел ветер, вскружил голову и будь таков. А ветер жизни злой, пощады не жди. И мстить он умеет... Не кради ее счастье, Василе, оставь его целиком. И еще прошу тебя...— бадя Скридон замолчал, налил в кружку Василе и попросил выпить.— Это от Панагицы.

Василе изменился в лице. Почти машинально он поднес кружку к губам и выпил, не чувствуя вкуса...

А бадя Скридон продолжал:

— Прошу тебя, Василе, только пойми меня верно и не обижайся. Прошу, чтоб... не приходил ты на свадьбу Панагицы... Как бы заваруха какая не вышла. Ведь и ей не легко. Да и Тоадера ты знаешь...

Снаружи послышался скрип калитки. Это был Тоадер Оляндрэ. Он вошел смело, как к себе домой, и теперь отмахивался от пса, который еще не признавал его и все норовил попробовать на зуб.

Василе поднялся, собираясь уходить.

— Смотри, чтоб он тебя не заметил,— кивнул Скридон Кетрару в сторону Тоадера.— Пройдешь за сараем.

Василе Оляндрэ пробрался, как вор, между акациями позади «стариковского дома» и перемахнул через забор, чтобы никогда больше не переступать порога Скридона Кетрару...

— Молоти, молоти, цыганская твоя душа!

Гицэ остервенело лупит в барабан. У него взмокла рубашка, ослабели руки, но, тараща испуганные глаза, он продолжает бить из последних сил.

Тогда, на свадьбе Панагицы, тоже он бил в барабан. Был воскресный осенний день. Василе выпросил у Андрея Обадэ Змея — бедового жеребца, которого только он, Василе, мог обуздать и оседлать. Подался на албештское пастбище. Это был самый отдаленный уголок сэлкуцких угодий. Но и оттуда был слышен барабан Гицы-цыгана. Кто знает, что нашло на этого Гицу, но бил он как никогда.

И сейчас он старается. Но односельчане почему-то, вместо того, чтобы собираться, как раньше, прячутся за плетнями да за кустами, словно цыплята, увидев ястреба.

Солнце палит немилосердно. Губы Василе пересохли, язык прилип к гортани. Голова кружится, как после стакана муската. Гицын барабан надрывается.... А вслед тянется гурьба ребятишек.

На пятачке в центре села собралась уже кучка людей. На секунду Василе поднял голову. В основном это были кулаки, которым он урезал участки, отдав их безземельным и малоземельным. Теперь они глядели на него исподлобья, с нескрываемым злорадством, словно говоря ему:

— Что, попался? Сколько веревочке ни виться, а конец, председатель, все равно придет!

— На колени, предатель! На колени! Проси милости у всевышнего и снисхождения у его величества, ибо ты пропащий человек! Молись вот на них, над которыми ты измывался. Молись на меня, ибо я теперь сельский голова, я здесь полноправный хозяин!

Василе Оляндрэ поднял голову, продолжая стоять неподвижно, как скала. Староста взбеленился. Он стал осыпать его бранью и избивать. Но Василе продолжал стоять прямо, не шелохнувшись, глядя куда-то вдаль, поверх голов разъяренных кулаков. Кто-то швырнул в него камнем, больно ударив в плечо. Но Василе стоял, будто не ощущая удара. Вот только жажда окончательно изнурила его, и он чувствовал, как дрожат ноги. Он больше не слышал ни барабанной дроби Гицы-цыгана, ни брани Тоадера, не обращая внимания и на камни кулаков. Об одном думал — надо побороть свою слабость, надо держаться.

Штыки жандармов подтолкнули его вперед. Он остановился у ямы с глиной, приготовленной специально для него. Василе Оляндрэ захотелось пить еще больше. Сейчас бы броситься на землю и пить, пить из этой ямки, наполненной желтой жижицей. Но он сдержал себя.

Его толкнули в яму, и он почувствовал ногами прохладную глину.

— Музыка! — крикнул Тоадер, и несколько музыкантов, выросших из-под земли рядом с Гицей-цыганом, поднесли инструменты к губам.

— Меси, меси, голубчик, да поживей! — крикнул ему офицер.— Может, хоть так вспомнишь, где твои бандиты подевались.

Василе шагнул, и вдруг страшная боль пронзила его подошвы. Он сделал еще один шаг — и снова та же раздирающая боль, как от глубоко всаженного ножа. Маленькие юркие глаза старосты с любопытством и нетерпением следили за ним. Это была его идея — подсыпать в глину битого стекла.

У Василе потемнело в глазах.

— Воды,— шептали его пересохшие губы.— Воды...

Его качнуло. Он расставил свои окровавленные ноги, чтобы не упасть. Перед его воспаленными затуманенными глазами поплыли разноцветные круги, словно вращалось множество мельниц...

Кто-то развязывал ему руки. Разрозненные голоса проникали в его помутневшее сознание, но он не мог различить их. Открыв наконец глаза, он увидел перед собой Панагицу. Она стояла с кружкой в руке и с опущенной головой. Дрожь прошла по телу Василе. И рука Панагицы тоже дрожала, вода переливалась через край кружки, стекая в раскаленную пыль. Он с благодарностью заглянул ей в глаза...

После свадьбы Панагица старалась избегать Василе. И он тоже не искал с ней встречи. Так прошли недели, месяцы. Казалось, что огонь в их сердцах потух.

Однажды воскресным полднем Василе возвращался из Кукуры, от тетушки Афтении. Стоял невыносимый зной, и он спустился к Реуту освежиться. Разделся и бросился в прохладную глубокую воду. Заплыл далеко за камыши. Добравшись до запруды, он вдруг увидел Панагицу: она шла вдоль берега своей обычной стремительной поход-

кой. Он выскочил из воды, наскоро оделся и пошел ей навстречу. Она остановилась у запруды, скинула сандалии, подняла юбчонку, оголив колени. Сунув руку в воду, выдернула несколько стеблей конопли, прополоскала их и вышла на берег. И только тут заметила Василе, да так и замерла с пучком конопли в одной руке и с подолом в другой. Она попыталась что-то сказать, но язык не слушался ее. Василе поднес палец к губам.

— Что тебе надо? — наконец промолвила она.— Зачем ты ходишь за мной?

Василе взял ее мокрую руку, в которой она держала длинные, посветлевшие от воды стебли.

— Уходи, бэдица Василе, оставь меня,— просила она.— Замужем я, и люди увидят...

Но вокруг не было ни души, и Василе еще сильнее сжал ее руку.

...Он увел ее за пригорок в Вэленский лес, где было прохладно, далеко от дороги и от людских глаз. И те конопляные стебли остались где-то там, на окраине полянки, на мягком и душистом ковре из шелковистой травы, в тени густого буйного кустарника...

Домой она вернулась к вечеру, сияющая и веселая, какой Тоадер ее еще не видал, и сообщила, что дергать коноплю еще рано.

На второй день она снова пошла к запруде. И лес снова заманил их к себе. И конопля, конечно, еще не была готова.

Наконец, Тоадер взорвался:

— Как так не готова, ежели бабы вместе с нами садили и уже начали трепать ее!?

— Почем я знаю? — пожала она плечами.

Тоадер сам пошел посмотреть. Вернулся он с багровым лицом и с пучком гнилой конопли.

— Вот она, твоя работа! Хозяйка называется!

И бросил к ее ногам пучок гнили. Но Панагица продолжала пребывать в радужном состоянии.

Лес был гостеприимен, пока не начались осенние дожди и изморозь не оголила деревья. Потом пришла зима с холодами и ветрами и замела старые тропки. Казалось, холодок закрался и в их сердца. Заметив друг друга издали, они старались избегать встречи. Так зима разделяет год надвое, чтобы одно лето никогда не встречалось с другим. Но все это было наваждением,— с приходом весны ему суждено было испариться, как утренней росе.

На ветках проснулись почки. От зимней спячки очнулась земля. Трава пронизывала теплый воздух остроконечными ярко-зелеными ростками. Плуги стали подымать черные отдохнувшие борозды, крестьяне бросали в них семена подсолнуха, тыквы, кукурузные зерна, зерна надежды... Сажать картошку выходили и женщины с детьми.

У Василе не было своей земли. Накопленных деньжат хватило только на лошаденку, и теперь, войдя в долю с Пинтилием Пэтрашкэ, он нанимался к людям пахать.

Как-то раз увидел он Панагицу на том самом наделе, который дед завещал ему перед смертью. И в нем стала пробуждаться слепая ярость. Тоадер отнял у него землю, а потом и невесту. Вон он, пашет себе, хоть бы что. Домовитым стал. А сам он кто такой? Чужак. И в селе и на поле. Кроме этого кобыльего хвоста, ничего у него нет. Вдвоем одну лямку тянут. И покуда тянут, хороши они, спрос на них есть. Господи, если ты где-то на небесах, как говорит батюшка Згихоарцэ, как ты можешь терпеть такую несправедливость? Ведь Тоадер моей землей отнял у меня невесту. И отца в землю загнали этой же землей. Да и сейчас фуфырится-то он, к местной знати примазывается, тоже на мою землю опираясь.

И он чувствовал, как к горлу подкатывается комок, а в виски стучит невидимый, но упрямый назойливый молот.

Безумная мысль пронзила его. Оставив лошадей в борозде, он поднял лопатку, которой очищал плуг от земли, и пошел напрямик через свежевспаханное поле и зеленые всходы озимой пшеницы к делянке деда. Ноги завязали в пахоте, натыкаясь на твердые комья. Это еще больше распаляло его ярость, он ускорил шаги, нелепо размахивая руками, словно плывя в теплом воздухе, насыщенном терпкими запахами земли и весны.

Заметив, с каким угрожающим видом несется он, словно вихрь, Панагица не на шутку перепугалась. Она хотела окликнуть его, спросить, куда спешит, как на пожар, но у нее отнялся голос. Он прошел мимо, будто не видя ее. Ступал тяжело, бормоча что-то и вытянув шею вперед, как ястреб, приближающийся к цели.

Тоадер как раз разворачивался у межи, чтобы начать обратную борозду, но, увидев его, остановил лошадей. Подошел к ним, с невозмутимым видом поправил подпругу, подтянул недоуздок, затем нагнулся над плугом и не

спеша стал очищать его лопаткой. Ему не хотелось встречаться со своим двоюродным братом, тем более здесь, на на этой земле раздора. Пусть проходит с богом. Но к его удивлению, Василе шел прямо к нему. И не шел, а почти бежал. Тоадер насторожился: вслед за ним неслась Панагица, без косынки, с разметанными волосами. Он оглянулся: ни одного пахаря вокруг. Нижняя губа забилась в дрожи, сердце съежилось. Он стал пятиться назад, с побелевшим лицом и дрожащей губой. А Василе приближался, страшный в своем безумии.

— Что стряслось, брат Василе? — издалека крикнул ему Тоадер надтреснутым голосом.

Но брат не отвечал, продолжая надвигаться на него с лопаткой в руке и с ненавистью во взгляде. Тоадер дрогнул, повернулся и со всех ног бросился наутек. Василе пустился вслед за ним, начав орать и крыть его грязным матом, что с ним никогда не случалось.

Но страх окрыляет, и расстояние между ними росло.

По лощине пронесся женский вопль. И лишь тогда Василе заметил Панагицу, которая бежала к нему, как сумасшедшая.

— Оф, бэдица Василе, разве так можно? Ты что, погубить меня хочешь?

Парень остановился, прерывисто дыша. По его щекам, красным как дикие маки, ручьями стекал пот.

— Что с тобой, бэдица Василе? — приблизившись к нему, испуганно вопрошала она.

Василий уставился на нее тяжелым ненавидящим взглядом. Он смотрел в ее черные красивые глаза, в которых столько раз видел себя и которые сейчас были испуганными, просящими. И это она, Панагица, бегает, кричит, умоляет — ради своего Тоадера. Значит, он дорог ей, а от их былой любви — любви Василе и Панагицы — ничегошеньки... А может, и не было ничего. Так, одна видимость, наваждение. И слова, что она говорила ему этим летом, и слезы, пролитые в безмолвном лесу,— все притворство, сплошной обман.

— Подлая гадюка! — процедил он сквозь стиснутые зубы и со всего маху ударил ее по лицу.

Она повалилась на пахоту без крика, без стона, так и осталась у его ног с широко раскрытыми глазами, как верная, но провинившаяся собачонка. И это еще больше разъярило Василе. Он схватил ее за шиворот, рванул кверху. И когда она поднялась на ноги, ударил ее сно-

ва. Одной рукой держал, другой бил. И сколько бил, сам не знает. А она молчала. А ее муж, не оглядываясь, дул по пашне к селу. Поняв, что делает совсем не то, что задумал, Василе бросился к лошадям Тоадера, которые спокойно стояли в борозде. Он с ходу перевернул плуг и изо всех сил огрел лошадей лопаткой. Сытые, отдохнувшие животные рванулись с места. Увлекаемые постромкой вальки били их по ногам, заставляя бежать все быстрее. И чем быстрее был их бег, тем больнее были удары вальков. И так мчались они, пока от плуга, передка и упряжки ничего не осталось, а ноги не превратились в сплошные раны.

Василе вернулся к своему плугу и, прильнув пылающей щекой к лошадиной морде, глубоко и протяжно застонал, словно пытаясь излить ей душу или хотя бы заставить понять и простить его. Затем глухо зарыдал.

На другой день, когда он усталый возвращался домой, его встретила Панагица. Она остановила лошадей и, бессильно опершись на облучок брички, принялась всхлипывать.

— Ой, горе тебе, бэдица Василе,— причитала она.— Мой подал на тебя в суд. Ищет свидетелей и для случая в Каменной долине.

Василе едва не разобрал смех. Случай в Каменной долине действительно был забавным.

Исстари так повелось, что на троицу проводились состязания по трынте, плаванию, играли в лапту. Но, конечно, самыми интересными были скачки. Лучшие наездники со всей округи собирались в Каменную долину, будто специально созданную для подобных состязаний. А поглядеть на них приходили издалека парни и девки, ребятня и пожилой люд.

У Тоадера Оляндрэ была Стелуца — тонконогая рыжуха с поджарым животом и гладким блестящим, словно начищенным кремом, волосом. Отец купил ее года три назад в Измаиле. Говорят, привезли ее из самой Аравии, и отец отдал за нее кучу денег. Но когда речь шла о сыне, Костаке Оляндрэ не скупился. Он хотел видеть его всегда впереди, чтоб он верховодил над остальными и обладал тем, чего нет у других.

Когда Тоадер появлялся верхом в Каменной долине, знатоки окружали его плотным кольцом и с восхищением и завистью цокали языками.

Прошлый год подался на скачки и Василе Оляндрэ —

на Змее Андрея Обадэ. Это был не жеребец, а огонь. Он рвал уздечку, вставал на дыбы, отчаянно брыкался. Но Василе умел его обуздать. Увидев своего брата, Тоадер помрачнел: еще, чего доброго, обгонит.

В то время, как другие наездники с любопытством толпились вокруг Василе, Тоадер стал над ним измываться:

— А завтра, глядишь, приедет на скачки верхом на автомобиле. Если, конечно, выцыганит у кого-нибудь...

— А что, это не его жеребец? — услыхав реплику, спросил кто-то из чужаков.

— Как бы не так. У него-то в доме и порядочной собаки нет. Голь перекатная.

Василе все слышал. Впрочем, Тоадер затем и говорил громко, чтобы он слышал. Его бросило в пот от стыда и злости. Он уже был готов накинуться на двоюродного брата с кулаками, но тут ему в голову пришла шальная мысль.

Наездники прогуливали своих скакунов по лощине, готовя их к скачкам. Василе сделал круг у берега Реута и на обратном пути остановился прямо возле Тоадера. Ретивый изголодавшийся Змей только того и ждал. Увидев красавицу чистокровку арабской породы, тонконогую, стройную, он издал вожделенный храп и метнулся к ней. Василе Оляндрэ неуклюже повернулся и как бы невзначай свалился с седла. Почувствовав волю, Змей просто ошалел: он стал гоняться за Стелуцей, всполошив всю долину. Тоадер растерялся со страху. С побелевшим лицом он извергал какие-то невнятные звуки. Люди визжали и испуганно шарахались в стороны, но вскоре успокоились и с интересом стали смотреть...

— Кобыла кобылой, а Тоадер наверняка принесет в дом жеребенка! — крикнул кто-то из шутников, вызвав смех у окружающих. И лишь Тоадеру было не до шуток.

С того дня у него снова стала дрожать нижняя губа. Чей-то острый язык заметил, что дрожь может быть первым признаком того, что Тоадер на сносях... Хохотал весь уезд. Хохотал долго, смакуя подробности, так что Тоадеру пришлось избегать людей. И вот только теперь, спустя год, он начал искать свидетелей...

— Несдобровать тебе, бэдица Василе,— повторяла заплаканная Панагица.— Он порешил отомстить за все, что было и чего не было.

И то самое чувство, которое лишь вчера он вырвал из своего сердца, вновь возродилось...

Василе попросил прощения за вчерашнее, поблагодарил за заботу и успокоил ее. Потом уговорил, чтоб в воскресенье, когда люди пойдут в церковь, она пришла в лес на старое место.

Вначале его вызвали в жандармское отделение. Избили, несколько дней подержали в погребе, надеясь выжать из него хоть немного денег. Затем отдали под суд. Но судебный процесс не состоялся. Наступило двадцать восьмое июня 1940-го года — освобождение.

Когда его назначили председателем, он мог бы свести счеты с Тоадером, который стал смирным, как овечка. Но он довольствовался тем, что посылал его на все обязательные работы и, как правило, подальше. По селу пошли слухи, что председатель неспроста гонит из дому Панагициного мужа. И Тоадер догадывался, что неспроста, но до поры до времени не подавал виду. Для него то были тяжелые времена. Он знал, что сейчас его брат способен на многое,— в один прекрасный день может запросто спровадить его... Но когда Василе отобрал у него землю и раздал ее беднякам, взяв и себе участок из дедова надела, он совсем потерял голову и задумал порешить его. Узнал он и о встречах Панагицы с Василе. Однажды вечером он выследил жену у виноградника, который раньше принадлежал деду, потом ему, а теперь перешел к Василе. Увидев их вдвоем, он бросился с топором.

А Василе хотелось ей столько высказать! Ему надоели эти встречи украдкой, он собирался втолковать ей как-нибудь, убедить, чтобы бросила Тоадера и шла за него. Тогда и молва успокоится, да и они заживут по-человечески. А если что, оставят они эту Сэлкуцу, возьмутся за руки, вот, как сейчас, и пойдут на все четыре стороны.

Но лезвие топора, грозно блеснувшее в ночи, обрубило нить разговора. Замахнувшаяся рука Тоадера дрожала, и Василе успел выхватить топор, и отшвырнуть его в темноту. Он был готов вцепиться ему в глотку и задушить, но сдержался. Просто взял его за грудки, притянул к себе и предупредил, что ежели начнет валять дурака — завтра же ему несдобровать. Эту угрозу Василе заимствовал у других, она была в моде и производила впечатление.

...С того вечера он больше не встречался с Панагицей. Вскоре началась война.

Сейчас он видел ее возле ямы с глиной, она всхлипывала, протягивая ему кружку. При виде воды у Василе загорелось внутри, он потянулся к кружке. Рядом ухмылялся староста: мол, все же упал передо мной на колени, товарищ председатель! Его губа радостно подрагивала. Василе стиснул пальцами холодную глиняную кружку и изо всей силы запустил ее в физиономию старосты.

Тоадер Оляндрэ продолжал стоять на коленях перед Василе, как перед богом, с молитвенным выражением глаз.

— Подлец я был, брат Василе,— снова отчаянно и безжалостно бичевал он себя.

— Поднимись-ка,— сухо сказал Василе.— И садись.

Он без злобы смотрел на его сморщенное, преждевременно постаревшее лицо, на седую бороду и на дрожащую, изуродованную шрамом губу.

— Я думал, что ты крепче,— сказал Василе.— Я знавал тебя совсем другим...

Тоадер опустил голову, будто смиренно и безропотно ожидая удара.

— Время меня перемололо... Разве это жизнь? Все время прячешься под чужим именем, боишься, не сегодня завтра все раскроется, а в голове одна мысль: сколько ты грехов-то натворил. Все время боишься людей, боишься родных мест, боишься друзей, боишься собственного имени, боишься собственной семьи...

Старик умолк. Свет лампочки с потолка освещал его затылок, в то время как посеревшее лицо было укутано тенью, как трауром. В тишине комнаты послышались приглушенные всхлипывания.

«Неужели это искренне? — спрашивал себя Василе Оляндрэ.— Может, его так изменило время, годы? Или это голос страха, боязни за свою шкуру?»

— Я столько богослужений справил,— продолжал Тоадер едва слышно.— Столько поклонов отбил. Столько свечек зажег под иконой святой богоматери, чтоб облегчила мне душу. Я знал, что рано или поздно должен буду давать отчет — или этим, на земле, или всевышнему... Но никогда не думал, что мы с тобой еще встретимся...

Василе Оляндрэ криво усмехнулся.

— Думал, что мои кости давно уже сгнили?.. С того дня, как послал меня в Сороки... С письмом...

Тоадер еще ниже опустил голову и согнул плечи, словно под тяжестью нового удара. Он опять умолк.

Василе тоже молчал. Перед ним возникла та бумага. Это был обыкновенный листок с поставленным посередине крестиком. Вручил его офицер хмурым ноябрьским утром в присутствии старосты Оляндрэ. Тот ухмыльнулся и напомнил Василе о душевной доброте господина офицера и его лично. Ибо они могли бы поступить иначе с большевиком Оляндрэ, однако ограничились трехмесячным допросом, и, с их стороны, они его прощают. А теперь посылают его к вышестоящему начальству, чтобы одобрили их решение. Ну, а чтобы он там не натворил чего, они дают ему провожатого.

Солдат был вооружен и приказали ему шагать впереди, на расстоянии не меньше пяти и не больше десяти метров.

Тучи стлались почти над землей. В последние дни непрерывно шли дожди. Накануне небо вроде бы просветлело, а сегодня снова обложной дождь. Они медленно двигались по размытой степной дороге. Путь был далекий — километров пятнадцать, и, чтобы скоротать время, солдат вытащил табакерку, скрутил цигарку. Предложил закурить и Василе. Тот отказался, признавшись, что курить еще не научился. Солдат был разговорчивым малым и стал его расспрашивать обо всем.

— Дома-то у тебя остался кто: семья, дети?

— Мать. Хворая она больно, боюсь, не сегодня-завтра помрет. Ну, еще лошадь, та к зиме сдохнет с голоду.

— А у меня жена, детишки,— печально продолжал солдат.— Жинка у меня молодая, пригожая, двое пацанов-сорванцов. Они все меня зовут, чтоб домой скорей приходил. Так я им в каждом письме пишу, что войне скоро конец, я вернусь. Кончить-то, может, мы ее и кончим, а вернуться... Поди знай... Тот, раненый, был тебе другом?

Оляндрэ понял, что он спрашивает о советском солдате, с которым его схватили тогда ночью.

— Нет. Я нашел его. Не знаешь, что с ним?

— Отдыхает. В земле. Ну и староста у вас, не человек, а зверь. Выбил тому зубы, у него было несколько золотых, не то серебряных, не знаю. И все чертыхался,

что у того всего один сапог. Хороший сапог, но что, говорит, с ним делать, если он один, а у старосты две ноги, чтоб они отсохли, у изверга.

Василе содрогнулся. Значит, прикончили. И зубы выбили. И ему несколько зубов вышибли. Хотя у него не было ни золотых, ни серебряных. Это — когда его «допрашивали». А теперь вот передают в другие руки.

Дождь перестал, ветер стих понемногу. Вокруг стояла глухая давящая тишина. Лишь звуки шагов по липкой грязи. С вершины холма Сэлкуца была как на ладони. Василе смотрел на нее долго, с печалью. Кто знает, увидит ли он ее еще... Где-то там, на окраине угадывал он свой низенький домик, с больной матерью и ослабевшим конягой. А неподалеку от церкви стоял дом Тоадера Оляндрэ. Панагица, небось, приготовила обед для господина офицера и невдомек ей, что сегодня Василе ведут из села под конвоем. А может, знает и где-нибудь плачет украдкой. С той минуты, как он запустил в Тоадера кружкой, ему не привелось больше видеть Панагицу.

Он молча смотрел на село, прощаясь с ним, может, навсегда. Затем повернулся влево, в сторону виноградника, с раскидистым орехом у границы. Там они встречались с Панагицей. Густые ветки ореха склонялись до самой земли, образуя укромное, гостеприимное убежище. Он жадно глядел на далекий Хыртоп с его манящими тайнами, на поля, где он пас чужой скот, пахал чужую землю и умножал чужое богатство. Но сейчас все это было дорого, словно принадлежало ему. Где-то далеко за бугром раскинулся молчаливый задумчивый Вэленский лес, в чащу которого вела когда-то их тайная тропка. Он стоял так долго, смотрел, и солдат закурил еще одну самокрутку, не подгоняя его.

Вдалеке, по ту сторону Долины Турка, послышался собачий лай. Оба повернули туда головы. Несколько псов гнали зайца. Тот петлял из стороны в сторону, пытаясь оторваться от преследователей, иногда это удавалось, но гончие скоро настигли его, закатываясь угрожающим нетерпеливым лаем.

— Бедолага,— размышлял вслух арестованный,— живет, пока бежит...

И подумал, что в общем-то и человек порой завоевывает право на жизнь только бегством. Если бы той ночью удалось бежать и ему, не шагал бы он сейчас по этой

дороге под конвоем. Или, если бы смог сейчас... Но как? Винтовка у того заряжена, готова шарахнуть в любой момент. И он загадал с детской наивностью: ежели заяц попадет в лапы псам, ему, Василе, несдобровать. Ежели улизнет,— спасется и он.

— Люблю охотиться,— сказал солдат.— Я сам горец и страшно люблю охотиться... Не было воскресенья, чтобы мы с приятелями не побродили по лесу. У меня есть двустволка и борзая, не собака — золото. Вечером я приносил по шесть-семь зайцев, а то и больше. Теперь приучаемся к другой охоте... На людей... И хошь — не хошь, надо охотиться. Иначе сам добычей станешь. Таков закон этой проклятой охоты...

— Спасся,— облегченно вздохнул Василе.

— Кто?

— Косой,— радостно ответил он, глядя на псов, которые потеряли след и теперь беспорядочно кружились, в то время как заяц стремглав летел совсем в другую сторону.

Послышался скрип кэруцы. С горы к дороге спускался Скридон Кетрару. Василе узнал его по лошадям. Здесь находился один из его участков, а в том конце виноградник. «Ни дождь, ни слякоть ему нипочем,— думал Оляндрэ, глядя, как тот трясется в шарабане верхом на срубленных ветках.— Видать, довольный: надел снова к нему перешел...»

Как-то весной спозаранку Оляндрэ поехал в район и, примерно на этом же месте, заметил в предутренней мгле человека. Тот бродил по пашне: сделает несколько шагов, нагнется, пороется в земле и дальше. Василе показалось это подозрительным, и он повернул к пашне. Это был Скридон.

— Душа у меня болит, товарищ председатель,— признался Кетрару.— Всю мою силушку отдал я земле этой. И не было для меня ничего дороже землицы. Одной ею грезил и жил. Я собрал ее по клочку, можно сказать, по горсточке. И вот тебе на, она уже не моя. Отдали вы ее другим, у которых за душой, кроме здрасте, ничего нет и не было. Да хоть бы обрабатывать ее умели, а то... Ну некоторые еще пекутся, куда ни шло, а иные, не приведи господь, измываются над землицей. А у меня душа болит, земля-то моя. Моя и моих детей.

Он опустился на колени, захватив горсть черной влажной земли.

— Глянь, какая жирная. Сколько зим я вывозил сюда навоз...

Он долго мял ее в ладонях, затем размельчил, и она стала сыпаться между его короткими толстыми пальцами. Обнажив голову, он прильнул лбом к холодной почве. Его плечи вздрагивали, но рыданий не было слышно.

— Напрасно ты себя истязаешь, бадя Скридон,— пытался успокоить старика Василе.— Тот, кто любит работу, только сейчас и начнет жить по-настоящему. А о земле не жалей. Ведь она твоей и останется. Этой осенью организуем колхоз, и вся земля вокруг твоею станет. Твоей и остальных мужиков. Перепашем все межи, соберемся воедино, сильнее станем, богаче.

Кетрару поднял перепачканный землею лоб, протяжно вздохнул, устремив невидящий взгляд туда, где занималась заря. Оляндрэ тронул лошадей. Скридон встрепенулся и, повернувшись к нему, спросил со страхом в голосе:

— А как ты думаешь, товарищ председатель, меня тоже могут того... раскулачить?

— Раскулачивают кулаков, бадя Скридон, а у тебя батраков не было, значит, ты никого не грабил, чужим трудом не жил. Сам работал со своей семьей. Какой же ты кулак?

— Да вот я тоже думаю. А Тоадер говорит, что и меня могут выслать. Его родитель, говорит, давно уже сидит, ждет...

Немного помолчав, он добавил, уставившись на свои босые ноги:

— Сплоховал я тогда, шибко сплоховал... Надо было за тебя отдать Панагицу... Насильно я ее замуж выдал, на землю позарился. А она, вот, земля-то... На всех одна. А бедной девке придется всю жизнь маяться. Своей рукой отрезал ее от корня, сохнет она, на глазах сохнет...

И вот снова встреча. Скридон сидит на возу поверх дров и что-то насвистывает. Видно, довольный жизнью. Земля снова его. Только его. Так что работы хватает и по дождю. Да и Тоадером он, видно, доволен...

Заметив Василе, он смолк, сдвинул на затылок кэчулу[1], чтобы разглядеть его получше, натянул вожжи. Лошади с готовностью остановились, пропуская вперед тех двоих.

[1] Кэчула — меховая шапка.

— Прощай, бадя Скридон! — бросил ему Оляндрэ, когда они поравнялись с кэруцей. Кетрару неловко поклонился и ничего не ответил. Когда подводу миновал и солдат, он повернул лошадей, выехал на размытую дорогу, еще раз бросил взгляд на арестованного и глубоко вздохнул:

— Вот так... Ее и искать не надо, сама найдет... А когда ищешь, так и подавно...

Он стегнул лошадей.

— Но, милые, но!

Глянул на размокшую землю и расплылся в улыбке.

— Но, милые, но!

Солдат удивленно вскрикнул:

— Глянь! Глянь! Как клюет!

Василе Оляндрэ повернул голову, куда тыкал рукой солдат. Тот самый заяц скакал по узкой полоске стерни, не рискуя пуститься через вязкую пашню. А над ним летел коршун. Время от времени он камнем бросался вниз, избивая его крыльями. После чего, вконец перепуганный, ошалелый косой начинал беспорядочно метаться из стороны в сторону... Но эта хитрость, благодаря которой он спасся от стаи борзых, теперь не помогала. Широко раскрыв крылья, коршун парил над ним, и заяц не знал, откуда ожидать атаки, куда скрыться. А хищник, прицелившись, снова пикировал на свою жертву. Наконец, косой выдохся и, видно, смирился со своей судьбой. Он еле двигался по мокрой стерне, заросшей щетинником и молодой сурепкой. Коршун снова бросился на него, но на этот раз не бил его крыльями. Он впился в него когтями и кривым острым клювом размозжил голову. Солдат вскинул винтовку. Эхо выстрела прокатилось по долине и затихло где-то за Вэленским лесом. Птица судорожно затрепыхалась, словно добивая крыльями добычу, затем стихла.

— Целкач,— пробормотал Василе.

А заяц так и застыл в когтях сраженного хищника.

Они молча двинулись дальше. Снова начало моросить. Клейкая грязь цеплялась за подошвы, собираясь там, как грехи на душе человеческой.

Кто знает, что творилось в голове солдата, который шел вслед за Оляндрэ с заряженной винтовкой и взведенным курком. Василе же думал о том, что произошло перед его глазами. Странная эта штука, жизнь. Вроде игры в прятки. Соблазн и проклятье. Каприз природы.

Зачастую даже не знаешь — бежать или стоять на месте. Бить или обороняться... И заяц, не высунься он, может, борзые и не нанюхали бы его, и сейчас сидел бы он в своем укрытии и снилась бы ему морковка, капуста и прочие радости. Но он выскочил, чтобы надежнее уберечь свою жизнь. И это была роковая минута. Когда он считал, что удрал от погони и был готов остановиться, искать новое убежище, его выследил зоркий хищный взгляд. И, видно, возрадовалась птица, не ведая, что и для нее это мгновение станет роковым. Темная штука жизнь. Или беда сама к тебе пожалует, или сам спешишь ей навстречу. Вот и он идет, вернее, его ведут. А что его ожидает? Может, попробовать сбежать? Но солдат — парень меткий, притом на посту, и не отпускает его дальше десяти шагов, и не подпускает ближе пяти. И винтовку держит наготове.

Перед глазами Василе снова тот загнанный заяц и коршун, впившийся в череп. Неужто и его ждет такая же участь? Он рассердился на самого себя. Что, Василе Оляндрэ такой уж слабак, чтобы загубить свою жизнь, как тот косой? Нет, он не заяц. И у него есть не только ноги, чтоб бежать, но и цепкие руки, крепкие кулаки. Человек не должен бежать, прятаться в кусты да чуланы. Тогда, той ночью, не надо было бежать. Не должен был он бежать из села. И другие тоже. За жизнь надо бороться смело, но и умело. Жизнь добывается жизнью, а не стыдом и страхом.

Кровь хлынула к его вискам, вены напряженно забились.

Но сзади шагал солдат с винтовкой, не подпускал ближе пяти шагов. И поле вокруг было опустошенным, раздетым, как арестант. И беспомощным, тоже как арестант. Василе крепко сжал челюсти. В жизни иной раз все зависит от пустяка. Надо уметь избегать таких пустяков, но при случае и пользоваться иными...

Внизу, за болотом их поджидал колодец Кэрбуне. Когда они поравнялись с ним, Василе осенило. Он спросил солдата:

— Можно попить немного?

— Почему немного, пей, сколько влезет. Да и у меня пересохло в горле.

Василе вытащил полную бадью, предложил солдату напиться первым.

— Нет-нет, я потом.

Он стоял далеко от колодца, с винтовкой на плече, не сводя глаз с Василе. Тот не спеша поставил на каменный колодезный круг пузатую бадью и стал медленно пить холодную воду, поглядывая на зазевавшегося солдата. Разогнулся, толкнул бадью.

Не успел солдат опомниться, как тяжелая толстая бадья сильно ударила его в грудь, повалив наземь. Еще через долю секунды на него навалился Оляндрэ. Боролись они молча, каждый ужасался при мысли, что будет, если одолеет другой. Василе не пускал в ход кулаков, ему надо было отнять винтовку. Только тогда он мог быть уверен, что ему удастся спастись. Однако солдат был молодой и крепкий, несмотря на неожиданную атаку, сопротивлялся он по-бойцовски. В пылу борьбы он выпустил винтовку из рук. И тут понял, что ни в коем случае нельзя отпускать от себя арестанта, иначе тот завладеет оружием. Он вцепился, как клещ, в грудь Василе, пытаясь свалить на землю. Но Оляндрэ, хоть и избитый, измордованный, держался крепко. Они долго возились, тискяя друг друга и задыхаясь.

Внезапно тиски, в которые был захвачен Василе, ослабли. Солдат чуть подался назад, молниеносно схватился за винтовку и в то же мгновение ударил его ботинком в грудь. Василе плюхнулся на землю, но через секунду снова был на ногах. Весь в грязи, фыркая, как разъяренный бык, солдат стоял в нескольких шагах, направив на него дуло винтовки и держа палец на спусковом крючке.

— Стреляй! Ну стреляй же! Что медлишь! Оружие, сила и власть в твоих руках!

Но, к удивлению Василе, солдат вместо того, чтобы стрелять, избить или хотя бы обматерить его, рассмеялся.

— Давненько не приходилось мне вот так мериться силами. Будто на медведя ходил, честное слово!

Он глубоко дышал и все смеялся. Оляндрэ не знал, как понимать этот смех, поскольку черное мерзкое дуло винтовки продолжало смотреть на него, а палец солдата — на спусковом крючке.

— А ты мне нравишься! — серьезным тоном бросил ему солдат.— Ты крепкий парень. И отчаянный. С таким, как ты, мы бы в несколько месяцев закончили войну, разошлись бы по домам, к своим бабам и ребятишкам.

Глядя на него, Василе лишь глупо улыбался, не соображая, куда тот клонит.

Солдат заставил его почистить одежду, умыться. А сам отошел в сторону, вырвал пук лободы и стал чистить шинель, брюки, ботинки, в то же время не отрывая взгляда от арестанта. Затем приказал ему отойти на двадцать шагов от колодца. Вытащил бадью свежей воды, долго, с наслаждением пил, потом принялся не спеша мыть руки, разгоряченное лицо, напомнив еще раз Оляндрэ, что он охотник, притом неплохой, и что Василе сморозит большую глупость, если попытается бежать. Василе понимал все это и без него, покорно ждал, проклиная себя за то, что так оплошал с побегом. Чувство отчаяния достигло предела: теперь никаких шансов, солдат будет смотреть в оба, а там, в Сороках, ко всему прочему ему еще пришьют и покушение на жизнь солдата.

— Почему ты не застрелил меня? — спросил Василе, когда они снова двинулись в путь.— Ведь в таких случаях...

— Это от нас не уйдет. Да и куда спешить?.. Ты лучше скажи, что собирался делать, если бы отнял винтовку? Послал бы мне пулю в лоб?

— На кой ляд? Что мы с тобой не поделили? Просто хотел спастись, и все. Ведь ты такой же крестьянский сын, как я, и не думаю, чтоб тебе очень пришлись по сердцу эта война, эта оккупация...

— В мать их перемать с их войной и оккупацией! Дома меня ждет молодая баба, ребятишки, и земля под паром, и охотничье ружье. Но что делать, браток, долг есть долг. И сейчас я головой отвечаю за тебя. Если сбежишь, меня погубишь. Скажу тебе честно: не хочу, чтобы меня послали на передовую или влепили девять граммов в этот черепок...

Одно время шли молча, каждый думал о своем. Дождь усилился, клейкая грязь стала жиже и уже не липла так сильно к подошвам. Идти стало легче, и они, словно сговорившись, ускорили шаг.

С вершины пригорка сквозь деревья с поредевшей листвой проглядывала свинцовая лента Днестра. Дорога круто спускалась вниз, петляя зигзагами, а там неторопливо тянулась вдоль берега до самого города.

— А ну-ка, дай сюда пакет! — потребовал солдат.

Оляндрэ на секунду замешкался: офицер и староста

приказали вручить его в Сороках, лично господину капитану Куцу.

— Давай, давай, поживей, некогда торговаться.

Василе нерешительно сунул руку в нагрудный карман. Солдат взял намокший конверт и острием штыка стал вскрывать края.

— Что ты?! Еще заметят, что его открывали... Меня ведь предупредили...

— Один черт! — махнул солдат и развернул письмо. Взглянув на него, он криво усмехнулся.

— Так я и думал,— протянул он бумагу Оляндрэ. Тот взял, осторожно пытаясь укрыть ее от дождя.

— Брось ты это, я ж тебе говорю, один черт. Как ты ее ни крути. Чего вылупился?

Василе обалдело смотрел на чистый лист бумаги, в центре которой был нарисован аккуратный крестик.

— Что, читать не умеешь?

— Так читать нечего...

— Как нечего? Тут даже очень много написано. А ну, посмотри получше. Или у вас не принято ставить крест на могиле?

У Василе едва не подкосились ноги... Он видел коршуна, который хищно кружил над ним, готовый камнем броситься на его голову.

— Так я и думал,— повторил солдат.— Я уже водил таких. Тогда мне тоже приказывали, как нынче: «В случае попытки к бегству, оружие при тебе...»

— И ты застрелил кого-нибудь?

— Нет. Их постреляли там, другие...

Он изорвал листок на мелкие клочья, свернул их в комок и бросил в глубокую рытвину, присыпав сверху землей. Василе молчал. Он как бы успокоился, и ему было почти безразлично все, что происходит или произойдет с ним сегодня. Лишь странное поведение солдата удивляло его. Тот снова заставил его идти впереди, а сам конвоировал сзади с винтовкой наперевес и с пальцем на спусковом крючке. Он заметил, что в гору подымается повозка с военными.

— Никак на помолвку ведешь? — с улыбкой спросил офицер в дождевике. Другой офицер, сидевший рядом на заднем сиденье, рассмеялся, словно услышал что-то очень остроумное.

— Здравия желаю, господин капитан, я веду его к господину капитану Куцу.

Офицеры подозрительно взглянули на арестанта, затем толкнули ездового, чтоб тот трогался.

— Веди, веди, сегодня у него не очень-то много работы. И ему скучно.

Офицеры обменялись понимающими взглядами и снова засмеялись.

Когда они спустились вниз к крутому берегу реки, несущей свои глубокие пенистые воды, солдат пристально огляделся, затем подошел к Оляндрэ и сорвал с него поношенную смушковую шапку.

— Валяй к тем камням, вон в ту пещеру, сиди там и не чирикай, пока не стемнеет. Потом ступай с богом, куда глаза глядят и ноги понесут. Только боже упаси попасться живым в чьи-либо руки. Тогда и мне — такой же крест... Ясно?

Василе слушал, не веря своим ушам, и не мог сдвинуться с места. Стоял как вкопанный, не произнося ни слова. Солдат подтолкнул его, выругавшись:

— Марш, мать твою перетак, покуда нет никого! Иначе крест заработаешь.

Сквозь мелкий густой дождь Оляндрэ бегом кинулся к пещере, издалека показывающей свою широкую черную пасть.

В это время солдат, забросив в мутный стремительный Днестр шапку Василе, стал орать что есть мочи:

— Стой! Назад, стрелять буду! Стой, стрелять буду!

Раздалось несколько выстрелов. Солдат продолжал кричать, перемешивая угрозы с отборной бранью. Василе слышал, как сверху, с холма, оглушительно тарахтя колесами, скатывалась кэруца, видимо, с тем офицерьем.

— Пытался сбежать, большевистская сволочь! — гремел солдат, показывая на кэчулу, лениво покачивающуюся на гребнях волн.

— И ты его успокоил?

— Так точно! Как видите! Но у меня был приказ...

— У тебя был приказ?! А где же твоя бдительность, солдат его королевского величества? Поедешь с нами. Там объяснишь...

— В этом есть что-то забавное и символическое,— послышался голос другого офицера, наблюдавшего, видно, как удаляется от берега, погружаясь в воду, шапка Василе.— Это единственный путь, который остался у большевиков. Пожелаем же рыбам приятного аппетита. Поехали...

Кэруца с трудом подымалась в гору. Офицеры что-то оживленно рассказывали друг другу и смеялись от души. Следом шел солдат, сгорбленный и понурый.

Притаившийся в пещере Оляндрэ все еще не верил своим глазам и ушам. Он не верил ни себе, ни солдату, на которого совсем недавно набросился и который теперь брел по дороге, безоружный, не ведая, что его ожидает. Жаль, что не спросил, откуда он родом и как его величать. И спасибо ему не сказал. Двоюродный брат послал его на смерть. А чужой человек, которого он встретил впервые и навряд ли встретит еще раз, спас его от верной смерти... Кровожадный коршун прохлопал Оляндрэ. Теперь он снова свободен. Но куда податься?

Дождь лил не переставая, уныло и монотонно. Земля была голой и размякшей, и лес был обнаженным и чужим. Но Василе был свободен. А свобода может изо льда выжать тепло, из полночи сделать свет и из самых запутанных лабиринтов может найти спасительную тропинку. Люди за нее платят жизнью. И вот, она есть у него. Правда, довольно относительная. Подобно зайцу, он спасся от гончих. Теперь он должен знать, как уберечься от зоркого кровожадного коршуна.

Снаружи послышались торопливые шаги, идущие от калитки. Затем кто-то открыл дверь в сени. Василе Оляндрэ очнулся от воспоминаний. Тоадер засуетился: в его глазах можно было прочесть страх.

— Садись,— успокоил его Василе.— Это Митря. Я его по походке узнаю.

В это время в дверном проеме появилась атлетическая фигура Митри. Увидев гостя, он удивился.

— Добрый вечер, мош Никандру,— протянул он руку.— И ты тоже, небось, не был на торжестве? Отец вот не пошел, периферия, говорит, неинтересно, не то, что в городе,— пошутил учитель, садясь рядом с Василе и обнимая его за плечи.

— Митруца, просьба к тебе,— обратился к нему отец,— принеси-ка нам, если можно, хорошего вина.

— Лучшее вино — это коньяк, отец,— сказал Митря и достал из шкафа бутылку «Дойны».— Специально для гостей...

— А может, найдешь все же графинчик крестьянского вина, неокуренного...— попросил отец.— А то с моим сердцем опасно пить крепкое.

— Хорошо, отец. Подождите минутку.

Он нырнул в дверь, вскоре его шаги затихли в ночи.

— Так это твой парень? — скорее удивился, чем спросил Тоадер.

— Он самый.

— Славный хлопец! А я и не знал, что его фамилия Оляндрэ. И как звать, не знал. Я у них недавно работаю. А видать, видел его в школе. И когда увидел, так и остановился, не знаю почему, но показался он мне знакомым. Вроде как я с ним встречался где-то раньше. Не думал, что он нашей крови... И мой, если бы жил, пусть земля будет ему пухом, тоже теперь был бы взрослым парнем.

Василе молчал, уставившись в половицу. А Тоадер продолжал сдавленным голосом:

— Летом сорок четвертого докатилась война и до нашей Сэлкуцы... Подались мы с Панагицей и с нашим Думитрашом. Вокруг был ад кромешный, я вел лошадей под узду. Они то и дело шарахались, могли погубить нас всех.

Потом начался обстрел. Один снаряд упал прямо сзади кэруцы, где сидели Панагица и Думитраш... Вот так я и остался один-одинешенек. Тогда и распростился я с селом, с именем моим, с фамилией... И с тех пор живу чужой жизнью. Ты думаешь, легко жить чужой жизнью?!

Тоадер глубоко, протяжно вздохнул.

— Да, много горя принесла людям война...— сказал Василе.— Я тоже не забуду тех дней. Что там творилось! Особенно на мосту через Прут. Небо смешалось с землей... Вместе с противником пытались смыться и те, у кого рыльце было в пуху. Однажды вечером, на закате, партизаны напали на беглецов. Среди тех была и одна наша односельчанка. Тяжело раненная, она все же старалась не терять сознание. Все успокаивала своего двухлетнего малыша. Кэруца осталась с одной лошадью... Другую взял хозяин, чтобы спасти свою шкуру...

— Неправда! Неправда это! — в ужасе закричал Тоадер, вскочив со стула. Его голос дрожал, готовый перейти в плач.— Тебе наврали! Обоих убило, и Панагицу, и Думитраша, царство им небесное. И мне ничего не оставалось, как спасти хотя бы собственную жизнь...

— То, что ты хотел спасти свою жизнь, верю,— спокойно продолжал Василе.— Ты ведь всегда думал только о своей жизни. Но то, что я говорю — чистая правда.

Всех подробностей ты, может, не знаешь, или не помнишь, потому что думал лишь о себе, как бы спастись. Ты, видно, обрадовался, увидев, что Панагица при смерти. А ребенок тебе бы помешал, а, что еще хуже, выдал бы тебя с головой...

— Враки все это, брат Василе. Разве мог я... Мою Панагицу... моего собственного ребенка... Господи, пресвятая богородица...

— Это не враки, Тоадер. Никто мне этого не рассказывал. Я сам все видел своими глазами...

Тоадер еще больше выпучил глаза, его лицо стало белее стен. Губа дрожала, словно пытаясь сорваться с подбородка.

— И я был с теми партизанами,— продолжал Василе.— Панагица долго не протянула, померла через несколько дней. Похоронили мы ее в Вэленском лесу, невдалеке от наших партизанских землянок. Нашли мы ей место на уютной полянке, которую Панагица знавала и раньше. Она любила ту полянку... И сейчас отдыхает там... А мальчик...

Послышался скрип калитки и приближающиеся уверенные шаги.

— Вот он идет...

Тоадер Оляндрэ застыл с перекошенным бледным лицом, выпучив глаза и молитвенно подняв руки, словно пытался выдавить из себя какое-то слово, навсегда застрявшее в горле. Лишь нижняя губа, изуродованная шрамом, чуть подрагивала, уставшая, обессилевшая, как змеиный хвост на закате солнца...

— Извините, я малость задержался,— ставя графин на стол, сказал Митря.— Пришлось далеко бегать. Но зато вино что надо! — Он прищелкнул языком от удовольствия.— Хороший мускат. От одного аромата голова кружится. Ой, у меня только один стакан! Что поделаешь, холостяк, начинающий хозяин. Сейчас принесу.

Через секунду он уже был у тетушки Мэриоары.

Сквозь приоткрытую дверь было слышно, как он извиняется, что потревожил ее в столь поздний час, приглашая и ее на стаканчик.

В это время Тоадер Оляндрэ поднялся и, не произнеся ни слова, направился к двери.

— Погоди, Тоадер, давай выпьем по стакану. За встречу. Что было, то было. А сегодня мы встретились,

надо отметить событие,— предложил Василе, останавливая его у порога.

Но тот ничего не ответил. Даже не обернулся. Будто не ему говорят. И ушел какой-то странной деревянной походкой.

Василе стоял посреди комнаты, хмурый, погруженный в себя.

— А где же мош Никандру? — удивился Митря, вернувшись со стаканами.

— Ушел...

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего,— Василе Оляндрэ старался отогнать тяжелые думы.— Сказал, что уже поздно, ему куда-то надо зайти...

— Ты его знал раньше?

— Откуда?

— Бедняга,— искренне пожалел его парень.— Чужой он в этом селе, все, даже ребятишки, смеются над ним. Вот он и тянется к новым людям. Видать, тяжко жить в одиночестве, только с самим собой...

— Видать, да. Да, конечно...

Хорошее было вино. Но Василе Оляндрэ оно показалось горьким. И закуска горчила. И воздух был тяжелым.

— Я вижу, дорога измотала тебя вконец,— заключил Митря.— Давай-ка ляжем пораньше. Мы еще поговорим завтра, послезавтра. Скоро я тебя отсюда не отпущу, отец.

Было уже далеко за полночь. Митря крепко спал и не слышал, как за окном осенний ветер срывал с груши последние листья, уносил их неизвестно куда, не слышал, как его отец курил сигарету за сигаретой и тяжко, глубоко вздыхал.

Перед рассветом ветер улегся, наступило затишье. Василе чувствовал, как погружается в приятную успокоительную дрему.

Неожиданно тишину взорвал зловещий удар колокола. Какое-то время загадочный звук угрожающе дрожал над селом, затем оборвался, бесследно исчез, как обрываются и исчезают сухие листья со старой груши.

Василе Оляндрэ приподнял голову с подушки, вслушиваясь в ночь: кто бьет в колокол в такое время? Тем более, что церковь закрыта. Но других ударов не последовало, и Оляндрэ снова опустился на изголовье. Но

тут раздался женский крик, за ним послышались другие испуганные голоса. Село проснулось, на улице звучали торопливые шаги. И Василе догадался: там, откуда донесся звон, что-то стряслось. Он прислушивался к шуму, доносившемуся через открытое окно, но ничего не мог разобрать, кроме возбужденного гвалта.

Оляндрэ слушал долго и, видя, что шум не утихает, разбудил Митрю:

— Слышь?! Что-то стряслось...

Они оделись, вышли. По дороге спешили люди. В воротах они встретились с хозяйкой.

— Что там такое? — спросил учитель.

— Да все Пэлэмару, прости господи! В селе столько деревьев, а его понес черт на самую церковь. Говорила я, что у него нечисто на душе!

— Что все-таки случилось? — обеспокоенно спросил Оляндрэ.

— Что случилось? Сделал петлю из колокольной веревки и висит теперь перед божьим храмом, язык высунул, глаза на лоб... Чтоб ему в аду гореть, прости господи...

Они были потрясены. Молча и вопрошающе взглянули друг на друга.

— Кто знает, что за горе было у него на душе...— произнес, наконец, учитель сочувственным тоном.— Никто ведь не знал ни о его радостях, ни о несчастьях. Все смеялись над ним, издевались и все. Напрасно человек не наложит на себя руки...

— Да...— как бы про себя произнес отец.— Такова жизнь... Рождаемся мы все одинаково — с писком да криком. А умирает каждый по-своему. Как жил...

Он помолчал, думая о вещах, известных теперь только ему одному. Затем закончил тем же печальным голосом:

— Чужой человек был...

И повернулся в другую сторону, чтобы Митря не заметил, как повлажнели его глаза.

А растревоженные Фундуры шумели. И падали скрюченные пожелтевшие листья, падали с едва слышным шорохом, оголяя ветки высокой раскидистой груши, стоящей перед старым домом. И солнце подымалось из-за холма, взирая на село холодным взглядом.

Перевод *А. ГОРЛО*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОЭТИКА СФОКУСИРОВАННОЙ ЖИЗНИ

Дело искусства отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность.

Л. Н. Толстой.

Кто бы ни взялся писать о повести, непременно впадает в теоретизирование, как будто конкретный анализ требует обязательного выяснения ее жанровых особенностей, ее эстетической природы. Возможно, эта склонность к теоретической ясности подсказана промежуточным положением повести между романом и рассказом. Стремясь обозначить жанровые особенности повести, многие критики обращаются к знаменитому определению В. Г. Белинского из его статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки».

Сегодня, когда заметно активизировался процесс слияния жанров, актуальность определения гениального русского критика несомненна. Эволюция повести рассматривается обычно под знаком романа. Если в одних исследованиях это сближение еще робко (см. солидный монографический сборник «Современная русская повесть». Л., 1975, в котором часто говорится о «сращивании с романом», о «романоподобных повестях», о «романе как конгломерате повестей»), то встречаются и категоричные утверждения о романизации повести и заимствовании ею некоторых функций — или даже всех функций — романа. Я имею в виду два выступления Аллы Марченко: в «Вопросах литературы» («Для восполнения объема...», № 8, 1974) и в «Дружбе народов» («В спектре жанрового бума», № 5, 1979), в которых речь шла о так называемых «беспокойных в жанровом отношении книгах»: «Дребезги» Валерия Золотухина

(автобиографическая повесть «с колыбельным узором» и «деструктивной композицией»), «Алмазный мой венец» Валентина Катаева (в нем вместо прямого исторического романа имеем как бы «кардиограмму романа), «Твой род» Гранта Матевосяна («настолько уникальный, настолько защищенный от модных поветрий») и «Дата Туташхиа» Чабуа Амирэджиби (роман, «который одновременно и растет, «как дерево», и возводится по очень четкому конструктивному «плану»). Анализируя такого рода уникумы и высмеивая тезис «чистоты» жанра посредством эпиграфической цитаты из Б. Пастернака, критик формулирует интересный вывод, представляющий собой нечто большее, нежели рабочая гипотеза: «А что, если не только «в присутствии романа все жанры начинают звучать по-иному?» А что, если парадокс, на который обратил внимание Е. Сидоров — «набухание романных почек в околороманной прозе при отсутствии настоящего романа,— естественный этап литературного процесса, а не патологическое искривление его?.. А что, если само «отсутствие» прямого романа в ситуации острой необходимости в нем и является главной — на сегодняшний день — «жанрообразующей силой»?»

Если не брать в расчет абсолютизацию отсутствия романа как такового в наши дни, действительность как будто подтверждает правоту автора. С оговоркой, однако, что стремление к емкой, компактной и полифонической романной форме никак не может подрывать эстетический авторитет какого-либо другого жанра. Так что мы можем говорить в равной степени и о стремлении повести к роману, и о намерении романа заимствовать ее повествовательную непринужденность.

Вопрос этот, однако, куда сложнее, чем кажется. Сам Белинский, стараясь уловить разницу между этими жанрами, видит прелесть романа в том, как он представляет взаимоотношения между человеком и социальной жизнью, одновременно полагая, что повесть менее конкретно отражает эти отношения. Будем внимательны к этому нюансу!

В отличие от романа повести в большей степени присуща органичность; она течет медленно и торжественно, как степная река, которая убыстряет свой обычный ритм и завихряется в водовороте только через определенные промежутки. Естественно, в наш век, требующий концентрации, быстрой смены угла зрения, частого и решительного вмешательства автора, присутствия нескольких повествовательных планов, ее структура видоизменилась. Но при этом повесть не потеряла одного из важнейших качеств: естественности, стремления к воспроизведению самых простых форм жизни.

В шестидесятые и семидесятые годы молдавские прозаики опробовали разнообразные повествовательные формы. Их произведения были отмечены движением к полифонизму, многоголосью, подтекстуальным планам. Но они не потеряли при этом естественности и органичности; лирическое дыхание связывает события, придает им торжественность и особый смысл, по-своему окрашивает отношения человека с временем. Картины жизни как бы чередуются на экране, и сама эта проекция оказывается обобщающей. С такого рода сфокусированным изображением мы встречаемся и в «Последнем месяце осени» Иона Друцэ, и в «Диске» Джорддже Менюка, и в «За тридевять земель» Якоба Бургиу, и в повестях Василе Василаке. Таким образом, новым элементом в эстетике повести является проекция под разными углами и ракурсами, внимательное ис-

следование каждого факта в отдельности, дабы выяснить, какими нитями он связан с целым. На уровне структуры произошла неоспоримая «кинематографизация» повествования.

Но обновление технических средств не повлекло за собой утраты лиричности, органически свойственной молдавской повести. Тенденция к «неструктурности» и «фрагментаризму», о которой писала Алла Марченко, привела только к консолидации некоторых стабильных традиционных данных: чрезмерное использование ретроспекции, соотнесение всех событий и переживаний с центральным символом и др. Деструктивные факторы оказались чисто техническими, формальными, в то время как лучшие повести молдавских писателей последних лет пронизаны теплыми течениями искренней исповедальности и безудержного сердечного излияния.

Повести Иона Друцэ часто приравнивают к романам или драмам. Их можно назвать и поэмами. Друцевские повествовательные формы природны и органически сочетают в себе лирическое, эпическое и драматическое начала. «Листья грусти», как и «Последний месяц осени», написаны на одном дыхании, изображенная в них жизнь протекает в одном широком и глубоком русле, и они равноценны романам, хотя и не обладают романными объемами. Их объединяет исповедальный лиризм, основное же различие между ними — в структуре: если первая повесть не что иное как развернутый рассказ, то вторая представляет собой балладу с коротким повествовательным дыханием.

Все герои Друцэ предстают перед нами как романтики, побежденные Временем, но в то же время побеждающие его неизбывной предрасположенностью к рефлексии. Слова Брехта: «Простолюдин не так уж прост, как принято считать», которые немецкие издатели поставили эпиграфом к повести «Последний месяц осени», освещают существенную сторону творчества Иона Друцэ. Горизонт крестьянина кажется узким, его простота как будто бы граничит с примитивностью, однако это лишь внешнее впечатление, и писатель раскрывает нам необъятный духовный мир крестьянина.

Мир крестьянина — это мир естественности, непосредственности, которая остается неуязвимой даже под натиском своего главного врага — так называемой житейской мудрости. В нем скрыты огромные духовные и моральные богатства. «Последний месяц осени», как и другие произведения Друцэ, основанные на крестьянском материале, обращены к осознанию смысла человеческого существования. Из всех повестей и романов Друцэ «Последний месяц осени», пожалуй, самый светлый, прозрачный; в нем нет той обволакивающей нежности, что в «Листьях грусти» и «Бремени нашей доброты», повествование ведется сдержанно, с внутренним достоинством. В атмосфере повести есть что-то от эпикурейства знакомого нам дяди Череша, однако на этот раз не шаржированного, не «художественно обобщенного», а степенного, истинно крестьянского. И если «Листья грусти» — драматическая поэма о судьбе, то «Последний месяц осени» — светлая элегия о радости и красоте жизни.

Старик отправляется в путь на закате жизни, в «последний месяц осени», после которого неминуемо придет безжалостная зима... Мысль об отчуждении детей становится неотвязной, заставляет его подняться с постели и двинуться в свой последний путь. И этот путь, который должен быть скорбным, вдруг становится триумфальным шествием, праздником жизни.

Присущий всем произведениям Друцэ мягкий лиризм, умение

создавать неповторимую атмосферу крестьянского быта посредством «незаметных» штрихов; способность воссоздания жизни крестьянина с ее радостями, «вечными праздниками души» и с терпеливо переносимыми горестями,— все это читатель найдет в повести «Последний месяц осени». И самое главное — это дар рассказчика, единственного персонажа, способного конструировать и обеспечивать свободу композиции (такая свобода очень важна в поэтике жанра). Там, где этот дар преобладает, роман подчиняется законам повести. Какими бы ни были конкретные эпические рамки, рассказчик оперирует сериями фактов, эпизодов, жизненных сцен. Почти всегда он ведет нас по единственной нити, неспешно разматывающейся или же нервно завязывающейся. Прозаики с явным лирическим призванием являются превосходными авторами многосерийных рассказов. Двадцатый век явил нам в этом отношении блистательный пример Фолкнера, чей дар рассказчика сближает романную структуру с повестийной. Американский прозаик всегда повествует о событии под разными углами зрения, используя при этом многоголосицу и всякого рода гипотезы, оно имеет, таким образом, бóльшую автономию, чем в романе.

Обладая природным даром рассказчика, который избирает каждый раз структуру в зависимости от характера жизненного материала, Ион Друцэ доказал нам ту истину, что даже тогда, когда прозаик не оставляет традиционные классические средства и определенные повествовательные каноны, повесть обеспечивает его открытой формой. Это и есть ее основное преимущество перед романом, в котором часть и целое являются в состоянии абсолютной зависимости.

Следует признать, что характер поисков современных писателей благоприятствует дару конструирования, благодаря которому обеспечивается высокий технический уровень письма. Технизация приемов и средств трудно мирится с искусством, точно так же, как вагнеровский гомункулус — с живым и сложным человеческим сознанием. Однако фрагментаризм или стремление к натуралистическому описанию жизни «такой, как она есть», не освобождает писателя от поиска связующего, конструктивного начала. Смелый временной сдвиг, условное расширение пространственных рамок до одного века не сыграли бы своей роли в романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса, если бы в центре его не стоял маг и астролог Мелкиадес, тот, который расшифровывает в подписях на пергаментах всю судьбу Макондо. Даже демократическая полуреалистическая и магическая повествовательная форма потребовала активного структурного начала.

Повесть Василе Василаке «На исходе четвертого дня» показала плодотворность взаимодействия дара рассказывания и дара конструирования. В то время как все подробности и сама атмосфера в повести воссозданы рассказчиком, открытие новых планов, само сопоставление двух событий-ситуаций — сватовства и похорон (которое может показаться поначалу искусственным) выглядит как творение архитектора, быстро воздвигающего колонны, а потом так же спешно их разрушающего, словно бы для того, чтобы показать, из какого они материала и каково их назначение.

Все поступки и жесты героев рассматриваются как бы через сильную призму: интенсивно окрашенные с самого начала, они предстают в очень ярком свете, а затем постепенно тускнеют и перехо-

дят в теневую зону; краски сочетаются, переливаются, порождая нюансы и полутона. Это очень динамическая и странная игра, которая не оставляет ни малейшего шанса для прямолинейных интерпретаций. Вся повесть зиждется на капризном вращении огромной призмы; она резко останавливается и так же резко начинает снова движение, так что глаз читателя трудно улавливает ее. Уверенность устраняется намеками, новые намеки порождают новую уверенность, более основательную. Автор постоянно меняет регистры, трагическое и драматическое неожиданно превращается в смешное и комическое, серьезность тона подрывается иронией, правда уступает место гипотезе, предположению, приблизительной оценке поступков. Создается впечатление, что на похоронах разыгрывается карнавал, что в конце концов Василе Василаке снимает одну за другой все маски с мертвеца. Есть что-то цирковое в атмосфере повести, герои надели маски, смеющиеся и одновременно плачущие. Это настоящий theatrum mundi, который играется в крестьянской среде. Сохраняется естественность интонации, предрасположенность к философствованию выглядит органично в атмосфере собрания, когда люди настойчиво спрашивают себя: «Как же это человек устроен, ей-богу, сегодня есть — завтра нету...»

Синтез традиции и приемов, характерных для литературы нашего века, так явственно отразился здесь, что был замечен и критиками, впервые соприкасающимися с молдавским литературным процессом. А. Нинов справедливо писал в журнале «Вопросы литературы» (№ 11, 1979): «Эта повесть, круто завязанная и крепко построенная, впитала в свой реальный сюжет и некоторые вполне современные литературные веяния и мотивы, и традиции своеобычного, многокрасочного молдавского фольклора. Одной мыслью и одним композиционным узлом соединяются в повести противоположные события человеческой жизни — приготовления к похоронам и свадебный сговор. Эти два события пронизывают друг друга: на сговоре в доме жениха Тудора больше всего говорят и вспоминают о покойном Георге Кручану, и он, этот сильный, грешный и отнюдь не ординарный человек, постепенно узнается нами как ж и в о й» (разрядка моя.— *М. Ч.*).

Лучшие повести молдавских писателей имеют подчеркнутый монографический характер, что является показателем углубления сферы социального исследования, открытия новых жизненных пластов. Эссе благотворно повлияло на молдавскую прозу, привнесло в нее свободу изложения, подняло ее на более высокий интеллектуальный уровень. К чему копирование, излишняя детализация, натуралистический рассказ, когда тебе предоставлена возможность сконцентрировать повествование вокруг одной проблемы, идеи, символа? Действительность нуждается в таком случае не в пересказе, а в интерпретации.

Видоизменение структуры повести вело к динамизации монографического начала. Если «На исходе четвертого дня» Василе Василаке представляет собой общеонтологическое исследование взаимоотношений между человеком и средой, то «Дмитрий Кантемир» Влада Иовицэ является беллетризированным портретом личности, а «Игнат и Анна» и все повести и новеллы Владимира Бешлягэ, «Диск» Джордже Менюка, «Рубежи» и некоторые рассказы Серафима Сака близки к психологическому эссе. Эпическое здесь схематично и служит только точкой отправления, в контексте оно выглядит как расщепленное ядро. Почти физически ощущаем его рас-

цепление во время прочтения: все сцены и эпизоды в таком повествовании не что иное, как вариация центрального события, меняется и обновляется только повествовательная перспектива. Одним словом, нам предлагается быстрое просвечивание жизненного материала рентгеновскими лучами. Стенограмма заменена рентгенограммой. Естественно, что при таком воспроизведении действительности некоторые прозаики достигают лишь уровня кинематографического монтажа. Доказательство тому повесть Влада Иовицэ «Дмитрий Кантемир». Однако драматизм обстоятельств, переданный в стиле классицизма, спасает положение.

Только там, где прозаик ставит перед собой цель углублять психологическое исследование, он достигает нужного эффекта. Механизм памяти работает с большим напряжением, ибо на него возлагается задача уточнять смысл фактов, выявлять те грани, цвета, нюансы, которые наиболее остро запечатлелись в психике. Это относится прежде всего к прозе Д. Менюка. Используя медицинский термин, мы можем сказать, что прозаика интересуют исключительно нейтральные связи между событиями. Любой отрывок из «Диска» демонстрирует этот психологический прием; мы выбрали цитату, в которой очерчивается центральный символ повести: «Солнце по-прежнему сверкало в небесной дали, но оно было иным, это солнце. Адриан, подобно Ясеку, увидел его в черном без границ пространстве холодным мертвенным диском. Какое-то мгновение Адриану мерещилось, что он попал в глубокий колодец и смотрит оттуда в небо, усеянное звездами, мириадами светящихся хвостатых комет... и этот диск... Он даже сказал себе: «Адриан, постарайся запомнить все это. Постарайся ничего не забыть... Ах, сколько раз он с небрежением относился к тому, что видел! Собираясь запомнить, чтобы написать увиденное, подаренное жизнью и природой, он потом забывал, и память сохранила только жалкие клочья воспоминаний. А это забыть нельзя».

Две главные темы пересекаются в повести Джордже Менюка: человек и война, искусство и жизнь (война). Герои живут на острие ножа, они поставлены в предельные ситуации, и их чувства достигают максимального напряжения. Их переживания поляризованы. Они, герои повести, живут в поисках утраченного времени и прерванных человеческих отношений. Память и наблюдательность содействуют процессу обретения себя: «Но если дорогой твоему сердцу человек ушел не пять минут назад и не просто в суматоху Рамидавы, а ушел двадцать лет тому назад, в тот далекий, знакомый и незнакомый мир, откуда нет возврата, в небытие,— по-прежнему ли ты ищешь следы, что когда-то были и никогда уже не будут вновь?.. Взволнованный, ты хочешь опустить свою руку на плечо, назвать по имени, потому что снова готов верить в чудо перевоплощения навсегда исчезнувших и живущих ныне. Странные формы метемпсихоза».

«Диск» был первоначально определен автором как роман-исследование. Некоторые критики поняли романизацию повести как эффект поэтизации повествования. Реальная причина тому — контрапункт, который более всего присущ лиро-эпической или драматической поэме. Когда повесть не имеет выраженного монографического характера, приметы социального, морального, психологического исследования сохраняются, хотя бы в частой смене угла повествования. Небольшая повесть Серафима Сака «Шел густой снег» основывается именно на таком приеме, позволяющем повествователю

наблюдать за всеми героями и представлять их в свете авторского отношения. Повествователь здесь обращается как бы не к читателю, а к самому себе: «Женщина сразу узнала тебя», «ты изумился, увидев, что сестры сидят», «ты поднял вместе со всеми стакан» и т. д. Автор наблюдает за героями и в то же время за собой, иронизирует над ними, но он и самоироничен, объявляет «приговор» всему, но и себя подвергает моральному экзамену. Действие происходит в канун Нового года, герой-повествователь приехал в село навестить своих коллег и присутствовать на величественном спектакле обновления природы. Время этих сельских коллег заземлено, оно безвозвратно ушло в серые бытовые заботы, в мелкие материальные интересы. Над всем царствует проза жизни, ее низкий регистр.

В этой повести, описывающей историю неумолимого соскальзывания героев в сферу бытовых мелочей, символ вырастает не из реального, а из проекции его **возможного** качества. «Шел густой снег»,— повторяет прозаик, создавая поэтическое состояние, пройдя через которое бытовое очищается или же ждет хотя бы частичного обновления для перехода в высшую сферу. Острая наблюдательность автора-повествователя, перемежающаяся с самонаблюдением, являясь характерной особенностью этой повести, служит точному воссозданию душевных состояний персонажей.

Если ссылаться только на произведения, помещенные в настоящем сборнике, можно убедиться в эстетической эффективности любой повествовательной формы и техники. Так, Михаил Чиботару использует традиционный сюжет с неожиданными встречами, с побочными разветвлениями, совпадениями и развязками, присущими детективу. Однако «Встречу по ту сторону смерти» никоим образом нельзя назвать детективом, ибо отнюдь не создание острого сюжета составляет главную задачу автора. Для М. Г. Чиботару было важно вылепить характер человека с сильно развитым инстинктом самосохранения, снедаемого жестоким эгоизмом и злопамятностью. Это патологический случай обесчеловечивания, последствия которого тщательно проанализированы автором.

Естественную эпическую форму выбрал для себя Якоб Бургиу. Прозаика интересует не поэтапное формирование героя, он предпочел ретроспективу и оторвал его от привычной среды. И здесь возникает новая тема: диалог мечты и действительности. Открытие второго или третьего центра повествования — отнюдь не новое явление, а в данном случае это сделано с большим мастерством.

Литературная практика нашего века продемонстрировала удивительную гибкость повестийных приемов в зависимости от жизненного материала. Эту особенность отмечал еще Гоголь: «Повесть разнообразится чрезвычайно... Она может быть просто живой рассказ, мастерски и живо рассказанный картинный случай... Иногда даже само происшествие не стоит внимания и берется только для того, чтобы выставить какую-нибудь отдельную картину, живую, характеристическую черту условного времени, места и нравов, а иногда и собственной фантазии поэта».

Весь процесс обновления поэтики повести был рассмотрен критикой в связи со сближением ее с другими жанрами. «Все сколько-либо заметные жанровые изменения повести, включая, в частности, своеобразную «синтетичность», во многом определяются живым взаимодействием повести с близкими, смежными жанрами»,— утверждает исследователь проблемы В. И. Протченко в сборнике

«Современная русская советская повесть». Однако взаимодействие не может быть единственной и абсолютной причиной, так как наше время сформулировало свои авторитетные условия (концентрация, интеллектуализация, динамизация действия, подчеркнутое отражение внутреннего мира человека) в равной степени всем жанрам. Только возвращаясь к интуиции Гоголя, мы можем установить реальную причину. Решающим в новом статусе повести оказалось перемещение акцента с событийной стороны на **характерный** эпизод, на **характерную** черту времени, места, обычаев.

Гоголю принадлежит еще одно очень ценное открытие. В его сборнике «Арабески» рядом с повестями находим и 13 статей, в которых автор размышляет о взаимодействии научного и художественного мышления, о сближении искусств. Белинский отрицательно реагировал на это смешение жанров, но позднее пересмотрел свое отношение. В концепции Гоголя эссе и повести предстоит решать одни эстетические задачи: оба они **пограничные жанры** и сосредоточиваются либо на определенной существенной стороне описания, либо только на размышлении над происходящим.

Когда мы соотносим это определение со всей послегоголевской литературной практикой, его актуальность кажется нам неоспоримой. Прозаики нашего века все чаще в своих произведениях высказывают собственное отношение как к событиям, так и к социальным, этическим и нравственным проблемам. Подобно Фолкнеру, повествователи выбирают наиболее удобную позицию для сфокусирования изображаемой жизни. Чтобы подчеркнуть существенное или, употребляя гоголевский термин, характерное, приходится постоянно менять ракурс в повествовании, прибегать к мифу, вносить в художественный текст элементы эссеистики, публицистики, документалистики. Синтез возникает в результате активизации личности повествователя. Сегодняшняя повесть во всем отождествляется с лиро-драматической поэмой. Прозаики все чаще используют контрапункт. «Поэмная» повесть соседствует с «балладической» повестью. Именно «балладность» отличает повести Распутина, Матевосяна, Айтматова, Друцэ.

Повесть нашего века перемещает акценты, стремится к романной емкости и пространству, фокусирует социальную и психологическую жизнь, уточняет и меняет ракурсы, приближается к эссе. Не отказываясь от традиционной прелести устного рассказывания и от лирической стихии, молдавские прозаики оказались чувствительными ко всем предлагаемым временем обновлениям. Они удачно выдержали экзамен перед всесоюзным читателем. Одно из доказательств тому — выход настоящего сборника.

Михай ЧИМПОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

МОЛДАВСКИЕ ПОВЕСТИ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1981, 592 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **С. Розенберг**



А06609. Сдано в набор 21/V-81 г. Подписано в печать 21.IX.81 г. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Латинская». Печать высокая. Печ. л. 18,5. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 32,69. Зак. 518. Тираж 235 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.).

Цена 2 руб. 40 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

В 1981 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А Бакунц. Альпийская фиалка. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Я. Брыль. Стежки, дороги, простор. Повести. Рассказы. Перевод с белорусского.

В. Гейдеко. Горожане. Роман. Рассказы.

П. Загребельный. Евпраксия. Первомост. Романы. Перевод с украинского.

П. Кадыров. Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского.

А. Личутин. Повести.

П. Нилин. Знакомство с Тишковым. Повести.

В. Орлов. Гамаюн.

Молдавские повести.

А. Рыбаков. Тяжелый песок. Роман.

К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том I.

К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том II.

Г. Тютюнник. Холодная мята. Повесть. Рассказы. Перевод с украинского.

И. Чигринов. Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского.

Эльчин. Смоковница. Повести. Рассказы. Перевод с азербайджанского.


2Р. 40К.


МОЛДАВСКИЕ ПОВЕСТИ